ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
10

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

10



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

*



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✽

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

ПУБЛИЦИСТИКА

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р 2
Л 47

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Л $\frac{4702010200-373}{028(01)-84}$ подписное

ПУБЛИЦИСТИКА

ПОЕЗДКА В СОРРЕНТО

Все путешествие наше от Генуи до Неаполя прошло с чрезвычайным и даже несколько досадным для литераторской любознательности благополучием. Горы были замечательны, погода безоблачна, спутники приветливы, а нарядные жандармы в треуголках, кажется, лишь для того и были созданы, чтоб украшать природу. И даже самое сидение в душных вагонах было вполне переносимо, ибо дорога от Генуи до Ливорно электрифицирована, так что удушающий паровозный дым не отравлял нас в тоннелях, которых там много до бесчувствия.

Конец итальянского июля — для северянина жуткая пора: жарко, как на сковороде, дышишь пламенем... и вот уже ощущенье, будто сам тлеешь нестерпимым, отупляющим огоньком.

Жара, и на станциях резвые, ослепительно-пестрые мальчишки продавали свои оранжады, коки и желати, в составлении которых, надо признать, итальянцы великие мастера. И, верно, оттого, что электрические поезда ходят быстро и вглядываться в жизнь было некогда, придраться мне ни к чему не удалось. Мы проскочили мимо Ливорнского порта, мимо все падающей и падающей Пизанской башни, и ночью, влажной и черной, изнеможенных от хотения сна, нас принял гулкий Римский вокзал. Сооружение это показалось мне шумным и фантастически-расплывчатым,— Рим уже не умещался в переполненном сознании.

Потом в очень провинциальном поезде, дремля друг у друга на коленях,— всего нас было четверо,— мы доплелись до Неаполя. В пять утра в окна к нам заглянула туманная, сонная, лиловая гора,— усеченную ее главу, подобно предутреннему мечтанию, окутывало розовое облако.

Правильнее сказать, мы первыми высунулись из окон взглянуть на нее, ибо горе не было до нас никакого дела. Жестким равнодушием древности была равнодушна гора ко всему, что крикливо и пестро окружало ее у подножья. По облаку над горою я почтительно догадался, что это и есть Везувий.

Когда, недели две спустя, мы ужинали на холме Вомеро с Алексеем Максимовичем и я под пенье трех самозабвенных певцов мужественно силился съесть вареного осьминога, гора грозилась. Ночь была прохладна, и облако над горой пылало; но пламень этот был сдержан, нереален и не пугал, а лишь напоминал... Но за восемнадцать километров, через весь голубой провал Неаполитанского залива, с балкона от Алексея Максимовича, Везувий юношески строен линиями и незабываем по краскам,— тот же морской ализарин, чуть поблекший от расслабляющего полдня.

Верно, от тоски по родине мне все же казалось тогда, что у нас, в Переяславле-Залесском, во много крат лучше...

Даже легкое приключение — от Неаполя до Кастелламаре нас провожал предупредительный, в черной рубашке и офицерских ремнях господин, которого к нам приставили из подозрений, что русские с подрывной целью едут в Сицилию, где у Муссолини размещались концентрационные лагеря,— не рассеяло сладкого, пожалуй, несколько утомительного очарования соррентинского утра. Кастелламаре соединено с Сорренто узкоколейным, видно довоенного образца, трамваем.

Полезное изобретение это приобрело здесь трогательный и несколько комический, вполне провинциальный характер. Вагон везет почту и газеты, вагоновожатого знают по имени, и многие по дороге с базара или на службу останавливают это скрипучее сооружение — справиться о письмах и вчерашних мировых происшествиях. Полвагона забито почтовыми сундуками и мешками неизвестного назначения, остальная половина уделена нам.

Пыль и зной!.. Пыль белая — от горы, отвесно ползущей слева; зной — голубой, и уже до самого вечера морю не одолеть его. Вагон скрежещет до зуда в зубах: у него такие игрушечные колеса, а путь далек. Целых два часа карабкается вверх по шоссе эта ленивая выдумка первобытной цивилизации. Мы наконец не выдерживаем и нанимаем таких же патриархально-старомодных извозчиков.

Застилающий глаза пот и утренняя дымка мешают видеть и запоминать. На каменной скамье, в прохладном провале входа, совсем как у нас, ищутся в головах две старухи. Овощная лавка,— глянцевитые овощи, высыпавшись наружу из черного окна, как из самой земной утробы, дышат знакомым запахом огорода, слепят и радуют взор, а лавочник дремлет под самодельным тентом, сам плотный и круглый, как овощ. Какая-то площадь, поскромней и попроще, чем на севере Италии, где

прежним жителям ее требовались монументальные и торжественные подмостки для столь щедрого на искусство и неистового в политике — существованья.

И вот Сорренто позади, а впереди, за поворотом, за коридором пропыленных маслин, агав и виноградников,— вилла, где проживает писатель М. Горький.

Снова пыль, почти такая же, как у нас (помню в особенности русскую пыль осенью 1920 года, когда наш подив-15 тащился из Тягинки в Берислав!). И тишина, потому что море глушит звуки, все звуки утра, кроме тягучего ослиного крика.

Отель *Минерва*, где останавливаются приезжие с родины посетители Горького,— обширный дом, полный безмолвия и, показалось мне, какой-то нежилой пустоты. Существование хозяев тут крайне проблематично. Комнаты нам готовы, кроме нас, постояльцев здесь нет. Я не успеваю толком поплескаться в воде — стук. Высокий человек, моложавый, в знакомых всему миру усах, в голубой рубашке и сам — как море и небо кругом — тоже какой-то голубой весь, стоит на пороге. Описание Горького надо начинать с его улыбки: она испытующая, с лукавой приглядкой, бесконечно дружественная.

— Ну, значит, вы мои гости,— говорит он, делая своеобразный жест рукой, причем большой палец энергически оттопырен. — Посмотрим, что такое за Леонов. Давайте-ка знакомиться. Что ж, очень я рад, что, вот, собрались ко мне.

— А когда же вы к нам, на родину? Теплые-то края и у нас найдутся!

Алексей Максимович смеется:

— Пожалуй, на следующую весну. Охота повидать друзей, по Волге проехать хочется... И вообще очень многое, знаете ли, хочу.

Первое впечатление от Горького: неистребимая способность заражаться интересами и настроениями молодых, и еще — благословенная, юношеская жадность к жизни. Я видел у него на столе все наши журналы от *Красной Нови* до *Батрачки* включительно. Он читает все и прислушивается ко всему. Поговорка, слышанная мною от мужика в Переяславле,— *делов, как у Максима Горького* — сложилась не без оснований. Трудно представить, что в следующем году ему будет шестьдесят.

Поездка в Сорренто оправдалась. В Сорренто я познакомился с *человеком* Алексеем Максимовичем Пешковым.

1927

О МЕЩАНСТВЕ

Считаю мещанство самой злой и не преодоленной покуда опасностью. Болезнь сидит глубоко, лечить ее трудно. Ветхозаветный мещанин прошлого ничто в сравнении со своим пореволюционным потомком. Нынешняя отрасль его, прокаленная огнем революции, хитра, предприимчива и мстительна. Аппетиты его велики, сожрать он может много, впрочем покамест он испуган и приглядывается. Защищенный отовсюду всевозможными жетонами благонадежности и стопроцентности, он тихо поедает корешки якобы отжившего дерева, и простаки вокруг чрезвычайно благодарны ему за это. Ибо мысль его течет гладко, не причиняя сомнения или вреда здоровью; речь его, исполненная энтузиастических громов, приятно убаюкивает кого следует. Он всегда торопится, забегает вперед, вечно суетится и достаточно кричит, в полной тишине, охраняемой милиционером. В искусстве он льет елей, сладкий на вкус, вызывающий изжогу у потребителя и тем более знаменательный, что в прежние времена его лили только на покойников. В критике он вооружен бичом, цель которого не исправлять, а внушать лютое оцепенение; рецензии он пишет только басом, но при случае и с дозволения может и наоборот. Лишенный творческого духа, он страшится стихийного творческого подъема, охватившего страну. Мне думается, что истинное имя его — ш а б л о н. Знаменитый сон библейского Моисея про семь тощих коров, пожравших семь своих тучных подруг, имеет к нему прямое отношение.

1929

ПОЕЗДКА В МАРГИАН

Видеть его надо непременно, и даже если не читать чудесной, с золотцем в ложбинках арабской вязи, еще сохранившейся кое-где на этой выжженной и вполне законченной странице, поездка в древний Маргиан, нынешний Мерв, остается не менее поучительной. Он совсем мертвый, старый Мерв, бывшая столица чего-то, и о таких прославленных мертвецах еще недавно писали приподнятым слогом. Но настало другое время, и вот — ни безмерный исторический песок, среди которого мы, шестеро, под предводительством редактора Брагинского катим по Туркмении, ни глиняное величие сравнительно частых памятников, всяких мазаров и мечетей, воздвигнутых тщеславием очередного завоевателя, уже не вдохновят нынешнего путешественника, особливо из командировочных, хотя бы на мимолетный вздох, а поэт не расщедрится даже на раскулаченное от рифм и размера стихотворение.

Нас не трогают эти безлюдные развалины. Мы познали железо и бетон, силу слитности, мудрую прелесть канализации, а словом вода привыкли обозначать не стоячий студень грязного арыка, а текучее и жизнетворное благо, одна мысль о котором доставляет прохладу. Да, наконец, и размеры великих человеческих сдвигов стали теперь куда внушительней, осмысленней и грозней, чем в смутные времена сирийца Антиоха... Это его рук дело, Мерв.

Есть старые города в Туркмении — Дурун, Каахка, Абиверд, Серакс,— история их порою бурней, а слава кровавей, чем у мировых городов Европы, но кто отыщет нынче на карте эти захудалые кишлаки? Кто теперь в Мерве помнит Ездигерда III Сасанида, убитого под его стенами, или Кутайбу ибн Муслима, распространителя ислама, или братоубийцу Мамуна,

Гарун-аль-Рашидова сына? Все они тоже посильно стремились закрепить свое имя в памяти людей, чем безумней — тем страшнее, уничтожали своих современников и самые дела их, срывали чужие стены и засыпали оросительные каналы, ибо знали: убить даже малый арык — больше, чем убить человека. Какой чудак помнит их имена? Они растворились начисто в бурях времени, и когда я, профессионального опыта ради и любопытства, спросил у купца на Мервском базаре о Тулуе, Чингисовом сыне, который семь веков назад растоптал Мерв, стены его и сады, библиотеки его и знаменитую Султан-Бентскую плотину, а заодно и полтора миллиона жителей его,— и город болел два с половиной века! — купец ответил через переводчика:

— Не слыхал... как его?.. Тулуй? Верно, он торгует на другом, соседнем, базаре!

Это был занятой человек: он торговал *насом*, порошкообразным, зловещего зеленого цвета табаком, который насыпают под язык и сосут для непонятного нам наслаждения. У его мешков стояла очередь покупателей, ему было некогда, и я не порешился отягощать его своими, все ради того же опыта, бесполезными сведениями.

В Старый Мерв надо ехать на запад от Байрам-Али,— это много ближе, чем от нынешнего полурусского Мерва, скучноватого, несмотря на все его европейские удобства и развлечения. Приезжий из пустыни, кроме зловещего кебаба, сможет заказать настоящий *ондрикот эталь ен*; при нас там даже выступал хор московских, под управлением самого Полякова, цыган и анонсировался приезд тоже всемирной славы борца и чемпиона М. П. Шелудякова!.. Они совсем не утомительны, эти десять километров верхом на бойких пограничных конях, среди достаточно живописных развалин, по крепкой и звонкой дороге. Десятки веков подряд ее утаптывали полчища племен, которых всегда с избытком нагоняло сюда капризными ветрами древней экономики, взад-вперед, армии и беженцы, обозы и рабы... кажется, что уже никакому ливню не размочить ее. Здесь проходил мировой тракт народов с Волги на Индию, из Китая на Москву, из Персии через Аму на Амур; за купцами шли солдаты, и по следам солдат — империя. Здесь именно созревали ветвистые деревья среднеазиатских династий и гибли, подсекаемые сложными историческими процессами. В этой видавшей виды столице, с которой по богатому разнообразию властей может сравняться только Киев времен гражданской войны, побывали Сасаниды, Тахириды, Саффариды, Саманиды,

Газневиды, Сельджукиды... руке утомительно переписывать эти обезличенные названья.

Мы выехали поздно, и полдень нас застал на переезде огромных валов и стен, может быть, тех же самых, которыми четыре века спустя Коушут-хан, последний вождь Теке, оборонял Мерв от зубастого русского торгового капитала. Издавна искал тут выхода себе в Азию русский хлеб. Еще Бекович-Черкасский, посол Петра, приезжал однажды якобы за золотом в эту дикую страну,— барабана из его кожи не сохранилось для любознательных потомков... Кажется, мы приближались к цели. В миражной пелене надвигались на нас какие-то глиняные конусообразные башни, чудом уцелевшие от здешних дождей, одиночество иссякших колодцев и руин, одинаково похожих на храмы и тюрьмы. Вдалеке влево высилось видение, подобное Акрополю,— совсем простая и серая колоннада его таяла, как бы растворялась в текучем воздухе пустыни. Вправо дрожала и двоилась в токах раскаленного воздуха такая же каменная громада с могучим проемом арки. Мы восхитились вслух: живому полагается быть благодарным и почтительным к трудам предков. Так вот он, Мерв, Марг, Маргиан, Моуру, как называл его македонец Александр,— пуп земной на Мургабе, центр исламистских праведников и ереси несторианской, ночлег каракумских ветров и могильник уснувших народов!

Любые старые, нежилые камни — немножко могильные камни,— я подъезжал к месту с чувством душевной стесненности, памятуя жуткое, потому что наземное, кладбище в Бухаре, откуда на лице и одежде как бы уносишь тонкий невещественный слой печали, смрада и безмолвия. Но я зря готовился сопротивляться, тут все было привольно, раскрыто настежь гостям и солнцу, нигде не виднелось преграды ни глазу, ни моему красноармейскому коню. Лишь бы нарушить слишком уж торжественное молчание наше, я сказал своему соседу, сопровождавшему нас командиру пограничного эскадрона,— въезжаем, дескать.

— Давно въехали... а вон и сам Санджар перед нами! — отвечал тот и показал на мерцавший в голубой дымке купол знаменитой мечети впереди, куда в полосатой куртке и кепке с козырьком назад уже скакал наш попутчик по писательской бригаде на рослой, чуть не вчера еще басмаческой кобыле.

Она совсем особая здесь, тишина, подобно надежному рву охраняющая праздное величие Санджаровой гробницы. Она помогает глубже проникнуть в смысл этой потрепанной летописи,

начертанной на забытом языке. Ничто не мешает моим почтительным впечатленьям: здесь не щелкают кодаки, не вздыхают благоговейные рантье, не взимают за вход, не штрафуют за брошенный окурок. Изредка на пути к мертвому арыку проскользнет то птица, серая, как ящерица, то ящерица, быстрая, как птица. Мы слезаем с коней, едкий песчаный прах перестает дымиться из-под их копыт. И сразу зной падает на наши головы, ноги царапают шипы яндака, верблюжьей колючки, а икры тягуче болят от стремянных ремней. Мелкая полосатая тень, агама, бежит от шороха шагов и зарывается в песок,— я обхожу. У высыхающей лужи, этакой микроскопической сардобы и единственного намека на здешнюю весну, греется круглый камень. Я наклоняюсь, из него тотчас рождаются морщинистые ножки с коготками и черепашья голова, и камень неторопливо уползает...

Не сразу мы отыскали человека здесь. Он был из древнего племени джемшидов, приставленный, видно, на охрану девятивековой Санджаровой могилы. Недвижно и на корточках сидел он в нише облупившейся стены, молитвенно уставясь себе в колени. Склоненная чалма, узаконенные сорок метров грязноватого миткаля, потребные на саван жителю пустыни, мешали мне видеть его лицо. Я кашлял, трижды снимал его в упор, несдержанно выражал некоторые соображения мои по поводу фотохимтрестовских пластинок, застревавших в кассетах; джемшид, подобно давешней агаме, прятался в вековое оцепенение свое. Тогда я сунул ему в темную ладонь новехонький советский полтинник: за любопытство платят. Страж благодарно коснулся бороды, и на мгновенье я увидел его глаза, незрячие, равнодушно и сквозь меня смотревшие куда-то в вечность.

Сама могила — глиняная, как бы оглаженная рукою времени, и рядом — ее парадная султанская одежда, испещренная арабской надписью каменная плита. Наверно, когда-то сверху был настлан деревянный помост, но он износился или сожгли в кострах погонщики караванов, и плита упала вниз. Двухцветный флаг с тамгой на длинном древке, верно племенной знак исчезнувшего рода, склоняется над нею. Просторные стены мавзолея пусты, в углах устало щерятся кирпичи. Тут вдоволь пограбили все — и персидские и узбекские, а последними — хивинские, всего лишь в прошлом веке, аламаны. Из этих краев, сразу после российского завоевания, увозил свои коллекции монет и домашней утвари генерал Комаров. Другие наез-

жие обыватели растащили для своих каминов драгоценные изразцы, перочинными ножами колупали на память себе тончайшие эмали Аннау, даже пытались выкрасть с фронтона многометрового китайского дракона. Крали все, и на всех хватало, но и уцелевшее еще способно радовать глаз. Взамен, как всюду на земле, они оставляли на оголенной штукатурке свои росписи, заследили стены разными фигурами в самых гомерических ракурсах,— я видел даже велосипед, с неизвестной целью увековеченный здесь особо прочными чернилами и в натуральную величину. Имя Санджара стерлось и поблекло, но имена дураков сияют во всей своей первобытной наготе; даже под самым куполом мавзолея, на высоте добрых четырех этажей, куда ни лестниц нет, ни проходов, семеро непостижимым образом увековечили себя.

Сверху, из галереи, опоясавшей купол, видны раскаленные пространства Туркмении. Они истрескались от жажды, даже вездесущая солянка и дикие каперцы не растут на них. Бывают города-вдовы, такой мне показалась Генуя, могучая, пестрая, рыбацкая вдова, еще способная утешить иного изголодавшегося моряка; я видел в 1927 году Вену, грустную, тогда еще неутешную и с заплаканными глазами вдову как бы присяжного поверенного; тут перед нами лежал скелет вдовы, без счета любимой и бессчетно топтанной,— легионы мужей побывали в ее обширной постели!.. Изобилие света слепит,— при диафрагме девять и при четырехкратном светофильтре надо брать одну сотую. Жара усиливается, и глаз невольно обращается к прохладной нише джемшида, который вдруг куда-то исчез, как и положено видениям. Зато внизу ждет новая встреча: охотник за змеями. Его инструмент — суковатый посох с заточенным гвоздем, которым он метко бьет в голову свою добычу. Связка этого гадкого товара уже ходит по рукам любознательных спутников моих. Старик лукаво смеется, он хитер, не по годам быстр в движениях. Непонятная горловая речь его весела, ему нравится его ремесло, и, верно, он думает, что и мы не прочь стать охотниками за змеями. Госторг платит ему по четвертаку со змеиного метра, а он успел набить их уже полтысячи за два прошлых месяца. Из этих полупрозрачных шкурок, которые сейчас глухо шуршат в проворных руках охотника и которые подорожают во много раз после переезда границы, изысканные буржуазки нашьют себе сумочки, туфельки и всякую там еще сверхмодную бесполезность... Алло, Европа, меняем змеиные шкурки на трактора!

Мы движемся по дуге огромного, произвольного круга, и тогда оказывается, что мы не одни здесь. В простенке между двумя *мазарами*, гробницами святых, на чистеньком дворике гнусаво и без всякого стесненья причитает мулла... наверно, мулла! Кому иному надо в полдневном пекле взывать здесь, у этой опрятной, но вконец растрескавшейся, осыпающейся руины? Она крепко устала, ей хочется скинуть с себя прекрасный панцирь лиловой глазури, слиться с породившей ее землею, отдохнуть. Где-то вблизи должны находиться люди, для которых старается почтенное духовное лицо, но почему-то их незаметно, и глаз испытывает досадное смущение, как перед опечаткой.

— Это гробница Байрама и Али,— сообщает один из красноармейцев, чуваш, только что расспрашивавший меня о различиях нынешних у нас литературных группировок... Да-да, я читал где-то про героического Байрам-хана, оборонявшегося от бухарских узбеков, но кто Али?.. и неужели так постарела за полтора века рассчитанная на вечность красота? Он вполне годится в гиды, этот удивительный парень, коренастый и темный от загара, кроме того, знающий толк в разных каракумских передрягах с басмачами. Боевая, в ядовито-желтых ножнах шашка на бедре его висит как-то чрезвычайно обстоятельно и к месту,— без нее он был бы менее красив.

Я обхожу дворик кругом. Мой фотоаппарат жадничает и торопится, потому что лицо сегодняшней Туркмении меняется. Кто знает, может быть, завтра и впрямь разворошат и запахают все эти древние дувалы, пропитанные солнцем и азотом,— они отменные удобренья, по утвержденью здешних агрономов. Сегодня еще во многом походит на вчера, но завтра вряд ли станет походить на сегодня — после завершения намеченных к постройке ирригационных сооружений, хлопковых плантаций и заводов, электростанций и шелкомотальных фабрик. В борьбе за новое Туркмении прежде всего придется скинуть с себя нарядные лохмотья среднеазиатской экзотики, под которыми прячутся нищета, высокая заболеваемость, невежество.

Мне пришлось говорить об этом в Ашхабаде на одном людном вечере, и мне возражал человек в довольно пышном белом *тельпеке* — вроде русской папахи: он полагал, что под экзотикой подразумевается национальная туркменская культура. Немыслимо, чтобы этот патриот протестовал против электрической лампочки в кибитке, против лечебниц в аулах, против стоячих ковродельческих станков... А лечение местных знахарей, табибов, применяющих, к примеру, такие своеобразные

хирургические воздействия на бесплодных женщин, за которые у нас давным-давно судят и ссылают в прохладные места? А кишлак Ших в Чарджуйском округе с деревом над могилой местного праведника? В дупле там хранится святая вода, с помощью которой, через совместное омовение глаз, больные трахомой паломники распространяют ее в народе. А унылая туркменская нова́, доныне применяемая для полива полей с ее пятью рабскими процентами полезного действия? А выдача несовершеннолетних девочек замуж? А то примечательное обстоятельство, что в 1924 году на всю республику, превосходящую размерами почти любую европейскую страну, приходилось всего сорок восемь врачей, из которых семь зубных... да и те сидели в городах? Впрочем, вечер был довольно шумный: будем считать, что мы взаимно не поняли друг друга!

Наконец я отыскал тех, для кого мытарил себя на полном солнцепеке мулла. В тени глинобитной пристройки на потертом хурджуме и наедине с закопченным медным кувшином сидел старик. В его запухших, изъеденных трахомой глазах криво и тускло отражалась вся эта торжественная каменная ветошь. Не меньше получаса пробыли мы там, он не сдвинулся: видать, нагляделся на белый свет и некуда было торопиться. Рядом стояла кибитка, круглый, обернутый кошмой шатер. Оттуда выполз давно не мытый мальчуган, и глаза его из-под тронутых трахомой век смотрели тяжко и строго. Мать его сидела тут же, молодая и уже старая от непосильной работы, но на голове ее красовался тот высокий конусообразный, унизанный монетами головной убор, какие носят все замужние женщины Туркмении. Он называется соммок и весит от восьми до девяти фунтов; за Мервом, по дороге на Кушку, вес его еще возрастает за счет украшений из серебра. В районе Сары-Язы он зачастую бывает причиной туберкулеза шейных позвонков: его не снимают никогда. Вместе с яшмаком, повязкой, надеваемой женщине в знак покорности на рот, это вполне стоит знаменитой паранджи, сплетаемой из конского волоса!.. И тут в плывучую полдневную жару всочился гудок из города: на хлопковом заводе вступала новая смена. Густой и толстый звук его как бы зачеркивал крест-накрест унылое величие прошлого.

Беллетристу трудно писать о наступающих переменах, потому что новые формы местной жизни еще не устоялись и меняются так же быстро, как бегучие весенние облака в байрамалийском небе. В царском дворце здесь с удобством разместился агротехникум, где преподается стратегия будущих боев за

землю — с пустыней, которая начинает отступать, как в Керках, на Боссагинском канале. Социализм для Туркмении — это Советская власть плюс вода, а вода плюс неодолимое туркменское солнце — это хлопок, шелк, урюк, мед, масло, все, из чего делается жизнь.

Лошади не стоят, мы возвращаемся гуськом, и снова полосатая куртка попутчика розовеет над сухими рвами, утерявшими вдруг все свое очарование. Наш отряд отправляется домой, и снова командир рассказывает в дороге про боевые переходы в песках, про один из последних рейсов легендарного хорезмского басмача Джунаида. В спину нам задувает знойный афганец, жара путает мои мысли,— мне вспоминается почему-то, как в Кушке на клубном, давным-давно без сукна, бильярде играли тамошние армейцы. Рабочим их рукам не даются легкие прикосновенья и толчки; шары скачут через лузы, с костяным звуком выпрыгивают на пол. И это напоминает мне опять про тяжкие сабельные удары из рассказа пограничника, спутника нашего, про некоторые жаркие каракумские схватки с басмачами Ибрагим-бека... Потом красноармейские кони переходят в карьер, ища в стремительном беге прохлады. Их копыта дробят и разбрызгивают в стороны глазурованный щебень прошлого, щедро раскиданный тут и такой же голубой, как небо над головою.

1930

О ГОРЬКОМ

Можно пока начертить лишь наброски к портрету этого человека, могуче вставшего на рубеже двух значительнейших наших эпох. Влияние его на два смежных поколения до очевидности огромно. Мне кажется, уже по величине этого влияния, сказавшегося в самых различных областях жизни, можно определить размер дел и свершений этого человека, как когда-то грек Фалес, к великому изумлению Амазиса, измерил высоту пирамиды по длине ее солнечной тени. Ни один из литераторов русских, за исключением разве тех, кто уже приобрел бронзовую неподвижность в нашем сознании, чья слава скоплена за целое столетие, не имел такой популярности в народе. Его знают, читают все, должно быть потому, что и вышел он оттуда, из самой гущи,— выдавила его из себя земля, как кряж, как обломок скалы, как ветвистое и полнолиственное дерево, и за весь свой сорокалетний писательский путь он не изменил своей начальной песне.

Буревестнику и не было иного пути. Революция — вот тот огненный воздух, о который опираются его крылья. Не мудрено, что это один из немногих старых писателей и, во всяком случае, единственный такого масштаба мастер, оставшийся вместе с нами. Мы помним то время, когда в литературе нашей стало вдруг как-то пусто и холодно. Будущее писательское поколение находилось в Красной Армии. Писатели приходили к литературе в рваных солдатских шинелях, в военкомовских френчах и почти всегда растерянные перед размерами того громадного литературного наследства, которое нужно было освоить, и еще более перед лицом задач, которые предстояло осуще-

ствить. Революция давала литературной молодежи материал и опыт, которыми не располагал, пожалуй, ни один из ее предшественников. Но палитра молодых, как правило, вначале бывала бедна, им не хватало красок для полноголосого повествования о своей эпохе. Не их в том вина: основной колорит в революции — красный. Это цвет площадей в восстании, знамен и пролитой крови, цвет героических страстей и народного гнева. И мы еще не владели изощренным аналитическим зрением, чтоб различить в нем расточительное изобилие разных оттенков. Понятно, что неискушенным в таинствах видения и изображения мира палитры этой хватало зачастую только на плакат. Поэтому нам обязательно следовало воспользоваться тем литературным наследством, которое ближе всего стояло к нам по духу и по времени. И здесь именно Горький сыграл неизмеримую роль в оформлении нашей молодой литературной поросли. Литературная молодежь стремилась воспринять у Горького значительную часть его изобразительного инструментария. Я имею в виду и необычайную по художественной точности выразительность горьковского образа, словно вырезанного на меди, и монументальность и вместе с тем почти афористическую лаконичность его персонажей, и внутреннюю мелодию чистой горьковской фразы, и романтическую взволнованность стиля, и еще многое другое, что, несомненно, обогатило наш литературный арсенал.

Этой учебе у Горького в особенности способствовало еще и то немаловажное обстоятельство, что вряд ли во всей русской литературе существовал другой, подобный Горькому, наставник и верный друг молодых литераторов, которые приходили ему на смену.

Нас мало хвалили, да мы и не привыкли. Было бы наивно тратить время на подведение итогов работе, которая только начата. Главным образом нас ругали — иногда за дело, иногда зря. Правда, многие из наших ругателей со временем нашли применение своей резвости в иных общеполезных областях. Но действительно все мы сделали еще слишком мало из того, что возложено историей на наше поколенье, настанет время — оглянемся!

Однако поддержка молодому художнику нужна всегда. Когда после первой книги, которая, как нефтяной фонтан, выбивает порою внезапно, даже помимо воли, наступает пора не-

ких полугамлетических раздумий и сомнений, вот здесь-то и следует шепнуть автору хорошее товарищеское слово одобрения. И хотя от доброго слова не обедняешь,— признаемся вслух! — мы мало имели даже и этих добрых слов. Старые писатели не довершили своего долга к литературным наследникам; иное разбежалось, чтобы в приливе политического и всякого иного сальеризма дребезжать за рубежом, иное истаяло, истлело, не вынеся испытания революцией. Ведущую роль — в данном случае в весьма многих отраслях советского искусства — сыграл и играет один Горький.

Редкий из нас не имеет писем от него, полученных именно тогда, когда мы в особенности нуждались в них. Это дружеское участие и поддержка мастера, которому мы верим безусловно, не раз давали нам силу для дальнейшей работы; большая доля в успехах пореволюционной литературы принадлежит ему, Алексею Максимовичу. Случалось, Горький ошибался, хваля литератора, впоследствии не оправдавшего надежд; и все же насколько мудрее похвалить, поддержать даже малый, даже хилый росток, чем в железных сапогах бегать по едва засеянным нивам!

За немногими исключениями, у нас не было критики; у нас был один критик — наш современник, наш старший товарищ Максим Горький.

Близко я узнал Алексея Максимовича позднее других, только в 1927 году, хотя переписку вел с ним и раньше. Первая встреча произошла в маленьком альберго, воротами в ворота с домом, где постоянно жил Горький. Провинциальный домик этот, с колючими и пыльными опунциями на каменной, слепящей на солнце ограде, находится почти на самом соррентинском мысу. Его знают все гости Алексея Максимовича — писатели, профессора, наши ударники-рабочие, путешествующие вокруг Европы, инженеры, наблюдающие за выполнением наших заграничных заказов,— все соотечественники, посетившие Алексея Максимовича в его итальянском уединении.

Альберго, сиречь гостиница, носит архаичное название М и н е р в а. Возможно, когда-то, в дофиникийские времена, на этом месте и стоял храм строгой римской богини, построенный Улиссом, если верить Страбону и Сенеке. Кажется, в этой благословенной голубой чаше, выточенной морем среди дымчатых, миражных гор, и встретил впервые знаменитый странствова-

тель чудовищного Полифема — так, по крайней мере, уверяет Фукидид... Мы — я ехал с женой, да и ехали-то мы сушей! — уже не имели Улиссовых приключений, ни лестригонов, ни сирен. Полифема же изображал обычного своего вида и местного происхождения шпик, что похаживал взад-вперед у горьковской виллы,— по-видимому, семейный и очень положительный синьор в богатых усах, с зонтиком и в лихо приспущенной до бровей борсалине. Глаз, по случайной оказии, шпик имел действительно один, но помещался он в том самом нормальном месте, где его имеет всякий другой итальянец. Да автор и сам мало походил на Улисса,— в то знойное сверкающее утро одет я был в плотный шерстяной костюм, в полную, как это у нас говорится, тройку, основательно прилипшую к телу, а поверх всего имел на себе добротный макинтош на подкладке, не уместившийся в чемодане. Словом, я крайне походил на европейца, как понимают у нас это дело где-нибудь в Воронежской епархии. Оглушенный впечатлениями,— они очаровательны, эти крохотные итальянские города, раскиданные по полуострову, как драгоценные эльзевиры, полные неистребимых воспоминаний! — я приводил себя в порядок, склонив голову к тазу с водой, когда услышал над собой этот голос:

— Так вот, это, значит, и есть Леонов. Давайте знакомиться, нуте-с! — или что-то в этом роде.

Человек этот был высок и костист; его сутуловатость, мне показалось, происходила не от возраста, а от желания быть проще, ближе к людям; его голубоватая, грубой ткани рубашка легко связывалась в памяти с колоритом того моря, на которое я уже нагляделся из скрипучего соррентинского трамвая. Broскими движениями он приглаживал усы, которые я давно уже знал по портретам. Он глядел в меня чуть искоса, как будто так меня лучше было видно. Когда обычную церемонию знакомства следовало почитать законченной, человек этот, одетый как бы в море, позвал завтракать к себе.

И вдруг все стало очень просто, точно мы были знакомы уже давно, только не видались целое десятилетие. Странно, беседуя с Горьким, никогда не чувствуешь разницы возрастов.

И вот мы сидим на террасе дома. Вокруг разлита мерцающая дымка залива, и по ту сторону ее — убийца древних римских городов, угрожающий и Суррентуму, весь голубой, как юноша, только что получивший тогу, дремлет Везувий. Постоянное облачко над ним, как сновидение, то розовое на заре, то голубое в полдень. По его подножию трудолюбиво, десятка-

ми поколений, нарисованы веселые квадратики виноградников, витые ленточки дорог и желтые кубики Неаполя. В эти радужные издали камни, полонившие когда-то нашего живописца Щедрина, вписано больше, чем в самую емкую страницу истории.

Алексей Максимович рассказывает,— и то блеснет в его неторопливой, окающей речи жесткое слово Чудры, то мягкая ирония Луки, то хорошее угловатое слово Шакира; я не встречал таких увлекательных рассказчиков ранее. Внезапно он обрывает на полуслове и задает прямой вопрос о Москве, о стране, о людях ее, о делах их.

— Нуте-с? — И, неторопливо отряхивая с сигареты осыпающийся пепел, приглаживает усы.

Я не верю, чтобы он не знал чего-нибудь, что знаю я. Кажется, он поминутно выясняет объем твоих знаний о мире, и, видимо, это для него только способ быстро и досконально изучить собеседника. Сведения его точны, и точка зрения, с которой он видит предметы и явления, неизменна.

И когда он листает собеседника своего, как книгу, изредка задерживаясь на странице, написанной сумбурным стилем, тому никак не удается защититься от этой пронизывающей горьковской улыбки.

Я перечисляю все эти подробности потому, что права всетаки французская поговорка о непреложной верности первых впечатлений.

Я увидел тогда:

Целиком принадлежа России, этот человек вместе с тем не принадлежит ни к какой стране или нации. Его родина — земля, его нация — человечество. Культура его полновесна, знания точны, опыт глубок, а бережливая память его удивительна. И он привык, что помнит все. Когда он забывает — будь то название малоизвестной у нас зарубежной книги или фамилия третьестепенного писателя прошлого столетия,— он искренне сердится, прищелкивая пальцами, неторопливо ища, и всегда находит то, что утратилось, растворилось на протяжении пройденных лет.

Он сердится редко, и тогда переключает себя на улыбку, которая внимательна, иронична и настороженна. И если всетаки злость сильнее, лицо его становится просто грустным. Мы говорили об одном известном своими недобрыми деяниями человеке. И тогда у Горького сорвалось: «Да, это скотина!»

И мне показалось, что эта заслуженная характеристика выражает скорее степень сожаления, что и эта заподлецованная личность тоже имеет образ человеческий и подобие.

Работоспособность его громадна. Этот человек никогда не говорит о своей усталости,— или он не знает ее? На его рабочем столе я видел наши журналы, разрезанные и прочитанные, о существовании которых я и не подозревал, живя постоянно в Советском Союзе. Он успевает следить за всем, что печатается у нас, и отвечать на все письма, которые в чрезмерном изобилии поступают к нему со всех концов родины. Значительную часть сумки соррентинского почтальона занимает корреспонденция Горького. Ему пишут люди всяких профессий, самых различных областей человеческой деятельности. Я слышал шутку, похожую на правду, что Горький — это учреждение. Верно и то, что Горький принадлежит не только самому себе, и, во всяком случае,— не только одной литературе.

Горький — человек, удивительно поработавший над самим собой. И, познавая его почти нечеловеческий труд, испытываешь еще большее уважение к этому гражданину мира из нижегородского малярного цеха.

1932

ШЕКСПИРОВСКАЯ ПЛОЩАДНОСТЬ

В период, когда рабочий класс так могуче и победоносно выходит на историческую арену, мне кажется, нам нужно искусство острых социальных проблем, больших полотен, мощных социальных столкновений, глубокой философской насыщенности. Искусство должно запечатлеть самые мощные человеческие страсти, самые глубокие эмоции и бурные человеческие темпераменты. Это требует прежде всего от литературы очень большой точности и целеустремленности; от живописи — усердной работы над культурой рисунка (который почти выродился и на Западе и у нас), возрождения новой мелодии от музыки, а от драматургии — большей работы над техникой интриги, над лепкой образов и характеров, над диалектической механикой их столкновений.

В эпоху штурма, глубокого исторического натиска, который мы переживаем, всем родам искусства, а значит, и драматургии, должны быть присущи элементы эпичности. Это увеличит бронебойную силу нашего искусства в целом и драматургии, по своей природе наиболее способной воздействовать на огромные коллективы зрителей, в особенности. Запад подменивает сейчас идейное содержание драматургии чисто формалистическими, неврастеническими исканиями. Ясно поэтому, что не все то, что признано хорошим у них, нам следует без поправок и оговорок перенимать для себя. У них сейчас господство сумеречных настроений, отчаянных поисков выхода из тупика, мы же знаем, куда идем. Железная поступь наших будней требует монументальности, «шекспировской площадности». Поэтому неспроста наша литературно-политическая общественность заговорила сейчас так много о Шекспире, а наши театры — языком постановок самого Шекспира.

Но Шекспира на советской сцене я себе представляю не в трактовке вахтанговцев (Гамлет Акимова, каким бы блестящим и сверкающим этот спектакль ни был). В Западной Европе Шекспир подается сейчас под тонким соусом гурманского культурного скепсиса. Мы же не можем и не должны выхолащивать из Шекспира его огромное идейное содержание, его эмоциональную насыщенность, его непревзойденное умение ваять человеческие характеры и сталкивать их в неразрешимых потрясающих конфликтах.

Строить сегодня облик героя кое в чем хлопотливее, чем во времена классиков. По пути к главному им не приходилось тратить труд и время на такие, с позволенья сказать, мелочи, как выяснение материальных источников существованья. Сколько помнится, в галерее мировых персонажей, погибавших от яда, мысли и любви, никто не помирал просто с голоду. День Ставрогина и Онегина складывался из само собою подразумевающихся житейских, даже в необычности своей обычных дел и поступков. С другой стороны, это главное, подсознательное иногда, покамест или неинтересно, или недосягаемо для нашей молодой литературы. Вообще наш герой, как говорится, находится в периоде становления, и оттого писательскую работу нередко поводит, как сработанный из невыдержанного дерева шкаф. Не потому ли ограничиваемся мы порою показом героя во внешней борьбе, его ролью в истории, а не той внутренней духовной арены, где происходят у Шекспира главные бои. Нам придется терпеливо ждать своей зрелости.

В эту шекспировскую категорию включены и прочие классики, сверкающие грани единого тела всечеловеческой литературы от гениального творца Тартюфа до ваятеля трагедии о Скованном Прометее. Здесь, в кладовой с настежь распахнутыми дверьми, хранятся золотые слитки, выплавленные из громадных кусков людского бытия. Руда их — вдохновенье, боль и раздумье, в свою очередь — производные от событий всемирной истории. Это великие ценности, к которым как бы приложена повесть об их создании. Для нынешних художников важно, чтобы в необъятном сырье эпохи, в рассказе о современниках, порешивших стать могильщиками прошлого, они искали золотинки философского осмысления, без чего это не принимается на хранение в казну.

В прошлом году на Магнитострое лопнула труба, охлаждающая домну. Дело случилось зимой, при сорокаградусном морозе. Авария грозила остановкой домны на долгий срок. Ре-

монт было необходимо произвести немедленно, но в совершенно непреодолимых для человеческих возможностей условиях. Добровольцами вызвались несколько молодых партийцев-ударников. Они вошли в ледяную воду, и в течение восьми минут авария была ликвидирована.

Приблизительно таким почерком и чернилами пишутся сегодня все книги о современности. Принято считать, что в таком реалистическом добротном репортаже достаточно романтического гормона, чтобы поднять его на уровень подлинного искусства, но, мягко говоря и положа руку на сердце, не нуждается ли он в добавке чего-то, чтобы стать когда-нибудь не только классическим наследством для потомков, а просто фактом достаточной человеческой убедительности?

Итак, в ответ на заданный вопрос — я недавно закончил драматическую переработку романа Скутаревский, который, к слову сказать, мною первоначально и был задуман в форме драматического произведения. Основная тема и романа и драмы — показ интеллигента так называемой второй фазы принятия Октября. Первая фаза характеризовалась примерно такой социально-психологической установкой интеллигенции: «Ну что ж, я нахожусь на службе у рабочего класса, но мои старые традиции и мировоззрение остаются в своей полной чистоте и неприкосновенности». Вторая фаза характерна именно коренным пересмотром этих традиций и принятием Октября уже не только как совершившегося факта, но и идеологически, мировоззренчески, путем окончательного перехода на позиции рабочего класса. Показ такого идеологического переключения интеллигента значительно сложнее.

В драматической обработке Скутаревского я несколько сократил количество действующих лиц. Так, мною исключен из драмы Иван Петрович Геродов, а его функции переданы дополнительно Арсению Скутаревскому — сыну главного героя, роль которого в соответствии с этим в драме несколько выросла.

1933

ПРИЗЫВ К МУЖЕСТВУ

Вопросы, поднятые А. М. Горьким в его последних статьях, вполне своевременны и чрезвычайно важны для всех областей нашего искусства. Хоть и сам я в изобилии снабжен многими из тех недостатков, о которых идет речь в этой статье, беру на себя смелость вступить в дискуссию, ибо участие в ней считаю обязанностью каждого рядового работника художественного слова. Как всегда, тема, поднятая Горьким,— одна из главных тем нашей литературы, все еще неопытной и молодой. Это — прежде всего тема честного отношения к своему ремеслу.

В самом деле, производная всех других разделов нашего культурно-экономического бытия, литература наша должна была бы обладать сегодня и всеми их качествами. Могучее развитие всех участков нашего социалистического строительства за самый незначительный срок подняло их до мирового уровня. Наша политика, наша дипломатия, наша армия, наша наука котируются на соответствующих рынках не ниже политики, дипломатии, армии, науки всякой другой великой страны. Дела людей нашей страны приобретают и уже приобрели особые коэффициенты, отличающие их от таких же фактов, совершающихся за рубежом: впервые человеческие мысль и воля продвигаются в страну, «которая белым, глухонемым пока, пятном обозначена на картах». Имена Васенко и Усыскина, Сперанского и Шмидта стали действительно мировыми именами. Челябинск и Сталинград, Днепр и водный путь через Карелию — перестали быть только провинциальными, географическими точками и линиями. Все это факторы мирового значения, подлинные столицы будущего, если этим словом обозначить центры, вокруг которых располагаются магнитные поля доблести, чести и геройства. Казалось бы, и литература наша должна была занять главное место в мировой литературе. Все предпосылки для этого — налицо. Таким материалом не владел еще никто. Мы движемся вдоль огромных пространств, впервые рас-

чищенных от свалочных мест и кладбищ религии, собственности и старого семейного уклада. Нам суждено быть свидетелями возникновения новых, еще неслыханных человеческих страстей и устремлений. Мы живем в атмосфере, ионизированной передовыми идеями века. Мы наблюдаем удивительные процессы, сопровождающие наше движение вперед и вверх, в будущее, потому что страна наша сейчас — гигантская лаборатория, где куются — новая мораль, новые этические отношения и новая, социалистическая человечность.

До сих пор мы еще не заняли места, отведенного нам историей. Наши рукоделия качественно значительно разнятся от образцов подлинно большой литературы. С грехом пополам мы способны делать эпос, а также и сочинять пьесы и романы в «звеньях», «крыльях», «разделах», «перепадах», а до настоящей трагедии, которая, как мне кажется, одна может утвердить место нового человека в галерее мировых персонажей, нам еще далеко. Мы неуклюже ищем это трагическое в мелочах, которые лишь умаляют размах деяний нашего героя; мы ищем и не находим. Я не склонен разделять многочисленных упреков в отставании, которые мы слышим так часто, что почти готовы признаваться в сознательности этого отставания. Агрономам, приставленным к обширным нивам нашего искусства, пора примириться с тем, что каждый злак имеет право на какой-то минимальный вегетационный период, без которого невозможно полное созревание. И мы имеем достаточно плачевных примеров, когда ускорение этого срока шло в ущерб спелости и товарной ценности продукта. Дело не в том, что мы отстаем, а в том, что плохо видим. Новый человек приходит и распахивает дверь в этот прекрасный и несовершенный мир. Мы слышим его шаги то в Париже, то под Флоридсдорфом, то в Срединном Китае, то на Урале. Мы различаем его по частям: то приметим его ноги, приспособленные пройти расстояния, несоизмеримые со всеми пройденными путями вековой человеческой культуры; то его руки, достаточно смелые для того, чтобы разумно перестраивать планеты; его лоб, волевой еще в копоти домен, в пыли рудников, из которых он вышел. Нам аплодируют, даже когда мы сумеем отобразить какую-нибудь его деталь, но схватить его во весь рост в его динамике, в его замысле — на это еще не хватает ни нашей культуры, ни нашего мастерства. Среди мировых образов Гамлета, Эдипа, Шейлока, Каина (а они-то были эквивалентом делам и людям своего времени!), месивших кирпичи человеческой

культуры, его все еще нет. Признаемся вслух: иногда мы все еще дети, робкие и неумелые, иногда хитрые ремесленники, которым удалось за ловким фокусом и трюком спрятать свой промах, но всегда — неудачники.

Да, в литературе нашей еще не построено башен, откуда видны были бы завтрашний день и социалистические маршруты человечества. В своих книгах мы не делаем попытки наметить их хотя бы даже философским пунктиром. Мы все «отражаем», «отображаем» и не в силах дать хотя бы поверхностного абриса обетованной земли, куда неуклонно движется мир. Страшно думать, что мы даже не барабанщики этого величайшего похода. Писатель нашего времени обязан угадывать явления, прежде чем их зафиксирует статуправление, ставить многие проблемы раньше, чем их поставит наука. Самая специфика писательского взаимоотношения с миром в том и должна выразиться, чтобы наперед, хотя бы силуэтно предугадать исход событий... Вместе с тем мы не смеем оставлять в стороне и свои чисто профессиональные задачи. Никакая тема не оправдывает слабой формы. (Крайне неприятно прозвучала недавно статья одного видного и всеми уважаемого писателя, написанная в защиту т. Панферова и сделанная в форме апологии литературной корявости и непричесанности.) Необходимо требовать, чтобы, кроме проблемности, кроме интересной темы и увлекательного сюжета, наш художник ставил перед собой и задачи живописного, так сказать, порядка, касающиеся непосредственно его ремесла. Новый материал рождает и новые трудности его освоения, и переработки. Писательскую технику мы также не имеем права оставлять без внимания.

И вот лезет махровый натурализм, констатация фактов, любование острыми и блестящими подробностями,— так ребенок играет колесиками и шестеренками, не подозревая, что назначение их быть в совокупности умным часовым механизмом. И вот пишутся книги неопределенного цвета и формы без «верхнего этажа», без того необходимого гормона, который дал бы им неумертвение хотя бы на четверть века. Вырабатывается стандарт индустриального очерка, романа, пьесы (с непременной катастрофой посредине и геройством масс!), колхозной эпопеи (с непременным и лукавым мужичком, который сперва против, а потом — за!), зарубежной повести (с добродетелью и злом, выстроенным по ранжиру!), дежурного стихотворения в газете и журнале (где революционная мысль поэта заменяется бряцанием в какой-то не шибко внятный шаманский бубен!).

Название заготовляется впрок, на манер этикеток: рождение цеха, рождение героя, рождение завода, рождение мастера, рождение женщины: величаво и для авторской головы не затруднительно! Многие страницы таких книг известны читателю задолго до того, как они написаны. Один мой знакомый, яростный читатель, сказал мне, перелистывая на книжном прилавке одну общеизвестную книгу: «Мне кажется, я за это уже платил!» А ведь, кажется, и по возрасту, и по тому общественному вниманию, которым мы окружены, мы уже выросли из периода обшивания стандартных тематических каркасов. Пора книги наши поднять на высоту эпохи, пора насытить их свежим ветром, который уже дует нам в лицо из нашего будущего; пора закрыть тот замечательный логический интервал, который заключен между составными частями простой по внешности формулы: «у нас не было раньше индустрии — у нас она есть теперь!», потому что в него диалектически включены величайшие темы нашего времени.

Так называемая изящная литература — один из самых ответственных разделов советского искусства: ни в какой иной раздел философская мысль не входит в такой большой дозировке. Всегда было и будет: литература — это идеология века в художественных образах и человеческих очищениях, в деталях общественного бытия. Ныне литература перестала быть зеркалом домашней жизни отдельного персонажа; слишком ярко и выпукло во всем, вплоть до бутылки в руках прогульщика, играет могучее пламя эпохи. Слишком крепко сегодня все личное связано с общественным,— вот почему так много людей, посторонних нашей профессии, так часто и требовательно заглядывают в наш литературный цех. Ответственность писателя возрастает предельно. В любом образе, создаваемом им, отражаются качества и особенности эпохи. Уровень самых знаний его должен быть выше, самый инструментарий его — богаче, чем у какого-либо собрата нашего по перу в дореволюционное время. Почти всегда герои их — рантье, судьбу и день которого легко было компоновать в прямой зависимости от авторского замысла. Наш герой всегда имеет профессию, которая и есть социальный привод, соединяющий его с общественной действительностью. Мало знать его профессию,— мы должны проникнуть в философию его профессии, а может быть, и в рефлексологию его. Без всего этого образ наш вряд ли приобретет художественную убедительность и социальную правдивость. Конечно, это образует новые производственные трудности,

вырастающие далеко за пределы беллетристики. Но это — трудности роста, и нигде не сказано, что они непреодолимы.

Что же надо? Конечно, учиться. Это вовсе не стыдное слово в наше время (принято думать у обывателей, что писатель по совместительству — сам учитель жизни). Учиться — это первое условие роста и свойство подлинной молодости. И когда Горький зовет литературную молодежь учиться, я слышу в этом прежде всего призыв к мужеству, смелости, умению признаться в несовершенстве своего вчерашнего дня и учиться на своих ошибках. Без этого не бывает мастерства. (У нас слово м а с т е р зачастую звучит чем-то вроде звания заслуженного артиста республики или популярного «профессора-физиономиста», какого мне довелось недавно повстречать. Мастер — это очень много труда и воли, очень мало лавров и самонадеянности. Мастер — это тот, кто знает, что всякий исписанный лист бумаги — только испорченный лист бумаги. Мастер — это одно из качеств нового человека. По-видимому, при социализме на земле будут лишь мастера и их ученики.) Но каким бы писатель ни был сегодня, он во всяком случае должен уметь обращаться со своим главным инструментом — языком, должен уметь так осмыслить и организовать его, чтобы не быть на поводу у своей собственной записной книжки. В ряду высоких требований, какие вправе предъявлять нам наш современник и читатель, об этом, казалось, можно и не упоминать. Подразумевается, что это основное условие известно писателям. И нужно отдать справедливость тов. Панферову: это он заставил писательскую общественность с таким пристальным вниманием отнестись к вопросу о языке.

В эпоху труднейших общественных перестроек, войн или бурных классовых перемещений всегда стихийно появлялась новая лексика. Она всегда носила временный характер, и, конечно, имела право на существование та точка зрения, что это только серый хлеб военного времени. Зачастую лексика эта создавалась не только в силу необходимости отыскать обозначения каких-то новых понятий и явлений, но главным образом из-за поспешности самого процесса, когда люди попросту не имели времени найти точное определение явления и довольствовались звуковым суррогатом, почти междометием, непонятным без сопроводительного жеста, и, нередко, уродливым полуфабрикатом слова. Может быть, эти якобы новые слова и можно отыскать у Даля или в словарях областных наречий, которые издавались прежней Академией наук. Но не следует за-

бывать, что в такие времена неоправданный провинциализм, непонятный всему человеческому коллективу, имеет опасное, а порой и реакционное значение. Формулы нашей эпохи должны быть ясны и доступны, без тайников, где может спрятаться хотя бы зародыш социально зрелой мысли; они должны быть легко переводимы на другие языки,— в этом заключена немалая доля единства ведущей мысли нашей страны.

Такие штурмовые периоды в истории всякое старое понятие обычно испытывается кислотами скептицизма, критической переоценки, неминуемо проходит через рубанок новейших философских тезисов. Слово, очищенное от налипшей грязи, приобретает свою первоначальную чистоту и смысл (хлеб, любовь, товарищ — как хорошо и свежо звучит каждое из этих слов!). Но зато летит в изобилии словесная пыль и стружка. Нужно умное чутье художника, чтоб отделить эти отходы, этот лексический сор от подлинных образцов народного словотворчества. (Кстати, народ наш скорее можно упрекнуть в скупости на новые слова, чем в легкомысленном словесном новаторстве.) Далеко не все в этой временной лексике имеет право на включение в языковые богатства народа. Еще хуже, когда автора ослепляет эта летучая пыль, и он сам почти рабски вносит в свои произведения целиком эти сомнительные приобретения, отзывающие блатным жаргоном, и непроверенные новшества. И, наконец, совсем недопустимо, когда писатель, обольстясь этой метельной пестротой (а сорняки всегда цветисты и плодливы!), сам пытается навязать языку народа им самим изобретенные слова и сбыть их под шумок читателю во всеобщем переполохе. Пользы от этого предприятия сам он имеет мало. Вреда ему гораздо больше, ибо это прежде всего производит впечатление очень большой спешки, доверчивости, граничащей с легкомыслием, и, конечно, неряшливости. Да и вообще не пора ли, товарищи писатели, больше обращать внимание на уточнение идейных столкновений, на более совершенную игру ситуаций и определений, чем сооружать словесные нагромождения, подобные баррикадам, за которыми скрываются порой недостаточно логическая связность отдельной страницы, а иногда и несовершенная хроникальная композиция всей книги.

Внимательный критический взгляд на панферовский метод словесного оформления своих книг поэтому чрезвычайно уместен сейчас. Целый ряд торопливых критиков пытались сделать из метода этого писателя ведущий лозунг нашей литературы. Тов. Панферова, писателя несомненно талантливого,

стали уже измерять Бальзаком, и, кажется, он и сам понемножку начинал верить в это. Поспешность и непрочность этого триумфа крайне показательны для нынешних взаимоотношений между критиком и писателем. Как же проморгали они несколько примитивный способ показа крестьянства через метод словесного искажения, иногда прямого звукоподражательства — «трюжильный», «пыжжай», «скукожился», «леварюция» — линию наименьшего сопротивления? Как же они дешевую щекотную, правда, остроту жаргона приняли за действительную речь многомиллионного крестьянства нашего? Правда, колхозник еще не поднялся до того культурного уровня, на котором должен стоять подлинный строитель социализма. Но ведь помянутый-то Бальзак лепил свои образы посредством уточнения стиля мышления своего персонажа и лишь изредка акцентировал мысль идиотическим словом, которое играло роль подсобного сочного мазка. Как же не заметили они, что эта засоренность языка вела Панферова к неряшливости самого стиля (а в наших условиях «опрятность» стиля это не роскошь, а гигиена!) и дальше к несовершенству самой композиции, чрезмерно затянутой и сделанной по рецепту даже не хроники («Мертвые души» сделаны также хроникально), а скорее по образцу летописи «временных лет, откуда есть пошла русская земля...». Тот резонанс, который в кратчайший срок приобрели в писательской среде глубокие и мужественные статьи Алексея Максимовича, свидетельствует о том, что вопросы языка и стиля продолжают оставаться одним из наиболее уязвимых мест нашей литературы. И опять показательно, что писатель, а не критик заострил внимание литераторов на этом очень существенном явлении, без преодоления которого нам никогда не подняться (как это говорилось в старое доброе время!) на высшую ступень. Вся эта дискуссия нужна еще и потому, что тысячи молодых писателей в книгах наших ищут опыта по освоению труднейшего материала нашей эпохи и изучают его технологию, отличную от технологии всех прочих переходных эпох. Они прислушиваются к каждому слову этой дискуссии, и об этом следует помнить всем, кто высказывается сегодня об ошибках и достижениях Панферова. Единодушное объединение писательских мнений вокруг имени Горького лишний раз показывает, что литература наша, несмотря на все оговорки, успешно движется к разрешению тех высоких задач, которые я выше перечислил.

1934

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи, нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории. Я отваживаюсь повторить это, уже произнесенное здесь, не только потому, что повторение есть самая сильная из риторических фигур, но и потому, что это самая существенная предпосылка ко всякому выступлению с этой трибуны в эти торжественные дни. Отсюда вытекают и наши обязанности, и наши права, и наша гордость и трудности наши, и наше будущее гражданское удовлетворение, что в конце концов мы одолеем эти трудности. Конечно, ни в одну эпоху литератор не испытывал такой почетной и высокой ответственности, как сейчас. Это наше основное дело — показать в образах, глубоких и запоминающихся, великое столкновение идей, разработать хотя бы вчерне принципы новой морали и запечатлеть рождение еще неслыханного мира. Наш возраст позволяет нам надеяться, что мы еще будем свидетелями очень больших событий. Этот век, может быть, самый емкий исторический период из всех, через которые проходило человечество. На наших глазах будут образовываться все новые советские республики, в грозе и буре будет просыпаться самосознание колониальных стран, будут создаваться все более совершенные формы человеческого общежития.

Товарищи, мы еще будем участниками мировых конгрессов социалистической литературы, которые уже не уместятся в этом зале. В том большом доме, где мы встретимся еще не однажды, мы будем пожимать руки делегатов Африки, Австралии, Южной Америки. На повестке дня будут стоять уже не только вопросы, трактующие рождение нового человека, но вопросы могущественной борьбы со стихиями, все большего расширения деятельности человека в космосе.

Наш век — это утро новой эры. Но эта наша песенная пора, юность мира, когда народы только начинают вступать в великое социалистическое русло, не повторится больше никогда.

Именно это обстоятельство заставляет страну предъявлять особые, повышенные качественные требования к нашим произведениям. Художественная литература перестает быть только беллетристикой. Она становится одним из самых важных орудий в деле ваяния нового человека. Все качества хорошего резца должны стать непременным достоинством наших книг. Я имею в виду их прочность, их остроту, их закалку. Это одновременно касается как формальной стороны, так и идейной. Мы слышали здесь Никиту Изотова, текстильщицу Гурову, пионеров. Мы видели, как требователен и нетерпелив потребитель нашей продукции. Несмотря на гигантские темпы своего роста в сравнении с дореволюционным временем, советский массовый читатель не совсем еще достиг того окончательного уровня критического сознания, когда он сам, без указки, сможет разобраться, что в этом образе правдивого и что в нем от лукавого. Но тяга его к классикам показывает, что этот вкус совершенствуется, крепнет, проникает в самую толщу народной массы. Всякая фальшивая нота поэтому неизменно влечет к тому, что автор, пускай бессознательно, лишь затемняет великую правду, разъяснить которую он обязан по самому существу своего призвания. С другой стороны, мы видим, как все более раскалывается мир на две, очень неравные, части. Эти два лагеря слишком различны в своих политических тенденциях. В этом свете всякая наша идейная оплошность не есть ли, по крайней мере, неметкий выстрел в ту сторону, куда сейчас направлены пристальные взгляды всей страны? Итак, надо делать вещи, достойные времени. Выполнить это очень трудно, мы знаем все это по собственному опыту. Иногда кажется, что надо иметь втрое, вдесятеро больше мозга, сердца, мужества и мастерства, чтобы справиться с поставленной перед нами задачей. Это так же трудно, как на огромном лугу очертить контур тени, отброшенной грозовым облаком. Оно несется со скоростью, превышающей во много раз медлительную поступь искусства. Здесь и лежит причина отсутствия средней формы — рассказа и повести. Отсюда рождаются две основные струи в нашем художественном движении: можно или фотографировать стремительные тени гигантских вещей и их творцов, переполняющих нашу современность, или же пытаться в более монументальных жанрах искать ту эмоциональную формулу, по которой образуются эти суровые тучи, полные дождя и благодеяний для земли.

Удивительно, как сплетаются в современном человеке самые различные качества и свойства, образующие параллелограмм движущих сил. Поэт сегодня обязан быть философом. Философ не может не быть солдатом, готовым ежесекундно защищать свою идею, а наш солдат — я говорю о высоком звании красноармейца! — разве он не поэт во все периоды своего существования: и тогда, когда он гнал врага, сквозь нищету, голод и сыпняк провидя свое сверкающее будущее, и теперь, когда он стоит на страже у ворот в этот новый мир, полный зданий самой совершенной социальной архитектуры! И вот всякое ремесло сегодня сопряжено так или иначе с мечтательством, потому что всякая работа сегодня — не работа, если в нее не входят элементы подлинного творчества. Нельзя жить в эту эпоху, не видя огромной, во многом еще не законченной дороги вперед, выводящей нас за пределы видимых, привычных горизонтов. Наше искусство поэтому должно в еще большей степени содержать эти элементы мечтательства, вооруженного уже не только лирой и безоговорочной верой в свою победу, но и точным, безупречным знанием. Вот почему область, где мы работаем, привлекает такое пристальное внимание нашей общественности; вот почему наш съезд не может не быть значительным событием в культурной жизни страны; вот почему этот съезд подведет итоги и тому, насколько мы оправдали внимание партии, правительства и самой широкой читательской массы.

Мы пришли в гражданскую войну (я беру на себя смелость говорить от имени некоторой части моего литературного поколения) с кое-какой зарядкой старой культуры. Большинство из нас проходило первую литературную учебу в фронтовых газетах. Это определило нашу судьбу. Старое культурное наследие и те чрезвычайно поразительные вещи, свидетелями и прямыми участниками которых мы становились, были как бы двумя электродами. Получилось нечто вроде вольтовой дуги, с тем существенным отличием от ее физической сестры, что пламя ее воспламеняло, не сжигая. Нас привлекала тогда необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные нагромождения изверглутой лавы и могучее клубление сил, запертых в глубине жизни. Эта необычность материала зачастую прикрывала нашу литературную беспомощность. Мы все проходили тогда еще только через орнаментальную прозу, вычурную словесную вязь, как ребята радуясь дару повторять громовые слова взрослых. Мнилось порою,

любой кусок жизни этого периода годился бы в многопудовый роман, потому что он кровоточил, пульсировал и звенел в руках. Но невелика в литературе заслуга очевидца! Даже и об этом времени главное еще не написано. Семена этих тем лишь развеяны по ветру, и многое еще не проросло. В вялые паруса нашего поверхностного романтизма ударил грозовой ветер, и если они зазвучали, как бубен, то не революции ли мы обязаны всякими нашими успехами, если только они были? Разве соответствуют наши книги той гигантской породе людей, которые первыми принесли себя в жертву социалистической родине, которые завоевали нам право собраться здесь, в лучшем зале мировой столицы? На этот вопрос можно и не отвечать. Каждый из нас еще хранит память об этих людях и, надо надеяться, еще не вполне забыл своих собственных персонажей. Этот разрыв, этот интервал между искусством и жизнью, за самыми немногими исключениями, сохраняется и теперь. Мы все еще не научились писать словами, которые взрывались бы на бумаге, которые были бы топливом для самого мощного двигателя в нашей стране — коллективного сердца строителей социализма. Не казалось ли, товарищи, всем нам в разное время, что всякий исписанный нами лист бумаги — только испорченный нами лист? Большая литература измеряется такими вехами, как Пушкин, Толстой, Горький, а мы мельчим предоставленный нам новый отрезок на сантиметры, да и тех иногда не можем поделить между собой!

Упреки Горького, брошенные нам с этой трибуны, справедливы и своевременны. В самом деле, в стране, имеющей мировые достижения в любой области народной жизни, в стране, движимой передовыми идеями века, литература должна бы быть лучшей литературой мира. Всмотримся честно в то, с чем мы пришли на этот съезд, как еще много в нашем багаже набросков, черновиков, очень часто рационалистических, а иногда просто провинциальных по форме и содержанию. Не это ли главный и смертный наш порок, с которым следует бороться? В таком маленьком зеркале, как наше, не умещается центральный герой нашей эпохи. А все мы отлично знаем, что он уже вошел в мир, новый его хозяин, великий планировщик, будущий геометр нашей планеты. По богатству своих идей и замыслов он уже стал полноправным членом того мирового созвездия человеческих типов, членами которого были и Робинзон, и Кихот, и Фигаро, и Гамлет, и Безухов, и Эдип, и Фома Гордеев, и Рафаэль Валантен. Мы хорошо знаем все его отдельные черты, мы

романтизируем его отдельные качества, бессильные схватить его главное обобщительное свойство, делающее его земным (и в этом главная его сила), реальным и жизненным. И мне кажется, товарищи, есть только два способа изобразить его во весь рост, в правдивой гармоничности его пропорций. Один из них — отступить на целый век, чтобы хоть немного уменьшить оптический угол зрения, под которым он виден нам, современникам. Но это не может стать нашим методом. Это значило бы никогда не написать книги о нем. Мы вступаем в особый, чудесный мир, где развитие народного благосостояния, культурных потребностей, самого человеческого могущества происходит с величайшим ускорением, не известным ни одной науке. Отставание искусства, по моему убеждению, формула пока несколько запальчивая, может стать просто самоубийственной для нас. В этом случае мы навсегда упустим возможность стать поэтами своей эпохи, а та, которая придет следом за ней, неминуемо принесет авторов более сильных, творчески более одаренных, чем мы. Тогда мы окончательно потеряем наш удивительный материал, обладающий таинственным даром древнего Мидаса делать мудрым всякого, кто к нему прикоснется!

И есть другой способ, единственный,— стать равным по росту и прежде всего по творческой одержимости своему персонажу. Я говорю о еще большем, еще более гармоническом развитии личности автора, я говорю о его культуре и ее идейном наполнении. Я хотел бы, чтобы автор моего времени научился быть рядовым тружеником эпохи.

Это означает, что необходимо самому подняться на ту высоту, откуда виднее всего варварство вчерашнего каменного века, глубже осознать историческую силу новых истин, вся философская глубина и социальное величие которых в их простоте; сделаться, наконец, самому неотъемлемой частицей Советской власти, взявшей на себя Атлантову задачу построить общество на основах высшей, социалистической человечности. Тогда, товарищи, нам не придется тратить время на технологические ухищрения, переполняющие наши книги, на схоластические дискуссии, зачастую лишь разлагающие живое вещество литературы; нам не потребуется тогда думать о долговечности наших книг, потому что в самом материале этом заключается гормон бессмертия. Тогда мы будем иметь все основания сказать, что мы подготовили все для появления нового Горького в нашей стране.

1934

ПАДЕНИЕ ЗАРЯДЬЯ

Пройдите вдоль Красной площади, мимо праздничных трибун и Ленинского Мавзолея, мимо цветистых и великолепных нагромождений Василия Блаженного, мимо двух именитых бронзовых российских граждан, переменивших нынче свое местожительство; идите по Варварке до первой улочки направо, остановитесь в стороне, чтоб не сшибло вас грузовиком, и глядите вниз. Позади вас будут греметь шумные улицы пролетарской столицы, двигаться манифестации или скользить длинные и нарядные машины. И если вам интересно взглянуть на то, как сменяется жизнь великой столицы, спуститесь вниз по щербатой старомосковской мостовой. Лет двадцать назад вы увидели бы осевшие, окосолапевшие дома, церковки, перегородившие проезды, облезлые стены.

Когда-то она жила своей пестрой и дикарской жизнью, эта зарядьевская каменная труха. Что-то копошилось в этих изогнутых и узких норах, занесенных на планы под именем переулков Ершовых, Знаменских, Кривых и Мытных,— здесь когда-то стояла царева Мытная изба, где взимали дань со всех прибывающих товаров, отечественных и заморских. И, может быть, отсюда расползалась во все концы Москвы чудацкая затейливая цвель гнилого и безрадостного времени. Ее охраняли десятки всяких московских Никол, а здесь — Николы Мокрые, Мокринские, Москворецкие: даже на них сказалась близость воды... В тесном этом пространстве, огороженном с одной стороны Китайской стеной («киты» — земляные укрепленья), а с другой ограниченном рядами Живорыбным и Ямским, где простонародье покупало пищу и всякий ходовой товар,— всего было здесь набито понемногу. Здесь помещались грошовые бакалейные торгаши, москательные заведения последнего разряда, пирожные и обрезочные, откуда даже по ночам шибало

вкусной вонью жареных ветчинных обрезков; еврейские мясные лавки, казенки — и всегда толпился возле них всякий жалкий людской сброд; крутильные и золотоканительные заведения, свечные фабрички, извозчичьи трактиры и постоялые дворы. Здесь ютилась ремесленная голь — скорняки и картузники; тут уживались вместе армяне, персы, евреи и бородатейшие староверы. Все это торговало, двигалось, шумело испокон веков; на некоторых здешних фамилиях даже отразился их вековечный товар: помнится, имели здесь хреновщики свои торговые подвалы, и фамилия им за то была дадена — Хреновы. Наверно, так установилось со времен Ивана IV, когда в последний раз палили здешнее место татары и полсотни лет спустя таранил Китайскую стену Трубецкой, вышибая засевших за нею поляков.

В пору моего детства своеобразная степенность и даже благообразие сквозили из этой предельной скудости и нищеты; они обманывали любого пристального, но случайного наблюдателя. Какая-то яростная, крикливая окраска отличала весь строй здешнего бытия; она заставляла думать об этом месте как о далеком форпосте экзотической Азии в Москве... Но это был только задний двор Москвы, ее простонародный ширпотреб, ее громадная обжорка, поставлявшая вразнос любую снедь и закуску для Верхних торговых рядов, тогдашнего московского универмага.

В декрете, прекращавшем частную торговлю, был невидимо подписан приговор и всему мелкостному укладу жизни в здешней низинке. Она находилась за рядами, отсюда и ее название — Зарядье.

У моего деда была там крохотная бакалейная лавчонка. Его звали смешно: Леон Леонович Леонов. Он проторговал в Зарядье сорок девять лет и все время жил в темном полуподвале, среди толстых каменных, никогда не просыхающих стен, достаточно описанных в моих *Барсуках*. Этот дом Берга, в стенах которого при ломке обнаружены были небольшие хоромы времен царя Алексея, был, наверно, наиболее занятной в Зарядье дырой. Мне, мальчику, он казался огромным. Эта приземистая твердыня, выстроенная в бреду каким-нибудь спившимся прощелыгой, была хитроумно составлена из бесчисленных железных галереек, темных, с дырявыми полами коридоров, с закутками по сторонам, где бранилась нищета и орали новорожденные ребята,— осклизлых и на редкость крутых лестниц... Когда, после ареста отца, семья наша распадалась, младший

брат мой разбил голову о камень, катаясь по перилам на одной из них. Впрочем, он умер годом позже, провалившись в прорубь на Москва-реке. Скудные удовольствия бывали у зарядьевских детей!.. В верхний этаж этой коробки потехи ради вставлен был знаменитый Кукуевский трактир. Мальчишкой я бегал туда купить кипятку для чая; за чайник взимали семитку — две копейки. Вход был из подворотни, газовый рожок полыхал там круглые сутки, задуваемый ледяным сквозняком, и на лицах загулявших мастеровых, спускавшихся мне навстречу, лежал мертвенный, голубоватый отсвет газового пламени. И всегда потрясали мальчишечье воображение эти сводчатые потолки, орган с серебряными трубами, откуда почти круглосуточно неслась гортанная, задумчивая такая музыка, фальшивые пальмы, обвитые как бы войлоком, грубые и сытные яства на буфетной стойке, и бумажные, фуксинной раскраски цветы на ней, и, наконец, сами извозчики тех времен — как сидели они, молчаливые, с прямыми спинами, гоняли бесконечные чаи и прели в синих ватных полукафтаньях. При трактире помещался постоялый двор; лошадь же означает близость овса, а где овес — там и голуби. Стаи мирных, медлительных голубей беспрестанно кружились над всем пространством от Василия Блаженного до самых Проломных ворот, выходивших на реку.

Эта экзотическая пестрота была обманчива. В тесных каморках там проживали со своими семьями злые и чахоточные мастера мелких и неприметных ремесел. Жизнь у них была лютая и скорее заслуживала наименования жития. Искусство выжимания пота без одновременной поломки костей стояло очень высоко в Зарядье. И потому трудно было осудить этих задиристых, ожелтевших и очумелых от страшного труда, по двенадцати часов в сутки, людей за их манеру проводить время на этой планете. Как они лупили своих жен или учили родимых деток, памятно, наверно, многим зарядьевским старожилам. Единственной их утехой было выпить в праздничный день «для забвения жизни»,— формула эта запомнилась мне с самой начальной поры моего милого детства. Казенок в сей местности имелось достаточно, и пьянство процветало сверхъестественное, вплоть до появления зеленого змия и других клинических спутников белой горячки... И доселе помню, как двоюродный дядя, Сергей Андреич, сиживал, свесив ноги, на каменном подоконнике, призывая чертей, чтоб забрали его в свою дружную компанию.

Давайте вместе с вами спустимся в воображаемое Зарядье той поры. Утро, и от ближайшего Николы плывет по закоулкам тягучий великопостный благовест. Запоздалая метель нанесла за ночь сугробы синего, пушистого снега. Шагайте прямо целиной, все равно тропинки здесь протопчут не раньше полудня. У титанической тумбы, похожей на причал для морских кораблей, сидит нищий и тощий человек в опорках. У него нет ничего: ни бога, ни копейки, ни семьи, ни родины. На его губах, синих и раскусанных в кровь, отвращение и горечь; в его темных глазницах еще прячется хмельная, недобрая ночь. Мимо с лотками на головах проходят пирожники, семенят старухи-говельщицы с лисьими глазами и в лисьих шубах, бегут с картонками готового товара картузные мастера, блинщики торопятся с луковыми, из кислой гречневой муки блинками. Они направляются к казенке, в Ершов переулок, ибо будет утро — будут и пьяницы. Народное горе дружит с вином... Они проходят мимо, равнодушные, сосредоточась на мыслях о своей сегодняшней копейке, а человек смотрит вдогонку им безжалобным, насмешным взором и лепечет что-то вроде: «Летите, пчелки!»

Он корчится от холода и мерзости. Он жалок и беспомощен. И вот к нему приближается другой — благообразный, небольшого роста, бесстрашный. Посторонитесь, чтоб этот не задел вас своим колючим величием и брякающей амуницией! На нем черная суконная шинель, препоясанная ремнем и шашкой; на нем шапка с плоским донцем и металлической лентой, а на ней Георгий, поражающий змея — не этого, другого! Кроме того, три ряда медалей, крестов и других эмалированных вещиц. Мы, оборванные зарядские ребята, смотрим на его фантастические регалии и гадаем о чудесных подвигах, которые он совершил в молодые годы на полях сражений. Он движется к тумбе, скрипя сапогами и звеня,— кажется, вся империя отражается в его зрачках. Это городовой Басов, многолетний охранитель старомосковского благочиния.

Следите внимательно за всей процедурой скорой помощи и испытанного царского здравоохранения. Басов нагибается, кряхтя от старости; он берет горсть снега вязаной рукавичкой. Попеременно он трет то правое, то левое ухо пропойцы. Он делает это усердно, он не жалеет снега; ножны его колотятся об откинутую голову пациента. Грязный кусочек розового ушного хряща багровеет, пухнет, и вот в трещинке, скупая, родится капелька крови. «В мастеровом, как известно, лишней крови

нет!» Человек стонет, извиваясь от басовских манипуляций, и стыдно думать, что, наверно, его жена, его дети, его мать смотрят на это откуда-то сверху, дыханьем протаяв гляделку в замерзшем тесном окошке.

— Ничего, все на свете поправимое! — учительно внушает Басов и заодно протирает снегом лицо, где придется. — Вино не должно разума отшибать...

Может быть, он говорит не этими словами, но смысл его реченья таков. И человек вскакивает и несется куда-то наобум, слепой от боли и униженья. Ах, Басов-Басов, отец родимый убогих зарядьевских людей!

Городовой бредет дальше, к лавке деда, и на снегу остается глубокая колея от его шашки... Дед был чудак, о нем ходили анекдоты, ему по-своему отдавала дань почтенья и покровительствовала московская шпана. По утрам у его лавки собирались опойные, в опорках, юродивые фигуры с Хитрова рынка, обломки людей, вышвырнутых по ненадобности за борт жизни, на горьковское д н о, рваный человеческий утиль. Они тащились к нему просить на нездоровье, на семейное горе, на построение сгоревшей избы в несуществующем селенье, на стихийное бедствие, а самые откровенные — просто так, выпить огуречного рассольцу для опохмелки. Дед был слабый человек, он давал всем. Когда он умер в семнадцатом году, целая когорта этих свирепых горемык молчаливо провожала его на кладбище.

Басова всегда сердили эти сборища:

— Не дело, Леон Леопыч!

— Так ведь, эва, просят...

— Все одно, гони.

Предосудительного за дедом, кроме сына-арестанта, посаженного в 1905 году, не числилось ничего. За всю свою очень долгую жизнь дед не выходил никуда, кроме Чудова монастыря да Суконных (то есть купца Суконнова) бань в Замоскворечье. В довершение всего он был неграмотен, — лучший паспорт благонадежности в те времена. Но беда, у него был сын Максим, давно уже взятый Басовым под наблюденье. Молва приписывала этому черному, длинноволосому человеку, окончившему полтора класса сельской школы, склонность к чтению крамольных книжек вслух; прибавляли также, что он «сочинял нечто в рифмах» и от себя. В начале жизни отец служил м о л о д ц о м, как называлась тогда эта должность, в лавке у деда — резал хлеб, развешивал жареный рубец по цене двугри-

венный за фунт. Позже, однако, связался с каким-то литературным кружком, куда входили всякие самоучки — маляры, портные и просто шумливые мужики. Здесь началось его знакомство с Ф. Шкулевым, Спиридоном Дрожжиным, Е. Нечаевым и другими теперь совсем забытыми поэтами. В Зарядье литературы, можно сказать, не ценили, и свой сюртук, например, в котором отправлялся на литературные выступления, поэт Максим прятал в дворницкой. Собираясь в кружок, тайком переодевался у дворника, а на рассвете, возвращаясь через окно, чтобы не будить родителя, в той же дворницкой облачался в косоворотку и поддевку для приобретения прежнего зарядьевского обличья. В дальнейшем жизнь его усложнилась. По-видимому, ему мало стало одних дешевых изданий с Никольского рынка. Он стал пропадать чаще, на длительные сроки. Кончилось тем, что вещие пророчества соседей и предсказания Басова сбылись: после ряда мелких арестов Максим Леонов был изъят из жизни уже накрепко. Особое присутствие судебной палаты определило ему за издание брошюр Либкнехта и Розы Люксембург, сборников революционных песен и других популярных пособий — как за призыв к мятежу — год восемь месяцев крепости-одиночки, которую он и отбыл в Каменщиках, в Таганке.

Помянутые детали неотделимы в моем представлении от тогдашней Москвы. Вдвоем с бабушкой, первое время, отправлялись мы к отцу на свидание в популярную тогда Таганскую тюрьму; позже свидания стали почему-то невозможны. Мы ехали туда на конке,— гремучее сооружение на колесах, запряженное, кажется, четверкой унылых гробовых кляч. При подъеме в гору прицепляли еще пару таких же одров, и тогда к скрипу колес присоединялся визг кнутов и неистовые понуканья верховых. Я помню бескозырки тюремных солдат, галдеж переклички с родными, двойную проволочную сетку и за ней какое-то пыльное, разлинованное лицо отца... Мне памятно также его возвращенье в Зарядье. Совсем как на знаменитой картине: в ярко освещенных дверях появился высокий человек с белым узелком. Лицо его мне показалось черным. Он молчал, потом виновато улыбнулся. Я подбежал и стал развязывать узелок: верно, ждал гостинцев. Кажется, мне шел восьмой тогда.

Вплоть до самой высылки из Москвы отец заходил в Зарядье лишь изредка. В просторечии его здесь звали не иначе как леоновским арестантом, но со временем это слово звучало

уже не так оскорбительно, как прежде. В нем прятался какой-то полувопросительный оттенок. Басов при встречах отворачивался. Люди заходили к деду под пустяковым предлогом, чтоб взглянуть хотя глазком, какие бывают о н и. Им было любопытно, чего же добиваются эти люди. Приблизительно так же называлась та самая брошюра Либкнехта. Но и раньше случались события, заставлявшие задумываться иные неповоротливые умы. Однажды — мне запомнилось узкое, длинное окно и, хоть был февраль или апрель?.. какие-то путаные грозовые облака за ним — раздался гулкий удар, и взволнованно зазвенели стекла. Что-то произошло. Весь день в Зарядье было тревожно, а нам, как всегда ребятам, весело от предчувствия какой-то перемены. В воздухе запахло новизной. Мы с восторгом вслушивались в цоканье казачьих подков по булыжной московской мостовой. Вечером один картузник, с которого по памяти я списал моего Дудина в Барсуках, сообщил в лавке у деда, что грохнули бомбой князя Сергея. Он рассказывал каждому со злым упоением, как, услышав взрыв, бросился на звук и караульный офицер ударил его в лицо, но он продолжал свои попытки взглянуть на великого князя в таком редкостном виде, и офицер ударил его вторично. Москва услышала имя Каляева.

Отсюда, собственно, и началось истинное падение Зарядья. Спокойный лад бездумной здешней жизни обрывался у самого края новых времен. Стали чаще происходить аресты. Басов умер, и где теперь его медали — истории неизвестно. Другая такая же величина всезарядьевского масштаба, дьякон Иван Иванович от Николы Мокрого, стал шибко пить. У него имелись к тому причины личного характера: он уже старел, а все не удавалось ему получить собственный приход в безграничное духовное руководство. Это был жилистый, насквозь рыжий старик, циник и обладатель таких обжорных качеств, что невольно в голову взбредали былинные сравнения. Старый, древний поп жил и все скрипел, ему на досаду. Раз в церкви, во время его проповеди, дьякон толкнул бабушку в бок и шепнул на ухо о попе: «Гугнивый черт, ишь, как распинается!» Старуха шарахнулась в сторону, точно рушились стены, которые ко времени юности моей и рухнули наконец. Он жил, этот редкостный экземпляр зарядьевской породы, в крохотном домике возле церкви, где еще недавно помещалась, кажется, костюмерная мастерская... Мы проходим как раз мимо него, загляните в тесный дворик, упирающийся в самую Китайскую стену; для меня он незримо существует и теперь. Большой че-

ловеческий ветер прошел однажды по этой низине, и вековой мираж распался, и ни один камень не напомнит вам сейчас, что населяло эти грустные места. Трещины его непоправимы, чинить здесь нечего; иссякли те соки и гормоны, которые когда-то питали этот навеки омертвевший организм.

Через Проломные ворота, на которых ветер колеблет жалкие прутики приютившейся там зелени, мы выходим на набережную. Мы идем с вами, неизвестный друг, по отшлифованному автомобилями асфальту, столь несвойственному в моих воспоминаниях для здешних мест. Идите медленнее — этого стыдного и скорбного куска старомосковской жизни вы не увидите больше никогда. И если вам будут рассказывать про нарядность прежней жизни, про лихие русские тройки, про румяные пшеничные блины со снетками и другими специями, про московское гостеприимство, про душевный благовест сорока звонких московских сороков — вспомните Зарядье!.. Это изнанка развенчанного мифа. Здесь, где стоим мы с вами, когда-то шумел знаменитый Грибной рынок, что съезжался сюда со всей России на первой неделе великого поста. Сверкало всяческое изобилье, и русские фламандцы могли бы писать с натуры расписные лари со щепным товаром, с дугами, раскрашенными фуксином, с резными ковшами, корзинами узорчатого плетенья, с кадушками всех покроев, а в кадушках пахучие меды — и гриб, одинаковая утеха нищих и богачей. Гриб — черный, и белый, и красный,— в соленьях, в маринадах и сухой. А летом на славной Москва-реке, на этом самом месте, стояла обычная плавучая купальня: холст и тес, сшитые на скорую руку. То был публичный вертеп на воде. Мясистые пожилые девушки с наружностью римских матрон, в длинных пыльных юбках, в кофтах навыпуск, гуляли по набережной в ожидании жертв. Сторговавшись, они спускались к воде, и гибкие мостки трапа прогибались под тяжестью их перезрелых мерзостей. Оглянитесь: две из них ссорятся из-за клиента, и даже мы, мальчишки, жадные до происшествий и привычные ко всему, жмуримся и опускаем глаза. Вот одна поднимает подол и, хлопая себя по телу, выкрикивает бранные непристойности. Они валятся в воздух, как объедки из помойной бадьи. И бывалый городовой невдалеке, видимо, гурман и ходок по дамской части, покровительственно и деликатно подкручивает крашеные усы, прислушиваясь к музыке ссоры.

Не торопитесь уходить. Прежде чем вернуться в нашу Москву сороковых годов, взгляните вверх из зарядьевской

низины — в последний раз! Ваши глаза, ослепленные прошлым, пусть различат в туманном нашем небе контуры настоящей и будущей социалистической столицы. Позади вас шумит оживленный и веселый московский порт,— новые грузопотоки, прочертив страну, наложат свой особый отпечаток на характер московских пристаней. Гранитные ступени, террасы, поведут вас вверх, к мостам, осененным крылатыми фигурами народных героев. Восходящая линия лампионов отразится в полированных гранитных плоскостях этой лестницы. В линялом золоте московских куполов, видевших стрелецкие казни, голодные бунты, коронации царей и перебежки красногвардейцев, отразятся легкие балконы новых домов, их могучие колоннады, пропускающие под собою нарядный и счастливый людской поток, и глазастые окна, широко открытые солнцу. Прекрасные здания мудрой и неувядающей архитектуры обступят в отдалении Красную площадь. Так выглядят мечты и намерения москвичей в тридцатых годах.

По новым улицам, прорубленным сквозь каменную ветошь, мы пройдем с вами, мой спутник, через самый удивительный город мира. Мы встретим на своем пути гигантские стадионы, фабрики молодости и народного здоровья; мы побываем в аэропортах, полных еще невиданной конструкции летательных машин; мы послушаем, как поют птицы в наших будущих парках. Мы осуществим все это наяву потому, что мы не боимся работы, и еще потому, что мы этого хотим. Мечтайте же, потому что мечтать сегодня — это значит уже работать в полную нагрузку.

Москва строилась, облепляя себя домишками кольцо за кольцом. Но теперь она уже не прежняя Москва. И Зарядье сегодня — как петровский боярин, у которого отхватили клок его дремучей бороды: с тревожным, немножко виноватым и растерянным лицом.

И все же, несмотря на все перечисленные очевидности, мне грустно сегодня и жаль чего-то... чего?

1935

ЗНАМЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Станиславский был великим русским актером. Он стоит в одном ряду с Щепкиным, с Каратыгиным, он — один из родоначальников русского театра, человек, которому подражают во всем мире, мнение которого служило знаменем, человек, который создавал целые плеяды режиссеров, актеров, даже — театров.

Утрату эту разделяют в нашей стране все одинаково, так как советский театр — достояние народа. Особенно горька эта утрата потому, что Константин Сергеевич не дожил до юбилея, когда бы он мог воочию увидеть, как нежно, любовно народ, правительство, родина относятся к его детищу, созданному им вместе с другим гениальным человеком — Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко.

О Константине Сергеевиче много писали, напишут еще больше. Для нас всех остается только подражать ему в его неутомимом искательстве театральной правды, учиться у него строгости, честности в искусстве, любить это искусство, быть преданным до конца ему.

На мою долю выпала высокая честь работать вместе с ним, встречаться с ним в работе. Он ставил и выпускал в Художественном театре в 1927 году мой спектакль. Каждая беседа с ним была событием — так велик был его опыт, прозрение и понимание таинственных правил сценического искусства.

Я помню, как после неоднократных переделок пьесы я подошел однажды к Константину Сергеевичу на премьере Свадьбы Фигаро и спросил его мнение о последнем вари-

анте моего рукоделия. Он постучал длинными мускулистыми пальцами о спинку кресла — режиссерского кресла в восьмом ряду — и сказал в своей характерной манере, запинаясь и нажимая на каждое слово:

— Это... это... отличный,— он сделал ударение на этом слове и продолжал: — эскиз пьесы...

Этот человек умел требовать с нас, но он умел и сделать так, что нам без конца приятно и полезно было исполнять эти требования. Мы росли на них.

Прощайте, Константин Сергеевич!

1938

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Мальчишкой, забравшись на галерку, впервые смотрел я спектакли Художественного театра. Помню, было великим праздником достать билет. Все мои сверстники по гимназии считали это редкой удачей.

Взволнованный, завороженный, я следил за происходившим на сцене и по окончании спектакля, пока сдвигался занавес, стремглав бежал вниз, чтобы горячо аплодировать у рампы, глядя в лицо людям, которых научился любить, которые были необычайно близки и дороги всему моему поколению.

Красочная, волшебная правда, жившая на сцене, неотразимо притягивала к себе. Хотелось все ближе и ближе подойти к этому подлинному празднику искусства, как-то переступить отделявший от него рубеж, вмешаться самому в происходящее. Может быть, именно в эти минуты и зарождался за рампой будущий автор.

Трудно переоценить то влияние, которое оказал на меня Художественный театр. И как часто в работе над той или иной новой вещью, продумывая неподдающийся абзац, вдруг ощущаешь, что искомая формула была когда-то, очень давно, заложена во впечатлениях от спектаклей Художественного театра.

Еще в ту далекую пору родилось во мне огромное уважение к его артистам за душевную и умную серьезность, которая превращала актера в крупного общественного деятеля.

Каждое посещение Художественного театра становилось событием, которое долго светило внутри тебя, помогало думать, оформляло мысли, зарождало робкие собственные творческие замыслы.

Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина, Леонидова, Качалова, Книппер-Чехову мое поколение знает и крепко любит очень давно. Это наши друзья, вместе с которыми мы

прошли свою юность. К слову, у нас довольно часто случается такая дружба, когда занятые, перегруженные повседневными делами люди редко видят друг друга, и тем не менее, когда встречаются — встречаются как близкие, интимные друзья. А в промежутке между этими редкими радостными встречами не перестают ощущать крепкие и нерушимые дружеские связи.

К чувствам дружбы и восхищения чудесным, правдивым искусством, которые испытываешь в этом театре, присоединяется чувство особенно горячей благодарности к славным созидателям МХАТа, когда вспоминаешь, с какой принципиальностью и смелостью подлинных художников они защищали свои творческие позиции от нападок и посягательств со стороны обывателей или гурманов по части Мельпомены в первые годы существования Художественного театра.

Мне вспоминается один эпизод, происшедший всего несколько лет назад, уже в наше время, позволивший мне остро почувствовать обстановку и окружение Художественного театра в годы его возникновения.

На премьеру моей пьесы в МХАТ приехал известный художник И. С. Остроухов. Друг Левитана, Серова, Васнецова, суровый ценитель искусства и сам отличный пейзажист, человек, близкий к известному меценату и коллекционеру Третьякову, он в начальном десятилетии века занимал видное положение среди московской художественной знати. К его мнению, к его оценкам, по-видимому, прислушивался и К. С. Станиславский,— до могилы буду вспоминать его колючую и зоркую нежность к моим первым литературным рукоделиям. В свои последние годы Остроухов почти не выходил из дому.

Он появился в старомодном сюртуке, огромный и лысый, почти такой, как его изобразил Серов на знаменитом портрете, и был почтительно посажен в первом ряду. Очень взволнованный этим посещением, Константин Сергеевич почти подбежал к нему в антракте. Их беседа походила на примирение после длительной ссоры. Втроем мы отправились пить чай в дирекцию.

Мы сидели за столиком, сервированным в стиле неприкасаемого натюрморта. Мои собеседники являли собою поразительный контраст. Остроухов — громоздкий, с лицом и бородкой татарского мурзы, с громадными, по-стариковски лиловатыми руками. И Станиславский —седой, артистически благообразный и безмерного очарования «красавец-человек», по слову Горького.

Разговор не клеился, как всегда, после долгой размолвки. Наступила пауза мхатовской длительности, то есть полная особого значения, потом Остроухов хмуро спросил:

— Собираетесь, хм... — И опять пауза. — Еще что-нибудь намерены ставить, Константин Сергеич?

Видимо, это обращение — «Константин Сергеич» — уже было для Остроухова большой уступкой. Он, вероятно, предпочел бы сказать: «господин Алексеев».

— Да,— отвечал Станиславский и своеобычно постучал пальцами о стол,— хотим попробовать Мертвые души.

Остроухов неодобрительно заворочался, и мебель заскрипела под ним. Он пожевал губами и спросил строго:

— Хм... и тоже в новом стиле?

Уже десятилетия прошли с тех пор, как Художественный театр завоевал мировую славу, уже давно сценическое учение Станиславского получило общее признание, уже внуки Станиславского по искусству потрясали сердца зрителей, уже театральная семья Станиславского гигантски разрослась, разбросав своих последователей по всем передовым сценам мира.

И вдруг в этой саркастической реплике маститого русского живописца мне живо представилась обстановка того скепсиса и морального сопротивления, в атмосфере которого Художественный театр начинал когда-то в дощатом сарае под Москвой свое дело.

Стоит ли говорить об огромном волнении, которое я испытывал, когда мастера Художественного театра, знакомые мне и любимые мною с детства, играли в первой моей пьесе. По-видимому, пьеса эта была слабой, если даже участие в ней таких первоклассных мастеров не могло удержать ее в репертуаре театра, хотя для снятия этой пьесы имелись и другие, помимо автора, неодолимые причины.

Величественная зрелость Художественного театра, при которой мы присутствуем, не помешала этому чудесному творческому коллективу сохранить прежние юношеские одержимость и воспламененность. Нужно высоко ценить свойственные мхатовцам глубокое понимание текста и подтекста пьесы, их вдумчивое отношение к авторскому замыслу, умение очень тактично работать с драматургом.

Однажды, во время репетиции пьесы, ко мне позвонил И. М. Москвин — он играл роль Червакова.

— Приезжайте в театр,— сказал он мне как бы между прочим,— тут маленькое дельце к вам есть...

Когда я приехал, Иван Михайлович отвел меня в уголок и сунул мне в руки кусок роли.

— Прочтите-ка мне это сами,— попросил он.

Я попытался прочесть и сразу почувствовал, в чем дело. В написанных мною словах была какая-то фальшь, которая мешала актеру произносить их. Мы, авторы пьес, часто забываем о человеке, который должен будет, оставшись наедине со зрителем, произносить написанные нами слова. И если они не пройдут по какой-то заветной вольфрамовой нити в актерской душе, то не получится и необходимого накала. В Художественном театре умеют дать драматургу почувствовать это без всякого нажима.

Недавно мне еще раз пришлось убедиться в том, как глубоко и тщательно проникают мхатовцы в атмосферу драматургического произведения. В. Г. Сахновский, который ставил первую мою пьесу и ставит сейчас Половчанские сады и с которым на протяжении всех этих лет мы связаны большой творческой дружбой, потребовал от меня, чтобы я представил театру почти всю родословную ведущих героев пьесы. Я должен был подробно рассказать о жизни моих героев за пределами пьесы.

Это желание — с максимальной полнотой вжиться в создаваемые сценические образы — всегда отличало Художественный театр, каждый спектакль которого — только удачная, яркая выборка кусков из чужих громадных жизней. Поэтому полные глубокой жизненной правды спектакли МХАТа всегда кажутся куском действительности, начавшейся задолго до того, как распахнулся занавес с распростертой чайкой, и где-то безостановочно продолжающейся после того, как занавес опустился.

Как бесконечно жаль, что на этом празднике сорокалетия МХАТа — празднике для всех, кто хоть раз присутствовал на спектаклях Художественного театра,— не будет Константина Сергеевича Станиславского! И какое, давайте надеяться, почетное и ответственное Завтра предстоит талантливой молодежи театра-юбиляра!

1938

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕДАННЫЙ КРАЙ

Кино для меня всегда было областью неизвестной, некоей дальней страной, какой-то Южной Америкой, где действуют какие-то другие законы, где и растительность другая, и пейзаж, и нравы другие. Кино всегда манило меня и в то же самое время пугало.

Кино — искусство, одетое в ткани своеобразной специфики, искусство, имеющее, в противоположность всей остальной духовной деятельности человека, ограничение во времени. Как бы кинематографическое произведение искусно ни было сделано, за пределами его времени для него возникает смерть. Картина живет, процветает, собирает свою жатву в короткий срок и умирает.

Любая хроникальная картина способна пережить художественную.

Я с удовольствием смотрю старые хроникальные кадры, документальные фильмы. Но теперь я уже не мог бы пожертвовать собою для вторичного просмотра какой-нибудь старой ленты, например, картины Отец, которая когда-то потрясла не только меня, юного зрителя кинотеатра Наполеон на углу Гаврикова переулка, но и весь район моей юности от Каланчевки до Матросской Тишины включительно.

На вечерах старого художественного фильма мы чувствуем себя как в музее.

Я полагаю, что короткая жизнь художественного фильма связана с техникой, с механизмом его создания. Самое лучшее авто 1912 года, в котором ездили европейские министры, сегодня смешно. Такими же смешными будут казаться через несколько лет сегодняшние бьюики и кадиллаки.

Спектакль эмоционально заразителен, потому что его играет живой человек. Когда играет живой актер, зрителю непо-

средственно передается вольтаж актерского темперамента, эмоциональный его накал. На пленке же, видимо, как в консервной банке, убиваются живые витамины и калории человеческих чувств, заготовленных впрок.

Вся, даже с учетом будущих достижений, великолепная магия целлулоидной ленты никогда не заменит обычных человеческих страстей, человеческой души. Разве играет какую-нибудь значительную роль декорация, когда на сцене живет, любит и умирает Сальвини? Тем более что легкость с переносом действия на экране прикрывает, маскирует те недостатки драматического произведения, которые сразу обнаружились бы в театре.

Родство с техникой, которым обусловлено мнимое могущество кино, и есть главное препятствие на его пути к бессмертию.

Нельзя забывать, что на смену сегодняшнему кино завтра придет цветное, а послезавтра — стереоскопическое, и паровоз с плоскости экрана будет врезаться в середину зрительного зала.

Художественные фильмы могут сохраняться в специальных сейфах на века, но лишь как консервы. Будущие киноведы посмотрят их без досады, с ироническим почтением к наивному неуменью предков.

И все же какая великая сила заключена в кино, как замечательна возможность отправить в любую глушь поэму взрывчатых людских страстей, упакованную в шесть коробок, и познакомить зрителей со стенограммой человеческой жизни.

Правда, никакой фильм не потрясет зрителя так, как может потрясти хороший спектакль. Все помнят, как Леонидов в Братьях Карамазовых, играя Митю в Мокром, надевает чужой сюртук при аресте, и он ему всячески тесен, этот шулерский сюртук, и зрителя это потрясает. Вряд ли этого можно добиться, играя в фильме. Стоило бы сделать опыт: снять эту сцену для кино и сравнить потом.

Я видел, как на съемке Александра Невского Охлопков хватил обледенелым ушатом зазевавшегося тевтона. Я понимал и там всю условность его физического действия, но меня сцена эта потрясла и запомнилась несравнимо сильнее, чем та же сцена, повторенная на экране.

Абсолютная всесторонняя запись события не есть еще событие. Восприятие зрителя, да простят мне эту математическую формулу, прямо пропорционально эмоции живого акте-

ра, переданной через звук и движение. В спектакле эта эмоция, выражаясь вульгарно, сытная пища. В кино лишь миражное ощущение ее.

Надо надеяться, что наша художественная кинематография сделает все, чтобы практически представить доказательства моей неправоты. Я сомневаюсь, что когда-нибудь киноспектакль заставит самого зрителя работать, как это делается в театре, а только это может продлить жизнь фильма.

В кино есть чудесная возможность показывать вещи, которых, к сожалению, почти совсем не бывает в действительности. Это главное, мне кажется, преимущество кинематографа применяется у нас до крайности редко. Правда, углубление в эту сторону грозит мнимым удалением от современности, зато — с приближением к той именно сокровенной человеческой сущности, которая только и может составлять предмет искусства.

Кино стало широчайшей потребностью нашего народа, оно входит в его духовный рацион наравне с воздухом и водой, и потому у нас принято думать, что плохой кинематограф есть вроде как бы отравленный колодезь, даже целое море — если судить иногда по размеру критического воздаяния неудачникам. И это правда, если учесть глубину воздействия кино на неискушенные массы и неограниченные пределы его распространения. Но именно в качестве самого действенного из искусств кино должно быть только первоклассным, хотя, разумеется, ни одному из прочих, имеющих меньшее хождение, художеств не дано права быть несовершенным. Это несовершенство духовной пищи может быть двояким — как по наличию или избытку в нем вредных специй, так и по недостатку иных полезных,— причем неизвестно в точности, какое из двух поименованных зол может иметь более разрушительные, даже роковые последствия и как может сказаться на общественном сознании и, через него, на самой истории, этот коварно затянувшийся авитаминоз. Так, по утверждению сведущих лиц,— удаление из воздуха совершенно бесполезного, казалось бы, для дыхания газа аргона нежелательным образом повлияло бы на наше самочувствие.

Наш кинематограф зачастую слишком прямолинеен в достижении какой-нибудь сверхутилитарной злободневной цели, в результате чего зрителю остается любоваться на лихую, подчас, виртуозность авторов фильма, с какой они обходят некоторые немаловажные подробности человеческого существования. Глав-

ное же остается в отвалах — про запас на будущего, строгого и, возможно, даже опасного кладоискателя, и таких кладов накопилось уже достаточно, чтобы понемножку их разбирать, пока не развились в них разные ненужные нам вещества... Конечно, предприятие это бесконечно сложное и трудное, даже мысли о нем носят отпечаток затрудненности, если судить по этому абзацу.

Наше кино может быть очень хорошим. Но люди кино иногда забывают, что любая ткань выдерживает только соответствующую ей нагрузку. Нельзя таскать на тюле чугунные ядра.

Художника часто подводит желание, чтобы не пропало ни грана из того, что он делает. Он старается из ситуации выжать все до конца. Он стремится созданное «продать» подороже. Это похоже на хозяина, который, угощая своего гостя вином, говорит ему: «Вы пили это вино? Запомните, оно стоит три рубля пятьдесят копеек».

Недосказанная мысль действует иногда сильнее, чем мысль изжеванная, на которой виден след зубов художника и всей подсобной свиты, которая неминуемо следует за ним к экрану.

Словом, я написал сценарий Садовник. Я вывел героев своей пьесы из четырех стен комнаты на широкие пространства природы. Это было чрезвычайно заманчивое предприятие. И я не знаю, право, хороший получился сценарий или плохой. Пока это только условный костяк, ни разу не сыгранная партитура. Жизнь ей должны дать режиссер и актеры.

1938

ОЗЕРО СЧАСТЬЯ

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Теплый ветер дует со стороны Хатарчи. Карта шумит и рвется из рук инженера. На ней нанесены горы и равнины Средней Азии. Палец движется среди хребтов, нарисованных условной топографской елочкой. Теперь становится видной тонкая жилка реки. Ее характер угадывается по самой прямизне течения. Рожденная на высотах Алайского ледника, нежная и голубая, она напролом, почти без извилин, мчится на запад сквозь густую сепию гор. Вот она делится на два рукава близ Самарканда и снова сливается воедино у Хатарчи, откуда, такой ласковый и упругий, дует сейчас ветерок.

В полный накал сияет январское солнце, и хорошо стоять здесь, на холме, распахнув пальто, после длительного похода по этим изрытым пространствам.

— Берегитесь, он коварен, этот ветерок,— предупреждает инженер, сам в ватной куртке, застегнутой до ворота, и продолжает урок предварительной географии, необходимый для понимания, почему советские люди с такой энергией вмешались здесь в дела природы.

Итак, река не сразу приобретает свое громкое имя. По выходе из ледяного грота она скачет в тесных и скалистых ущельях под названием Матча. Горные саи и речки изобильно вбегают в нее. Но лишь позже, когда в молодой горный поток у нынешнего Захматабада ворвется стремительная Фандарья, он станет наконец Зеравшаном. Слева в него вступят еще Кштут и Магиан, а затем, по выходе из гор, несколько восточнее Пенджикента, он разольется широкой и многоводной лентой. Он пройдет свои семьсот километров мимо Самарканда, Катта-Кургана и Бухары, чтоб незаметно потеряться и растаять в песках за Каракульским оазисом. Из всех среднеазиатских рек только Аму и Сыр доносят свои волны до моря.

Все Зеравшановы притоки находятся в пределах Таджикской республики, больше ниоткуда в него не поступает ни капли. Он уже скопил свои богатства, эти шесть миллиардов годового дебита воды. Дальше он степенно шествует по Узбекистану, седой хозяин здешних садов и хлопковых полей, и только раздает, направо и налево, свои щедрые дары. Множество оросительных оттоков расходуют его воду. Так оправдывается название реки: Зеравшан — раздаватель золота. Правда, и настоящее, желтое, золото имеется в его верховьях, но насколько умнее звучит здесь этот общенародный поэтический образ, да и то, пожалуй, недостаточно передающий жизненную ценность воды в среднеазиатских условиях.

В стране, где по полгода не выпадают дожди, земледелие невозможно без сети оросительных каналов. По дороге в нынешний день стоит заглянуть в историю здешнего поливного хозяйства. У древних греков и арабов упоминаются искусственные и такие безыскусные на взгляд современной гидротехники приспособления, которыми население отводило воду на поля. То были все те же кяризы, подземные водопроводы, да первобытные, в одну ишачью силу, чигири, унывный скрип которых слышен кое-где и доныне. Площадь культурных земель значительно расширяется при Ахеменидах и Сасанидах. Свистит камча, плачут матери, дехканский кетмень врубается в рыжую нетронутую землю. Географы и путешественники VIII и X веков удивлялись искусству орошения в Хорезме и на нашем Зеравшане. Они писали о миндальных и ореховых рощах, о богатых виноградниках и пленительных охотах, а Ибн-Хаукали — даже о двух тысячах самаркандских фонтанов, откуда все жаждущие даром получали воду со льдом. Заходили и пили во благоденствии. О счастливый Ибн-Хаукали! Тебе не довелось присутствовать при том, что век спустя увидел бухарский историк Наршахи.

Созданная упорным трудом оседлого земледельца, оросительная культура поднималась в десятки лет и падала порою почти в одночасье. Переменчивой среднеазиатской судьбы не избежала и Зеравшанская долина, где мы стоим сейчас под ветерком из Хатарчи. Ее, прославленную Согдиану, арабские писатели называли за плодородие земным раем. Издавна она бывала центром всяческой человеческой деятельности. По ней проходила «царская дорога» Бухара — Самарканд, шах-рах. Здесь пересекались караванные пути из Индии — через Балх, из Персии — через Мерв. Если бы снять историю края уско-

ренной съемкой, чтоб уместилась в рамки одной жизни, какая невообразимая толчея народов предстала бы глазу! На протяжении тысячелетья со всех сторон света тянулись сюда купцы, пророки, завоеватели и просто завистливые соседи. Воистину, на расстоянии от Александра Македонского до русского Александра все побывали тут!

Исторические хроники изобилуют кровавыми сраженьями, феодальными междоусобицами и, наконец, удивительными по фабульному рисунку романтическими новеллами, которые еще ждут своего Стендаля. Там имеются также описанья, как врывались сюда со своими полчищами великие джихангиры, миропотрясатели Востока, и, совершив свое суровое дело, исчезали во времени. Разрушение знаменитой Мургабской и Амударьинской плотины, затопившей столицу Хорезма — четвероворотый Гургандж,— вот образцы этой беспощадной деятельности. Лучше других сказал об этом безыменный очевидец, что провел в Бухаре весенний денек 1220 года: «Они пришли, разрушили, сожгли, умертвили, ограбили и ушли». Из всех памятников среднеазиатской старины самые неприметные и, может быть, самые трогательные — остатки древних оросительных каналов у Мерва, у развалин Отрара, у Байрам-Али, эти засолоневшие русла рек, когда-то питавших здешнюю землю и убитых человеческой рукой... Ветер гонит через них клубы перекати-поля и несет ядовитую пыль прежней славы.

Плачут матери, сидя на голой, безводной земле, и долго еще плакать им, целых семь веков, как поют о том народные певцы, пока взойдет над Азией солнце социалистической революции. В ту пору вода вместе с жизнью приносила горе. Она становится хитрым орудием для подавления дехкан. Уже в XI веке Наршахи пишет, что земли оставались необработанными «вследствие жестокости правителей и немилосердного отношения к подданным». Знать владела всей оросительной системой, а «большинство остальных людей были их крепостными или слугами их». В своде постановлений мусульманского права, шариате, одновременно запрещалась торговля водой и утверждалось право частной собственности на воду: «Человек, не владеющий водою, не имеет права орошать землю, пальмы, деревья из чужого колодца, арыка или реки без разрешения владельца последних». Правило это касалось, видимо, всего восточного земледелия, по всему полукольцу пустынь, тянущемуся, по определению Маркса, «от Сахары че-

рез Аравию, Персию, Индию и Татарию до возвышенностей Азиатского плоскогорья». Так было сказано о воде, благодатной воде, принадлежащей всем, как воздух. Вопреки закону ее продавали, ее сдавали в аренду, ее открыто крали у народа, ее дарили за отличия с оговоркой, что «ни одно существо не должно касаться этой воды». Награждая приближенного правом наследственного владения водой, какой-нибудь кокандский хан этим самым казнил отсутствием воды тех, чьим существованием он интересовался разве только при сборе хараджа. Хитроумная иерархия была учреждена для управления водопользованием. Великая вода шла вниз от своего верховного владыки, эмира или хана, через множество всяких беков и хакимов, паджабегов и арбобов. Мирабы в золотошвейных халатах, с топорками власти у пояса, зорко следили за «справедливым» распределением воды. Какой же скудный ручеек дотекал до нищих дехканских полей!

То же было и на Зеравшане... Так кого же он одарял, этот могучий жизнеподатель? Только не истинных тружеников земли. Милость реки доходила до них в виде милостыни. Народу зато предоставлялась принудительная обязанность изготовлять инструмент своего же собственного угнетения. Их сгоняли палками на работы, их зарывали по горло в землю за неявки, их сотнями губили под обвалами и при этом ухитрялись с них же взимать кон-пули на прокорм и содержание эмирской оравы. Строительство сопровождалось чудовищными растратами народных сил, так как гидротехника стояла на первобытном уровне. Худоярхан, между прочим, в меру своих царственных способностей, попытался обогатить ирригационную науку (1863). По рассказу В. Я. Непомнина, у хана в Каратепинской степи вода разломала берега канала. Муллы подали совет законопатить прорыв живым бетоном, телами людей с именами Тохтасын и Тохта — Остановить, Останови. Десятки дехкан, брошенных в бурлящую воду, завалили камнями и землей... Словом, был найден камень у Рава-Ходжи, и надпись на нем гласила: «Земли арыка Даргома обрабатывали с покорной шеей и ранами на спинах нещадно бичуемые плетьми». Все это необходимо знать для понимания беззаветного героизма как ферганцев, так и каттакурганцев на одноименных стройках.

Естественно, народ отвечал грозным ропотом на ирригационные начинания в давние времена. Первые исламистские государи вынуждены бывали провозглашать отказ от строи-

тельства новых водных сооружений. Население умножалось, воды не хватало на всех. Происходили восстания, кровопролитные распри между родами, владельцами арыков, и даже прямая межнациональная вражда. Кетмени нищих вздымались над головами братьев по крови и судьбе. Правители поддерживали это состояние вражды, руководясь старым опытом — разделенные на части и полуголодные не опасны. Народ веками лелеял мечту о воде и жил надеждой на великое счастье, не зная еще, в каком образе оно придет к ним. Из глубины своей мýки он творил песни и легенды, основанные на живых и трагических былях.

Так создалась ненаписанная поэма о бедняке Абдул-Салиме. Разгневанный на неправедность жизни, он поднял в семидесятых годах народ на борьбу. Восстание подавили, сыну Абдул-Салима отрубили руку. (...Кстати, то был испытанный способ расправы на Востоке. Еще у Низама-аль-Мулька (XI век), автора Книги об управлении государством, один «выдающийся» администратор говорит так: «У меня два начальника стражи: дело обоих с утра до вечера рубить головы, отсекать руки и ноги, бить палками и сажать в тюрьму...») Абдул-Салим бежал в Учкурганскую степь и восемь лет сряду в одиночку прорубал кетменем арык из Нарына, чтоб оросить поля дехкан. Он умер один, этот полу-Прометей, на берегу своего незаконченного творения.

Старая оросительная система, построенная из камня, хвороста и земли, приходила в ветхость. Паводки и селевые потоки рвали плотины, смывали селения и затопляли земли; воды не было. Все это заставляло царское правительство во избежание неприятностей принимать меры к укреплению и расширению ирригационной сети. Сперва губернатор Кауфман попытался «вникнуть в тайны рек», как определял это искусство строитель плотин, вавилонский царь Хаммураби. Здесь поучительная задачка для советских детей: семьдесят тысяч подневольных строителей, получая по пятаку в день, в течение шести лет прорыли тринадцать километров канала, оставшегося незаконченным. Вопрос: чего здесь больше, легенды или преступления?.. Народ назвал кауфмановское предприятие донгуз-арыком — свинья-арыком.

Другой губернатор, Черняев, также изрядно потрудился на этом поприще,— тридцать лет спустя встала необходимость в осушении бессмысленно затопленных им ценных земель. Потом к этому делу приложил свою руку сам великий князь

Николай Константинович. За шесть лет провели двадцать пять километров канала, но воду в него надо было метлой загонять: добровольно не шла. Поработав с тем же приблизительно успехом в Голодной степи («канал Николая I»), он принялся за благодетельствование Хорезма, где успешно разрушил во имя исторических реминисценций Ханбендскую и Ташбугутскую плотины. Эти упражнения принесли ему полмиллиона рублей прибыли.

А за ними ринулись сюда ватагой всякие подрядчики, солидные биржевые тузы и просто безыменные стрекулисты, мужественные борцы за свое обогащение,— Рябушинский и другие, продувная бестия князь Андроников, достойный протеже Сухомлинова, проклятого народом русским, оборотистые купцы, деляги военного звания... Всякая подлая человеческая мошкара летела сюда поживиться от страданий поверженного наземь народа. Бедствия росли, воды не прибавлялось. Теперь не одной только влаги жаждала обнищавшая земля, но и свержения власти буржуазии и помещиков в стране,— Ленин уже жил, позади был 1905-й, когда народы империи испробовали силу и прочность своего единства. Прошла Пражская конференция... факты двигались навстречу друг другу, чтобы образовать крупнейшие исторические события.

В годы гражданской войны гибнет ряд крупных оросительных предприятий и культурные площади сокращаются наполовину. Плачевная зимняя тишина стоит на заброшенных полях. Но уже семь месяцев спустя после Октября появляется декрет об ирригации Советского Туркестана; там намечены меры и по регулированию речного стока Зеравшана. Ряд лет посвящен восстановлению водного хозяйства. Земля и вода принадлежат республике. Пятилетки преображают Среднюю Азию. Знаменитый почин 1919 года, ленинский субботник вырастает в форму всенародного движения. Из скромного опыта Лянгарского строительства (канал в девять километров) рождается идея Большого Ферганского канала. Вряд ли стоит повторять рабочие координаты этой неслыханной искусственной реки: ее длину, срок выполнения, цену в рублях и количество участников. В наши дни ни одна трудовая норма не остается стабильной. Народам, осознавшим свое могущество, все равно эти цифры очень скоро покажутся недостаточными. Что касается объема земляных работ, их было выполнено шестнадцать миллионов кубометров. Земляные работы на стройке Катта-Курганского водохранилища измеряются

цифрой в двадцать миллионов кубометров. Все эти монументальные, культурной округлости, холмы, что начинаются тотчас за окраиной города, нужно было доставить сюда издалека. И патриоты Катта-Кургана утверждают, что кубометр Катта-Курганского водохранилища стоит полутора кубометров Большого Ферганского канала.

...Карта в руках главного инженера сменяется рабочей синькой. Сложные кривые чертежа внятным языком рассказывают о смысле и значении нового водохранилища; это — борьба за высокое плодородие Зеравшанской долины. Река перегружена полевыми площадями. По сравнению со старыми временами в два с половиной раза большее количество полей, огородов и садов поит теперь Зеравшан. При этом его режим не совпадает со временем наибольшей потребности во влаге: буйные весенние воды уходят зря и незадолго до поры, когда наступает усиленная вегетация хлопка. Летний недостаток воды сильно снижает урожайность посевов, особенно в дальней, бухарской части Зеравшанской долины.

Сведущие люди утверждают, что Бухара, если ей дать достаточно воды, в равных условиях сможет поспорить с Ферганой и ее двадцатью шестью центнерами с гектара. Завтра вся существующая здесь поливная площадь будет напоена досыта, и самое количество орошаемых земель увеличится на шестьдесят пять тысяч гектаров. Итак, речь идет о том, как отрегулировать непостоянную щедрость старого Зеравшана.

Внимательно следите за пальцем инженера,— он поведет вас по карте вслед за будущей водой. И не пугайтесь больших масштабов. Вы видите этот глубокий подводящий канал, что начинается у самой Дам-Ходжинской плотины? В минуту отдыха строители нацарапали свои имена на его гладких земляных стенах. Скоро, очень скоро поток смоет их и урожаем яблок, хлопка и винограда разнесет по колхозным полям. Уже готово просторное ложе для долгожданной гостьи. Почти неисчислимая масса паводковой и зимней воды уляжется в естественную впадину к югу от Катта-Кургана. Занесите теперь же на свои карты это новорожденное озеро с зеркалом в шестьдесят четыре квадратных километра...

А сколько уток, бакланов и цапель станут кружить над этой веселою водой! Вот будет работы обитателям будущих домов отдыха и гостям, что наедут на эти зеленые берега со всего Узбекистана!..

Через башенный водоспуск, в три широких жерла, громадная вода рухнет на бетонные водоломы, потом, успокоенная, отправится в обратный путь к Карадарье... Теперь все понятно: по дороге в Бухару расточительный старик Зеравшан зайдет в катта-курганскую сберкассу. Принцип тот же: средства, положенные сюда в пору их избытка, станут расходоваться по мере надобности в засушливую пору узбекского лета. И сухая проектная схема водохранилища представилась нам самым выразительным плакатом, агитирующим за сберегательное дело.

Отсюда, с искусственной горы, вся местность внятна, как на карте. Во всех направлениях она ископана сейчас каким-то титаном — ваятелем своей судьбы и счастья. Исправляя упущения природы, поднимает и перекладывает рука народа стародавние, много пожившие пласты. Где-то здесь помещалась древняя Кушания, которая у Истахри значится даже как цветущее «сердце согдийских городов»... Все это каждый день меняется, и завтра уже не взберешься на эту гору, как не вступишь дважды в ручей Гераклита. Напоследок надо походить везде, всего коснуться рукой, чтоб испытать гордое чувство современника. Надо посетить и башню водоспуска и пройти по длиннейшим тоннелям выводных труб — в последний раз перед тем, как ворвется в них кипящая вода. Надо подняться на не готовую еще плотину, почтенный объем которой исчисляется во много миллионов кубометров — и каких!

Условия строительного материала и самого местоположения кладут особую ответственность на строителей этого сооруженья. Мириадами гибких жал вода станет искать себе прохода в подпирающей ее стене. Ни корешка, ни травинки, никакой солевой прослойки, какого-нибудь $CaSO_4$ не должно остаться в земляном теле плотины. Корешок сгниет, соль растворится; свирепый клин напора разворотит крохотную щелку, и вода бросится в прорыв, как тигр, на селения и людей. Кроме того, лёсс имеет однородное строение, и прочное заклиниванье крупных частиц мелкими в нем невозможно. Любое переувлажненье его влечет за собой перемещенья, зыбь, оползни и, следовательно, целую вереницу последующих бедствий... И хотя всем здесь известно коварство здешней почвы,— люди бывалые собрались у Катта-Кургана! — специальная лаборатория следит за удельным весом и влажностью этой рыжей и липкой земли. С каждой четверти ее берутся контрольные пробы; их будут взвешивать, выпаривать и снова взвешивать,

чтоб получить цифру, точный и строгий иероглиф качества. Вот в чем состоит высокое искусство проникновенья в тайны рек!

А сейчас в разгаре среднеазиатская зима, пора дождей и недолговременного снега. Уж никого не обманет тут такой душевный и приятный ветерок с Хатарчи. Видите, там, внизу, за железнодорожным полотном, поблескивают лужи, с утра затянутые ледком? Зима. Но консервация стройки недопустима: влага и мороз основательно расчленили бы прочно спаянные пласты. Надо работать, работать быстрей. И они работают здесь в две смены, опрокидывая мировые нормы укладки бетона. Целый хоровод, шестнадцать тракторов в одном месте, ходит по свежевзбороненной земле, влача за собою тяжелые шиповые катки. Вы слышите это размеренное стрекотанье железных кузнечиков, каждый в шестьдесят пять сил?.. Ничего не значит, что зима! Нужно только подсыпать специально высушенный грунт, если ночью прошли дожди. Нужно терпеливо, очень терпеливо увозить мерзлый, намокший верхний слой, если ночью выпал снег... и опять сбалансировать норму влажности сухой и добротной землей. Ширина плотины в основании более чем почтенна.

На месте, где мы находимся теперь с тобой, незнакомый спутник, будет стоять могучая толща воды. В этот предполдневный час пусть воображение поднимет тебя на самый верх, на шестиметровую дорожку, что пройдет по гребню плотины. В прозрачной дали будут четко различимы серые кристаллики кишлачных кибиток, оказавшихся в орбите водохранилища. Вон тот — Баба-Назар, а этот — Сарай-Гир, что значит в переводе Селение Слез. Через три месяца он уйдет под воду, как сгинут когда-нибудь и сокроются во времени и все селенья слез на планете. Ухо слышит ровный гул социалистического труда. Круглое необозримое пространство, похожее на палитру художника, лежит перед взором. Она вся в движении, и красками на ней служат рыжие груды арматурного железа, белые штабеля строительного леса и опалубок, серые навалы гравия и цемента, серебристо-желтые тростниковые берданы и, наконец, черный, кипящий в котлах битум,— он обдает облаком пахучего зноя, когда проходишь мимо.

...Заставит прищуриться слепительное и множественное сверканье кетменей, подобное сигнализациям оптического телеграфа. Порадуют глаз чуть выгоревшие на солнце знамена колхозов и ведущих бригад, развеваемые хатарчинским ветер-

ком... Тебе не повезло, незнакомый спутник. Дело близится к окончанию; фронт работ сузился, и только двадцать тысяч строителей сейчас перед тобою против ста тридцати, что работали в начале стройки. Но все равно — ты глядишь в будущее Земли и видишь ее символический прообраз.

Отсюда легко пройти в обширный карьер концевого сооружения, где великая вода будет вливаться в чашу водохранилища. Параллелепипеды обрубленной глины, ступеньки гигантов, отвесными уступами спускаются вниз; цистерна с питьем осторожно крадется по самому краю двадцатиметрового обрыва. Длинные шланги мотопомп выхлебывают просочившуюся воду,— она уже стоит в ожидании за порогом котлована. Он весь полон местных крестьян, изготовляющих лоно народной реки. Вперекидку, в целых пять ярусов, влажная глина идет наверх. Поток тачек и носилок, *чалтаков* и *замбаров* и просто мешков или бараньих шкур с извергнутой землей движется мимо и мимо. Так вот оно, происхожденье окрестных холмов, вынесенных на плечах богатырей. Пылают на солнце халаты пестрых ферганских расцветок. Косая рембрандтовская светотень делит эту кубическую выемку по диагонали... И там, на самом дне, в передовой линии фронта, по щиколотку в глине,— смуглый человек в синей русской рубахе, Асрар Алиев.

— Здравствуй, Абдул-Салим, прорубающий народу дорогу в завтра!..

Разгоряченный работой, он разгибается, опираясь на кетмень.

— Э, шен дост! — протяжно восклицает он, и голос его слышен сквозь грохот бетономешалок. — О, друг!

И его соседи, взволнованно и нараспев, как в обычае у узбеков после хорошей песни, многоголосым вздохом отзываются ему:

— О, джан эм, душа моя!

А второй смысл восклицанья,— так переводит человек с красным матерчатым кружком на рукаве, начальник участка,— *обгоним, торопись!* И какая нетерпеливая жажда поскорее увидеть плоды своих дел заключена в самой интонации восклицанья!

Началось, конечно, с энтузиастов, вокруг них кристаллизовалось великое движенье. Но этих крепких и открытых людей не приходилось долго агитировать за участие в постройке величайшего пока в СССР искусственного водохранилища, как

не нужно было им разъяснять, что значат для Средней Азии всенародная власть плюс вода. Зерно падало на почву, подготовленную веками затаенной надежды на избавление от бесправья и безводья. Люди единодушно поднимались с места по призыву партийных организаций, ставших штабами народного движенья. Не останавливали и расстоянья. Ближние приходили пешком, дальние по триста километров ехали на ишаках и машинах. Здесь можно было воочию изучать этнографию Самаркандской области и прилежащих районов. Добирались из Чиракчи, куда нет трактов и откуда не ходят поезда. Прибывали из отдаленного Заамина, даже с Кашкадарьи, в точности зная, что не получат никакой непосредственной выгоды от нового сооруженья. Ими руководило лишь благородное чувство солидарности, которому их научила эпоха. «Когда будет нужно, ты протянешь руку и мне, товарищ». И те, кого не брали на этот народный трудовой т о й, праздник, слали властям республики жалобы на жестокую и несправедливую обиду.

Они двигались от темна до темна, ночью и днем, эти завтрашние герои, почти целыми колхозами, под музыку, именно как на праздник. Они гнали с собою овец и везли муку, отпущенную из полных колхозных амбаров. С высоты ширококолесных кокандских арб проникновенно пели зурнабы и гремела старая глянцевитая кожа узбекских дайр.

— Э, шен дост!

Сложная задача стояла перед руководителями стройки. Речь шла не только о переброске или размещении добровольных трудовых дивизий,— уже позади был опыт Ферганы. Теперь трудности заключались в создании точного графика работ, в разумной расстановке рабочей силы, в правильной пригонке отдельных частей громоздкого строительного механизма, без чего неминуемы были бы простои всех этих копров, паровозов и тракторов. Нужно было размежевать работу отдельных колхозов с учетом всех их особенностей и так, чтобы каждый мог взять н а б у к с и р отстающего соседа. И, наконец, следовало умело сочетать колхозный труд с самой высокой механизацией, которой еще не было на Большом Ферганском канале.

И вот ответственное дело — укладку плотины — производят сами колхозники. Строительство приобретает значение крупнейшего строительного техникума. Колхозы получат отсюда собственных каменщиков, плотников, арматурщиков.

К примеру, все знают про знаменитые сюзани из Нур-Аты, родины газганского мрамора, что красуется в московском метро. А кто не слыхал про замечательных нур-атинских бетонщиков?

— Вот то новое, что возникает на наших глазах и становится источником опыта для других!

На груди инженера значок БФК — он строитель и Ферганского канала. Их много пришло оттуда, они прибыли на эти места в феврале прошлого года, когда снежная поземка заметала палатки строителей, а машины увязали по самый дифер в катта-курганских грязях... Есть умная и романтическая привлекательность в этих скромных людях, делателях социалистической воды на просторах Средней Азии. Их личные биографии лишь частицы великой биографии молодой страны социализма. Пройдет год, Катта-Курган вступит полностью в действие, республика скажет им свое братское *рахмат* — спасибо. И они пойдут дальше воскрешать мертвые земли: на очереди — Кайракумское водохранилище, значительно превышающее все предыдущие. И уже говорят о Кампыр-Раватском, Курук-Сайском, Чарвакском и десятке других, что зреют в замыслах здешних ирригаторов.

Начался обеденный перерыв, невдалеке на утоптанной равнинке идет очередной концерт. Уменьшенные расстояньем, пляшут фигурки девушек в пестрых камзолах, и ветерок доносит задорную мелодию хорезмской лязги.

— Ну что ж, пойду в контору заниматься бюрократизмом... — шутливо говорит инженер и напоследок прищуренным хозяйским глазом обводит свою территорию.

Где-то здесь будет стоять, может быть, высокий обелиск с датами закладки и окончания. На его медной доске после имен строителей будут вырезаны гулкие, в веках, слова:

Мы, советский народ, создали это Озеро Счастья на благо свое и своих потомков.

1941

У КОЛЫБЕЛИ БОЛЬШОГО АНГРЕНА

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Есть знаменитые места на земле, где история от века устраивала свои нарядные или печальные фестивали. История этой долины, где я стою сейчас, скудна и безотрадна,— зато у нее все впереди. Кроме того, очень скоро она станет известной всей нашей стране. Ее начало теряется в дремучем мраке юрского периода. Наверно, здесь был когда-то залив неохватного водного пространства. Земля была моложе, она дышала бурно, и, следуя колебаниям ее коры, вода то сливалась отсюда, то возвращалась вновь на заболоченные равнины, уплотняя и заливая илом многовековые растительные наслоения. То была так называемая пульсация доисторического моря, с периодом, может быть, в триста тысяч лет. Геология расставляет свои вехи во времени на расстояниях, потрясающих человеческий разум.

Тогда все было иное. Эти библейского величия горы стояли под водой, и сама Азия походила на себя нынешнюю, как первый набросок взыскательного мастера на его законченное творение. В последний раз море отступило в третичную эпоху, оставив после себя каспийскую и аральскую лужи. В эту пору ангренское сокровище уже лежало и созревало в глубинах сухой и бесстрастной здешней земли.

По мере приближения к рубежам, доступным человеческой памяти, на более мелкие отрезки дробится время. Вот оно измеряется уже лишь тысячелетиями. Горы выступают наружу,— резвая речка, которую люди назовут Ангреном, сбегает с них между живописных колоннад ортоклазового и кварцевого порфира. Дружно работают ветер, солнце и мороз... Старые Шаш и Мараканда, нынешние Ташкент и Самарканд, еще не зачинались, неперелистанные века лежат впереди. Могучие леса прикрывают золото, медь, каолины и другие богат-

ства Ангренской долины. Лашкеренские шлаки, например, рассказывают ученому и о древних свинцовых плавильнях, помещавшихся здесь, вблизи нынешнего Джигиристана, стана печей: под ним и лежит сейчас новый черный клад узбекского народа... Джучи, первенец Чингиса, гонялся за ходжентским Тимур-Меликом среди этих гладких, верблюжьего цвета гор, и, говорят, сам Чингис, по дороге в Китай, в грозе и пламени прошел по Ангрену. С той поры редеют здешние леса и затихает растоптанная жизнь. Долина приобретает тот вид, в каком семь веков спустя ее увидели и Богданович с Машковцевым и Чикрызов с Казаковым. Редкие кишлаки раскиданы в громадном бездорожном пространстве, безмолвие пустыни стекает с линялых осенних предгорий.

Время измеряется уже годами. Богданович приходил сюда в тридцать четвертом году с разведкой на каолин и, говорят, даже видел метровый пласт угля — непромышленного, как тогда показалось, значения, а до него только Машковцев искал здесь огнеупорную глину и также не одобрил ее. И только в прошлом году настало пробуждение Ангрена. Это было десятилетие великого броска в будущее. Советский народ создавал базы своего материального могущества, недра раскрывали свои тайны перед новыми и нетерпеливыми хозяевами. В ту пору Узбекистан владел уже многим, почти всем, кроме топлива.

Кугитангское угольное месторожденье, ненадежное из-за тонкости пластов, не покрывало всей потребности в угле и было слишком удалено от Ташкента, который через пять лет будет потреблять почти половину всего расходуемого здесь топлива. Те два миллиона тонн, что необходимы заводам Средней Азии, шли из Кузнецка, даже Донбасса. Треть его сгорала в топке при самой перевозке. Уголь нужен был республике, как вода. И вот его ищут везде, ищут трижды и не находят. Результаты геофизических обследований пугают: уголь есть, целых тридцать находок, но запрятан слишком глубоко. И опять ищут, потому что клады любят, чтобы их искали крепко.

Теперь события удалены лишь на месяцы друг от друга. В мае прошлого года, мимо цветущей урюковой рощицы Аблыка, новая и первая, по существу, такая экспедиция проходит на Ангрен. Ее прямая цель — уголь, ее первая задача — составить карту и наметить точки для бурения. По бездорожью и, наверно, не без Дубинушки сюда доставляются буровой

станок, трубы, двигатель — несложный, но громоздкий зонд геолога.

В августе заложили первую структурную скважину, и в сентябре буры вошли наконец в юрскую угленосную толщу. Из обсадных труб в молчании вынимали керн — пробный полуметровый столбик глубинной породы. Где-то рядом, под ними, таились необъятные склады растительных накоплений, заготовленные впрок. Мастера были предупреждены о близости угля, девушки-коллекторы безотлучно дежурили у вышек. Какими долгими представлялись им те полчаса, пока доставали из скважины буровую штангу. Но наступил день, когда весь керн оказался углевым. Уголь, уголь!.. Наверно, вот так же закричал о долгожданной земле и вахтенный на корабле Колумба... Радость была недолгой. Толщина пласта оказалась незначительной.

Это были все опытные люди, давно преодолевшие в себе настроения непрочного успеха или неминуемого иногда в большой работе разочарования; за Казаковым, например, числились уже находки трех вольфрамовых месторождений. И все же эти последующие сорок метров плотной глины были изрядным испытанием для маленькой колонии отличных землепроходцев. Приближалась деловая проверка всех их знаний, чутья и опыта. Снова их захватило острое чувство, знакомое охотнику, когда он крадется по следу бесценного и пугливого зверя... В эти несколько дней томительного ожиданья умещается тема большого романа о жгучей романтике геологического искательства, о благородном нетерпении патриотов, стремящихся скорее вручить народу плод своего упорного труда,— о неуверенности и бессонных ночах, предшествующих всякому значительному открытию; там должны присутствовать и цифры, звонкие, как рифмы, и, возможно, лирические отступления о работе вечности... Эти пионеры Ангрена имели время поразмыслить, сколько же здесь потрудилась природа. Не посвященному в сложную геологическую бухгалтерию предоставляется простой расчет: для накопления метра угля требуются сто метров торфа, а за год его откладывается всего два миллиметра; приблизительно те же нормы определяют толщину годового отложения глины.

...Однажды в керне снова обнаружился уголь. И сорок раз подряд ныряла в недра обсадная труба, и сорок проб великолепно свидетельствовали об удаче. Уголь, свой уголь, был найден. Люди присутствовали при рождении гиганта, который,

вот окрепнет немного, и один станет приводить в движение все станки республики... Хрупкую колонку клада выгнали насосом из трубы, и тотчас же осколки разошлись по рукам. Рассматривали в лупу его строение, клали на ладонь, наспех определяя удельный вес, даже пробовали на зуб — каковы его твердость и зольность.

История ускоряет ход, время на Ангрене исчисляется днями. Но еще не сразу начальник геологического управления Казаков привел Чикрызова в кабинет Кабанова. Чикрызов и был фактический технорук экспедиции, которой посчастливилось ухватиться за краешек Юры на Ангрене. Он разложил карту и вещественные доказательства победы на наркомском столе.

В кабинете секретаря ЦК были повторены все данные о новорожденном угле. Дополнительные скважины, проброшенные по восьмикилометровой линии, позволяли заключить, что уголь молодой, близкий по качеству к шурабским углям, но площадь угленосных отложений огромна.

— Сколько лет вы работаете в своей области, товарищ Куликов?

Куликов был также членом Ангренской экспедиции.

— Десять.

Цифра стажа вызывала доверие к себе.

— А вы, товарищ Чикрызов?

— Восемнадцать.

...События отделяются друг от друга часами. Разговор по прямому проводу с Москвой; спускаются первые миллионы рублей и хозяйственно-строительные лимиты; происходят объединенные заседания всяких комиссий. Пятитысячная партия колхозников в две недели прокидывает сорок семь километров отличной гравийной дороги в эту вчера безвестную долину. Гремят тягачи, грузовики пылят,— грузы очередями идут на Ангрен.

И вот на месте трех кибиток прежнего Джигиристана появляются временные постройки контор, чайхан и общежитий. Важного вида дощечка Управление строительства повисает на невзрачном саманном фасаде. Теплые землянки безглазо смотрят из расковырянных холмистых склонов. Все это только черновик будущего Большого Ангрена. Пока и населения здесь не больше полутора тысяч, и дощатые копры высятся над шахтами, и деревянные лестницы ведут в отрешенную глубину забоя, где четверо проходчиков с кай-

лами и лопатами пробиваются сквозь крышу угля. Можно и покурить там, на будущем рудничном дворе, пока начальник стройки, в стеганке и похожий на джек-лондоновского героя с Аляски, заседает с помощниками в кабинетике о четырех квадратных метрах... Наивна молодость всякой великой славы: Ангрену всего несколько месяцев.

Но уже пахнет свежей краской от продуктовых ларьков, строится душевой комбинат для проходчиков (и на рваном известняке из здешнего карьера — отпечатки огромных мезозойских раковин); уже два безусых радиоспециалиста укрепляют в нише непросохшей стены выпрямители и линейные щиты будущего радиоцентра, а вчера сожгли на пробу первые два пуда угля из верхнего пласта. «Хорошо, длиннопламенно горит!» Узбек и таджик, татарин и кореец объединились здесь в работе.

А вот в облаках стружек и славные рязанские плотнички. Ближний кажется поразговорчивей. Свежая лафетная доска сверкает перед ним на верстаке, озорной пахучий локон струится из старенького рубанка.

— Здорово, отец. Хорошо у вас нынче на Ангрене!

— Чего прекрасней... — И зорким глазком окинул эти малиновые распады дальних гор и выше, где в снегах теплой, не рязанской, зимы темнели заросли арчовых рощиц. — Вчера один из наших кабанчика тут свалил, на речке. Приличный попался, пудов близ шести. Опять же лис, фазанов... Здешняя лиса, видите ли что, обожает кеклика покушать. Горная куропатка по-нашему... А кеклика этого зде-есь...

Ладошкой поглаживая глянец доски, он собрался было еще и еще нехожеными ущельями и форелевыми угодьями подразнить сердца охотников, да вспомнил, что часть строений стоит без рам и дверей, а населенье множится с каждой минутой, потому что время на Ангрене измеряется уже минутами,— и вот порвался речевой его ручеек. Снова вкрадчиво зашелестела стружка.

Нужно время от времени вглядываться в наше бесконечно далекое вчера, чтобы проникнуть в совсем близкое завтра людей и мира. Строителю, как и художнику, полагается постоянно держать в воображении абрисы здания, которое он воздвигает. В том обновленном революциями мире в семью омоложенных старых городов вступят и совсем юные,— и одним из них будет Большой Ангрен. Смотри, вот он раскинулся перед тобой, свежий и чистый после весеннего дождя, без родимых

пятен прошлого, без церквей, без трагических гробниц и грустных трущоб, безликий пока, еще одноэтажный, но уже весь залитый светом — уголь-то не привозить! Большеликой и гордой горной луне придется чуточку померкнуть... Вступи в этот, тобою же построенный город, товарищ. Пройдись по улицам, еще пустоватым, мимо библиотек, яслей и театров, одетых в строительные леса,— все это будет уже потому, что сам народ в три тысячи надежных рук взялся за это дело на Ангрене. Вслушайся в смутный речитатив ночной воды в арыке, в девичий смех на молоденькой чинаровой аллее, в басовитый гудок серийного «СО», которому зычно откликается горное эхо. Это полновесные вагоны угля уходят на заводы Родины с ангренской угольной биржи. Хорошо будет жить на Ангрене!

Гости, большие начальники и рядовые командиры здешнего народного хозяйства идут по дороге, иссеченной гусеницами тракторных тягачей. Ночной холодок уже хлынул с ближних предгорий. День клонится к вечеру, а солнце — к дальнему Ахангарану. Черная, полуметровой высоты, груда лежит на земле. Все становятся в полукруг, и беседа рвется на полуслове.

— ...вот он и сам, ангренский уголь,— представляет начальник строительства.

Все нагибаются взять по куску. Уголь глубокого матового цвета, маслянист на ощупь, тяжел, пачкает пальцы. Одинаковое волнение охватывает всех, как если бы доводилось распечатывать посылку, которая шла до своего адресата три миллиона лет. Люди стоят молча, созерцая будущее гиганта в его просторной колыбели, образованной Чаткальским и Кураминским хребтами.

1941

ПОСЛЕСЛОВИЕ ЗАРЯДЬЮ

Когда в один осенний вечер будущего года солнце опустится за Кремль, длинные тени его островерхих башен упадут на здание, которого нынче еще нет. Оно существует только в чертежах и замыслах архитектора. Сверху, почти до самого цоколя оно будет выложено великолепным белым камнем из-под Тарусы; этому материалу, напрасно забытому нашими строителями, Москва обязана славой белокаменной столицы. Закатный свет щедро отразится от стометрового, девятиэтажного фасада с его строгими пилонами и пилястрами. Сумерки станут веселей и наряднее на гранитной набережной реки.

Это будет второй дом Совнаркома. Просторный и очень светлый, с громадным конференц-залом посреди и с помещеньями на целых, может быть, пятнадцать наркоматов, он встанет на месте старинных переулков — Мокринских, Ершовых и Кривых. Скоро их уже не отыщешь на карте новой Москвы... Здесь можно будет обойтись и без аммонала. Экскаваторы сами разгрызут обветшалую кирпичную кладку, а грузовики растащат на засыпку ям сыпучий каменный прах. Тогда бесследно исчезнет во времени Зарядье, бывшее Загородье и еще раньше просто Посад, как уже растворились в прошлом всякие старомосковские всполья и полянки, кулишки да мхи да непроходные глинища, что доживают свой век лишь в названьях. Три академии Советского Союза заглянут в этот просторный котлован, чтобы по материальным останкам в толще культурного пласта восстановить облик прежней жизни в этой древнейшей после Кремля части Москвы.

Еще задолго до того, как мать Грозного, Елена Глинская, руками безвестных русских каменщиков и фрязина Петрока Малого возвела рвы и стены Китай-города, здесь уже кипела деятельная жизнь. Она родилась, наверно, одновременно с при-

ходом сюда первых суденышек по Москве-реке как некое корабельное пристанище. Город еще строился,— пенькой, смолой и свежим тесом обильно пахли берега тогдашнего Зарядья. По домыслам и уцелевшим мелочам можно и теперь приблизительно угадать картину осеннего вечера в древнем Зарядье. Уже верно стучали кузнецы в своих чадных кузнях, и девушки аукались в ближних московских рощах, собирая орехи да грибы; пастуший рожок из Заречья мешался с колокольным благовестом от Спаса на таком багряном в закате Бору; вездеходная русская телега поднимается в гору к Торговой — еще далеко не Красной! — площади, и по-древнеславянски матерятся потные ямщики, застрявшие с возками на зарядских ухабах да водомоинах; и, несмотря на близость вечерни, горемычная нищета уже галдит и пляшет у корчмы...

Зарядье немногим моложе Кремля. Еще за целый век до того, как возвысилась над Москвой колокольня Ивана Великого, уже пылала в пожарище Зачатская, что в углу Зарядья, церковка, и зарево ее отражалось в заводях вечерней реки.

Именно через Зарядье пролегала знаменитая Великая улица, магистраль общемосковского значения. Начинаясь от заложенных ныне ворот Кремля, в направлении на Симонов монастырь, на преславные Коломну и Рязань, она вела до Нижнего по Оке, потом по Волге, а с Волги волоком на Дон, и через Дагестан на Персию, и дальше, до волшебных стран русской сказки. Так добирались они до Индии. Непроходимая орда лежала на другом, кратчайшем пути.

По этой дороге взад и вперед шли караваны торговых гостей, нагруженные заморскими сукнами, венецейским стеклом и парчами, восточными пряностями и другими невиданными диковинками; по ней украдкой от зоркого татарского глаза сновали княжеские гонцы; именно здесь проходили на восток и поднимались обратно в Москву все эти Олеарии Струйсы и Мандельсло — послы, миссионеры, соглядатаи западных «держателей» и просто юркое международное жулье; сами ордынские вельможи жаловали этим путем со своими свитами на Русь, за данью; паломники тащились, стуча посохами по иссохшей земле, и слепцы возвращались из татарского полона на Русскую землю... После долгой и жаркой, изнурительной дороги Зарядье первое встречало их домовитым радушьем человеческого жилья. И ни один никогда впоследствии не помянул о нем толковым и добрым словом!

С набатной башенки, что сидит на Кремлевской стене между Спасской и Беклемишевской, видна была эта улица до самого конца. Бессменные часовые денно и нощно глядели вдоль нее, не идет ли гроза на молодое русское государство. И видели порой: в урагане поднимались облачища пыли, вставали пламена сигнальных огней и пожарищ, поля горели и домовные строения, темнел юго-восточный горизонт, все быстрее двигались черные пылинки, на глазах обращаясь в бешеных всадников... И вот уже летели стрелы, из удальства пущенные на всем скаку, и уж близились топ коней и гортанный гул незнаемой русскому уху речи. Свирепая туча монгольского нашествия снова ползла на Москву... Тогда ударяли в набат, простой народ хватался за топоры да самострелы, кипятили воду в котлах, чтоб со стены шпарить осаждавших, и русские люди, безымянные отцы, сыновья и братья наших Евпатиев и Пересветов, Мининых и Пожарских, торопились сшибиться с опустошителями Русской земли.

На протяжении веков любому врагу бесстрашно глядела в очи наша добрая мать — Москва. И каждый раз не Китай ли город принимал на себя первые сокрушительные удары? Сказать к примеру,— когда Тохтамыш стучался буздыганом в Фроловские — тогда еще не Спасские! — ворота, требуя выдачи Дмитрия Донского,— где они лежали, двадцать четыре тысячи побитых русских людей, и кто они были, и где стояли их разоренные жилища? И когда пылала старая Москва, а каждый раз сгорало «по неколико тысяч дворов», уже верно это зачиналось с Зарядья, где от века ютилась в нищей тесноте всякая ремесленная голь.

Но ни в летописях, отмечавших многотрудные деянья наших прадедов, ни в дневниках знатных иностранцев почти ничего нельзя найти о Зарядье. Даже в рассказах о великих народных бедствиях немногословны бывали летописцы. Кому придет в голову тратить бумагу на описанье бедного посада с вереницами кособоких бревенчатых хибар, с его своеобычной вонью и копотью, с зыбким настилом из байдашных досок посреди, откуда брызжет под колесами черная болотная вода. Да и много ли различишь в осенний вечер сквозь слюдяное окошко боярской колымаги?

Нет, не случалось, видно, в Зарядье великих событий. Испокон веков оно было задним двором парадной Москвы, обширной мастерской простонародного ширпотреба. Здесь проживала московская мастеровщина, плотники да канатчики,

скорняки, торгаши с лотка — эти бродячие харчевни, а впоследствии — блинщики, картузники, пирожники и, наконец, точильщики с точилами таких размеров, что уже не мастер шел в поисках работы к своему клиенту, а сам клиент тащил свои ножи в эти капища точильного дела. Ясно, на таких ремеслах не прославишься, но самые ремесла эти истово передавались из рода в род... И получается на поверку, будто и не было вовсе Зарядья, хотя всего в полуверсте помещался самый центр Московского государства.

И если приходилось обосноваться здесь монастырьку (Знаменский) или боярину (домик Романовых), или даже почтенному посольству (голландское и английское одно время находились здесь), то селились они повыше да подальше от нездоровой зарядской низины. Ибо весной заливало ее половодьем, а летом нестерпимо, хуже ада, дышали раскаленные зноем помойки, а осенью наступала всевеликая хлябь. Целые сорные реки стекали сюда, в низину.

Разбогатевшие зарядцы, кому посчастливилось ухватить фортуну за хвост, также перебирались наверх, поближе к «Варваре». Здесь-то и образовались со временем все эти ножевые, юхотные, шорные и медовые ряды, определившие самое последнее наименованье Зарядья. Видимо, отсюда пошло начало московскому торгово-промышленному Сити, занимавшему перед революцией всю Ильинку с прилегающими переулками... А там, внизу, близ простоватого Николы Мокрого, оставались по-прежнему неудачники да всякие подсобные граждане...

Но бывала какая-то гордая, хоть и горькая нарядность в народной нищете. Все мы не раз видали, как нужда песенку поет. Такой же оттенок обманчивого внешнего благообразия лежал и на всем строе зарядской жизни. Происходило это и от суровости старинного обычая («без суда, без векселей живали, а единственно под защитой 108-го псалма!»), от строгой великопостной тишины и домостроевского уклада, а может быть, и от количества голубей, которые тысячами беспрестанно кружились на всем пространстве от Василия Блаженного до Проломных ворот. И здесь прежде всего встает в памяти Грибной рынок на первой неделе после масленицы. Длинные ряды ларей стоят по набережной, от Москворецкого моста до бывшего Воспитательного дома. А в них — и щепной товар: дуги, ковши долбленые, оглобли и туеса, расписанные фуксинными розанами; лотки с черносливом, сухими грушами на квас, с шепталой и мочеными яблоками, что янтарнее всяких

Гесперид; и вдруг — какой-то дремучий старик, этакий Нил Сорский, возле десятка вместительных кадей, а в них и меды цветные, и маринады, и соленья, гриб — и белый, и черный, и красный, и соленый, и отварной. И как будто дремлет старик, уставясь в китайгородскую стену... Метет поземка, и молодые озорники гуляют по рядам с толстыми баранками на шее, похожими на золотые украшения скифских царей, что хранятся в Эрмитаже...

Исстари трудно доставалась копейка на этом полугиблом месте; большое человеческое горе вписано в трудовую книжку уходящего Зарядья. Кроме всего прочего, слишком много насовано было сюда людей и заведений. Тут жили и русские староверского обличья люди, и армяне, и татары. Здесь находилось и некоторым образом еврейское гетто; еще Аракчеев разрешил построить в Зарядье синагогу для кантонистов. Но национальная распря между этими людьми, родными по бедности и труду, не возникала никогда.

На месте, где будет стоять один, достойный новой Москвы дом, когда-то помещались извозчичьи дворы, казенки и трактиры, свечные и кондитерские фабрички, живорыбные и бакалейные лавки, обрезочные, где варили и готовили ветчину на потребу Верхних торговых рядов, москательни, кожевенные склады, крутильные и золотоканительные мастерские... Словом, все было, кроме бань. Что ни подвал, что ни чулан, то торгово-промышленное предприятие.

От Зарядья не останется значительных памятников. Оно никогда не имело нарядной, праздничной одежды. На моей памяти здесь не построили ни одного нового дома, я вовсе не помню тут строительных лесов. Только время от времени свежая, неуклюжая заплата появлялась на каменном рубище. Зарядье начало умирать еще до Октября; оно уже нищало с каждым годом, и что-то скорбное, роднящее его с Хитровкой, проступало в самых его сокровенных чертах.

Мы без сожаления переворачиваем эту обветшалую страницу старой Москвы, как уже перевернуты десятки других. И пока не поздно, надлежит всем нам совершить одно полезное дело, за которое, конечно, поблагодарят нас будущие москвичи. С самых высоких зданий Москвы, из постоянных и неподвижных точек, в одно и то же время года, в строго определенном направлении следует ежегодно (если не ежемесячно) снимать маленькую хронику: как движутся люди, бегут троллейбусы и строятся новые дома. Разумеется, брать

надо основные московские магистрали. Эти сорок метров пленки вразт, сложенные за десять лет, образуют бесценный фильм, который нагляднее любой книги расскажет о великих переменах, происшедших в нашей столице. Фильм покажет нашим детям, чем было раньше сердце их родины и как преобразилось оно, и как богатеет ее городское хозяйство, как ширятся улицы и множатся дома. Так можно создать историю города, с птичьего полета и глазами гиганта-народа, живущего вечно.

Это необходимо, потому что мы живем в пору все убыстряющихся перемен. Память поколения насыщена количеством событий, достаточным на тысячу томов. Все грознее дует ветер истории. В эту бурливую погоду советский человек спокойно смотрит в будущее. Он знает: кончается предыстория человечества, и вещество жизни кипит, готовое отлиться в новые, более совершенные формы. В черном дыму тонут города гордой Европы, но есть и другие, которые строятся и растут на глазах у удивленного мира, и древняя мать их — Москва.

Мы всегда с особой нежностью произносили это слово. Оно — не только географическое обозначение. Вокруг него зрело наше национальное самосознание. Если принять за страницу год и если сроком политического рождения Москвы считать первое летописное упоминание о ней (весна 1147 года, когда стареющий суздальский князь Юрий пировал здесь со своим еще не разгаданным другом Святославом Северским), то уже семьсот девяносто четыре больших страницы содержатся в почтенной биографии Москвы. Советскому народу осталось дописать только шесть страниц до восьмисотлетнего юбилея своей столицы... Пусть эти страницы будут самыми значительными из всех! Пусть Москва придет на этот свой великий праздник красивая и помолодевшая, с новым значением, понятным уже на языках всего мира.

Здравствуй, мать, город беспримерной судьбы, Москва!

1 мая 1941 г.

НАША МОСКВА

Русская зима вступает в свои права. Ровный чистый снег ложится на поля... но чужим поганым следом затоптаны нынче дороги к милой столице. Враг упорно рвется к Москве. Один на один бьемся мы с бедой, грозящей всему свету. Все умное и живое, затаив дыханье, следит за эпизодами беспримерной схватки, потому что здесь решается судьба человечества: оставаться ему свободным или, утратив все, с арканом на шее пойти в арьергарде свирепых фашистских орд.

Москва! На картах мира нет для нас подобного, наполненного таким содержанием слова. Возможно, со временем возникнут города на земле во сто крат многолюдней и обширней, но наша Москва не повторится никогда. Москва — громадная летопись, в которой уместилась вся история народа русского. Здесь созревало наше национальное самосознанье. Здесь каждая улица хранит воспоминанья о замечательных людях, прославивших землю Русскую. Здесь были встречены и развеяны во прах многие бедствия, которыми история испытывала монолитную прочность Русского государства. Отсюда народ русский в сопровождении большой и многоплеменной семьи народов двинулся в свое будущее.

Слишком много воспоминаний у нас о Москве, и потому родина полна решимости защищать этот древний мировой город. Сюда шлет она свои полки и оружие. На недавнем ноябрьском параде это она шагала в ногу со своими героями под звуки оркестров; по утрам, слушая фронтовую сводку, это она очами сердца видит утренние московские улицы... Еще дымятся кое-где мирные дома, разбитые прошлой ночью, еще вдалеке ухают зенитки, провожая убегающих ночных убийц, а уже героические московские люди спешат в цехи и учрежденья: все подчинено фронту. Всею индустриальной громадой порабощенной

Европы напирает на нас враг, но никогда Гитлер не увидит коленопреклоненной нашу Москву.

С каждым днем крепнет ярость нашего народа. Сомнительные по своему значению успехи германского фашизма не привели пока ни к чему. Как и четыре месяца назад — конца войне не видно. Больше того, владеть сегодня Европой — это все равно что владеть пороховым погребом, где под ногами бегут и тлеют искры. Напрасно враг пытается трупами своих солдат завалить пропасть, отделяющую гитлеровскую Германию от победы: бездонна эта расщелина смерти!

Когда слушаешь разговоры советских людей, то не хвастливая угроза звучит в них, не смутное упование на какую-то счастливую случайность, а прежде всего — вера в свою историческую судьбу. Нам много еще предстоит поработать в мире, чтоб стал он краше, справедливей и желанней, и первая среди неотложных всечеловеческих наших задач — в содружестве с сильнейшими народами мира избавить землю от фашизма.

Народ сравнивает гитлеровское чудовище с лесным зверем, которого рогатиной встречали бывалые русские богатыри. Известно, что даже когда лезвие уже глубоко уходило в волосатое изнемогающее тело, зверь все еще продолжал свое движение. Он напирал, не замечая боли и сознавая чутьем, что остановиться даже ненадолго — значит рухнуть замертво мордой в снег. И вот уже только отчаянье становится движущей силой его нападенья. В эту решительную минуту — выдержит ли, выдюжит ли русская рука?

— Выдержит, выдюжит, товарищи!

Пройдут годы. Как мрачный сон планеты, схлынет в небытие гитлеровский эпизод. Новые весны обольют своим цветом пожженные, подавленные танками наши сады. Будущий археолог, копаясь в подмосковных суглинках, отыщет — наравне с полусгнившими от древнейших времен — и множество свежих вражеских костей и черепов, вперемежку со ржавыми остатками железных машин: останки преступников и орудий их преступлений. Черным словом вспомнят люди этих дикарей, возомнивших себя владыками мира, и с благодарностью произнесут имена славных защитников Москвы, которая жила, боролась, трудилась — и не была сдана.

Бывают минуты, которые сто́ят вечности. В такое время живешь ты, наша Москва!

1941

ДОКУМЕНТЫ, СДЕЛАННЫЕ КИСТЬЮ

Я помню одно почти такое же воскресенье. Желтые ясени и холодное, девственное небо сентября глядели в широкие окна, отражаясь в мраморе и паркете этого музея. Стояла тишина, и сотни молодых людей, будущие русские художники и архитекторы, благоговейно всматривались в старинные доски, которых касалась благородная кисть Джорджоне, Джулио Романо и Пармиджанино. Памяти не приходится делать усилий. Это было почти вчера.

Как все изменилось с той поры, как ветер войны подул над столицей! Эти скромные юноши и девушки, одетые в военную форму, ушли на фронт защищать свое право на родину и культуру. Они совсем недалеко, в полутораста километрах; ночное небо Москвы подрагивает зарницами близких зениток. Заблаговременно увезены из города дети и святыни. Старики Джорджоне и Джулио Романо уехали в глубь страны, куда в свое время укрылись Рембрандты и Тицианы ленинградского Эрмитажа. Такая разлука бесконечно тяжела москвичам, но что делать! И хотя Москва не боится ничего, все же, когда твоим соседом является такой господин, как Гитлер, следует заблаговременно застегивать карманы. Именно эти человекообразные существа увезли из Петергофской рощи фонтанов знаменитого бронзового Самсона, произведение Козловского, скульптора XVIII века, одного из лучших мастеров русского барокко. Чтобы заранее подготовить его к размещению в плавильных печах, эти ценители искусства распилили его на куски...

Залы музея опустели. Но вот опять они наполняются

людьми,— только среди них теперь совсем мало молодежи. Врачи, писатели, профессора столицы неторопливо идут вдоль стен, где развешаны бумаги и холсты новой выставки. Сегодня здесь показаны работы ленинградских художников за зимний период 41 — 42 года. И снова стоит тишина в этих нарядных залах, уже не благоговения, но и не траура: это безмолвная сосредоточенность человеческой печали.

Когда утихнет война и люди прилежно станут забывать свои утраты, какой-нибудь безымянный поэт напишет поэму об этом городе-герое. И если даже рифмы его будут несовершенны, но искренни и точны, самая тема вознесет его работу в разряд бессмертных. Это будет рассказ о блокаде многомиллионного города, который умирает, но не сдается, поэма о страданиях и мужестве ленинградского человека и, следовательно, человека вообще. Это будет гневный поэтический рапорт нашим праправнукам о том, какое горе причинили земле фашистские гомункулы, выведенные в смрадной гитлеровской яме.

Все, что выставлено здесь,— только отдельные листки из походной, побывавшей под бомбежкой и снежным заносом записной книжки художника. Тут есть странички, умещающиеся в ладони и о содержании которых можно рассказать только целой книгой. И есть страницы, которые видны целиком лишь с расстояния в несколько метров и содержание которых заключено в одном слове: ч е л о в е к. Взору посетителя богато представлены графика и живопись, гипс и отливки из какого-то металла, видимо ненужного на войне.

Но эти вещи сделаны в нетопленной комнате с выбитыми окнами, завешенными ковром. Они написаны красками, которые не высохли, а затвердели от мороза, при коптилках. Нужно было подолгу отогревать руки над подобием очага, чтобы они стали способны нанести очередной мазок. Это писали люди, предельно истощенные недоеданием, порою неизлечимо больные страшной болезнью блокады, имя ее — дистрофия. Некоторые из этих отличных мастеров так и не дожили до своего вернисажа. Они легли в мерзлую, плохо разрытую землю братской могилы. И их творения похожи на последнее «прости» родному городу, сорвавшееся с помертвелых губ.

Есть в каждом человеческом сердце какая-то детская страничка, где пишется самое дорогое: даты, имена и воспоминания. Они, как душа, сопровождают нас до конца нашего пути

на земле. Для русского человека это прежде всего Москва и Ленинград, город-мать и город-сын; сюда включены тысячи самых разнородных философских и политических понятий. Для нас Ленинград — самый красивый город на земле, беспримерная академия архитектуры, Северная Флоренция... Тот, кто побывал здесь хоть раз, никогда не забудет его светлые беззакатные вечера, его романтическую фантастику, царственность его площадей и улиц. Десять русских императоров руками величайших зодчих воздвигали и холили этот многокилометровый памятник всесторонней русской деятельности. Здесь творил Александр Пушкин, в сумерках белых ночей рождались смятенные образы Федора Достоевского, Лев Толстой приезжал сюда из недр России в скрипучем овчинном полушубке, чтоб сверить замысел с оригиналом. Нет ни одной пустой страницы в этой толстой каменной книге России. И каждая песчинка из ленинградской мостовой дорога́ нам как родительское благословение на жизнь и подвиг.

И десять месяцев подряд гитлеровские удальцы, обложив кольцом, громят и крошат неповторимые драгоценности Ленинграда. Мы узнаем этот почерк, почерк убийц и громил. Это их прадеды тринадцать веков назад рубили руки и носы у мраморных богов на Форуме. У каждого дикаря свое понятие о доблести. Сотни ночей подряд ревут и лижут небо пламенем германские пушки. И в эту ночь, когда ты будешь спокойно спать, будут взлетать и пылать святыни Ленинграда: блокада еще не снята. Могучее тело украденного Самсона, разрывающего пасть зверя, возвращается на родину в виде шрапнельных головок.

— Made in Germany,— шипят они, падая в ледяную воду Невы.

Мне жаль, что нет тебя со мной, читатель. Мы прошли бы с тобой по этим залам, где висят произведения-раны, произведения-улики. Это совершенно безопасно, здесь не стреляют. Зато ты увидел бы щербатый, искрошенный лик города-красавца, полонившего своими чарами всю русскую музыку и литературу. Ты обратил бы внимание на иссиня-белый колорит: снег, снег, снег... Вот он, весь в сугробах, расплывчатый и мглистый, бесконечно знакомый проспект, и, как маяк ампирной красоты, высится вдали прославленная Адмиралтейская игла... Но люди с закаменелыми лицами движутся рядом с танками на фронт. Вот распахнутый взрывом дом на фоне бесстрастной громады св. Исаакия. Вот «Александрийский столп» Пушкина перед

Зимним дворцом, одетый в защитную от бомбежек деревянную одежду...

Теперь все это было бы нестерпимо пустынно без людей. И вот все полно здесь теплым человеческим дыханьем, отвагой ленинградца, его мукой, переносимой с закушенными губами. Гляди: партизаны обсуждают в землянке, за некрашеным столом, план ночной операции; вот летчики, стройные даже в своих меховых комбинезонах, выводят на старт свою стальную птицу. Вот рабочие величайшего металлургического завода, который как железная рукавица на могучем кулаке России. Здесь, у этих прокатных станов, родилась русская революция. Внимательней вглядись в эти скромные, совсем маленькие по масштабу фигурки, накиданные жидкой тушью. Эти самые люди молча привязывали себя к станкам, чтобы не упасть от истощения в рабочее время. Джентльмен, в какой бы части света он ни жил, не смеет не пожать им руку. Не страшно жить на земле, пока живут и дерутся за жизнь, мой спутник, такие люди!

Вот девушки, скользя на вывернутых балках, выносят из разбомбленного здания раненого ребенка, скорченного в нечеловеческой ракурсировке. Больного тащат на санках куда-то на санитарный пункт... (Рисунки А. Пахомова.) Город в белой пелене инея и мороза; набережная, откуда царь Петр глядел в будущее своего государства. Мосты, эвакуация Эрмитажа, пустые рамы... И кажется, что в этом холсте, как в зеркале, отражаются залы, по которым мысленно мы проходим с тобой (автор В. Пакулин). Вот крыши города, как бы прижатые к земле воздушной тревогой. И рядом под развороченным бомбой потолком цеха ночная смена в последний раз осматривает танки, готовые завтра ринуться в бой. Ледяные сталактиты, обширность помещенья, смело поставленный источник света — придают этой работе монументальную значительность Пиранези (автор Н. Дормидонтов). Здесь же — масляные эскизы картин, которые не будут написаны никогда. Вот их автор, худой и очень суровый ленинградский человек, не выпустивший кисти из своих синих от холода рук. Его звали Ярослав Николаев. Гитлер убил его блокадой в зиму 1942 года.

Когда-нибудь настанет, скажем, 25-й век. Это так далеко от нас, как далека и палеозойская эра. И так же близко, как самое сердце. Вместе с людьми Ленинграда из дыма и несчастий земли мы видим этого будущего, счастливого вполне по-

томка. Наверно, это будет очень красивый, очень строгий и очень справедливый человек. И, может быть, однажды, в такую же золотую осень он, прищурясь, оглянется на нас из теплого дома и залитого светом окна. И увидит наши затемненные города-берлоги, наши искромсанные поля, оскверненные, вытоптанные гитлеровцами... И услышит крик потерянного в этой адской ночи ребенка...

Тогда он с бережной нежностью заново перелистает эту летопись ленинградских мастеров, порой — торопливую, порой — живописно-недодуманную до конца, но всегда искреннюю и правдивую. Он увидит во весь рост мужественного ленинградца и улыбнется ему, как улыбаются далекому и безвестно затерявшемуся брату!

1942

ТВОЙ БРАТ ВОЛОДЯ КУРИЛЕНКО

Набатный колокол бьет на Руси. Свирепое лихо ползет по родной стране, и безмолвная пустыня остается позади него. Там кружит ворон, да скулит ветер, пропахший горечью пожарищ, да шарит по развалинам многорукий иноземный вор...

Второй год от моря до моря, не смолкая ни на минуту, гремит стократное Бородино Отечественной войны. Утром шелестит газета в твоей руке, мой безвестный читатель. И вместе с тобою вся страна узнает о событиях дня, с грохотом отошедшего в историю. Еще один день, еще одна ночь беспримерной схватки с врагом миновала. С благоговейной нежностью ты читаешь про людей, которые вчера сложили свои жизни к приножью великой матери. Высокие, под самые облака, тени предков обнажают головы и склоняют свои знамена пред ними. Какой могучий призыв к подвигу, мужеству и мщенью заключен в каждодневном шелесте газетного листа!

И еще громче орудийных раскатов звучит в нем тихое и строгое, как молитва, слово героя:

— За свободу, честь и достояние твое... в любое мгновение возьми меня, родина. Всё мое — последний жар дыхания, и пламя мысли, и биение сердца — тебе одной!

Многие из них уже отошли навеки к немеркнущим вершинам славы,— воины, девушки и дети, женщины и старцы, принявшие на себя благородное звание воина. Нет, не устыдятся своих внуков суровые и непреклонные пращуры их, оборонявшие родную землю в годы былых лихолетий. Никогда не поредеет это племя богатырей, потому что самый слух о герое родит героев. Там, в аду несмолкающего боя, стоят они плотным

строем, один к одному, как звенья на стальной кольчуге Невского Александра. Весь свет дивится нынче закалке и прочности этой брони, о которую разбиваются свирепые валы вражеского нашествия. Нет такой человеческой стали нигде на Западе. И в мире нет такой. Она изготовляется только у нас.

Слава вам, сыны единой матери!

Нам знакомы тысячи знаменитых имен современников наших во всех областях мирной человеческой деятельности. Мы гордимся ими и каждого знаем в лицо. Славные машинисты и шахтеры, хирурги и сталевары, строители материальных очагов нашего счастья, изобретатели умнейших машин, мастера неслыханных рекордов, музыканты, художники, певцы... Ими, как ковром пестрых и благоуханных цветов, усеяны наши необъятные пространства. И вот мы услышали новые имена людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной Русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!

Сверкающей вереницей они проходят перед лицом отечества. Опаляют разум картины их нечеловеческой отваги. Вот юноша-красноармеец заслоняет собою амбразуру пулеметного гнезда, чтоб преградить дорогу смерти и обезопасить идущих в бой товарищей. Вот сапер, когда разбило осколком его миноискатель, голыми руками, на ощупь, и в сыпучих сугробах по пояс, расчищает перед штурмом минированное поле. Вот, приколов, как реликвию, поверх бушлатов клочки нахимовского мундира, идет в последнюю атаку севастопольская морская пехота...

Кто вырастил тебя, гордое и мужественное племя? Где ты нашло такую силу гнева и ярость такую?

Родина скорбит о павших, но забвенье никогда не поглотит памяти об этих лучших из ее детей. Грозен и прекрасен летчик Гастелло, который крылатым телом своим, как кинжалом, ударил в гущу вражеской колонны. Легендой прозвучал подвиг двадцати восьми братьев, которых сроднила смерть на подмосковном шоссе. Бессмертен образ комсомолки Зои, которую мы впервые увидели на белом снегу газетной страницы в траурной рамке. Вся страна пытливо вглядывалась в это красивое лицо русской девушки. Ни смертная мука, ни ледяная могила не смогли стереть с него выражение бесконечной реши-

мости и прощальной улыбки милой родине... Созвездия надо бы называть именами этих людей, смертью поправших смерть!

Память народа — громадная книга, где записано все. Народ наш хорошо помнит причиненное ему горе. Не забудем ничего, даже сломленного в поле колоска. Есть у нас кому мстить, завоеватели!

Когда стихнет военная непогода, и громадная победа озарит дымные развалины мира, и восстановится биение жизни в его перебитых артериях, лучшие площади наших городов будут украшены памятниками бессмертным. И дети будут играть среди цветов у их гранитных подножий и учиться грамоте по великой заповеди, начертанной на камне:

Любите родину свою, как мы ее любили!

Но еще прежде, чем историки, скульпторы и поэты найдут достойные формы для воплощения беззаветных свершений героев, а отечество оденет в бронзу их образы, следует любыми средствами сохранить в памяти хотя бы самые незначительные их живые черты. Запомни их лица, друг! Запомни навсегда эту гордую, по-орлиному склоненную к земле голову Гастелло, и хмурые, опаленные пламенем неравного боя лица двадцати восьми, и строгий профиль Зои, и честный, простой, как небо родины, взор партизана Володи Куриленко.

Мы не знали его в лицо, хотя он жил среди нас, скромно выполняя повседневную свою работу. Это обыкновенный человек наших героических будней. Трудно начертить спокойный его портрет нашими обиходными словами. Могучие воины, его овеянные славой соратники, не много рассказали о нем. Еще гремят поля войны, дорого каждое мгновенье, и скупо цедятся нежные слова.

Знакомься же с ним, современник!

Вот он стоит перед тобой, Владимир Тимофеевич Куриленко, голубоглазый, русоволосый русский парень, совсем юный. Он родился 25 декабря 1924 года. Семнадцать лет ему исполнилось в партизанском отряде, когда он умел уже не только стрелять, но и попадать в самое сердце немца. Природа одарила всем этого юношу. Он был, как тот, павший за родину в битве на Калке, великолепный Даниил, о котором с предельной и сердечной ясностью сообщил летописец: «...был он молод, и не было на нем порока с головы до пят». И если любой, наугад взятый молодой гитлеровец — законченный пример средневековой низости, Владимир Куриленко — отличный образец честного, деятельного юноши нашей эпохи.

Итак, он сын учителя на Смоленщине. Восемь лет провел он в школе. В нем рано проснулся дар организатора: он руководил ученическим комитетом, пионерским отрядом, потом комсомольской ячейкой. С малых лет его влекло к себе широкое океанское раздолье, где человек волей и выдержкой своими меряется с стихией. Но природа не поместила на Смоленщине седого и грозного океана, который грезился Володе. Все же Володя создал отряд «юных моряков», и уж наверно армады детских корабликов ходили по тамошней речке, и, уж конечно, адмиралом среди товарищей своих был этот статный и крепкий паренек.

Позже его в особенности влекла романтика военного дела. Хотелось ему также строить и изобретать. Он даже сердился на свою молодость, мешавшую ему поступить в Ленинградскую военно-инженерную школу. Он был принят туда 6 июня 1941 года,— все, даже самые мелкие, даты важны в этой краткой и такой емкой биографии. Уже сбывалась мечта... и не сбылась, разрушенная, как и миллионы других молодых мечтаний, вторжением фашистских армий. Ленинград был отрезан фронтом. Гитлеровская орда потекла на Русь. Юношеская склонность Володи к военным занятиям пригодилась; больше того — она стала потребностью дня. Такова первая страница в анкете героя.

Как быстро в военное время растут и мужают наши дети!.. Когда первые немцы появились в Володиных местах, где каждый кустик, каждая полянка были овеяны для него не осознанной пока детской романтикой, он сразу занял свое место рядом со взрослыми. Видимо, и отец Володи принадлежал к той замечательной категории народных учителей, которые собственным примером своим учат молодых граждан поведению в жизни. Тимофей Куриленко встретил гитлеровских посланцев пулеметным огнем, и два сына его, Владимир и пятнадцатилетний Геннадий, помогали ему при этом.

— Учитесь, учитесь, детки, этой азбуке войны, без которой пока нельзя быть спокойным за свое счастье на земле...

Это был новый вариант старинной и любимой песни — о Трансваале, о родине, горящей в огне, и об отце, который повел своих юных сыновей бороться за свободу. Засада Тимофея Куриленко изменила направление неприятельского удара. Свернув с намеченного пути, немцы наткнулись на регулярные части Красной Армии и были искрошены. Полтораста вражеских трупов и десятки разбитых машин — вот первое наглядное

пособие, которое народный учитель показал своим сыновьям.

Несколько позже, в августе 1941 года, Володя самостоятельно организует партизанский отряд из ребят своего селения. Он сам становится педагогом в этой боевой школе. И вот наступает первый скромный урок — первая встреча с завоевателями, покорившими пол-Европы. Мальчики мужественно ложатся в засаду у дороги. Грузовая машина, громыхая железной посудой, проходит совсем близко. И вровень с нею стволы винтовок движутся в высокой траве. Ребятки хорошо знают незваных гостей: это донльцы, сборщики молока для германской армии. Кроме молока, они отбирают яйца, хлеб, мясо, вилки и ножи, сарафаны и ведра: доброму вору все впору!.. В особенности вон тот, что сидит поверх бидонов, знаком и ненавистен Володе. Этот выдающийся мастер гитлеровского разбоя, отлично изучивший русский язык в пределах своей грабительской деятельности, давно заслужил добрую порцию партизанского свинца.

— Огонь! — сурово произносит мальчик.

Гремит нестройный залп.

Хрипят тормоза, машина останавливается. Володя сердито кусает губы: ох, столько промахов враз, да еще по такой мишени! Выскочив, немцы залегли под откосом,— все, кроме того, белесого, который медленно, оскалив зубы, сползает с бидонов. Какое розовое молоко хлещет сквозь щели автомобильного кузова!.. Жаркая перепалка. Необстрелянные Володины юнцы разбегаются с поля боя. Значит, это дается не сразу... Хорошо! Оставшись один, Володя припадает к пулемету: «Вот я их!» Одиночный выстрел, очереди не последовало. Второпях растерялся и сам командир: что это, поломка пулемета? Он же сам чистил и разбирал его накануне... Полудетское замешательство: в мгновенье ока надо припомнить все, что проходили на специальных занятиях в школе.

— Так почему же, почему же он не стреляет? Забыл, забыл... — шепчут губы.

Это похоже на экзамен, на грозный экзамен, где экзаменаторами — жизнь и смерть. В минуту затишья немцы вскакивают на машину. Володя снова хватается за винтовку: это проще. Ага, еще один свалился, точно нырнул в зеленую некошеную траву! А вот и вражеский офицер, согнувшись, хватается за живот.

— Смотри не обожги себе утробы горячим русским молочком, майор.

Немецкий шофер успевает завести мотор. И только теперь Володя понял свою ошибку: он просто забыл нажать предохранитель. Машина пускается наутек. Завоевателей гонит животный страх перед русскими партизанами. Закусив безусую губу, Володя посылает вдогонку длинную, не очень меткую очередь.

А вечером в укромном месте, где-нибудь в уцелевшем овине, состоялись, наверно, занятия в отряде. Никто не глядел в лицо друг другу, и с недетской серьезностью звучал басок Володи:

— Ничего, товарищи: учимся! Однако рассмотрим все-таки причины этой неудачной операции...

Конечно, он не бранил их; он всматривался в смущенные добрые лица крестьянских детей, искал слова поддержки, чтоб разбудить в них сноровку, стойкость и великую силу к сопротивлению. В конце концов, не мудрено, что случилась неудача. То была пора, когда вся страна лишь училась давать отпор внезапному врагу. Прославленная германская организованность, помноженная на массовый опыт всеевропейских убийств, примененная в гнусном деле разбоя и террора на нашей земле, представлялась тогда черной и неодолимой силой. И Володя Куриленко знал, что этот первый урок еще пригодится им впоследствии.

Рано закончилась юность у поколенья русской молодежи времен Отечественной войны. Родина поставила их в самое горячее место боя и приказала стоять насмерть. Кто бы узнал теперь в молодом и строгом командире с незастегнутой кобурой и гранатой у пояса мальчика Володю Куриленко, мечтателя и адмирала несуществующих морей? Хозяйская ответственность за судьбу страны легла на его плечи и как бы придавила их слегка. Суровая морщинка прочертилась меж бровей, тоньше и жестче стали возмужавшие губы и еще тверже сердце, познавшее радость мщенья и горечь разлуки с павшими друзьями.

В сентябре враг высылает уже крупные карательные отряды против партизанских сил, к которым присоединилась и группка Володи Куриленко. Началась лютая охота нацистов на непокорное и непокоренное население. Отряд Куриленко был окружен в деревне. Уже каратели идут по избам, но команди-

ру удалось проскользнуть сквозь самые пальцы ночной облавы. Несколько человек из отряда попадают в плен к фашистам. Приговор им вынесен заранее. Подобно прославленным восьми волоколамским комсомольцам-мученикам, они погибают на виселице.

Прощайте, юные мореплаватели, познавшие море жизни в самую грозную штормовую ночь! Может быть, вы стали бы капитанами дальних плаваний и прокладывали новые трассы в ледяных пространствах Севера... Веревка иноземных палачей оборвала вашу мечту. Запомним, заплатят вдесятеро. И на стальных бортах новеньких кораблей ваши имена много раз еще обойдут все моря родины!

Каратели трудятся. Питекантропы в эсэсовских мундирах убивают и жгут. Пепел и слезы, слезы и пепел — вот удел занятых врагом областей. Ничего, они — как споры ненависти, эти серые пеплинки: из каждой родится по герою... Дню всегда предшествует ночь. Партизанское движение в этом крае, кажется, совсем подавлено. Наступила черная осень 1941 года. Отступление наших армий. Первый снег кружится над поруганной землей. Знойко и тихо в этой искусственно созданной пустыне, отгороженной от мира огневой завесой разрывов. Куриленко возвращается к отцу и снова на некоторое время становится прежним Володей. Он отбивается от усталости и разочарования, что невольно крадутся в сердце! «Ничего, выстоим, выдюжим! Не для того мы рождались на свет... и еще не допеты наши песни!»

Тайком он устанавливает радиоприемник,— пригодилась детская любознательность. Вместе с родными в темные ночи он слушает передачи из такой близкой и такой далекой теперь осажденной Москвы. Громче, громче бейте часы на Спасской башне: миллионы преданных сердец слушают вас в эту ночь! А чуть забрезжит утро, Володя отправляется в путь, с ломтем хлеба за пазухой. Он разносит слова правды, которые узнал ночью, по всем отдаленным местностям района. В селах знают, любят и ждут его. Куриленко становится живой газетой. Трудное и почетное дело в условиях глубокого немецкого тыла и зверских законов оккупации.

Идут месяцы,— декабрь. Могучие удары сибирских дивизий под Москвою. Эхо их разносится по всему миру, потрясая глупый миф о непобедимости германских армий. Фронт снова приближается к родным Володиным местам. Скоро, совсем скоро взметнется под ногами поработителей эта измученная, рас-

ковырянная земля. А пока таись и жди своего часа, гордый мститель Смоленщины! И часто, отправляясь с добрыми вестями по тайным тропкам в самые глухие углы, к друзьям, он останавливался где-нибудь на опушке леса, этот коробейник новостей, и глядел, прищурясь, на железнодорожное полотно.

Дни прибывали, уже слепил глаза крепнущий снежный наст.

Шел очередной эшелон с вражеским войском. Усердно пыхтели паровозные поршни, и то ли зимний ветерок подвывал в ветвях, то ли постылая вражеская песня сочилась сквозь железную обшивку вагонов. Вражеские рожи прильнули к окнам изнутри: видать, любопытно было — среди каких таких восточных просторов и немереных русских лесов придется им сгнивать в недалеком будущем...

И, наверно, усмехался Володя, думая про себя:

«Вот новая партия немецких покойников своим ходом направляется к предназначенным для них могилам. Не вернется ни один, ни один!»

И кстати считал вагоны с живым и платформы с мертвым инвентарем, чтобы сообщить потом, кому следует, об этой встрече. Всякое знание полезно партизану.

...В январе не стерпело сердце. Теперь уже сам Володя уводит отца и брата в лес, в жгучую морозную неизвестность. Там кочевал в ту пору отряд славного партизана товарища Ш.

Часть февраля уходит на разведку, на установление правильной связи с Красной Армией. Приходится много раз пересекать огневую линию фронта. Так копится у Владимира Куриленко богатый опыт диверсий, шлифуется мастерство партизанского действия. Ненависть к врагу — вот всенародная академия, где он получил высшее военное образование. Теперь уже никакая внезапность не застанет его врасплох. Зрелость входит в его трудную и чреватую опасностями юность. Партизан всегда бьется с численно превосходящими силами противника. «Четверо против шестидесяти восьми? Ничего. Великая мать смотрит на нас. Вперед!» И если отступали, то лишь израсходовав весь огневой запас.

Какое пламя гнева нужно было хранить в себе, чтобы не закоченеть в такие бездомные, метельные партизанские ночи!

Молодой Куриленко поспевает везде. Ему хватает времени на все, точно он сторукий. Все партизанские специальности

знакомы ему. Вот дополз слух о том, что в одной деревне организован полицейский отряд для борьбы с партизанами. Володе дается поручение превратить в падаль изменников родины, и он с друзьями выполняет приказ. Это он за каких-нибудь полтора месяца, сообща с товарищами, спускает под откос пять вражеских поездов с боеприпасами и живым солдатским грузом. Это он взрывает мосты на магистралях и сообщает нашему командованию о заторах, образовавшихся на путях. И стаи наших краснокрылых птиц расклевывают дочиста скопления вражеских эшелонов...

Порою, кажется, юноша дразнит судьбу, как будто не одну, а сотню жизней подарила ему родина. И тут начинается широкая, как река, песенная слава партизана.

Умей расшифровывать, увидеть в недосказанных подробностях сухую газетную сводку, современник! Это стенограмма народной войны. Сердцем патриота почувствуй, глазами брата прочти эти скудные записи в партизанском дневнике. Вот некоторые из них, скромная повесть о буднях партизана:

«*2.3.1942.* Владимир Куриленко с товарищем А. при возвращении в лагерь наткнулся на немецкую батарею. Пулеметным огнем скошено 2 артиллерийских расчета. Товарищ А. убит.

5.3.1942. Четверо, среди которых Владимир Куриленко, вступили в бой с 68 фашистами. Убито три оккупанта, один ранен.

30.3.1942. Партизаны нашего отряда, Владимир Куриленко и бойцы отряда особого назначения, скинули под откос поезд между станциями Л. и К. Убито 250 фашистов.

10.4.1942. Крушение товарного состава на дороге С. — Л. Одновременно подорвано соседнее железнодорожное полотно. Владимир К.

13.4.1942. Подбита машина. Уничтожено 4 немца. Куриленко с товарищами.

14.4.1942. На комсомольском собрании ответственным секретарем президиума ВЛКСМ избран Владимир Куриленко.

26.4.1942. Еще один эшелон на перегоне К.—Л. спущен под откос Владимиром К. Погибло 270 немцев. Взорван паровоз и железнодорожное полотно на О. направлении».

В этих скупо обозначенных эпизодах ничего нет о стремительной дерзости, об искусстве преодоления самых, казалось бы, непреодолимых препятствий, об особенностях партизанской жизни. Каждую минуту бодрствования или тревожного, урывками, сна находиться в окружении! И в самом кратком, почти бесцветном эпизоде от 13 апреля ничего не сказано про обстоятельства очередной схватки с противником. Приблизь к глазам сердца эту скромную запись, современник!

Ранняя шла в том краю весна. Талая кашица стояла под снегом, почернелым и источенным, хрупким, как стеклянное кружево. Уже на возвышенностях, где днем пригревало солнышко, глубоко увязали ноги. Трое, во главе с Володей Куриленко, шли на выполнение боевой задачи. О, столько раз описанное в литературе предприятие и ни разу не дописанное до конца: мост. Река встала на их пути. Слабо мерцал в сумерках синий, истончившийся ледок, кое-где уже залитый водою. На задней кулисе туманного леска тревожно чернел силуэт самой цели. По зыбкому, гибельному льду, чуть схваченному вечерним морозцем, подрывники перешли реку. Оставался еще ручей, он клокотал и шумел всеми голосами весны. Пришлось перебираться вброд. К мосту подошли уже мокрые по пояс... Спокойно и деловито закладывали кегли, когда Миша, товарищ Куриленко, сигнализировал о приближении вражеской автомашины. Жалко было упускать и эту маленькую цель. Здесь было достаточно удобное место для засады, в глубоком затоне ручья. Трое залегли в воду, только глаза, злые и зоркие глаза их остались над поверхностью.

Мы не знаем, как тянулись эти минуты ожидания. Те, которые еще бьются с врагом на Смоленщине, расскажут потом подробнее про этот вечер. Наверно, пронзительная тишина стояла в воздухе, и, может быть, Володя спросил шепотом, чтобы шуткой поддержать товарища:

— Что, не промок, хлопец?

— Кажется, коленку замочил ненароком,— шуткой же отвечал тот. — А что?

— Ничего... Смотри не остудись. Этак и насморк можно заработать.

Ближе стеклянный хруст ледка в подмерзших колеях. Вот и свет фар показался на дороге. Кто-то шевельнулся в засаде. Желтые латунные блески пробежали зыбью по воде.

— Начнем с гранаты, хлопцы!

Трудно кидать эту чугунную игрушку закоченевшей рукой. Но не промахнись, партизан: их больше. Взрыв — и мгновение спустя басовитое одобрительное эхо вернулось от леска к засаде Куриленко. Машину почти сошвырнуло с дороги, но она еще двигалась. «Теперь стрелять...» Четырех убили, пятерых ранили; безотказно действовал ППД. Из строений ближней МТС, где расположились немцы, уже бежали, галдя и стреляя наугад, полуодетые фигуры солдат. Обшарили, прострочили всякий кустик, черневший на берегу, но все было неподвижно. И мертвые солдаты, лежа на завоеванной ими земле, задумчиво глядели на дальний лесок, охваченный чутким безмолвием весны...

Она вступала в свои права, весна. Повеселели лужки на припеках, топким, почти бесплотным туманцем окутались рощи. И птицы, каких еще не разогнал орудийный грохот, шумели иногда в лесных вершинках. Подступала пора великих работ на земле, и не было их — мешали фашисты. Злее становились удары исподтишка, в затылок врага. И ровно месяц спустя после памятной операции наступил отличный вечер, уже проникнутый тончайшим ароматом целомудренной русской флоры. Снова отправлялись в путь партизаны, и опять их было трое, с Володей Куриленко во главе. Теперь они свою взрывчатку заложили под железнодорожное полотно и терпеливо ждали, как ждет рыболов своей добычи на громадной и безветренной реке.

Сбивчивые стуки пошли по рельсам,— земля подсказывала на ухо партизану:

— Пора!

Володя выждал положенное время и крутнул рукоятку заветной машинки. И тихий русский вечер по-медвежьи, раскоряко, встал на дыбы и черную когтистую лапу взрыва обрушил на вражеский эшелон. Гаркнула тишина, и вагоны с их живой начинкой посыпались под откос, вдвигаясь один в другой, как спичечные коробки... И где-то невдалеке трое юношей, исполнители казни, сурово наблюдали эту лютую окрошку из трехсот фрицев.

— Люблю большую и чистую работу,— сквозь зубы процедил Владимир Куриленко и повернулся уходить.

Он был веселый в тот вечер. Легко и вольно дышалось в майском воздухе. И хорошо было чувствовать, как доверчиво опирается родина о твое надежное плечо... Они шли молча, и необъятная жизнь лежала перед ними в дымке юношеских меч-

таний. На ночь они расположились в деревне С., и никто не знал, что это была последняя ночь Володи.

В полночь деревня была охвачена кольцом карательного отряда. Началось избиение людей, не пожелавших выдать спрятанных партизан. В перестрелке был насмерть сражен друг и соратник Володи комсомолец К. Сам Куриленко, раненный в голову и живот, продолжал отстреливаться. Каратели подожгли дом. Пламя хлестнуло в окна, зазвенело стекло, черная бензиновая копоть заструилась в нежнейшем дыхании ночи. Тогда товарищ Володи, владевший языком врага, крикнул по-немецки в окно:

— В своих стреляете, негодяи!.. Кто, кто стреляет?

Пальба прекратилась, и в этот краткий миг передышки Куриленко и его товарищ выскочили из избы на огород, не забыв при этом унести и оружие убитого товарища.

Кое-как они дотащились до соседней деревни. Незнакомая Володе смертная слабость овладела его телом. Так вот как это бывает!.. «Ничего, крепись, партизан! Чапаю было еще труднее, когда он боролся один на один со смертью и воды Урала тянули его вниз...»

Крови становилось меньше, он уже не мог стоять, когда добрались до деревни. Неизвестный друг запряг лошадь и положил соломы, сколько влезет на дно телеги. Двинулись в путь медленно, чтобы не увеличивать муки раненого. Лошадь шла шагом.

— Крепись, крепись... Еще немножко, Володя! — шептал А.

Откинув голову, ослабев от потери крови, Куриленко лежал в телеге. Тысячи самых красивых, самых здоровых девушек в стране без раздумья отдали бы кровь этому герою и всю жизнь потом гордились бы этой честью. Но не было никого кругом, кроме друга, бессильного помочь ему, да еще великого утреннего безмолвия. Затылок с непокорными юношескими вихрами, смоченными кровью, бился о задок телеги, и голубой взор был устремлен в бесконечно доброе небо родины, едва начинавшее синеть в рассвете.

Он слышал все в этот час: всякий шорох утра, каждый запах, веявший с поля, треск сучка, шелест земли, разминаемой колесом, просвист птичьего крыла над самым ухом. И, уже бессильный повернуть голову, он узнавал по этим бесценным мелочам облик того, что так беззаветно и страстно любил... Боль проходила, что означало приближение смерти. Только лег-

кая и острая тоска по родине, покидаемой навсегда, теплилась в этом молодом и холодеющем теле. Вот оборвалась и она...

Такова последняя строка в анкете героя.

«Не долго жил, да славно умер»,— говорит русская древняя пословица. Он умер за семь месяцев до своего совершеннолетия. Для того ли родина любовно растила тебя, Володя Куриленко, чтоб сразила пуля гитлеровского подлеца? Прощай! Отряд твоего имени мстит сейчас за тебя на Смоленщине. На великой и страшной тризне по нашим павшим братьям мы еще вспомним, вспомним, вспомним тебя, Володя Куриленко!

1942

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Мой добрый друг!

Я не знаю твоего имени. Наверно, мы не встретимся с тобою никогда. Пустыни, более непроходимые, чем во времена Цезаря и Колумба, разделяют нас. Завеса сплошного огня и стального ливня стоит сегодня на главных магистралях земли. Завтра, когда схлынет эта большая ночь, нам долго придется восстанавливать разбитые очаги цивилизации. Мы начнем стареть. Необъятные пространства, которыми мы владели в мечтах юности, будут постепенно мельчать, ограничиваться пределами родного города, потом дома и сада, где резвятся наши внуки, и, наконец, могилы.

Но мы не чужие. Капли воды в Волге, Темзе и Миссисипи сродни друг другу. Они соприкасаются в небе. Кто бы ты ни был — врач, инженер, ученый, литератор, как я,— мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку. Я слышу твое дыхание рядом с собою, я вижу умную работу твоих рук и мысли. Одни и те же звезды смотрят на нас. В громадном океане вечности нас разделяют лишь секунды. Мы — современники.

Грозное несчастье вломилось в наши стены. Оглянись, милый друг. Искусственно созданные пустыни лежат на месте знаменитых садов земли. Черная птица кружит в небе, как тысячи лет назад, и садится на лоб поверженного человека. Она клюет глаз, читавший Данте и Шекспира. Бездомные дети бродят на этих гиблых просторах и жуют лебеду, выросшую на крови их матерей. Все гуще пахнет горелой человечиной в мире. Пожар в разгаре. Небо, в которое ты смотришь, пища, которую ты ешь, цветы, которых ты касаешься,— все покрыто ядовитой копотью. Основательны опасенья, что чело-

веческая культура будет погребена, как Геркуланум, под этим черным пеплом. Война.

Бывают даты, которых не празднуют. Вдовы надевают траур в такие дни, и листья на деревьях выглядят жестяными, как на кладбищенском венке. Прошло три года этой войны. Облика ее не могли представить себе даже самые мрачные фантасты,— им материалом для воображенья служила наивная потасовка 1914 года. С тех пор была изобретена тотальная война, и дело истребления поставлено на прочную материальную основу. Немыслимо перечислить черные достижения этих лет. Обесчещено все, чего веками страдания и труда добился род людской. Затоптаны все заповеди земли, охранявшие моральную гигиену мира. Война еще не кончена.

В такую пору надо говорить прямо и грубо,— это умнее и честнее перед нашими детьми. Речь идет о главном. Мы позволили возникнуть Гитлеру на земле... Будущий историк с суровостью следователя назовет вслух виновников происходящих злодеяний. Ты думаешь, там будут только имена Гитлера и его помощников, замысливших порабощение мира? Петитом там будут обозначены тысячи имен его вольных и невольных пособников — красноречивых молчальников, изысканных скептиков, государственных эгоистов и пилатов всех оттенков. Там будут приведены и некоторые географические названия — Испания и Женева, Абиссиния и Мюнхен. Там будут фонетически расшифрованы грязные имена Петена и Лаваля, омывших руки в крови своей страны. Может быть, даже целый фильм будет приложен к этому обвинительному акту — фильм о последовательном возвышении Гитлера: как возникал убийца, и как неторопливо точил он топор на глазах у почтенной публики, и как он взмахнул топором над Европой в первый раз, и как непонятные капли красного вещества полетели во все стороны от удара, и как мир вытер эти брызги с лица и постарался не догадаться, какого рода была та жидкость.

Люди, когда они идут в одну сторону,— попутчики и друзья. Когда они отдают силы, жизнь и достояние за великое дело,— становятся братьями. И если громадное преступление безнаказанно совершается перед ними,— они сообщники. Протестовать против этого неминуемого приговора можно только сегодня, пока судья не сел за стол,— протестовать только делом и только сообща.

Милый друг, со школьной скамьи мы со страхом поглядывали на седую древность, где, кажется, самые чернила ле-

тописцев были разведены кровью. Наш детский разум подавляли образы хотя бы Тимура, Александра, Каракаллы... Позже детский страх смягчился почтенностью расстояния и романтическим великодушием поэтов. Наш юношеский гнев и взрослую осторожность парализовала мнимая безопасность нынешнего существования. Ужас запечатленного факта окутывался легкой дымкой мифа. Ведь это было так давно, еще до Галилея и Дарвина, до Менделеева и Эдисона. Мы даже немножко презирали их, этих провинциальных вояк, ближайших правнуков неандертальца и кроманьонца!..

Так вот, все эти бородатые мужчины с зазубренным мечом в руке, эти миропотрясатели, джихангиры,— как их называли на Востоке,— все они были только кустари, самоучки истребления. Что Тимур, растоптавший конницей семь тысяч детей, выставленных в открытом поле; или Александр, распявший две тысячи человек при взятии Нового Тира; или Василий Болгароктон, ослепивший в поученье побежденным сто пятьдесят тысяч пленных болгар; или Каракалла, осудивший на смерть всю Александрию? Сколько жителей было в этой большой старинной деревне?

Мир услышал имя Гитлера. Рекорды Диоклетиана, Альбы, Чингиса биты. На смену неумелым простакам, вымазанным в крови, пришли новые варвары, с университетским дипломом, докторанты военного разбоя, академики массовых убийств. В стране, где однажды на горькое благо человечества был изобретен порох (во Фрейбурге, верно, еще стоит монумент тому черному Бартольду!), теперь родилась идея, которую трудно определить вполне корректными словами. Отныне им принадлежат,— вопят они,— земля и небо, наши города и машины, наши дома, и семьи, и наши дети, наше будущее, наше — все. Поработить людей, забыть все, долой homo sapiens'а, да здравствует покорное человеческое существо, которое отныне будет разводить рыжий арийский пастух. Этот новый вид двуногого домашнего животного будет работать, взирая на бич хозяина, драться за его интересы — с теми, кто еще не лег добровольно под ярмо, уныло жрать свой травяной корм и спать в обширном хлеву, в который должна обратиться Европа. И пусть ему не хватит времени на любовь, на познание, на мышленье — эти неиссякаемые источники его радости, его горя, его божественных трагедий. В этом и будет заключаться «счастье» преобразованной нордической Европы.

Была пора — русский поэт Александр Блок в 1918-м кричал о времени:

...когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить! —

и мы принимали этот пророческий образ за поэтическую метафору. «Этого не бывает...» Нет, бывает! Мертвые Шекспир и Дант не смогут нас защитить от живого Гитлера. И время это пришло.

Хоругви предков — какие бы величественные слова ни были начертаны на их ветхих полотнищах — не защитят тебя от пикирующего бомбардировщика. Смотри, красномордые гитлеровские апостолы, с руками по локоть в сукровице, уже взялись за переустройство Европы. И не такими уж неприступными оказались наши прославленные цитадели гуманизма. Политые лигроином, книги горят отлично, а толуол неплохо действует под фундаментами наших храмов. Гитлер идет на штурм мира. Вена и Прага, Варшава и Белград, Афины и Париж... — вот преодоленные ступени штурмовой лестницы, по которой варвар лезет на наши с тобою стены. Он уже приблизился на расстояние руки; смотри ему в глаза, в них нет пощады. Топор с пропеллерной скоростью свистит и вьется в его руке... Холодок этого вращенья ложится на твое лицо. И если бы не Россия, он был бы сейчас на самом верху цитадели.

Прости мне эти мрачные картины незнакомой тебе действительности. Мне приятнее было бы рассказать, как еще несколько лет назад мы без устали строили у себя материальные базы человеческого благосостояния. Наши юноши и девушки хотели прокладывать дороги, воздвигать заводы и театры, проникать в тайны мирозданья, побеждать неизлечимые болезни, изобретать механизмы и создавать ценности, из которых образуются стройные коралловые острова цивилизаций. Они стремились обогатить и расширить великое культурное наследство, подаренное нам предками. Они мечтали о золотом веке мира... Их мечта разбилась под дубиной дикаря. Военная непогода заволокла безоблачное небо нашей родины. В самое пекло войны была поставлена наша молодежь и даже там не утратила своей гордой и прекрасной веры в Человека.

Они-то крепко знают, что в этой схватке победят правда и добро. Орлиная русская слава парит над молодежью моей страны. Какими великанами оказались наши вчера еще незаметные люди! Они возмужали за эти годы,— страдания умножают мудрость. Они постигли необъятное значение этой воистину Народной войны. Они дерутся за родину так, как никто, нигде и никогда не дрался: вспомните черную осень 1941 года!.. Они ненавидят врага ненавистью, которой можно плавить сталь,— ненавистью, когда уже не чувствуются ни боль, ни лишенья. Пламя гнева их растет ежеминутно,— все новое горючее доставляют для него гитлеровские прохвосты, ибо безмерны злодеяния этих громил. Все меркнет перед ними — утонченная жестокость европейского средневековья и свирепая изобретательность заплечных мастеров Азии. Нет такого мученья, какое не было бы причинено нашим людям этими нелюдьми.

Может быть, тебе не видно всего этого издалека? Чужое горе всегда маленькое. Может быть, ты все-таки думаешь, что воды в Темзе и Миссисипи протекает за единицу времени больше, чем крови и слез в Европе? Может быть, ты не слышал про Лидице? Может быть, тебе кажутся преувеличенными газетные описания всех этих палаческих ухищрений?.. Я помогу тебе поверить. Сообщи мне адрес, и я пошлю тебе фотографии расстрелянных, замученных, сожженных. Ты увидишь ребятишек с расколотыми черепами, женщин с разорванной утробой, девственниц с вырезанной после надругательств грудью, обугленных стариков, никому не причинивших зла, спины раненых, где упражнялись на досуге резчики по человеческому мясу... Ты увидишь испепеленные деревни и раскрошенные города, маленькие братские могилы, где под каждым крестиком лежат сотни, пирамиды исковерканных безумием трупов... Керченский ров, наконец, если выдержат твои очи, увидишь ты! Ты увидишь самое милое на свете, самое человеческое лицо Зои Космодемьянской, после того как она, вынутая из петли, целый месяц пролежала в своей ледяной могиле. Ты увидишь, как вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг, как порют русских крестьян, не пожелавших склонить своей гордой славянской головы перед завоевателями, как выглядит девушка, которую осквернила гитлеровская рота... Оставь у себя эти документы. Сложи их вместе с теми выцвет-

шими за четверть века снимками героев Ютландского боя и Марнской битвы. Сохрани их как наглядное пособие для твоих детей, когда станешь учить их любви к родине, вере в Человека и готовности погибнуть за них любой гибелью.

Не жалости и не сочувствия мы ждем от тебя. Только справедливости. И еще: чтоб ты хорошо подумал над всем этим в наступившую крайнюю минуту.

После разрушения Тира Навуходоносором (573 г. до н. э.) было высечено там на камне, что «осталась только голая скала, где рыбаки сушили свои сети». Иероним горько сказал о своей родине, Паннонии, что после войны «не осталось там ничего, кроме земли да неба». Теперь эти описания пригодны для областей, стократно больших. Гостем или туристом приезжая к нам, ты посетил, конечно, и Ясную Поляну с могилой великого старика, и киевские соборы; ты щелкал своим кодаком, наверно, и новоиерусалимский храм на Истре, и прозрачные рощи петергофских фонтанов. Их больше нет. Все, что не влезло в объемистый карман этих фашистских туристов, было уничтожено на месте яростью нового Аттилы.

Нерадиво берегли мы нашу цивилизацию: не сумели даже обезопасить ее от падающих бомб. Слишком верили в ее святость и прочность. Когда наше радио передавало легкую, порою — легчайшую музыку, с нацистских станций откровенно гремела медь грубых солдатских маршей. Бог войны примерял свои доспехи, которые мы слишком рано сочли за утиль. Моя страна говорила об этом не раз,— мир не умел или не хотел слышать. Не ссылайтесь же впоследствии, что никто не предупредил вас о грядущих несчастьях!

Есть такие граждане мира, которые полагают, что если они местожительствуют далеко от вулкана, то до них не доползет беда. В стремленье изолироваться от всеобщего горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию. Самые хитроумные пройдохи юриспруденции не придумали пока оправдания джентльмену, равнодушно созерцающему, как топчут ребенка или насилуют женщину... Условно, из вежливости, назовем это пока выжидательной осторожностью Запада. Однако не сомнительная ли это мудрость — ждать, пока утомится убийца, или притупится его топор, или иссякнут его жертвы? Больше того — пока на протяжении двух с половиной тысяч километров длится жесточайший Верден, уснащенный новейшими орудиями истребления, эти почтенные умы подсчитывают количества танков, какими они будут располагать

летом сорок пятого года и осенью пятьдесят шестого. Прогнозы вселяют в них животворящий оптимизм, как будто врага могут устрашить или остановить подобные математические декларации. Наши эксперты не сомневаются, кстати, что к зиме 1997 года количество этих железных ящеров достигнет гомерических чисел. Армады старых железных птиц, поржавевших от безделья и не снесших ни одного яйца на вражеские арсеналы, закроют своими крыльями целые материки. Но не случится ли что-нибудь неожиданное и чрезвычайное до наступления той обманчиво-благоразумной даты?

Пьяному море по колено, а безумцу не страшен и океан. Никто не превосходил в хитрости безумца. Береги своих детей, милый друг. Послушай, как они плачут в Европе. Все дети мира плачут на одном языке. Великие беды легко перешагивают через любые проливы. Французы тоже надеялись, что их спасет комфортабельная железобетонная канава на северо-восточной границе, линия Мажино, оборудованная всеми военными удобствами!

Я люблю моих современников, тружеников земли! Я благодарен этим людям уже за то, что не один я перед лицом врага, который им также не может быть другом. Я уважаю их деятельную, искательную мысль, их творческое беспокойство, их прошлое, полное героев и мудрецов. Мне дороги их отличные театры, их обсерватории, где пальцами лучей они считают светила, их университеты, где по граммам выплавляется бесценное знание человека, их стадионы, парки, лаборатории, самые города их. Они умеют все — делать чудовищные машины, послушные легчайшему прикосновению руки, создавать великолепные произведения искусства, которые — как цветы, что роняет, шествуя по вечности, Человек! Все это под ударом сейчас.

Скажи тем, которые думают пересидеть в своих убежищах, что они не уцелеют. Война взойдет к ним и возьмет их за горло, как и тебя. Она превратит в щебень все, чем ты гордился в твоих городах, развеет пеплом создания твоих искусств, в каменную муку обратит твои святыни. Едкая гарь Европы еще не ест тебе глаза?.. Гитлер вступит в твою страну, как в громадный универмаг, где можно не платить и даже получать подать за произведенную им погромную работу! Если он на Смоленщине отбирал скудный ширпотреб у русского мужика, почему бы ему не поживиться сокровищами амери-

канских музеев? Его давняя мечта — походным маршем прогуляться по британским островам. Новый Иов, ты сядешь посреди смрадных развалин, в гноище раскаяния, с единой душой да с телом!

Скажи сомневающемуся соседу, что война ворвется к нему в щель, выволочит за волосы жену его и детей его передушит у него на глазах. Оглянись на Белоруссию, Югославию, Украину. Если там девушек, не достигших совершеннолетия, гонят кнутом в солдатские бордели, почему же они думают, что Гитлер пощадит их мать, сестру или дочь? Если русских и еврейских детей он кидает в печь, или пробует на них остроту штыка, или проверяет меткость своего автомата, какая сила сможет защитить твоего ребенка от зверя? Война — безглазое и сторукое чудовище, и каждая рука шарит свою добычу... Прежде чем он заплачет слезами Иеремии, посоветуй ему купить «Майн кампф»: там начертана его участь.

В этой войне, в которую рано или поздно ты вольешь свою гневную мощь, нужно победить любым усилием. Безумец не страшен, если своевременно взяться за него. Непобедимых нет.

Русские солдаты под Москвой видели этих каналий в декабре прошлого года: они бежали с нормальной для застигнутого вора резвостью... Победу нужно начинать немедля и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные права Человека. Потом нужно истребить и самый микроб войны, который еще гнездится кое-где в древних фанабериях европейских народов. С некоторого времени перерывы между войнами существуют только для того, чтобы народы поострей отточили сабли. Развитие промышленности все более укорачивает эти антракты между великими вселенскими бойнями. Их размеры возрастают в геометрических прогрессиях, обусловленных расширением технических возможностей. Александр Македонский, идя на завоевание мира, перевел через Геллеспонт 35 000 воинов в трусиках и с короткими мечами. Нынешняя война начинается с вторжения десятков миллионов людей, многих тысяч боевых машин, с бомбежек и истребления самого неприкосновенного фонда — наших матерей и малюток. Нужно заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли. Нужно клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую праматерь, имя которой Несправедливость, и убить ее в ее гнездовье.

Мой добрый друг, подумай о происходящем вокруг. Вот сыновья героев 1914—1918 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, соскользнув с злодейского штыка, не упадет на кости деда?

Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Помни, потухают и звезды.

Мы, Россия, произнесли свое слово: Освобождение. Мы отдаем все, что имеем, делу победы. Еще не родилось искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших армий. Они отдают жизнь за самое главное, чему и ты себя считаешь другом.

Но... amicus cognoscitur amore, more, ore, re[1].

Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира.

Дойдет ли оно?

1942

---

[1] Друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делу *(лат.)*.

НЕИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ ДРУГУ

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Мой добрый друг!

Здесь заключено публичное признание моего бессилия. Я никогда не создам этого рассказа. Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах. Я не знаю ни национальности их, ни имен. Вернее, я теряюсь, какие из семи тысяч я должен выбрать, чтобы не оскорбить памяти остальных членов этого страшного братства.

Ты без труда представишь себе этих двух героинь ненаписанной повести, мой неизвестный американский друг: пятилетнюю девочку и ее мать. Маленькая была совсем как твоя дочка, которую ты ласкал еще сегодня утром, отправляясь на работу. Ее мать также очень похожа на твою милую и красивую жену, только одета беднее и у нее очень усталое лицо, потому что жить в городе, занятом немецкой армией, несколько труднее, чем под безоблачным небом Америки. Они помещались в крохотном, с бальзаминами на окнах домике, у которого отстрелили снарядом угол в недавнем городском бою. Починить его было некому, так как отец, рядовой русский солдат, ушел со своим полком, чтобы где-то на далеком рубеже без сна и устали отбиваться от беды, грозящей всему цивилизованному человечеству.

Фронт был отодвинут в глубь страны, и грохот русских пушек, этот гневный голос родины, перестал быть слышен в тихом городке. Наступила великая тоска, и в ней один предзимний, еще бесснежный денек. Мороз скрепил землю, подернув лужицы стрельчатым ледком. Всем нам в детстве одинаково нравилось ступать по этому хрусткому стеклышку и вслушиваться в веселую музыку зимы. Когда в одно бессолнечное утро девочка попросилась на улицу, мать одела ее по-

теплее и выпустила с наказом не отходить далеко от дома; сама она собралась тем временем заделать пробоину в стене.

Ставши у ворот, маленькая боязливо улыбалась всему, что видела. Она бессознательно хотела задобрить громадную недобрую тишину, обступившую городок. Никто не замечал присмиревшего ребенка; все были заняты своим делом. Порхали воробьи, и шумел за облаками самолет. Сменные немецкие караулы чеканно направлялись к своим постам. Изредка робкая снежинка падала из пасмурного неба, и, подставив ей ладонь, девочка следила, как та превращалась сперва в прозрачную капельку, потом — в ничто. У маленькой не было ее пестрых, любовно связанных бабушкой перчаток. Ночью случился обыск, а у немецкого солдата, приходившего за трофеями, видимо, имелась девочка такого же возраста в Германии.

Шум в конце улицы привлек внимание ребенка. Объемистый автобус с фальшивыми нарисованными окнами остановился невдалеке. Сняв рукавицы и подняв капот, шофер мирно копался в моторе. Шеренга немецких пехотинцев, как бы скучая и с примкнутыми штыками, двигалась сюда, и в центре полукольца плелись безоружные местные жители, человек сорок, с узелками, старые и малые. Некоторые застегивались на ходу, потому что их внезапно выгнали из дому. Годных к войне между ними не было, грудных несли на руках. Это походило на невод, который по мелкой воде тянут рыбаки. Шествие приблизилось, впереди шли дети.

Все выглядело вполне обыденно. И хотя все понемножку о чем-то догадывались, никто не плакал из страха вызвать добавочную злобу у этих равнодушных солдат. Видимо, всем этим людям предстояло ехать куда-то во имя *жизненных* германских интересов,— и нашей маленькой в том числе! Ей очень нравилось ездить в автомобилях, хотя только раз в жизни она испытала это наслаждение. Установился обычай в нынешней России катать детей по первомайским улицам в грузовиках, разукрашенных цветами и флагами; обычно при этом дети пели тоненькими голосками... Кстати, девочка поискала глазами в кучке ребят свою подружку. Маленькая еще не знала, что ее, контуженную при занятии городка, закопали прошлым вечером в вишеннике, за соседским амбаром.

Скоро мертвая петля облавы захлестнула и домик с бальзаминами, возле которого стояла моя пятилетняя героиня. Комплект был набран, и раздалась команда. Козырнув, шофер

обошел сзади и открыл высоко над колесами толстую двустворчатую дверь. Людей стали поочередно сажать внутрь фургона; слабым или неловким охотно помогали немецкие солдаты. Одна древняя русская старушка, не шибко доверяя машинам и прочим изобретениям антихриста, украдкой покрестилась при этом. Девочка удивилась не тому, что внутренность машины была обшита гладким металлом,— ее огорчило отсутствие окон, без которых ребенку немыслимо удовольствие прогулки. Она ничего не поняла и потом, когда худой и ужасно длинный солдат — под руки, как русские носят самовар, понес ее к остальным, уже погруженным детям, она только улыбнулась ему на всякий случай, чтобы не уронил. В ту же минуту на крыльцо выскочила, с руками по локоть в глине, ее простоволосая мать.

Она вырвала ребенка и закричала, потому что видела накануне этот знаменитый автобус в работе. Она кричала, неистово распахнув рот, во всю силу материнской боли, и это очень удивительно, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль. Она так кричала, что ни один из патрульных даже не посмел ударить ее прикладом, когда она рванулась и побежала с дочкой наугад, и запнулась, и упала, и лежала в чудовищной надежде, что ее почтут за мертвую или не заметят в суматохе. Но маленькая не знала, она силилась поднять мать за руку и все твердила: «Мамочка, ты не бойся... я поеду с тобой, мамочка». Она повторяла это и тогда, когда ее вторично понесли в цинковую коробку фургона. Но тогда вдруг заплакали и закричали все от жалости к маленькой, а громче всех — дети. Это был беспорядок, противный нацистскому духу, и, чтоб прекратить скандал в зародыше, в автобус поднялся хорошо выбритый ефрейтор с большим фабричным тюбиком, что хранился в его походной сумке. Одновременно в его правой руке появилась узкая, на тонком стержне, кисть, вроде тех, что употребляют для гуммиарабика. Из тюбика выползла черная змейка пасты, несколько густой, но, видимо, более удобной в перевозке. Протискиваясь в тесноте среди детей, военный смазывал этим лекарством против крика губы сразу затихавших ребят. Порой, для верности, он без промаха вводил свой помазок в ноздри ребенка, этот косец смерти, и, как скошенная трава, дети клонились и опускались к ногам обезумевших взрослых. Наверно, у него имелось специальное образование, так ловко он совершал свою черную процедуру. Крики затихли, и солдатам уже не составило труда

отнести и вдвинуть на пол камеры, в этот людской штабель, потерявшую сознание мать.

Дверь закрыли на автоматический запор, шофер поднялся на сиденье и завел мотор, но машина не сразу отправилась на место назначенья. Офицер стал закуривать, солдаты стояли «вольно». Все опять выглядело крайне мирно: ничто не нарушало тишины, ни шумливые краснодарские воробьи, ни — почему бы это? — даже треск выхлопной трубы. И хотя машина по-прежнему стояла на месте, время от времени как-то странно кренился кузов, точно самый металл содрогался от роли, предназначенной ему дьяволом. Когда папироска докурилась и прекратились эти судорожные колыханья, офицер дал знак, и машина поплыла по подмерзшим грязям за город. Там имелся глубокий противотанковый ров, куда германские городские власти ежедневно сваливали свою продукцию... Теперь, после возвращения Красной Армии на временно покинутые места, эти длинные могилы раскопаны, и любители сильных ощущений могут осмотреть фотографии завоевательских успехов Гитлера.

Это краткое либретто темы, способной целые материки поднять в атаку, я безвозмездно дарю Голливуду. Даже в неумелых руках у него получится впечатляющий кинодокумент. Жаль, что его не успели поместить в той запаянной железной коробке с издельями нашей цивилизации — посылке в века, что закопана под нью-йоркской Всемирной выставкой, чтобы потомки всесторонне ознакомились с действительностью их недавних предков. Хорошо было бы также показать этот боевик многочисленным союзным армиям, которые терпеливо, не первый год, ждут приказа о генеральном наступлении против главного изверга всех веков и поколений.

Конечно, встретятся неминуемые трудности при постановке. Вашей актрисе, Америка, трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли пленка выдержит его. Режиссеру и зрителю покажутся экзотически невероятными как самый инвентарь происшествия, так и перечисленные мною вкратце детали. И хотя я вовсе не собирался писать корреспонденцию из ада, я полагаю необходимым, однако, перевести на англосаксонские наречия название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность: душегубка... Это дизельный закрытый восьмитонный грузовик, изнутри обшитый листами надежного металла, который невозможно ни прокусить, ни процарапать ног-

тями. Отработанные газы мотора нагнетаются в это герметически закупоренное пространство непосредственно через трубку с защитной от засорения решеткой. Горячая сгущенная окись углерода, CO, немедленно наполняет камеру и быстро поглощается гемоглобином крови заключенных там жертв. Отравление начинается с удушья и головокружения,— не стоит приводить остальных симптомов при смертельных случаях, а это приспособление создано специально для смерти. Это вряд ли и потребуется в проектируемом нами фильме. Впрочем, в классических немецких исследованиях по токсикологии Винца, Шмидеберга и Кункеля подробно разработана вся симптоматика этого дела.

Таким образом, достижения германской науки пригодились сегодня негодяям, которым Германия вверила свою национальную судьбу. И когда Геббельс вопит со своих радиостанций о немецкой культуре, он, видимо, требует от своих будущих жертв, чтобы они до последнего дыхания сохраняли почтительное изумление перед сверкающей аппаратурой палача. Рационализация человекоистребления и дешевизна его доведены до баснословного предела. Знаменитые яды истории: демонский напиток Борджиа, или «лейстеровский насморк» елизаветинского министра, или изящная, как музыка Моцарта, отрава маркизы Бренвилье, и самая бледная аква тофана, что продавалась в средние века в пузырьках с изображением святого Николая,— все это дорогостоящие забавы для мелкого, индивидуального пользования. Сама Локуста, которую тоже с запозданием догадались казнить только при Гальбе, почернела бы от профессиональной зависти к Гитлеру, который отбросы дизель-мотора, окись углерода, включил на вооружение германской армии.

Эта механическая колымага гибели, что путешествует по просторам оккупированных областей России, обслуживается специальным отрядом, зондеркомандой, из двухсот человек. Должность они свою исполняют не в патологическом исступлении боя, а спокойной рукой и с сознанием большого государственного поручения. У них ведется учетный журнал с точными графами, куда заносится как дата и способ уничтожения, так и пол, национальность, возраст и количество уничтоженных за сутки жертв. Не верится, что у этих черных бухгалтеров смерти тоже были мамы, которые ласкали их в детстве и, пряча свои лица, достойные Гойи, просили у неба счастьишка для своих рычащих ублюдков... Обширный штат

зондеркоманды вполне окупается размерами ее деятельности. И верно, при максимальной емкости кузова в восемьдесят живых единиц, при дозировке смертной порции в десять минут, дольше которой не выдерживает самый прочный молотобоец, плюс двадцать минут на обратный рейс, включая разгрузки,— а машина действует и на ходу! — пропускную способность одного такого автобуса можно довести до полутора тысяч покойников в сутки. Таким образом, дивизион подобных агрегатов даже при умеренной, но бесперебойной работе может в месяц опустошить цветущую площадь с двухмиллионным населением.

Представь себе этих людей хозяевами земли, мой добрый друг, и содрогнись за своих любимых!

Народ мой словом и делом проклял этот подлейший замысел дьявола. Народу моему ясно, что, если бы не было пушек мира, следовало бы голыми руками расшвырять это бронированное гнездо убийц. И я люблю мать мою Россию за то, что ум и сердце ее не разъединены с ее волей и силой... за то, что, гордая своей правотой, она идет впереди всех народов на штурм пристанища зла. Видишь ли ты ее, когда она без устали сокрушает обвившего ее ноги дракона? Кровь всемирного подвига катится по ее лицу, и кто в мире назовет мне лицо красивей? Вот почему сегодня Родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле!

К вечным звездам люди всегда приходили через суровые испытания, но в такую бездну еще ни разу не заглядывал человек. Уже мы не замечаем ни весны, ни полдня. Реки расплавленной стали текут навстречу рекам крови. Никто не удивится, если хлеб, смолотый из завтрашнего урожая, окажется красным и горчей пороха на вкус. Самое железо корчится от боли на полях России, но не русский человек. При равных условиях, в библейские времена, Иезекиили с огненным обличеньем на устах нарождались в народе. Во все времена появлялись они и благовестили людям, эти колокола подлинного гуманизма. Ты помнишь Льва Толстого, который крикнул миру: «Не могу молчать!», или Золя с его пламенным «Обвиняю!», или Барбюса и Горького. Миллионоголосое эхо подхватывало их призыв, и подлая коммерция себялюбия уступала дорогу совести, и надолго становился чище воздух мира... Ты помнишь и чтишь русского человека, Федора Достоевского, чьи книги в раззолоченных ризах стоят на твоих книжных полках! Этот человек нетерпеливо замахивался на самое Провидение, однажды заприметив слезинку обиженного ребенка.

Что же сказали бы они теперь, эти непреклонные правдоносцы, зайдя в детские лазареты, где лежат наши маленькие, тельцем своим познавшие неустройство земли, пряча культяпки под одеялом, стыдясь за взрослых, не сумевших оберечь их от ярости громилы? Они подивились бы человеческой породе, в которой и горячечное пламя тысяч детских глаз не выплавило гневной набатной меди!

Каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребенка, живущего на чужом материке... Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быструю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг всех отцов на земле. Иначе к чему наши академии и могучие заводы, седины праведников и глубокомыслие государственных мудрецов? Или мы затем храним все это, чтоб пощекотать больное и осторожное тщеславье наше? Эта страшная язва Европы, фашизм, так же противоестественна на организме нашей цивилизации, как если бы чешуйчатый хвост пращура просунулся между фалдами профессорского сюртука. Можно ли смотреть на звезды из обсерваторий, пол которых затоплен кровью? Тогда признаемся в великой лжи всего, что с такой двуличной и надменной важностью человечество творило до сегодня. Может быть, и сами мы только размалеванные дикари в сравнении с теми красивыми и совершенными людьми, что завтра осудят моих современников за допущение на землю страшнейшей из болезней.

Нет, неправда это! Прекрасна жизнь, вопреки скверняшим ее злодеям. Прекрасны дети и женщины наши, сады и библиотеки, медом мудрости налитые до краев. Человек еще подымется во весь рост, и это будет содержанием поэм, более значительных, чем сказания о Давиде и Геракле. Народ мой верит в это, ценит локоть и близость друзей — и тех, что пойдут вместе с ним наказать дикаря в его логове, и тех, кто с опасностью для жизни подносит патроны к месту боя. И никакой клевете не разъединить этих соратников, благородных в своих исторических устремлениях и спаянных кровью совместного подвига. Их породнили пламена Варшавы и Белграда, руины Сталинграда и Ковентри... Термитным составом выжжены на пространствах Европы имена изобретателей тотальной войны. Когда один из них, перечислив преимущество ночных рейдов на мирные города, предупреждал народы, если бы они посмели ответить тем же оружием: «Горе тому, кто про-

играет тотальную войну!» — в тот день подсудимый сам произнес себе приговор.

И вот он начинает приводиться в исполнение. Мы проникнуты нетерпеливым ожиданием победы. Самый колос старается расти быстрее, чтоб содействовать ее приближению. Цвет западных наций одевается в хаки. Железные ящеры, урча, сползают с конвейеров: уже им не хватает стойл на родных материках. Владыки океанов неторопливо сходят со стапелей во мглу ночи. Стаи железных птиц, более грозных, чем птицы Апокалипсиса, крылом к крылу покрывают равнины. И когда мысленно созерцаешь сумму стали, людей и резервов у свободолюбивых стран, глубоко веришь, что и горы не устоят перед натиском этого материализованного гнева.

Я не умею разгадать логику зреющего в недрах ваших генеральных штабов великого плана разрушения фашизма. Я простой человек, который пишет черным по белому для миллионов своего народа. Может быть, я не прав, но только мне всегда казалось, что злодей, который в цинковой коробке травит окисью углерода пятилетнюю девочку, заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь и лицо. Конечно, все дороги ведут в Рим, все же кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая...

Итак, дело за вами, американские друзья! Честная дружба, которою отныне будет жить планета, создается сегодня — на полях совместного боя. Именно здесь познается величие характера и историческая поступь передовых наций.

Из затемненной Москвы я отчетливо вижу твое жилище и стол, за которым ты сидишь. Тебе подает ужин жена, и пятилетняя дочка на твоих коленях торопится поведать о событиях дня. Ночь движет стрелки на циферблате, и красивый, ярко освещенный город шумит за твоим окном... Покойной ночи, мой неизвестный американский друг! Поцелуй свою милую дочку и расскажи ей про русского солдата, который в эту самую ночь, сквозь смерть и грохот, в одиночку и по Эвклидовой прямой, движется на запад — за всех маленьких в мире!

1943

ГОЛОС РОДИНЫ

Никогда не требовалось от русского писателя и драматурга такой страстности, как сегодня, когда народ наш ведет с гитлеризмом историческую борьбу за свободу родины. Лишь когда овладевает автором одержимость, когда уже невозможно удержать в себе слово и ненависть, когда вместе со словом самое сердце рвется из уст — вот тогда надо браться за перо. Пока нет ее у художника, если не захвачен он целиком главным сегодня делом своего народа, на бумагу выльются холодные, ленивые строки.

Мне хочется ответить на обращенные в мой адрес упреки некоторых участников совещания драматургов и деятелей театра за якобы мрачный колорит пьесы Нашествие. Упреки эти глубоко несправедливы. В пьесе есть места, рассчитанные и на смех зрителя, если уж есть такая потребность в дни великой войны, и стоит послушать, как реагирует зритель на пьесу в спектаклях Малого театра. Но было бы погрешностью против действительности, против жизненной правды, если бы из искусства, да еще сегодня, выкинуть мотив страдания. Слишком велик размах несчастий, причиненных нашей стране германским фашизмом. В логической цепи: война — горе — страдание — ненависть — месть — победа — трудно вычеркнуть большое, на раздумья толкающее слово страданье. Слишком больно жжет душу рана, что нанесена врагом нашей Родине. Любое горе народное — священное горе, оно больше нуждается в своевременном отклике писателя, чем время радостей, когда с искусством можно и помедлить.

Искусство театра всегда конкретно. Актер играет образ конкретного человека, его конкретную судьбу, а не общие слова или отвлеченные идеи. Мы и врага ненавидим за какие-то конкретные определенные поступки. Один — за уби-

того брата, за горе матери, за разоренный дом. Я — за всех за них, кроме того, за разрушение Вязьмы, за яблони, срубленные в калужских садах, за сожженное село Грушевка за Протвой, мимо которого я мальчиком проезжал, бывало, по дороге в мою деревню Полухино. Все, верно, помнят промелькнувшую в нашей печати фотографию — маленькая злодейски убитая девочка в Керченском рву, среди груды замученных советских людей. Раз взглянув, до конца дней не выкинешь из памяти облик этого ребенка, ее трогательный капор и бантик тесемки, завязанной под ее подбородком заботливой материнской рукой, ее раскрытые глаза, так и не понявшие до конца, за что все это совершено над нею.

В этой фотографии заключена наповал разящая, вдохновляющая на подвиг сила воздействия. Скоро, когда еще подкопится страданья, эта убитая девочка незримо поведет на последний штурм наши армии, победно продвигающиеся ныне на запад. Это она, маленькая, поднимет для завершающего удара усталую, опаленную огнем боя руку нашего солдата.

Чрезмерное, но не бесплодное страданье переживает сегодня наш народ. Это громадная домна, в ней плавятся какие-то новые качества завтрашней жизни и происходят сложные процессы, которые сегодня еще невозможно предсказать. Все это, в свою очередь, вызывает у художника великое смятение чувств, и тогда само собою, как ответный пароль, рождается то слово, которому суждено стать запевом нового произведения.

Каюсь, в военных пьесах моих маловато веселого. Я как-то никогда не был силен в этом жанре — гопак на братской могиле. Та девчоночка в капоре все еще не отомщена. Как и фронтовики, я ненавижу врага со всей посильной для меня страстью, но я имею право сохранить свой обычный почерк при этом, потому что в любых, в любых, казалось бы, условиях художник прежде всего должен руководиться своим жироскопически точным творческим чутьем.

И вот в четвертом акте Нашествия я нарушил это безоговорочное правило. Многие из моих пьес весьма несовершенны, однако написавший целых два тома их невольно, как говорится, набивает руку. Сегодня я умею несколько больше, чем в 1927 году, когда готовил первую свою пьесу для МХАТа, и, конечно, в моих возможностях было построить четвертый акт Нашествия с соблюдением единства места, в тех же стенах, с теми же персонажами, что и остальные три.

Первоначально весь диалог старика с мальчиком Прокофием в лукояновском подвале был задуман как беседа Демидьевны с выздоравливающей Аниской все там же, на квартире у Талановых. Но незадолго до окончания пьесы, в декабре 1941, в Чистополь пришла газета, помнится — Правда, с фотографией Зои Космодемьянской. За время Отечественной войны я не видел более величественного и потрясшего меня документа. Я не помню лица красивее, чем это мертвое лицо Зои, античное — показалось мне, как бы распахнувшееся в призыве к жизни и победе. Осведомленный товарищ рассказывал мне, что тело Зои целый месяц пролежало в земле до того, как был сделан этот снимок. И ни петля на шее, ни смертная мука, ни мерзлые комья земли, ни само время не смогли истребить пронзительной значительности ее последней полуулыбки.

Мне представилось тогда, что наступило время прямого действия взамен бокового, отраженного показа событий, каким я пользовался до тех пор,— время нанести фронтальный удар почти плакатного воздействия, на которое, в сущности, всю жизнь и толкали меня, применяя самые сильнодействующие средства.

Незнакомая мне ранее потребность заставила меня сломить себя и ввести в четвертом акте уйму ненужных мне по логике действия, почти посторонних лиц, написать почти чужеродную в пьесе сцену в подвале и дать Мосальскому фразу, на которую я бы ни за что не пошел в других условиях: в ответ на реплику Ольги — «она беременна», офицер отвечает — «веревка выдержит, мадмуазель!».

Порою мне кажется, что пьеса была бы цельнее, если бы ее концовка не вышла за пределы талановских стен, но, конечно, она была бы хуже. Именно так подтвердил мне опыт работы над Нашествием, что художнику ни при каких обстоятельствах нельзя отступать от своих творческих убеждений, потому что внутренний голос безошибочно подскажет ему, как нужно вести себя в искусстве, чтобы потомки не упрекнули его за равнодушие или поспешность, чтобы героям жизни не было стыдно за свои литературные отражения, чтобы наши пьесы помогли Красной Армии поскорее закопать в землю фашизм и то горе, какое он причинил людям.

1943

СЛАВА РОССИИ

Вот опять матерый враг России пробует силу и крепость твою, русский человек. Он пристально ищет твое сердце поверх мушки своей винтовки, или в прицельной трубке орудия, или из смотровой танковой щели. Неутолимую бессонную ненависть читаешь ты в его прищуренном глазу. Это и есть тот, убить которого повелела тебе родина. Не горячись, бей с холодком: холодная ярость метче. Закрой навеки тусклое, похабное око зверя!

Ты не один в этой огневой буре, русский человек. С вершин истории смотрят на тебя песенный наш Ермак, и мудрый Минин, и русский лев Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый мастеровой Петр Первый, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою. В трудную минутку спроси у них, этих строгих русских людей, что по крохам собирали нашу родину, и они подскажут тебе, как поступить, даже оставшись в одиночку среди вражьего множества. С каким мужеством они служили ей!.. И куда бы ни отправлялись за далекие рубежи, кланялись в пояс родимой, и был им слаще меду горький, полынный прах ее дорог. И пригоршню родной землицы, зашитую в ладанку, уносили на чужбину, как благословенье матери, на груди. И где бы ни оказался веленьем истории русский человек, сердце его, как стрелка компаса, неуклонно бывало устремлено в одном заветном направлении, в сторону России. И чистые рубахи надевали перед смертным подвигом, идя на воинскую страду, как на светлый праздник. Тем и была крепка, тем и стояла столетья Русская земля.

Перед новым боем за честное дело наше присядем, товарищ, и поговорим по душам, за что же так ненавидит тебя убийца народов, почему мы, русские люди, будем биться, по-

ка, стеная, враг не покинет земли нашей и не заплатит сторицей за пожженные селенья наши и за сиротские слезы.

Взгляни на карту мира, русский человек, и порадуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна. Самое солнце долго, как странник, бредет от ее края до края, и любою из рек ее можно опоясать иную кичливую европейскую державу. Гляди: спелые нивы шумят и лоснятся под ветром, серебро драгоценной рыбы плещется в реках, несчитанное золото и уголь томятся в ее недрах, подземные моря нефти нетерпеливо ждут, когда ты вольешь их в свои машины, изготовляющие материальную основу счастья. О, даже миллионной доли наших богатств не успели мы раскопать за минувшую четверть века!

Не пустовала и людьми Русская земля. От века изобильна была героями и гениями Россия. Нет ни одной области в знании, или в искусстве, или в науке строительства социальной справедливости, куда бы не принес народ русский своих, литого золота, даров. А сколько еще суждено создать нам впереди, когда, не угрожаемый ниоткуда, во весь рост подымется народ наш!.. Гордись сородичами своими и будь достоин их, товарищ!

Со времен Невского Александра зарились жадные соседи на наши угодья. Сотни лет им во снах снилась страна твоя, русский человек,— пустыней снилась она им, без дома твоего, без тебя и твоих потомков; голой девственной землей снилась она им, куда они сунут железный желудь Нибелунгов. Не вышло с желудем у «старого фрица», не выйдет и у нынешнего. Ой, много памятных зарубок от нашего топора осталось на загребущих волчьих лапах. А в передышках точили они меч, собираясь когда-нибудь прижать славян к стенке, и всегда хаяли русских, что-де без немецкого порядка живут. А мы жили и боролись своим разумом и обычаем, и никаким указчикам либо искателям чужого куска на земле нашей несдобровать.

Когда у завистника нет сил на честное соревнование, он жалит, он убивает. Зависть и свиная жадность на чужой каравай — вот то горючее, на котором, воняя и гремя, двинулась на нас машина германского фашизма. И правда, мы еще только зачинаем наши песни, а они уже заканчивают. Они и детей-то наших убивают из подлого страха: боятся, что из них вырастут исполины, грозные мстители за безмерные их злодейства. Но мы, русские, прочно знаем, что мщенье придет гораздо раньше.

Предок твой, русский человек, идя в подвиг ратный, крепко понимал, что одному из двух, ему или недругу, лежать мертвым в чистом поле. И тогда, чтоб волю на победе сосредоточить, он ни жены, ни родимого дома не хотел видеть раньше, чем улягутся в яму поплотней поганые вражеские кости. Много их, всяких подлецов, уже успокоил и ты, советский воин, на полях России, памятуя, что чем больше их ляжет в землю, тем сильнее острастка на века. Комплектами, вместе с командирами, лежат они на достигнутых рубежах — всякие «Рейхи», «Адольфы» и «Тотенкопфы», тухлые ватаги фашистских мертвяков, что закопаны под Сталинградом и Воронежем... Что же, просторна ли им русская равнина? Сытна ли рыбка в реках русских? Жирна ли нефть во глубинах советской земли?

Орел и Белгород, Орел и Курск, милые места, где родится самородный жемчуг русской речи, который так бережно, зерно к зерну, нанизывал Тургенев. Соловьям бы свистать в тамошних рощах да девушкам покосные песни петь в эту пору! Чадом и скрежетом застланы дорогие нашему сердцу места. Сжав зубы, вся страна слушает, как со злым урчанием выползают из своих нор вражеские железные гады на исконные наши земли. Но она слышит и грохот пушек наших, что дырявят германскую броню, и нет нынче музыки слаще уху русского человека... Ночь на исходе. Еще будут длиться предрассветные сумерки, но уж не очень отдаленно то желанное утро, когда уцелевшее завоевательское отребье, все эти отравители, растлители, коноеды и другие упыри двинутся восвояси среди нескончаемых дымящихся улик.

А пока — оглянись, русский человек, на древние гордые кремли твоих городов, на детей наших, взирающих на тебя с надеждой, на молчаливые тени предков твоих, на каждый полевой цветок, еще не оскверненный мертвым дыханием вражеских машин. И пусть львиный гнев родится в твоем богатырском сердце.

Бей его, проклятого зверя, вставшего над Европой и замахнувшегося на твое будущее,— бей, пока не перестанет шевелиться.

Подымись во весь свой рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России!

1943

ПОСТУПЬ ГНЕВА

Харьков взят! Еще один шаг к победе. И когда вчера Москва громово салютовала фронту и вечерние созвездия погасли вдруг, уступив небо слепительному человеческому ликованию, наши люди испытали чувство, которое почти не в состоянии выдержать сердце. Это было восхищение перед братьями и мужьями, одетыми в красноармейские шинели, и удивление перед собой. Здесь находится источник благородной и гордой радости — заслуженно чувствовать себя сыном родины, стремительно шествующей к своей всемирной, никем еще не превзойденной славе. Значит, не зря ты стоял долгие смены у станка, рабочий, и холил свой урожай, крестьянин, и пытливо искал на бумаге кривые своих отличных боевых машин, конструктор, и слагал песню, способную, как приказ, повести дивизию в атаку, поэт! Это они, аплодировавшие вчера небу Москвы, помогали армии совершить подвиг, для обозначения которого нет пока слов в самой взволнованной человеческой речи.

Ибо мы знаем, кого мы бьем сегодня. Нацистскую Германию, которая поверила бреду подлого и низменного невежды. Пруссию мы бьем, что целый век, в стенах военных академий, взращивала математиков будущих завоеваний!.. Сама Германия, всегда втихомолку ковавшая свое оружие, чтоб однажды прыжком оказаться на хребте соседа, государство, изготовлявшее смерть всем, кто не германец по духу и крови,— оглушенно пятится перед нами...

Наверно, он еще горит, этот просторный и красивый город, второе сердце первой нашей братской республики. Такой огненной купели не знавал он, конечно, с самых тех пор, когда крымчаки ломились буздыганами в его молодые стены. Вот уже где-то вдалеке, впереди, гремит и стучит артиллерия, вгоняя очередной прочный гвоздь в гроб германского фашизма. Верно,

тишина теперь над Харьковом... Едкий дым еще стелется вдоль его знаменитых улиц, да молодые матери, ставшие старухами за время немецкого полона, оплакивают своих младенцев, растоптанные мечтания и родные пепелища. И только торжественный и гулкий шаг родной армии по исковерканным улицам пробудит их от этой горькой печали...

Вот, опаленные в боях за Сталинград и Москву, Орел и Белгород, несметные наши полки движутся среди руин: здесь побывала гитлеровская орда. Полтысячи километров прошли наши полки с боями до этого города, и на всем их пути длилась, как сплошная улика, однообразная, искусственная пустыня.

Опытную руку гитлеровского громилы различали они в каждой мелочи этого дьявольского шабаша гибели и разрушенья. Воистину злодейские дела! Старинные города, краше которых нет нам на свете, древние святыни, которые возлюбили мы из детской сказки и со школьной скамьи, могучие индустриальные сооружения, наше наследство будущим векам, и самые детки наши — все было свалено врагом в кромешные груды, присыпанные сверху мелкой кирпичной щебенкой... Нет, человека, который видел чрево матери, испластанное ножом убийцы, нельзя остановить уже ничем. Да, это будет пострашнее железных «тигров» и долгоносых немецких «фердинандов» — мерная, величавая, молчаливая поступь Великого Гнева. Нужно было много потрудиться, чтобы заработать такую ненависть. Ты добилась этого, гитлеровская Германия!

Что же сказать вам, освободители Харькова? Дрались, как львы? Мало! Как орлы, когтили вы вражескую нечисть на поле боя? Мало!.. Вы бились, как деды ваши, прославленные герои былин и песен, которые поете вы сами. Вы сравнялись с ними в доблести и преданности родине. Сам Александр Васильевич Суворов хвалился бы такими храбрецами... Пусть же еще и еше, стыдясь за медлительность свою, дивится вам мир и на высоком вашем примере учится верности священным идеалам истинного гуманизма. И пусть умрут те, кто воровски ступил на наш порог. И пусть пожрет их тухлый прах, их завидущие глаза, их загребущие руки земля наша, как перемолола она падаль и прежних трехнедельных удальцов!

Люди бывалые, черпая силу и уверенность в очередной победе, не обольщаются ничем, пока со славой не закончат дела. Они-то знают: все стоит ныне на кону, честь и жизнь. Поединок наш еще не закончен. Волк умирает не сразу. Его

надо долго бить колом по узкой морде, и по хребтине, и меж ушей, и всяко, пока не хлынет сок смерти из вонючих ноздрей. Но близок час того праздника, о котором в самые трудные наши дни говорил нам Сталин. Уже знакомый холодок днепровских осенних вод щекочет ноздри. Уже завалился римский апостол фашизма,— немного ждать осталось и его берлинскому патриарху. Скоро-скоро будет этот день, когда ослабевшего от наших ударов поработителя будут бить и истреблять чем придется на всех перекрестках, во всех порабощенных столицах Европы. И тогда все обманутые и растленные своим Адольфом пусть восплачут над своей судьбой!

Вперед, птенцы орлиной славы нашей! Родина заплатит бессмертьем тем, кто отдаст ей жизнь на поле боя. Крушите его, железного болвана, замахнувшегося на солнце самой светлой правды. Гляди, он уже качается, уже дрожат его колени, оборжавевшие в крови народов. Наступи же ему на поганое его лицо, чтоб испытать предельную и самую сладостную радость окончательной победы!

1943

РАЗМЫШЛЕНИЯ У КИЕВА

Еще гремит поле боя и сопротивляется враг, исхлестанный нашей артиллерией, издырявленный штыковым ударом, но чует народное сердце приближение победы. Она в десятке признаков и прежде всего в нашей неукротимой, все возрастающей ярости.

Сейчас уже не сыскать на свете чудака, что сомневался бы в конечной судьбе Гитлера и его банды. Взвешено его подлое царство, исчислены его дни, в затвор введена пуля, которой доверено оборвать его поганое дыханье. Скоро пылающие головни загонщиков коснутся тощих ребер зверя, прижатого в его логове. Тогда отчаянье охватит разбойничью берлогу, как пожар, где сгорит дотла наглая гитлеровская спесь. Преступнику судьи предъявят улики размерами в миллион квадратных километров, воины совершат справедливость.

Так будет, так хочет армия, народ. Потому что вся страна наша сегодня — военный лагерь, где нет равнодушных к исходу исполинской схватки. Свирепый удар, нанесенный исподтишка в грудь нашей родины, пробудил в ней небывалую волю к жизни. Единством, какого не знавала прежняя Россия, охвачено у нас все живое. Жерла пушек и ненависть малюток наших —все направлено в сердце врага. Спроси самые реки и леса наши, о чем они шумят в почи; ветер спроси — чего жаждет он? И все ответит эхом, от которого содрогнутся горы: слез твоих, гитлеровская Германия, и крови вашей, гитлеровское ворье!

Нет у нас иной мечты сегодня. Тупой немецкий фельдфебель, везде стремившийся установить свои порядки и скрепя сердце допускавший существование соседей,— целый век он готовился к походу на Восток. Каждому куску стали, выплавленному в германских домнах, было предназначено поразить

чье-то русское сердце. Нам никогда не нравились его истошные вопли о превосходстве германской расы над другими, и нам, наконец, смертельно надоело столетнее бряцанье оружием у наших ворот. Она разъярила наши народы, эта барабанная дробь многовекового военного шантажа.

Напрасно Бисмарк наказывал внукам не соваться и в прежнюю-то русскую овчарню, а с тех пор великое переустройство произошло в России. Однако волчата пренебрегли заветами зоркого и матерого волка. На горе себе, они величавую тишь просторов наших приняли за сонливую лень, наши мирные призывы к труду и братству — за декларацию слабости.

Что ж, история сердито проучит пошляков, не умеющих отличить спокойствие могущества от принижения робости, и русский солдат охотно поможет ей в этом.

Нет, не Германия будет превыше всего на свете и никакая иная держава, а единая владычица мира — правда, высокая и суровая, разящая наповал, начертанная на знаменах наших армий. Не бывать на свете нациям господ, потому что нет и наций-служанок, и никому не дано взвешивать исторические судьбы народов на неправедных весах военной удачи. Не обширностью воровских налетов на мирные города, не количеством расстрелянных детей, не замысловатостью содеянных преступлений измеряется величие народа, а человечностью его духовных взносов в сокровищницу мировой культуры и прежде всего действенной решимостью защищать ее до последней кровинки — и своими собственными руками. Вот почему слово *русский* звучит сегодня как *освободитель* на всех языках мира.

Замышляя свое беспримерное злодеяние, гитлеровская Германия не задумывалась, хватит ли слез у нее смыть пролитую кровь. Пусть попробует на деле, это надежно излечивает от безумия. В самом деле, готовить ярмо смельчакам, совершившим прыжок через смертельную пропасть, России, вырвавшейся из рабства на простор вольного существованья!..

Кто ты, Гитлер, чтобы размахивать над нами бичом господина? Это вас, современники мои, он собирался тащить в петле порабощенья на плаху бесславной гражданской смерти, вас, орлы Сталинграда и Киева, родные братья светоносных Зои и Александра Матросова, вас, конструкторы небывалых машин, строители Днепрогэса и Магнитогорска, осушители болот, озеленители пустынь размером в пол-Европы, суровое племя мечтателей и воинов, творцы!

Воистину, только в иссушенном мозгу политического ублюдка, изучившего в жизни пару жалких книжонок,— наставление по окраске квартир да руководство к разведению племенных свиней, откуда и пошла идея о расе господ,— мог зародиться этот низменный бред. И напрасно ты, Гитлер, кричишь со своих радиостанций о древней германской культуре, видимо, требуя от своих жертв, чтобы до последнего вздоха сохраняли благоговейное почтение перед блистательной аппаратурой палача.

Ты достаточно потрудился, австрийский маляр и мастер мокрого дела, удобряя немецкой кровью поля России и Европы; и ты добился наконец, что слово германец в настоящее время приобрело значение угнетателя на всех наречиях земли. Пора уходить, полно тебе торчать на сцене, презренный, освистанный балаганщик! Миллиард честнейших людей нетерпеливо ждет, когда ты уляжешься наконец в яму с хлорной известью, Гитлер.

Пусть улыбнутся вдовы, перестанут плакать ребятки, распустятся заедино все цветы на планете. Трауром отметит Германия день твоего восшествия на канцлерское кресло; мир сделает праздничной дату твоей гибели. Гляди, уже бегут с Украины твои гаулейтеры и человекоеды, домушники и маровихеры, зажав под мышкой фомки, этот инструмент нынешней пруссацкой славы. Тешься, грабь, нагуливайся напоследок, тевтонская душа. Закладывай замедленные с химическим взрывателем бомбы в фундаменты детских домов, хватай подвернувшееся барахлишко для своих белокурых берлинских марух, своему щенку чулочки с девчоночки, зазевавшейся на улице, отбирай у нищей старухи ее последнее достоянье, курочку-рябу,— из ее яичек еще выведутся тебе красные петушки!

Торопись, близится жаркий день расплаты; придется платить за все садистические упражненья и долгий кровавый дебош. Трясись, гитлеровская орава! Придется иному повисеть, иному побыть падалью, иному слезливо взглянуть в глаза нашему русскому парню, размахнувшемуся смертной плюхой.

Скучно нынче в Берлине, но еще скучнее в столицах помельче, что лежат на столбовой дороге наступающей Красной Армии. Хозяева этих державок, у которых ума и совести на грош, а фанаберии на весь полтинник, также рассчитывали на поживу при дележке неумерщвленного медведя. Понятно, на пирушке у атамана хищников всегда что-нибудь достается и шакалам и воронью.

С молчаливой усмешкой народы моей страны слышали их чудовищные и оскорбительные притязанья, вдохновленные историческим невежеством и умеряемые лишь скудостью географических познаний. Фашизм всегда начинается с заносчивых бредней и кончается авантюрой. У всех на памяти военные декларации маннергеймов и антонесок: если Финляндия — так уж до Урала, Румыния — так уж по Владикавказ!.. Нам не помнится в точности, на какие именно океаны зарился адмирал несуществующего флота из Будапешта. То была убогая заносчивость блохи, что, затаясь на шерстистом хребте главного волка, возомнила себя нàбольшим зверем, индрик-зверем, страшилищем всего живого на свете. Они забыли, что в войне с Россией основная стратегическая задача всегда делилась на две части: как найти проход в ее необъятных границах и еще, самое существенное, как в наиболее целом виде и, хотя бы с головой под мышкой, удалиться из нее восвояси. Первая половина Гитлеру как будто удалась, вторая, в отношении головы, этому тулову не удастся. Мы, русские, своими победами не обольщаемся и так полагаем, что и Сталинград и Орел — только присказки, а самая сказка будет потом, ибо русские привыкли непрошеных гостей провожать обратно до самого их дома.

Мы знаем, чем грозило нам пораженье; народ мой хочет изготовить эту победу с наибольшим запасом прочности. Такого лютого столетнего врага хорошо видеть либо мертвым, либо на коленях. И вот стремительное наступление наше превращается в соревнование танкистов и летчиков, артиллеристов и пехоты. С закушенными губами они рвутся вперед, не чуя боли в ранах, ломая сталь обороны, ибо есть кое-что на свете покрепче пресловутой германской стали. Новые, вчера еще безвестные имена героев миллионами уст любовно повторяет родина, новые орлята крепнут на подвигах и расправляют молодые крылья. А уже Днепр! И далеко позади — Полтава, но никто еще не знает, который из городов наших станет последней Полтавой гитлеровской армии. Так кто же из вас, богатыри, первым окончательно перебьет уже надломленную хребтину зверю?

Итак, ты снова наш, Киев, и быть тебе нашим, доколе катится Днепр и радуются добрые люди его седой красе. Ты, как часовой, века стоял на рубежах наших земель, вглядываясь в смутные горизонты Востока, кишевшие крымчаками да половцами, тугорканами да бонякамп, и Запада, откуда извечно, не мигая, глазели на твою красу завистливые очи другого Идоли-

ща Поганого; там где-то, на древних славянских рубежах, лежал в дозоре малый твой сынок, город Киевец на Дунае...

Священное и нерушимое братство народов — русского и украинского — начертано в книгах твоих исторических судеб, милый Киев; нет ближе родства у нас, чем это крестовое братство. От тебя, плодовитый старый диду, пошли русские города, по слову летописца. Ты, как семена, разбросал их по Руси, но первым поднял твою славу русский новгородский хозяин Владимир... С лишком пять веков звенит на твоих холмах цветистая украинская речь, как звенит она и нынче, но по-русски перекликались грозные ватажки былинных удальцов, погуливая по твоим раздольям, а среди них — Микула да Вольга, Колыван да Дунай Ивановичи. Где-то здесь, на дремучей возвышенности, возлежал ужасный исполин Святогор и стоял перед ним оберегатель Русской земли Илья Муромец, готовясь на новые, сверхгеракловы подвиги. Ты есть родина знаменитых сказов о нечеловеческих мужестве и молодечестве славянских, Киев; ты есть живая летопись прошлых деяний наших.

Каждый камень твой дорог сердцу нашему, как замшелый кирпич московского Кремля. Много тянулось к тебе жадных рук, много их потлело, отрубленных, под ковылями твоих привольных степей.

И вот снова, простреленный, порубанный, горишь ты, как свеча, знаменуя пору скорби и величайшее наше испытанье. Ветер несет до Москвы твой священный и горький пепел; он ест глаза, и слезы выступают у патриотов.

Но не горюй, добрый диду! Оглянись на бессчетные молодые рати, гневно проходящие среди твоих пепелищ. Скоро-скоро они залечат твои раны, снова окружат тебя хороводами веселых садов, и прежняя, воскрешенная слава зеленого изумруда Советской Украины вернется к тебе.

Ты еще увидишь, как праправнуки старого казака Ильи Муромца одóлят и повалят наземь фашистское чугунное Идолище Поганое. И когда рухнет оно на колени, рассыпаясь на куски, пусть бояны наши прибавят к киевскому циклу былин новые, про советских богатырей, что прорубали дорогу нашей славе на запад, головой касаясь серого предзимнего неба...

1943

ЯРОСТЬ

РЕПОРТАЖ С ХАРЬКОВСКОГО ПРОЦЕССА

Пусть скорбь о безвинно убитых женщинах и детях наших будет потом, когда свершится мщение. А пока лишь сжимаются кулаки, и уже недостаточным оказывается бедный инструмент человеческой речи. Советские пушки и автоматы полнее и убедительнее выразят наше немое презрение и ярость, что рождаются при чтении обвинительного акта. Прочти его, советский солдат, перед тем, как идти в атаку,— сквозь знойную декабрьскую поземку, сквозь крепкий морозец нашей зимы,— и самые прославленные узлы германской обороны не покажутся тебе неприступными.

В любой стране, в любой войне эту двуногую тварь — садистов в военных мундирах, худшую разновидность убийц — пристреливают у помоек, как собак.

Нынешний процесс в Харькове — это процесс, где раскрывается самая суть фашизма, этому процессу будет отведена особая страница в истории Отечественной войны. И нужно для справедливости и для будущего здоровья мира, чтобы каждая деталь этих кромешных подвигов нынешних нибелунгов получила всемирную огласку. И вот, прежде чем сказать последнее и веское слово приговора, мы выслушиваем их показанья в напряженной тишине, записываем на бумагу их речи, стараясь клинически понять животную логику зверя, заступом разрубавшего голову младенца. Ныпче советский гуманизм судит уродов фашистской Германии во всей их «нордической» пакости.

За последний месяц я обошел много мест на Руси и на Украине и вдоволь насмотрелся на твои дела, Гитлер. Я видел города-пустыни, вроде каменного мертвеца Хара-хото, где ни собаки, ни воробья,— я видел стертый с земли Гомель, разбитый Чернигов, несуществующий Юхнов. Я побывал в несчаст-

ном Киеве и видел страшный овраг, где раскидан полусожженный прах ста тысяч наших людей. Этот Бабий Яр выглядит как адская река пепла, несущая в себе несгоревшие детские туфельки вперемежку с человеческими останками.

Напрасно при приближении Красной Армии завоеватели пытались уничтожить следы этих гекатомб; беспрерывно действовали специальные, емкостью на двести трупов, печи, снабженные ситами для удаления несгоревших костей и, по заявлению киевлян, для отсева золотых коронок из праха злосчастных жертв. Уже не было сил, даже с помощью дарового труда военнопленных, зарывать эти неохватные братские могилы, их просто засыпали, как попало, взрывами тола. Убийца торопился, истекал пóтом изнеможения и страха, трусил от мысли, что мститель придет и увидит.

А совершив свое черное дело, там, внизу, они поднимались к павильону Пролетарского сада и чертили на его алебастровых стенах имена своих самок. И какой-то нибелунг, недоучка из художественной школы, вроде своего фюрера, видимо, стоя на спине соратника, нарисовал углем похабную картину в натуральную величину. Смотри и удивляйся, мир! Вот он, апофеоз новой германской культуры, под маской которой кроется скверная обезьянья харя... Бей, товарищ, по ней железным кулаком своих танков, линкоров, самоходных пушек, пока не превратится в месиво и что-нибудь человеческое не проглянет из этих набухших кровью глаз, бей досыта, если не хочешь, чтобы когда-нибудь эта харя вторично прильнула к окошку твоей детской!

Нынешний процесс надолго запомнится жителям Харькова. В этот тесный зал все равно не втащишь целиком все грозные улики совершенных злодеяний, и рвы из Дергачей, и ямы из-под ХТЗ, прах тридцати тысяч истерзанных, забитых палками, заморенных голодом, удушенных окисью углерода, зарытых живьем, расстрелянных в затылок, в ухо, куда придется, и наугад, заколотых, убитых голодом, морозом, специальным мором, всяко, ибо ничего нельзя придумать нового в деле умерщвления, чего уже не было бы применено на практике этими дьяволами из расы господ. На сотни километров вокруг раскиданы эти улики, не веришь собственному оку, когда смотришь на это. Сама земля, когда она сотрясается, не смогла бы сделать ничего подобного. Будто кто-то ходил — дьявол, что ли? — и в припадке умоисступления, без разбора крушил железной воротяжкой по селам, по железнодорожным станциям, по городам

нашим. Оно лежит бесконечно, куда ни обернись, каменное крошево, облизанное черным языком огня. Мокрый снежок проносится над ним и садится на горький бурьян, уже проросший среди обезжизненного камня.

А ведь вокруг каждой горстки этого горемычного праха когда-то цвела жизнь, теплились очаги, и хатки веселыми огнями смотрели в ночь. И молодые гостеприимные хозяйки хлопотали вокруг полного стола, и милые, безвинные наши ребятки глазели на тебя из окон и махали руками тебе, солдат, когда ты с песней, мерным шагом и в строю, проходил по улицам родного города. Все стихло нынче в этих краях, и ни лая теперь на Украине собачьего, ни смеха детского, ни девичьей песни. Тиха и страшна стала нынче украинская ночь.

Так кто же убил вас в самом цвету — города, яблони, дети, радость и песни наши? Вот они сидят на скамье подсудимых — трое, а о четвертом речь будет потом. Все это только рядовые образцы фашистских будничных героев, каждый из них убивал, как мог, в меру разумения и представившейся возможности: Риц, Рецлав, Лангхельд. И хотя перу моему гнусно чертить даже беглые портреты этих мерзавцев, стоит набросать вкратце и для памяти основное в их внешнем облике. Пусть каждый, даже с далекого Алтая, посмотрит в лицо убийц, которые крались к его дому.

Слева сидит Ганс Риц — лейтенант, ему двадцать четыре года, но он успел вдосталь потрудиться во славу своего фюрера. Видимо, ему пошло на пользу в этом предприятии его высшее образование. Это — гном, еще молоденький, но уже с лысинкой, со впалой грудью и кругленьким, птичьим, инфантильно сладким личиком, видимо — любитель малинки. Такие обожают с напряженными ляжками сниматься возле повешенных партизан и посылать эти фотографии на родину своим бесстыдным мамам и белокурым невестам для окончательного покорения их сентиментальных сердец. Крест 2-го класса он получил еще дома, видимо, авансом, в воздаяние за будущие успехи в России.

Рядом с Гансом Рицем — Рейнгард Рецлав, ефрейтор. У него невыразительная башка, схожая с набалдашником от трости. Этот мужчина награжден медалью за зиму 1941—1942 года. Его сообщения о прохождении службы вызывают смех в зале заседания, это — чемпион воинского бегства вспять, несмотря на свой тридцатишестилетний возраст. Это — службист и работяга в своем застенке.

Последний у края, на виду у всего зала,— Лангхельд, капитан гитлеровской контрразведки. Его безресничные глаза порою смотрят чуть врозь; у него тупой, плоско срезанный лоб, его губы сплюснуты наглухо. От этого не жди пощады. И правда, такому Гитлер мог вполне доверить истребление целого народа. Таким в особенности приятен бывает плач ребенка, вопль женщины; в этих удовольствиях он явно смыслит больше прочих. Он имеет медаль и крест потому, что, по его словам, «всегда соответствовал требованиям своего командования». Немецкий перевод обвинительного акта он слушает с особым вниманием, видимо, опасаясь, чтобы на него не наговорили лишнего, как будто это еще возможно. И все косится в зал, профессионально прикидывая на глаз, на сколько душегубок пришло сюда зрителей.

Люди эти сидят рядом со своим партнером по злодействам, изменником родины и исполнителем гестаповских казней, Булановым. Этот парень, в черном пиджаке и с мордой каторжника, особо удачно расправлялся с детьми — шестьдесят жертв лежат на его чугунной совести. В темных, без всякого выражения и много повидавших его глазах, под тяжелыми палаческими бровями не отразилось ничего; он сидит, втянув голову в плечи, точно заблаговременно защищаясь от петли. Такой и матушки родимой не пощадит, лишь бы заплатили. Этот — подлинная черная изнанка трех предыдущих в голубых немецких мундирах.

Все эти люди разнятся друг от друга не больше, чем пальцы на руке, на подлой руке, которой Гитлер давил горло Украины. Их пока немного здесь, да и те — мелкие «фюреры» с разными ограничительными приставками. Но будет день, когда и разбойники покрупнее воссядут на той же скамье. Не минует эта судьба и самого главного фюрера. В триста миллионов рук мы дотянемся до тебя, Адольф Гитлер!

1943

ПРИМЕЧАНИЕ К ПАРАГРАФУ

РЕПОРТАЖ С ХАРЬКОВСКОГО ПРОЦЕССА

Детей в возрасте от шести до двенадцати лет гонят конвейером к глубокому песчаному карьеру. Никто, ни мать, ни бабушка, не сопровождают их: они одни здесь, под синим равнодушным небом. Там на краю карьера трудится долговязый детина в эсэсовской пилотке. Он строит лестницу, по которой поднимается гитлеровская Германия к своему мировому господству. Каждый ребенок — ступенька. Их пройдено миллион, миллиард их лежит впереди. Надо рационально расходовать нацистскую силу, чтобы ее хватило на всех... Сей молодец здорово приноровился к своей работе, он действует одновременно всем телом, как добрый аугсбургский станок, где ни одно движение не пропадает даром,— даже взгляд, как удар молотом, на мгновенье цепенящий ребенка. Пачка выстрелов, удар коленом в плечико, и, запрокинув голову, ребятки сами валятся, как дрова, в детскую братскую яму.

У этого труженика еще остается время перезарядить магазин автомата, пока подходит на разгрузку следующий фургон с детьми. Работа не трудная и безопасная: дети безоружны, и он продолжает кропить их смертной свинцовой росой.

Тебе не кажется, читатель, что детской кровью отпечатаны эти строки о процессе? И если только ты делаешь не ружье, не пушку, не снаряд, тогда отложи в сторону свою работу и, вооружась мужеством, не жмурясь, взгляни в лицо вот этой девчоночки, которую только что сбросили в карьер смерти. И повтори про себя ее слова: «Дяденька, я боюсь...»

И если не увлажнятся твои глаза, не сожмется кулак от боли, повтори дважды этот предсмертный вопль безвинной девочки. И ты увидишь как наяву ее распахнутые ужасом глаза, ее худенькую пробитую пулей шейку. И ты увидишь, что у нее лицо твоей милой дочки. И ты поймешь, что еще много надо не спать ночей, стрелять, жертвовать кровью и потом. И если ничего не окажется у тебя под руками, ты вырвешь сердце из

себя, чтоб кинуть его в мерзавца с автоматом. Можно убить и сердцем, когда оно окаменеет от ненависти.

Все здесь рассказанное — не беллетристическая вольность, все это — правда. Она случилась в августе 1942 года в станице Нижне-Чирской: именно так происходила там «разгрузка» детской больницы, и по этому образцу хотели завоеватели произвести разгрузку мира от всех не немецких детей. Всего там было 900 ребят. Их отвез к месту казни шофер, предатель своего народа, Михаил Буланов, пока еще — живая падаль. Он сделал много рейсов в тот день, ему приходилось самому подтаскивать и ставить детей под дуло эсэсовца. Вот он суеверно поглядывает на свои руки, может быть, припоминая, как были они тогда исцарапаны детскими ноготками, потому что вообще они шли неохотно,— так выразился сегодня в заседании суда офицер германской армии Лангхельд. Он, наверное, очень утомился в тот жаркий денек, Буланов. Но детский крик: «Дяденька, я боюсь»,— он запомнил. Значит, это громче автоматной пальбы — это раздирает уши ему и теперь, когда он платком утирает орошенные слезой глаза. Значит, это заглушить нечем; оно будет преследовать его до минуты, пока не захлестнется на его шее спасительная петля. Но какой ни с чем не сравнимой силы должен быть факт, чтобы исторгнуть слезу у палача!

Представляется чудовищным, что обо всем этом подсудимые говорят спокойно, без волнения, серым, обыденным голосом,— кажется, пролитое пиво огорчило бы их в большей степени. Вот, к примеру, допрос Лангхельда. Это злое пятидесятидвухлетнее насекомое выглядит довольно моложаво. У него имеются внуки в Германии, и, видимо, он еще надеется в старости, у тихого домашнего камелька, рассказать им кое-что из своих боевых приключений в России. Он откашливается, чтобы свежее звучал голос, когда тоном ученого, сообщающего на корпоративном заседании о научной новинке, он повествует о душегубке — «газенвагене», его пропускной способности, его устройстве, о занимательности расстрела пленных из мелкокалиберных винтовок — так как одной жертвы при этом хватало им надолго — и о прочем. Кстати, это было изобретение одного штурмбаннфюрера, некоего доктора Ханебиттера, видимо, также изрядного стрелка по живым мишеням.

Вообще бросается в глаза, что в роли организаторов массового истребления мирного населения очень часто подвизаются немцы с медицинским образованием: медфельдшера, доктора. Видимо, палачами в гитлеровской Германии назначаются

преимущественно граждане с врачебными дипломами. Такие действуют тоньше, больней и искусней. На скамье подсудимых оный Ханебиттер пока не сидит, а жаль, было бы любопытно взглянуть на него в висячем положении. Лангхельд упоминает имя Ханебиттера спокойно, без оттенка порицания. Впрочем, эту скотину не волнует ничто. У него даже не хватает догадки сообразить, что матери и вдовы расстрелянных и забитых его палкою людей сидят в том же самом зале.

Вот партнер Лангхельда по расправам и, надеемся, по предстоящей участи — Риц, заместитель командира карательной роты. Юрист, он изучал римское право в малом городке у себя, пока фюрер не призвал его к «великим делам». Вдовы и сироты Таганрога, как и других городов, должны хорошо знать этого служаку германской юстиции с физиономией биба-бо. О своих достижениях Риц повествует тоном нашалившего мальчугана, рассчитывающего, впрочем, что и на этот раз ему сойдет с рук. Вместе с тем же доктором смерти Ханебиттером, которого, будем верить, Красная Армия еще изловит где-нибудь в украинских степях, он ездил — из любознательности, по его словам,— под Харьков, где производился расстрел 3000 человек — русских, украинцев, евреев. Дело происходило 2 июня прошлого года на красивой лужайке у ХТЗ, вид которой был несколько испорчен уже вырытыми могилами. Работавшие тогда три грузовика успели доставить на место около 300 человек. Солдаты разделили их на небольшие группы и, докурив скверные немецкие папиросы, принялись за работу.

«Ну-ка, вы... — сказал, протягивая Рицу автомат, все тот же Ханебиттер. — Ну-ка, покажите, на что вы способны, молодой человек».

И мальчуган Риц взял автомат и выпустил несколько очередей в ожидавших своей участи харьковчан... Риц морщится: они были такие растерянные, полуголые, с обезумевшими глазами. Это несколько омрачило ему удовольствие расправы. Впрочем, он сделал это якобы только потому, что в противном случае Ханебиттер, старший в чине, мог дурно подумать о нем. И тогда оказалось, что *это* — совсем быстро и легко. Только пришлось задержаться на одной женщине, которая пыталась собственным телом заслонить свою девочку. Но машинка действовала исправно, времени было много, день стоял отличный, все кончилось хорошо.

У этого тихого немецкого кнабе был приятель Якобе, тоже сукин сын. Однажды Риц посочувствовал ему в смысле обшир-

ности замыслов его палаческой деятельности и недостаточности средств — дескать, Россия так велика, черт возьми, и так много в ней живет людей. «О, ничего, у нас есть специальные машины»,— похвастал Якобе. (В эту минуту, в который уже раз на протяжении процесса, опять знаменитая душегубка, урча и воняя окисью углерода, как бы въехала в зал судебного заседания.) Риц заинтересовался. И тогда Якобе свез его на другую площадку харьковского ада. Этот гид показал Рицу разгрузку машины, привезшей трупы отравленных. Кстати, они обошли и другие ямы. «А вот пассажиры вчерашней поездки»,— сострил Якобе, подводя друга к плохо засыпанной яме, где уже никто не шевелился.

Риц произносит это просто, ибо все это только деталь, маленькое примечание к одному параграфу в разработанном фашистском плане завоевания мира. Зал безмолвствует, и слышно только, как потрескивают юпитеры кинохроники.

— И что ж, пригодились вам при этом нормы римского права? — спрашивает военный прокурор.

— Нет, нам было приказано руководствоваться германоарийским чувством.

Тут же он сообщает, что недавно разочаровался в тезисах национал-социалистской партии, и вопросительно поглядывает то на судей, то в зал, точно ждет, что ему дадут за это шоколадку.

...Там, на самом дне нижне-чирской ямы, под скорченными детскими телами, лежит великая истина, которую обязан извлечь оттуда и понять мир. Так жить больше нельзя, нельзя есть и спать спокойно, пока безыменная девчоночка, к которой никто не пришел на помощь, кричит у песчаного карьера: «Дяденька, я боюсь». Если бы не тысячи, а только сто, даже десять, даже три таких убийства совершились на глазах у мира, и промолчал бы мир эту оплеуху подлецов, он не имел бы права на самое свое дыхание. Тогда дозволено все, и нет правды, а есть только злой первобытный ящер, ставший на дыбы и кощунственно присвоивший себе звание человека... Но нет! Есть правда, и есть кому защищать ее, и есть железо, чтобы отомстить за нее. Не муаровая лента фашистской медали сомкнется у тебя на шее, убийца, а нечто другое, прочное, пеньковое и более приличное подлецу. Слушай нас, маленькая, из братской ямы в Нижне-Чирской станице. Мир поднялся на твое отмщение. О, негодяи еще слезами отмоют планету, забрызганную кровью из твоей простреленной шейки!

1943

РАСПРАВА

РЕПОРТАЖ С ХАРЬКОВСКОГО ПРОЦЕССА

Когда окончился допрос подсудимых и они без краски стыда признались в содеянном и стало ясно, какая гнусная разновидность двуногих представлена на этом процессе вниманию Военного Трибунала нашей страны и всего цивилизованного мира, в зал вступили воспоминания. Вереницей потянулись родственники погибших и свидетели, на глазах у которых осуществлялся гитлеровский план подготовки великого восточного пространства для германской колонизации,— выселение законных жильцов из их вековечных владений в никуда, в небытие. Одно черней другого, слово ложится на слово... Вот горит госпиталь с военнопленными, горят хатки вместе с их обитателями, и бараки, доверху набитые трупами, горят. И хотя полно света в этом зале, вдруг как бы сумерки наступают, точно черный смрадный снег, пепел громадных сожжений опускается сюда, в потрясенную тишину.

Ага, Лангхельд покрывается багровыми пятнами, точно скручиваемый бешенством; смятенно жует губы пай-мальчик немецкой фрау Риц, он же председатель «суда чести» гитлеровской молодежи; угрюмо, точно жертвы берут его за глотку, поглаживает шею Буланов. И только Рецлав, эта портативная дубина из руки Гитлера, все нацеливается бесчувственным взглядом в кумачовую скатерть судейского возвышения.

Никто из свидетелей не плачет. Месяцы прошли, но все еще слишком свежи впечатления ужаса и горя. Слезы будут после. Это потом, вернувшись в свидетельскую комнату, истерически зарыдает колхозница Осмачко, целый час пролежавшая в братской яме рядом с трупом своего Володи. Ничего не замечая перед собой, медсестра Сокольская еле слышно докладывает суду, как волокли раненых на расстрел, как бились

о порог их головы, как приколачивали одного гвоздищами на воротах и хохотали, и вопили при этом «гут»... Снимем шапки, товарищи, помолчим минутку в честь того безвестного соплеменника нашего, которого, не сумев убить в честном бою, воровски добивали немцы на глазах у этой безоружной женщины.

Свидетель Сериков, сам дивясь виденному, в простоте сердца рассказывает среди прочего, как шла своей дорогой одна наша старушка, верно, чья-то добрая и ласковая мать, и попался ей навстречу обыкновенный немецкий солдат с ружьем, и как он схватил старую за рукав и, подтащив к земляной щели, бессмысленно пристрелил ее во утоление какой-то неизъяснимой тевтонской потребности. Женщина Подкопай из черного кошеля своих воспоминаний достает одно — про полуотравленного в душегубке старика, который уже не о пощаде молил своих мучителей, а только о том, чтобы добили его до смерти из внимания к его глубокой старости. Хозяйственник, хирург, уборщица проходят перед судейским столом, и кажется, самая бумага блокнота, на котором набросаны мои беглые заметки, начинает пахнуть трупной гарью, горшей, чем адская полынь.

Вот только что вернулся от судейского стола на свою скамью свидетель Беспалов. Речь его не изобиловала художественно выполненными подробностями. Хороший слесарь-лекальщик, он и не гонится за литературными достоинствами своих показаний. Ему есть о чем рассказать своим современникам во всем мире. Его поселок расположен всего в ста метрах от большого поля, амфитеатром раскинутого перед окнами домика, где он проживал с семьей, периодически скрываясь в леса от угона в неметчину. Этот солидный и рассудительный человек в течение четырех месяцев сряду был вынужденным свидетелем некоторых чрезвычайных происшествий. Словом, пока шуршат мертвые листы судебно-медицинской экспертизы и протоколов эксгумации, где научно излагается содержание длинных, плохо присыпанных землицей ям, я ухожу с Беспаловым в уголок, чтобы рассказал мне поподробней и еще разок про то, как происходило нечто, чему в уголовных кодексах мира нет пока подходящего наименования. И он сидит передо мной, живой, я трогаю его колено, дым его папироски идет мне в лицо.

Итак, место действия находится в двух километрах от Харькова, называется по-московски — Сокольниками и представляет собою округлую и обрамленную леском луговину,

пересеченную детской железной дорогой. Все помнят эти дороги — наглядные пособия, которыми мы баловали перед войной своих детей. Однажды, 27 января 1942 года, на этот плоский, конечно, самый обширный в мире эшафот, где обычно фашистские насильники методически и ежедневно расстреливали по 10—15 человек, грохоча, стали прибывать грузовые машины. Сверху, на каждой шоферской кабине, как мне рассказывали, сидело по солдату с немецкой овчаркой, в кузовах же машин находилось на круг, примерно, по тридцать человек не немецкого происхождения: старики с узелками, девчата, матери и их дети и пленные — наши граждане и братья с Украины и России. Три машины возвращались сюда восемь раз. После выгрузки людей рассаживали группами прямо на снегу. Никто не плакал, хотя все со смутным ужасом догадывались о назначении готовой желтой ямы посреди поля.

Стоял морозный, с ветерком в сторону поселка полдень. Снежный покров достигал полутора метров, а морозец градусов 25. Если бы не ветерок да не крики черных птиц из вороньей разведки над лесом, было бы совсем тихо в тот час. Гестаповские часовые гнусили какие-то песенки про бутылку шнапса и деву рая.

Очень громкая и лаистая последовала команда — всем раздеваться донага, людей поторапливали. Так нужно было, должно быть, для того, чтобы скорей слипалась воедино в плотное месиво, гнила и тлела и превращалась в ничто эта живая пока человеческая плоть. Мужчинам немцы помогали ударами прикладов. Быстро образовалась горка женских платков, детских калошек, полушубков, свертков с едой, белья, рейтуз шерстяных; где-то пискнул ребенок: «Мама, мне холодно», и опять закричали мужчины, но снова взметнулись над головами приклады, и погас крик.

Были там женщины, которые не желали раздеваться на глазах у всех донага... и вот Беспалов увидел, как один нибелунг ножом, занеся снизу и движением вверх, распорол на девушке шубку и платье до плеча. А ведь и дерево жалеют поранить, когда рубят. Кривой красный шов прочертил тело, и потом, развалив одежду, гестаповец сам содрал с девушки бюстгальтер левой, свободной рукой.

Все еще веря во что-то,— в спасение, в бога! — по колено в снегу, эти обреченные люди, голые, жались друг к дружке в ожидании своей очереди. А уже где-то в противоположном углу поля началась расправа. Деревянно на морозе застучали авто-

маты, и первый залп дан был по ногам, чтобы предотвратить возможность бегства, хотя дорога и без того была оцеплена войсками и полицейской сволочью. Это называлось у палачей «фускапут» — смерть ногам! Передняя шеренга жертв осела на пятнистый красный снег, и вдруг как бы костер человеческого отчаяния забушевал на этом ослепительном снегу. Оно обжигало и расплавляло мозг, невидимое пламя, и тот, кто раз видел это, вряд ли станет улыбаться потом, как отучился от улыбки Беспалов. Двое стариков, соседей Беспалова, сошли с ума... Уже нельзя стало различить отдельных людей. Было только бессмысленное метание, кряхтенье, пронзительная детская жалоба, стон и вопли, проклятья, брань и истерический хохот матерей. И некоторые женщины заедино с мужчинами, как тигрицы, кидались на солдат, и те пятились от этого нечеловеческого напора. Другие же пытались закапывать в снег своих детей, а потом, вытащив голых из снега, бросались закапывать их в другом месте, лишь бы утаить их от смерти. Слышно было «гады», «паразиты» и еще «папочка, спаси меня», и еще «бабушка, за что они меня терзают», и еще «чи ты слышишь, мий коханый, шо я гибну».

Разъяренные нацистские канальи стреляли в упор в голых обезумевших людей, они кидали детей в яму, ухватив за руку и развертев над головой, как лягушат, и что-то чвакало там, наверно, при их падении. Они зарывались с автоматами в самую гущу толпы, начинавшей уже редеть. Они орали во все горло: «сакрамент» и «шайзе», что, кажется, означает «гадость» на их блатном, зверином языке; видать, сами валькирии бушевали над ними! И так, подбадривая себя криками, возгласами, они еще до сумерек довершили дело до конца. Уже воронье, готовое приступить к трапезе, ждало в почерневших вершинах ближнего леса. Но солдаты ушли не прежде, чем поделили между собой страшную, позорную добычу — эту бедную, забрызганную красным, одежду своих жертв. Они не оставили здесь ничего, кроме нескольких разрозненных детских калошек и рукавичек. И одни уходили пешком, таща на плечах трофейные узлы, а другие уезжали в машинах, сытые и гнуся что-то сиплое и древнее, как урчанье гориллы. И когда ушли они, стаи птиц опустились на место побоища...

Беспалов опускает глаза, папироска дрожит в его руке.

— А некоторые еще забавлялись при этом,— вслух дивится он,— хватали голых, уже полурасстрелянных за грудь, за сосок, чиркали штыками по телу, волосы выдергивали. Вот

тут-то и сошел сосед мой с ума: голый, выскочив на мороз, принялся рубить топором вытащенный им шифоньер... Страшно, знаете ли!

Не судить бы их, а езжалым кнутом по глазам, которыми они смеют еще глядеть на вас, мужья, братья и сыновья погибших. Уже целая метель мертвого пепла кружит и забивает очи. Падает черная копоть новых и новых показаний. Сутулые, с посеревшими лицами, подсудимые смотрят в пол. Тяжел могильный прах; он оседает им на плечи, давит, увлекая в ту же черноту, куда свалены их жертвы... Ой, Германия! Может, полярные океаны да непроходные бездны лежат на путях наших армий к расплате? А что, если не окажется их при границах наших? А ну, взглянем на карту, Германия!

1943

ВЕЛИЧАВАЯ СЛАВА

Когда Европа, растоптанная и поруганная фашизмом, думает о своей судьбе,— кнут поработителя или торжество правды предстоят ее потомкам,— она вспоминает о нас. Тогда в слезах отчаяния она обращает глаза к востоку, к Красной Армии. Вдовы и сироты трепетно вслушиваются в громовой голос ее артиллерии и танков; по географическим обозначениям ее побед они высчитывают сроки своего освобождения. Для многих это завтра наступит слишком поздно, а сегодня только она одна, Красная Армия наша, в полную силу бьется с мрачным и подлым злодейством.

Море крови, в котором мир стоит сейчас по горло, обязывает его к справедливым оценкам людей и явлений. На своем страшном опыте он узнал, что фашизм есть смерть наций, гибель жизни и крушение культур; пропись перестает быть банальностью, когда она написана кровью по живому мясу. И потому все нынче в могучей руке твоей, советский воин: смех детей и мудрые дары наук, цветенье садов и блистательные свершения искусств. Слава твоя величавей славы знаменитейших людей прошлых веков. Ибо величие состоит не только в том, чтоб создать сокровище, но и в том, чтоб грудью отстоять его в беде, не выдать его на потеху дикарю.

Множество великих имен мы подарили миру. Там были мечтатели и подвижники, люди глубочайшего социального прозренья, планировщики вселенной, разгадчики материи, строители и поэты. И слишком много полновесного зерна мы всыпали сами в закрома культуры, чтоб ставить урожай будущих веков под угрозу нового Аттилы и его вооруженных хулиганов. Мы всегда ясно понимали, в какую эпоху человеческого развития мы призваны творить и строить, и оттого с самого начала не было у нас ничего дороже Красной Армии нашей. Единство

советского народа, о котором мы так часто и с гордостью говорим, отразилось прежде всего в единой любви к этому стройному созданию двух великих отцов нашего народа. Все лучшие качества наши заключены там. Армия наша — воин с обнаженным мечом у источника жизни.

Она выросла на глазах нашего поколения, и мы по справедливости гордимся, что сами прошли ее суровую школу в годы гражданской войны. Но какой громадный путь — от легендарной, рассекающей пространства, лихой конницы Ворошилова и Буденного до гвардейских танковых соединений Ротмистрова и Рыбалко. Как расширилась эта тесная вначале семья героев, полководцев и рядовых ее солдат. Зигзагами, точно ходом молнии, пройдена взад и вперед вся страна, и везде, в каждом безвестном полюшке было пролито по бесценной рабоче-крестьянской кровинке, и поэтому трижды дорога она нам, родная земля... Как выросли ее подвиги, ее техника, ее знания! От Перекопа до Сталинграда, от тачанок до самоходных пушек и гвардейских минометов, от разгрома интервенции до побед над внуками Шлиффена и Клаузевица, этими профессорами научного империалистического грабежа! Честь такого неслыханного пути делят отвага и труд советских людей, их самоотверженность и преданность идее.

И когда вчера шесть знаменитых наших городов салютовали в честь Красной Армии, они салютовали тем самым народу, вверившему ей свои лучшие чаяния, свое достояние и самых сильных своих сыновей.

У всякого народа есть дорогие имена прозорливых вождей и песенных героев. В них он вкладывает простое и мудрое содержание, не требующее толкований, наделяет их страстной и суровой нежностью и всеми совершенствами, накопленными в веках. Когда беда ломится в ворота нации, ее дети объединяются вокруг этих имен, орлята во множестве нарождаются в народной гуще, и стаи их обрушиваются на врага. И тогда горе врагу, его матерям и обманутым его воинам, горе его убогим вожакам, обнажившим меч неразумной и неправедной войны. И светлая слава отцу наших молодых орлят, создателю мощи нашей, который смотрит за горизонты и видит то, чего не дано видеть всем!

И вот армия наша с молчаливым гневом идет на запад. Бывалые солдаты ее говорят: ты хотел нас взять напугом, Гитлер, но не вышел твой блиц-испуг. Зато вот мы тебя теперь попугаем!.. И еще говорят ветераны, сжав зубы, что все быв-

шее ранее — только присказка, а самая сказка еще впереди, когда начнет крошиться и лететь кусками хваленая и перехваленная немецкая сталь. Эти люди сдержат свое солдатское слово. И когда они ступят на почву Германии, рухнет фашистский притон, и под обломками его погибнет пруссачество. И чем чернее будет траур в Берлине, тем светлее солнце над Европой.

Близится час окончательной расплаты с гитлеровцами за все их злодеяния.

Будет день, когда Гитлер ступит на эшафот, если только не свалит его раньше, не придушит где-нибудь в бомбоубежище благоразумие германского народа. Он увидит вокруг себя ужасную, обугленную Европу и, оглядевшись, содрогнется, как задрожала тень его — Лангхельд в Харькове, увидав из окошка петли мерзкие дела своих рук. И пусть он висит долго на деревянном глаголе, этот прилично одетый господин, мастер кнута и душегубок, пока не насытятся взоры его жертв. Потом его сожгут и зароют в землю гадкий серый порошок и постараются забыть, как скверный сон в ночи, длившийся почти полтора десятилетия. Человек опять поднимется из праха, куда его повергла фашистская тирания, и миллионы немцев, вынужденные оставить ремесло разбоя, пусть честным трудом постараются вернуть себе место среди народов.

Мир процветет еще прекрасней, чем раньше; новые ветви брызнут от корней жизни, которую оберегла от фашистского топора бережная рука Красной Армии. Но, уходя все вперед и вперед, к звездам, и оглядываясь назад, человечество долго еще будет видеть в немеркнущем солнце вас, красноармейцы и маршалы, чьи головы гордо возвышаются над нашим грозным, безжалостным и прекрасным веком!

1944

РЕЧЬ О ЧЕХОВЕ

Мое литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя нашей — вот уже не очень молодой! — советской литературы, Максима Горького. Почтительно и робко мы жали его руку, еще сохранившую тепло толстовского и чеховского рукопожатий. Люди до конца дней несут на себе отпечаток своих ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам порою суровая интонация толстовской речи, а в его взоре передко являлся проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души чеховский юмор.

В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренником. Нам, нынешним, он представляется вовсе недоступным для, скажем условно, творческого прикосновения. Он даже и не снился никогда нам, молодым литераторам, хотя бы как Горький, который и сейчас зачастую приходит к нам, в беспокойную ночь художника, поддержать строгим отеческим наставлением. Мне думается, равным образом, что еще не начало остывать и вещественное, телесное тепло Антона Чехова. В сущности, никто из нас не удивился бы, если бы они вошли сейчас сюда, друзья, и сели за столом президиума, перешучиваясь по поводу торжественного блеска этих огней и многолюдности такого собрания в честь одного из них. Да будет мне позволено признаться, я почти слышу, как сказал бы Алексей Максимович спутнику своему, замолкшему от смущения,— мельком и своеобычным жестом касаясь усов:

— Ишь, что затеяли, черти драповые! Теперь ваша очередь, Антон Павлович. Терпите, сами виноваты... Все мы однажды проходим через это дело.

Да, это он, Чехов, повинен в том, что, отбросив большие очередные дела, вы собрались здесь, гордые могуществом и всемирной славой нашего русского слова, вы — объединенные принадлежностью к такой красивой и грозной семье советских наций, вы — предсказанные ими тремя в темнейшую ночь царской реакции: и те, которые пришли сюда из университетов, лабораторий и кузниц победы, и те, которые, незримо присутствуя здесь, громово стучатся сейчас в железобетонную берлогу зверя.

Приподнятость моего слова происходит от моего волнения — говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса.

Чеховский голос умолк задолго до наступления нашей зрелости. Чехов умер рано, мы даже не умели оплакать эту утрату соразмерно ее значению. Мы в лошадки играли в тот день, когда перестало биться сердце Антона Чехова. На радость нам живут и творят неслабнущей силой его друзья и близкие, к кому мы обращаем сегодня свою благодарную сыновнюю нежность. Но сами мы не испытали равного счастия непосредственного, духовного и физического прикосновения к Антону Павловичу. Мой беглый очерк может не совпасть с действительным обликом Чехова, какой сохранился в памяти его современников. Я не исследователь литературы, а лишь старательный читатель, создающий собственное представление о великой личности в пределах доступного ему материала.

Волна, которую в мировой литературе поднял Чехов, не улеглась доныне. Было бы излишне приводить здесь цитаты из Чехова и цитаты о Чехове. Его и о нем, жившем — кажется — столько веков назад, по справедливости знают лучше и больше в нашей стране, чем о любом из нынешних живых литераторов. Любовь к писателю и есть совершенное знание его искусства. Конечно, она возрастет еще в большей степени, по мере того как познание самих себя и своего недавнего прошлого будет становиться потребностью все более широких народных масс. Сколько нераскопанных кладов таится для них в нашей земле, ее истории и действительности!.. Для нынешнего читателя Чехов давно перестал быть только пессимистом или певцом сумерек и хмурых людей, как именовала его когда-то часть тогдашней критики. Она упрекала его в бесстрастии, требовала от автора точной общественной формулы, почти тезиса или, во всяком случае, социального пароля... и, нам понятно, иначе и быть не могло в ту пору накопленья боевых сил!.. но

не заместимо никакими иными категориями целомудрие художника, и я затрудняюсь предсказать судьбу прекрасной прозрачной чеховской прозы, если бы этот взыскательный автор попытался в своей писательской практике внять предъявленным ему требованиям.

С Чеховым в литературе и на театре народилось понятие подтекста, как новая, спрятанная координата, как орудие дополнительного углубления и самого емкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. Мы имеем дело с на редкость скупым и строгим к себе мастером — лермонтовской словесной сжатости, серовской точности рисунка. Он больше усилий прилагает не для того, чтоб родить слово, а чтоб убрать, смыть его совсем, если оно лишнее: остается лишь вырезанное навечно по бронзовой доске. Как в больших старых звездах, весит тонны каждая строка такого плотного словесного вещества. Мне представляется,— операционная лампа особого высокогорного света сияет над операционным полем у этого тончайшего душевного хирурга: все видно, и ни одной отвлекающей, рассеивающей детали!.. Но и писательские подтексты Чехова, скрытые под этими девственной чистоты пеленами, огромны.

Сущность разногласий в оценках тогдашней критики, по моему разумению, заключалась в том, что все так называемые больные вопросы Чехов решал не в тесной прокуренной каморке, а под спокойным синим куполом родной природы. И хотя такая сдержанная манера изложения у Антона Чехова никак не походила на разящий сарказм Щедрина или горечь Успенского, нам виднее из нашего времени, что все творчество Чехова было собранием острейших улик, представленных на вывод русскому общественному мнению,— пространным, очень грустным обвинительным заключением о строе прежней жизни, слегка прикрытым кое-где маской безразличной концовки — «ничего не разберешь на этом свете!».

Но кому было нужно, те разобрались! Они поняли, почему в глухую ночь сердился почтальон и не отвечал студенту в Почте, и куда вели в конце концов огни в одноименном рассказе, и отчего так упорно не спалось, несмотря на вполне сытую, хорошо отоваренную жизнь, профессору Николаю Степановичу в Скучной истории. Вот почему люди на Руси всегда становились лучше и честнее после прочтения книг Чехова. Он внушал отцам нашим презрение к мелкой обывательской суетне, он потряс основы зоологического буржуазного благополучия, а понятие благородства человека, как и Горький,

делал производным от его полезности обществу. Только оптимист, цельной и непоколебимой нравственности человек был способен на такое искусство, и не автор виновен, что в просторном зеркале его, чеховского, творчества так часто отражались печенеги и жабы, рожи пришибеевых и аксиний, каплуны, задыхающиеся в собственном жиру, и просто футляры от человеков. Именно такими существами, как всякий рассвет, кишели тогда предутренние сумерки России.

Это был огромной и скрытной страстности человек, почти мужицкого душевного здоровья и владевший неугасимой верой в великанскую судьбу России. Он бесконечно любил свою родину, хотя и не очень часто распространялся об этом. Истинная любовь скупа на признанья. Матросов и Гастелло также вряд ли много рассуждали на эту тему. И, может быть, сильнее всего выражена такая любовь в величавом молчании тех, которые бесстрашно и безжалобно полегли в нынешних боях за независимость родной земли!.. Прежняя Россия существенно отличалась от нынешней, но Чехову дорога была и та, полная народного горя и надежды на чудесную правду, которая постучится однажды в окошко России и мира. Он обожал Москву тех лет, крикливую и пыльную, со щербатыми мостовыми, и даже континентальная погодка московская представлялась вполне замечательной ему, обреченному погибнуть от туберкулеза... Но, любя родину, он никогда не льстил ей, как делают это чужие и лукавые, чтоб пригасить ее настороженную бдительность. Писатель Чехов был крепко болен Россией, а такие имеют право на грустное, а порой и сердитое слово. Иногда этот врач ставил ей жестокий диагноз, но то не была лишь злая констатация факта, и в самом диагнозе заключалась, хотя и туманная порой, система леченья. Родники возрождения начинали буравить снизу нашу землю, и, пока уже народившиеся искатели народного счастья не откопали эти источники живой воды для воскрешения своего народа, он жил работой и такой же действенной мечтой.

Ею, как животворящею росой, обрызганы страницы чеховских книг. Он звал на землю красивую жизнь, где справедливость и нет нужды и где труд положен в основу существования. Знал он также безмерно трудную цену такой красоте и никогда не усомнился, хватит ли у его народа духовных средств на ее оплату. Достоевскому в дневнике писателя за 1877 год казалось, что Россия уже стоит накануне событий. Гораздо позже Антон Павлович определял расстоянье до них в двести лет.

Эти равно пророческие сроки не совпадают потому лишь, что медленней всего время течет на рассвете, и последний, самый холодный и тяжкий час перед восходом солнца тянется почти тысячелетья.

Смотрите же, как медленно наступало утро в России, в какое дальнее плаванье отправлялся тогда русский рабочий класс, на какой подвиг решался он и его ядро, впоследствии — детонатор революции, большевики! Чехов уже сознавал, что интеллигенция бессильна в одиночку, без масс, бороться с животным, жестоким укладом российской жизни. Вспомните, как бьется в истерике Катя и целует руку старому, мудрому Николаю Степановичу и молит: «Не могу я дольше, говорите же, что мне делать... Помогите мне!» И этот крайне просвещенный деятель, в полной мере разделяя ее отчаянье, сам не знает выхода из тогдашней удушливой житейской мглы. Дело происходит в 1888 году. Ровно за год перед тем петербургская ночь была еще темнее, и виселица стояла посреди, и к ней, ежась от утреннего холодка, шел с откинутой головой и в последний раз глядел на майские гаснущие звезды Александр Ульянов. Прикоснитесь же сердцем к этому медлительному континентальному времени, как если бы вы сами жили в эти годы!.. Только через пять лет младший брат его, имя которого со временем с надеждой и верой произнесут народы земли, поедет из Самары в Петербург, на передовую линию борьбы за освобождение. И должно пройти десять лет, пока соберется I съезд РСДРП, еще без Ленина, находившегося в ссылке, съезд из девяти человек. Какая рань новой России и русской революции!

В зловещих сумерках, едва окрашенных полоской зари на горизонте, черный голод пройдет по недородным губерниям; большой по размерам царь сменится царем помельче; в раздирающей уши тишине пробренчат стихи Надсона о разбитых жертвенниках, пока не закопает поэта в могилу вместе с его рыдающими аккордами мракобес Буренин. В эти годы сопьется Николай Успенский и сойдет с ума брат его Глеб, а Гаршин, не в состоянии дышать этой тьмой, кинется в лестничный пролет, чтобы распороть себе грудь об острое литье чугунной печки... Как много поучительных уроков и материала для раздумий в одном этом сопоставлении дат!

Так вот почему не спится чеховским профессорам: в ночи раздается зов народа, и грозная, мучительная совесть пробуждается в русском человеке. Все более широкие пласты родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия

набатной песни: «На бой кровавый, святой и правый, марш, марш, вперед...»

Вот откуда шла жгучая тоска нашего любимого писателя. Близился рассвет в России, и было страшно не дожить до этого желанного часа. Признаемся, умереть сегодня, не дождавшись окончательного торжества правды и нашего оружия, было бы неизмеримо легче, чем в ту безутешную ночь. Мы видели индустриальное преображение наших равнин и гор, мы были свидетелями или участниками Сталинграда и Днепра, Орла и Витебска, мы слушали десятки раз московские салюты, мы знаем точно, наконец, как будет выглядеть завтрашний день победы... А Чехов не дожил даже до первого боевого крещения России революцией.

Сорок лет нет Чехова между нами, а чеховское имя все выше поднимается к звездам. И даже грохот этой страшной и исторически неизбежной войны не может заглушить ровного, явственно слышимого всеми нами сегодня, милого чеховского голоса. Верный сын и спутник России, Чехов идет и нынче в ногу с нею. Он свой везде, желанный всюду: он запросто входит в дом стахановца, присаживается к столу академика, перед атакой беседует в землянке с офицером и бойцом, которым мы обязаны сегодня чудесной возможностью собраться здесь, под уверенным, бестревожным небом Москвы. Народ отразился в Чехове, и Чехов отразился в духовном облике своего народа. Героиня Зоя сделала тезисом своего житейского поведения слова его героя Астрова: какая честь для литератора, даже для гения!.. По существу, не день смерти, а день его нового рождения для широчайшей народной массы мы собрались отметить здесь. Да, Чехов жив, он работает вместе с нами, и порою больше иных живых литераторов нашего времени. Чехов доживет до торжества и расцвета правды.

Счастлива литература, имеющая таких предков. И тем большие ответственность и обязанность ложатся на нас, нынешних литераторов, наследников чеховской и горьковской славы. Они заключаются прежде всего в том, чтобы передать тем, которые еще моложе нас,— неистраченное, неостылое, полученное нами от Горького человечное тепло чеховского рукопожатия.

1944

НЕМЦЫ В МОСКВЕ

Сей беглый очерк о поучительном московском происшествии станет достоянием не только моих соплеменников. С понятной тоской и проникновенной злобой его прочтут блатаки из берлинского шалмана. Им тоже захочется узнать о судьбе громил, пущенных на поиск чужого добра, и, таким образом, заглянуть в собственное будущее. Поэтому я и взял на себя труд расширить как географические, так и чисто описательные координаты помянутого события.

Это произошло в Москве, красивейшем из городов нашей эпохи, одетом в мечту героического поколения. Все дороги в его будущее ведут через Москву, и потому все взоры обращены к ее Кремлю, видному сейчас из самых отдаленных захолустий мира.

Прекрасна Москва даже в знойном июле, когда пьянят сердце приезжего такие хмельные — аромат лип и тишина ее вечерних улиц, точно поезда в вечность проносятся мимо, и сама она лишь скромный полустанок по дороге к счастью... Незабываема она теперь, в июле четвертого года войны, старшая сестра фронта, забывшая боль и усталость,— город внушительного и непоказного величия, у подножья которого прокатилось и потаяло столько завоевательских волн!

В особенности же хороша была Москва 17 июля 1944 года. Почему-то Геббельс и его речистые канальи не раскричали на весь мир про эту знаменательную дату. А именно в этот самый день прибыла сюда, хотя в несколько облегченном виде, еще одна армия, отправленная Гитлером на завоевание Востока. Ее громоздкий багаж остался позади, на полях сражений. По этой причине немцы более походили на экскурсантов, нежели на покорителей вселенной, и, надо признаться, за восемьсот лет существования Москва еще не видала такого наплыва интуристов.

Представительные верховые «гиды» на отличных конях и с обнаженными шашками сопровождали эту экскурсию. Пятьдесят семь тысяч немецких мужчин, по двадцать штук в шеренге, проходили мимо нас около трех часов, и жители Москвы вдоволь нагляделись, что за сброд Гитлер пытался посадить им на шею в качестве устроителей всеновейшего порядка. Как бы отвратная зеленая плесень хлынула с ипподрома на чистое, всегда такое праздничное Ленинградское шоссе, и было странно видеть, что у этой пестрой двуногой рвани имеются спины, даже руки по бокам и другие второстепенные признаки человекоподобия.

Оно текло долго по московским улицам, отребье, которому маньяк внушил, что оно и есть лучшая часть человечества, и женщины Москвы присаживались где попало отдохнуть, устав скорее от отвращения, нежели от однообразия зрелища. Несостоявшиеся хозяева планеты, они плелись мимо нас — долговязые и зобатые, с волосами, вздыбленными, как у чертей в летописных сказаниях,— в кителях нараспашку, брюхом наружу, но пока еще не на четвереньках,— в трусиках и босиком, а иные в прочных, на медном гвозде, ботинках, которых и до Индии хватило бы, если бы не Россия на пути!.. Шли с ночлежными рогожками под мышкой, имея на головах фуражки без дна или походные котелки с дырками, пробитыми для проветривания этой части тела,— грязные даже изнутри, словно нарочно подбирал их Гитлер, чтобы ужаснуть мир этим стыдным исподним лицом гитлеровской Германии. Они шли очень разные, но было и что-то общее в них, будто всех их отштамповала пьяная машина из какого-то протухлого животного утиля.

Эти живые механизмы с пружинками вместо душ не раз топали под музыку по столицам распластанной Европы. Старые, облезлые вороны с генеральскими погонами принимали завоевательский парад на парижской Плас-Этуаль, и радио послушно разносило по всей планете эхо чугунной германской поступи. Эти же проходили по Москве уже далеко не церемониальным маршем, и в растерянной улыбке у иных, ожидавших встретить разрушенную Геббельсом Москву или шаманов со стеариновой свечкой в зубах на улице Максима Горького, был приметен проблеск еще неуверенной, неоформившейся мысли. Другие откровенно улыбались, не скрывая животную радость, что удалось вовремя и невредимым вывернуться из-под березового гитлеровского креста: нет ничего глупее, как

умереть летом 44-го года за обреченного барина Адольфа, защищающего ныне лишь собственную шею от смоленой надежной удавки...

Прищурясь и молча, глядела Москва на этот наглядный пример бесконечного политического паденья. Только из гнилой сукровицы первой мировой войны могла зародиться инфекция фашизма — этого гнуснейшего из заболеваний человеческого общества. До какого же непотребства и скотства фашизм довел тебя, Германия, которую мы знавали и в твои лучшие годы?

Шествие вурдалаков возглавляли генералы, хорошо побритые, числом около двадцати. Стратеги шли с золотыми лаврами на выпушках воротников и в высоких офицерских картузах, с вышитыми рогульками и опознавательными значками на груди и рукавах, чтоб никто не смешал степеней их превосходительного зверства: они были в больших и малых крестах за людоедство, юдоедство и прочее едство, с орденами Большого Каина или Ирода 1-й степени и с теми дубовыми листками, которые Гитлер раздает своим полководцам для прикрытия воинского срама.

У передних, кроме того, мы отчетливо разглядели большую черно-белую свастику, прикрепленную к кителю близ подвздошной области,— признак принадлежности к уголовно-политической организации, провозгласившей тунеядство и паразитизм основной из национальных добродетелей. Даже не смирение волка, у которого перебит шейный позвонок, читалось в этих щеголеватых фигурах, ибо есть и у волка своя смертная гордая стать: тупое равнодушие прочла Москва во всем облике этих всемирных бесстыдников.

Народ мой и в запальчивости не переходит границ разума и не теряет сердца. В русской литературе не сыскать слова брани или скалозубства против вражеского воина, плененного в бою. Мы знаем, что такое военнопленный, мы понимаем цену жизни, хотя и презираем малодушное отчаяние, согласное купить ее ценою вечного позора. Мы не жжем пленных, не уродуем их, мы не фашисты... Ни заслуженного плевка, ни камня не полетело в сторону вражеской орды, переправляемой с вокзала на вокзал, хотя вдовы, сироты и матери замученных ими стояли на тротуарах во всю длину шествия. Но даже русское благородство не может уберечь от ядовитого слова презренья эту попавшуюся шпану: убивающий ребенка лишается высокого звания солдата... Это они травили и стреляли наших ма-

леньких десятками тысяч. Еще не истлели детские тельца в киевских, харьковских и витебских ямах,— маловерам Африки, Австралии и обеих Америк еще не поздно удостовериться в этих одинаково незаживляемых ранах на теле России, Украины и Белоруссии.

Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканьем ста с лишком тысяч ног. Изредка спокойные, ровные голоса, раздумье вслух доносились до нашего уха:

— Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!

Но лишь одно, совсем тихое слово, сказанное на ухо кому-то позади, заставило меня обернуться:

— Запомни, Наточка... это те, которые тетю Полю вешали. Смотри на них!

Это произнесла совсем обыкновенная, небольшая женщина своей дочке, девочке лет пяти. Еще трое ребят лесенкой стояли возле нее. Соседка пояснила мне, что отца их Гитлер убил в первый год войны. Я пропустил их вперед. Склонив голову, большими, не женскими руками придерживая крайних двух худеньких девочек постарше, мать глядела на пеструю, текучую ленту пленных. Громадный битюг из немецких мясников, в резиновых сапогах и зеленой маскировочной вуальке поверх жесткой, пропыленной гривы, переваливаясь, поравнялся с нами и вдруг, напоровшись глазами на эту женщину, отшатнулся, как от улики. Значит, была какая-то непонятная сила во взгляде этой труженицы и героини, заставившая содрогнуться даже такое животное.

— Поизносились немцы в России,— сказал я ей лишь затем, чтобы она обернулась в мою сторону.

На меня глянули умные, чуть прищуренные и очень строгие глаза, много видевшие и ничему не удивляющиеся... а мне показалось, что я заглянул в самую душу столицы моей, Москвы.

1944

ФАКЕЛ ГЕНИЯ

ЗАМЕТКИ К ЮБИЛЕЮ А. С. ГРИБОЕДОВА

Когда народ движется к своим историческим целям, его всегда больше, чем можно сосчитать глазом. Вместе с ним идут духовные предшественники его героев и гениев, создатели его славы и его прогрессивных качеств. Нет, это не просто «вечные» и уже равнодушные спутники, священные реликвии арсеналов, но действенные соратники и участники похода, такие же чернорабочие эпохи, как мы с вами, потому что весь народ во всех измерениях, включая время, осуществляет верховную идею своего бытия... Незримо, нога в ногу, они шагают с нами, и в шелесте знамен мы слышим их дыханье.

Этим ощущеньем взаимосвязи с прошлым страны и начинается чувство родины. Не в том ли и лежат основы наших побед в тылу и на фронте, что человек, безраздельно преданный своей советской родине, ежеминутно чувствует взор Ленина на себе, а над собой — и звонкую славу Суворова, и песенный ветер Пушкина, и громадную, как небо, беспамятную любовь к отечеству, которой проникнут творческий подвиг Грибоедова.

Счастлив народ с такою родословной, и, значит, прочно стоит он на родной земле, если даже в решающие военные дни он находит время справить день рождения своего поэта. За эти емкие полтора века мы медленно и твердо подымались по ступенькам нашего возрождения, и книга Грибоедова неотлучно была с нами, и теперь, у порога нашего величия, мы можем спокойно оглянуться на ту скорбную даль, откуда Россия выходила на свою столбовую дорогу к звездам... Сколько же астрономических лет до тебя, богатая и нищая, вольнолюбивая и крепостная Русь?

Даже в сравнении с тем, что нам еще предстоит, много с тех пор совершили наши люди. Не те стали Москва и моск-

вичи, россияне и Россия. Древний город, где впервые зажглась идея национального самосознания, стал, кроме того, колыбелью всемирных и братских идей. Великим монолитным единством спаяно наше общество, новый человек становится героем литературы; и если еще прячутся кое-где между нами Фамусовы и Молчалины, уже не это определяет равнодействующую в параллелограмме социальных сил. Возмужал и крепнет с каждым годом наш молодой гуманизм, хотя подросло с тех пор и оформилось в лютого зверя и зло, чье горло хрустит нынче в нашем железном кулаке. Невозможно в одно дыханье перечислить все происшедшие у нас благодетельные перемены. Действительно, «как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший» — «свежо предание, а верится с трудом».

Грибоедовское наследие не велико по размерам. К тому же одно осталось незаконченным, а другое сделано в складчину с друзьями: значительная часть его построена по старой романтической моде или засорена отжившей древнеславянской архаикой. Думается, выдающийся русский дипломат Грибоедов, дожив до старости, постарался бы скрыть от исследователей литературы эти поэтические улики пылкой и неумелой молодости. И без того, впрочем, они остались бы в тени, если бы не падал на них ярчайший свет главного его творения.

Из-под одного и того же пера вышли и блистательная комедия Горе от ума и, скажем, Давид или Радамист и Зенобия; мы привыкли к мысли, что Грибоедов — автор одной книги, как Данте или Сервантес, чья творческая биография также не ограничена лишь одним созданием. Но в этом большом разговоре нас занимают не те ценнейшие дополнительные листки, в которые было завернуто сокровище, а тот самый насущный черный хлеб духовный, каким питалось человечество в своих исторических перекочевках. И еще — что же было причиной такой единственной вспышки гения? Создается впечатленье, что лишь однажды прекрасная разгневанная муза посетила «уединенья уголок» Грибоедова, и вот — кусок прометеева пламени, оставленный ею на столе поэта! Оно уже не жжет так, как обжигало современников, но нам, наученным ценить и искорки честной, освободительной мысли, были бы дороги даже холодные уголья из костров, возле которых грелись людские души в ту глухую ночь.

Может быть, кроме самого Рылеева, только Пушкин стоял так близко к декабристам, как Грибоедов. Вспомните, как ру-

коплескали они Горю от ума. Да он и был, конечно, декабристом, беспартийным декабристом он был: не только творчески, но всем своим поведеньем автор Горя выдавал свое истинное политическое лицо.

Стоит только представить, какой бледный и взволнованный сидит Грибоедов на ермоловском обеде, пока столичный гость Дамиш рассказывает о декабрьских событиях в столице. Он то сжимал кулаки, то потерянно разводил руками и, наконец, разрешился знаменательной фразой — «вот теперь в Петербурге идет кутерьма. Чем-то кончится!». За одно несоответствие этой вынужденной реплики и явного смущенья петербургский фельдъегерь должен был тотчас же арестовать Грибоедова, будь он проницательным следователем... А униженные грибоедовские мольбы за своих опальных друзей — Бестужева и Одоевского, а поиск легкой гибели на фронте и последующее творческое молчание Грибоедова, потому что не пять, а шесть царских петель сомкнулись на рассвете 13 июля 1826 года, и в шестой удавили грибоедовскую музу! И если Пушкин на тридцать восьмом листке своих черновых тетрадей, машинально рисуя декабристскую виселицу, бессознательно и страшно чертил, как пробу пера — «я бы мог... и я бы мог...», какую же смертную тоску должен был испытывать осиротевший Грибоедов, в котором при гениальности этих обеих стихий гражданина, конечно, было больше, чем поэта, в узком значенье этого слова.

Сердцем — в тот пасмурный зимний денек — он был, конечно, вместе с ними, декабристами, на Сенатской площади, хотя умом и сознавал он, что всё это лишь первый, без разящей молнии народного гнева, гром русской весны, что решающая сила жизни даже не у Чацкого, а там, в забоях уральских рудников да в бедных мужицких избах, у лучинушки. Уж он-то крепко знал, что есть идеи, которые можно выразить лишь в массовом народном действии... Впрочем, царь все это уразумел давно, и он не прозевал Грибоедова, но он расправился с ним позже, через посредство сложной системы политических и психологических рычагов. Словом, подлая пуля Дантеса вышла из той же оружейной мастерской, что и клинок Алаяр-хана!

Итак, бывают поэты особого гражданского склада, для которых во всем многоголосом хоре жизни есть лишь одна достойная тема,— с нею прочней всего соединяется душа поэта, почти инертная ко всякому другому реактиву. Они существуют

как две полярные стихии, и если дано им соединиться хоть раз, в этой точке возникает пламенная дуга, как при сближенье электродов. И когда девственно честна душа и химически чиста и жестока правда, такое пламя в состоянии и разрушить проводники тотчас по возникновенье. Но за время кратчайшей этой вспышки человечество или соплеменники успевают разглядеть и уязвимое место зла, и дорогу вперед, и собственные немочи, мешающие его движенью. В этом ряду я поставил бы и Некрасова, и Салтыкова, и милого нашего, ближайшего из учителей, Максима Горького.

Вот так же, в свете грибоедовского факела, высоко поднятого в николаевскую полночь, мыслящая Россия увидела вдруг, что препятствует ей выполнить ее исторические предначертанья. То были — уродливо и внешне усвоенный европеизм, национальный застой, рабская скованность жизни, зубатая крепостническая бюрократия и ночь, ночь, в которой бесшумно, на четвереньках пока, движется Молчалин к своему победоносцевскому креслу. Они плодовиты, Молчалины, и, наверно, крадется он не один, а вся его обширная родня, отравленная близостью к крепостной фамусовской усадьбе, неся впереди себя загребущие руки к России, пока спит и видит во сне свою октябрьскую мечту ее хозяин, исполин-народ... Не от Молчалина ли, кстати, этого Адама подхалимов, пойдут те, кто впоследствии станет душить наш не окрепший еще прогресс, жать кровавый сок из трудового простонародья, вырубать вишневые сады и презирать барским фамусовским презреньем и русского мужика, и русского рабочего, этот многомиллионный домкрат, силой которого, как обетованный остров из хаоса, поднимается новая эра земли с ее новым гуманизмом.

Естественно, что не всем нравилось Горе от ума в ту пору, как и сегодня нравится оно не всем,— значит, еще не выдохлось из него ядовитое лекарство, если и теперь еще трепещут человеко-крысы. О, всегда хватало гадких людишек, которые вдосталь жрали сытный русский хлеб и усмехались на его творца и, втихомолку презирая русскую культуру, с надеждою взирали на «спасительный» Запад, где их удовлетворило бы местечко отельного холуя,— аристократы заграничного ширпотреба, готовые свое первородство сменять на коверкотовые штаны, бутылку вермута или хромированную зажигалку!

В этом направлении много поработала за отчетный срок грибоедовская комедия, могучая книга-труженица, в некотором смысле и воспитательница всех нас. На передовой части всех поколений, чередовавшихся у нас с начала девятнадцатого века, лежит благородный отпечаток этой работы. Она как бы впиталась в разум и чувства наши целиком. Среднеграмотный человек по строчкам знает ее наизусть, и дайте лишь начало мелодии, реплику Лизы — «светает!.. Ах! как скоро ночь минула!», и мы уже вступили в этот старознакомый, немножко музейный, московский дом, где нам известен каждый уголок. Сейчас заиграют нортоновские часы, и выплывет Фамусов в халате, несколько смущенный несвоевременной флейтой Молчалина, потом ворвется Чацкий, и начнется великолепный скандал в благородном семействе всероссийского помещика Николая I.

Создатель Горя был русским человеком, но разные русские бывали на Руси. Грибоедов был умным и справедливым русским, националистические чувствования были чужды ему и никогда не отемняли его светлой любви к России. В этом свете глубоко знаменательна первая же заметка в его записях по Петровской эпохе. Там упоминается об одном, по-тогдашнему говоря, «инородце», который по возвращении из-за границы был пожалован Петром в офицеры, а русский барин его — в матросы; позже этот крепостной раб стал русским контр-адмиралом. Эта маленькая подробность сближает патриотизм Грибоедова с нашим советским патриотизмом, идея которого выражена в нынешнем Союзном гимне.

Множество книг родилось и умерло за это время, но грибоедовская цела, потому что, в отличие от книг, напечатанных на бумаге, эта написана нетерпеливой рукой в благодарной и нетленной памяти народной. Житейские формулы комедии превратились в наши пословицы, ее персонажи стали нарицательными типами, и только Гоголь да Салтыков-Щедрин, великие мастера меткого словца, оставили по себе такие же щедрые словесные россыпи в нашей речи. Влияние грибоедовского языка выходит за пределы одной литературы. Сам Ленин черпал свои полемические образы из этой заветной шкатулки, что всегда стояла под рукой у больших русских людей. И как остро в руках Ленина рассекало вражескую уловку отточенное грибоедовское лезвие.

Вот он призывает «идти своим, революционным путем, не оглядываясь на то, что будет говорить кадетская Марья Алек-

севна», или рекомендует «социал-демократам, которые действительно стоят на стороне революционного пролетариата... поставить вопрос: А судьи кто?».

Стремясь отмежеваться от чуждых явлений политической жизни, он многократно применяет видоизмененную формулу Чацкого — «есть тьма искусников; я не из их числа». Свой разгром многих политических прохвостов он обостряет фразой «шел в комнату, попал в другую». Он иронически отмечает «умеренность и аккуратность» Струве, Бензинга, октябристов, ревизионистов, «эсеровских меньшевиков»... Образы Фамусова и Молчалина, Скалозуба, Лизы и Репетилова — все проходят в статьях и речах Ленина. И если великий вождь в острейшей схватке за грядущее счастье мира пригоршнями берет образы из произведения, как солдат патроны из подсумка, это ли не бессмертье для его автора?

Нам легче говорить сегодня о трагедии одиночества большого критического ума, чем о точных обстоятельствах, при которых зерно горькой тогдашней русской правды упало в душу Грибоедова. Много пробелов в его творческой биографии: как бы в вечерней дымке предстает перед нами этот человек... С тех пор бессчетно созревал этот колос и в свою очередь осеменял почву вокруг себя, с каждым годом расширяя площадь посева... Уже который урожай собираем мы сегодня!.. Умудренные опытом борьбы и победы, стремясь заново постигнуть его высокие сортовые качества, мы благоговейно берем в ладонь горсть из этого урожая.

Мы вспоминаем и сравниваем с другими образцами это полновесное зерно, из которого отцы наши в сложных примесях творили хлеб жизни. Мы оцениваем еще раз его совершенную форму, его классическую прозрачность, его высокую идейную калорийность и, благодарные грибоедовской музе, снова кидаем его назад, в народную ниву, ныне очищенную от фамусовских сорняков и молчалинского плевела.

1945

СУДЬБА ПОЭТА

Есть свойство в человеческой природе: мы привыкаем ко всему, что ежеминутно гордой радостью должно наполнять наше сердце. Великие исторические благодеяния, самые источники жизни нашей мы от рождения принимаем за естественные дары судьбы. Мы привыкли и к солнцу... Но в мыслях отмените его на минуту, и какой холод ринется на ваши души!

Это происходит от преизбытка духовных сокровищ, которых, на протяжении тысячелетья, вдоволь внес в мировую культуру наш честный, трудолюбивый народ. Мы не хвастаемся, мы только напоминаем, что культура есть процесс живой, таинственный и хрупкий, она нуждается не только в поэтах и ученых, но и в солдатах, героях и мучениках. Она, как атолловый остров, где верхнее кольцо прочно покоится на неподвижных нижних. Останови эту жизнь, и вмиг его поглотят ночь и волны... Мы собрались как раз в минуту, когда небывалая буря терзает человеческое море. Вся нечисть преисподней поднялась из бездны, чтобы захлестнуть солнце. Слава народу моему, который ныне, чуждый национального эгоизма, свой новый вклад в дело культуры вносит самой дорогой валютой, кровью лучших своих сынов!

Человеческая культура потому и требует беспрерывного обновленья, что не ослабляют напора стихии; ветвится и множится насущная людская потребность, недостает ей опыта предков, и ветшают знаменитые книги. Все старится, как все течет. От бестелесной символики дантовских терцин до нас дошел как бы барельефный, нуждающийся в обильных примечаниях, портрет эпохи. Не осталось губительных стрел в памфлете Дефо; каждая своевременно впилась в грудь врага, и вот пустым колчаном играют дети. Но нам дороги эти, порою пропыленные страницы, воспоминанья о юноше-

ских днях человечества. И как бы далеко ни ушло оно по пути к своей неистребимой мечте о справедливости, на его горизонте позади вечно будет сиять, как снеговой хребет, гигантский мрамор Илиады. Такова же судьба и блистательного творенья, автора которого мы собрались почтить сегодня.

Есть книги, которые читаются; есть книги, которые изучаются терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце нации. Мой освобожденный народ высоко оценил благородный гнев Горя от ума и, отправляясь в дальний и трудный путь, взял эту книгу с собою... Но великие не нуждаются в лести, и для писателя было бы нечестным в отношении учителя утверждать значение его комедии в том, что образы ее в прежней молодости живут до сегодня. На расстоянии века, полного в нашей стране событий всемирного значения, неминуемо должен был измениться и облик грибоедовского произведения, как изменилось все с тех пор. Не та стала Россия, перешагнувшая историческую пропасть, не та Москва, не те стали мы с вами. Наш нынешний враг коварней и подлей, но скоротечнее его судьба, судьба микроба, замыслившего на прахе богатырей основать свое микробье царство. Есть и теперь свой отпечаток у Москвы, но уже не фамусовской Москвы, музейного собранья французских модниц и вояк, бальных шаркунов и подхалимов, специалистов по дамской части и пламенных, но редких печальников об участи народной,— но Москвы новой, еще неслыханной, первой в мире социалистической столицы и крупнейшего культурного центра. Новый герой, который еще ждет своих Пушкиных и Грибоедовых, народился на Москве, и, сказать правду, далеко до него Чацкому.

По горькому признанью Грибоедова, в одном из вариантов Горя, предки наши привыкли верить с ранних лет, что «ничего нет выше немца». С тех пор мы узнали подлинную направленность «ницшеанской» германской культуры, которая не сумела укротить срамное первобытное зверство своих воспитанников. И что в сравненье с ними наш заслуженно осмеянный, столетней давности толстый барин Фамусов со своим кустарным «забрать бы книги все да сжечь». Десятком Гельмгольцев или Вирховых не искупить один Майданек! Как видите, за этот век мы шли вперед, а они катились назад, и — будем справедливы — движенье их было быстрее нашего!

В стремлении помочь истории мы железом соскребли с ученой нацистской хари дешевую краску ширпотребной цивилизации и вдруг с гадливым презреньем увидели под этим тухлым мифом гестаповца Вепке из Львова, что упражняется на досуге в разрубании десятилетних отроков секирой, двурогой секирой — от темени до паха. Да и самый мир с тех пор стал умнеть, «как посравнить да посмотреть век нынешний и век минувший». Миллионами крестов история отметила ошибки на широких полях, на полях тетради этого плохого ученика. Он неизмеримо ближе теперь к заветному времени, когда, освободясь от последних рабских пут, он сможет без помехи, по слову Чацкого, «вперить в науку ум, жаждущий познаний».

Горе от ума предстает перед нами не в том виде, как оно явилось перед изумленными современниками. Мы отмечаем классические линии совершенной драматургии, словесные богатства, предельное мастерство шахматных ходов,— они видели в ней первую, пока поэтическую программу национального развития. У нас комедия эта вызывает смех,— в них она пробуждала ярость или совесть. Это отличное драматическое произведение, ставшее для нас наравне с Ревизором образцом реалистической комедии нравов, живет сегодня уже вторую молодостью... но пусть и первая молодость наших нынешних книг станет такой же яркой и сильной!

Горе от ума родилось на переломе двух непримиримых эпох, когда Россия и ее нынешняя правда еще не очнулись от оцепенения, но уже истончилась пленка забытья, и обрывки действительности все чаще проникали в сознанье, мешаясь порой с узорами романтических сновидений. Силой исторических обстоятельств, после своих великих дел перед Западной Европой, Россия вынуждена была проходить школу европейских знаний, накопленных там за века монгольского, у нас в стране, владычества. Забывчивый учитель немало и натурой получал за учебу и временами деспотически вмешивался в русскую жизнь. Преувеличенные дозы чисто внешнего европеизма калечили нашу жизнь и парализовали гормоны собственного роста.

Вспомните, всего лет за тридцать до рождения Грибоедова русская академия посылала Вольтеру вместе с уникальными архивными документами шубы из отборных голубых лисиц и, для наглядности, золотые медали русских царей, чтоб написал он для нас историю нашего Петра. Подумать только,

что отсылку этих кладов поручили Ломоносову, нашему северному Леонардо, чей сторукий гений во всех областях искусства и знания оставил по себе следы! Вот пример неуверенности общества в своих национальных силах. Если сопоставить это с судьбой Радищева, также размышлявшего о Петре, наши в таких фаворах не бывали... К слову, труд этот, хоть и на иностранном языке, получился отменно плохой.

Старинный должок из Европы прибывал к нам, естественно, в иноземной духовной упаковке, к тому же дул оттуда благодетельный освободительный ветерок,— все это накладывало властную, иногда сковывающую печать на весь строй жизни нашей дворянской верхушки, безмерно удаляя ее от подавленной, черной крестьянской массы. Все помнят, что один из искреннейших друзей Грибоедова ставил ему в заслугу, что он х о р о ш о говорит по-русски: знать изъяснялась на иностранных диалектах, чтоб народ не мог прочесть ее мысли... Русским людям необходимо было, отвергнув дух «пустого, рабского, слепого подражанья», критически отнестись к импорту цивилизации,— им следовало своим умом и самостоятельно выработать характер своих законов и учреждений, применительно к самым основным, непоколебимым особенностям народа и его истории. Нужно было очистить нашу жизнь от золоченой шелухи иностранных влияний и благородным металлом искусства пробурить ее до творческих недр народа, откуда сами собою забьют ключи сказочной живой воды.

Стихийно это понимал и сам народ. Как раз в эту пору, осознав опасность иноземного вторжения, народ русский лавиной, по-львиному ринулся через всю Европу. Но могучие руки, придавившие Наполеона в его берлоге, не смогли порвать николаевские цепи. Не было ни плана, ни вожаков; были только порох без пушек да песня без слов. Российская словесность, в меру сил и пока без широкого охвата, отражала действительность верхнего слоя: не было в этой словесности громового, после Радищева, голоса, способного пробудить страну и язык русский от затянувшейся национальной немоты. Страна томительно ждала Пушкина и, может быть, в особенности,— Грибоедова.

Он пришел из той самой среды дворянства, которое ему предстояло осудить и на которое опирался первый верховный помещик империи. Грибоедов хорошо знал это сословие, только его и знал он; даже из окна фамусовского дома не видна подъяремная, нищая Россия. У автора Г о р я не было своей Ари-

ны Родионовны. Грибоедовская комедия оказалась миной могучей взрывной силы и многократного действия, заложенной в фундамент крепостнического общества,— в наши военные дни это солдатское сравненье есть высшая хвала поэту. Естественно, что значение и место ее в русской жизни сразу угадали николаевские миноискатели. Перед читателем народным она появилась лишь годы спустя, когда Грибоедова уже закопали на горе Давида, над городом, который он так любил. Первый полный текст ее появился лишь почти сорок лет спустя — вот как о н и боялись Грибоедова!

Первый тираж Г о р я был размножен не на типографских станках, но руками патриотов, и можно представить, как обжигали сердце эти рукописные листки, как взрывалось впоследствии на сцене это глубоко поэтическое и словесно даже сдержанное произведение. Злое пламя грибоедовского сарказма ворвалось в сотни помещичьих гостиных в тот момент, когда, опочив от недавних военных трудов, Фамусовы благодушествовали со своим Сергеем Сергеевичем. Страшный зверообразный лик глянул на них со страниц комедии, и вот одни плевались в это правдивое зеркало, другие виновато опускали глаза, потому что узнавали себя и присных своих.

Одновременно с ликованием друзей, как черные клубы дыма, поднялись ябеда, брань, клевета, доносы и сама всемогущая зависть, это подпольное восхищение неудачников. По разноречивым взволнованным отзывам современников можно судить о силе удара. И сам Белинский дрогнул: умея даже ошибаться страстно, этот человек вначале с т р а с т н о не понял Чацкого.

То была суматоха крупнейшего общественного скандала. Комедию тем яростней терзали цензоры, чем громче рукоплескала ей прогрессивная часть обеих столиц,— ее взвешивали на весах трех классических единств, и все стремились определить, кто же он таков, господин Чацкий, осмелившийся поджечь уютный и гостеприимный фамусовский дом, и кто надоумил его на этот неблаговидный поступок? На протяжении десятилетий дотошные литературные следователи искали в мировой литературе его родню и сообщников, придирались к похожим ситуациям и строчкам и выяснили под конец, что он пошел от мольеровского Альцеста и Демокрита из виландовских А б д е р и т я н, от вольтеровского Танкреда и грессетовского Клеона, от шекспировских — двух сразу — Тимона Афинского и Гамлета, от шиллеровского маркиза Позы и дан-

куровского — черт знает кого!.. Плохая критика всегда предпочитает подбирать старые готовые ярлыки, нежели искать новые обозначения явлений, на что приходится тратить, конечно, бесценные соки спинно-головного мозга. Более серьезных критиков занимало, чего больше в Чацком — и, следовательно, в духовном отце его, Грибоедове,— славянофила или декабриста, либерала или патриота.

Для нас, нынешних, Чацкий был прежде всего русским человеком, осознавшим не только свою национальную самостоятельность, но и ее высокие нравственные задачи. Это был молодой русский человек, как мы являемся сегодня, вне зависимости от возраста, молодыми советскими людьми: человеческий прогресс всегда был двигателем, горючим которому служит молодость. Горе не было для России ни набатом, ни сигналом боевой трубы, по которому на богатырскую схватку с народной бедою встают исполины родной земли... Но кто решится потребовать большего от этих зачинателей и одиночек? Герцену было двенадцать, когда появилось Горе. Чернышевский родится пять лет спустя, и почти астрономическое, в полвека, расстояние отделяет эту эпоху от Ленина. Горе от ума было криком среди полной ночи,— криком, что гадко и подло жить в обществе, где людей меняют на собак и где стыдятся назвать себя русскими из опасения смешаться с народом.

Успех этой комедии широчайшего общественного анализа был бы немыслим, если бы идейным качествам не соответствовали такие же литературные достоинства. Ее сценическая архитектура совершенна. Она исполнена отличным, крыловского басенного склада и пушкинской выразительности стихом. Такой краткости, когда портрет рисуется с полуреплики, у нас не достигал почти никто. Мы с детства прибегаем к формулировкам этой комедии для определения разнообразных житейских положений. Сам Ленин неоднократно пользовался разящим грибоедовским словом в знаменитых битвах со своими политическими противниками.

Значение гениального произведения проступает по мере того, как проверяется годами его обширная в родной почве корневая система. И если ни ленивое забвенье потомков, ни бури века не могут заглушить его, и свежие отпрыски бегут от ствола, и молодость сбирается, как сегодня, под его старые ветви,— такое произведение само повышает уровень родного искусства, оно способно старым своим испытанным хмелем

будоражить новые, еще не созревшие идеи, с его вершин открываются более широкие горизонты национального бытия. Пусть множится в наших мальчишках задиристый и увлекающий вперед патриотизм Чацкого! О, если бы не было своевременно Чацких у нас, где коротали бы мы этот вечер? Может быть, на краю света в дымных чумах, и огарок стеариновой свечи казался б нам чудом цивилизации!

За минувшие сто лет эта книга впитывалась в кровь и разум воспитанных ею поколений. За малым исключением, на ней пробовали зрелость мысли все русские писатели. Сотни прославленных наших актеров и критиков, художников и режиссеров прикладывали к ней, как к святыне, свои толкование и мастерство, которые становились тоньше и глубже, превращаясь во всесветно знаменитое волшебство нашего искусства. Оно учило вражде к национальному застою, презрению к социальным порокам, гадливости к любой душевной грязи. Со школьной скамьи нас обжигала эта честная, без униженности и лести, преданность России; русское Грибоедов любил беззаветной, беспамятной любовью, и даже наивная его привязанность к старой русской одежде имеет особое место в его духовной биографии. Вот он возвращается осенью 1819 года из Тавриза, и пыльный отряд его шагает рядом и поет песню: «Солдатская душечка, задушевный друг...», и слезы навертываются на глаза Грибоедова: родина!

Но старый ворон, любитель мертвой кости, Аракчеев тоже был русский и, может быть, тоже любил ее по-своему — как вкусное питательное блюдо. Иезуитская штучка Ростопчин также родился в России. Шишков, президент николаевской академии, провозгласивший школы очагами разврата, был тоже русский, сам архимандрит Фотий, обязанный Пушкину своей посмертной славой, не принял бы его за и н о р о д ц а. Но в то время как эти реакционные современники и даже поэты содрогались перед словом н а р о д или пользовались им ради легкой рифмы, стремились заковать его в живописный и ржавый панцирь прошлого, Грибоедов, подобно декабристам, в русской старине и в наследии предков искал прежде всего величия и доблести духа как примеров для подвигов в настоящем.

Так, значит, разная бывает любовь к родине: иная заключается в том, чтобы не допустить ее до творческих мук возрождения, которые ей исторически необходимо пережить. Значит, та любовь прогрессивна, что ведет нацию вперед, а не

цепляется плачевно за ноги, волоча назад в девственную древность, где ее одолеет любой трехнедельный удалец, искатель легкой добычи. И как Грибоедов воевал против тех, кто хотел, «чтобы отечество наше оставалось в вечном младенчестве»!

Представляет особый интерес бегло пробежать по рабочим тетрадям Грибоедова, порою — распаханным творческим полям, куда оставалось лишь бросить семена сюжета. Как пример целеустремленности автора стоит напомнить замысел драмы 1812-й год, где ополченец-крепостной, совершив в войне все надлежащее герою, возвращается под палку господина и накладывает на себя руки. Грибоедовские записки и путевые заметки дают право заключить о глубине его познаний. Помимо литературных произведений, он оставил нам и критические статьи, и музыкальные сочинения, и государственные проекты. Он говорил, что совестно читать Шекспира в переводе. Но, кроме английского и персидского, необходимого ему по его дипломатической работе, он свободно владел другими главнейшими европейскими языками, читал по-латыни, изучал арабский и санскритский, а по-турецки занимался с Муравьевым-Карским, самым недобрым из всех, оставивших воспоминания о Грибоедове. Образованнейший человек века, он собственным примером подтверждал свою приписку в письме к Шаховскому — «чем просвещеннее человек, тем полезнее он отечеству». Он как бы говорит нам, своим литературным наследникам,— «вы, нынешние, ну-тка!».

Попробуем нарисовать, как он представляется нам сквозь дымку почти полутора столетий. В год его смерти наш великолепный гравер Уткин сделал по рисунку Ривароля портрет Грибоедова. Мне кажется, что этот простой, тонированный серым гравюрный лист более соответствует облику писателя, чем раскрашенный впоследствии Крамским борелевский рисунок. Александр Сергеевич Грибоедов освещен здесь слабым, как бы темничным светом тогдашней России. В очках, с пристальным взором исследователя — не на литератора похож он, а скорее на врача, стоящего у изголовья России. К этой поре относится его признанье Бегичеву: «Комедии я больше не напишу, веселость моя исчезла». По отзывам современников, обворожительный собеседник, он был опасный противник в споре. Холодное и меткое остроумие уживалось с отзывчивым, даже чувствительным сердцем,— и вот мы приближаемся к главному, что предстоит выяснить нам. В 1823 году он жа-

луется Кюхельбекеру на душу свою: «Для нее ничего нет чужого,— страдает болезнию близкого, кипит при слухе о чьем-нибудь бедствии». Кроме близких, об этом не подозревал никто. Внешне он был всегда замкнут, как раковина. И, может быть, поэтому в ней вызрела лишь одна *такая* жемчужина.

За пятнадцать лет он написал около тридцати произведений, некоторые — в сообществе с талантливыми друзьями. В ту пору этот вид деятельности вряд ли сам он считал для себя главнейшим. На стихах его часто лежит печать пресловутого шишковского корнесловия. В драме *1812-й год* наравне с живыми должны были действовать некоторые «усопшие исполины», а в *Грузинской ночи*, последнем даре грибоедовской музы, также тайные духи производят всякие сомнительные поступки. Петербургские друзья, захлебываясь, твердили автору, что *Горе* только разбег к этому гениальному творению, но сам Грибоедов молчал, понимая, что они аплодировали не литературе, а Анне 2-й степени с алмазами, что украшала к тому времени грудь поэта. Так случается иногда с друзьями.

Горе от ума, как гора, возвышается над остальным наследием Грибоедова. Не будь его, в примечании к истории литературы было бы кратко сказано, что Грибоедов был выдающийся русский дипломат, который в молодости не чуждался поэзии. То был писатель одной темы, однолюб, человек, горевший в одно пламя, как родятся люди об одной ране в душе, вне зависимости — ранена она мечтой, любовью или другим смертельным недугом... Пушкин со своей плеядой — как веселое созвездие ворвался в темное небо николаевской зимы; Грибоедов вошел как бы в сумерках, сквозь них не различить какие-то самые существенные черты его биографии, и оттого каждый волен по-своему заполнять эти пробелы.

Думается, некая ужасная подробность, какими изобиловали будни крепостнической семьи, в раннем детстве хлестнула по чуткому сердцу мальчика Александра. И ничто впоследствии — ни гусарские развлеченья, ни целительная тишина гор Кавказских — не могло заживить эту мимолетную царапину. Может быть, это случилось по выходе из армии, в один из приездов в Москву. Как нам известно, близ этого времени мать его, костромская помещица, очень нехорошо поступила со своими крепостными рабами. Неспроста лучшее,

что исходило из-под грибоедовского пера, включая гордое, почти пушкинское:

Покорный времени и вкусу,
Я презираю слово *раб,*—
Меня и взяли... в главный штаб —
И потянули к Иисусу,—

относится к этой теме. Значит, лишь одна мелодия его души, как таинственный нектар, привлекала его музу,— не потому, что была капризна или жалостлива, а потому, что была умна. Может быть, глубже своих современников Грибоедов видел, насколько крепостные цепи мешают России осуществить ее исторические предначертанья. Все, включая Пушкина и помянутого Муравьева-Карского, отмечали выдающийся ум Грибоедова.

О всяком авторе одной знаменитой книги можно написать книгу столь же знаменитую. Создатель единственного и вполне зрелого произведения сам по себе является литературной проблемой. Не по поводу ли отсутствия такой книги и сказал Пушкин, встретив мертвого Грибоедова на перевале: «Мы ленивы и нелюбопытны...» Личная трагедия Грибоедова заключалась в силе его прогрессивного ума, вынужденного прятаться в «уединенья уголок». Если Пушкин писал жене: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом»,— Грибоедов сказал бы — «с талантом и умом». Мне кажется, Пушкину было легче: он целиком растворялся в поэтической стихии, он был как Мидас — все обращалось в золото, к чему ни прикасалось его перо. Не кастальских источников, не легкого хмеля поэзии, но черного хлеба насущной жизни искала грибоедовская муза. Взрывчатый ум одного стоил пленительной души другого. В этом заключалась их разница — при гениальности обеих этих стихий. Оба Александры Сергеичи, они стояли во главе века, оба имели лучших друзей среди декабристов, оба были нужны им, как порох и песня.

Ленин привел блистательную герценовскую характеристику декабристов. Это «богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение». История их известна, но не дошли до нас документы, рисующие степень участия Грибоедова в заговоре. Бумага любит гореть, и верно — черный снег реял над русскими столицами в тот памятный зимний денек, как царь с коня крикнул России: «На колени!»

Уже у Рылеева слышатся нотки обреченности, но лишь Грибоедов понимал, что «радикальные потребны тут лекарства» и не словесным горчичником Чацкого можно растопить вековой лед России. Романтика оторвала этих благородных и смелых русских людей, декабристов, от земли, и отлилась от них Антеева сила. Даже языка общего не было у них с народом. Обращения к войскам они подписывали словами — «единоземец», «любитель отечества», «сострадатель несчастным», до обидности переводные, не народные слова. Стоит только представить Чацкого в роли агитатора в чадной вологодской избе, у лучинушки, где бабки наши ткали километры холста на местную Салтычиху!

Отсюда рождаются молчание и задумчивость Грибоедова после написания Горя. В самом деле, не смерть же Шереметева на дуэли так повлияла на него, как говорят современники,— того самого Шереметева, что жил как трутень, лез в драку, как комар, и помер безболезненно, как муха. В эту пору Грибоедов тревожно чувствует движенье времени. Фигуры уже расставлены для неравной игры, и скоро умрет император Александр в Таганроге, и уже свита та длинная веревка, которую палач разрежет на пять братских кусков. Вот фразы из его писем того периода: «Мне невесело, скучно, отвратительно, несносно!.. ожидают от меня, чего я, может быть, не в силах исполнить... Пора умереть. Не знаю, отчего это так долго тянется... Подай совет, чем мне избавить себя от сумасшествия или пистолета...» И правда, зачем ему нужно впоследствии гулять под турецкими пулями, о чем Паскевич сообщал его матери, или выдержать на себе сотню выстрелов вражеских батарей?.. Его сомненья оправдались: народ, который, держа топор в одной руке, пятьюдесятью миллионами других рук мог бы по песчинке разнести Зимний дворец,— этот народ безмолвствовал на рассвете 13 июля 1826 года. Он не знал.

И тогда родились у Грибоедова эти горькие, разочарованные строки: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие... конечно бы заключил из резкой противуположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

Всю последующую жизнь Грибоедов помнил глаза товарищей, уходивших в атаку. Молчал и помнил, как помнил и

молчал Николай. Царю неинтересно было, стояло ли имя Грибоедова в декабристских списках, ему важнее было знать, где находился бы поэт, если бы дворцовый переворот осуществился. Убить Грибоедова, как и Пушкина, сразу он не посмел: негоже русскому царю на глазах у россиян отнимать русских гениев у России. Но он заковал его в чины и ордена и сослал его в таком виде. Только эта вторая поездка в Персию, в которой писатель трагически предвидел свой конец, была особой ссылкой, когда ссыльный является начальником собственного конвоя. К прежней грибоедовской маске сдержанности присоединилась сановная солидность, даже грозность в дипломатических переговорах... Но как униженно и напрасно молит он Паскевича об опальных друзьях, припадая к генеральской руке. Последняя вспышка, дружба века!.. Муза его молчит, он нем, как гроб, по его признанью. «Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить»,— вот последняя, не разгаданная Булгариным, самая злая фраза его жизни. Здесь начинается другой Грибоедов, мудрый дипломат и государственный деятель, каких, на наше счастье, немало было у России.

Он уже «не похож на себя на прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже». Живи он еще сотню лет, он написал бы лишь улучшенную редакцию Горя,— улучшенную в отношении Софьи, в которую было несправедливо брошено столько камней, включая пушкинский,— Софью, ровесницу Татьяны Лариной, Наташи Ростовой и русских женщин Некрасова!.. Пламя еще не ушло из сердца, но теперь оно будет теплиться долго, терпеливо, экономно. Когда звезда гаснет, на ней рождаются цветы и дети. Хлопоча за свойственника перед Паскевичем, он прячется в свою же фразу — «как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не порадеть родному человечку». Что ж, пора бы «дальше речь завести о генеральше!». И вот он стоит под венцом с Ниной, дочерью знаменитого грузинского писателя Чавчавадзе. Ее детская любовь была самым дорогим венком в его прижизненной неполной славе. Спасибо Грузии, спасибо Нине за нашего Грибоедова. Отсюда пошла старинная кровная связь литератур грузинской и русской! Потом отъезд. На границе его встречает чума... Четыре месяца спустя история рукой убийц опускает занавес над этим сверкающим явлением русской мысли.

Затем Грибоедов возвращается на родину. И вот как возвращается на родину Грибоедов: «Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровож-

дали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис». Во всей мировой литературе нет для нас строк печальней этих, пушкинских. Без слез нельзя себе представить обстоятельства последнего свиданья поэта с Ниной — как шумело пламя факелов, царапая обступившую ночь, как билась при этом на длинном черном ящике грузинская девочка-вдова, русская женщина Нина Грибоедова.

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской»,— начертала она на могильном камне мужа.

Все ищут своего счастья в мире. Грибоедов пренебрег им. В эпохи, когда открываются новые горизонты, ум и маленькое обывательское счастье несовместимы. Гений живет дальше пределов, до которых может дотянуться его рука. Его единственное удовлетворение — в сознании выполненного долга... Но если, по его примеру, долг этот выполняется одновременно всем народом и нет в его организме ни одной ненапряженной мышцы, как в разуме — праздной мысли, тогда иное, великанское, коллективное счастье нисходит в эту благословенную страну. Вот вражеское железо коснулось нашего сердца, и пламя рванулось из раны — и горе тому, кто встал на его пути! Оглянитесь на себя: победная гордость, которая ныне живет в вас, не должна ли она стать оболочкой истинного счастья?

Привычные ко всему, мы забываем, что деяния великих, как паруса, ведут наш корабль вперед. И только на грозном ветру испытаний мы постигаем, что означала бы для нас их утрата. Так было с нами, в черную осень 1941 года, когда с предельной остротой, родившей наши зрелость и могущество, мы поняли, что значит для нас Москва, революция, культура. Мы привыкли к мысли, что есть у нас Грибоедов, и мир привык, что от века была щедра на гениев наша земля.

Но близок день, когда человечество по-новому взглянет на историю русской мысли. Оно захочет узнать, откуда же взялась освободительная сила людей, которые избавили его от смертельнейшего из недугов. Благодарное и изумленное, закинув голову, оно еще раз вглядится в лица литературных корифеев наших, освещенные зарей нового утра. И тогда все, что есть честного в мире, земно поклонится вам, духовные предки советского солдата, который нынче собственной кровью намечает дорогу честнейшему социалистическому гуманизму!

1945

УТРО ПОБЕДЫ

Германия рассечена. Зло локализовано. Война подыхает.

Она подыхает в том самом немецком рейхе, который выпустил ее на погибель мира. Она корчится и в муках грызет чрево, ее породившее. Нет зрелища срамней и поучительней: дочь пожирает родную мать. Это — возмездие.

Почти полтора десятка лет сряду германские империалисты растили гигантскую человеко-жабу, фашизм. Над ней шептали тысячелетние заклинанья, ей холили когти, поили до отвала соками прусской души. Когда жаба подросла, ее вывели из норы на белый вольный свет. В полной тишине она обвела мутным зраком затихшие пространства Центральной Европы. О, у ада взор человечней и мягче! Было и тогда еще не поздно придушить гаденка: четыре миллиарда людских рук горы расплющат объединясь. Случилось иначе. Вдовы и сироты до гроба будут помнить имя проклятого баварского города, где малодушные пали на колени перед скотской гордыней фашизма.

Сытый, лоснящийся после первых удач, зверь стоял посреди сплошной кровавой лужи, что растекалась на месте нарядных, благоустроенных государств. Он высматривал очередную жертву. Вдруг он обернулся на восток и ринулся во глубину России — оплота добра и правды на земле... Как бы привиденья с Брокена двинулись по нашей равнине, не щадя ни красоты наших городов, ни древности святынь, ни даже невинности малюток,— самые избы, цветы и рощи наши казнили они огнем лишь за то, что это славянское, русское, советское добро. Плохо пришлось бы нам, кабы не песенная живая вода нашей веры в свое историческое призвание.

Перед последней атакой, когда в орудийные прицелы с обеих сторон уже видно содрогающееся сердце фашистской Германии, полезно припомнить и весь ход войны. Мои современники помнят первый истошный вопль зверя, когда наши смельчаки вырвали из него пробный клок мяса под Москвой. Они не забыли также и легендарный бой на Волге, о каждом дне которого будет написана книга, подобная Илиаде. Эта священная русская река стала тогда заветной жилочкой человечества, перекусив которую зверь стал бы почти непобедимым. С дырой в боку, он был еще свеж, нахрапист, прочен; боль удесятеряла его ярость, он скакал и бесновался; когда он поднялся на дыбки для решающего прыжка — через оазисы Казахстана — в райские дебри Индии, Россия вогнала ему под вздох, туго, как в ножны, рогатину своей старинной доблести и непревзойденной военной техники. Хотя до рассвета было еще далеко, человечество впервые улыбнулось сквозь слезы... О дальнейшем, как мы преследовали и клочили подбитую гадину, пространно доскажет история.

Нам было тяжко. Наши братья качались в петлях над Одером; наши сестры и невесты горше Ярославен плакали в немецком полоне,— мы дрались в полную ярость. Мы не смели умирать; весь народ, от первого маршала до бойца, от наркома до курьерши, понимал, какая ночь наступит на земле, если мы не устоим. Даже на обычную честную усталость, какую знает и железо, не имели мы права. О, неизвестно, в каком из океанов — или во всех четырех сразу! — отражалась бы сейчас морда зверя с квадратными усиками и юркими рысьими ноздрями, если бы хоть на мгновение мы усомнились в победе. Все это не похвальба. Никто не сможет отнять величие подвига у наших бескорыстных героев, ничего не требующих за свой неоплатный смертный труд — кроме справедливости. Мы поднимаем голос лишь потому, что, к стыду человеческой породы, кое-кто в зарубежных подворотнях уже высовывает шершавый свой язык на защиту палачей.

Из безопасных убежищ они смотрят в предсмертные потемки Германии и в каждой мелочи с содроганием видят приближение собственного скорого и неизбежного конца. Грабленое золото, горючее для будущих злодейств, уже перекачивается в надежные нейтральные тайники; уже гаулейтеры примеряют на себя перед зеркалом вдовьи рожи; вчерашние упыри репетируют вполголоса лебединые арии под названием «гитлеркапут». Наверно, в эту самую минуту где-нибудь в сте-

рильном подземелье придворные мастера пластических операций перекраивают под местной анестезией личности Адольфа Гитлера и его портативной говорильной обезьянки, душки Риббентропа, и долговязого трупоеда Гиммлера. Мы отлично понимаем, что обозначает *сердечное заболевание* Германа Геринга, но трудновато будет выкроить из этого борова даже среднего качества мадонну! Им очень желательно ускользнуть неузнанными от судей... Вряд ли все эти эрзац-человеки, ненавидимые даже в собственной стране, сами и добровольно уйдут из жизни. Нет, этим далеко даже до ихнего Фридриха, который после успехов конфедерации лишь пытался наложить на себя руки. Этих придется вешать... Но до самой удавки они будут рассчитывать, что найдется бесчестный или ротозей, который выронит из своих уст слово *пощада*, если поскулить поплачевней. Вот ход их мыслей: «Ну, и побьют немножко для приличия, даже посекут публично на глазах у Германии, крепко — до вывиха в шее — дадут разок-другой по сусалам, даже могут непоправимо попортить внешность... и отпустят. Э, дескать, нам с лица не воду пить, а при наличии капиталов можно существовать и с несколько несимметричной наружностью...»

Здесь требуется грубое слово, суровое и разящее, как взгляд солдата, что дерется сейчас за разум, честь и красоту на пылающих развалинах Унтер-ден-Линден. Неудивительно видеть в кучке непрошеных добряков и плакальщиков такое лающее четвероногое, как журналист Ялчин. Есть такие преданные псы, что скулят и грызутся, когда секут их хозяина: помнит собачья душонка сладкий кусок мясца!.. Понятны также причины, по каким забыл про Ковентри и Лондон семидесятилетний Брейльсфорд, предлагавший лечить гестаповцев настоем из маргариток и путешествиями по святым местам. И вообще-то слаб человек, а этот вдобавок женился недавно на молодой и сочной фрау, служебные номер и кличка которой нам пока неизвестны. Не мудрено, равным образом, найти объяснение и знаменитому милосердию некоторых пожилых великосветских дам, вчерашних патронесс общества «противников вивисекции» — сегодняшних опекунш в отношении безусых элегантных садистов, этих выродков с пузырчатыми водянистыми капсулами вместо глаз. Бессильные сами бороться со злом или в надежде на будущие услуги от него, они вышибают честный штык из рук солдата, хватают за ноги бегущего в последнюю атаку, и вот он падает с дыркой во лбу, защитник

угнетенных и гордость своей родины. Пожалуй бы, не стоило упоминать об этих сомнительных друзьях культуры. Она для них лишь бизнес, и как бизнес она процветает. И если бы Гитлеру удалось наконец истребить полностью весь род людской, они скорбели бы лишь об утрате столь обширного покупательского контингента. Пусть! Даже когда отомрет звериный хвост у человечества, все же останутся в порах земли микробы и алчности, и недоумия, и похоти... Планету не вскипятишь! Но в этой толпе доброхотных пахарей милосердия выделяется своей патриархальной сединой сам римский первосвященник... только этот работает втихую! Видимо, какая-то малоизвестная заповедь или догмат руководят поступками святейшего отца. Ввиду того, что, по слову Григория Великого, папа есть не только «консул всетворца», но и «раб рабов божьих», мы обращаемся к нему с простодушной просьбой рассказать вслух, на виду у всего христианского мира, как он вступился за наших братьев и сестер, когда их пришивали пулеметными очередями к мерзлой земле, травили «циклоном», оскопляли в застенках, пластовали и выкачивали кровь на мраморных столах, закапывали живьем, распинали, истребляли голодом и сумасшествием, изготовляли из них удобрение для мавританских лужаек, кроили абажуры и подтяжки из их еще неостылой кожи. Пусть он покажет детям земли гневные буллы к своему подопечному в Берлин, чтобы тот пощадил хотя бы крошек, которых так любил Иисус!

Их нет, мы не нашли таких посланий в гестаповских канцеляриях, где еще не просохла безвинная кровь. Зачем же вы так нехорошо молчите, ваше святейшество? Может быть, вы не верите в злодеяния нацистов на православной Украине и в католической Польше? Ведь чужие слезы всегда такие неслышные и, вдобавок пройдя через тончайшие фильтры просвещенного скептицизма, достигают, наверно, вашей совести в виде дистиллированной воды. Конечно, вы пребываете в безмолвии мудрости, и самая осиротевшая мать не докричится до вашего горнего уединения. Тогда посетите места, где свирепствовала гитлеровская орда. Я сам, как Вергилий, проведу вас по кругам Майданека и Бабьего Яра, у которых плачут и бывалые солдаты, поправшие смерть под Сталинградом и у Киева. Вложите апостолические персты в раны моего народа, и если только с приятием чина ангельского вы не утра-

тили облика человеческого, то — подобно Петру, подъявшему свой меч на негодяев, пришедших за Иисусом,— вы поднимете свой посох, как палку, на злодеев, худших, чем даже ваши предшественники, хотя бы — мрачный убийца Балтазар Косса, осрамивший лик человеческий в качестве Иоанна XXIII, или тот Иоанн XII, что пил в своем гареме за здоровье дьявола, или знаменитый дон Родриго Боржиа, которого прокляли Рим и мир под именем Александра VI.

Ах, папа, папа, загадочный пастырь, охраняющий волков от овец! Не бойтесь за Германию. Мы могли бы считать, что после содеянного ею на Востоке нам позволено все, но мы пришли туда не затем, чтоб убивать женщин и детей, а чтоб уничтожить воинствующую хамскую мечту о порабощении народов чужого языка и расы. Даже не ради мщенья, а в целях санитарной профилактики мы обойдем с оружием эту преступную страну. Нам нет нужды истреблять всех немецких дураков, поверивших своему ефрейтору, будто германская кровь дороже французской, негритянской или еврейской... Утешьте же обреченных фашистских главарей, ваше святейшество, обещаньем райского блаженства после петли, а потом, когда свершится правосудие, молитесь за них, сообразно вашему досугу,— за смирных и безопасных, навеки сомкнувших свои вурдалачьи окровавленные уста!

Нет, не помилуем, не отпустим, не простим. Не предадим наших великих мертвецов. Гадкий спектакль фашизма кончается, и освистанным балаганщикам не помогут теперь ни молитвенные воздыханья, ни дамское заступничество, ни купеческая доброта ко всемогущему злу, доставляющему дивиденды. Мы распознáем их в любом обличье, обшарим горы, подымем каждую песчинку в захолустьях далеких материков. И если только былое отчаянье не выжгло чувства чести у людей, они не помилуют ни дворца, ни хижины, где застигнут притихших перелицованных беглецов, обуглят самую землю, давшую им пристанище. Только так возможно обезвредить все, чем они еще грозятся будущим поколеньям, испуская дух. Только беспощадностью к злодейству измеряется степень любви к людям. Да здравствует жалость, жалость неподкупных судей, жалость к тем, которые еще не родились!

Наступает желанная минута, ради которой мы четыре года бестрепетно принимали лишенья, тревоги, горечь неминуемых

потерь. Борьба продолжается, предстоит еще добить врага, но уже неправедная немецкая земля под сапогами нашими. Это утро, и скоро день... Завтра, впервые за много лет, воины без опаски разведут костры на привалах. Грянул громовой капут тысячелетней бредовой немецкой мечте о надмирном владычестве... Потом пепел, смрад и вздыбленный прах медленно осядут на остывающие камни Германии, и тогда для человечества наступит слепительный полдень, который пусть никогда уже не сменится ночью! Какое отличное утро смотрит нам в лицо; как красивы и праздничны даже эти дымящиеся, с красными флагами пламени, берлинские развалины — в час, когда в них вступает Свобода!

Совесть в нас чиста. Потомки не упрекнут нас в равнодушии к их жребию. Вы хорошо поработали, труженики добра и правды, которых фашизм хотел обратить не в данников, не в рабов, даже не в безгласный человеко-скот, но в навозный компост для нацистского огорода... Слава вам, повелители боя, сколько бы звезд ни украшало ваши плечи; слава матерям, вас родившим, слава избам, которые огласил ваш первый детский крик; слава лесным тропкам, по которым бегали в детстве ваши босые ножки; слава бескрайним нивам, взрастившим ваш честный хлеб; слава чистому небу, что свободно неслось в юности над головами вашими!.. Живи вечно, мой исполинский народ, ликуй в близкий теперь день торжества великой правды, о которой в кандалах, задолго до Октября, мечтали твои отцы и деды.

Мы победили потому, что добра мы хотели еще сильнее, чем враги наши хотели зла. Германия расплачивается за черный грех алчности, в который вовлекли ее фюрер и его орава. Они сделали ее своим стойлом, харчевней для жратвы, притоном для демагогического блуда, станком для экзекуций, плацпарадом для маньякальных шествий... Злую судьбу на многие века готовили они Европе и миру. Тогда мы хлынули на эту страну, как море, и вот она лежит на боку, битая, раскорякая, обезумевшая.

Мы расплачиваемся с ней вполгнева, иначе один лишь ветер ночной плакал бы теперь на ее голых отмелях. Громадна сила наша — по широте нашей страны, по глубине наших социальных стремлений, по могуществу индустрии нашей, по величию нашего духа. История не могла поступить иначе. Наше дело правое. Мы сказали. Слово наше крепко. Аминь.

1945

ВЕСНА НАРОДОВ

Кончилась затянувшаяся зима. Священная весна с ее дарами проходит по земле. Пускай пока не в полную силу — во всем сквозит ее улыбка. С каждой минутой праздничней становится на сердце, и молодеют даже старые камни на растемненных московских улицах. Вот она, отвоеванная и возвращенная молодость!

Еще вихрятся черные дымы боя, а лязг сражающегося железа глушит все остальные звуки в мире, но почему же мы различаем в них и осмелевший детский смех, и первые, еще робкие одуванчики по скатам снарядных воронок? Не потому ли, что все на земле слилось в единое ликованье непобедимой жизни и раскаленные зевы наших пушек славят своими басами одну ее, освободительную весну?

Через много весен прошли старшее и юное поколенья советских отцов и детей, которые создавали наше нынешнее величие. Каждая из них была новым, незабываемым шагом к осуществлению мечты, но этот Первомай неизмеримо значительнее прочих. Он выводит нас как бы на вершину горы, откуда виден весь лежащий как на карте необъятный мир, его долины и реки, движение людских племен и, наконец, самая поступь истории. Отсюда мы постигаем подвиг гения, начертавшего план великих строек. Окинем же взором все то, что вчера было доступно лишь предвиденью вождя, а сегодня стало достояньем народа...

Теплый ветер изобилия и плодородия дует нам в грудь, а по нагорьям внизу теснятся толпы новоприобретенных друзей, завтрашних братьев и соратников в устроении земных судеб. В громадном утреннем небе тают и плывут последние, разъятые на части, призраки ночи, похожие то на обмякшую тушу Муссолини, то на что-то еще более гнусное, чьим име-

нем не надо сквернить блеск этой первомайской страницы. Кажется, минуло лютое сновиденье, терзавшее мир последнее десятилетье...

Нет, не сновиденье! Столбовая дорога побед от Сталинграда до Берлина — не сновиденье, как не во сне были пролиты кровь на фронтах и пот в бескрайнем всеармейском тылу. Не сном были наши разлуки и потери, о которых мы вспоминаем со стиснутыми зубами. Фашизм — тоже не сон, и не сон — братские могилы, где закопаны наши милые и скромные, такие веселые и молодые. О, если бы был услышан в самом начале наш предостерегающий голос, из них могли бы быть созданы армии строителей и творцов, способных стократ умножить благоденствие планеты. Оно было отвергнуто, бескорыстное слово разума, и вот — щебяная окрошка из отличных столиц, погасшие заводы, где могла бы изготовляться материальная одежда духа и мысли, и, наконец, тысячи бездонно емких кладбищ, эти поселения мертвых, числом которых измеряется вся низость мюнхенского преступленья.

Для разумного эта весна — не просто воскрешение скованной природы, звонкий месяц молодости, май; она есть весна народов, потрясенных и оскорбленных фашизмом в своем человеческом достоинстве. Таким образом, великая премудрость опыта разлита в самом воздухе первомайского полдня, и горе той стране, которая не допустит ее в себя!.. Богата дарами эта весна, но никто не подносил их нам на блюде, мы сами добыли их из кромешной тьмы, сами творили их совместно с ярким солнцем и уже настолько постигли их устройство, чтобы стать мастерами собственного счастья. Бедна в часы ликованья наша речь: нет в ней достаточно нежных слов, чтоб приветствовать эту весну в полную меру нашего чувства... Здравствуй же, более любимая, чем невеста, более желанная, чем рукопожатие друга, внезапно оказавшегося в живых!

Нашего праздника не омрачает сознанье, что громадная дикая свинья фашизма, шатаясь и истекая тухлой сукровицей, еще стоит над своей ямой,— немного ей осталось жизни. Фашизм — выдумка дикаря, помесь насекомого со скучным, мещанским немецким чертом, но прежде всего он все-таки свинья, и удивительно, что старая Германия, которую мы знаем по ее прежним вкладам в дело культуры, допустила себя хоть временно стать ее жилищем. Вполне замечательно, что, даже проклиная своего главного обер- или зондерфюрера...

или как он там назывался, сын своей презренной матери! — многие немцы клянут его не за то, что омрачил и обесчестил убийствами германское имя, а лишь за то, что, не выполнив разбойных обещаний, вовлек их в столь крупные неприятности и убытки. Видимо, следовало бы заставить этих людей голыми руками раскапывать страшное человеческое месиво в братских карьерах, чтобы хоть признак мысли появился в животном взоре их. И если остались в Германии мыслящие люди, они должны быть глубоко благодарны Красной Армии за то, что она через страдание возвращает их стране давно утраченную человечность. Много добротного металла всадили мы в этого кабана с обеих сторон, а он еще огрызается на своих загонщиков! Ничего, это недолго: еще разок, еще одна порция смерти, и он рухнет с копыт, навеки ставший падалью.

Тогда сразу оборвется немолчный грохот битвы, и усталый боец рукавом гимнастерки вытрет пот с лица, и умная долгожданная тишина наступит в Европе. И это будет такая тишина, что можно оглохнуть с непривычки... И, может быть, он поднимет голову и обведет воспаленными глазами безмолвную рыжую германскую землю, засеянную лишь рваной сталью по весне, и усмехнется ее заслуженному горю,— может быть: мы все одинаково не знаем, как будет выглядеть первый миг *такой* победы. И может быть, он достанет из кармана нераспечатанное, пропотелое письмо из дому и прочтет его,— и вдруг согласное множество новых, полузабытых звуков жизни, с детства дорогих сердцу и вкрадчивых, как музыка, ворвется в его сердце и уши. Он услышит, как шепчутся под легким ветерком озими на его далекой, освобожденной им от горя родине, как горланят на первомайском припеке озорные ручьи и разговаривают рощи, полные скворцов и каких-то других деловитых пичуг. В самом шелесте этой плохонькой бумаги он различит взволнованное и благодарное дыханье своей милой... Ах, как хорошо расправить плечи после непомерного и опасного труда, как величествен человек со звездочкой на околышке фуражки, младшей сестренкой громадных звезд кремлевских, что в эту минуту осеняют Москву. Как красива и ты, Красная площадь, когда победа, как птица, реет над тобою, когда на парад неторопливо вливаются в тебя колонны ветеранов, несущих свою гвардейскую славу, когда, притихнув, как бы на цыпочках, непобедимые машины-богатыри проходят мимо Мавзолея, где спит наш Ленин, и склоняются

знамена, потемнелые от пыли и гари всевеличайших сражений военной истории...

Мы вспомним о вас, погибшие товарищи наши, которые когда-то пели вместе с нами, делили с нами и хлеб, и чарку, и молодой энтузиазм пятилеток, а потом так щедро и безжалостно отдали свои жизни родине.

Неразрывна наша связь с ними. Они также примут участие в параде. И настанет посреди нашего необыкновенного торжества один миг глубокого молчанья, когда тени павших героев незримо пройдут по этой прославленной площади — мерным маршевым шагом, промчатся на рысях или на больших скоростях атаки. И тогда солнце Первомая затмится ненадолго облачком, и как бы траурные морщинки прочертят боевые знамена...

У советского народа бывали не однажды великанские свершенья, но такого величавого счастья победы наше поколенье еще не испытывало никогда. В руки твои вольется сила, достаточная, чтобы сокрушить любое горе; ты испытаешь не сравнимый ни с чем восторг единства со своей страной; ты постигнешь сам, что означает бессмертие в своем народе.

Большего счастья никогда не было на земле. Пожелаем друг другу, чтоб сердце наше выдержало такую радость!

1945

РУССКИЕ В БЕРЛИНЕ

В жизни моего народа не однажды бывали минуты, когда все, и честь, и богатства дедовские, судьба ставила под удар. Пасмурным взором очередного завоевателя она глядела нам в душу. Мы достаточно повидали их, всех мастей и калибров, от Тамерлана до Наполеона, да и в передышках непрестанно звенели мечи. Откуда только не задувала непогода в открытые на все четыре стороны просторы России!.. Не видать вкруг Москвы ни бездонных океанов, ни гор снеговых, и оттого легко было проникнуть к ней длинному жалу иноземной алчности. Словом, судьба не баловала нас, и в этих исторических поединках созрело и закалилось наше национальное самосознание.

Уж сколько раз вражеский воин-вор гулял по нашим привольям и за одну лишь годину своего торжества успевал пожечь и разорить наши города и села, ограбить русскую казну и опозорить храмы, увести в полон связанных одной веревкой — жену, сестрицу и любимого коня: все ему надобилось, несытому, столапому. А через годок мы, как повелось у нас с незваными гостями, неспешно отделяли ему голову от туловища и отсылали в таком разобранном виде на родину к нему, а заодно, для верности, приходили и сами, чтоб попрочней предать земле!.. Но бывало и так, что на века утверждалась какая-нибудь злоордынская сила, и тогда пустели шумные, всей Европе знакомые, рязанские торговые тракты, замолкала взятая за горло задушевная славянская песня да, кажется, и птица переставала гнездиться на Руси, а вслед за порохом и молодою кровью и самые слезы иссякали у народа.

Поганый — не знаемый откуда — чужак огнем и плетью выгонял из дому хозяйку и праматерь нашей земли, многострадальную русскую женщину... и она уходила в леса, при-

спустив платок на исплаканные очи, осиротевшая и никогда не терявшая духа. Там селилась она в приглянувшемся старом пеньке от тысячелетнего дуба, разбитого грозой, в этакой избушке на курьих ножках,— лишь было бы отверстьице полюбоваться на белый свет. Потом проходило несчитаное время, достаточное, чтоб камень обратился в песок и заморский булат рассыпался на ржавые листочки, и уж, кажется, все святое бывало потоптано на Руси, как вдруг расступался заветный пенек, и вот двенадцать русых богатырей выходили из него на солнышко,— у них в плечах мачтовая сосна уляжется, от их спокойной силищи дикий зверь сломя голову бежит.

— А ну, покажь нам, родимая матушка, на которого ворога первее руку накладать?

И мы отсюда видим, какие лучистые, усмешливые, веселые становились у старушки глаза, когда летели в бранном поле ошметки от ворога. А как она растила своих сынов, какой росной водой умывала, какой живительной песней их сон баюкала — про то в сказках не сказывается: это тайна народа моего. Так было, к примеру, в баснословные дни Мамая... Кстати, раз уж речь о том пошла, поклонимся всем миром простой русской женщине, что беззаветно и без устали, наравне с мужем и сынами, создавала наше государство, с зари и дотемна трудилась в поле, рожала и выхаживала прославленных удальцов, пехотинцев и танкистов, мастеров артиллерийского и саперного дела, наших дерзких поднебесных летунов, которые только что сложили к ногам своего народа самый крупный трофей этой кампании — Берлин.

Война, которую мы успешно заканчиваем, существенно отличалась от всех, что за тысячу лет изведала Россия. Эта грозила всему Советскому Союзу уже не только мукой национального бесчестья, не одной неволей или вечным рабством, даже не смертью! Она грозила нам полным небытием,— по зверству этого беспощаднейшего врага мы можем судить о его замысле. Будь его сила, он привел бы в исполнение свою угрозу. Нет, не только злата он добивался или еще не раскопанных в недрах сокровищ, или прочего достоянья нашего. Он сбирался омертвить не только настоящее наше и будущее, которого мы еще не успели осуществить в полную мощь ленинской мысли,— он и славное прошлое наше намеревался истребить, обратить даже не в пепел, а в ничто, сделать так, будто никогда и ничего после палеозоя и не было на громадной рус-

ской равнине. Он искал жизненного пространства, безыменной и голой земли, которой он сам подарит пруссацкое имя... Страшнейший из джихангиров Азии — как назывались там миропотрясатели не чета Адольфу — Тамерлан переселял к себе в Самарканд лучших мастеров из покоренных царств; этих же фашистских воров, на которых мы стоим сегодня ногами, приводили в ярость самые звуки имен Суворова и Пушкина, Чайковского и Толстого, при упоминанье которых весь цивилизованный мир мысленно обнажает головы. О, так грабить и выскребать нам душу никто еще не собирался!

Тогда мы взялись за руки, как братья, и поклялись именем Ленина прийти к врагам и наказать их судом более справедливым, чем божий суд. Мы вложили в эту клятву все, что у нас есть дорогого, и даже больше вложили мы в нее — для того, чтобы уже никак нельзя было не сдержать ее. Огонь ушел бы из наших очагов, дети наши плевали бы нам в очи, обесплодели бы нивы наши и женщины, если бы мы не исполнили своего обещания, более святого, чем материнское благословенье. Оно было короче самого страшного проклятья и заключалось в одном лишь слове — Берлин. Мы даже не произносили его вслух, мы экономили время и силу; нам нужна была эта столица всемирного злодейства не во утоление тщеславия, которое всегда чуждо истинному герою, но как оправдание самого нашего прихода в жизнь. И тогда мы сделались крепче гранита, ибо какая твердокаменная крепость выдержала бы тот, памятный миру, натиск под Москвой? Прочней железобетона оказалась наша вполне смертная человеческая плоть. Нам было бы радостью отдать свои жизни за родину. А с такой порукой какому горю не сломит хребта советский народ?

Замолкшие, очень строгие советские атланты в стеганых куртках, иные — женского пола или детского возраста, творили во тьме безлюдных захолустий новые гигантские кузницы победы,— еще без кровель, но уже выпускавшие первые десятки прекраснейших, как произведение искусства, танков или дальнобойных пушек,— эти могучие сверла особого назначения, способные прогрызать любую броню. На Цельсии бывало пятьдесят ниже ноля, а они своим теплом отогревали еще бездушные машины; буран со свистом ходил между станков, а они слышали в нем громовый будущий салют в честь падения Берлина! Вот когда мы поняли, что человек в состоянии

выполнить втрое против того, что ему приказывают и, главное, что самый грозный приказ может дать человек сам.

И вот оно свершилось, клятва выполнена. Берлин пал, он под ногами нашими. О, слишком долго и надоедливо Германия стучала к нам в ворота, и мы вошли в нее в образе урагана. Нам нравится, что генералы, жестокие и важные, как навозные жуки, наследники Мольтке и Шлиффена, сами отводят свои стотысячные гарнизоны в русский плен. Стоя перед столом нашего офицера, они выражают благоразумные суждения о непобедимости советского оружия и еще о том, что умерший Адольф Гитлер был обманщик и очень плохой человек. «Стоять навытяжку... вы говорите с боевым советским майором, у которого ваши солдаты убили семью!..» Все это — отличный показатель того, насколько полезен наглецу, опьяневшему от вековой гордыни, хороший удар между бровей; как показывает опыт, сие освежает, сушит и трезвит.

Теперь нацистским заправилам и их присным уже не хочется ни украинского чернозема, ни Британских островов, ни колоний в тропиках; они стремятся всеми силами души куда-нибудь на островок Елены, даже просто в помещение с решеткой и казенным рационом. Они начинают заболевать сердечными приступами, умирать от кровоизлияний, а пока в качестве ответчика заранее выставляют гросс-балду в адмиральской треуголке, как силомер на ярмарках, чтобы союзные армии на нем разрядили свой гнев за Майданек и Бухенвальд, Освенцим и Дахау... Но нет, мы не поверим на слово, мы еще пошарим в Германии, мы потребуем вещественных доказательств, что ефрейтор не превратился в оборотня. Малютки мира могут спать спокойно в своих колыбельках. Советское войско хочет видеть труп фюрера в натуральную величину, и оно вернется на родину не раньше, чем ветер освободительного урагана развеет в Германии фашистское зловоние. Что касается толстого Геринга, у нас имеется одно верное средство от сердечных недугов, излечивающее навсегда...

Наши продымленные патрули шагают сейчас по Берлину, и знатные дамочки угодливо смотрят им в глаза, готовые немедля начать выплату репараций. Не получится! Советских людей интересует пристальный осмотр столичных чердаков, подвалов и тоннелей метро — в поисках оборотней, этого посмертного секретного оружия нацистов. Мы всегда владели заветным словцом на нечистую силу... Позже, когда нацистская Германия станет на колени перед победителями, наши люди

отдадут дань своей старинной любознательности. Их, простых советских пахарей и слесарей, каменщиков и трактористов, давно уже тянуло посмотреть, что это за городок такой на свете, который столько лет подряд пугал присмиревшую до мюнхенской степени Западную Европу. Тогда они обойдут неторопливой экскурсией все эти государственные лаборатории научного зверства, осмотрят гитлеровскую канцелярию, этот бывший генеральный штаб ада, побывают в рейхстаге и вспомнят с уважением имя Димитрова, посетят известную аллею заносчивых прусских истуканов, если только пощадили ее русские «катюши» и британские десятитонки.

Пришедшие издалека, наши люди удивятся гнусности идей, которые так долго жили в щелях этого многовекового города. А какой-нибудь простой гвардии сержант в простреленной красноармейской фуражке присядет тут же на поваленном постаменте бывшего пронумерованного Фридриха и подробно отпишет своему мальчугану на родину про бывший город Берлин, в полной мере заслуживающий свою судьбу и наше презрение.

1945

ИМЯ РАДОСТИ

Убийца на коленях. Оружие выбито из его рук. Он у ног ваших, победители. Ему хочется покоя и милосердия. Палач с вековым стажем оказывается вдобавок бесстыдником... Судите его, люди, по всем статьям своего высокого закона!

Никто не спал в эту ночь. В рассветном небе летают самолеты с фонариками. Старуха, солдатская мать, обнимает смущенного милиционера. Две девушки идут и плачут, обнявшись. Еще не изведанным волненьем до отказа переполнена вселенная, и кажется, что даже солнцу тесно в ней. Трудно дышать, как на вершине горы... Так выглядел первый день Победы. Две весны слились в одну, и поэтам не дано найти слово для ее обозначенья. Мы вообще еще не способны сегодня охватить разумом весь смысл происшедшего события. Мы были храбры и справедливы в прошлом,— эти битвы принесли нам зрелость для будущего. Мало прийти в землю обетованную — надо еще распахать целину, построить дома на ней и оградить себя от зверя. Мы совершили все это, первые поселенцы в стране немеркнущего счастья. Лишь с годами возможно будет постигнуть суровое величие прожитых дней, смертельность отгремевших боев, всю глубину вашего трудового подвига, незаметные труженики Советского Союза, не уместившиеся ни в песнях, ни в обширных наградных списках: так много вас! Если доныне празднуются Полтава и поле Куликово, на сколько же веков хватит нынешней нашей радости? Только она выразится потом не в торжественных сверканьях оркестров, не в радугах салютов, а в спокойном вещественном преображенье страны, в цветенье духовной жизни, в долголетии старости, в красоте быта, в творчестве инженеров и художников, садоводов и зодчих. Немыслимо в одно поколенье собрать урожай такой победы.

Советские люди сеяли ее долго, каждое зернышко было опущено в почву заботливой и терпеливой рукой. В зимние ночи они своей улыбкой грели ее первые всходы, они берегли их от плевела и летучего гада,— и вот под сенью первого ветвистого и плодоносного дерева собираются на пиршество воины и кузнецы оружья. Они запевают песню новой мирной эры. И если только человечество сохранит мудрость, приобретенную в войне, как оно стремится сберечь боевую дружбу, этой величавой запевке подтянут все... а песня — как братский кубок, она сроднит народы на века! Какой нескончаемый праздник предстоит людям, если они не позволят подлым изгадить его в самом зародыше. Давайте мечтать и сообща глядеть за горизонты грядущего столетия,— отныне это тоже становится умной и действенной работой. Мечтой мы победили тех, у кого ее не было вовсе: было бы кощунством считать за мечту их замысел всеобщего скотства.

Итак, пусть это будет гордый и честный, благоустроенный и строгий мир, в котором новые святыни воздвигнутся по лицу земли взамен разрушенных варварством, потому что святыня — постоянное горение живого человеческого духа. Молодые люди, созревшие для творчества жизни, отныне не будут корчиться на колючей проволоке концлагерей. На планете станут жить только мастера вещей и мысли, подмастерья и их ученики; многообразен труд, и только руки мертвеца не умеют ничего. Стихии станут служанками человека, а недра гор — его кладовыми, а ночное небо — упоительной книгой самопознания, которую он будет читать с листа и без опаски получить за это нож между лопаток. Красота придет в мир — та самая красота, за которую бились герои и которую люди иногда стыдятся называть, ибо наивно звучит всякая вслух высказанная мечта. Но теперь эта мечта гением Ленина возведена в степень точной науки, и, кроме того, если не этой, то какой иною путеводной звездой руководиться всечеловеческому кораблю в его великих океанских странствиях?! Только безумец или наследственный тунеядец, питающийся людским горем, посмеет утверждать, что люди не доросли до такого счастья, что им приличней начинать свою жизнь в бомбоубежищах и кончать ее в братских могилах, что кровавое рубище и рабская мука совершенствуют добродетели и умственные способности человечества.

Люди хотят жить иначе, их воля переходит в действие. Новая пора уже настает, и это так же верно, как то, что мы

живем и побеждаем. Мы родились не для войны, и когда мы беремся за меч, то не для упражнения в человекоубийстве, не ради веселой игры в Аттилу, какою сделали войну германские фашисты. Мы люди простые, рабочие. Освободительная война для нас — почетный, но тяжкий и опасный труд, неразделимый с другой, не менее сложной и нужной работой — возмездия. Иначе к чему была бы такая свирепая трагедия, где каждый акт длился по году, где боль и ужас были настоящие, где принимало участие все население земного шара? Мы приступаем к делу воздаяния без злорадства и с полной ответственностью перед потомками. Наш народ слывет образцом великодушия и доброты, но великодушие добрых он полагает сегодня в непримиримости к злым... Пусть невинные отойдут к сторонке. Благословенна рука, подъятая покарать преступленье.

Мысленно мы проходим по оскверненной Европе. Нет в ней ни одного уцелевшего селенья, где не ликовал бы сейчас народ, даже среди свежих могил и незатушенных костров. Нельзя не петь в такое утро. Радость застилает нам очи, и порой пропадают из поля зрения дымящиеся руины, которые надлежало бы сохранить навеки в качестве улик последнего фашистского дикарства. Уже начинает действовать спасительная привычка забвенья, но история не хочет, чтобы мы забывали об этом. Едва стали блекнуть в памяти подробности Майданека и Бабьего Яра, она Освенцимом напомнила нам об опасности даже и поверженного злодейства. Этот документ написан человеческой кровью, и каждой буквы в нем хватило бы омрачить самый волшебный полдень.

О, эти полтораста тысяч чьих-то матерей и невест, обритых перед сожженьем! Детские локоны и девичьи косы, которые прижимали к губам любимые, которые нежно и бережно перебирал ветер, с прядками которых на сердце дрались на фронтах сыновья, отцы и женихи. Костный суперфосфат, окровавленные лохмотья, прессованная людская зола, упакованная в тонны и ставшая сырьем для промышленности и земледелия прусских... А ведь каждая кричала и тоже молила о пощаде, и единственным просветом в ее черной тьме была надежда на воздаяние убийцам. Нет, пусть слезы радости не затуманят ясного взора судей.

Итак, это фашистское чудовище, замахнувшееся на человечество, сгрызло в своих пещерах, может быть, двадцать миллионов жизней. Никто не удивится, если при окончательном

подсчете эта цифра вдвое возрастет. Можно исчислить сожженные деревни, даже рубли, потраченные на порох и танки,— нельзя устроить перекличку мертвым. Сколько их, о которых некому не только плакать, но и вспомнить. Суд свободолюбивых народов разберется, кто повинен в содеянных мерзостях: не все, но многие. Они хотели обратить нас всех в бессловесных доноров костной муки и человеческого волоса. Но мир не пал, как Рим, который всегда любил класть свою тиару к ногам очередного Гензериха... Что ж, пришла очередь расплаты. Выходите вперед, оборотни и упыри, кладбищенские весельчаки и экзекуторы, не прячьтесь в недрах нации. Согласно параграфам германской юстиции, кара преступнику назначается за каждое преступление в отдельности: убивший троих приговаривается к смерти трижды. Всякий из вас должен был бы умереть по тысяче, по сто тысяч, по миллиону раз подряд,— вы умрете по разу. Никто не упрекнет победителя в отсутствии милости. Уйдите же, перестаньте быть, истайте вместе с пороховой гарью, закройте гробовою крышкой свое поганое лицо, дайте нам улыбаться такой весне!

Пушки одеваются в чехлы. Милые лесные пичуги недоверчиво обсуждают наступившее безмолвие. Оно громадно и розово сейчас, как самый воздух утра над Европой... А еще недавно, когда истекали последние минуты войны, казалось — никакого человеческого ликованья не хватит насытить его до конца. Нет, радость наша больше горя, а жизнь сильнее смерти, и громче любой тишины людская песня. Ей аплодируют молодые листочки в рощах, ей вторят басовитые прибои наших морей и подголоски вешних родников. Ее содержанье в том, о чем думали в годы войны все вы — наши женщины у заводских станков, вы — осиротелые на целых четыре года ребятишки, вы — солдаты, в зябкий рассветный, перед штурмом, час!.. Только в песне все уложено плотней, заключено в едином слове — Победа,— как отдельные росинки и дождинки слиты в могучий таран океанской волны. Это песня о великой осуществленной сказке, которая однажды пройдет по земле прекрасным, в венчике из полевых цветов, ребенком... Отдайтесь же своей радости — современники, товарищи, друзья. Вы прошагали от Октября до Победы, от Сталинграда до Берлина, но вы прошли бы и вдесятеро больший путь. Всмотритесь друг в друга — как вы красивы сегодня, и не только мускулистая ваша сила, но и передовая ваша человечность отразилась в зеркале победы. Не стыдитесь: поздравьте соседа,

обнимите встречного, улыбнитесь незнакомому — они, так же как и вы, не спали в эти героические ночи — машинист или врач, милиционер или академик. Нет предела нашему ликованью.

Да и отдаленные правнуки наши, отойдя на века, еще не увидят нас в полный исполинский рост. Слава наша будет жить, пока живет человеческое слово. И если всю историю земли написать на одной странице — и там будут помянуты наши великие дела. Потому что мы защитили не только наши жизни и достояние, но и само звание человека, которое хотел отнять у нас фашизм.

1945

ГОРЬКИЙ СЕГОДНЯ

Мы проходим через девятую годовщину смерти Алексея Максимовича Горького. Это большой срок, достаточный, чтобы зажила любая рана. За такой срок много успевает поработать забвение. И все же до сегодня с прежней отчетливостью, лишь как бы сквозь вечернюю дымку, видим мы его милое простонародное лицо, его богатырскую фигуру, его усы, как бы смятые встречным ветром, и слышим своеобычную горьковскую речь. Мы еще не привыкли к отсутствию этого человека в нашей среде, и вряд ли мы, имевшие счастье быть его современниками, когда-нибудь привыкнем. Место его не занято никем, ни у кого не хватает голоса говорить с его высокой трибуны. Неповторима судьба этого писателя, который больше четверти века бессменно стоял на самом гребне большой литературы русской, а следовательно, и русской общественной мысли, притом в наиболее бурную пору ее развития, подготовительную к великому перелому. Больше того, человек этот, возглавляя лучшие литературные чаяния и свершения своего века, как никто другой, имел право говорить от имени совести народной.

В последующие годы его суждением дорожили не только люди искусства, но и наши изобретатели, ученые и врачи... Да и молодежь, из которой в годы Отечественной войны выросла стая непобедимых героев, вспомянет эту невосполнимую утрату. В равной степени слово Горького обладало магической силой влияния и на зарубежных читателей; много друзей из-за границы пришло к нам именно через гуманизм Горького... Однако ни в какой иной области нашей жизни не чувствуется эта потеря так, как в литературе и театре.

Горького хватало на все, он владел бессчетным временем гения, его наследство громадно. Этот учитель до конца гор-

дился своим званием ученика. Свою природную жажду к познанию он утолял из всех источников человеческой деятельности, и — следует прибавить — всякое его прикосновение всегда обогащало и самый этот источник. Тот, кто посидел с ним хоть раз за дружеской беседой, уходил от него богаче и смелее, чем был раньше, потому что уносил с собой частицу горьковской одержимости, его умной и проникновенной веры в труд, добро и знание. В русской литературе не было до него деятеля, который в такой степени возвысил бы значение этих трех основных колонн, поддерживающих могучие своды завтрашнего человеческого общества.

Алексей Максимович имел редкий дар, доступный лишь воистину великим,— умножать сортовые качества зерна, которое он хоть недолго подержал в ладони. И это свойство его наиболее благодетельно сказалось на молодой советской литературе. Без преувеличения можно сказать, что все мы, нынешняя литераторская генерация, выпорхнули на свет из широкого горьковского рукава. Это не означает, что все принадлежат к школе горьковского стиля. Он сам говорил мне, что мы не монахи — петь в унисон молитвенные гимны... Все инструменты, все голоса нужны в большом едином оркестре, призванном прославлять и симфонически рассказать потомкам об очистительной русской грозе, в которой сам Горький был буревестником.

Мы, драматурги и литераторы, как он любил называть свою профессию, благодарны Горькому за то, что он сызмальства внушил нам понятие высочайшей ответственности перед эпохой, народом и своим ремеслом. В его глазах, в памятном нам его лице капитана дальних плаваний, который глядит за горизонты века, до конца дней отражались снеговые хребты и счастливые долины человеческой мечты, которые он исходил во всех направлениях. И мы с благодарностью вспоминаем, что тогда и в нас зародилось стремление побывать там же.

Мы благодарны ему также и за отеческое слово одобрения, которое он умел вовремя подшепнуть каждому из нас и которое вливало добавочную силу в наш молодой творческий напор. Какая радость была нам постоянно чувствовать на себе его заботливый и строгий взгляд, каким легким и плодовитым становилось тогда перо в руке писателя! Все вы помните, сколько в те, горьковские годы появлялось новых произведений во всех жанрах нашей литературы. Во исполнение своего знаменитого поучения — «Говори ему по-

чаще, что он хороший, он и будет хороший» — Максим Горький брал на себя опасный для большой репутации риск похвалы, которая порою действеннее и, так сказать, воспитательнее в искусстве, чем самая заслуженная и справедливая брань. Будучи хозяином в саду советской литературы, он каждую былинку знал во всех ее качествах и каждой помог своим огромным авторитетом.

В нашей критике никто, как он, не любил так все молодое, передовое и русское.

Прекрасное человеческое тепло излучалось из этого отличного представителя новой человеческой породы. Когда говорят о Горьком, думают о его страстной преданности людям. Но это не была тихая, поровну на всех христианская любовь ко всем людям без изъятия, это была воинствующая любовь прежде всего к добру, без которого невозможна жизнь на земле,— ленинская любовь, которой назначено преобразовать планету, которая имеет свое жилище в сердцах тружеников, которая неузнаваемо облагораживает наши поля и книги и которою в конце концов были начинены снаряды в победоносной минувшей войне. Это и есть то самое, из чего по крупинке выплавляется новая правда, самое дорогое из национальных сокровищ, а она, в свою очередь, служила только сырьем для достигнутой нами победы. Всю свою жизнь Горький был на службе у правды народной и защищал ее так, точно она была его собственным телом. Он требовал от всех современников быть участниками грандиозной, начавшейся и уже неостановимой битвы за планету. Он не терпел равнодушных, и равнодушные не любили его. У человечества было к нему вполне четкое отношение, как ко всякому гению его размаха: либо боялись — то есть почтительно ненавидели, либо любили глубокой любовью, сказавшейся хотя бы в высоком доверии к нему нашего народа. Словом, этот маршал литературы был настоящим рядовым воином, и это означает, что он был хорошим маршалом.

Каждая книга его или пьеса была сражением за какой-нибудь догмат нашего гуманизма, и почти каждое он выигрывал. Как всякая победа, это показывает не только доблесть солдата, но и качество его оружия. В современной духовной войне от этого оружия требуются непревзойденные технологические качества. Умирая, старый мир подымает против нас все свои хоругви; он готов зарядить свои пушки древним камнем своих святынь, базилик и музеев, лишь бы они умерщ-

вляли. Незабываемые имена мастеров культуры, которых этот старый мир сам же изгонял или отлучал от церкви, убивал голодом или жег на кострах, он теперь насильно мобилизует против побеждающей новизны,— и не Горький ли начал понемногу возвращать их в наш лагерь, где им надлежит быть. Потому что гений есть неувядающая молодость, никогда не устающая сражаться за людское благо.

Здесь и следует подчеркнуть — хоть и не нуждается Горький в наших оценках — могучий и безупречный его художественный дар. Диалог его пьес, написанных почти столетие назад,— так много протекло событий с тех пор! — предельно выразителен и жив до сегодня, и если порой перенасыщен мыслью, то оттого лишь, что именно этих качеств требовала от него его боевая эпоха; его описания всегда и точны и глубоки, словно стальным штихелем вырезанные на меди; композиция его пьес, вызывающая различные толкования, мне кажется, носит в себе зародыши новой блестящей драматургии, прорастить которые на театре не решился или, по ряду внешних обстоятельств, не смог пока никто. Но всякий, кому будет принадлежать честь дальнейшего развития русского репертуара, неминуемо должен будет пройти под творческой аркой Горького, после того как минует он улицы и площади — Гоголя, Островского и Чехова.

Жизнь Алексея Максимовича можно было бы назвать шествием к звездам,— этими словами в старые времена обозначался особенно большой человеческий подвиг. Было во всем горьковском облике что-то титаническое — такие не умирают. Горький лишь поднялся на небосклон русской литературы, где ему надлежит сиять века. Вот почему до сегодня творцы и воины советской земли чувствуют рядом с собой локоть Горького...

А ведь почти десять лет прошло со дня его кончины, и какие десять лет! В них уложились невообразимые, во главе с Отечественной войной, исторические события, трагические, как сейсмические потрясенья. Слово Горького в этой войне тоже было нашим оружием, которым и при жизни он немало ран нанес фашизму. Отличие гениев от смертных в том, что и после смерти они трудятся наравне с живыми. Это дает нам право сказать, что Горький вместе с нами, нынешними, вместе с войсками нашими вступал в Берлин, как и дальше он будет сопровождать нас в нашем бесконечном движении к умному и гордому, богов достойному счастью.

1945

КОГДА ЗАПЛАЧЕТ ИРМА

ПИСЬМО НА РОДИНУ

Есть такая заштатная провинция в северо-западной Германии близ Гамбурга, под названьем Люнебург. Война не тронула никак этого тихого городишки, составленного по старонемецкому рецепту — из тройки кирок, городского кегельбана и десятка крохотных отелей. Громить здесь нечего, и «летающие крепости», прямым ходом неся свой груз на Берлин, не оставили здесь по себе дурных воспоминаний. Сюда бежали со своими семьями гамбургские негоцианты, чтоб отсидеться от первой волны возмездия. Это они чинно гуляют здесь со своими фрау, это их кроткие детки бесшумно шалят на улицах, и даже мухи здесь летают особые, мелкие благовоспитанные мухи, не оставляющие следов на домашних предметах. Зато и скука в Люнебурге настоящая, немецкая, похожая на газовое удушье. Из таких уютных нор и вышла нацистская крыса в поход на житницы Европы.

В Люнебурге отравился Гиммлер. В Люнебурге была резиденция Риббентропа... Сомнительная слава! Так бы и тлеть Люнебургу в его тысячелетней безвестности, если бы дополнительные обстоятельства не привлекли к нему теперь вниманья мировой прессы. Как бы застылый крик чудится в томительной люнебургской тишине, которой не могут расшевелить даже визг и стремительный бег английских военных грузовиков, а цветы в палисадниках, как и лица здешних детей, подернуты одной и той же темной трупной пленкой, которую долго еще не смоют чистоплотные немецкие мамы и осенние дожди. Не один год стлался над Германией черный скверный дым из больших продолговатых печек, построенных здесь для сожженья человеческого тела. Как при многих германских городах, при Люнебурге имелся свой концентрационный лагерь, один из тех, через которые фашисты собирались профильтро-

вать человечество. Бельзенская фабрика для переработки живого людского племени в вонючий и липкий тлен является почти зеркальным отражением — лишь в уменьшенных размерах — других, более знаменитых лагерей. Только здесь действовали не специальными аппаратами пыток и газированья, хотя имелись они и в Бельзене, а главным образом — голодом. Бельзен — гигантская морилка. Кормежка была тут не средством поддержания жизни, а садистическим продленьем смертной муки; в условиях Бельзена пуля эсэсовца могла считаться даром милосердия!.. Сейчас в этом самом городке военный суд английской оккупационной зоны разбирает деятельность дружной и сплоченной банды, уничтожившей свыше ста тысяч жизней.

Цифра эта, конечно, почти ничтожна в сравненье с миллионными гекатомбами Майданека и Освенцима. Еще десятки таких тайников раскопают со временем на пространствах Германии. Ничто уже не может умножить греха немецких фашистов перед миром, равно как ничем нельзя увеличить и презренья мыслящего мира к гитлеровской Германии... К тому же бельзенская система морального и физического истребления давно знакома советскому читателю по прежним описаньям. Ализариновые чернила и человеческая речь бессильны передать длительное ощущенье душевной отравленности, полученное нами при посещении этого гиблого места. Сам Дант не рассказал бы больше, если б его послали сюда корреспондентом... Нет, кровь и пепел — плохая палитра для художника, который хочет глядеть в будущее; в таких случаях лучше всего слово предоставить катюшам. Но никогда не следует нам выметать из памяти, как сор, воспоминания об этих несчастных,— как лежали они вповалку в своих промерзлых бараках, без стона, без надежды, без жалобы, одичавшие, высушенные голодом так, что почти не пахли после смерти, и как подымали их в глухую ночь на проверку, и они стояли под команду смирно от трех до девяти, и как текло длинное зимнее время, достаточное для сумасшествия, и как упавших добивали кольями или рубили им головы заступами, как тыквы, и так было, пока холодное зимнее солнышко не прерывало этой утренней зарядки палачей...

Лагерем заведовал Иозеф Крамер, гауптштурмфюрер бычьего веса и внешности, ныне сидящий в десяти шагах от нас. Восточная Европа и моя родина также имеют право на жизнь этого эрзац-человека. Если даже при огромной норме

смертности в Бельзенском лагере все же осталось четыре тысячи русских, сколько же всего закопано их в белых сыпучих бельзенских песках!.. Кроме того, свою тренировку в этой области Крамер начинал в Освенциме, и имя его особо упоминается в актах нашей Чрезвычайной Комиссии. В Бельзене он проработал всего полгода, и только потому механизация смерти и производство покойников не были поставлены на освенцимскую высоту. Конечно, к трем его орденам Гиммлер подкинул бы и четвертый, если бы Красная Армия своевременно, взятием Берлина, не обрубила головы фашистской Германии, а шестьдесят третья противотанковая английская батарея не ворвалась за колючую проволоку Бельзена.

Пресса всего мира называет Крамера чудовищем, это неверно. Такое слово заключает в себе понятие исключительности, достойной удивленья. Крамер был не один в Германии, их было не сто, даже не тысяча. В нацистской Германии было налажено серийное их производство. Этому теперь не надо удивляться, это надо изучать, чтобы предотвратить их вторжение в мир в будущем. Нет, Бельзенский лагерь есть обыкновенное в Германии явление, как и сам Крамер есть просто скотина в чистом ее естестве, бившая сапогом в живот русских женщин, скотина безжалостная и хитрая. Писать о ней вполне противно, и полагается скорее давить ее в двойной, для надежности, петле; но прежде следует назвать ту страшную яму, откуда этот зверь вылез на белый свет.

В опустошительных прогулках по лагерю его обычно сопровождала постоянно сменявшаяся часть его гнусной оравы, куда входили мужчины и женщины, убийцы с учеными дипломами европейских университетов и просто даровитые в данной области самоучки. Мы достаточно читали о них и от многих из этой нечисти великодушно избавили планету. Перо советского журналиста имеет более почетные и срочные темы в разоренной и пошатнувшейся Европе, чем создание портретной галереи даже выдающихся некрофилов и громил. Но эти экземпляры нордической расы являются образцами социального вещества, из которого была построена фашистская Германия, и потому полезно хотя бы нескольких из них рассмотреть в пристальную лупу художника.

По женщине, по ее облику и морали, по ее месту в обществе можно судить наравне с другими признаками о физическом и нравственном здоровье государства. Это ей поручила природа величайшее дело рожденья и первичного воспи-

тапья своих завтрашних граждан. И вот перед нами девятнадцать женщин, застигнутых на преступленьях, на которые не способно и животное. Возьмем лишь трех этих современных нацистских героинь, из которых самой старшей, Жоане Борман,— пятьдесят два, а самой молодой, Ирме Грезе,— только двадцать один год.

Первая из них — проворная, без единого седого волоса, обезьянка, решившая на склоне лет послужить своему фюреру. Родства с нею устыдился бы сам паскудный немецкий черт. С ее темного лица, кажется, еще не сошел загар от крематорной печки, у которой любила постоять эта скромная домохозяйка, слушая, как скворчит и пузырится там человеческое жарево. Она не убивала сама, она лишь сортировала одежду бельзенских жертв, еще теплую от владельцев, пока те бились в корчах и синели под душевыми кранами газовой камеры. Она также сортировала женщин, отбирая слабых на газовую смерть, а привлекательных — в публичные дома для немецких солдат. Ее единственной слабостью было потравить волкодавами какое-нибудь занумерованное человеческое существо, уже неспособное к бегству, уже непригодное в лагерном хозяйстве. О, стоит только представить себе, как пошлепывала детишек эта тихая немецкая бабушка, отправляя их в крематорий... Вот гаснет свет в зале суда, и на крохотный экран ложится вещественное доказательство обвиненья, двадцатиминутный фильм, где запечатлен, так сказать, в поученье потомкам, апофеоз древней германской культуры. Незабываемые картины подсмотрел армейский киноглаз тотчас по освобождении Бельзенского лагеря. Происходят торопливые похороны тринадцати тысяч трупов, уже утративших человеческое подобие и с черными впадинами,— это ножами из консервных банок выкраивали себе пищу одичалые бельзенские людоеды. Мордастые эсэсовцы и их грудастые марухи таскают на себе, ухватясь за шею или ногу, раскорякие мертвые тела своих жертв,— с одуревшими глазами, в изнурительном поту они таскают их без конца в длинный, неописуемый овраг, и кажется, что трупным запахом наполняется зал суда. Могучий английский бульдозер, снегоочиститель, сгребает распадающееся людское месиво, и похоже — мертвые шевелятся всяко и привстают, чтобы их навеки запомнили живые... Потом опять — внезапный электрический свет, и видно всем, как украдкой зевает старушка Борман, темной грешной своею ла-

почкой прикрывая рот. Бабушка скучает. Какова выдержка этой старушки даже на очной ставке с мертвецами!

Почти рядом с нею сидит под номером девятым такая молоденькая и уже такая подлая Ирма Грезе. Это крестьянская дочь из Тюрингии, прошедшая нацистскую школку. Иностранные журналисты, богато представленные на процессе, наперебой раскричали ее как «хорошенькую белокурую бестию». Мягко говоря, такое определение страдает легкомыслием и даже попросту плохо в профессиональном отношении. Маску зверя они приняли за человеческое лицо. Благообразность Ирмы еще ужаснее явного уродства всех этих косоглазых дегенератов и человеко-рысей с подпаленной шерстью. Это горгона, загримированная под Гретхен, самая лютая в лагерях Бельзена и Освенцима, где она долгое время заведовала одним из смертных цехов. Недовольная старинными способами уничтожения, имея вкус к делам такого рода, она изобретала новые виды казней. Ее брови сведены, намертво стиснуты губы, ее водянистые, воспаленные и навыкат глаза, как бы набухшие ужасными виденьями, смотрят подолгу и не мигая, как наведенный пистолет. Наверно, дети падали замертво под этим взглядом. Она брезгливо улыбается, когда слишком уж добросовестная защита вступает в длинное препирательство с судьями о приглашении каких-то ученых знатоков международного права, словно совести сидящих здесь почтенных английских генералов недостаточно для изобличения преступления.

Когда ее уводят из здания суда в тюремный грузовик, кто-то из этих приличных, лакированных немцев, шпалерами стоящих вдоль улицы, кричит ей:

— Боишься, Ирма?

И она роняет сквозь зубы:

— Нет.

Нашим юристам было бы гадко выступать защитниками в процессе такого рода. Защите было бы более к лицу лишь помочь судьям разобраться в обстоятельствах преступленья и прежде всего — начертать перед миром родословную пещерной мерзости, искалечившей души этих когда-то человекоподобных существ. В Люнебурге защита действует иначе и, надо признать, без особого блеска. Она находит в себе решимость расспрашивать свидетельницу, еле стоящую на ногах, о приметах собаки, которая рвала ей тело, или о длине и весе дубины, которою ей почти перерубили руку.

— Не могу сказать... я ее только чувствовала,— еле слышно отвечает жертва.

Нет, видимо, есть над чем улыбаться Ирме Грезе в Люнебургском процессе!

Между этими двумя сидит Герта Элерт. Едва взглянув в глаза суду, вся помертвев, она валится с ног, полагая, что с ней сейчас станут делать то самое, что делала она сама, когда к ней вводили очередного бельзенского узника. Вот улика!.. Кроме Бельзена, она хорошо потрудилась в Равенсбрюке, в Майданеке и Освенциме. Ее отекшее лицо бледно, словно она наелась трупятины; в нем особо запоминается длинный, от уха до уха, рот, который изредка сводит судорога зевоты. Жаба показалась бы творением Фидия в сравнении с этой тварью... Словом, матери мира, благодарно улыбнитесь освободителям за то, что охранили ваших малюток от этих белокурых зверей!

Вот что сделал фашизм из германской женщины. Не для сравненья, которое оскорбило бы вас, а лишь соскучась по вас на чужбине, я вспоминаю вас, милые женщины и девушки Советского Союза, ровесницы Зои, работницы и героини, вынесшие наравне с мужчинами всю тяжесть победы над этой адской нежитью!

Все подсудимые очень разные, и вместе с тем все они — родня друг другу. Одинаковая эсэсовская рубашка у всей этой колоды, которой Германия решилась сыграть ва-банк на овладение планетой. В колоде недостает лишь тузов. Они сидят сейчас в одиночках нюрнбергской городской тюрьмы в ожидании такого же процесса. Судя по сообщениям иностранных агентств, они или судорожно рыдают, как Геринг, которого, несмотря на похуденье, американская охрана зовет по-прежнему — пузо, либо благочестиво беседуют со священниками, как Ганс Франк, гаулейтер Польши, либо усиленно лечатся от несуществующих недугов, как рыжая дубина Риббентроп. Для исторического благополучия народов и для морального оздоровления мира необходимо, чтобы намечающиеся упущения Люнебургского процесса не были повторены и в Нюрнберге.

Речь идет не о том, чтобы просто повесить этих бывших продавщиц, домохозяек и свихнувшихся немецких пейзанок. Если бы вопрос стоял лишь о возмездии или мести, стоило бы еще раньше закопать эту шпану. Но человечеству слишком мало только возмездия. Пора нам приниматься за лечение самого недуга, настолько омрачившего светлый лик добра. При

борьбе с болезнью не полагается ловить за хвост и истреблять каждого микроба в отдельности: надо стремиться понять самое существо болезни. Так вот: в Люнебурге ни разу не было названо слово ф а ш и з м, не были прослежены причины заболеванья, и потому остается впечатленье, что на раковую опухоль сыплют не очень чудодейственный в таких случаях пенициллин. Будем надеяться, товарищи, что в Нюрнберге научно поставят диагноз и вслух назовут имя зла, хотя и поверженного, но, мне кажется, еще не обезвреженного целиком. История не простит людям, если и там станут судить лишь бывших коммивояжеров, незадачливых вояк и ожиревших летчиков, покусившихся на самые драгоценные права человека.

При всем этом, однако, Люнебургский процесс имеет неоспоримое значение для европейской культуры и мировой безопасности. Он — первый в ряду такого рода. Некоторая часть общественного мирового мнения не вполне доверяла сообщениям и актам нашей Чрезвычайной Комиссии. Они думали, что мы их пугаем!.. Одна журналистка призналась мне в этом. Тем более не могла, значит, вонь Освенцима и Майданека пересечь пространства не только Атлантики, но и Ла-Манша. Теперь мировая печать по локоть запускает руку в почернелую смертную рану бельзенских страдальцев. Ничего, гляди, щупай, удостоверься, неверный и беззаботный Фома!

А есть опасность, что подбитое зло уползет в темную нору, вроде Люнебурга, чтоб зализывать грозные, но не смертельные раны. И верно, еще не повисли палачи, а уже сообщения о процессе в мировой прессе переехали на второстепенное место, да и те, скажем честно, состояли в большинстве своем из описаний красотки Ирмы и усмешек Крамера, их тюремных камер и диет и даже количества киловатт в прожекторах, светом которых залит зал суда. Уже приезжие фотографы снимают у гимнастического зала, где идет суд, каких-то ласковых прусских генералов в отставке и берут интервью о том, как Германия, убившая 26 миллионов, ни сном ни духом не подозревала об этом. А ведь один лишь предсмертный вздох этих жертв, слитый воедино, сорвал бы крыши со всей Германии!.. Но ничего, пусть старый английский бог рассудит всех этих фотографов, репортеров и адвокатов: капля упала, капля оставила свой след на камне.

Мы ходили по Бельзенскому лагерю, видели и трогали. Мы постояли у оплывшей от недавних сожжений крематорной печки, возле которой еще лежат по-братски скоробленные

детские туфельки европейского покроя и маленькие обгорелые русские валенки. Тихо сейчас на этом сером вересковом поле. Где-то и что-то догнивает. Ветер покачивает истлевающие на высокой виселице веревки с блоками. Кощунственный смрад человеческих костров давно впитался в листву и хвою обширных здешних лесов. Скоро их сорвет осенний ветер и затопчет в небытие. Сенсация кончается.

А жаль, что так рано начал действовать равнодушный плуг людского забвенья. Я не объехал всей Германии, но думается мне, что Люнебург находится всего лишь в состоянии остолбенения, как от удара доской по харе; он все еще не понимает, почему повалились на колени, казалось бы, непобедимые адольфовы легионы. Поражение еще не дошло до сердца Люнебурга,— вот почему и улыбается красотка Ирма. Гроза прошла стороной и даже не везде потрясла материальное благополучие Германии. Электричество действует, вода течет, полиантовые розы и герани, щедро удобренные бельзенским пеплом, доцветают на указанных для того местах. Мимо катятся высокие, запряженные сытыми лошадьми коляски с паралечными, стерильной чистоты, старцами, свершают праздничные прогулки офицеры в полной форме, только без погон, бюргеры в шляпах с перышками. Они без волненья внимают с верхнего яруса свирепым подробностям бельзенских убийств, от которых я пощажу тебя, мой читатель,— и хоть бы один из них закрыл лицо руками от сознания национального позора. Мы возвращались из Бельзена, и ни один из встречных не опустил перед нами глаза, хотя и видно было по всему, что мы ездили в гости к мертвым. Мы обошли также все эти Катцен-штрассы и улицы Святого Духа в Люнебурге и обрели украшенную свежими цветами могилу неизвестного германского летчика, расстреливавшего таких же неизвестных детей на дорогах Англии и Белоруссии.

Нет, миру не достаточно капитуляции бывших парикмахеров и фотографов, пейзанок и кондитерских продавщиц. Нам нужно моральное разоружение гнуснейшей из идей. И гросскапут нацистской Германии настанет лишь тогда, когда сбежит краска с багрового, точно обожрался перца с порохом, лица Крамера и когда горько заплачет Ирма о своих злодействах.

Грустно мне нынче на чужбине, милые товарищи мои!

1945

ПОЕЗДКА В ДРЕЗДЕН

Мелкий дождик моросит над Германией. Дорога ведет на юг. В мокром бетоне автострады изредка отразится арка очередного виадука, и снова томительный блеск осеннего неба. На спидометре — сто. Надо въехать в город до темноты. Закончилась война, но еще длится период, в котором центром событий была война. Продрогшие часовые похаживают у шлагбаумов КП, по ночам слышны предупредительные выстрелы патрулей.

Холодно и сыро; ни человека, ни собаки. Немцы сидят по домам, пытаясь делать выводы из полученного урока. Мы едем в Дрезден. И пока тянутся три долгих часа, наполненных шелестом непогоды о смотровое стекло, в памяти чередой бегут воспоминания о виденном на немецкой земле. Они тоже не дозрели пока до значения вывода. Все это лишь записки из блокнота об изменениях в архитектуре города Берлина и о главном германском гвозде, об оторванной ноге бронзового Вильгельмова коня, которую он занес было над Европой, об устройстве ставен в немецких квартирах, о целительных водах люнебургских и другой неотвязной всячине.

Нам скучно стало в Люнебурге... Перед отъездом из Берлина мы ничего не знали о конечном пункте путешествия. Пришли непроверенные слухи, будто этот ганзейский старикашка переквалифицировался в наши дни на звание германского курорта. Люнебург стоит на речке Ильменау. Видимо, этой водой и лечились зажиточные немцы от разных второстепенных болезней, от которых не умирают,— вроде выпадения волос. И вдруг счастье старику: на Люнебург обратились взоры, так сказать, всего земного шара. Здесь надлежало изучить и обезопасить самый лютый из недугов, от которого на-

сильственно умерли миллионы неповинных людей. Болезнь эта, почти на полтора десятилетия гарью и смрадом затмившая небо Европы, проистекала в той же степени от социального и политического неустройства нашей планеты, в какой опустошительные холера и чума гнездились в несовершенной санитарии средних веков. Таким образом Люнебург мог в неделю вымахнуть во всемирные курорты если не для поумнения, то во всяком случае для прояснения некоторых застоявшихся мозгов. Мы летели в Люнебург на крыльях надежды, что наконец-то и в глубине искалеченного материка прозвучит гневное и пламенное слово, которое истребляет заразу.

Мы напрасно предавались мечтам. Вместо политического — мы попали на уголовный процесс кучки проходимцев, которых гораздо раньше застукали бы на мокрых делах, если бы фашизм не возвел их на недосягаемые высоты власти. Да и то адвокаты стали выяснять, имеет ли суд дело с идиотами или негодяями, так как в первом случае требуется особое бережное отношение к их персонам. Как зачарованные, смотрели мы на этих людей в мундирах цвета хаки и старались угадать, есть ли у них сердце и, может быть, чем черт не шутит, даже дети, подобные тем, что лежат сейчас в песках Бельзена и мертвых глинах Освенцима. А, кажется, так понятна разница в сущности явлений, убит ли один или убиты и вдобавок ограблены единым махом двадцать шесть миллионов душ. Преступление не становится благодеянием, будучи повторено миллионы раз. В диалектике этого вопроса разбирается у нас рядовой колхозник, ее сможет разъяснить любой комсомолец, не посвященный в тайны высшего юридического образования. Тут-то мы и задумались. «Эге-ге,— сказали мы друг другу переглянувшись. — Жутковато делается за будущность земных жителей, когда на нетерпеливую людскую совесть наваливается тушей толстая судейская книга в свином переплете».

Никто из нас не сомневался, разумеется, в джентльменстве этих беспристрастных служак закона,— тем более что все равно не удастся им выгородить *такое* преступление. Но только уж где бы, казалось, джентльмену и клясться в преданности добру и в ненависти к злу, как не на могилах мучеников, погубленных фашизмом. Тем более что нацисты так *удачно* распределили лагери уничтожения по лицу Европы, что теперь каждая самая немногочисленная нация имеет в сво-

ем распоряжении такие величественные и страшные алтари... Словом, Люнебург не выдвинул гражданского истца от имени человечества. Куда там! О муках жертв, которых заставляли перед смертью есть кал и запивать человеческой кровью, говорили с зевотой, как о краже демисезонного пальто. Клятва не состоялась. Медленно и уныло текут воды Ильменау. Я сказал одному судебному чиновнику, которого заинтересовало мое мнение о процессе, что солдаты решали это дело проще и умней на поле боя; до него не дошло. Тогда я прибавил, что джентльмен, который слишком долго разговаривает с убийцей, может повредить себе репутацию. Он улыбнулся литературной гладкости афоризма. Тут-то и порешили мы сбежать из Люнебурга, несмотря на отменное хозяйское хлебосольство. Все равно, даже родившиеся час назад не опоздают на процесс в Люнебурге!.. Нас потянуло в Дрезден, куда в прошлом веке ездили именитые российские литераторы на поклон древним камешкам Европы.

Пришельцы из отсталой, еще крепостной страны, чувствуя себя чужаками на возделанной германской почве, они трепетно проходили по знаменитым галереям, часами созерцали молитвенную целеустремленность готики, на которую сыплется сейчас мелкий осенний дождичек, и слаще ароматов наших первоснежных раздолий был им затхлый воздух германских книгохранилищ. Скромные мы люди! Немало общечеловеческих святынь создал наш народ в те годы, а зерна многих других раскидал по свету, нисколько не заботясь о признанье своего авторства... но русским свойственно уважать чужие святыни, зачастую — в ущерб своим. Еще совсем недавно иные из нас испытывали на чужбине благоговение вместо гордости за то, что все эти роскошества ума и сердца, глаза и души созданы были за широкой спиной их собственного народа, пока тот в трехсотлетнем бою отбивал свирепый натиск азиатских вторжений... Зато именно в те далекие времена окрепла наша исконная становая сила — та, что родится из неколебимой любви к родимым пространствам, усеянным дедовскими костьми, свежеполитым отцовской и братней кровью. Без этого чувства невозможно существовать народу. Мерилом высоты такого чувства должна служить та духовная и вещественная польза, которую приобретает в целом общечеловеческая семья от любви данного народа к своей земле.

Русские, даже дерясь за себя, дрались тем самым за свободу мира, ибо в эту сторону устремлена была народная прав-

да; немцы, крича о надмирном человеческом духе, думали о своей личной, бюргерской сытости. У нас возникла идея всемирного братания, у них — всемирного порабощенья. Мы дарили людям имена Чернышевского и Ленина, они в те же самые сроки выпускали на мир Бисмарка и Мольтке. Немец в военной форме — губитель и садист, горе малютке на его пути,— таким мы его узнали в последние пять лет. Русский солдат даже в помрачении справедливой ярости никогда не станет мстить ребенку за деяния его отца!.. Стоит только посмотреть по сторонам автострады, по которой, под мелким осенним дождичком, мы мчимся в Дрезден. Отяжелевший от сырости дым стелется из фабричных труб, неповрежденные шагают в тумане мачты высоковольтных передач, благодетельные свет и тепло струятся в их медных, непорванных жилах, ребятишки выглядывают из школьных окон. А вспомним руины Донбасса и щебенку Пулкова, каменные скелеты индустриальных наших великанов, которых мы всенародно растили целых три пятилетки. Нет, мы великодушны, Германия! Вся твоя восточная территория исхожена сапогами нашей пехоты, промерена гусеницами наших танков, но, ворвавшись хозяевами в твои пределы, мы не отплатили тем же, не отнимали источников жизни, не подымали на воздух электростанций, не рубили столбов связи толовыми поясками, не резали шпал специальными гнусными машинами, не затопляли шахт, не закладывали мин замедленного действия в стены твоих школ и больниц.

Правда, города Германии сохранились несколько хуже. Так выглядят рожи неисправимых драчунов. Они теперь все похожи друг на дружку: Дрезден — на Франкфурт, Кельн — на Берлин. Я помню эту гордую столицу лет двадцать тому назад,— ее отполированные улицы, где могли линчевать за брошенный окурок, помню берлинских полицаев, шупо, казавшихся родственниками Юпитера, многоэтажный универмаг Вертгейма, набитый соблазнами, как огурец семенами, помню кавалькады амазонок в аллеях Тиргартена... Не тот стал Берлин, не те немцы. Хватит на десяток лет вывозить мусор с площадей, а шупо похожи на скорбных пьеро в балахонах больничных служителей, а в витринах Вертгейма выставлен скрученный швеллер вперемежку с битым кирпичом, а заплаканные амазонки продают у развалин рейхстага мужнины штаны да «уры» с цепками. Мы посетили также Гамбургский порт, этот рот Германии, которым она круглосуточно прини-

мала пищу со всего мира, полный теперь железных мертвецов, черных от фосфорных бомб и застывших с поднятыми кранами, в том положении, как их застигло возмездие... Нет, мы глядели на это без злорадства: щебенка еще носит след человеческого труда, и слезы всех народов сродни по своему химическому составу.

Так кто же виноват, Германия, что Гитлер проиграл твои вековые сокровища в пятилетье? Ты приманила войну к своим границам, думая, что этого адского пса можно безнаказанно натравливать на любую из окрестных стран. Ты пожелала восточного пространства, и восточное пространство само пришло к тебе. Если по памятникам страны можно судить, что хранит она в памяти и куда направлена ее государственная идея, то оглянись на свои площади, Германия. Мы видели сотни этих истуканов, королей и полководцев, обвешанных приборами человекоистребления, и даже одного упитанного архиерея с казацкой пикой и верхом на битюге. И чем позднее отлит истукан, тем откровенней замысел бюргера. «На штурм мира!» В немецких журналах искусств можно видеть, какой скульптуркой, в случае победы, украсили бы себе нацисты вид из окна. Тут и голые девицы с короткими ножами, музы убийства вроде Ирмы Грезе, купальщики в шлемах и с фомкой под мышкой и, наконец, мыслители, мучительно раздумывающие, как бы им половчей присвоить богатства соседа... Теперь вся эта смешная медь — в трещинах и дырах, чтобы хорошенько проветрилась застоявшаяся там чванливая дурость. Уцелевшие Гете и Гумбольдт с презрением смотрят на ничтожество потомков со своих постаментов.

Вот какая тысячелетняя мокрица жила в каменном кружеве этих обольстительных архитектурных сооружений; впрочем, ее давно угадывали некоторые из прозорливцев нашей старой литературы. Так откуда же вывелось это паскудное насекомое? Ежели в средние века для получения блох рекомендовалось набить опилками бутыль и, залив жидкостью погаже, поставить в тепло, то какие же строительные материалы пошли на образование такой дурацкой и опасной идеи о всемирном немецком господстве? Единственный путь объяснения общественных явлений — способ ленинской науки; моя задача — хотя бы наспех показать моральную подготовку единичной немецкой особи, какого-нибудь бюргера с Фазанен-штрассе, к безумиям 33—42 года, когда обозначился наконец финиш фашизму. Это он с риском апоплексии орал хайль фюреру, он по-

сылал своих отпрысков на Волгу за поживой, это он пытается теперь пролить крокодилью слезу у врат разрушенного рейха. Что именно,— может быть, теснота и обнищанье толкнули беднягу на чреватый последствиями путь военного грабежа? Нет. Мне понятна брезгливая ярость наших войск, когда они вошли на постой в немецкие квартиры. Они увидели уютное гнездышко в семь комнат, забитое комфортабельным барахлом. С недоверчивым удивленьем они трогали эти самосветящиеся во тьме штепселя и хитроумные приспособления для ставен, закрываемых изнутри, тискали заветную кнопку, которая на расстоянии открывает калитку. Бюргер жил на пределе материального благополучия, когда, поддавшись желанию еще большего, он ринулся за Вислу грабить белорусского мужика. Вот как выглядит в наши дни сказка о разбитом корыте. Солдат советской оккупационной зоны увидел на примере, что бывает, когда богатства нации скапливаются в руках немногих: они обращаются в жир, который дурит и душит страну, и она в бешенстве бросается на соседей грызть им горло, и тогда ее бьют по чему придется, пока не присмиреет...

Последние полвека обнищалая духом Германия бюргеров и гросс-бауэров все умственные усилия прилагала на улучшенье своего хлева, ибо о назначенье жилища судят не по качеству отделки, а по тому — кто обитает в нем. Бюргер трудолюбив, аккуратен и строг; мне казалось, что и цветы-то в их крохотных палисадничках растут единственно под страхом телесного наказания. Он отличный каталогизатор; дай ему власть, он немедля перенумеровал бы все явления природы, леса и облака, горы и невинных букашек. Он и во сне-то не спит, а все обдумывает, как бы улучшить красоту вселенной; чуть утро, глядь — уже готова пивная кружка с музыкой, пока пьешь, либо чайник, который разговаривает, либо солонка в виде писсуара. Так создалась в Германии разветвленная сеть больших мастеров на мелочишки,— стоит только вспомнить разнообразие вывесок в Берлине. Это как раз те самые специалисты по левому и правому уху, над которыми зло смеялся В. О. Ключевский. Все эти смешные качества становятся страшны, будучи пущены в дурное употребление. Тот же самый немецкий работяга, в средние века изобретший *воротник мизерикордии* или *нюрнбергскую мадонну* с ножами внутри, ныне изобретал для Бухенвальда новейший пыточный инструмент, а в передышках пил пиво и, гладя по

головке девочек-двойняшек, поучал семейство, что в Германии все должно быть непременно первого сорта. И верно, уж если Крамер — так всем крамерам крамер; уж если, к примеру, гвоздь, так уж наилучший в мире, отъявленный, так сказать — идеальный платоновский гвоздь, гвоздь, проверенный в лабораториях Сименса и Круппа специалистами с докторскими званиями, ультрагвоздь. Естественно, полувековое восторженное созерцание такого совершенного гвоздя должно было наложить известный отпечаток на психику и внешний облик данной особи. Эти гвозди, размножавшиеся с инфузорной резвостью, и были вбиты во множестве во все свободные точки, шляпка к шляпке, на манер того, как в статую Гинденбурга вбивали гвозди в период первой мировой войны,— живого места не осталось в Германии, и неба не видать, и плюнуть некуда. И когда был вбит последний гвоздь и наступил, как говорится, апофеоз цивилизации, тогда произошло некоторое замешательство нации: как дальше быть, куда гвозди девать? Неплохой урок для всех, кто культуру отождествляет с никелированным ширпотребом и в изготовлении патентованных гвоздей полагает высшее призвание Человека.

Бюргер устроен по принципу арифмометра, в котором все процессы совершаются механически, так что, когда нащелкаются все пять девяток, в машинке начинается суматоха шестерен, потому что дальше знаков нет, а мыслить диалектически оная машинка не приспособлена. Тут-то из-за стола мюнхенской пивной и поднялся благодетель Германии Адольф Гитлер. «Раз именно в Германии произошло сошествие на землю божественного гвоздя,— сообщил он притихшей аудитории,— значит, именно она, избранная превыше всего, Германия, и призвана к великой исторической миссии размножать во вселенной помянутую железную благодать. Оглянитесь на отсталые славянские и англосаксонские народы, которых природа не оделила таким гвоздем. Поэтому вывалимся скопом за рубежи и освободим от человечества энные пространства, чтобы было где и потомкам нашим гвозди вбивать!»

Приблизительно так, по-моему, началось все это. К тому времени на смену королям и императорам, давно стремившимся ухватить Европу за горло, пришли владыки иного рода. Мы осмотрели громадный замок одного такого,— знаменитого фабриканта зубопрохлаждающих специй под общей вывеской — Хлородонт. Хлородонт, товарищи, это тоже гвоздь всегерман-

ского масштаба: ну кто же не знает Хлородонта! У Хлородонта двадцать садовников холили и подстригали парк. У Хлородонта карамбольный биллиард в гостиной, а в прихожей выстроились шеренгой, как здоровенные лакеи, метровые бюсты Вагнера и Шиллера, Бетховена и Гете. Те, прежние, коронованные, получившие хотя бы и домашнее образование, понимали по крайней мере, что на мир у них руки коротки; Хлородонт же нетерпелив и жаден, как и подобает выскочке. Мошна велика, умишка мало, одно слово: Хлородонт!.. Если прибавить сюда неутолимую жажду реванша плюс потрясенную промышленными кризисами экономику и величайшее невежество в отношении соседей, из которого проистекли презренье к людям иной крови и, следовательно, уверенность в легкой блиц-победе,— неутруднительно было и раньше сообразить, куда выводила эта дорожка. Можно было также предвидеть и пораженье, потому что немыслимо, в конце концов, помирать за гвоздь!

Теперь бездомная мокрица бродит по дорогам Германии, от одного каменного нагроможденья к другому. Вкруг чего теперь объединяться германскому духу, во что рядиться омерзительному тевтонскому культуртрегеру? Миф повержен, и победители прошли по нему ногами. Исторически недолго пожила, хоть и много натворила бед, серая тварь в эсэсовской униформе... Но мне не жаль разрушенных галерей и феодальных замков, соборов и дворцов, превращенных нацистами в тюбики для Хлородонта. Новые люди, которые пока гоняют кубарики среди развалин да виновато улыбаются красноармейцам, когда те дарят им конфетку, построят на голом месте здания, более достойные людского племени и соответственные духу наступающей эры.

Тем легче будет им это, что не вся Германия была отравлена наркотиком фашизма, хотя, к несчастию Германии, именно бюргеры и гросс-бауэры оказались в те годы ее ведущей силой. Есть еще другая Германия, немногочисленная пока Германия тех, которые в годы наивысших гитлеровских успехов, в одиночку, боролись с фашизмом. Я имел время перелистать лишь десяток гестаповских следственных папок о таких смельчаках, куда подшиты, кроме материалов дознания, их рукописные листовки и счета по расходам на казнь; по фашистским порядкам семья осужденного обязана была оплатить труд палача и погребенье казненного. Советский боец

Марк Шапиро подарил мне в гитлеровской канцелярии простенький, видимо, сорванный с груди безвестной жертвы, значок с неумелым изображением красноармейца и немецким девизом — с Лениным вперед. Этим людям, живым и мертвым, как бы мало ни было их пока, принадлежит демократическая будущность Германии.

Ирма еще не плачет, но слабое и неопределенное пока движение намечается уже в народной массе. В промышленном городе Хемнице, где на 260 000 жителей приходится 65 000 рабочих, не так давно позвонили военным властям о каком-то необычном для нынешней, затихшей Германии шествии. Советский комендант отправился взглянуть по долгу службы. Тысячная толпа двигалась по центральной улице в направлении к нашей комендатуре, и посреди ее плясал голый, весь до макушки заплеванный человек. Ему играли на аккордеоне и придерживали на арканах, так что плясал он не по своей воле. Это был только что изловленный гаулейтер Саксонии, личный друг Гитлера, Мучман. Факт, разумеется, любопытный, но вряд ли следует перегружать его пока особыми смыслами. Что это? Естественное озлобление на свергнутый режим, доставивший Германии неисчислимые бедствия, или же безоговорочное, всенациональное отречение от вековой мечты о завоевании мира? Победителям Германии следует быть осторожными в сужденьях.

Все неясно пока, как в этом скучном осеннем дождике, что моросит сейчас над Германией. Саженные леса шпалерами, как по команде хальт, стоят во всю длину нашей дороги. Все в порядке, будто ничего и не было. Но изредка промелькнет штабель аккуратно сложенного битого военного железа, подготовленного к отправке на переплав, да еще вспыхнут, как пламя в тумане, красные, одетые цветами, могилки наших товарищей по славе и победе... Наконец-то Эльба и Дрезден, когда-то — славянский городок Дражданы. Машина проходит через центр, до такой степени искрошенный последнею американскою бомбежкой, что вряд ли что-нибудь здесь подлежит ремонту. Пусто, как в Помпее. Невозможно распознать, чем все это было во времена курфюрстов, нескольких Августов, тащивших сюда сокровища со всей Европы. Вот что сделал из Германии последний ее правитель. Здесь сохранился лишь постамент от памятника — Мартину Лютеру, которого сшибла наземь взрывная волна. Красноармеец влез на пьеде-

стал, пока его приятель возится внизу с фотоаппаратом. Когда-нибудь Мартин вернется на свое место, но где-то на стене воронежской избы сохранится фотокарточка, и на ней будет улыбаться хороший русский парень, снявшийся во всей своей армейской красе посреди немецкой Флоренции, как когда-то именовали Дрезден...

Лютер лежит безрукий, на боку. Он как бы отвернулся от неба, потому что и небо отвернулось от него. Рядом стоят его медные сапоги. В зеленоватой глазнице скопилась дождевая вода. Он как бы плачет. Не верю тебе, Мартин Лютер. Небось и поверженный ты еще полагаешь втайне, что немецкий гвоздь самая превосходная штука на свете!..

1945

НЮРНБЕРГСКИЙ ЗМИЙ

Следуйте за мною, я поведу вас в здание Нюрнбергского суда. Мы двинемся из «Гранд-отеля» прямо на северо-запад, вдоль бесконечной шеренги фантастических развалин. При виде их плохо верится, что еще недавно сюда ездили паломники полюбоваться на домик Дюрера и витражи Гиргшфогеля. Нет у нас дорогих воспоминаний в Нюрнберге: ни Дюрер, ни Меланхтон не сумеют обелить позднейших прегрешений Нюрнберга; потому нас не тронут эти битые черепки и нечесаные космы рваной арматуры.

Нам придется идти долго, пока не станет тошно от зрелища опустошения и встречных теней, которые будут опускать перед нами дряхлые, тысячелетние глаза, чтобы взглядом не прожечь на нас одежды,— идти, пока не остановит часовой. Это случится возле громадного серого дома с дверьми, как могильные плиты. Американский солдат искоса взглянет на полосатый пропуск и бросит сквозь зубы: «О'кей». Потом нас поглотят лабиринты коридоров и лестниц, полные простудных сквозняков и людей, со всех концов мира притащивших сюда вороха протоколов и улик. К десяти утра все займут отведенные места, и тогда вступит в действие сложный механизм Международного Военного Трибунала.

Пока не ввели обвиняемых, оглядите просторный зал. Здесь и в сумерки стоит ровный электрический полдень: ничто не ускользнет от внимания судей. Смотрите, над дверьми еще от прежних времен сохранились эмблемы правосудия — весы Фемиды и библейские скрижали с правилами общественного поведения. Сегодня они читаются несколько иначе, чем в Моисеевы времена: «Не убий, не укради труда брата твоего, не пожелай добра соседа твоего, ни хлеба и нефти, ни жиз-

ненных пространств его,— и тогда не постигнут тебя фугаски возмездия, или сиротство и слезы — малюток твоих, или сердца народа твоего — горькое разочарование разгрома!» Несколько ближе, на том же уровне, два голых бронзовых парня с мечом и ликторским пучком — образы воинствующего фашизма — стерегут большой гербообразный барельеф. На нем изображено грехопадение Евы. Хитрый змий обвил древо познания, и женщина уже взяла в руку яблоко непрощаемого греха...

В глазах европейца эта картинка должна приобрести теперь особое символическое значение, если только на место Евы подставить самое Европу. Для полноты впечатления надо припомнить сейчас географию гнусных событий, происшедших в Германии за последнюю четверть века. Если трем именитым нюрнбержцам — рыцарю Мартину Бегаиму, Христофору Деннеру и Петеру Генлейну — история соответственно присваивает изобретение глобуса, кларнета и часов, то нынешний, догола раздетый бомбардировками город Нюрнберг останется в памяти потомков только как родина неплохого местного вина, фаберовских карандашей и — в первую очередь — фашизма.

Именно из здешней каменистой почвы вырвались первые языки дьявольского пламени, в короткие сроки пожравшего пол-Европы. В ста сорока километрах южнее Нюрнберга и почти на том же меридиане расположен другой фашистский город — Мюнхен. А на расстоянии трехсот пятидесяти километров к северо-востоку лежит нынче в серых каменных лохмотьях город Берлин. В этот треугольник и вписана, по существу, вся преступная биография Адольфа Гитлера и его банды, которую сейчас введут в зал под охраной тринадцати рослых американских парней.

Над покойником принято перечислять главнейшие этапы его жизненного пути. Признаемся кстати: приятно поговорить над свежей могилкой такого мертвеца. Нюрнберг был, так сказать, начальным очагом всех европейских бедствий. Здесь находилось здание имперского партейтага, здесь созревала теория империалистического паразитизма, отсюда, пока вполголоса, Гитлер бормотал Германии свои подлые обещания свернуть шею всей негерманской части человечества. Отсюда заговорщики рванулись к власти на Берлин, и в ту пору мы навсегда запомнили истерический, уже во всю глотку, визг фюрера, портивший все радиоприемники мира. В этой столице бредовая мечта о завоевании планеты приобрела облик реаль-

ной угрозы. Но впереди был еще Мюнхен, за которым расстилалось уже свободное поле для надмирного владычества. Здесь-то и приняла Европа кровавое яблочко Гитлера.

Не будучи провидцами, мы, однако, могли бы полностью привести блудливые и темные речи, которые в те дни змий нашептал в ухо женщине. Чаще всего там употреблялись слова: Россия, Восток, славянство, революция, Азия, еврейство, большевизм, Советы — обычная и скудная октава всех фашистских шарманок мира. Вскорости после того Европа захрустела в кольцах гада. Мы еще не подсчитали, сколько мир потратил денег, металла и молодых жизней, чтобы вогнать фашистскую заразу назад, в нынешнюю нюрнбергскую берлогу.

Про Мюнхен мы напомнили не затем, чтобы испортить ленч какому-нибудь благородному господину, а лишь потому, что нам известна живучесть искусителя. И верно: гадина схвачена за горло, и вставлена туда стальная распорка, и вырван ядовитый зуб,— теперь это просто длинная кишка с тухлой политической начинкой, обвисшая на древе. Но, значит, еще не полностью обезврежен змий: еще сипит разверстая пасть, и все слышат, как знакомая отравленная ложь каплет из нее на землю. Опять и опять кое-где склоняется ухо женщины послушать ядовитую брехню про несуществующие козни Востока, про Россию, про прямой, простой и добрый народ, которому — так и быть, выдам эту страшную тайну! — действительно опостылело двадцать восемь лет назад жить прежним варварским порядком, где все сильное пожирает все зазевавшееся, где призванием человека считается умножение нулей на текущем счету, где за маленьких вступаются, лишь когда их убьют сто тысяч сразу, где война есть выгодное коммерческое предприятие, где помирают с голоду на грудах гниющей пищи. Величайшие освободительные добродетели народа моего ставятся ему в вину.

Кажется, на всех языках мира существует сказка про Змея Горыныча. Уж, верно, нет такой старухи на земле, чтобы не сказывала ее затихшим внучаткам в глухую метельную ночь. На высокой королевской горе змей жжет и жрет прекрасную земную красоту, нет на него ни управы, ни устрашения. Его развали мечом на части — а он срастается, руби ему по сто раз пакостную его башку — а она, глянь, вновь пристала на прежнее место. Но вот является светлый витязь из неизвестной страны, с легким святым мечом и особой сноровкой на одоление гада,— и начинается огненный поединок, и распадают-

ся смертные змеиные кольца, и ярче начинает светить солнышко в небе. Этим заветным секретцем, величайшим изобретением нашего века, которого, кстати, мы не пытаемся утаить от других народов, владеем сегодня только мы. Мы уже вступили в обетованные рубежи, и пусть прочие раскамаривают себя как им вздумается. Правда, слов нет!.. — но только этот вчерашний день уже не одним набегом пытался вытоптать наши неокрепшие сады: у нас доныне рвутся мины в полях, а наши сестры ютятся с детишками в землянках. Этого забыть мы никак не можем!

Нет, мы не гости в Германии и не паломники в Нюрнберге. Из этого злосчастного города мы хотим обратиться к женщинам земли, чтоб не допускали вредной и растлевающей лжи до своих ушей, к женщинам, от которых произойдут завтрашние поколения их поэтов, ученых и солдат. Время имеет склонность течь, история — смеяться, дети — достигать призывных возрастов. Сегодня у вас хватит собственного опыта продолжить эту мысль до конца. Если в первую мировую войну, мирясь с надвинувшимся ужасом, уже не о счастье для своих детей молили вы небо, а только были бы сыты, то еще недавно даже не о сытости шла речь, а лишь остались бы целы, пусть даже в звериной трущобке, пусть даже один на пятерых!.. Вот что наделал змий в Европе.

В этом свете поистине великую историческую миссию предстоит выполнить нюрнбергским судьям. Миллионы заплаканных человеческих глаз устремлены на них из всех углов мира. Вдовы и калеки их собственных стран ревниво будут следить за каждым их движением и словом.

...Было безлюдно в то серенькое утро у здания суда, когда мы подошли к нему впервые, но чувствовалась какая-то зловещая стесненность в этой пустоте, как будто все умерщвленное фашизмом столпилось вокруг — услышать слово воздаяния и обновленной правды. Прозорливой мудрости ждет нынче человечество от нюрнбергских судей. Однако мнится мне, что не затем только послали их сюда оскорбленные и разгневанные народы, чтоб анатомировать распластанное и еще живое тело германского фашизма, а потом предать его, разъятое на части, в архивные склепы истории. Следует, кроме того, пошарить в пасти змия, нет ли там и второго ядовитого зуба, который угадывается нами по беспрерывному истечению лжи.

В добрый час, нюрнбергские судьи! Вот они вступают на высокую трибуну правой стороны, и зал встает; верится, что

одновременно с живыми поднимаются мученики Майданека и Дахау, делегаты мертвых, которые незримо, без пропусков, присутствуют здесь. Сощурясь и чуть снизу смотрят на судей шестнадцать матерых и лукавых, в черных мантиях, нацистских сутяг, которые нашли в себе решимость защищать недавних палачей Европы. Они напряжены, как на ринге перед боем, и молчаливы пока, но это будет долгий и многословный бой права и произвола, разума и скотства, правды и лжи.

Змий еще усмехается — щелястым ртом Иодля, глазами Кейтеля, небрежным жестом Геринга, но по мере того как будет сжиматься петля обвинения, змий станет изворачиваться все ловчее и злей, скидывая с себя одну за другой прозрачные маскировочные шкурки. Он прикинется культуртрегером и мыслителем, защитником наций и избавителем Европы. Он заговорит о неподсудности правительств, потому что якобы в самом поражении заключается возмездие, о рыцарском отношении победителя к побежденным. Он произнесет бесконечно подлые, хитрые слова, начиненные политическим динамитом,— вроде тех зажигательных сигар, которые подсудимый Франц Папен пачками раскидывал когда-то по Америке. Так будет, пока окончательным приговором не вышибут дух из змия и все его двадцать голов не обвиснут разом.

В тишине шумят судейские фолианты — улики. Пока еще только бумага — не волосы, срезанные на утиль с обреченных женщин, не пергаменты из людской кожи, не фосфориты из детских костей для удобрений капусты в фашистских подсобных хозяйствах. Через внимание суда неторопливо проплывают страдальческие судьбы смежных с Германией государств, которые Гитлер, как подосиновики в роще, сбирал в грабительскую кошелку рейха. В длинных формулах, плотно сотканных из одних придаточных предложений, сквозь которые не просочится ни одна слезинка, доказывается шаг за шагом агрессивность нацистского поведения... Так, например, вторично, уже путем научного исследования, узнали мы, что Чехословакия была распята фашистами с заранее обдуманным намерением. Довольно старая новинка!.. Но мы вписываем ее в человеческую память не только для современников, осведомленных об этом из свежего газетного листа, но и для тех, кто прочтет то же самое сто лет спустя в учебниках истории. Надо хорошо укрепить грунт, где будет начертано вечное проклятие фашизму.

Так установилось у людей: вступая в зал, суд ничего не знает о преступлении и до предъявления доказательств, построенных по всем правилам юридической математики, не верит ничему. У справедливости нет ни родни, ни гнева, ни аксиом, кроме тех, элементарных, как вода и хлеб, без которых самое понятие о справедливости давно погасло бы в человеческом мозгу. Здесь факты отбираются самого черного цвета, и улики, заранее обесцвеченные от эмоциональной окраски, взвешиваются на аптекарских весах правосудия, прежде чем станут материалом для приговора. Значит, процесс судопроизводства будет очень длинный, хотя для немедленного предания смерти этих высокообразованных негодяев достаточно было бы рассмотрения повести о любой девчоночке, брошенной живьем в крематорий Освенцима.

Уверяют, будто целых девять тонн обвинительных документов имеется у международной прокуратуры. Все самые святые книги мира не весят столько... Но хорошо, мы будем слушать всё, мы обрекли себя на это. Чем больше улик ляжет на шею злодейства, тем глубже уйдет оно на дно. Подчиняясь течению процесса, я сам хочу забыть все представления, которые сложились во мне об этих людях. Нет, я не читал газет за эту четверть века, не стоял с мокрыми глазами на развалинах Чернигова и Пскова, не ходил по человеческому пеплу Бабьего Яра, не держал в руках обгорелого детского башмачка в Бельзене, откуда уходишь шатаясь, как пьяный, стыдясь своего человеческого естества. Я впервые слышу про Адольфа Гитлера и не хочу знать пока, что такое Дахау — вулкан в Америке или имя какого-то четвертого нюрнбергского рукодельца, осчастливившего человечество изобретением клозетного прибора с музыкой.

Мне нужно заново перелистать историю страшного заговора и, независимо от моих личных привязанностей или антипатий, вынести суждение о злодействе. Кроме того, отправляясь в Нюрнберг, я дал себе зарок не браниться, как прежде, по адресу преступников войны. Правду не украшает и самая меткая ругань, а презрение невольно умеряет былую ярость. Каждый гражданин моей страны испытывает к этим людям то же чувство и в той же мере, что и я, и у меня не хватает дарования усилить его в двести миллионов раз.

Итак, я стремлюсь быть точным. Они рассаживаются в пятнадцати шагах от меня, желтые, поношенные, седые. Они отличались спортивной жизнерадостностью, когда составляли

инструкции по германизации Европы или план Барбаросса; линять они начали, лишь завидев собственный конец. Эти уже не чета рядовым палачам Бельзена и Освенцима; тут не плебеи — не простые громилы, подводные пираты и потрошители, но мастера, аристократы, теоретики своего дела. Звериная хитрость, этот разум подлости, светится у каждого в глазах, и любого из них дьявол взял бы себе в министры.

Есть странная, всякому известная, почти гипнотическая увлекательность в созерцании гада, когда хочешь и не можешь оторвать от него глаз. И вот мы часами смотрим на этих земноводных, стараясь прочесть их нынешние мысли. Но гадина живет в земле и стремится увернуться от человеческого взора, как бы стыдясь наготы своей и пакости, а эти господа ведут себя с показной и непринужденной изысканностью, как на дипломатическом рауте, будто они здесь сами по себе, а янки с дубинками и полуметровыми пистолями вокруг них — всего лишь дворецкие, расставленные там и сям с чисто декоративной целью. Изредка, впрочем, вспомнив о том, что каждая такая вечеринка когда-нибудь кончается, они начинают заниматься душеспасительным дивертисментом на тот случай, если кто-нибудь поблизости понимает немецкий язык.

«Кто же это придумал такие зверства с евреями?» — осведомляется Бальдур фон Ширах у Геринга, и тот отвечает оному Бальдуру с сокрушенным пожатием плеч, что, дескать, это бродяга Гиммлер напаскудил столько на их неповинные головушки. Их здесь только двадцать. Как острят наши в Нюрнберге, Крупп фон Болен — болен, а Лей заблаговременно сбежал на тот свет, как и трое главных заправил германского рейха.

А жаль, дорого дал бы мир за то, чтоб хоть пальчиком их коснуться... Зал залит жестким светом; многие из этих фашистских полубогов надели темные очки для сохранения глаз, хотя им глаза уже не очень потребуются в дальнейшей деятельности. Кое-кого из этих поганцев можно и теперь еще узнать по фото, раскиданным по газетам и журналам в пору их блистательного величия. Окинем их последним взглядом, прежде чем до завтра оставим зал суда. Вот Герман Геринг, с перстеньком на руке и лицом притоносодержательницы. Всласть попила человечьей кровицы эта мужеобразная баба. Разумеется, сие не надо понимать буквально. Кто же сможет выпить сырьем целые озера липкой и темной жидкости, выцеженной из обитателей пол-Европы? Но ее перегоняли в

государственной германской реторте, путем длительных операций, в концентраты пищи, роскоши, боеприпасов, которые точно так же являлись деликатесами для этих тщеславных душ. Сидя в просторном, с запасом на пузо, мундире, который висит на нем, как пижама, он все записывает что-то: видимо, готовит нечто вроде самоучителя по международному разбою.

С ним рядом Гесс, с Адамовой головой, как на аптекарской склянке с ядом. Уже теперь это карикатура на самого себя. Правда, он осунулся, будто у него туберкулез, но имеются все надежды, что ему не удастся умереть от туберкулеза... Дальше следует Риббентроп, утративший вконец свою прежнюю мужскую прелесть: мешки под глазами, и брови взведены, как у балаганного пьеро. Скоро он будет выглядеть еще хуже. С ним сейчас беседует, наклонясь из второго ряда, Папен, старый вредитель и основатель шпионских баз в разных странах мира. Эта лиса с неандертальским лицом много в свое время проточила дырок в обороне США. У него и теперь приятели везде остались: в Турции до сей поры скулит по нем осиротевший Ялчин.

Посмотрите также и на Фрика — стриженое и тощее животное, вроде меделянского пса, со злыми черными глазами. Он все жует, а в антрактах откровенно шепчет проклятия... Вот поднялся с места Шахт, старый пифон с ликом совы. За ним — Штрейхер, который судился двенадцать раз за все виды распутства. Пока мы разглядывали этих, остальных уже увели. Оставим их до завтра.

Я рад, что в этих описаниях мне удалось быть точным и избежать прямой брани. Я не знаю, как поступят с ними дальше — публично повесят возле рейхстага, или проявят милость присуждением расстрела, или, по способу Геринга, положат на спину и рубанут по шее, так что до последнего мгновения будут видеть они топор возмездия,— я знаю только, что для всего живого на земле — они уже мертвецы.

Во изменение латинской поговорки, старый Бекон советовал говорить о мертвецах или ничего, или правду. Я сказал правду. Конечно, это еще не некролог. Некролог будет позже. Он будет иметь видимость осинового кола. Мы вобьем его по правилам народной приметы, чтобы острие прошло через черное сердце вурдалака, и притопчем землю вокруг. И будет проклят этот клочок земли до скончания веков, пока ходит солнце в небе и радуется ему хоть один человек на земле!

1945

ЛЮДОЕД ГОТОВИТ ПИЩУ

Время в Нюрнберге измеряется количеством документов, оглашенных обвинением. Сегодня был прочитан сто сорок третий, и неизвестно пока, на сколько частей разделен нюрнбергский циферблат. Мы знаем лишь, в какую сторону движется время Трибунала. Когда судейские папки будут исчерпаны, зал опустеет, и все разойдутся отсюда: одни — чинить исковерканный лик земли, другие — в могилу.

Одним преступникам известно, как громаден список их злодеяний, и, видимо, это внушает им веру в бесконечную отсрочку кары. Они зевают и гладят усы, шепчутся, вспоминая минувшие дни, где вместе рубили они, или знакомятся с мировыми новостями из-за плеча защитника, который предупредительно развернул перед собою газету. Это не мешает им с одинаковым интересом слушать речи обвинителей. Убийце всегда бывает любопытно, как звучит его мокрое дело на мудреном юридическом языке...

История не раз оглянется на процесс в Нюрнберге, и потому никогда судебная наука не выступала во всеоружии таких точных аргументов и беспощадных улик. Юридическое слово объемлет преступление, как гипс, и слепки тем лишь отличаются от оригиналов, что не извиваются в смертных муках, не смердят горелым детским мясом. Все это пока лишь пища для ума, но не сердца, в зал еще не внесли пылающих и окровавленных трофеев фашизма. Оттого-то слишком уж бесстрастна эта тишина и спокойны обвиняемые, и зачастую пусты места мировой прессы, которая, как всегда, больше занимается описанием взгляда, каким Герман Геринг прово-

дил пригожую девицу из подсобного судейского персонала, чем обстоятельным рассмотрением очередного документа.

Единая черная тема, как ночная тьма, объединяет эти бесчисленные и разнообразные улики. Они обступают нас подобно дремучему лесу, где еще недавно бродил зверь и навзрыд кричала жертва. Когда упал сюда солнечный луч, стало ясно, что все деревья здесь одной породы и любое годится на виселицу. Тут и поучительные записки Госбаха с изысканиями, как проводить максимальные захваты с наименьшими издержками, и директивная лекция Иодля имперским гаулейтерам, и архивы гитлеровского адъютанта Шмундта, раскопанные в погребе близ Берхтесгадена, и обстоятельное руководство о пользовании душегубками, и меморандумы фюрерских бесед со сподручными, и планы — зеленые, красные, всех цветов, планы об атаках во все стороны мира. По горькому опыту мы знали и раньше о подлинном лице нацистской Германии, но только теперь становится ясным, какая чудовищная фугаска зрела в эти годы на всеевропейском огороде.

Документы, оглашенные в речи американского обвинителя, полностью обнажают змеиную мудрость наглецов, на которой была основана германская стратегия безотказного действия. Высшее образование пригодилось фашистским господам, но страшно, когда человеческая культура становится рабыней подлости. Здесь помянуты и пунические войны, и варварские достоинства Чингисхана, рассмотрена эволюция христианства и взвешено Британское государство, не забыты ни войны Фридриха, ни военные упражнения Бисмарка. Здесь можно найти по-немецки самоуверенные суждения о врагах и старых приятелях — вроде того, что «ни в Англии, ни во Франции нет людей того масштаба, как у нас» [1] (причем это определение Гитлер высказал едва год спустя после Мюнхена), или — что «после смерти Кемаля Турция управляется мелкими душонками, слабыми людьми» (тот же документ, разговор Гитлера с главнокомандующим 22 августа 1939 года).

При этом поражает ясность мышления убийцы, и, наверно, сам Раскольников не обдумывал с такой тщательностью убийство своей старухи. Планы нападения на мир составлены с хладнокровием, обстоятельностью и с привлечением исто-

[1] В оригинале сказано крепче.

рических сведений об экспансиях прошлых веков, в них рассмотрены всевозможные варианты побед, но не поражений. Разумеется, смертоносный заговор был замаскирован здесь в отвлеченную штабную формулу, на которую немцы всегда были великие мастера. В этом свете, к примеру, удар финкой между лопаток выглядел бы приблизительно так — «ввести инструмент германской воли с внезапностью и в темпе, который обеспечил бы действенное проникновение к жизненным центрам противника, достаточное для парализации его сопротивления».

Внутреннему содержанию этих документов, написанных с ледяным сердцем и подписанных безжалостной рукой, соответствует и внешний стиль их. Это тон абсолютного превосходства, и стоит привести несколько образцов, чтобы наглядно показать, что только ничтожество может вещать голосом такого неестественного тембра. «Я принял решение раз и навсегда». «Я обладаю твердой волей принимать жестокие решения». «Наша цель — уничтожение жизненных сил Польши, а не только завоевание ее пространств...» Нет, эти деляги хорошо знали все наперед и не могут теперь винить судьбу в несправедливом обращении с ними. «Всякая экспансия идет параллельно с подвержением себя риску», или — «Несомненно, многие миллионы умрут от голода (в России!), если мы вывезем те вещи, которые нам необходимы». Но самый живительный афоризм Адольф Гитлер подарил немцам все в том же разговоре с главнокомандующим, и можно представить, с каким трепетным изумлением впитывали академики войны эти ефрейторские откровения, которые и в каменном веке выглядели бы довольно плоско. «Все зависит от моего существования. Никто и никогда не будет в такой степени обладать верой германского народа, как я. Мое существование — фактор величайшего значения». Что ни говори, а в этот денек фюрер был в ударе!

Дальше оставалось лишь возведение себя в ранг божества и вознесение на тридевятое небо, откуда его со временем и повергла Россия, смывшая огнем его неприступные бастионы и обратившая наземные полчища в колонны голодных и плакучих бродяг. Но, значит, именно в ту пору имелись у этого господина с чаплинскими усиками какие-то удачи позади, от которых он одурел в такой безнадежной степени. Мемель и Судеты не были такими кусками, чтобы насытить желудок людоеда; австрийская операция была лишь промежу-

точным шагом к овладению Центральной Европой. Нужно было подвести волчью челюсть с юга под Чехословакию и с устрашающим хрустом замкнуть ее на глазах у почтенной публики. Это и было проделано. Как тут не взвыть от ликования! Теперь наглость могла безнаказанно смотреть в лицо демократиям мира. Если они промолчали при прежних, легкоатлетических фортелях, они стерпят и последующие номера уже окрепшего, нарастившего себе мускулы гиревика, вооруженного железной штангой и хватившего такую чарку кровавого шнапса.

Овладение Чехословакией явилось плодом длительного и хитрого расчета. Германские правители давно вопили, что данная страна провоцирует их, и это было в той же степени верно, в какой ягненок может раздражать волка нежностью своего вида и сытностью мясца. Я несколько усиливаю это сравнение американского обвинителя — не затем, чтобы умалить внушительный военный потенциал Чехословакии, а для надлежащего представления о размерах и аппетитах хищника. Однако германские штабисты понимали опасность длительной и своевольной игры с мирным соседом. Следовало поэтому втереть кому надо очки, взмутить воду, поставить всемирную дымовую завесу над Чехословакией. У деревенских коновалов существует такой древний деревянный прибор — «лещетка», которым выкручивают до боли губу коня, чтобы отвлечь его внимание от короткой, но мучительной операции. Вот Европу и взяли в лещетку. Ей снова крикнули на ухо про русский большевизм, как кричит ворье про пожар на театральном разъезде, собираясь чистить карманы простофиль. Прием достаточно устаревший, но до сей поры не вышедший из употребления. И пока окосевшая Европа тупо взирала на спокойно-величавые башни московского Кремля, нацистские хирурги исполнили свою черную работу.

Даже теперь, когда все в прошлом, трудно охватить полностью эту кинжальную последовательность гитлеровских мерзостей. Дело началось с нескольких фашистских яичек, брошенных из Германии в Судетскую область Чехословакии. И без того питательную эту среду дополнительно сдобрили соками из германского казначейства. Скоро из яичек вывелись червячки с Конрадом Гейнлейном во главе, первые судетские штурмовики, принявшие 21 пункт нацистской программы. Вначале эта кучка отрицала свой пангерманизм, но уже к 1937 году открыто загорланила о праве чехословацких под-

данных исповедовать «германскую политическую философию». Этот Гейнлейн, которого забыли своевременно обратить в навоз, и был кончиком ножа, уже вдетого под местной анестезией в тело Чехословакии. Под его началом в Судетах множились гребные клубы, хоровые кружки, где пели фашистские псалмы и учились стрелять по чехам. Близилось время, когда эта коричневая нечисть построится в добровольческие корпуса, которые Кейтель секретным приказом подчинит Гиммлеру.

А впрочем, к Чехословакии или к Европе была применена эта местная анестезия? Чехословацкие патриоты предупреждали мир о зловещей судьбе своей родины. Но Западная Европа молчала, словно некому было прекратить эту войну нервов, пытку ужасов, этот нестерпимый круглосуточный барабанный бой под окнами страны... Германия уже открыто браконьерствует на суверенной территории соседа. «Руководители рейха,— как сказано в обвинительном документе,— проявляют живой интерес к сведениям разведки о состоянии Чехословакии». Немецкий военный атташе рыщет в пригранично́й полосе, подыскивая аэродромы, пока, поселившись у промышленника Мазхольдта, не находит их во Фрейдентале. Гестапо каждую ночь вывозит в Германию, с кляпами во рту, тех, чьи жизни портят пищеварение Адольфу Гитлеру. По существу, сценарий уже готов, и режиссеры в немецких мундирах приступают к постановке самого лютого фильма в истории земли...

Итак, Прага на мушке. Подготовлены железнодорожные составы и орудийные площадки, даны задания четырем германским армиям, которые в должный час хлынут за горные рубежи. Уже условлено с Геббельсом, какой ложью надлежит одурачить совесть мира с радиостанций Вены, Мюнхена и Бреслау. Составлены таблицы возможных нарушений международного права с конкретными примерами, вроде уничтожения британского посольства при бомбежке чехословацкой столицы. Будущий гаулейтер Нейрат зубрит, как будет по-чешски — «повешу», «на колени», «расстрелять». Уже предлогом для нападения, по совету Кейтеля, избрано убийство германского посла, которого застрелит подходящая сволочь, чтобы через минуту быть самой расстрелянной. Не решено пока, утренние или вечерние часы удобнее для вторжения: Гитлер ждет благоприятных астрологических предзнаменований.

Время от времени эти махинации притеняются беседами или договорами с соседями о взаимных уважениях. Разъездной шантажист и усыпитель Риббентроп носится по столицам мира с коммивояжерским чемоданчиком, в котором болтаются охриплая пластинка о кровожадности Москвы да склянка с дипломатическим хлоралгидратом, испытанным зельем, каким усыпляют разинь в поездах дальнего следования. Вечером тем же пером, которым был подписан очередной пакт, он пишет Кейтелю,— готовьтесь, готовьтесь, пока действует снадобье, от которого прочно спится! Сам Гитлер то и дело выступает с песенкой — «спи, моя детка, усни», и она звучит теперь, как колыбельная убийцы над кроваткой жертвы. Спите, миленькие, мы вас не тронем. Наши дальнобойные пушки и эсэсовские ангелы в голубых ризах охранят ваш сон от монголо-славянско-еврейских замыслов Москвы. И вот мир спит, великий храп стелется по планете, пока не разбудят эту напрасно спящую красавицу скрежет немецких танков на Марне и грохот фау над Темзой. Пусть дело было не совсем так: надо же чем-нибудь объяснить до поры грешное бездействие тогдашних западно-европейских правителей, считавших себя стражами мира и политической морали.

— Мы не можем переделать истории Мюнхена,— с печалью произносит американский прокурор, кажется, впервые называя это слово на заседаниях Нюрнбергского Трибунала.

Затем события валятся на нас, как из короба, и пусть историки на досуге размещают их в стройном хронологическом порядке. Германские правители бредят уже о надмировом владычестве. Им мало питательного супа из еврейских младенцев. Главноначальствующий людоед со свастикой на рукаве составляет себе меню на несколько лет вперед — рагу из Чехословакии, отбивная из Польши, солянка из Норвегии, пилав из французского петуха, окорочок из неубитого северного медведя, в берлогу которого он и сунулся года три спустя. Риббентропа уже не хватает. Адольф сам принимает участие в сговорах. Встретясь на пароходе «Патриа» с Хорти, Имреди и другими людоедами районного масштаба, он предлагает им долю в будущем пиршестве и бросает фразу, ставшую крылатой на Нюрнбергском Трибунале: «Всякий, кто хочет участвовать в обеде, должен принять участие и в приготовлении пищи». Они расстаются закадычными друзьями, хотя на прощанье Гитлер, наверно, прикинул на глазок, какого качества

рассольник выйдет со временем из этого сухопарого сухопутного адмирала.

Близ этого времени следует несколько предварительных перелетов Чемберлена с острова на материк, которые завершаются знаменитой встречей четырех — Чемберлена, Даладье, фюрера и уже немножко несправедливо забытого всеми Муссолини, того Муссолини, который шесть лет спустя будет покабаньи головой вниз висеть в Милане, с десятком пуль, размещенных в разных частях его туши. Кажется, это была превеселая вечеринка, с которой Кейтель воротился в подпитии близ пяти утра и на которой, по существу, Чехословакию просватали в котел людоедам. То был свежий сентябрьский рассвет, и баварские рощи отливали багрецом, точно обрызганные чужой кровью... Далее появляются надменные приказы: «Я решил», «Я найду политический предлог для молниеносного удара», «Я принял непременное решение разбить Чехословакию путем военных действий».

Все же осторожность не мешает. Умнее будет — предварительно отгрызть Словакию в том месте, где она тонкой осиной талией, по изящному выражению Иодля, соединяется с Чехией. И вот рано утром в Братиславу со свитой из пяти угрюмых, непроспавшихся генералов прибывает Зейсс-Инкварт, известный нам по четвертованию Австрии. На экстренном заседании правительства он объявляет сиплым голосом Бюркеля, что «Словакия должна немедленно объявить о своей независимости (то есть о разрыве вековечных уз с братским народом!), иначе Гитлер совершенно не будет интересоваться ее судьбой». В переводе на человеческий язык это означает, что мелкие тогдашние венгерские и польские людоеды, которые недвусмысленно точат поварские ножи и раскладывают костерки вдоль границы, немедля примутся за дело. Это то самое дело, по поводу которого Хорти телеграфировал Гитлеру — «ваше превосходительство может рассчитывать на мою вечную благодарность». Тисо катит в Берлин подписать гитлеровскую цидулку. Так бывает только у балаганных факиров: мирное государство накрывается стальной чашкой — эйн, цвей, дрей, и вот уже под чашкой — чистокровный рейх! Лишь тогда приспело время вызвать в людоедское логово чешского президента Гаху. Надо кончать когда-нибудь чересчур затянувшийся водевиль. Сей глубокий Мафусаил, утративший все чувства, кроме зрения да слуха, еще сгодится выслушать резолюцию фюрера и поставить свое имя под бесстыдной фаль-

шивкой. Его сопровождает министр Хвалковский, тоже вполне бесславная личность. Глухая ночь, и как медленно плетется воздушный извозчик! Эх, спать бы да спать старику, а тут эти непрестанные государственные заботы!..

Гаху вводят в кабинет рейхсфюрера. Все троится в глазах старика. Гитлер, стоя, барабанит пальцами в стол. Позади него, чуть в тени, Риббентроп, Кейтель и еще какой-то тучный, трехголовый господин в фельдмаршальском мундире: понятые! Время дорого, и это не обычный дипломатический демарш, а разговор с пристрастием, сопровожденный серией иронических усмешек, гипнотических взоров и зубовного скрежетания.

— Я знаю, вы стары,— сухо начинает фюрер вместо извинения за потревоженный покой старца. — Но наша беседа может принести пользу вашей стране. Я благодарен мистеру Чемберлену (за Судеты!), но я не могу отступать за границы моего терпения. Лондон и Париж не интересуются Чехией в данный момент. Я не тронул бы вас, но я вынужден защищать Германию. У вас чрезмерная армия, являющаяся бременем для государства. Видимо, у Чехии имеются внешние интересы?

Его голос усиливается до зловещего визга, дребезжит абажур на столе, и сам Геринг дивится этому леденящему голосу: бывает же такой адский дар у людей!

— Я прошу у вас терпения, ваше превосходительство,— шепчет Гаха, топчась на месте.

— Я жестоким образом уничтожу ваше государство, если не будут пересмотрены тенденции Бенеша. У вас считанное время. Сейчас два десять ночи. В шесть пятнадцать мои войска войдут в вас со всех сторон. Против каждого чешского батальона стоит немецкая дивизия. Я решил окончательно. Уйдите и обсудите.

Гитлер и его последователи обожали помахать револьвером на виду у жертвы, но этому старику за глаза хватило бы и полпорции такого страха. Ему дурно. Хвалковский вытаскивает бесчувственного шефа в соседнюю комнату, где врач в эсэсовской форме корректно вкладывает ему в рот горькую облатку от дрожания колен. Ах, какая глухая средневековая ночь стояла тогда в срединной Европе!

Старца вводят обратно.

— Я понимаю бесполезность сопротивления, но сомнева-

юсь, что успею отдать приказ о разоружении армии,— лепечет он, облизывая горькие губы.

Ему вставляют в руку перо, и тот же трехголовый господин придвигает огромный лист бумаги, который останется в истории актом величайшего всестороннего предательства.

«Президент Чехословацкой республики с полным доверием вручает судьбу чешского народа и чешского государства в руки фюрера и рейхсканцлера Германской империи».

— Ну, подписывайте — и бай-бай,— сердясь, шепчет Геринг. — Иначе пол-Праги будет обращено в руины за два часа. Остальное я доделаю после. Ну же, ничего страшного: вы войдете в состав рейха, и фюрер дарует вам новые формы существования.

И Гаха, которому история в обмен на его уже выпитую жизнь предлагала бессмертие, исполняет приказ, хотя известно, какие формы существования приобретает через два часа тот, кто вступает в желудок людоеда. Семидесятидвухлетний кролик, кряхтя и в полном президентском облачении, лезет в пасть удава; господин Хвалковский, придерживая сзади за каблуки, пропихивает его превосходительство в вонючую могилу бесчестия. Пасть сомкнулась, сеанс животного магнетизма окончен. Через час выйдет приказ фюрера. Чехословакия прекратила существование.

Это была очередная подлая нацистская ложь для возбуждения штурмовой ярости верноподданных... Прекрасная страна кротких тружениц и строгих героев, лежащая в голубой горной чаще, полная тихих прозрачных долин, где плывет, как музыка, славянская речь, страна Китеж, Чехословакия, которую издали ровной и бескорыстной любовью дарит мой народ, не погибнет никогда. Она выжила и раньше, когда тевтонская волна бушевала вокруг наивных вагенбургов Яна Жижки, она тем более выживет и впредь, зная, в какой части Европы проживают ее честные, несколько суровые, но не суесловные друзья и братья.

Доброе утро тебе, милая чехословацкая сестра!

* * *

Я сижу в здании суда, и пока незатейливо свиваются один с другим умные завитки юридической речи, сопоставляю впечатления минувшего дня. В очередном документе мне напомнили слова Гитлера о том, что для решения жизненных задач

Германии потребуются усилия двух-трех германских поколений. А вчера пастор нюрнбергской церкви недвусмысленно внушал немецкой молодежи, в какой степени зависит от нее будущее Германии. А здешняя газетка подарила нас сегодня известием, что известный фашист Мосли с твердой и непреклонной решимостью намеревается возобновить в Англии свое дело... Я слушаю о нарушениях Германией договоров и гадаю: наступит ли время, когда и без договоров людям не придет в голову жарить ребят в крематориях и обрушивать целые вулканы на спящие города, как никому здесь на процессе не приходит, например, в голову плюнуть в ухо соседу.

Как мало надо для полного человеческого счастья и каким трудным кружным путем идет к нему человечество, хотя это счастье лежит совсем рядом, может быть — на расстоянии его руки.

1945

ТЕНЬ БАРБАРОССЫ

Сегодня обвинители молчат, слово предоставлено кинопленке.

За три часа она подробнее расскажет про вчерашние несчастья земли, чем успела выразить за три недели медлительная человеческая речь. Кроме прямых режиссеров и исполнителей, которые нахохлились в пятнадцати шагах от нас, в постановке примет заочное участие германский император Барбаросса, и, возможно, мы увидим также, как люди с восточного пространства водворили этого знаменитого верзилу назад, под могильную плиту. Пробелы придется восполнить по памяти. Глядите же, как кралась эта подлая двадцатка к престолу вселенной в потемках социального людского неустройства.

Гаснет свет, мы погружаемся в недавнюю ночь Европы. На экране председательствует хорошо упитанный и наглый, еще не слинявший Альфред Розенберг. Они все тогда были моложе во главе со своим вожаком; у него не имелось тогда еще ни армий, ни даже лишних штанов, потому что германские богачи еще не приметили из окна это выдающееся дарование. В ту пору еще росли, мужая в труде и учебе, и вы, наши владыки наземного рукопашного боя, хранители советского поднебесья, дозорные наших морских глубин, и вы, витязи в танковой броне, о которых искрошились зубы Барбароссы.

Дело начинается с молчаливых шествий по улицам южно-немецких городков... но уже кого-то оживленно лупят палкой по башке, кто-то бежит, прикрывая шляпой простреленное брюхо. И впереди, уставясь в точку перед собой, шагает будущий фюрер, весь в нашивках и ярлыках, как чемодан в кругосветном путешествии. В те годы оформлялась нацистская партия, и из его вступительной анкеты мы узнали, что, кроме

артиста и полководца, биолога и историка, он считал себя также и писателем. Так крохотные козявки вползают в зрелый плод германского государства, которому затем надлежит упасть и сгнить в безмолвии всеевропейского презренья, пока не вырастет из уцелевшего семечка новое, без стальных шипов, дерево на немецкой земле.

С обычной кинобыстротой надвигается начальный съезд в чистеньком и еще совсем целом Нюрнберге, где впервые на большой аудитории разразилась словесная истерика Гитлера. Следуют бесчисленные, строго выдержанные в дикарском стиле, факельные шествия, символические репетиции будущих поджигателей мира, и, наконец, экран заполняет жирная дата — 30 января 1933, когда Германия повергла к стопам маньяка наследие отцов и судьбу своих детей.

История переносит нас на очередное массовое фашистское радение в рейхстаге. Гесс приводит это орущее, тысячеголовое быдло к присяге на верность фюреру. Но быдло требует кровцы на радостях, и вот чернявое лопоухое существо, помесь хорька с летучей мышью, кидает ей немецкое еврейство на разговенье. Это тот самый Геббельс, заключительный портрет которого, уже в подгорелом облике, мы увидим впоследствии в фильме о взятии Берлина. Приказчики и зубоврачебные ученики в приступе тевтонской доблести деловито бьют еврейские окна. Ни одна мать в Германии не задумывается пока, чем окончится эта зловещая клоунада с парадами и кровопусканиями.

Наступает памятный вечер, на площадях рейха пылают книги. Бурши с пятнистыми от дыма рожами поют заунывные заклинания, от которых Барбаросса шевелится и приподымается в своем каменном гробу. Немцы торжественно отрекаются от культуры. Толстой и Шекспир, Ленин и Горький гневным пламенем покидают эту грешную страну. Когда переполнится чаша международного терпения, воздушные мстители без сожаления полетят на трухлявые коробки Мюнхена и опустелые книгохранилища Гейдельберга: в них больше нет святынь. Гори, старая немецкая рубаха, вместе с коричневой живностью, что поселилась в твоих швах! Отныне фюрер, провозглашенный совестью нации, дозволил все.

Черный вечер родит такое же черное утро. Громадное поле, и на нем дети, только что оторванные от игрушек, может быть миллион, вся завтрашняя Германия, плечом к плечу стоит на этом страшном поле. Все они — белокуренькие, отборной

нордической расы,— точно бесчисленные кочны капусты в образцовом огороде. Кто это, ведьма с косой, похожая на Гесса, любуется на свой будущий урожай? Нет, это сам фюрер в высокой фуражке и с опьянелыми глазами, потому что беззакатным мнится ему это утро, дает обстоятельный урок поведения немецким ребяткам. Он учит их «быть как борзые», учит «безжалостно смотреть в глаза жизни и с благоговением — в пучину смерти». Яд прочно впитывается в детские души; теперь его уже не смоют ни молитвы матерей, ни их собственные слезы, когда Россия со временем покажет им, как выглядит помянутая пучина. Они полягут все — в песках Африки, на скалах Крита, под снегами Волги. Обвиснешь на граненом штыке и ты, рыженький пруссачок, повалишься от снайперской пули и ты, толстощекий мамин любимчик, потому что и тебе низины фашистской мерзости показались вершинами человеческого мужества. Небритыми охамевшими стариками, один на тысячу, завидуя мертвым, вернутся когда-нибудь уцелевшие на развалины своих знаменитых городов, заросших бурьяном...

Но это будет потом, а пока они бьют с размаху в барабаны, вопят и маршируют таким отменным гусиным шагом, что сам Геринг, выдавая себя с головой, шепчет на своей скамье — «неплохо, неплохо». Косматые смоляные огни плещутся над бронзовыми чанами, орлы и трехэтажные хоругви со свастикой, обвитые дымом, переполняют экран. Похоже, что в эту пору Германия так и ночует на своих, уже слишком тесных для такого разгула площадях. Вот построен чудовищный нюрнбергский стадион, с которого фюрер, как из катапульты, швырнет нацию в бездну длительного исторического небытия. Миллионы будущих мертвых приветствуют главноначальствующего мертвеца; ему рукоплещут благородные старцы в котелках и нарядные дамочки, которым он уже наобещал шепотком — сибирских соболей, крымские поместья и украинских рабынь. Теперь Гитлер всюду, во всех позитурах и на километры пленки — звезда экрана и худрук постановки, рейхсканцлер Адольф Гитлер, но мертвая голова Гесса с немигающими глазницами — неотлучно, как череп на автопортрете Беклина, смотрит из-за его плеча.

Тем временем детки подрастают; «знамена крови» и другие соответственные возрасту игрушки вручает им верховный немецкий фюрер. Пока боевые корабли скользят со стапелей и воздушные эскадрильи пробными дымовыми завесами ли-

нуют небо Германии, в лабораториях готовятся чертежи костедробилок, газенвагенов и трупосжигательных печей. Идут торопливые сговоры с окрестным жульем; барыш и петля — все пополам...

С трибуны очередного съезда Гитлер с недвусмысленной ухмылкой грозится пока еще в безыменные адреса; он как бы хвастается своим топором, приглашая желающих побрить себе плечи вне очереди. И дипломатические гости терпеливо сносят эти примерки не только к их добродетельным сусалам, но и к жизням: будто это не про них! Оно и правда, не про них: по воробьям не бахают из гаубиц. Мы-то знаем теперь, кому должна была раскроить голову эта отточенная махина в миллиарды тонн. Но прежде чем дойдет очередь до России, простаки, Гитлер вдоволь наварит мыла и клея из ваших собственных сограждан! Так всегда бывало прежде — так будет до той поры, пока людская алчность толкает армии за легкой добычей.

Здесь кончается злая и порочная юность фашизма.

Годами длится словесная инъекция фюрера, от которой звереет и становится на четвереньки немецкий человек. Постепенно кристаллизуется миллионоголовая стая борзых, которую не удержишь на свете. В конвульсиях она мечется вдоль своих границ в поисках выхода за рубежи. Так сумасшедший ищет надежную стенку — раздробить себе череп. Вчерашние детки уже в полной армейской выкладке или в подводных крейсерах, или в кабинах тяжелых «юнкерсов» топят условные американские суда, шарят британское сердце в оптическом прицеле, бомбят воображаемые пространства Белоруссии. С судорожным прискакиванием, как в каннибальском танце, шагают прямо на судей черные убийцы Гиммлера, мировые специалисты по живосожжению и шкуросдиранию...

Но еще не время, нужна испанская и некоторые другие пробы. В Вене падает застреленный Дольфус. Потом идет снег, и нацисты едят Прагу. Теперь пора! Сиплая команда: «Германия, пли!» За одну исторически кратчайшую пулеметную очередь скошены Мемель и Данциг, Варшава и Осло, Роттердам и Брюссель, Копенгаген и Париж. Единодушный рев воровского ликования прокатывается по крупнейшим притонам земного шара. Франко шлет любовные депеши, Осима морщит мордочку от удовольствия, Муссолини во все свои семь пудов пляшет в Риме, и, черт возьми, чтоб не отставать, сам Петэн,

освежив старый язык одеколоном, отправляется лизнуть сапог победителю.

Вот тогда-то из-за кулис и драпировок всяких миролюбивых пактов и выступает на арену в полный свой рост Барбаросса. Фашисты раскопали его из забвенья еще раньше, когда Гитлер лишь производил свои изыскания, где же, собственно, остановились тевтоны шестьсот лет назад в своем поступательном движении на юг Европы? Они только держали этого мертвяка в запасе, как хранят до поры всякие военные диковинки. Видимо, личная грустная участь этого Фридриха и надоумила нашего ефрейтора уже в других направлениях искать жизненное пространство. Разумеется, сей самодельный труженик исторической науки понимал, что уже не по-старому — в берестяном коробе, в лесу, молятся колесу — живут эти самые славяне и другие народы, называемые собирательно — большевики; потому-то и Барбароссу они экипировали по-иному. Это было уже не прежнее тупое и рыжее страшилище, одетое в самовар и вооруженное пудовой кувалдой, при пользовании которой приходилось долго ждать, пока противник подставит тебе темечко или загривок. Это был модернизированный Барбаросса, с высшим штабным образованием, исполин в современной броне, выкованной на наковальнях Круппа, Шкода и Шнейдера-Крезо. Дьяволы в профессорских мантиях, герры Пиппке и Триппке, поили соками германской культуры этого упыря, терпеливо обучали его заранее, где и какие жилочки первее прочих рубить у России, чтобы с третьего маху рухнула на колени. Затем толкнули в потылицу, он и поперся, старый дурак, в гиперборейскую метельную страну, откуда, дай бог, хоть бы и замертво домой вернуться!

Здесь мы раскрываем детективный иероглиф «Барбаросса». Это — кодовое название генерального плана вторжения в СССР и ограбления всех, какие там отыщутся, сокровищ. Гитлеровцы обожают красить в яркие цвета загадочные рычажки своих машинок: так «Зонненблюм» означал у них овладение Африкой, «Марица» — Грецией, «Зеелеве» — Англией, «Аттила» — Южной Францией. Надо признать, Аттиле на западе повезло куда более, чем Барбароссе на востоке, хотя именно восточную кампанию немцы считали центральным эпизодом в схватке за надмирную власть. Россия была для них одновременно целью и средством; наши равнины представлялись им подобием высокогорного плато, откуда фашизм откроет обстрел во все стороны света. И кто знает, что было

бы теперь, если бы «старый русский великан в шапке золота литого» не выстоял против упыря в императорской порфире.

Главная тема бредовой чепухи, сочиненной Адольфом в двадцатых годах, под заголовком «Майн кампф», стала приобретать материальное воплощение к концу 1940 года. Фашисты видели в нашей стране прежде всего амбар, полный бесценного добра, и маяк зоркой и гордой совести, презирающей всякую и с любым эпитетом несправедливость. Надо было торопиться, пока не выкипела яростная алчность у солдат. Во исполнение фюрерской директивы «сокрушить Россию до окончания войны с Англией» пишутся точнейшие расписания будущих военных операций, где ничего не упущено: на каждую нашу пташечку — своя немецкая пушечка, чтоб и наповал сразить, и перышка не попортить. Только смертельная ненависть способна так предусмотреть возможные детали грядущих событий...

Одновременно по приказу Иодля матерые разведчики, генерал Шуберт с полковником Лютером, образуют штабы по изучению наших транспортных и энергетических мощностей, запасов сырья и взаимозависимости оборонных заводов. К концу февраля 1941 года советская индустрия разнесена на картотеку, страна поделена на 900 департаментов, утверждены городские центры будущих рейхскомиссариатов. Все там заранее установлено: Балтфлот лишить баз, снести с лица земли Ленинград, срыть Кавказский хребет, закупорить Волгу и вывезти тайгу... Чего не наболтает дурак в истерике! Не забыто равным образом, куда сливать человечью кровь на удобрительные брикеты, как хранить муку из костедробилок. Секретные совещания чередуются с завтраками в интимной обстановке. Они вкушают французское винцо, закусывают норвежскими кильками и вожделенно взирают на большую цветную, с изображением советского медведя, таблицу, где все распределено по грамму — кому сколько волосков со шкуры, кому голову сосать, кому лапу на студень. Оставалось только связать бурого бечевочкою попрочнее, чтоб не брыкался, как почнут его научно лобанить герры Пиппке и Триппке.

Стремясь к аккуратности, Гитлер поручил Герингу возглавить эксплуатацию Остланда,— как к тому времени должны были называться мы с вами, уважаемые товарищи. Он это любил и умел. Рейхсмаршал немедля призвал к себе кувшинное рыло Функа и сделал его главным барыгой в указанном заведенье. Так родился у Барбароссы, уже который по

счету, дохлый сынок Ольденбург, означавший «экономические мероприятия на востоке». Уже совместно с ним и с привлечением других сведущих людишек были назначены гаулейтеры и коменданты в еще не покоренное пространство, и тотчас же вокруг этих свежеиспеченных чиновников закопошились над чемоданом супруги их да зятья, шурья да свояченицы с детками, и у каждого младенца — свой сосательный хоботок, у каждой фрау — длинный вострый коготочек. Тут-то и оказалось, что, пока мы с вами мосты строили да севом занимались, нас уже впланировали в навечные кандалы, нас и сказочные наши горы, дремучие наши леса, каждую песенную былинку в чистом поле,— а мы про то и не ведали! И тут родится сверхсекретный меморандум рейхслейтера Альфреда Розенберга, крупного знатока славянской души в новейшие времена. Оный Альфред обучался в Московском техническом училище и потому обстоятельно изучил нрав и обычай обреченной державы. Наверно, он даже проник в такую сокровенную подробность, что молодые русские матки обожают катать яйки на масленицу и есть блины с жареной брусникой. Только эти глубокие познания и позволили ему пророчить быстрый, в неделю, разгром и военный крах Советского Союза; за это история и привела его теперь к подножью виселицы. Зато в отношении мероприятий по освоению восточных территорий ему нельзя отказать ни в великой злобе, ни в продуманности. Он так и пишет черным по белому в своей записке Гитлеру: «Лишить Россию всех средств существования, истребить великороссов, интеллигенцию и комиссаров, чтобы навсегда сделать невозможным возрождение Советского Союза». Как видите, эта сильно умственная личность отлично понимала роль партии, интеллигенции и ведущего русского начала в прогрессе нашей страны.

Больше того, планируя историю на век вперед, Розенберг требует национального раздробления Советского государства на фантастические области и республики, которые, естественно, легче было бы прожевать Барбароссе. Он провозглашает «уничтожение нежелательных элементов» в Латвии, Эстонии и Литве с предоставлением их «жизненных избытков» немецкому народу. Таким образом, полная германизация Прибалтики вместе с последующим освоением Скандинавии преобразуют прилежащее море в обширный пруд, помещенный в центре великой Германии. По цинизму это можно сравнить лишь с мотивировкой поставщика рабов Заукеля по поводу вы-

воза ста тысяч наших ребятишек в трудовые лагеря в Германию: «понизить биологический потенциал Остланда». Словом, этот подлейший раздел документов, оглашенных нюрнбергским обвинением, надлежит в особенности крепко запомнить народам Советского Союза, в социалистическом и братском единстве которых заключена их историческая непобедимость.

...Итак, 14 июня 1941 года фюрер выслушивает последние доклады главнокомандующих армейскими секторами о подготовке вторжения. Установлены — подтверждающий пароль операции Дортмунд, час выступления — 3.30, повод для нападения — «бесчеловечность СССР». Неправдоподобно, но тем лучше. Наглость также поставлена фашизмом на вооружение. Через восемь дней Барбаросса в гремучем всеоружии выйдет на дорогу большой войны... Но наши красноармейцы уже лучше и обстоятельнее меня расскажут про его знаменитый поход туда и обратно.

Все же роковое утро наступает наконец. В ранний час по Берлину расклеивается приказ фюрера: «Я снова принял решение вручить судьбу Европы в руки моих солдат». Еще пусты улицы этой обреченной берлоги, но уже, как свечечка, пылает на экране какая-то сирая русская церквушка, и первые наши жертвы корчатся под обломками Киева и Минска. Мы видим также высоченного германского гостя, посещающего будущую Белорутению, в шинели длинной и черной, как балахоны мортусов, этих служителей чумы в давно прошедшие времена. Палачи имеют склонность заблаговременно примериться хозяйским глазом к тому, что́ завтра они будут убивать. Вот он идет мимо наших военнопленных, согнанных за колючую проволоку, и те ежатся под этим взглядом, в котором нет ничего, кроме щемящей сердце пустоты. Вот так же молча и безлично, среди большого, как наша родина, луга, он смотрит в упор на русого, такого ласкового, белорусского пастушонка, и вдруг как бы серая тень, словно от смертного крыла, ложится на лицо мальчика. Можно отдать полжизни, баш на баш, чтобы собственноручно отнять хотя бы полжизни же у этого всесветного подлеца. Это Гиммлер; ему принадлежит фраза, сказанная во дни, когда гитлеровская Германия в тысячи присосков пила горячую кровь Украины и Белоруссии: «В настоящую минуту меня совсем не интересует, что происходит с русскими».

Этого человека, как и его шефа, нет на скамье подсудимых. И хотя мы судим их не потому, что победитель будто

бы ищет мщенья, а для того, чтобы избавить от зла планету,— есть старинное поверье, что порок умирает вместе с его обладателем, если их убить надлежащим образом! — но душа наша, познавшая слишком большие утраты, не сыта. Нам также кажется неполным и этот фильм. Для исторической цельности в нем не хватает заключительных кадров, однако есть надежда, что к весне кинооператоры снимут недостающую концовку, которую уже по приговору суда исполнят те же актеры.

Сеанс окончен. Обжигает глаза убийственный свет прожекторов. И хотя где-то вдалеке слышно, как журчат вентиляторы, смертная духота ложится на грудь. Грозу сюда скорее, гневную человеческую грозу! Когда мы выходим на улицу, чистый зимний воздух кажется нам величайшим благодеянием природы...

1945

ГНОМЫ НАУКИ

С первого взгляда нюрнбергская зима чем-то походит на раннюю весну в России. Так же приморозит землю по ночам, а с утра солнышко прогреет ее до оттепели... Но не бывает здесь весенних горластых ручьев, что с песнями точат сугробы, да и снежный паек не в пример беднее нашего, как и все ныне на оскуделом Западе. Нет, разве сравнить наш декабрь с ихним апрелем, царственную горностаевую шубу с тонкой погребальной кисеей, сквозь которую уже к полудню проступают острые черты города-мертвеца.

В такую погоду смертельно хочется домой, хотя бы с палкой пришлось брести через всю Европу. И раз уж недосягаемыми кажутся снежные раздолья родины, воображение тянется в иные, теплые итальянские приволья, до которых отсюда рукой подать. Мы сразу попадаем в роскошный город Рим, где шумят незамерзающие фонтаны перед Ватиканом и ласкает взоры неувядающая небесная голубизна. Теперь уже трудно удержать нашего пегаса. Представьте себе, что эта своенравная поэтическая лошадка занесла нас в октябрь 1941 года, и больше того, прямиком в германское посольство. В приятной комнате стоит приятный дым сигар. За приятным столом сидят три приятных господина.

Мы явились сюда явно не вовремя. Только что закончился ленч, и эти три пожилых благообразных синьора беседуют вполголоса на интимные медицинские темы. Тут оказывается, что все это — синьоры высокопоставленные и шибко мозговитые, так что полезно и нам, простым людям, заглянуть украдкой в глубины просвещения. Оказывается также, беседуют синьоры по-немецки, так что вовсе и не синьоры они, а герры. Оказывается, наконец, что беседуют они некоторым образом о нас с вами, дорогой читатель, так что уж и совсем не грешно послушать этот разговор.

В ту пору нацистские войска, увязая в грязище, подступали к Серпухову и Нарве, и многие кашляли от русской простуды, а в Риме тогда стояла курортная теплынь и в девственных небесах за окном рисовался купол св. Петра, творение Браманте. Если же он не рисовался, то, черт с ним, сбойдемся и без Браманте...

Все трое были влиятельные у себя, в гитлеровской Германии, люди. Рядом с хозяином, послом при Муссолини фон Макензеном, допивал свой кофе министр здравоохранения доктор граф Леонард Конти, а чуть наискосок пощипывал бородку и баловался безалкогольным напитком невзрачный семидесятилетний старичок, тоже доктор, Клаус Шиллинг. Это был мировой светоч в области тропических заболеваний, изучению которых он предался в 1894 году в тогдашних африканских колониях Германии. Шиллинг слушал лекции у Коха, открывшего возбудителей туберкулеза и холеры, учился у Леффлера, знаменитого исследователя дифтерии, он работал с самим Вассерманом, наконец. У него имелись мировое имя, отличное здоровье, процветающая семья. Он был членом малярийной комиссии при самой Лиге наций. Рокфеллеровский институт заплатил ему в 1920 году 5 тысяч долларов за одни его попытки доконать малярию. Ему оставалось только одно — победить эту болезнь, чтобы хоть частично отплатить судьбе за ее чрезмерное благоволение к его особе.

В ту пору войска Роммеля готовились к высадке в Африке, где, как известно, всегда процветали всякие лихорадки. Тема беседы, естественно, перекинулась с войны на малярию, и Конти осторожно пожурил старика за медлительность в работе на пользу фатерланду. Светоч отвечал, как в таких случаях положено, что и рад бы всей душой, да, дескать, и кролик нынче не тот пошел, да и морские свинки кусаются. Тогда-то Конти и предложил ученому поработать на заключенных в германских концентрационных лагерях, из которых добрый десяток успел к тому времени прославиться в качестве филиалов ада на земле. И хотя старику скоро надлежало, как говорится, представать перед судом божиим, он согласился. Изуверская рациональность предложения была налицо: при такой постановке дела германская наука не только не тратилась на покупку подопытных животных, но и сама сокращала государственные расходы на содержание и кормежку военнопленных.

Очередная научная конференция состоялась в Эйдткунене два месяца спустя с участием доктора Гравитца, начальника

медицинской службы войск СС, и Гиммлера, уже решившего профильтровать человечество через свои лагеря уничтожения. Этот самый черный человек всех времен и народов предложил Шиллингу на выбор любой лагерь Германии. Светоч выбрал Дахау. Там и климат мягче, и глушь, и местность вокруг университетская, и недалеко до Нюрнберга, где еще сохранялась в пытальной камере знаменитая «железная дева», этакий футляр с ножами, куда в старые времена сажали еретиков на просушку. Словом, к февралю следующего года здесь за колючей проволокой обосновался «малярийный институт» Шиллинга с лабораторией и бараком на сто одну койку, причем последняя представляла собой длинную чугунную решетку, ловко входившую в неотъемлемую при таком хозяйстве печь; когда кандидатов было несколько, кому-то приходилось ждать... Вот и повержено наземь поганое идолище фашизма, а все еще не можем мы вздохнуть полной грудью; это оттого, что еще до сегодня мы дышим частицами пепла и воплями жертв, растворенными в воздухе Европы!

...Сюда отбирались лишь наиболее жизнеспособные человеческие экземпляры. В первой же тысяче, подвергнутой различным «научным» манипуляциям Шиллинга, шестьсот было наших, русских. У них не было фамилий, их различали лишь по номерам да по симптомам привитой болезни. Они в огненном бреду выгибались на койках, грызли почернелые от зноя губы, звали на помощь маму, бога и тебя, Красная Армия... а между ними похаживал старенький доктор Клаус в белом халате и подпрыскивал свое зелье в тех, кто имел еще в себе силу выглянуть, как из пылающего дома, на этого факельщика со шприцем. Две полуобезьяны, избранные по признаку уродства из числа жертв, прислуживали ему при этой бесстыдной казни; их делом было — взять в ремни, ввести фенол в вены агонирующих и оттащить готовую продукцию к печке.

Из многих безыменных тысяч, протертых через это смертное сито, уцелел лишь один — некий Михайловский, католический священник из Польши. И так недалеко от этого места до древнего ватиканского дворца и роскошной площади с незамерзающим фонтаном, что уж, наверное, побывал там Михайловский, порассказал земному наместнику бога, что натворил наместник дьявола на земле за время его немощного старческого сна. Нам неизвестно, что ответил своему духовному чаду великий старец в тиаре: плакал ли гневными слезами пророка о мерзостях германской Иезавели, отлучал ли от ло-

на церкви фашистских негодяев, как мы отлучаем их нынче от всечеловеческой семьи, или телеграфно потребовал себе слова на Нюрнбергском Трибунале, чтоб выступить истцом Совести от имени безвинных и неотмщенных мучеников. А надо бы, надо бы, ибо даже страдания святых Агнес и Цецилий представляются легкими факирскими упражнениями в сравнении с муками польских и русских девушек, подвешенных за ноги для искусственного оплодотворения. Но безмолвствует Ватикан, и стража с алебардами молчит у Ватикана.

При приближении союзных армий к Дахау улики были, конечно, сожжены, и знаменитый блок № 5 истаял в дыме артиллерийского огня, и многие из светочей человекоистребления разбежались по университетским щелям. Так и не услышал бы мир, до какой степени падения докатилась так называемая германская культура, если бы в пещере близ Халлейна не был отыскан личный архив Гиммлера. В этой разрозненной по листкам чертовой библии собраны почти все документы по экспериментированию па живом человеке. Я — тихий, мирный человек, хотя и без труда отличаю пушку от телескопа, но кажется мне, что за отсутствием владельца этих черных бумажек было бы справедливым переплести их для потомков, хотя бы в кожу Геринга, которой, кстати, с избытком хватит на это мероприятие. Именно сей бывший рейхсмаршал воздушных сил имел к ним равное с Гиммлером касательство. Откуда мы узнаем имя другого, еще более зверского светоча германской науки.

Мы не знаем ничего о наружности доктора Зигмунда Рашера, знаем только, как выглядела его душа, и избавим читателя от ее описания. Он был профессором авиационной медицины в Мюнхене, гауптштурмфюрером войск СС и находился в приятельских отношениях с шефом, поскольку жена Рашера, актриса Нини Диль, имела от него, от Гиммлера, ребенка. Вот он и попросил у Гиммлера по-родственному дать ему пару преступников для опытов. Тот направил пытливого доктора в Дахау, и уже в марте 1942 года при блоке № 5 был построен надежных размеров и с окошком стальной стакан, где атмосферное давление можно было менять по желанию в любую сторону. Не подозревая ни о чем, жертва смущенно улыбалась на табуретке, стыдясь своей наготы, пока не включался рубильник на откачку. Из-за толщины стенок крик не был слышен, только шипели насосы да мерно тикали контрольные часы. Известно лишь, что обреченные рвали волосы

на себе, пытаясь как бы расширить свое тело, догнать убегающий воздух и тем ослабить чудовищное давление, радиально возникшее в черепе. Затем следовало вскрытие, потому что убийце самая сласть — погреть пальцы в теплых внутренностях жертвы, причем, по совместительству, Нини снимала цветные фотографии с человека, собственной материей взорванного изнутри. Так готовилось научное сочинение докторов Рашера, Руффа и Ромберга, секретно опубликованное в июне 1942 года с издевательским названием «Опыты спасения жизни на больших высотах».

Еще за два месяца до выхода этого почтенного издания в свет фельдмаршал Мильх в благодарственном письме от имени высшего военно-воздушного командования поставил перед этими адскими шалунами науки некоторые дополнительные проблемы. К тому времени немецкие летчики как-то уж слишком часто стали падать из самолетов в североевропейские моря, и следовало изыскать способы отогревания человеческого тела, смертельно закоченевшего в ледяной воде. Получив предписание, Рашер навестил начальника медицинской инспекции воздушных сил профессора Хиппке, и тот придал им в подмогу еще трех маститых профессоров: Яриха из Инсбрукского университета, Хольцлонера — из Кильского и патолога Сингера — из Мюнхенского госпиталя. Готовые отдать жизни за фатерланд, разумеется, чужие, светочи вскричали: «Хайль Гитлер!» — и отправились в тернистый путь научного исследования.

Деревянный продолговатый ушат, обтянутый обручами, наполнялся холодной водой, куда по потребности добавлялся крошеный лед. Жертву погружали в меховом комбинезоне или голышом, одних — до шеи, других — по уши. Защитные рефлексы организма прекращались уже через пять минут, сведенные руки прижимались к телу; вместе с конвульсиями начиналось как бы мускульное окаменение, по прекращении которого наступал конец. Так родилось новое научное рукоделие под заголовком «Доклад об охлаждении человека». Своим обычным зеленым карандашом Гиммлер отметил дату прочтения — 21 октября 1942 года. Покойник обожал почитать что-нибудь освежающее на сон грядущий. В этом труде с немецкой точностью указывается, что для охлаждения тела до 29 градусов требовалось от 70 до 90 минут. Разумеется, бывали индивидуальные отклонения, и отмечен один исключительный случай, когда температура «субъекта», за полтора

часа доведенная до 26,5 градуса, не понижалась более; потребовалось еще дополнительных 85 минут, чтоб свалить этого гиганта. Мы видим, как ежится во льду его могучее посинелое тело в напрасной попытке сжаться, сократить свою поверхность до ноля, уничтожиться совсем; видим, как в поверхности его остылой роговицы начинают отражаться три маленьких фашистских гнома с блокнотами в холеных лапках. Как правило, избавительница — смерть приходила между 24—25 градусами.

После охлаждения, если жертва не утрачивала признаков жизни, приступали ко второй пытке интенсивного отогревания. В разных комбинациях применялись шерстяные одеяла, спирт, препараты, тепловые лучи на сердце и даже живое тепло женского тела, для чего Рашер специально выписал четырех молодых цыганок от оберштурмбаннфюрера СС, из женского лагеря в Равенсбруке. Кстати, управитель этого лагеря, Вольфрам Сиверс, бывший лейпцигский издатель всяких утонченных еженедельников, являлся в то же время директором «Аненэрбе», ведущей нацистской организации по «развитию германской культуры». Как видно, культура к таким субъектам прикрепляется еще проще, чем тростниковые трусики к дикарю... Итак, ценой несчетных жертв экспериментаторы Дахау подтвердили теорию Лапчинского, высказанную в 1880 году, что наиболее действенным средством спасения в таких случаях является немедленное погружение в горячую ванну от 40 до 60 градусов... если, конечно, у человека стальной паккардовский поршень вместо сердца.

Читайте до конца, все написанное здесь — правда. Пусть всякий знает, что означает сдаться в плен фашизму!

И опять Мильх прислал благодарственную грамоту коменданту Дахау — «молодцы, мол, ребята», но тут уже сам Гравитц выставил, как у нас говорится, встречный план. Ходили слухи по Германии, что немецкая армия покатилась вспять от Сталинграда, и недобитую нечисть в соломенных валенках валит и душит русский мороз. Сей неутомимый труженик науки порешил поработать над вопросом воскрешения обмороженных. С этой целью он начал опыты над тридцатью живыми существами, которых голыми клали на холод на срок от 9 до 12 часов. Зажмурься, товарищ, и представь на минутку, как безмолвный голый человек, скорчась на снегу, глядит в ночное небо, полное звезд... тех же самых, на которые смотрят в эту минуту его товарищи-бойцы!.. А вокруг прогулива-

ется немецкий автоматчик, постукивая друг о дружку стыпущие ноги.

К отогреванию приступали не сразу, а через некоторый условный промежуток времени, необходимый в полевых условиях для доставки обмороженного в госпиталь. Тут-то и подвел умеренный климат Дахау: жертвы не промерзали как следует, их приходилось просто убивать потом, для сохранения секретности. Тогда Рашер попросил перевести его в освенцимскую систему лагерей, где и зима покрепче, и людского материала больше, так как вспыхнувшая вдруг эпидемия тифа в Дахау выкосила сразу чуть не все население лагеря. Блок № 5 временно был эвакуирован в восточные пространства, где Рашер в особенности любил *работать* на евреях, цыганах, русских военнопленных и католических ксендзах. Непостижимое смертное братство!.. Приближение Красной Армии с востока заставило Рашера вернуться в Дахау; приближение союзных армий с запада надоумило Гиммлера расстрелять доктора Рашера с супругой: мертвые тем хороши, что не болтливы!

А они много могли бы рассказать еще — про *фосфорные* эксперименты в Бухенвальде, про упражнения по искусственному деторождению... Но хватит, пожалуй! Эта человеческая дрянь ответит за все на Нюрнбергском Трибунале... И этого будет недостаточно, если вся Германия до последней былинки не проникнется сознанием содеянного нацистами злодейства. Было бы справедливо набить все витрины ее городов фотографиями Дахау и Бухенвальда, чтоб стояли и глядели на них годами, пока мозоли не вырастут на глазах. Надо отобрать у них возможность когда-нибудь, хоть через десяток поколений, возвеличить фашизм как всенациональный подвиг.

Мне кажется, что утомление всякой цивилизации начинается с помрачения национальной морали. За тысячу лет много ли раз пытался Запад промыть и почистить старые, запущенные водоемы своей культуры? Благодеяния цивилизации становятся людским проклятьем, когда они не освящены мечтой о всечеловеческом счастье. Тогда цивилизация выходит на столбовую дорогу истории, убогий и облезлый зверь, и грызет все, что попадается ей на пути, пока не проучит ее кто-нибудь Гневный палкой в подворотне.

...Нет, культура не умрет на земле. Залог этому, будем надеяться,— новый послевоенный мир и прежде всего вы — граждане Советской страны. Мы чтим святыни и помним прошлое, как грозный и нужный урок. Наши утраты в войне —

больше, чем у всех других на свете, но нас не веселят развалины Европы. Миллиарды умных трудодней погребены навечно под этим багровым, как свежее мясо, щебнем. Мы сопоставляем это с другими возможными вариантами человеческого поведения и хотим знать, когда же повзрослеет мир. Мы — люди.

Я кланяюсь вам отсюда, всем врачам моей страны, генералам и рядовым советской медицины, которые радуются, как личному счастью, принимая на руки маленькое тельце нового гражданина вселенной, и горюют, как о собственном несчастье, когда смерть крадет у них из-под рук свою добычу. Я думаю о нашем простом сельском враче, у которого нет пока ни сверкающих никелем и керамикой операционных, который ночью сам ремонтирует старенький шприц, у которого порой единственный инструмент — безупречное мастерство и проникновение в инженерию человеческого тела. Он видит в человеке не кролика, как эти гномы из Дахау, а прежде всего — свободного творца хлеба, песен и машин. Только воистину живое умеет ценить жизнь. И потому безвестный врач где-нибудь в крохотном городке Чистополе на Каме представляется мне — из университетского города Нюрнберга — величайшим гуманистом на свете.

1945

НА БАШНЕ

Есть в северной весне чудесная неделька затишья, когда последняя горстка снега тает в овражке. Все живое ждет утра, чтобы сразу, рощами алых знамен и ветвей с молодыми листьями, рвануться к солнцу. Тогда нам всем по восемнадцать лет. И какая бы забота ни стояла на пороге, вешний сквозняк гонит нас из дому и несет по улицам в простодушном детском ликованье!.. Не видать гор у нас поблизости, а тянет в такое утро посмотреть с высоты на веселое шествие мая.

Дай руку, товарищ,— мы подымемся с тобой на дозорную башню московского Кремля. Никогда дух человеческий не воздвигал творений выше. Здесь вековая тишина, наполненная шумом ветрового прибоя; отсюда глаз легко проникает и за Гималайские холмы, и в глубины предстоящего времени. И тем особым свойством отличаются кремлевские звезды, что в свете их любому взору внятны необозримые просторы будущего и сокровенная механика темных и неукрощенных сил, лежащих на его пороге, в том числе — и родословная рыжеволосой бабы — Войны, истоптавшей пол-Европы...

Взгляни за край, на цветные реки внизу. Это твоя Москва течет на Красную площадь. И как ни велика она, уже полградусом выше — прозрачная немота пространств; природа лежит в зеленой наготе, и первые птахи несмелыми голосами пробуют будить ее забытье. Дальше раскинулась горькая белорусская пустыня, которую рыжеволосая исходила из края в край... Это твоя родина. Потом за пеплом польской столицы, за тусклыми поясками пограничных рек ты увидишь подковку Бранденбургских ворот, через которую пять лет назад изли-

лась на славянский мир тысячелетняя накипь германской преисподней. И на синей черте горизонта разлеглись иные земли, где, хоть и помятый событиями минувших лет, сидит на человечьих костях и правит иной закон, установленный в давние пещерные времена.

Богатые и нарядные города отражаются там в зеркале громадных вод; наши попроще. Не позавидуем тем. Люди всегда умели сделать выбор между скромным достатком юноши, лишь вступающего в жизнь, и миллионами старика, охваченного неизлечимою болезнью. Не счесть алмазов в каменных пещерах, да не слыхать в них о той высокой радости, для которой, по нашему разумению, уже созрел человек. Не прошло и трех десятков лет, как мы вступили в мир, и огляделись, и поразились нищете их тщеславного богатства. И если всякое благосостояние начинается с трех грошей, соединенных вместе, то этот этап давно миновало наше государство. Только не сочтешь даже в длинный весенний денек ни накопленной казны, ни множества наших забоев и шахт, в которых она чеканится из черных стоименных руд. Мы прикидываем на глазок: нас много, нам мало. Было бы поэтому бахвальством объявить, что мы раскопали хоть сотую часть своих сокровищ, и еще большим умалением действительности утверждать, что мы не шагнули на век вперед за три минувших пятилетки. Нам трудно приметить, как увеличилось наше хозяйство, потому что нет у нас установившихся в других странах признаков богатства — спеси и жира, роскоши, безделья и излишеств. Наши богачи ходят в замасленных спецовках да в грубых смазных сапогах. Весь избыток немедля идет у нас в разум, в рост и в силу. Другое дело, что темпы нашего развития не всегда соответствуют количеству наших нетерпеливых и неизмеримо возросших потребностей: теперь мы все хотим всё, а в строительстве величайших архитектурных сооружений всегда больше всего времени уходило на кладку фундаментов. Зато в нашем здании, почти подведенном под крышу, каждый кирпич положен навечно. Не подвластно оно плывунам биржевых колебаний или ураганам промышленных кризисов. И если бы завтра даже сто миллионов новых граждан-строителей народилось в нашей стране, для всех нашлись бы и работа, и хлеба братский кус, и место в нашей праздничной майской гулянке.

Словом, хоть и укрепилось на почве удивительное дерево жизни, посаженное Лениным, еще не покрывались в полную

меру цветом его благословенные ветви, еще не созревало на нем плодов вдоволь на всех. Но вспомни, друг, перед войной мы уже любовались весом и цветом первого яблочка, когда рыжеволосая, Война, выбила его из наших рук, и оно покатилось и четыре года нетленно пролежало на сырой земле, пока все вы, садоводы, в жестокой рукопашной схватке дрались с крапивными стервецами, возмечтавшими устроить крапивник в нашем советском саду. Теперь мы подымем наше яблочко и размножим в пятилетку, и всех накормим досыта этою завтрашней, воистину богатырской пищей. А к яблочку — дом построим в придачу новый, и песню новую сложим про румяное советское яблочко, и разных умных диковинок поприбавим — из тех, чем наотмашь отшибают руки охотникам полакомиться от чужих трудов.

Здесь из уважения к мертвецам, что поплатились жизнью за неустройство мировой общественной машины, произнесем вслух одну горькую правду. Если бывает на свете молоденькая яблонька, то селится порой, невдалеке, и развесистая, циклопического роста крапива, вроде той, которую подавили на злосчастных немецких землях советские танки. Уж, наверно, она казалась себе совершенней всех других растительных наций на свете, она считала уродливой мускулистую красоту дубов и бессмысленной — щедрость яблонь. Ей мерещилась бредовая пора, когда вся планета зарастет крапивой и весь благодатный солнечный свет станут пожирать лишь ее дурацкие жгучие листья!.. Как это непохоже на наш громадный сад, основанный знаменитым преобразователем природы,— где плодовые деревья разумно дополняют друг друга и согласным величавым хором славят свою весну,— где каждому сохранено его законное историческое место под небом... а уж если ты уселась на чужой делянке, крапива, пеняй на себя, что тебя секут под корешок! Наука подсказывает нам, что равным образом никогда не случалось, скажем, и дубам владычествовать одновременно на всех материках планеты. Навязчивые идеи об избранности отдельных наций никогда не доводили до добра, и это, наверно, было им лучше известно, чем выполотым с корнем, увядшим и кротким ныне, нюрнбергским сорнякам. Нам желательно поговорить о самом важном тезисе современного международного общежития — о демократическом равноправии и об истинной дружбе народов земли, и еще о том, как история приглашает государства запомнить эту пропись.

Двадцатое столетие отмечено двумя величайшими открытиями, и вряд ли какие-либо другие превзойдут их до конца наших дней. Оба неизмеримо значительны, оба отмечены, так сказать, гербами сторон, где они зародились: на одном — серп и молот, на другом — геральдический зверь с зубами. Меньшее из них состояло в высвобождении атомного заряда, который вошел в людское общество, как незнакомец с завешенным лицом: благодетель или убийца? В иных условиях это могло означать наступление новой эры в цивилизации... но еще Гитлер замышлял, в своих поработительских целях, обогатить этой силой убойный арсенал рыжеволосой. Ему, по слухам, принадлежит зловещая фраза: «Бог простит мне то, что я сделаю с Лондоном и Москвой». Это было не ново: в пещерные времена, при изобретении кремневого молотка, пропорциональность соотношения рукоятки и веса обушка также обычно проверялась на виске соседа. История покарала Германию.

...Первый шаг атомного незнакомца был достаточно внушителен, не столь уже содеянным, сколь в предвидении того, каких дров он наломает через десяток лет, если передовая мудрость не одолеет провинциального тщеславия. Всякие пиротехнические игрушки быстро растут в питательных условиях века. Люди встали перед фактом неоспоримого значения. Кроме разума, от них требовалось величайшее единство: живым существам свойственно жаться друг к другу перед лицом непознанной стихии. Все помнят, как дело обернулось на практике. Над Хиросимой еще плескалась электронная буря, а некоторая часть зарубежной прессы уже покатилась по склону дешевой сенсации, пустых иллюзий о расовых первородствах и порою — даже неприкрытого шантажа. Вспоминалось определение человечества как сборища больших беспечных детей.

Нам отчетливо видно с кремлевской башни. Вот ночь прошла, но еще держатся кое-где в низинках клочья ядовитого туманца. Рыжеволосая спит, упившись до отвала, утомясь от неистового многолетнего раденья... а уже опять подозрительно, с огоньком в руках, суетятся вкруг нее присяжные щекотуны, ходоки по вымогательской части и всякие военные деляги. Дети мира с гадливой усмешкой дивятся на взрослых, порою даже престарелых дядек: неужели не насытились вонью мертвечины да грохотом взрывной волны?.. И вот сперва неугомонный Ялчин вытрепывает подлые, неизвестно где под-

слушанные секретцы, которые и повторять-то отвратительно в такой ясный полдень, а следом другой, более осторожный, но столь же неутомимый деятель раздирает на себе пророческую хламиду и выпускает пробного воробья, облетевшего весь мир. «Берегитесь,— говорю я,— может остаться мало времени». Фултонская аудитория пусть догадывается — для каких это дел! Его голос крепнет, мы слышим угрожающие интонации нового Иезекииля: «Каменный век может вернуться на сверкающих крыльях науки». Если это не угроза, а просто брех, пущенный на забаву почтенной публики, то мы знавали англосаксонский юмор в неизмеримо лучших образцах.

Есть прямая и гармоничная зависимость между всеми знаменитыми открытиями, потому что все они — логические ступеньки прогресса, так сказать, главы, страницы и строчки в единой книге человеческого познания. Без изобретения дешевой писчей бумаги не появился бы Гутенберг, а чудесная магнитная стрелка неминуемо должна была повести корабли Кабота и Колумба, Магеллана и Васко да Гамы к благодатным и дотоле не известным берегам. Исторически каждое значительное новшество поступало в распоряжение человечества лишь тогда, когда люди были готовы к его восприятию. Судьба не снабдила Тамерлана митральезой, чтоб у него не закружилась голова. Как правило, к тому же природа всегда отпускала свои дары людям в дозах, безопасных для их физического существования. Первые огнестрельные кулеврины и аркебузы были гораздо безопаснее для солдатского здоровья, чем испытанные жильные самострелы. На этот раз великая Мать понадеялась на разумность человека и решила, видимо, разом возместить ему его вековые страданья и неосуществленные мечтанья, всемирные голодухи и несчастия войны. Передавая в руки человека божественный венец, старуха не рассчитывала, что, подобно крыловской мартышке, тот станет примерять его себе на шею. А ведь стихии умеют гневаться, когда их используют для темных и страшных дел!..

Знаменательно только для простаков, что крупные научные новшества всегда шествуют об руку с социальными. В этом заключен баланс всякого прогресса. Здесь мы подошли к необходимости назвать самое насущное открытие, прославившее нашу эру: без познания и усвоения его никто не смеет бесстрашно глядеть в глаза будущему. Впервые оно было при-

менено и проверено в России. Ввиду того, что клеветники, толкуя об опасностях этой великой доктрины, всегда, видимо по рассеянности, забывали сообщить, в чем же ее существо, мы берем на себя труд изложить ее в самой буквальной форме.

Это — когда все трудятся и все едят; это — когда без злобы и лжи, без Гиммлера и других, более распространенных форм людоедства; это — когда нации обходятся собственным разумом, помимо импортных, хотя бы и сильно просвещенных опекунов; это — когда в детские постельки не падают фугаски к Рождеству; это... впрочем, пришлось бы приводить довольно длинный перечень благодеяний, о которых лишь мечтает забитая совесть мира, совесть матерей и чернорабочих творцов жизни. Еще короче говоря — это план в производстве и справедливость в распределении, это полное равноправие и демократическое содружество народов, это, наконец, такое счастье, когда вовсе не произносится это слово, как подлинно здоровый человек никогда не вспоминает о своем здоровье. Здесь лежит единственное средство от безработиц и случайностей, тормозящих победоносное шествие человека, от войны и горя, от нужды и щемящей тоски перед неизвестностью. Подробностей этого открытия наша страна не таит, и мы могли бы изложить их перед любым числом доверенных лиц, правомочных применить их на деле.

Едва затихло эхо фултонской речи, пророк поехал в Абердин. Там он посмотрел в печальные глаза своей паствы и еще раз отверз свои уста; на этот раз он оделся под Иеремию. Целая эпоха, собираясь в дальнюю невозвратную дорогу, говорила голосом этого пророка международной реакции. И оттого, что пророкам, как и прочим людям, свойственно переносить на здоровых свои собственные недуги и неизлечимую скорбь, он сказал, что «мир серьезно болен», что «иссякли жизненные источники человеческого вдохновенья». Теперь уже никто из нас не улыбнется на эту последнюю Иеремиаду: скучно умирать на черепках обветшалой идеи Джорджа Каннинга — «каждая нация за себя, и только бог за всех» (да и то, скажем к месту, не поровну!).

Но оглянись на себя, веселый и краснощекий юноша всех пяти материков, не познавший пока ни любви, ни тяжести солдатского ранца, и реши сам, в какой степени относится к тебе это плачевное признание в беспомощности перед грядущим. Неправда, отличный мир лежит у твоих ног, молодой человек

земли, входи в него и действуй, как подобает ваятелю жизни. Миллионами рук демократия распахивает тебе ворота... Помни только, что псы клеветы, вражды и алчности караулят тебя на узкой тропке,— остерегись! Именно в это столетие стены твоего дома раздвигаются бесконечно, земля становится жилищем семьи народов, новый патриотизм — смотрящий в будущее — ложится в основу общественной и международной морали. Слишком уж привились к жизни эти самые цепные реакции, и если начинают где-нибудь плакать дети,— они плачут сразу во всех этажах. Народам мира ничего не остается, кроме как жить. В многоструйной реке человечества, что льется к звездам, все так же резко будут различаться — трудолюбивый Китай и шумная деловая Америка, веселая и умная Англия и маленькая страна Ливан, которая вовсе не хуже других оттого, что в ней слабее, чем в прочих, развито трамвайное сообщение. Тогда громада скованных ныне сил освободится для творчества и попроще станет дышать на белом свете. Кроме этого, не во что больше верить человеку!

Но старая эра умирает, не выпуская меча из рук, и кто знает — какая сарданапальская дурь приспичит ей, прежде чем она навеки смежит свои недобрые, выцветшие очи. Абердинский оратор проговорился в конце речи, сказав, что «никогда еще не было такого времени, когда в большей степени нужна была бы передышка». Тут уж мы в точности понимаем, что к чему и о чем грустит плакучая крапива, исхлестанная под корень кнутом войны. Такое мы слыхали и раньше: был вот так же теплый полдень, трепались комментаторы по радио, квакали джазы в нейтральных болотах, и человечество толклось в беззаботном танце, как мошкара в закате, когда рыжеволосая вышла на свой покос. Нас потому и не обольщает нынче ни щебет вешних пташек, ни прозрачная небесная голубизна, которая столько раз на нашей памяти подергивалась смрадной дымной занавеской. Конечно, теперь и друзей у нас поприбавилось, да и вряд ли можно уговорить народы на очередной вселенский мордобой, а все же мы постараемся обеспечить себя от случайностей пещерного периода... Вот почему с такой спокойной решимостью беремся мы за молот новой пятилетки.

Страна снова начинает жить большим дыханием созидательного подвига,— молодой кровью полнятся наши мышцы. Народ наш понимает, что богатства не создаются сами по се-

бе, а по капле вытекают в жизнь через мозолистые руки труженика, и не бывает чудес на земле, кроме тех, что создаются его разумом и волей. Мы потрудимся всласть в эти ближайшие годы: если каждый вчерашний взмах молота родил боевой патрон с порцией смерти для врага, теперь с каждым ударом новехонький червонец будет падать в народную казну. Богатей, родимая земля! Сильнее всех на свете любим мы тебя, и цвет твоих полей, и солнце над тобою, но каждый из нас порознь не задумается расстаться с ними, лишь бы все это осталось у народа как незыблемое историческое благо.

Обопрись о зубец старой башни и улыбнись множеству народа твоего!..

1946

МОЛОДЫМ ДРУЗЬЯМ

Мы с особым острым чувством вспоминаем начало войны и оглядываемся на прошлое с улыбкой, происходящей от сознания своей силы: так смотрят капитаны дальних плаваний на пройденный по осеннему океану путь, охотники — на поверженное чудовище и все прочие — на исполинскую, казавшуюся невыполнимой и теперь уже законченную работу. Мы вспоминаем иное утро, когда вот так же в разгаре стояло лето, и еще не успела поблекнуть неизношенная зелень лесов, и соловьиные концерты раздавались в рощах, и рука нашего труженика лежала на скобке двери, за которой находилась желанная и почти достигнутая мечта,— тогда все мы были моложе, может быть, на сотню лет... Потом настал денек, которого мы не забудем до гроба: едва солнце поднялось в зенит и часовые стрелки сблизились на вертикали, радио оповестило нас о событиях минувшей ночи. Топор, поднятый фашизмом и расчетвертовавший смиренную Европу, с маху опустился и на советские города. Все мы, большие и маленькие, стояли в тот час у репродукторов, повторяя про себя: «Наше дело правое, победа будет за нами». Это была одновременно и клятва, и боевая программа. Так началась Отечественная война.

В такой день представляется уместным нам, старшему поколению, обратиться со стариковским, как говорится, словом к нашей смене, готовой стать у пульта духовной, хозяйственной и государственной жизни Советского Союза. Мы хотим говорить, однако, не о событиях, известных у нас каждому ребенку, а о том главном знании, которое приобретено нами в результате упорного героического военного труда. Современнику почти не под силу осознать в полном объеме события минувших лет. Можно сказать пока, что вот еще одна, небывалая, варварская волна разбилась о древние стены московского Кремля, вставше-

го в новом историческом значении. Все то же, родное и знакомое с детства, окружает нас, но как непохоже оно на вчерашнее!

Несокрушимое всенародное единство — оно было первым испытано в боях. Слушайте: сердца победителей бьются сегодня в унисон с мерностью солдатского шага!.. Окрепла и закалилась в бою Советская держава, всяко испытанная на прочность,— единственное из воевавших государств, так блистательно выдержавшее проверку. А ведь и пушки на востоке стреляли громче, и палачи на восток посылались наиболее мастеровитые в своем заплечном деле. Именно в России, выяснилось, пролегает становой хребет человечества, разрубив который фашизм мог стать хозяином планеты... Мудрее стало и поколение отцов, которые еще недавно по крохам создавали вещественную основу нашего могущества; с заслуженной гордостью могут они утверждать, что не зря были прожиты их лучшие годы. Это радостное сознание, недоступное молодым, является вместе с тем и показателем их возраста. Все в природе подчинено животворящему закону смены, оттого и не угасает ни на миг блеск жизни в ее творениях. И, наконец, такие же глубокие перемены коснулись и тебя, советская молодежь!

Известно всем, что в Советском Союзе молодым не приходится силой вырывать у старших свое право на усовершенствование форм бытия. Мы сами помогаем им в этом, равняя настоящее по будущему. Наши старики связаны кровной порукой с теми, которые лишь вступают в жизнь. Все наши жизни расположены на одной вольной параболе стрелы, пущенной с тетивы умною ленинской рукою. Ты, нынешний,— это я вчерашний, ты только немножко счастливей меня, потому что ближе к заветной цели... Молодежь наша в своем большинстве отлично понимает, какую ответственность возлагает на потомков суровая, как молитва, мечта их предков. Для вас революция матросским плечом распахивала октябрьские ворота в будущее. Во имя ваше очень светлые, безвестные люди умирали с улыбкой и безжалобно,— задолго до того, как огласил эту землю ваш первый детский плач. Они видели вас сквозь дымку столетья,— видите ли и вы их?..

Мы живем в таком веке, когда великие идеи признаются и уважаются не столько по размаху их прекрасных крыл, способных вознести человечество к поднебесью, сколько по стальной мощности их когтей и клюва. В силу этого новому гуманизму пришлось создать танки и пушки, и выяснилось, что плохо

бывает тому, кто пытается обращаться с ним по старинке, как с отвлеченным, бесконечно отдаленным «несбыточным мечтанием» о социальной справедливости!

Итак, ты правильно начала свое сознательное бытие, советская молодежь,— с утверждения мечом и на поле битвы своих исконных человеческих прав. Вы родились в грозе и буре, молодые люди Советской страны. Еще безусыми вы уходили в решительную контратаку против всесильного зла, и вы вернулись домой возмужавшими ветеранами, красивые пленительной солдатской красой, отмеченные золотом высших воинских отличий... Но, может быть, краше всех их — преждевременные сединки на ваших головах!.. И вы, милые девушки России, также совсем юными шли в пекло войны, с еще не пробудившимися душами, видевшие врага лишь на картинках времен гражданской войны — ожиревшего от тунеядства, в непременном цилиндре и с брюхом, громадным, как мишень в тире. Потом вы сразу столкнулись лицом к лицу с ним — деятельным и изворотливым, во всей его подлой тигровой стати, в элегантном железном котелке, вооруженным всеми, обращенными на истребление, достижениями современной цивилизации. Его оказалось, может быть, стократ больше, этого врага, чем во всех, взятых вместе, прежних нашествиях на Русь; многие битвы прошлого представятся будущему историку сражениями оловянных солдатиков в сравнении с масштабами этой исполинской схватки, и сам летописный наш, полусказочный богатырь Рогдай годился бы всего лишь командовать полуэскадроном в Отечественной войне... Наверно, стихотворцы завтрашнего дня скажут, что вашу юность вы провели в вулкане!

С молчаливой и пламенной любовью родина глядела на вас, как в полный рост, точно обладая тайной неуязвимости, прорывали вы завесу целеустремленной дикарской злобы. Много невысказанных тревог погребено на дне просторного материнского сердца. И правда, откуда было вам, воспитанникам самой гуманистической идеи, какая когда-либо зарождалась в человеческом существе, владеть хитрым и беспощадным искусством победы? У вас не было позади опыта отцов, помнящих царские плети и каторгу; о рабстве вы знали лишь понаслышке от бывалых стариков. Кроме того, не ненависти, а братству и творчеству обучала родина своих юношей и девушек, а кратковременные военные эпизоды тридцатых — сороковых годов вряд ли могли служить достаточной тренировкой для несмолкающей четырехлетней битвы, подобной Отечественной войне... С ласко-

вой нежностью растила вас родина; и вспомните — на самых голодных этапах первых пятилеток всегда, бывало, найдется для вас хорошая книжка, либо горстка сластей в ее заскорузлой мозолистой руке! О, как она любила вас... Поэтому и бывали минутки в войне, когда она опускала смятенные очи, чтоб не видеть подробностей свирепого поединка юности со смертью — этой трагической темы старинных русских повестей, увеличенной до бредовых размеров новейшей техникой: выдержит ли, выдюжит ли? Любые лишения готова была она принять и перенести, лишь бы не дрогнула в бою сыновняя рука перед бесстрастным судом истории, которая в уплату за честь и независимость нации принимает лишь червонное золото подвига.

Выдюжила!.. Так, значит, советская молодежь своевременно поняла, что честное, истинное счастье не достается по наследству, как сундук с родительским скарбом,— что ежеминутно приходится брать его умом или силой — и всегда по дорогой цене! — что даже дивизии Добрынь и Муромцев не смогут оберечь от несчастий своего слабосильного правнука. И тогда вы вторично отвоевали себе свою землю и достояние на ней, уже отвоеванные в Октябре и приумноженные деяниями отцов. Незваных гостей, польстившихся на ваше добро, вы встретили по всем обычаям русского воинского гостеприимства, и каждого угостили русской землей досыта, и ни одного не обнесли смертной чаркой; как море в гневе, вы хлынули затем из отечественных берегов, разметая вражеские твердыни... С тех пор вы вдоволь посмотрели на мир, и мир посмотрел на вас; и следует признать, мир более восхитился вами, чем вы восхитились этим зарубежным миром. Теперь вы повидали, как выглядит чужая земля, живущая по микробному закону взаимопоедания, полная всяких житейских ухищрений; вы имели случай удостовериться, что бывает с культурой, когда так безнадежно снашиваются ее социальные трансмиссии и шестерни и не хватает у ее хозяев решимости отдать мастеру в починку ее скрипучий и уже опасный для жизни механизм. Это тысячелетнее утомление культуры начинается с помрачения руководящей государственной морали, и если цивилизация уже не освящается мечтой о всеобщем, равном счастье, тогда проклятьем становятся ее благодеяния, тогда одуревшая страна, подобно бешеной твари, кидается на соседей, грызет детей и святыни, пока не проучит ее рослый молодец в красноармейской форме и палкой не загонит обратно в нарядную, голубым кафелем обложенную подворотню... Вот вкратце поучительная судьба Германии!

Ты по заслугам презираешь, молодой друг, такой социальный порядок, при котором властвует животная алчность, при котором ради неправедной жизни и наживы не щадят ни женской чести, ни детских жизней, при котором на возделанных трудовых нивах пышно цветет такая, вроде Круппа фон Болена, едучая плесень, по всей стране распустившая свою пакостную грибницу... Война есть обширный университет, где преподаются самые насущные и жестокие истины; и если, к несчастью для планеты, не везде и не очень равномерно поумнело человечество даже после столь многолетнего обучения, то мы с вами рассматриваем достигнутую победу как диплом об успешном его окончании. История скупа на подарки,—значит, правильно мы жили до сих пор и заслужена нами эта награда. С тем большей бдительностью будем мы хранить ее за пазухой, у самого сердца.

Война задержала наш разбег; теперь мы снова включаемся на большие скорости, которые единственно могут обезопасить нашу страну от новой военной непогоды. Теперь будущее в твоих руках, советская молодежь. Все может случиться в этом мире. Пусть утро!.. Но клочья минувшей ночи еще притаились кое-где в низинках подлых душ и неразумных государств. Помни — сколько в тебе окажется света, столько его и прольется в мир,— больше ему излучаться неоткуда. У тебя широкая дорога к счастью. Мы сделали много, ты совершишь всемеро. Твои пятилетки покажутся великанскими шагами по сравнению с теми, какими мы шагали до сих пор. Атомные силы будут служить тебе, и — кто знает,— может быть, тебе суждено раскрыть секрет бессмертия. Жданная и любимая молодежь, гляди на мир так, точно до тебя длилась всего лишь предыстория, начало новой гуманистической космогонии, когда лишь появляется твердь из хаоса и обозначается геологический профиль новой эры. Тебе предстоит совершить на ней подвиг жизни. Мечтай о большем, бережно храни в себе святое недовольство уже содеянным. Владей своим достоянием так, чтобы дети твои не упрекнули тебя ни в чем, равно как и сам ты не сможешь упрекнуть своих отцов в бездействии.

И пусть стрела достигнет цели.

1946

ТЕАТР НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Мы живем в дни величайшей победы, какую когда-либо знал вообще мир. Только что закончился самый величественный поединок в истории, беспримерный по затратам усилий, числу жертв и количеству участников; статистов в этой войне не было. Еще раз столкнулись в необозримой битве две полярные идеи — идея честнейшего прогресса с темными животными силами, свойственными лишь... я затрудняюсь, какой отдаленной геологической эпохой возможно обозначить эти силы, чтобы не слишком оскорбить те девственные начальные времена. Мы повидали своими глазами, что такое фашизм и его черные апостолы.

Эта битва по ярости и значению последствий превзошла все, что бывало в истории в этом роде, и еще раз Свет победил Тьму. Мы вспоминаем кстати, что все подобные этому события оставляли позади себя, кроме развалин и братских могил, и великолепные произведения освобожденного человеческого духа, которые обжигали их современников на близком расстоянии и излучали свой звездный свет на века, когда человеческое общество покидало их, уходя от них вперед...

Мы вполне отчетливо осознаем также степень нашего участия, меру нашего вклада в дело победы, и мы отлично разумеем, что именно произошло бы с нашей планетой, если бы хоть на мгновенье ослабла рука или воля советского солдата. Нисколько не умаляя роли техники в минувшей войне, мы помним, однако, что неплохая техника имелась и в распоряжении врага, располагавшего обширнейшим промышленным потенциалом. Мы победили не только нашими первоклассными военными машинами. Давно и незаметно для себя (а может быть, только я один этого не заметил!) мы вступили в эпоху, когда войны приобрели особые качества, небывалые прежде. Отныне

пушки стреляют не столько по законам механики пороховых газов и пристрельных таблиц, сколько силою основных, главнейших идей, какими начинены их снаряды. При равной технической оснащенности побеждает тот, чьи идеи прогрессивнее, потому что в них-то и заключены все надежды и будущее человечества, которое не хочет, не должно умирать, на потеху всяким гитлерообразным маньякам и фашиствующим проходимцам — и не умрет.

Мы одолели, и вот весь мир с удивлением взирает на нашу страну: чем же в конце концов победили мы — всего тридцать лет назад отсталая страна, в которую даже винтовки с патронами приходилось импортировать? И надо сказать правду, во многих из этих дружеских или вражеских глаз, смотрящих к нам через пограничные рубежи, это любопытство превозмогает порой и искреннее жаркое сочувствие одних, и даже политическую ненависть других.

Кажется, именно на нашей литературной обязанности лежало раскрыть в системе творческих образов содержание этих пламенных идей, недавно обративших в вонючий пепелок десяток величайших негодяев всех веков и народов. Это входило, так сказать, в творческий минимум нашей литературы, в наш драматургический минимум. Однако на поверку, и за немногими исключениями, всего этого не оказалось. Выяснилось, что репертуар наших театров формировался по старинке, самотеком, кто во что горазд. По большей части театры или занимались экскурсами в историческое прошлое (причем и там больше было о жизни и быте различных царей, ханов и вельмож, нежели о жизни и трудах того самого плебса, простого люда, мозолистые руки которого творили историю), или же попросту, без затей, импортировали всякую недоброкачественную бессмысленную иностранщину под лозунгом «Народ хочет отдохнуть», хотя вместо отдыха эти вещи доставляли единственно порчу вкуса и засорение мозгов. Правда, народ наш имеет заслуженное право на отдых, но еще в большей степени, как было сказано однажды на нашей памяти, он желает, чтобы никогда впредь никакое свиное рыло не совалось в наш советский огород. Обеспечением этого положения, как известно, он и занят сегодня.

Такие драматургические буржуазные деликатесы, сверкавшие порой своими внешними зрелищными качествами, как хромированная зажигалка, отвлекали внимание зрителя от основных, насущных проблем действительности, которыми живет

сегодня мир и наша страна в особенности. Надо сказать, что среди художественных руководителей оказалось немало таких любителей на дешевое, адюльтерное, отдыхательное лакомство. Я имею при этом в виду не только драматические изделия с иностранной маркой, но и те из отечественных, которые просто перелицованы с иностранного диалекта, в которых сквозь советские слова явно просвечивает фирменное клеймо их происхождения.

Драматургия, как всем нам известно, есть самый тяжелый в смысле емкости труда, самый высокий и доходчивый литературный жанр. В этом жанре вполне отсутствует всякая беллетристическая орнаментика; с самого начала автор обязан вскрыть, так сказать, двигательный нерв события,— и, таким образом, зритель с самого начала становится нелицеприятным судьей наших персонажей, на чьих примерах мы хотим показать борьбу, происходящую в человеческом обществе. Этот зритель живет сегодня самыми передовыми проблемами века, от правильного, скорейшего и успешного разрешения которых зависит не только благополучие отдельного гражданина или даже государства, но и просто физическое существование человечества.

Сегодня в драматургии нужны не только профессионалы, способные изготовить развлекательное зрелище в четырех актах, но прежде всего мыслители, которых наша страна высылает вперед — если не разведать и нанести на карты тропинки в будущее, то хотя бы поведать в поэтических образах о самом облике его. Этим определяется круг тем и мыслей драматурга, если он хочет оказаться вполне современным и, следовательно, нужным нашему обществу.

Все узловые темы, которые ныне засучив рукава творчески осуществляет наш народ на всех поприщах духовной и хозяйственной жизни, являются необходимыми, и, таким образом, все темы оказываются узловыми — от громадных полотен новой пятилетки до самых мельчайших героических эпизодов нашего недавнего военного прошлого. Думается, что и без подсказки газет мы сможем здесь отделить главное от незначительного. И прежде всего в оценке творческой заявки мы будем исходить из рассмотрения, в каком направлении и в какой степени действенности работает данная тема.

Я и сам с некоторого времени стал заниматься попытками создать нечто, как говорится, высокохудожественное для театра и очень хорошо сознаю стоящие на этом пути трудности, о

которых у нас принято говорить втихомолку в своей среде и которые почему-то никогда не выносились на обсуждение производственных совещаний. Правда, таких совещаний у нас и не бывало, но мне кажется, что без них мы не сдвинем нашего дела с мертвой точки.

Трудность номер первый: в какой степени автор имеет право — и вообще обладает ли он этим правом? — предоставлять в своем произведении слово врагу. Исходят из того, что в основе сюжета всегда лежит некая борьба, и раз имеется налицо положительный персонаж, то неминуемо должен существовать в пределах произведения и его антипод, противник, некий нуль, от которого отсчитываются степени превосходства первого, ведущего персонажа. Волей-неволей, перед тем как рухнуть в последнем действии, где-нибудь этот враг да и разговорится.

Вопрос этот, разумеется, существенный, но, мне представляется, происходит он порою от авторского бессилия показать действительное соотношение в жизни положительных и отрицательных сил. Наше государство встречало этого врага на всех этапах своего развития, и если он всегда оказывался подмятым, если в итоге побеждали мы, то нечего бояться той или иной его реплики, которая в конце концов все равно окажется беспочвенной и опровергнутой. Великий бой за овладение совестью планеты ведется не на жизнь, а на смерть; весь старый мир ополчился на нас; но смотрите, отмечайте в своих записных книжках, как с каждым днем ширится наступление советского гуманизма, как постепенно переходят в наши руки старые, потрескавшиеся, обветшавшие в небрежных руках бастионы культуры, которыми еще недавно кичился старый мир. Наш враг всегда бывал подл и ловок, коварен и если не умен, то хитроумен, но все это, обратите внимание, обозначено особым коэффициентом обреченности, который неминуемо ставится перед всякой стариной, не желающей понять революционного смысла наступающей новизны.

Не следует, по моему убеждению, отказывать врагу во всех этих свойствах, чтобы не снижать и значения и масштаба наших побед. Ведь высота всякой одержанной победы определяется силою сломленного и поставленного на колени врага. Разумеется, сохраняя в своем искусстве те политические пропорции и перспективы, которые он наблюдает в действительности, литератор обязан показать и торжество идеи победителя, которая в исторической практике всегда оказывается красивей и убеди-

тельней, умней и дальновидней любого вражеского утверждения.

Второе рассуждение — о конфликте: вот он, жупел нынешней драматургии. Где же искать этот самый конфликт, на котором замешивается таинственное тесто драматического сюжета, сценической интриги? Я опускаю все детали этих сугубо профессиональных дискуссий — они бесплодны, потому что ведутся в тесных, хорошо прокуренных помещениях. А есть вопросы, которые можно решать только под открытым небом, под непогодным небом, в котором, может быть, прячется вражеский самолет-разведчик,— в широком поле надо решать эти проблемы ремесла, чтобы видны были горизонты Родины, которые во что бы то ни стало надо охранить от будущих вторжений. И примечательно, что эти самые вопросы не рождались у нас в ту пору, когда всем нам одинаково грозили печи Майданека и ужасы Бабьего Яра. Так что же изменилось с тех пор в большом плане большой истории? Прошла ли эта самая «большая ночь» человечества?

Сегодня сложность и ответственность нашего ремесла познаются нами тогда, когда мы остаемся наедине с самими собой. Но давайте признаемся себе, что никто не поможет нам в преодолении этих сложностей, кроме нас самих. Мы с вами не строим заводов и не собираем урожаев с полей — мы пишем. Это значит, что мы ближе всех других поставлены к этому делу; и если бы имелись среди наших зрителей специалисты в нашем деле — надо думать, не мы, а совсем другие люди сидели бы сегодня вечером в этом зале. Народу некогда заниматься разрешением наших узкопрофессиональных дел, ему нужна наша товарная продукция, наши сценарии и пьесы, романы и рассказы, и мы обязаны дать ее так же, как он дает нам свою продукцию — заводы и булки, танки и сапоги.

Все дело в том, что старая концепция сюжета выросла еще во вчерашнем мире, который покинут нами навсегда. Его законы перестали действовать уже на том рубеже, который мы переступили еще в 1917 году. Все стареет. Это касается не только локомобилей или старинных смешных танков, пожиравших пространство со скоростью пяти километров в час, но и всей технологии искусства драматургии со всеми присущими ей устарелыми любовными треугольниками и другими фигурами, представляющимися нынешнему зрителю совершенной чепухой. Изменился климат мира, другие механизмы человеческих чувств пришли в действие, и они, по-видимому, требуют иных

средств для своего изображения в литературном искусстве. Это пока еще не утверждение, это всего лишь размышление вслух, приглашение к разговору.

Несомненно, что бактерии старых чувств, древних людских страстей живучи; у нас они пропадут скорее, на Западе они еще долго будут существовать в темных складках человеческой души, пока не смоют, не выбьют их и оттуда очистительные воды какого-нибудь нового сокрушительного социального потопа. Но вместе с тем всё новые благородные движения и эмоции человеческого духа, более достойные высокого звания человека, вчера еще необыкновенные, будут становиться ведущими повседневными страстями завтрашнего искусства. Именно они станут новым видом горючего, на котором будет двигаться вперед стройное, прекрасное тело человеческого искусства, человеческой цивилизации. Естественно, что для использования этого нового вида энергии потребуется и в нашем деле новая технология. Давайте думать об этом заблаговременно.

Это касается всех областей людской деятельности,— так было, к примеру, и в авиации. Старый работяга винт уже не тянет вперед с той силой, как это было полсотни лет назад. Он достиг своего предела и, как бы ни крутился теперь, все равно остался бы позади современных требований. Остановиться на этом пределе нельзя, это грозило бы безопасности государства. И вот на смену винту рождается реактивный двигатель, и звонкая, шумная его молодость сменяет дребезжащую старость пропеллера. Так всегда бывало: телега уступила дорогу автомобилю, и, несомненно, настанет время, когда и этот совершенный механизм упокоит свои ржавые кости в пыльной тишине Политехнического музея.

Итак, давайте подумаем, не подчинена ли переменам и технология драматургии, как меняются времена и мы меняемся вместе с ними. Давайте искать это новое не в ленивых раздумьях, а в практике нашей повседневной работы. Давайте обсудим это сообща: есть такие высоты, которые не берутся в одиночку. Посмотрим, где же искать этот самый пресловутый конфликт, когда из мира уйдут окончательно Шейлоки и Макбеты, Гамлеты и Лиры. У меня нет никаких готовых рецептов на этот счет — я ваш современник. Я только смею поделиться догадкой с вами, что клады всех будущих тем и вдохновений будут отныне заключаться не в загрязненном нечистыми прикосновениями источнике любви, не в темных пещерах рока

и низменных людских страстей, а в той обширной стране будущего, владыкой которого является Труд — прекрасный человеческий труд, изменяющий лицо мира. Рассмотрение героя по этой главенствующей координате — как организатора и преобразователя окружающей действительности и, следовательно, самого себя,— требует бесчисленного количества наблюдений, сведений о жизни с непременным условием творческого вмешательства в нее.

Поэтому работа наша становится бесконечно емкой, и я вижу в этом неизмеримое обогащение средств нашего искусства, что выразится прежде всего в рождении новых красок и форм, ситуаций и мелодий, неизвестных вчерашнему художнику.

Таков смысл перемен, происходящих в мире, с точки зрения нашего литературного ремесла; и мне кажется, что воистину великая слава ждет того литератора, который сумеет выполнить в своем искусстве высокие требования, предъявляемые ему новым гуманизмом.

Мы собрались в стенах старейшего нашего театра, в котором вызревало русское сценическое мастерство. Много блестящих сценических реформаторов и школ возникало за пределами этих почтенных стен и, отшумев, уходило в историю, а этот театр по-прежнему оставался академией нашего драматического искусства, где хранятся эталоны того инструментария, которым художник театра воздействует на мир. Этот театр всегда шел вперед, и, может быть, лишь в одном можно упрекнуть его, что не всегда поступательное движение его соответствовало темпам века. Но в этом опять же есть доля и нашей вины, вины драматических литераторов, которые призваны оформлять творческие порывы театра.

Здесь собралась большая семья старых отличных актеров, которые ждут от своих драматургов могучих импульсов, высокого творческого побуждения для выхода на сценическую площадь. Словом, говоря специфическим языком, им нужны роли,— ваша поэтическая одежда, драматурги, которую вы изготовите для них, пусть будет по плечу их большим талантам. Мы должны очень уважать этих людей, которые полагают целью своей жизни сценическое воплощение наших образов. Плохая роль калечит исполнителя, и длительное пренебрежение в этом смысле ведет к прямой деградации всего театра в целом. Актер и зритель жаждут ролей и пьес, которые должны обладать соответственными этому знаменитому театру художе-

ственными качествами. Театр согласен пойти на длительную работу с автором, но будет неправильным, если автор потребует от театра снижения его художественных требований.

Словом, сценическое произведение мне всегда представлялось часами, где каждая деталь имеет свое точное место, где движение одной обусловлено движением соседней, где на тесном кругу, на этом циферблате спектакля, оборачиваются полные сутки человеческой судьбы, где любая соринка способна приостановить этот чудесный процесс осуществления авторской мечты... И уж если необходимо, чтобы эти часы правильно показывали народу время, в которое он живет, то тем более обязательно, чтобы эти часы вообще ходили, оправдывали свое первичное назначение.

1946

РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Когда пушки умолкают, приходят дипломаты. Они садятся у круглого стола и ведут строгий разговор. В нем суммируется опыт человеческого страданья, бережно взвешиваются кровь и пот соратников, совершенствуются меры охраны прогресса от варварства. Так справедливость воплощается в статьи, которые потом вырезают на медных досках монументов неизвестному солдату... И пока они сидят, старуха История почтительно стоит в сторонке, как она стояла еще вчера, внимая грохоту Сталинградской битвы.

Так и теперь. Старуха со вниманьем смотрит на самый большой круглый стол, какой ей доводилось видеть в веках. Действительно, это особый стол, он поставлен на особом грунте. В этой земле под ним закопаны семь миллионов исполинов, оборонивших мир от всесветного злодейства. Старуха стоит не одна — бесчисленное множество живых свидетелей теснится вокруг нее. Там много женщин с заплаканными глазами, бедно одетых детей, ветеранов в шинелях без погон и изорванных войною. Они хотят знать, как осуществляется акт величайшей судейской деятельности, не меньший, чем благодетельный подвиг гения или героя. Они имеют право на это.

Это все простые, очень чистые люди. Они не шибко разбираются в тонкостях юридических процедур. Их специальность иная — растить урожаи, воспитывать смену тружеников и творцов, строить умные машины да еще беззаветно сражаться за человеческое достоинство; благодаря этому им и удалось совершить такое, чего не выразить ни в песнях, ни в параграфах, ни даже в долларах... Зато так уж они устроены, что не спят тех ночей, которые — хотя бы за тысячу миль — огласит плач ребенка; оставаясь в живых на поле боя, они продолжают сражаться в одиночку; кроме того, они глубоко чтят понятие

джентльмен[1], неплохое слово, подаренное миру англосаксонским языком для обозначения носителя человеческого благородства и высоких нравственных устоев. Кажется, что их, повидавших Гитлера у себя в дому, уже не удивишь ничем; но... странное дело — вот хоть и не закончилось еще московское сидение, старуха иронически улыбается.

И уж если она теперь улыбается, значит, имеются причины для ее невеселого веселья. Необыкновенные явления происходят за круглым столом. Сущность их такова. Дикарь предпринял завоевание мира, и вначале это получилось у него довольно удачно, пока не вступили мы. Именно советский народ внес жертв больше всех в дело усмирения фашистского дикаря. Четыре года огнем и толом производилось научно организованное оголение так называемого «восточного пространства» под базу для всемирного германского господства. Дикарю удалось превратить в первобытную пустыню почти идеальной голизны счастливые и культурные, оборудованные новенькой индустрией советские города и села.

На протяжении этих памятных лет произошли свидания государственных деятелей великих держав в Ялте и Потсдаме. Были приняты соглашения о возмещении Советскому Союзу чудовищных опустошений, которые там мягко названы «ущербом». Когда на дикаря надели наконец смирительный нюрнбергский капюшон и очередь дошла до выполнения обязательств, джентльменское слово Ялты и Потсдама, закрепленное в документах, магически превратилось в изысканное «сочувствие», которым прикрывается отказ от выполнения этого самого джентльменского слова. Сие напоминает тот самый фокус-покус с исчезновением шарика, который так обожают дети дошкольного возраста.

Возможно, это было бы смешно, если бы шарик в данном случае не представлял собою нашего священного достояния, созданного титаническим трудом советского народа. Отрадно узнать, кроме того, что в жестокие военные времена не поредела категория сердобольных людей, сочувствующих чужому горю. Только нам это ни к чему. Речь идет совсем о другом. Положим шарик обратно на круглый стол и рассмотрим дело по пунктам.

---

[1] Джентльмен — «человек, отличающийся благородством, порядочностью и великодушием». — Толковый словарь русского языка, т. I. ОГИЗ, 1935, с. 703.

В самом деле, человеку свойственна благодарность к погибшим за него, которые как бы отдали ему взаймы свои жизни; оттого прежние живые всегда полагали своей священной обязанностью вознаградить морально и материально их жертвы, добить остатки зла, исполнить завещание мертвых, выпить братский кубок за здоровье мира!.. В этом большом всечеловеческом предприятии вопрос о так называемых репарациях хоть и существенный, но для джентльмена даже не самый главный. Бывают вещи, о которых не принято подолгу толковать над свежей могилой: и м тоже слышно там, в земле. Но случается и так, что судьи собираются и размышляют по многу раз без особо блистательных результатов, потому что одна сторона стремится не к исправлению ущерба, а к исполнению своих эгоистических планов. Тогда женщины на улице начинают расценивать конференцию как томительную дискуссию, некоторым участникам которой не хочется возвращать сироткам хлеб и кров, отнятые по воле громилы. Послушать их, получается, что вовсе не было у нас ничего позади: ни Зои, ни комсомольцев Волоколамска, ни Сталинграда, ни благоденствия сорокового года, когда мы пригубили первое вино наших пятилеток, ни даже вас, тысячи тысяч отборных советских воинов, которым при жизни их усердно кланялись правители многих народов. Видно, шея не имеет памяти.

В такие минуты, по выражению одного стороннего наблюдателя, хочется почесать мозги. Полно, так ли все это, не мираж ли перед нами, не редкостная ли слуховая и зрительная аберрация, еще неизвестная науке?

Следовало бы призвать мертвых в свидетели, но они молчат. Они устали. Их не разбудишь. Они не встают, даже когда у них отнимают принадлежащее им... Тогда надо обратиться к свидетельствам их победы. Города постепенно снимают с себя лохмотья. Слышен неуверенный пока детский смех. По радио сочатся новейшие, вызывающие зуд в ногах фокстроты. Фемиду с завязанными глазами возят с материка на материк, без риска подорваться на магнитной мине. Все едут куда-нибудь; едут делегации, туристы тоже едут, иногда с ножом за пазухой. Живучий дух наживы возвращается из дальней эвакуации. На черной бирже бесстрашно шумят о России черные люди... Словом, когда кончается затемнение городов, наступает затемнение совести. Ветер и дождь,— подлая незримая рука смывает с развалин грозные прыгающие буквы Смерть фашизму, начертанные кровью несдавшегося бойца. Им на смену выползают

совсем другие слова, плоские, обитающие в кодексах международного права, слова без плоти и души, равнодушные и ползучие слова, но каждое с жальцем: преамбула, резервация, координация, баланс... Они валятся с лапками в кубок мира, и вот уже не видно дна: пить нельзя. «Слова, слова, слова»,— как сказал один нерусский классик, изучавший человеческую природу у себя на родине. Конечно, чего не скажешь в беде, когда дубина убийцы взнесена над головой, но, надо признать, в Ялте и Тегеране дипломатическая мысль звучала несколько проще, короче и выразительней.

Крупный английский деятель раскрыл мне в недавней беседе истинное значение слова джентльмен; оказалось, что мы ошибались. Это слово означает вовсе не «блюстителя» и не «носителя» каких-то донкихотских качеств, а лишь обеспеченного господина, имеющего и прочные доходы,— словом, рантье, живущего «стрижкой купонов». Я не благодарил моего просветителя: я стал беднее. Но сразу прояснилось, почему так бесследно проходит все на свете, даже солдатские братанья и рукопожатия, обеты и объятья, Ялта и Тегеран. Люди, занятые большими бизнесами, всегда крайне рассеянны: они забывают уважать бесприютное горе наших вдов и сирот. Для них чем восточней меридиан, на котором пролита кровь, тем она дешевле... И вот опять бушует вокруг России эпидемия забвенья, которая со времен Тамерлановой опасности всегда доставляла немалый профит Европе. Микроб множится, его рассылают в радиопробирках, его холят и нежат, его питают выдержанным ядком — и, наконец, выращивается новое, тоже с лапками, словцо — пересмотр!.. Неоднократно простреленные ветераны битв за свободу народов прислушиваются к происходящему, смотрят на свои раны и размышляют в тишине, во что хотят обратить их звонкую творческую молодость и пятилетнюю безответную муку.

Естественно, они не могут пропустить мимо ушей удивительной по легкости, сатанински наивной словесной музыки, переданной 22 марта английским бюро информации. Мелодия звучит буквально так:

«Русские не любят самого слова пересмотр. Они, безусловно, отвергают любое предложение о пересмотре, как нечто почти преступное. Об исторических решениях Берлинской и Крымской конференций (они) говорят так, будто эти решения являются непреложным законом. Трудно понять, почему это так».

Мы знавали английский юмор в гораздо лучших образцах!

Вряд ли стоит создавать подкомиссию для изучения, что именно содержится в понятии честное слово. Тот же сторонний наблюдатель, стремясь внести свою лепту в дело мира, так разъяснил это мало изученное свойство славянской души. Как слово джентльмен звучит не одинаково на разных меридианах, так и понятие долга имеет у нас несколько степеней. Так, например, глаголы обнадежить[1] и посулить[2] имеют совсем разные оттенки, и последний вдвое сильнее первого. Слово обещание[3] во много раз обязательнее простого посула. И, наконец, этот ряд в итоге завершается словом клятва[4], которое содержит значение присяги и даже прямого обета перед богом. Таким образом, для каждого из нас, потерявшего столько отцов и братьев на войне, Ялтинский документ не есть только клочок гербовой бумаги. Никто не должен и не смеет рассматривать встречу в Ялте как мимоходное causerie[5] на теплом курорте. Мы тоже занятые, у нас на это времени нет. Для моей страны Ялта есть, по крайней мере, расписка кровью или слово джентльмена в славянской трактовке этого понятия. Такие обязательства с древнейших времен выполнялись без оговорок. Время и место действия конференции обязывают к этому.

Ибо, когда бушует разлив спасительного забвенья в мире, пожалуй, оно только делает вид, что бушует. Оно не бушует на самом деле. Оно хотело бы, но не может, оно не смеет. Наших жертв и утрат забыть нельзя. Если мы не валим на круглый стол километровые груды костей и пирамиды мокрой щебенки, то лишь потому, что там не хватит места для этого. Гарь бабьих яров и смоленских пожарищ еще витает в воздухе, носится в пассатах и муссонах — требуются полчища торнадо, пользуясь американской терминологией, чтобы проветрить в мире эту кромешную духоту. Нет, добрые господа, наши потери не ограничиваются суммой в 357 миллиардов долларов расходов и утерянных доходов плюс 128 — от прямых попаданий в сердце, в завод, в святыню, в детскую колыбель. Не

---

[1] Например, у Даля: «Обнадежил, да и ножки съежил».

[2] Там же: «Посулился, да отступился», «Посуленное на воде вилами писано», «Посуленный мерин не везет».

[3] Там же: «Обещал пан шубу, да не дал, ин слово его (тепло) греет», «Обещать-то легко, да думай исполнить».

[4] Даль, т. II, 1905, с. 311.

[5] Непринужденный разговор, беседа *(фр.)*.

считая самой крови, тяжесть которой общеизвестна, весят же хоть что-нибудь материнские слезы, считая из расчета семи миллионов хоть по десять граммов на мать. Почем ценится у вас эта страшная жидкость? Спросите свои народы, согласились бы они купить русское горе за эту сумму?

Нет, мы не торгуем ни кровью, ни трудоднями героев. Сие не продается у нас в универмагах. Не о цене крови идет речь. Мы хотим, чтоб исполнилась справедливость, законное право всех простых людей земли. И если есть еще нужда в доказательствах и уликах, везите эту даму с завязанными глазами по обширной пустыне наших пограничных республик. Еще не поздно. Пусть провожатые заблаговременно снимут эту неуместную теперь повязку с ее глаз. Она увидит сама лежащие в развалинах наши скромные трудовые дворцы, тысячи километров рельсов и провода, раскиданного по земле, и очень хороших людей, которые еще мечтают сменять свою землянку на самую простую избу...

Милая моя страна, еще жарче продолжай святой труд послевоенной пятилетки. То, что когда-то мы сбирали по крохам, завтра мы соберем пригоршнями и скоро будем носить охапками в наши закрома. Расти своих детей и полновесный урожай, воздвигай разбитые углы твоего жилища, и пусть тебя не огорчат забияки из зарубежных газет, призывающие охранить бедную Германию от России. Кошелек и волк из диснеевских киносказок всегда разговаривают таким проникновенным жалостливым басом. Пусть сушеная преамбула, которой хотят накормить твоих сироток, не отравит в тебе веры в дружбу, честь и правду. Ты не одна, с тобой крылатая, всевидящая совесть Истории. Но я разделяю твой молчаливый вопрос:

— Если Мюнхен прозвучит в веках символом страха перед убийцей, а Сталинград — нашего героизма, а Ялта — солдатской клятвы, а Нюрнберг — возмездия, то какое содержание вложат потомки в бесконечно емкое слово — Москва тысяча девятьсот сорок седьмого года?

Пусть это прозвучит как — Справедливость!

1947

РАССУЖДЕНИЕ О ВЕЛИКАНАХ

Существует мнение, что великаны добродушны и даже любят, чтоб к ним ходили в гости. Наряду с этим опыт Гитлера, побывавшего в гостях у России, показал, что молва об их гостеприимстве сильно преувеличена. Два суждения вступают в противоречие... и тут, предположим, Дижонская академия наук[1] снова предложила бы нам,— на этот раз отвергнуть одно, как заблуждение, другому же вручить пальму первенства и правоты.

Мы призадумались бы, что именно скрывается за этим академическим вопросом. Как и все на свете, великаны состоят из достоинств и недостатков. Если под этим словом разуметь великий народ, то вывод будет зависеть от того, какой общественный слой подвергнуть рассмотрению; в каждом из них бывает подчеркнута или даже искажена какая-нибудь черта национального характера... Ясно, что это на наш счет заволновались хитрые дижонцы.

Искони умели мы для милого гостя все на стол выставлять, что в дому найдется; да это и неплохо — тряхнуть достатком для верного дружка, с которым вместе кровь проливали или еще прольем впереди. Однако простой народ в таких случаях проявлял больше государственного такта и чутья, чем более просвещенные наши слои, у которых радушие нередко выливалось в излишнюю общительность с гостем дижонского происхождения. Замечено, что кое-кто из наших не прочь был и душу ему на сиденье подстелить: «Располагайся, мил-сердешный друг, а я тебе сказывать стану, как с женой живу, чем у нас чахотку лечат и какой самолетишко брат соседкин в поле

[1] Университетская Академия наук и искусств в Дижоне, главном городе Бургундии, систематически объявляла конкурсы на различные сочинения о морали, нравах и т. д.

видал!» Причем все это не ради подлого барыша, а просто так, чтобы ублажить гостя щедротами, запечатлеться навечно в его благодарности, хотя и небезызвестно, что благодарность проходит вместе с хмелем. Может, и шибко сказано, но пусть шапка на том дотла сгорит, о ком речь.

Гость тем временем усмехается, мотает на ус по правилам соглядатайской мнемоники, а потом всю ночь, подобно Генриху Штадену, пишет какому-нибудь там своему императору Максимильяну обстоятельную инструкцию о кратчайших путях к одолению гостеприимного хозяина. Сколько мы их повидали от помянутого в данном случае заграничного соглядатая-опричника Генриха Штадена до Кюстина, от Струйса до Петра-Петрей-Эрлезунда, который так обстоятельно о п и с а л нашу горькую действительность при грозном царе. Нередко лишь по исчезновении дорогого гостя приходило в голову спросить, отколе он взялся, чем занимается и как имечко ему, чтобы черта пустить вдогонку... Да и позже, сколько у нас было пито-едено всякими заезжими мэтрами газетного клеветона. Где-то они теперь и что поделывают в пользу всемирного гуманизма? Много добра уплыло из нашей страны в беззаботной ладье российской деликатности.

Трудно уследить начало болезни, но представляется мне, что началось это вскоре после падения Сумбекиной башни. Не нова эта повесть, однако повторим вслух ради разбега и укрепления рассеянной человеческой памяти... Нам повелено было судьбой стать великим восточным валом от монгольского вторжения, как семь веков спустя — могучим горным хребтом от нашествия тевтонского. Целых три века мы выстояли в одиночестве насмерть, не шелохнувшись, пока юная Европа закладывала фундамент своих университетов. Скудно жили тогда наши дети, без ласки, без книжки, без пряника. Нет, не любовная лютня звучит в песне о походе Игоревом. У Пересвета и Осляби были дела поважнее на залитой кровью Русской земле. Впрочем, мы на участь свою не ропщем,— после каждого испытания что-то прибавлялось в нашем теле и душе: вот откуда мускулы титана и неустрашимая проницательность мудреца.

Никто из народов не познал с такой силой святости знания. Высвободясь из ярма, Русь устремилась к сокровищам, без которых в этом мире сожрут с костями. Царь Иван ковал последний железный ларец Русского государства, и когда тот приобрел надежную прочность, Петр ссыпал в него первую горсть «зерен бурмицких» поверх уже накопленного там жем-

чуга — славянского, византийского и, скажем, венецейского. Как все приходившее к нам извне, эти последние неузнаваемо облагородились от одного пребывания в сердце русском,— в той степени, в какой наш Рублев выше византийских образцов и итальянских примитивов... Однако нетерпение заглушило в Петре голос мудрого предвидения — как это аукнется в веках. Совершив великие дела, он приучил русскую знать копировать иностранное и презирать свое.

Ему было безразлично, во что налита живая вода просвещения, лишь бы поскорей утолить трехсотлетнюю жажду. Иноземцы ехали к нам с семьями и челядью, так что иная капля меду прибывала сюда в многопудовых жбанах да баклагах. То была, скорее, лишь руда, подлежащая дальнейшей обработке в плавильнях народного духа, чем готовый фабрикат культуры, пригодный к немедленному применению. О, далеко не Леонардо, не Парацельсы, не Палладио соблазнялись суровым московитским климатом, а лишь безвестные Европе Лефорты, Брюсы да Гордоны; это под могучим крылом Петровым стяжали они себе всемирно-песенную славу. Смешно было бы считать их воспитателями обновленной культуры русской. Они никогда не годились стать клетками государственного разума России, у которой была своя, суровая, непостижимая Западу судьба, но лишь инструментом в руках неистового царя. Если доныне существуют в советской столице районы их имени, это лишь показатель того, как умеет наш народ ценить даже крупицу оказанной ему в нужде услуги.

И смотрите, едва осиротела Петрова дубинка, как быстро выродились «сии птенцы гнезда Петрова» в бездарную голштинскую моль, в Бирона и Бенкендорфа, Дубельта и Штюрмера, который был просто царицына блоха в бархатном камзоле. Лишь немногие из них плодотворно прижились в русской науке и растворились в своей новой родине. Большинство жило островком, становилось верхами общества, друзьями и даже родней царям. Но, процветая и множась, наливаясь спесью и жирком, они побаивались так называемой «славянской души», которая иностранцу всегда представлялась некоей подозрительной штучкой со взрывателем, и стремились обезопасить своих потомков от превратностей будущего. Примечательно, как быстро подыскали они себе деятелей, которые приподнятую поэтическую деликатность Пушкина — «...и за учителей своих заздравный кубок поднимает» — вывернули в формулу извечного примата Запада в нашей духовной жизни. Кажется, в те

годы русскому народу весьма своевременно напомнили обветшалую легенду о приглашении безработного скандинавского ландскнехта Рюрика со братьями на великокняжеское кресло,— предание столь же бесталанное, как брехня об основании Москвы сыном библейского праотца Иафета, Мосохом, и его благочестивой супругой Ква, откуда будто бы и наше с вами прозванье, товарищи москвичи!

На протяжении века этот привозной микроб изрядно подточил веру русского дворянства в свои национальные силы. Столичная знать постаралась окончательно, языком и обычаем, отмежеваться от своей черной родни, ютившейся в нищих избах. Она щеголяла в импортных перьях да лоскутах, транжиря накопления Петра. Не имея опоры в своем отечестве, она искала ее за границей.

И сколько раз — в доме патриарха московских недорослей — две княжны-сестрицы хаяли свою родину перед очередным мужчиной из Бордо, который, кстати, всегда на поверку оказывался либо журнальным Хлестаковым средней руки, либо просто шпионской щукой в окружении раболепных карасей:

— У вас там священные камешки Европы, Колизеи да Парфеноны, Атенеумы да Фолибержеры... роскошь какая! А у нас только и есть, что всадник медный, который вот уже целый век все скачет неизвестно куда сквозь свою гиперборейскую метель.

Да тут еще Фамусов сбоку поддаст про неопрятность мужика: «Просто неприятно за загривок держаться, едучи у него на спине». Да еще Скалозуб рванет басом: «А дороги-то, сударь,— грыжу наживешь!» А следовало бы тогда же поспрошать у них со строгостью, как и было спрошено веком позже,— а что, дескать, сделали вы сами, хорошие вы господа, на иностранном диалекте срамящие свое отечество, что вы сделали для приведения в надлежащее совершенство дорог российских и загривка упомянутого мужика?

Такая мораль и для нашего времени пригодна. Слов нет, критика полезна, поскольку она способствует совершенствованию, да не всякая критика совершенствованию способствует. Критика настоящего творца социалистической жизни раньше всего состоит в том, что он своим собственным трудом старается пример показать, преодолеть недостатки своего быта и общества. И если, скажем, тело его терзает низкая зимняя температура, а душу — нехватка комфортабельных автомобилей, он тем яростнее вгрызается в Донбасс и Магнитку, потому что там в

неисчерпаемом количестве заключено все для утоления самых утонченных потребностей. Ему не понадобится для этого в шахту лезть или у домны становиться: его собственная специальность является могучим рычагом воздействия на уровень жизни. Делай свое дело хорошо и своим примером устыди нерадивого соседа! Такая критика ускоряет наше поступательное движение, и, если бы все так критиковали, глядишь, мы бы пятилетку в год-другой осилили!.. Что касается других видов критики, то зачастую это воркотня потребителя, стороннего человека в своей стране, воркотня недобрая, потому что, может быть, для комфортабельной машины как раз тех винтиков и не хватает, которые изготовляет он сам. И примечательно тоже, что всегда при этом является поблизости очередная щучка или лиса, которая терпеливо ждет, когда кусочек сыру выпадет из клюва разговорчивой птички.

Я не хулю прошлое моей страны. Правнук крепостного, я смотрю на старую русскую культуру как на свое кровное наследье. Мне больно видеть планомерное разрушение многих древних памятников моей России. Культура эта блистательна во всем том, что было почерпнуто ею непосредственно из народа... Не быть бы ей, однако, если бы лапотные деды мои не доставляли хлеб ее творцам, не ходили в дальние походы с ермаковской вольницей, не слепли в рудниках, не изводились без сна в людской, пока, скажем, Гавриил Романович Державин беседовал со своей музой, и, наконец, соленым солдатским потом не поили они орла русской военной славы. Но, кто знает, случись наоборот, может быть, на месте своих высокопоставленных хозяев мои-то деды, глядишь, наковыряли бы всемеро. Равным образом, глазами наследников вправе мы взирать и на западноевропейскую культуру, которую оборонили в двух величайших сраженьях и от которой, кстати, пошли ее другие отрасли, в том числе и заокеанская.

Патриотизм состоит не в огульном восхвалении или умолчании отечественных недостатков. В полном объеме я понимаю значение этого слова. Не на моем языке родилась поговорка: ubi bene, ibi patria — где хорошо, там и отечество,— мудрость симментальской коровы, которой безразлично, кто присосется к ее вымени, было бы теплым стойло да сладким пойло. Для мыслящего человека нет дороже слова о т ч и з н а, обозначающего о т ч и й д о м, где он явился на свет, где услышал первое слово материнской ласки и по которому впервые пошел еще босыми ногами. С малых лет мы без запинки читаем эту книгу жизни,

написанную лепетом наших весенних ручьев, грохотом нашего Днепра, свистом нашей вьюги. Мы любим отчизну, мы сами физически сотканы из частиц ее неба, полей и рек. Не оттого ли последней мечтой политических скитальцев и даже просто бродяг было — вернуть в родную землю хоть кости свои с чужбины.

Сильна эта стихийная Антеева тяга, но она ниже гордого чувства национальной принадлежности. Патриот потому и готов погибнуть за свою землю, чтобы у его народа сохранилось навеки это историческое благо. Всем строем мысли и душевных богатств ты обязан родине. Она дала тебе жизнь и талант. И это не есть лотерейный билет, по которому счастливцу выдают без очереди хромовые штиблеты или мотоцикл с прицепом. Нет, талант есть сокровище, окупленное историческим опытом и мукой предыдущих поколений; он выдается под моральную расписку, как скрипка Страдивари — молодому дарованию, и родина вправе требовать возврата с законным процентом, чтоб не скудела национальная казна. На любой общечеловеческой ценности лежит неистребимая печать нации, где она родилась. И если удалось тебе спеть что-нибудь путное в жизни, привлекшее сердца простого народа, то лишь потому, что слабый голос твой звучал согласно с вековым хором твоей большой родины. Вот почему все знаменитые люди нашего прошлого так благодарно и нежно любили ее всякую — и в сумерки, когда беспросветный осенний дождик, и в нищете, когда у ребенка с голодухи сил не хватало протянуть руку за милостыней, но прежде всего в бедствии, когда предстояло либо прорваться к победе, либо сгибнуть вместе.

И есть высочайшая степень патриотизма — не только для себя, но и для других... и в конечном итоге для других больше, чем для себя. Это патриотизм мудрости и старшинства: мы живем здесь, но наша родня раскидана всюду — по горизонталям пространства и по вертикалям времени. Мы — человечество. Это не вселенский космополитизм некоторых наших изысканных современников, которые в понятие родины готовы включить любую точку Галактики, где имеются конфекционы и кафе, универмаги и гостиницы с сервисом. Подчеркнутые урбанисты, «французистые пижоны и бульвардье», по научному определению Маяковского, они допускают явления природы лишь в предметах потребления, а русскую культуру — в черной икре с белой булкой. В большинстве это люди способные... в первую очередь способные скорее преувеличить сомнительные

достоинства чужих, чем примириться с временными недостатками своих, лишь бы их не упрекнули в неделикатной необъективности. Как и прежних недорослей, их можно признать по одежке, составленной из предметов, недоступных простому смертному. Они здравствуют и процветают, но всегда держат в мыслях, что есть на свете такая праведная страна, Эльдорадо, где пребывает надмирная глянцевитая культура и никелированные гвозди продают в шкатулках, пригодных для хранения запонок... Это над ними посмеивался дедушка Крылов в басне о дворянине, который «из дальних странствий возвратясь». Им невдомек, что в Эльдорадо все зависит от тигров, а не от милостивцев, и никто их там не ждет с шампанским на аэродромах, а если и примут, то лишь в гарсоны при тигровом столе, в яшки по-нашему; что симментальским коровам, после того как выдоят, пенсий там не дают, а обращают на мясо и потребляют с горчицей их собственного разочарованья... Нельзя забыть, как один большой беглый артист певал бурлацкие песни у одного такого саблезубого тигра чуть ли не в передней, чтоб не мешать болтовне тигровых гостей, которые так и не поняли, из-за чего так шумно распинается этот приезжий господин в крахмале. А потом, ближе к ночи, на длинном черном кадиллаке ехал он украдкой в порт, где стоял тогда советский пароход, и все ходил, все слушал вечернюю песню русского матроса, вольный ветер с родины. Какая босяцкая тоска грызла тогда его душу! Волгарь-волгарь, далеко ли ты уехал на своем кадиллаке?..

Речь идет о чувстве высокой принадлежности к авангарду тружеников, которым так гордились Горький, Чкалов и Зоя. Это есть патриотизм советского человека, провозгласившего свое отечество моральным пристанищем всего прогрессивного человечества. Да, мы любим свое, наше, потому что на нем лежат отпечатки мечты и золотых рук наших гениев; да, нам дорог этот, наш дом, содеянный подвигом предков и достиженьями пятилеток, но не потому только, что там находятся дедовские могилы, бесценная утварь цивилизации и непочатые сундуки с добром. Наше отечество лучше других потому, что оно на своем примере и судьбе выверяет прообраз людского общества.

Нам нельзя иначе, мы зорче, мы старшие в человеческом роду. В самом деле, тот, кто не полагает своего благополучия в нищете слабейших, еще не может считаться их братом; пока еще он только не вор. И если он защищает их от потопа и разо-

ренья, не ставя себе призом кошель со златом, он их брат. И если он рассекает череп злодейству, пока другие годами пришивают пуговицы к мундирам, он есть сильнейший брат. (Я не против портных, но известно, что непосредственное пролитие крови на фронте сопряжено с гораздо большим риском для здоровья.) И, наконец, если он идет впереди века, как вожак, прокладывая трассу в страну, куда еще нет лоций и туристических маршрутов, приемля на себя все тягости и случайности почти космической неизвестности, он есть старший брат. Таким всегда принадлежало и старшинство в семье. Такие отвечают перед историей за сохранность всего духовного людского достоянья.

Любя свое, мы никогда не испытывали вражды к чужому, пока оно за рубежом, не одето в цвет хаки и не смотрит в нашу сторону задумчиво-бычьим взором. Блок повторял слова Белинского о том, что нам внятны все передовые качества других культур. Это хорошо известно простому люду всех пяти материков, и не нам жаловаться на отсутствие друзей в мире. Больше того, нас понимают и иные враги, ненависть которых бывает порой окрашена невольным уважением к величию нашего народного духа. И это проявлялось не только в пору Сталинграда или первой Отечественной войны, когда не хлеб и соль на золоченой тарелке, а черный неостылый пепел подносили мы завоевателям на конце нашего меча. Им-то хорошо известно, какие сокровища таятся в недрах Советской державы и что мы еще сверх содеянного смогли бы выдать на-гора́ человеческой культуре, если хотя бы полвека не отвлекать нас барабанным боем военной тревоги. С особой силой это проявилось в ходе Отечественной войны, когда нас сознательно оставили наедине с фашизмом в надежде, что мы взаимно сгложем один другого.

Пожалуй, не только уважали бы, но и любили нас, только смирных и кротких, как любят Сиам,— кладовую потенциального сырья, чудовищной емкости рынок, неисчислимые кадры для биржевых и военных спекуляций. Естественно, они частенько сожалеют, что уплыли те невозвратные и довольно длительные времена, когда можно было давить на русское правительство понижением рубля на бирже и гаркнуть по-хозяйски, как в первую мировую войну: «Россия должна воевать, а не разговаривать!» [1] Ушла пора нашей печальной зависимости от Запада — не культурной, которой и не было, а экономической.

[1] «Daily express», осень 1917 г.

В яростной атаке фашизма должно видеть отчаянную попытку восстановить утраченное.

Молодежь-то не помнит, а в те времена они были здесь, совсем рядом. Какая разница — кнут баскака или заграничного банкира свистел над головой России: второй был умнее и, методически срезая шерсть, старался не слишком ранить кожу. Происходило неторопливое, но верное освоение России Европой — и через династические путы, и через прямое хозяйственное порабощение. Наверху красовался православнообразный немец с бородкой и в порфире, внизу — тот же немец в цивильном сюртуке и с пакетом промышленных акций, то есть талонов на прибавочную стоимость туземного труда. В этой рамке резвились наши, пока еще косолапые, рябушинские тигрята. Не помню, какого иностранца сидело больше на хребте дооктябрьской России,— все кормились без ссор и поровну, запуская по нескольку хоботков в ту же ранку.

Этим людям выгодна была теория нашей неполноценности, нашей всегдашней духовной подчиненности какому-нибудь очередному чужому дяде. Да, им удалось укрепить в сознанье нашей дворянско-буржуазной интеллигенции эту идею «исторической преемственности» русской научной, технической и художественной мысли у Запада, на манер того, как дух божий перманентно исходит от бога-отца. По этой теории, прервать сию млекоточивую пуповину означало бы ввергнуть отечество в неизбывные беды, хотя не только млеко, а порою и нечто совсем негожее притекало к нам оттуда. В 1906 году, когда революция еще развивалась в России, Запад помог царской реакции оправиться, ссудив ей два миллиарда рублей. И царизм действительно окреп тогда ценой новых народных бедствий. Необходимо было своевременно раздеть догола, духовно разоружить нашу страну и затем под местной анестезией национального сомнения изготовить из нее питательное и безопасное блюдо на грядущие века. Интересно, как быстро и паразитически этот миф о тысячелетнем ученичестве России у Европы привился к нашей постоянной скромности, даже застенчивости, когда дело касалось оценки наших общечеловеческих заслуг... Взяв у России кровь или идею, нашего брата — будь то солдат или ученый! — всегда оттирали от пирога на заключительном пиршестве.

И вдруг оказалось на поверку, что неоспоримые заслуги пионеров в деле электрического освещения Яблочкова и Лодыгина занесены в формуляр Эдисона, а паровая водоподъемная

машина, изобретенная на Урале в начале XVII века, даже в учебниках подарена Денису Папену, а химические предвидения Ломоносова присвоены Лавуазье. И отнюдь не потому, что гений Лавуазье нуждался хоть в крупице чужой славы,— будь он жив, он немедленно отверг бы это неприличное присвоение,— а потому, что и этот пустячок содействовал умалению нашей роли в общекультурном процессе. С помощью тех же магических манипуляций русское радио спешно закрепили за Маркони; к слову, сей доблестный муж науки не мог не знать о существовании Попова и тоже мог своевременно отвергнуть, однако в высшей степени не отверг. Через полгода он имел миллион на сберкнижке, а наш собирал гроши у сослуживцев на постройку опытной радиостанции. Сказать правду, мы раньше плохо знали свои природные и людские богатства, и приятно сознавать, что в какой-то степени мы уже излечились от знаменитого нелюбопытства русских, благодаря которому столько раз неотвратимое признание отечественного гения приходило к нам через границу. Поздно разбираться, кто тут виноват; ограбляемому народу безразлично, совершался ли грабеж по замыслу чужих плановиков или по почину наших доморощенных простаков, с таким рвением выискивавших черты зависимости нашего творца от зарубежного,— точно тот немедленно поделится с ним полтинником на радостях внезапного приобретения. Хороши просветители, которые стремятся доказать своему народу его духовную несамостоятельность. И какая неосторожность вести себя так неопрятно за большим столом, за которым сами же принимают свою высококалорийную пищу.

И ведь до того, помнится, что в 1912-м, в юбилей первой Отечественной войны, на всех московских перекрестках можно было купить бюсты Наполеона Бонапарта на любые вес и цену, хотя даже бумажные портретики Петра Багратиона или Дениса Давыдова, не говоря уже о Михаиле Кутузове, не запомнились мне в продаже. Конечно, в ту пору был альянс, то есть дружба с французами, во всякое время весьма полезная вещь, но зачем же в приятность другу возводить в национальные герои заграничного мужчину, который фугасы подкладывал под башни московского Кремля? Действовала наша историческая деликатность: загладить перед приятелем старую вину, выразившуюся лишь в том, что неудачного завоевателя в бледном виде выкинули за порог.

Словом, медленность поглощения объяснялась скорее неспокойным поведением ограбляемого, нежели апатичностью

грабителя. Первая мировая война не была ли попыткой ускорить процесс освоения, чтоб разом, сцедив кровь из России, распластать ее затем, как колониального кита? Безоружных, без винтовок и пороха, богатырей бросили под кинжальные германские огни,— мое поколение помнит, как металась самсоновская армия в Мазурских болотах, подлостью обращенная в беззащитное гигантское стадо. «И пала грозная в боях, не обнажив мечей, дружина...» О, пусть они никогда не любили нас, но как, через головы героев, в сто тысяч русел предавали они нас тогда и вместе с нами — ваших старших братьев и отцов, народы Советского Союза! Нас сроднили навечно не только радости всех недавних свершений, но и давняя общность исторической судьбы.

Октябрьская революция, разрубая капиталистические цепи, порвала и десятки цепочек помельче, которыми тянули наземь слишком радушного и гостеприимного великана. Кончился старый, отработанный миф о первородстве Запада в нашей духовной жизни. Мы откланялись ему за вековую и порой весьма жестокую учебу. Все повидали теперь, после нынешней войны, какая живность ютится порой между почтенными университетскими камешками Европы. Не тот стал Запад, да поизменились и русские с 1917 года, а вместе с ними и другие братские народы наши. Только теперь в полный мах развернулась их созидательная мощь. Их нынешний патриотизм питается сознанием своих неиссякаемых, раскрепощенных творческих сил. В то время как английской промышленной революции потребовалось почти двести лет, чтоб достигнуть нынешнего уровня жизни, мы за неполные тридцать пробежали не меньший путь, причем все это, в сущности, сделано было одной рукой, в другой — мы обязаны были держать наготове винтовку. Именно это обстоятельство дает нам право сказать миру:

— Освободите труженика от пут, от все убыстряющейся мертвой зыби войн и передышек... пусть он без ненужных передаточных шестерен, поглощающих его творческую энергию, станет истинным хозяином планеты, и вы увидите, что все накопленное человечеством доныне есть только детская проба пера в ученической тетрадке!

Собственно говоря, и все.

Но поскольку результаты этого торопливого исследования весьма зависят от роли, которую сам гость играет в доме великана, необходимо коснуться и посетительских разновидностей. Гости бывают разные. Одни хотят нам добра и сами не прочь

поучиться у нас опыту разумного существования. Другие заходят по делам; они не порадуются нашим радостям, мы не огорчимся их огорчениями. Третьи, как правило, лукавы и ловки,— у них очень мягкие руки и большое ухо профессионального слухача. Их сердит, когда мы разговариваем с ними так, словно весь наш народ прислушивается к беседе, стоя за нашей спиной. Выйдя на ловлю, они в качестве наживки применяют восхищение, лесть, даже искусную откровенность. Они любят иронически отзываться о своих деятелях, рассчитывая на встречную деликатность... «Тех, что постарше, по-иному завлекает нечистая сила»,— как выразился Мельников-Печерский в рассказе о болотах. Почуяв в собеседнике скрытого резидента европейской культуры, они выражают отвлеченное сочувствие по поводу угнетающего континентального климата в гиперборейской стране. Если, несмотря на лихую фронтальную атаку или осторожный массаж тщеславия, сыр все-таки не падает из клюва, они становятся вялы и стремятся наверстать упущенное на икре и цинандали.

Словом, мы воздержимся от прямого ответа на дижонский вопрос. Свой отказ мы объяснили бы невозможностью делать заключение о целом по единичной частности. Из взятого примера вытекает, что гостеприимство великанов выглядит в зависимости от обстановки. Они по-прежнему хлебосольны для друзей, и нет у них ничего такого, чем они не поделились бы с кунаком. Они вежливы с друзьями второго сорта, только без того бывалого ротозейства, когда через рот можно рассмотреть меню, скажем, утреннего завтрака; опыт показал, что это и негигиенично. И, наконец, если долго мельтешить перед великаном и застилать ему поле зрения ненужными телодвижениями, он быстро утрачивает юмор и поступает с убывающим благодушием, что иногда бесповоротно отражается на здоровье неосторожного гостя.

Затем, бережно упаковав пальму, мы с добрыми пожеланиями вернули бы ее назад, в Дижон, неизрасходованной.

1947

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

По слухам, на далеком Западе первую минуту новогодней встречи принято уделять молчанию. В полной тишине, еще до выпивки, любое респектабельное семейство устремляет глаза на люстру и благоговейно размышляет о вечности. Сие представляется им подобием кошеля, куда время ссыпает пепел надежд и отработанную человечью кость. Холодок бежит по спинам... Безмолвие осветительного прибора понимается там как прощение мелких (или не очень мелких) гадостей, содеянных в минувшем году, и как благословение на будущее... Затем звон хрусталя заглушает шаги маятника над бездной.

Наше новогодье приходится, в сущности, на ноябрь. Моим современникам тоже не спится в эту ночь. Им хочется глядеть на звезды и даже потолковать с ними о пройденном тридцатилетии и человеческой судьбе. Звезды любят говорить с людьми, хотя обычно в круг их собеседников входят лишь астрономы, мореходы да начинающие мудрецы. Старожилы неба, звезды давно наблюдают за развитием жизни на земле и могли бы поделиться впечатлениями о фазах ее деятельности — от мерцательных движений первоклетки до антисоветских речей некоторых, скажем, высших и просвещенных организмов на Генеральной Ассамблее.

— Н-да,— приблизительно так сказали бы звезды, если бы удалось осуществить такое интервью,— наблюдение за землей составляет наше любимое занятие. Нам нравятся люди, мы помним их начальные шаги к совершенству, мы приветствовали наступление их могущества... но нас крайне смущает кое-что в поведении людского племени.

Время от времени непонятное зарево затопляет землю, и горелый трупный смрад шлейфом несется за нею по вселенной.

Некоторые предположили, что происходит крупная заготовка говядины, но никто не сумел объяснить, почему люди так сосредоточенно занимаются самоистреблением; это уже не диктуется проблемами ширпотреба и продснабжения, как во времена Монтесумы, когда враг рассматривался как источник обмундирования и вкусное питательное блюдо. При этом гибнут не только железнодорожные постройки или музеи, полные красивых вещиц, но и наиболее выдающиеся по силе и отваге экземпляры людской породы, а это когда-нибудь скажется на вашем биологическом уровне. Нам кажется поэтому, что люди при таких условиях живут в постоянном страхе перед своим завтра,— и в этом смысле беспамятное существование амебы имеет свои привлекательные преимущества.

Следует предположить, что какая-то лихорадка перемежающегося безумия гложет человечество, ибо немыслимо в здравой памяти стрелять по счастью из пушек. Печальнее всего, что потенциал разрушения на наших глазах грозит перерасти ваш созидательный потенциал. Взгляните, к примеру, на этого пожилого господина по ту сторону большой воды, который воодушевленно размахивает каким-то исключительно опасным предметом, грозя превратить вашу планету в звездочку одиннадцатой величины. О, мы готовы потесниться на небосклоне ради новой сестрицы, но это лишило бы нас любимого зрелища... Тогда нам пришлось бы погаснуть со скуки.

— Ясно, здесь потребовался бы краткий и упрощенный (применительно к сиятельной, но необразованной аудитории) семинар по истории свирепого недуга, пароксизмами которого и являются как раз войны. Его микроб живет в подлой страсти к накоплению за счет ближнего. Раньше, когда все было попроще, это называлось кражей, объегориванием, эксамотажем, то есть присвоением чужого добра с помощью ловких манипуляций. Со временем искусство ограбления бедняков попутно с успехами науки и техники доведено было до совершенства, тогда это стало называться капитализмом... Рассказ охватил бы длительный период — от рабства, когда жертву за шею прикрепляли к жернову в подземелье и путем регулярных ударов по голове выколачивали из нее живительный сок, до нынешних картелей и монополий, где прибавочная стоимость отжимается в хорошо проветриваемых заведениях с помощью современных аппаратов экономической дойки. Война, если только это не святая освободительная война, есть лишь ускорение помянутого процесса, в котором человеческая кровь

своим ходом перегоняется в желтый неокисляющийся металл с удельным весом 19,32, известный под именем з л а т а, а отходы производства, известные под названием т р у п ы, тут же, на месте, зарываются в землю...

— Значит, этот микроб принадлежит к породе неуловимых вирусов, если люди не могут изобрести фильтр для него? — спросили бы звезды, недоверчиво перемигиваясь.

— Нет,— ответили бы мы,— он виден невооруженным глазом. Некоторые из этих вирусов даже благообразны и почти не отличаются от обычного человека.

— Значит, их — миллионы?

— Нет, их ничтожно мало. Они известны все наперечет. Кроме того, их меньшинство имеет заметную тенденцию к уменьшению, тогда как большинство неуклонно возрастает.

— Значит, из стали их неуязвимые тела?

— Нет, они сделаны из обычного материала. При прямом попадании они пахнут так же, как и их жертвы.

— Но, по крайней мере, они дрожат перед Грядущим?

— Да.

Мы поведали бы эту грустную земную повесть без риска потерять уважение слушателей, потому что один, довольно внушительный, кусок земли людям удалось стерилизовать от постыдного микроба. Сверху мы указали бы звездам на обширную страну, где творческое большинство решилось не только добиться справедливого распределения житейских благ, но и установить в собственной державе порядок, за который не было бы стыдно перед звездами. Для этого ему потребовалось перестроить все, от соотношения движущих страстей в человеческом характере до своей экономической географии. Ему пришлось заменить диктатурой тружеников те социальные системы, в которых предоставляется решению изменника — предавать или не предавать, и красть или не красть — выбору вора. Нужно было сконцентрировать невещественные мечтания людей о правде в плотный и узкий луч, в котором замертво падала нечисть и досрочно распускалась яблоня. Этому творческому большинству предстояло идти по неизведанной тропе, без права ошибаться в маршруте; священная задача — охранить от натиска варваров хрупкую и беззащитную красоту мира — легла на их плечи и волю, они выполнили ее, потому что это были единая воля и одно плечо... Эти люди — мы. Слушайте про нас, звезды!

Итак, мы родились в непогодную ноябрьскую ночь. Не в благостных рождественских яслях и не из пены морской,— из рабочего, из солдатского, из народного гнева родились мы. Нам предшествовали бури и умные книги, где научно была предсказана эта всенародная ярость против нерадивых и бесчестных хозяев земли. Растерзанная родина лежала перед нами, как улика. Черный снег валился на незасеянные поля, бедняки копошились в развалинах. Кроме нас, никто не поднял голоса в осуждение бесцельной скверности происшедшего. Версальские посланцы держав, из которых каждая имела по пуле в животе, условились считать, что дешево отделались от кровопролитного припадка... Потом все занялись неотложными делами: отборные представители людского племени тлели в земле, отборные подонки наций считали сверхприбыли от удачного побоища. Во утешение от скорбей человечеству был выдан фокстрот, этот общедоступный моцион для ожиревших и простреленных. Мир предавался забвенью,— виду психологической анестезии, под которой людскую молодость веками водят от эшафота к эшафоту.

Но народы России не забыли ничего. Причина лежала не в прочности памяти, а в устройстве их совести. Предать забвению сиротские слезы, бессмысленно растраченную силу, попусту загубленных богатырей — означало бы вообще предать их. Еще большим преступлением было бы, зная периодичность безумия, не подумать о том, как отвратить от неминуемого зла идущие на смену поколения. Стыдно взрослым выпускать детишек в заминированный мир, раздавать им яблочки, приправленные ядком... Вот почему эти люди не страшатся приговора потомков,— они поймут суровый и безжалобный подвиг отцов! Но это теперь мы движемся вперед, оснащенные всем для великих свершений, пугая врагов стройностью наших колонн; это теперь, велением вождя, миллионы моторов влекут вперед наши мирные и боевые машины, а тогда лишь добрый крестьянский конек да песенная дерзость вынесли наши тачанки в раздолья отвоеванной родины. Свой поиск счастья мы начинали с предельной скудости... Вот почему первая мысль в нашем новогоднем молчании посвящена тем сотоварищам нашим, которые еще неумелыми, порой обмороженными руками возжигали кремлевские звезды. Мы не хоронили их в могилах неизвестных солдат, не громоздили на них горы железобетона, как это делают на просвещенном Западе, чтобы не вылезли на свет тряхануть за рожища золо-

того тельца, чтоб не пришлось расстреливать их вторично. Наши герои живут вечно среди своей советской родни: они помогают передовикам Запорожстали скорее завершить вторую очередь и ставропольскому хлеборобу — собрать рекордный урожай...

Все, совершенное этими людьми за короткую и фантастически обильную содержанием жизнь, имело целью, в первую очередь, преображение людского уклада в их собственной стране. Никто не в праве воспретить нам сочувствие к простодушным жертвам капитализма или, скажем, к тому нерасторопному негру, которого среди бела дня лупят сапогами в пах на людной уличке Иоганнесбурга... но их освобождение есть дело их собственных рук. Привычки к боли не бывает, и жизнь сама найдет способы охранить себя от гибели... Правда, Октябрьская революция прочертила границу двух разноименных миров, и на этой меже уже не поставишь жандарма с семизарядным пистолетом. Она прошла прямо по человеческим сердцам, потому что всюду найдутся (как они нашлись уже в Европе) и труженики, не желающие быть нолями, которые делец приставит справа к своим дивидендам, и матери, которым жалко отдавать своих крошек, когда у крошек подрастут усы, на засыпку артиллерийских воронок. Пусть наиболее благополучные из них по-детски забывают нас в периоды кратковременных просперити; капиталистическая экономика в любую минуту напоминает крупнокалиберную обойму, заряженную впрок десятком обстоятельных кризисов и войн. И всякий раз, брошенные в волчью яму очередной катастрофы, истинные кормильцы планеты с возрастающей надеждой будут обращать в нашу сторону свои заплаканные лица...

Ни одна честная душа не сможет возразить против идей, которые защищает наша держава. Да, нам действительно не нравятся неправедные богатства и постыдным кажется всяческий эскамотаж, независимо от того, производится он с откусыванием головы или без оного. Да, нам не совсем понятно, почему одно и то же гангстерство приводит в одном случае — к электрическому стулу и к сенаторскому креслу — в другом. Да, нам было бы радостно видеть на земле единую трудовую семью, без чего немыслимо укрощение могущественных стихий. Да, мы стремимся к созданию прижизненного совершенного человеческого общества, о чем лишь мечтали утописты и всякие моральные реформаторы... Однако мы не

замышляем крестовых походов во утверждение своего догмата, не высаживаем десантов на чужих берегах, не строим воздушных баз под носом у инакомыслящих.

Вот наши дела и вера,— все остальное определяется враждебностью среды, в которой мы оказались с первой же минуты нашего возникновения,— обратимся к назидательным воспоминаниям младости. Вначале над нами смеялись, когда голодные и рваные рабочие и мужики России задумали жить поновому. Через год, ради установления личного знакомства, к нам прибыли уполномоченные старого мира. Они пришли в Россию, в дни ее светлейшего утра, не с букетами, скажем, заграничных цветов, а имея в руках нечто даже в высшей степени наоборот. Это были те самые адские псы с человеческими головами, которые еще в античных сказках стерегли доступ к сокровищу (находившемуся, кстати, на нашей территории). С понятной неприязнью мы встретили таких гостей и выставили им железное угощение. Все годы, пока мы строились и крепли, они неотступно следовали по нашим пятам, становились на дыбки, выражались нехорошими словами, пускались в открытые атаки, так что приходилось урезонивать их сокрушительными доводами. Вначале их было четырнадцать, этих активистов, но редело их число и к концу тридцатилетнего знакомства в любителях открытых атак остались лишь маститые ветераны ненависти к новой России.

Когда рассеялся дым войны, стало ясно, что фашистское нашествие на Восток было их самой решительной атакой; даже школьники разгадали кунктаторские махинации со вторым фронтом как намеренное продление сроков, чтоб побольше вытекло советской крови. Не о народах речь. Наши солдаты с теплой улыбкой вспомнят отважных зарубежных летчиков, танкистов, пехотинцев, помогавших нам привести гитлеризм в щепообразное состояние.

О тех речь, кому для равновесия сил хотелось бы сохранить истребительный германский механизм (которые и Гитлера-то презирали тем особым презрением, каким награждают палача, потерпевшего фиаско при наличии столь отточенного инструмента). Но слишком уж распалился аппетит чудовища в той большой еде, слишком потрясена была совесть народов,— и вот к ногам человечества выкинут труп нюрнбергской собаки!.. Вторично на нашем веку была обращена в руины всечеловеческая мечта о покое, и снова скорбные преждевременные старухи раздувают искры жизни в растоптанных очагах.

Но теперь это уже не судейская улика на человеческом пергаменте, а историческое доказательство правоты наших неоднократных предупреждений человечеству.

Фашизм не убит, он уполз в другую нору,— и пусть свободолюбивые народы пошарят у себя за пазухой! Опять и опять рыжая ведьма крутит свою шарманку. Еще не растворились в земле недавние мертвецы,— они еще лежат в разорванных мундирах и сквозь могильный потолок, пустыми глазницами, вопросительно и строго смотрят на вас, звезды, а уже пошла подготовка к новой схватке. Эфир не разрубишь палкой, так плотно он загружен обвинительными иеремиадами против Советского Союза. Слова сливаются в свист, в черную метель науськивания и шантажа. Можно различить голоса дикторов, без энтузиазма выполняющих свой тоскливый радиоджоб (они тоже станут самоходными солдатскими мишенями капитализма), слышны также голоса атаманов, они говорят о попранных правах меньшинства (с солидной чековой книжкой), они еще хвастаются своим сомнительным п р о с п е р и т и, хотя какова же ему цена, если периодически такую пиявку, как Гитлер, надо ставить к затылку мира, чтоб отсосал пятьдесят миллионов жизней — и уцелевшие получили бы на два года причитающийся рацион... В этом недобром враждебном хоре не слыхать голосов твоих простых людей, Запад. Мы спокойны за них. Они не обвинят белорусского колхозника и уральского доменщика в намерении оккупировать Манхеттен, перевезти Лабрадор в сибирскую тайгу и предписать баптистам из Канзаса в трехдневный срок обучиться игре на балалайке...

Понимая истинную суть этой незамысловатой игры, указанные белорусский колхозник и доменщик с Урала говорят своим старым знакомцам:

— Не трогайте нас, это сопряжено с ненужными и обоюдными последствиями. У нас много своих, насущных забот, но, сердясь, мы забываем все, включая жизнь. Горе подъявшему меч, два горя замыслившему потушить огонь жизни. В минувшей войне старый мир бросил против нас самое сильное и злое, что нашлось в его распоряжении. То была не только проба армейской прочности, но прежде всего,— жизненной устойчивости двух политических систем, война потенциалов. И оказалось, что сила наша — гибче, мужчины — храбрей, женщины — трудолюбивей, воля — железней, и острей наш государственный разум. Социалистическая индустрия предназначена для преображения принадлежащего нам куска земного

шара, но она поражает насмерть при неосторожном прикосновении чужой руки...

Без всякого сомнения в правоте своих тридцатилетних усилий мы смотрим на звезды в эту ночь. Советская страна честно прожила эти годы: не промышляла кровью слабейших, не торговала совестью, не обогащалась за счет людской темноты. Не черным мешком рисуется нам будущее, а вереницей прекрасных зал, из которых каждая чудесней предыдущих. Там, в конце их — осуществленная мечта. Не бойтесь, небесные старожилы, вам не придется чахнуть от тоски в обезлюдевшей вселенной,— кремлевские звезды сродни вам... Пусть небо наполнится огнями радости и подобающим напитком наша круговая чарка!

1947

В ЗАЩИТУ ДРУГА

1

Когда мы думаем о родине, взволнованный строй мыслей встает перед нами. Никто не перечислит их даже с приблизительной полнотой. Пришлось бы вспомнить всю, битва за битвой, историю страны и наши собственные, удар за ударом, усилия, создавшие ее нынешнее могущество. Однако не одни лишь курганы поля Куликовского или индустриальные накопления пятилеток возникают в памяти при упоминании о родине. В воображении предстают и спелые нивы в синих перелесках, заветная рощица детства, где безгонорарно концертирует какая-то милая пичуга, и островерхие хоромы дремучих лесов, наконец, в тишине которых созревают благодетельные дожди, поильцы урожаев... И кто знает, что было предсмертным видением советского солдата, сраженного при взятии рейхстага,— заплаканная мать, или дымный призрак Днепрогэса, или одинокая русская березка на колхозной меже?

Отрадно сознавать, что возвращается улыбка на материнское лицо, что снова начинают шуметь днепровские турбины. И хотя много у нас иных, первоочередных задач, поговорим о березке!.. Ни один начинающий поэт не миновал описания ее прелести, ни один ребенок не обходится без новогодней елочки, да и мы сами, пожилые хозяева нашей земли, страстно любим спеть на пирушке про то, как одна рябинка клонилась на грудь старого дуба. Таким образом, разговор распространяется и на всех березкиных родичей. Обсудим сообща, как живется им на Руси, и чем, помимо ласкательных именований, платим мы им за беспорочную службу, и, в частности, почему упомянутая рябинка так тянулась поближе к дубу, хотя ей выгоднее было бы иметь собственную жилплощадь под солнцем.

Много им досталось в наших стремительных буднях: поредело зеленое племя... Вчерашние саперы с болью вспомнят километры противотанковых лесных завалов. Грандиозная стройка с каждым годом умножает расход деловой древесины. Но не в том дело, что звенит топор на Руси и круглосуточно поют электропилы; при разумном пользовании достаточны пока наши лесные запасы и — доброе утро вам, советские лесорубы, которые по ледяным дорогам гонят родине стены новых изб и опалубку рабочих дворцов, лес, корабельный и крепежный, шахтный лес, сырье на шелка и бумагу!.. А в том суть, что вот у нас действуют семьдесят фондодержателей леса, то есть лесозаготовительных организаций, но как-то редко попадаются отчеты о ходе восстановления нашей лесной казны. При мне однажды вырубалась на дровишки древняя, чуть не Гостомысловых времен, дубовая роща, хотя приспело время подумать об освоении для этой цели если не более отдаленных лесосек, то, по крайней мере, местных топливных залежей. Сломить башку немецкому фашизму — предприятие куда более громоздкое, чем наладить производство механизмов для брикетирования торфа: справимся! Вкус щей от этой замены не испортится, зато сбережется зеленое национальное богатство, имеющее в нашей полосе первостепенное климатическое значение.

На протяжении прошлых веков мы черпали из этой зеленой чаши без всякой опаски, что когда-нибудь обнажится дно. Мы не церемонились с лесным соседом, сказалась наследственная неприязнь к нему предков-древлян, которым приходилось отвоевывать посевные площади у леса. Но пусть теперь профессора лесных наук расскажут в цифрах о нашей лесхозной культуре, о среднем обороте дерева, заметно сниженном за последние полстолетия, и, прежде всего,— правда ли, будто обезлесенные при царе заволжские пространства пагубно повлияли на годичное количество осадков в европейской части России, а подмосковные суховеи — лишь авангард наступающих Каракумов. Эти скучные ведомственные заключения должны стать достоянием народа,— глядишь, может быть, возникнет со временем разговор о восстановительной зеленой пятилетке, которая подремонтирует побитые войной леса, оденет высыхающие водоемы, накроет прохладной и беспыльной тенью наши шляхи и шоссе, как проделали это деды на старинных трактах — Калужском, Смоленском, Черниговском,

ском. Чем скорее прозвучит такой сигнал, тем больше процентов еще на своем веку мы получим от этого неминуемого капиталовложения...

2

А пока подумаем о той героической березке, которая из привольных питомников и заповедников пришла украсить города обширной российской периферии. За малыми, хотя и блистательными исключениями вроде Ленинграда и Новосибирска, Воронежа и Магнитогорска, Балхаша и северного Кировска, где, по рассказам, зеленые чудеса разведены на камне, неважно ей живется на наших площадях и перекрестках... отчего бы это? Озеленение в горсоветских бюджетах — всегда солидная статья, ежегодно вагоны первоклассного посадочного материала отгружаются в адреса горкомхозов, благоустроительные чиновники чуть не в стихах расписывают свои озеленительные подвиги, а питомец хиреет в младенческом возрасте.

Хорошо бы построже и почаще брать таких деятелей за пуговицу и водить пешком на прогулку по их воображаемым рощам. Пускай сами полюбуются на культяпки да пеньки, жалкие останки их мужественного кабинетного руководства. Какие же стихии превратили кудрявое, стройное деревце в мертвый, изглоданный хлыст, ботаническую разновидность которого не опознал бы и сам Тимирязев? Бедные пасынки коммунхозов!.. На них вяжут качели и бельевые веревки, на них повсеместно скидывают снег с высоких крыш, на них валят ледяной скол с мостовых и, наконец, их без удержу громадными ножницами стригут мрачные древесные парикмахеры, хотя, казалось бы, к чему нам королевские версали с их прилизанной, изуродованной, карликовой природой?.. Нечего греха таить, много потрудились в этом деле и ребятишки, устраивающие вокруг неокрепшего деревца подобие живой карусели, и добрые мамы, оделяющие своих деток зеленой веточкой, и нагловатые озорники, в сравнении с которыми колорадский жучок представляется мирным деятелем земледелия, и, наконец, знаменитая бабушка с козликом. Не раз приходилось наблюдать, как кроткая старушка пригибает вершинку саженца своему рогатому любимцу и тот без затраты сил творит из него безлиственную кочерыжку, которую ближе к осени бабушкин же внучек собьет косарем на растопку. Так хваленое дре-

вонасаждение наше становится дровонасаждением. Как же тут не тянуться рябинке под защиту дуба, хотя и его дни в полной мере сочтены, если сам народ не вмешается в это, скажем скромно, ненормальное явление?

Искусство истребления дерева в дачных местностях достигло своих пределов: тут действуют и солью, и бензином, и обстукиваньем весенней коры, и многими другими ухищрениями, которые мы не перечисляем по понятным соображениям. А во что обходится стране вырезание обязательных тросточек на пикниках, глушенье рыбы взрывчаткой и другие виды браконьерства, мальчишеские забавы с рогатками и истребленьем гнезд? Все это — пережитки хамского, чисто потребительского отношения к природе, которая чахнет и пятится от нас, не имея иных способов защищаться. Трудно угадать, к чему приведет такое безнаказанное пренебрежение к извечным сокровищам родины! Хуже всего, что это творится у нас на глазах, а мы кряхтим да молчим за неотложными делами, хотя каждый в состоянии прочесть популярную лекцию о том, что родная природа — тоже святыня, неприкосновенная социалистическая собственность, и каждая пичуга в ней — честный, работящий друг, который, будучи изгнан, порою и не возвращается.

Доказано, что общение с природой по меньшей мере полезно человеку,— лиц, желающих погрузиться в рассмотрение этого вопроса, мы отсылаем если не к букварям, где преступно мало говорится об этом, то хотя бы к директорам заводов, уже превратившим свои территории в сады и цветники. Они охотно подтвердят, что зеленая ветка в окне цеха — не роскошь и прихоть, что через длинную цепочку причин она тоже содействовала увеличению производства... На всю жизнь запомнился мне день открытия Днепрогэса: еще первая тысяча киловатт бежала по проводам, а рядом уже сиял в осенней красе молодой парк, в нем играли дети и гуляли юные парочки, родители завтрашних поколений. Меня поразила тогда целесообразность планировки и поливочного, необходимого в степи, устройства. А ведь ни одна газета не отметила этой заблаговременной отцовской заботы строителей о будущих постоянных тружениках станции. Зато буквально все проекты наших жилых и промышленных новостроек, которыми на праздниках мы так восхищаемся в витринах, бывают обрамлены в целые дубравы... Где же они? Что-то не слыхать их благостного, запроектированного в социалистический быт и оплаченного народом зеленого шума! Проект есть тот

же вексель народу, его надлежит выполнять до точки. Кое-где, впрочем, саженцы были своевременно опущены в тесные ямки и засыпаны строительным мусором пополам с обрезками железа и рваными калошами и в довершение намертво притоптаны каблуком. Хорошо бы на должность озеленителей приглашать людей, хоть в школьном масштабе знакомых с технологией посадки, а не просто первовстречную личность, непригодную в более ответственных областях социалистического строительства... Будем верить, настанет время, когда в актах государственных приемочных комиссий будут отмечаться количество и состояние произведенных посадок; когда будут происходить озеленительские соревнования городов, поселков и колхозов; когда будут писаться рецензии о художниках растительных ансамблей; когда будут рассылаться приглашения на вернисажи садов и парков, как это было с нашей сельскохозяйственной выставкой...

3

Великий поход в защиту Зеленого Друга нужно начать с Москвы. Собственно, он уже и начат, должное хозяйское внимание обращено на зеленый наряд Москвы. Уже в обиход вошло монументальное слово р е к о н с т р у к ц и я, уже сверкающие троллейбусы плывут по расширенным магистралям, уже обзавелись мы лучшим в мире метро, по которому когда-нибудь подравняется и надземная Москва, но по-прежнему негусто обстоит дело с зеленью в нашей столице. Если подсчитать сотни тысяч хвойных и лиственных особей, расселенных по Москве,— то дремучий бор, как при Долгоруком, должен был бы образоваться на ее месте: ни пешему, ни конному не пробраться сквозь лесную дебрь... А на поверку оказывается,— залитые асфальтом под самый корень, погибли липы в Дорогомилове, во взрослом состоянии высаженные полтора десятка лет назад. Незаметно уходят куда-то ясеньки с дороги в Тимирязевку, наполовину оголилась еще недавно красивая бывшая наша Поварская. Да и в Нескучном что-то слишком быстро тают молодые посадки, разведенные на свалочном (лесоводы шутят — сволочном) месте без предварительной мелиорации и отвода больничных вод. Не успели еще прижиться юные липки на Кузнецком, а уже начала их обламывать чья-то подлая рука. Плохо мы бережем наше достоянье, обожаемые москвичи, а ведь это та самая Москва, восьмисотлетие которой со-

всем недавно отплясали мы с вами. Дело, конечно, поправимое, но срочное!

Грустновато становится и при посещении старшей смены растительных ветеранов. Старые деревья — в дуплах, шрамах, морозобоинах, а полагалось бы брать их на учет и особо присматривать за ними по достижении полувекового возраста, подобно тому как дают персональные пенсии заслуженным старикам. Почтенность города нередко удостоверяется наличием живых свидетелей его исторической славы... Исчезает знаменитая аллея лиственниц в Узком, желтеют зеленые ряды на Ленинградском шоссе, зараженные липовым клещом и наглухо утрамбованные сапогами прохожих... Еще больше опасений внушает судьба наших основных массивов, Сокольников и Измайлова, которые давно уже полагалось бы возвести в сан заповедников. Первые — на моей памяти поредели вдвое, а сведущие люди утверждают, что и Измайлова хватит не более как на двадцать лет. Хорошо бы проверить — правда ли, будто измайловские предприятия успешно, в тысячу кубометров ежегодно, производят дровозаготовки из вырубаемого сухостоя... Древесная смерть ходит по нашим садам и паркам в облике то козы, то шустрого дачника с топориком, то расплодившегося за последние годы короеда. А ведь ежели умело провести искусственное гнездованье в расчете на всех этих нами же испуганных дятлов, поползней да синиц,— да подсадить кизильник, снежноягодник, иргу, жимолость попутно с зимней подкормкой,— словом, заключить длительный военный союз с лесной птичурой,— то, наверно, и поизвелось бы короедное племя. Наверно, это вам и без меня известно, товарищи хранители зеленого клада... но почему же в таком случае так вызывающе нахально смеется над вами помянутый короед?

С чувством радости мы прочли недавний моссоветовский план озеленения. В добрый час! Несомненно, москвичи откликнутся на него снизу встречным планом помощи. Тяга к зелени теплится в каждом горожанине; иногда она переходит в неодолимую потребность озеленительной самодеятельности... Я не шибко верю урбанистам, которым якобы созерцание брандмауэра в окне доставляет больше наслаждения, чем омытая грозой верхушка полнолиственного дерева. Хвастают... либо просто ждут, когда за них потрудится дядя Федор с чужого двора. Напрасное ожидание: оный дядя не придет, дядя Федор занят. Украшение родины есть дело наших с вами рук,

товарищи!.. Общеизвестно, что большой патриотизм начинается с малого — с любви к тому месту, где живешь. Из таких местных патриотов в свое время выходили отличные краеведы, посвящавшие себя изучению производительных сил области: неутомимые селекционеры и оригинаторы отечественной флоры, чьи труды и сегодня бесследно растворяются в нашем нелюбопытстве. Немало их таится и теперь среди нас. Стоит только клич погромче кликнуть, и народ выдвинет армию добровольцев всех профессий и возрастов, энтузиастов родной природы, готовых потрудиться ради приумножения ее красы: ведь это тоже входит в наши замыслы преображенья мира.

Начало такому движению положено постановлением правительства Российской Федерации об учреждении Общества друзей озеленения. Их пока немного — как говорится, «всего мужиков-то — отец мой да я». Ничего, практика больших всенародных начинаний, вроде Ленинского субботника, показала, что могут свершить миллионы упорных неленивых рук, даже не отвлекаясь от самых насущных дел. Для этого потребуются всего лишь простецкая огородная снасть, да чувство будущего, да немножко благодарности к честному, молчаливому Другу. Успех предприятия зависит от того, в какой степени поддержит этих зачинателей общественное мнение и насколько родственные организации поймут возможности, заключенные в этом почине. А чтобы не провалить хорошее дело в самом начале, необходимо обдумать его с государственной точки зрения, то есть со всесторонним и принципиальным учетом всех смежных обстоятельств: обдумать все — от производства добротных секаторов-ножниц и опрыскивателей до учреждения ремесленных училищ будущих садоводов, которых завтра потребуется десятки тысяч нашей стране. И дело это надо начинать с детства...

4

Пора всю систему воспитания, от букваря до вузовской скамейки, пропитать действенной, хозяйственной привязанностью к родине и ее природе. Авось сумеем мы направить в единое русло крайности в устремлениях ребят, из которых одни ежегодно совершают опустошительные набеги на сады,— причем не плодов жалко, а бессмысленно покалеченных яблонь! — или по-индейски караулят с рогаткой зазевавшегося

дятла,— а другие растроганно хоронят его же в серебряной бумажке или с прилежанием выращивают тощую фасоль на школьном подоконнике. Все зависит от людей, которым вверена неиссякаемая, часто такая разрушительная энергия ребенка... За примерами не ходить... Есть в Москве, на Красной Пресне, 89-я школа, где биолог-руководитель сумел привить своим школьницам благородное внимание к родной природе. И вот девочки-пятиклассницы ломами расковыривают известковый пустырь, собирают килограммы коллекционных цветочных семян в подарок своей Москве, выращивают мичуринский виноград, цицинскую пырейную пшеницу, даже дыню, которую, за отсутствием заграждений, так тщательно приходится маскировать от вора... Спасибо вам, Г. Н. Пожитнева, за патриотическое дело! И есть в том же городе, скажем, центральная музыкальная школа. В годы войны там стояла армейская часть; пожилые ополченцы в перерывах между воздушными тревогами посадили перед новостройкой шеренгу рослых топольков, развели цветник вдоль цоколя, но вот воротились из эвакуации юные скрипачи, любимцы муз... Я не знаю фамилии возглавляющего деятеля, который дал им загубить эту трогательную солдатскую памятку.

Прямой долг педагогов, юношеских организаций и прессы найти острое, доходчивое слово к сердцу и разуму подростка. Надо внушить ему понятие ответственности за клочок родной земли вокруг его дома, школы или хаты. Надо ввести это в кодекс обязательных доблестей нашего молодого человека... Наверно, все замечали, что чувство родины в каждом гражданине соразмерно его личному творческому вкладу в общенародное дело; отсюда легко объясняются как патриотизм истинного гения и труженика, так и политическое безразличие бродяги и дармоеда. Пусть же юные граждане с малых лет привыкают вносить свою посильную долю в большую рабочую семью, пусть понемножку пробуют себя на чудесном поле настоящей государственной деятельности,— воспитательные последствия этого неисчислимы.

В одной Москве Советская власть подарила детям полтысячи новехоньких школьных зданий, а кое-где украсила аллейками школьные входы. Эти саженцы были любовно выращены замечательными мастерами земли; их сажали очень занятые люди, руки которых так нужны восстановительной пятилетке. Оглянитесь на них, московские дети, и пусть из горячего сты-

да родится не менее горячее стремление исправить свою непростительную небрежность...

Юные друзья, думы о зелени — думы о будущем. Вам бесконечно долго жить в этой прекрасной стране. Она богата и обширна, но не всегда она была такой. Все, чему радуется наш глаз, есть громадная копилка предков. Преемственность — основа прогресса, создание простого железного гвоздя потребовало кропотливой работы сменявшихся поколений... Все знаменитые люди эпохи, чьими портретами украшены ваши классы, с малых лет прошли через нужду, скудную подвальную жизнь и суровый хозяйский окрик. Они трудились наравне с отцами и на опыте познали цену хлебного ломтя, густо посоленного безутешной детской слезой. У них не было ни пионерских домов, ни стадионов и Артеков... Советская власть избавила вас от нищеты, майданеков и невыносимых социальных унижений. Ни одно постановление правительства не обходится без учета того, как оно отразится на детях и будущих детях ваших собственных детей. Детская улыбка становится высочайшей целью нашего государства. От вас требуется лишь прилежная учеба да любовное внимание к общественным ценностям, лежащим в поле вашего зрения.

Есть поговорка на Востоке, которая годится и в заповеди: каждый обязан в жизни вырастить дерево, выстроить дом, воспитать человека. Начало этой мудрой программы человеческой деятельности доступно вам уже теперь — посадкой деревца на школьном дворе. Сделайте это в ближайшую весну, без спешки, навечно. Может быть, по прошествии вереницы лет, ставши знаменитыми врачами, зодчими или — кто знает — астронавигаторами межпланетных глубин, вы зайдете вечерком да мимоходом на тесный дворик посидеть под тяжелой зеленой кровлей своих любимцев. Другие, еще более счастливые дети будут играть и шуметь под сенью этих растительных великанов, и в перспективе времен вам откроется весь гигантский разбег родной страны в ее Грядущее.

5

...Было бы вполне разумно и своевременно отвести одно из первовесенних воскресений под всенародный праздник Зеленого Друга,— и сделать так, чтобы всякому совестно было в

этот день показаться на улице без лопаты. Слишком велика нехватка рабочих рук, и нелепо дожидаться, когда же, наконец, прибудет дядя Федор с Магнитки или Запорожья вскопать приствольные круги в черте твоего собственного домовладенья. Такой всенародный праздник уже состоялся в Ленинграде летним утром 1945 года, когда миллион ленинградцев, включая школьников, дружно вышел на эту веселую и умную демонстрацию любви к родному городу. Так произведена была зеленая подсадка до самого Крестовского острова; так основался Парк Победы, памятник Единства и Ликованья, где каждое дерево несет дощечку с именем патриота, принявшего на себя труд его посадки и дальнейшего бережного воспитанья. Добрый пример всем прочим! И у нас в Москве найдется немало заброшенных пустырей, еще захламленных после войны углов, которые при дружном напоре за один день можно преобразить хотя бы в черновики будущих внутриквартальных скверов... да еще времени останется вечерком в кино сходить! Часть таких бросовых пространств придется уделить под спортивные детские площадки, потому что, к примеру, на территории одного Александровского сада регулярно в летнее время подвизаются десятки ребячьих футбольных команд,— воздействие их на молодые посадки можно приравнять лишь к небольшому минометному обстрелу. Хорошо бы также внедрить в городское хозяйство нарядные и плодово-ягодные породы, как это сделано в Иванове, и при этом сразу определить, кто именно отвечает за их сохранность. Замечательные ели вокруг Ленинского Мавзолея подтверждают, что недостаток условий вполне возмещается добросовестным человеческим уходом. Разумеется, встанет вопрос и об охране — нужна ли здесь общественная инспекция, учреждение домовых ячеек озеленения, индивидуальное шефство любителей над каждым деревом, специальный штатный надзор, как это было и раньше, разъяснительная работа или повышение мер наказания за поломку и гадкое, постыдное губительство. Милицейского «ай-ай-ай» тут явно недостаточно.

Надо сказать во всеуслышанье и по возможности басом, что дерево в городе — не полено с листьями и не силомер для разгулявшегося стервеца. При нынешней скученности населения и задымленности промышленных центров весь живой зеленый инвентарь города есть громадный озонатор, гигиенический фильтр-уловитель из воздуха — газов, копоти и прочих примесей, вредных для общественного здоровья; следователь-

но, это есть дополнительный источник творческих сил и задора на одоленье пятилетки. Следует помнить также, что не все дети уезжают за город на лето. Круговой клятвой обязались мы в семнадцатом году сделать наше отечество краше всех флорид и других капиталистических эдемов.

Мы ставим этот вопрос на всенародное вече. Присоединяйтесь к походу в защиту друга. Пусть сведущие или заинтересованные лица поправят и дополнят меня. Кто просит слова, товарищи?

1947

БЕСЕДА С ДЕМОНОМ

В русской литературе есть сочинение, где некто, именующий себя сыном эфира, каждую ночь уговаривает одну пригожую девицу на всякие такие дела и, между прочим,— отдать ему душу. Взамен он предлагает ей всякие несбыточные, даже опасные предприятия, вроде экскурсии в надзвездные края, спуска на морское дно и, наконец — стать царицей мира. Впрочем, прижатый к стенке, он и сам признает все это лишь приманками ада. Происшествие кончается ликованием светлых сил и конфузом соблазнителя... но не в этом суть.

С недавних пор, в поисках доверчивых девиц, в наш эфир также стал залетать ночной деятель, видимо, дальний родственник того самого, чьи приметы идеологически правильно описал Михаил Юрьевич. Этот также пытается губить надежду, едва надежда расцветет; этого также не очень любят и клянут все живущие честным трудом своих собственных рук. Из опасения, что его заподозрят в подкупности, этот эфиров сын чаще, чем это требуется для дела, называет себя не обыкновенным, а *вольным* сыном эфира... Дело в том, что за неотложными коммерческими заботами у микрофона действует не сам он, а напятые говоруны из бывших русских, и, судя по их старательным, ласково-ползучим голосам, люди эти очень опасаются, что их немедленно уличат во лжи в рассуждении их пресловутой «вольности».

Жанр этот надо определить как нашептыванье или наveванье сладких снов; пишутся они довольно суконным языком, хотя и трудно требовать тургеневских красот от организма, который сам, без принуждения, придумал себе псевдоним Георгия Георгиевича Ответова. Собеседования эти состоят из перечисления житейских благ, коими пользуются граждане по ту сторону океана не в пример жителям послевоенной Ев-

ропы. Сюжет всегда незамысловат, но разнообразен. В этом радиомагазине найдется и описание государственного устройства, при котором каждый, в зависимости от склонности, может стать чем угодно,— от сенатора до мертвеца. Здесь же восхваляется полицейская атлетическая лига, наблюдающая за тем, чтобы беспризорные детишки не попадали под трамвай или в объятия порока; у незакаленных лиц проступают слезы благодарности при созерцании этих заокеанских яслей, где рослые дяди с метровой резиновой дубиной нянчат на коленях улыбающихся крошек. В заключение можно также полюбоваться на поучительную картинку, как некая типическая миссис Браун, обычная агитационная болванка эфировых сынов, покупает себе еду.

Нет, она не просто говорит, как в обнищалых городах Европы,— «отпустите мне сто граммов сливочного масла, скажем, для больного ребенка». Нет, процедура покупки, в которой наравне с обходительностью работников прилавка иллюстрируется и сытность заокеанского бытия, происходит приблизительно так:

— Прекрасная погода, миссис Браун. Вы как будто похудели со вчерашнего дня. Что вы хотели бы получить сегодня?

— Сегодня я желала бы приобрести у вас пять кило масла, четырех тетерок, три головки сыра, два окорока и, чуть не забыла, один двухэтажный ореховый торт для моей дочки. Впрочем, чтобы не тратить времени, дайте мне все, что имеется в вашем прейскуранте... только в двойном количестве. Погода хорошая, но барометр клонится к дождю.

— Я надеюсь, что ветер снова разгонит к вечеру духоту. Вы захватили с собой тележку, чтобы погрузить все эти продукты, миссис Браун? Часом позже я смог бы отправить их вам в грузовике с прицепом.

— Вы очень добры, мистер Блек, но не беспокойтесь. Я приехала к вам в автомобиле новой марки, с особой эластичной подвеской кузова. Встряхиванье сливок и связанная с этим порча их совершенно исключены в этой машине. Ее подарил моему мужу, углекопу, ко дню рожденья его хозяин. О, это такой гуманист, такой гуманист, прямо сил нет. Он собирался подарить целых три — для раутов, загородных прогулок и поездок на биржу труда, но Тэдди отказался, чтобы не разорять добряка... До скорого свиданья, мистер Блек!

— До завтра, миссис Браун!

Затем следуют убедительные урчащие эффекты, документирующие не то звук отъезжающей пятитонки, не то дружное пищеварение в семействе миссис Браун. На десерт выдается дежурная порция джазового дребезга.

Весь прием рассчитан на податливых девиц блудливой категории,— за дальностью расстояния в аду плохо осведомлены о нравах людей в Советской стране. Это и заставило эфировых сынов обратиться за подробной информацией к некоему русскому мальчику Алеше, внимание — в косоворотке! Будучи приглашен на рождественский праздник в заокеанской столице, он детским голоском поведал ужасающие вещи о немецком нашествии, от которых кровь надолго застыла в жилах у заокеанских дам-патронесс. Рассказ был о том, как однажды фашисты хотели купить его елочку и, когда он отказал, они отняли ее силой. Разумеется, такой поступок германского фашизма достоин всяческого порицания, но думается нам, что Алешина информация явно недостаточна. Умней было бы поручить толковому корреспонденту добиться интервью с грудами детского пепла у больших печей Майданека и Бабьего Яра. Правда, такой собеседник суров и неразговорчив, зато «cum tacent, clamant» [1], а сопроводительные фотографии сыграли бы свою познавательную роль в освещении нынешних советских настроений.

Я не склонен оберегать невинность девиц, готовых за пару нейлоновых чулок приласкать хоть мысленно, хоть в подворотне пожилого и зажиточного господина. Бог с ними, с такими девицами! Но демонские речи об ореховом торте обращены к храбрым и простреленным людям, которым, в сущности, кое-чем обязаны сыны эфира, меньше всех хлебнувшие горя в минувшей кровавой суматохе. Гитлер был хоть и выдающийся стервец, но крупный мастак в перекусывании жирных горлышек: не очень-то просто было и нам сорвать с груди этого хорька и превратить в падаль. И если бы война произошла без участия России,— чей портрет — достопочтенного президента либо берлинского гаулейтера — висел бы в зале конгресса или где ему положено висеть?.. Равным образом искусительный шепот адресован нашим женщинам и детям, а это особенные слушатели. Они поровну с солдатами делили черный труд войны: их тоже убивали за сопротивление временному победителю; их жгли в походных крематориях окку-

---

[1] Самим молчанием своим они кричат *(лат.)*.

национных армий, и, когда держишь в руке горстку пепла, трудно различить, какая пеплинка принадлежала взрослому советскому богатырю, какая — ребенку. Так что заокеанское благополучие до известной степени оплачено и нашей детской кровцой.

Мы вырвались из кольца послевоенных бед. Но обнищалая Европа еще не скоро накормит досыта своих ребятишек. У нее нет иной разменной монеты, кроме души, на покупку заокеанского пайка, и вот она платит, платит, платит за сигареты и свиную тушенку кровоточащими кусками своих так называемых свобод. Во весь рост стоит над Европой многозвездный демон, и европейские дети пугливо смотрят то на его руки с миской чечевичной похлебки, то в его холодные равнодушные глаза. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные послевоенным горем, я покупаю чохом ваши души!»... Мне представляется мало привлекательным такое зрелище, когда упитанный, килограммов на девяносто, кровь с молоком, иностранный коммерсант выменивает на кусок торта у итальянских и французских мальчонок,— сироток, может быть! — их последнюю надежду на счастье. «Негоже, братцы!» — сказали бы с презреньем русские мужички про этот адский бизнес! Как говорится, пусть господь в смертный час облегчит вашу грешную душу, неизвестный заокеанский господин!

Многому научился мир за последний десяток лет. Кого не тронула самая страшная фраза нашего века, жалоба девочки перед расстрелом у харьковского рва: «Мамочка, я боюсь»,— тех озарила светом социального прозрения трехгодичная бомбежка. И все же... Мне вспоминается один мимоходный диалог в Нюрнберге на процессе военных преступников. Бар был переполнен; трое в форме заокеанских армейских юристов попросились к моему столику. Я сказал — да. Они меня знали по книгам. Заглушаемый переливами джазового мунлайта, произошел такой разговор:

— Что вы думаете о процессе?

Я ответил:

— Тут не Гуго Гроций нужен, а дерзкий и доказательный крик большого сердца о том, что нельзя, нельзя **так** дольше жить в мире.

— Простите, я не понял,— сказал один, который показался мне умней и циничнее своих спутников; имя его часто упоминалось в судебных отчетах.

— Я объясню. Вы заметили, что изнасилование, например, вовсе не упоминается в этом процессе, как слишком мелкая купюра людского страданья. Здесь она не принимается в расчет. И вот, вся минувшая людская боль бесследно растворилась в юридических параграфах и фолиантах. Задача наша вовсе не в том, чтобы прилично повесить два десятка стервецов... это слишком дешевая плата за несчитанные миллионы их жертв.

— Вы хотите полной ценой... ударом за удар?

— Я хочу предотвращения таких эпизодов в будущем.

— Это благородно. Как это сделать?

Я решил не пугать его прямым ответом:

— Вы думали когда-нибудь о комарах? Они размножаются в стоячих водах, сосут кровь, мешают спать, разносят периодическую лихорадку, часто — со смертельным исходом... и вообще необходимость их в мироздании крайне сомнительна. Борьба с ними замедляется из-за отсутствия технологически единого приема... Конечно, можно ловить каждого из них и, зажав накрепко в кулаке, отстригать ему голову перочинным ножиком. Способ действенный, потому что комар без головы — это уже совсем другое дело... но малопродуктивный способ. Усекновению подвергнутся лишь наименее увертливые, и, кроме того, потребуется громадный истребительный персонал. Можно по-другому!

— А именно... если не секрет?

— Раз навсегда пронефтевать все болота на земле.

Он засмеялся, взглянул мне в самые глаза, покачал пальцем — и вот его буквальный ответ:

— О, нефтевать болота мы не будем.

О, мой собеседник отлично понимал, куда ведут корешки фашизма, который он судил, правда, по всей строгости законов, но — как чисто местное германское явление. Поэтому Нюрнбергский процесс и не сделался в истории человечества поворотной вехой, какой, по всем причинам, ему надлежало бы стать. Отсюда я должен признать, что ночные речи искусителя нельзя приписывать демонскому недомыслию или удаленности от очага исторических событий: он отлично сознает, зачем он высверливает крохотные дырочки сомнения в простых человеческих душах, чтоб заложить туда патрон с толом.

Демон есть тот же черт, но только со средним образованием, а профессия чертей всегда состояла в уловлении про-

стодушных... Но как на протяжении веков помельчала и выродилась нечистая сила! Теперь это уже не тот большой и гордый Сатана, который две тысячи лет назад предлагал пророку прыгнуть с горы и ценой отказа от человеческой природы приобрести поддержку ангелов. Это не байроновский Люцифер, через змеиное сострадание вливавший в Каина философическое сомнение. Это не гетевский Мефистофель, покупавший душу немецкого доктора на звонкую, имеющую повсеместное хождение, валюту женской любви. Это не флоберовский Дьявол, искушавший Антония зрелищем напрасности времен и пестрых еретических извержений. Это не гоголевский, всегда попадающий впросак, уютный черт, готовый на собственной спине свозить Вакулу за черевичками в пышный императорский Петербург. Это даже не помянутый Демон с его наивными обольщениями вроде чертогов из янтаря и бирюзы... Заокеанский бес прозаичней и площе. В кошелке соблазнов у него фунт сливочного масла да тюбик зубной пасты: восьмицилиндровых «паккардов» он не обещает, поскольку и сам ездит к себе в ночлежку на автобусе. Это есть скучный бес, приказчик у нáбольших, богатых, но также невыразимо скучных бесов. Ему и врать-то скучно, потому что он знает, что именно советскому человеку, хотя бы ценой длительного труда, все равно принадлежит будущее со всеми его чудесами. И как всякое существо, лишенное юмора, само становится мишенью для смеха, так и бес этот вызывает ироническую улыбку у взыскательного советского слушателя.

В особенности улыбались мы недавно при радиорассказе о трайлере, небольшом, общедоступном особняке на колесах. Прицепляемая к автомашине при передвижении по дорогам страны в поисках заработка, коробка эта, по утверждению диктора, необыкновенно удобна и полезна для здоровья. И якобы такую жизнь в особенности обожают заокеанцы... Впрочем, в передаче не было указано, распространено ли такое обожание и в среде крупных биржевиков, финансовых воротил, владельцев торгово-промышленных предприятий, любят ли и они такую «независимую, кочевую жизнь» на колесах или же предпочитают более стабильное существование со всеми удобствами, скажем, на Бродвее... или где они там живут, заправляющие боссы? Их там, оказывается, больше двухсот тысяч, горемычных скитальцев, расселенных федеральным правительством по таким бродячим фургонам за недостатком жилплощади.

Заводной говорящий манекен, под названием миссис Бапкек, приблизительно так описывает прелести жизни в постоянном движении:

— Войдите, не ушибите головы. Как видите, это целая квартира из трех комнат. Здесь течет вода, необходимая для мытья посуды и других домашних надобностей. Этот портрет мистера Ванденберга — не простой портрет, он раскладывается, и тогда получается по усмотрению — карамбольный биллиард, кушетка или стиральная доска. Мы так рады иметь этот домик на старости лет...

— Скажите, миссис Бапкек, ваш супруг спит на крыше для здоровья или же на этой складной лестнице? — спрашивает такой же заводной посетитель, опасаясь задать вслух прямой вопрос — как эти честные, век проработавшие, пожилые люди дошли до жизни такой.

— О, нет. Я помещаю моего Тэдди под кроватью, рядом с газовой плитой. Таким образом не пропадает тепло в зимнее время и постоянно охраняется наше фамильное серебро. Правда, для этой цели мужу приходится всю ночь вертикально держать ноги, но я ставлю на них ночник и читаю ему за это радиопередачи о прелестях жизни в трайлере.

— О, это очень мило. Скажите, мистер Бапкек также обожает это перпетуммобильное существование?

— Разумеется! Мы, заокеанцы, славимся своею склонностью к необычным удовольствиям. Это очень освежает. С наступлением холодов мы отправляемся на юг, а летом, как пташки, снова возвращаемся на север. Кроме того, при таком беспрерывном мотании жизнь обходится дешевле: не надо платить за квартиру и нет заботы о зимней одежде...

...Есть еще один вид человеческого состояния, джентльмены, в котором не приходится заботиться также и о летней одежде и даже — о еде. Это состояние покойника. Надо думать, в ближайшее время демон угостит европейских слушателей обстоятельным радиоинтервью с таким замогильным счастливцем,— это будет выглядеть так.

«— Войдите в мой уголок,— приветливо сказал нам покойник, распахивая несколько узкую дверь в свою уютную, такую компактную квартирку. — Здесь у меня очень хорошо, как на курорте. Исключительная тишина и, заметьте, полное отсутствие сквозняков. Вот здесь у меня помещаются ноги, а это мое изголовье. Собственный живот служит мне письменным столом. Потолок, правда, низковат, но я не курю...

— Скажите, мистер Банкек, вам не скучно находиться здесь в самый разгар послевоенного просперити?

— О, нет. Я по опыту знаю, чем обычно кончаются такие просперити. Это и было причиной, почему мы с женой решили покинуть сутолоку больших городов. У нее такая же квартирка рядом. Постучите в стенку, если хотите поговорить с нею лично. Хелло, Мери, ты не спишь? Тут зашел один демон, ему нужны кое-какие сведения для европейской передачи... О'кей».

Всякая дружественная беседа предполагает взаимный обмен суждениями. В ответ на ночные выступления демона я вместе с новогодним радиоприветом высказываю свое.

Гуд бай!..

1947

БЕССМЕРТИЕ

Мы стоим на гребне. Отсюда ленинская мечта в расстоянии одного перехода. Самые гордые вершины истории представляются лишь холмами с такой высоты... Там, внизу, парят орлы, рождаются ручьи и зреют грозы. Еще ниже вся, под нами, обширная, из края в край пройденная, долина,— старый мир, распаханный границами, изрытый траншеями былых сражений, усеянный кладбищами погибших творений и неосуществленных порывов. Старый мир... Одинокие святыни высятся среди этого вызывающего скорбь и размышления пространства. Оплаченных такою кровью, их не так уж много сохранилось для потомства. Поражаясь количеству трудодней, затраченных хотя бы морем на обточку прибрежного голыша, люди всегда забывали, сколько их собственных усилий и творческого вдохновения вложено в любую, привычную руке и глазу, обиходную мелочь, не говоря уже о высочайших созданиях человеческого духа. Они плохо берегли свое, самое дорогое на свете. Как часто вслед за гением и творцом приходил варвар и хам, угонявший человечество назад, к Аттиле; тараном, железом и огнем он крушил хранилища людской культуры, ярясь на живучесть мысли и крепость камня, которых его бешенство не умело разъять на атомы, обратить в первородную целину. На протяжении веков постоянно в какой-нибудь части этой долины вился в небо дымок погрома. Навуходоносор стирает древний Тир с лица планеты, и две с половиной тысячи лет спустя Гитлер обрушивается на русский Новгород. Дикарскую дубину сменяет меч, на смену толу торопится атом.

Светлейшие умы давно заметили, что возрастающие производственные возможности человека при капитализме становятся арсеналом самоистребленья; они понимали также, что

если разум не вмешается в стихийный ход вещей, произойдет самовозгоранье цивилизации. Очередной поработитель на следующей фазе технического могущества просто подымет в воздух распрекрасную, беззащитную мирскую красоту вместе со всей ее начинкой. Молекулярной пылью, новым геологическим слоем она осядет на морщинистую кожу земли, и будущему археологу, если такой заявится с чужой планеты, легче будет найти позвонок мамонта либо топор питекантропа, чем даже ничтожное напоминание о несостоявшихся полубогах двадцатого столетия.

Этого завершающего пессимистического апофеоза не случится. Неистребима жизнь, бесстрашен и зорок человек. Смотрите, еле приметные тропки вьются в поисках направленья, на горизонте. Следы зачинателей, каждый порознь, еще различимы на них. Они ширятся и сливаются в одну столбовую дорогу. Она все прямее, по ней идут люди, их много. Горстка смельчаков превращается в лавину энтузиастов. Их пытаются остановить угрозой и диверсией, интервенцией и блокадой,— сквозь все это они проходят с песней, как сквозь дым. Их с каждым годом становится больше; после каждого потрясенья все новые отряды примыкают к ним — областями, державами и в будущем, кто знает, может быть, даже целыми материками, если народы позволят злодейству напоить себя из адской чаши заключительной войны. Все чаще люди будут обращаться к единственному, социалистическому якорю спасения. Живое хочет жить. Мечта делается исторической необходимостью. Человечеству надоело быть рикшей богачей, которые куском хлеба, хлыстом и просто выстрелом в затылок гонят его в самую бездонную из бездн.

Под ударами врагов родилась наша армия. Мы все вышли из ее рядов, и пусть каждый вспомнит сегодня своих товарищей, с которыми плечом к плечу начинал свой знаменитый тридцатилетний поход от Зимнего дворца до дворца германского рейхстага. По своим дарованиям и заслугам они тоже могли бы стать нынче маршалами, разгадчиками природы, мастерами и полководцами социалистической индустрии. Они не отзовутся на нашей перекличке, они никогда не увидят своей преображенной Родины, они пали на полпути к великой славе... То была пора гнева и предельной материальной скудости, но мы были богаче всех: неразменные червонцы юности звенели в наших песнях. На восемь человек печатников и ездовых в моей крохотной походной типографии приходилось

две тачанки, три шинели да кожаная куртка, одна; остальные шли пешком, кутаясь во что придется или даже накрывшись одеялом от морозного сивашского сквозняка. Но нам было тепло,— люди грелись тем зноем, который несли в себе; его хватало и на то, чтобы отогреть уставших...

Эх, если бы тот скромный, милый и веселый Егор Мильков, с которым в помянутое розоватое зимнее утро мы переходили Сиваш, мог вот так же, плечом к плечу, простоять со мною торжественный московский парад Победы, когда боевые знамена старого мира, самые злые — со свастикой, упали к подножью Мавзолея, когда тысячевольтная дрожь восхищения пронзила душу и в июньский полдень вдруг холодно стало на Красной площади от количества быстроходной, отовсюду нахлынувшей военной стали!.. Это чувство выше любого ордена, который может украсить простреленную грудь солдата Революции. Но страна шла вперед, на каждом победном рубеже расставаясь с теми, кто пал на поле брани. Они оставались лежать, обхватив руками родную землю, которую так любили. Они умирали не напрасно,— из каждой кровинки их, как в сказке, поднялось по новому солдату. Вот ваша родословная, победители Хасана и Халхин-Гола, Кенигсберга и Берлина. Вспоминая легендарные имена Фрунзе и Чапая и тех командиров Советского государства, чей прах погребен в стене Кремлевской, мы не забыли и тебя, безвестный рядовой Егор Мильков!

Это были сильные, отборные, волевые, закаленные в лишениях бойцы. Они дрались так, словно тела их были изо льда и камня, сердца — из солнца. Они знали и передали своим сменщикам таинственные секреты победы, из которых первый состоит в том, что в войне жестокая суровость к себе нужна в той же степени, как и ненависть к врагу, а второй — что каждая большая схватка кончается рукопашной, и в ней одолевает тот, в ком жарче пламень веры: есть нечто посильнее урановой руды... Они умирали не напрасно: кровь героев занимает первое место среди тех благородных, вещественных и духовных материалов, из которых строится величие страны. Подобно тому, как добавка редчайшего металла придает особую прочность стали, так и кровь эта вошла в нашу нынешнюю армию и молодую мускулистую технику. Дыханием героев пропитан наш ветер и самая вода наших рек; их верность Родине влилась в клетки нашего разума и стала мудростью советской молодежи. Она живет, чтобы продлить их бес-

смертную жизнь и довершить их дело, охранить на земле источник жизни. И в годы, когда в отдалении погромыхивает гроза и антрепренеры смерти хотели бы затеять матч бокса в атомных перчатках, воспоминание о мертвых героях имеет действие присяги.

Вечная слава героям, павшим за честь, свободу и независимость нашей непобедимой Родины.

1948

СОЛДАТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНРИ БАРБЮСА

Многие из советских литераторов живо помнят этого худощавого человека с благородной наружностью ламанчского рыцаря. Хоть по разу в жизни мы встречались с ним, жали ему руку, и нам памятен, конечно, тот пристальный, несколько задержанный взгляд, которым он встречал нового своего знакомца. Человек этот родился — в огне и, кажется, на каждом искал ожогов от большой и страшной войны, потому что по этим признакам он узнавал своих друзей, комбатантов, возможных участников того знаменитого взвода, опыт которого он бросил в лицо старого мира. Это был большой человек, он имел право назвать свою книгу Речи борца, потому что великое обещание верности заключено в самом названии. Он любил нашу страну, понимал наш народ и в годы блокады и интервенции был нашим бойцом на дальнем рубеже — в широком и почетном значении этого слова. Его творческая работа может служить образцом для каждого молодого литератора, который захочет с пользой для человечества употребить свой песенный дар.

Многим в России до первой мировой войны было вовсе неизвестно имя Барбюса. Его первые книги, наверно, сохранятся лишь как младшие сестры той, которая заслуженно выдвинула автора в первую шеренгу мировой литературы. Мы узнаем Барбюса сразу в солдатской шинели, в самом пекле боя несправедливой войны, от ужасов которой можно исцелиться лишь смертью, или безумием, или прозреньем. Ему сорок один год, и в том контрастном сопоставлении подробностей и эпизодов, которыми он насытил прославленный «Дневник одного взвода», явственно сквозит непримиримая гневность, с которой он воспринял эту трагедию человечества. По

существу, это было второе рождение Барбюса, а мы хорошо знаем, как трудно дается писателю постановка его общественно-политического голоса.

На примере Барбюса хорошо проследить, как из действительности и пронзенной писательской совести, подвергнутых действию огня, рождается в литературном тигле революционный гуманизм высокого стиля.

И опять судьба Барбюса глубоко поучительна для нас, писателей. Мы также владеем всем необходимым — от бумаги и чернильницы до необъятного материала, предоставленного в наше распоряжение. Правда, его стало слишком много, и требуется порой незаурядный талант и ум, чтобы сплавить в единое слово нескончаемые вереницы людских усилий, страданий и свершений. Слишком много событий, одно значительней другого, произошло на нашей памяти, а мы еще не совсем старые люди, и надо думать, история подкинет еще кое-что в наши записные книжки. Для изображения мало одного только дара, или ортодоксальной честности в перечислении происшествий последнего полувека, или той старой манеры, в которой у нас раньше вели героя — от рождения его в милейшей деревушке с надлежащим пейзажем через гражданскую и мировую войны к последующим событиям по хронологической канве большой истории. Мне кажется, что никаким самым полным каталогом промахов и удач, ликований и несчастий нельзя удивить, вернее — удовлетворить, нашего современника с новым содержанием его духа, нашего читателя, лично прошедшего через бурю Сталинградской битвы и парад Победы на Красной площади. Кроме добросовестного описательства, от нас требуется еще осмысление эпохи.

Барбюс создал предельно поучительный образ события, каким была для человечества первая мировая война. Его правдивая и искренняя книга была высоко оценена и Анатолем Франсом, и Максимом Горьким, и, наконец, самим Лениным. И действительно, ее название звучит как команда атаки на старый мир. Это был выстрел в лицемерие, в шовинизм и зверство капитализма. И если наш читатель всегда любил гулять по чудесным садам французской классической литературы, то его в особенности привлекало в ней именно то, что время от времени среди ее романтических рощ наталкиваешься на гневный, сложенный прямо на земле человеческий огонь, самое большое достояние и открытие людского племени. Огонь Барбюса неугасим, он жжет до сегодня.

Такие книги живут долго... и здесь нельзя не вспомнить некоторых обстоятельств на похоронах Барбюса.

Его хоронили в теплый, солнечный сентябрьский день. Процессия растянулась на пять километров, триста тысяч французов провожали на Пер-Лашез своего Барбюса. Впереди двигалась роща знамен, такая красочная на фоне тихой парижской осени, а сзади, тотчас за гробом вожака и командира, шли ветераны с обезображенными лицами, с вытекшими глазами, люди — улики бессмысленной империалистической бойни, символические бойцы его знаменитого взвода. Они шли с поднятыми, сжатыми досиня кулаками — приветствие фронта... В этот день мир удостоверился, что не одно, а два сердца у Франции, и только потому она будет жить вечно. И когда дряхлое, склеротическое сердце старой Франции отказало в работе вскоре после начала мировой войны, лишь ее молодое второе сердце вывело эту чудесную страну из пораженья на магистраль прерванной истории.

Парижская полиция, которая борьбу с огнем всегда рассматривала как свое основное призвание, запретила нести в процессии плакаты с призывами к борьбе,— народ начертил на транспарантах цитаты из самого Барбюса. И оттого, что грудь Барбюса при его жизни не была украшена орденами и лауреатскими медалями, французские девушки несли на алых подушках самые его книги.

Хороший пример хорошей жизни!

1948

НЕПРИМИРИМОСТЬ

Друзья! Прежде всего я хочу передать привет от моей Москвы новой, демократической Польше и народу древнего польского города Вроцлава.

Мы, делегаты мировой интеллигенции, прибыли на вашу гостеприимную землю для обсуждения самых насущных задач в деле защиты мира и демократии.

Этот конгресс кончается сегодня, и я с радостью могу утверждать, что он кончается победой прогрессивных сил над темной варварской реакцией. Эти четыре дня наглядно показали, каким громадным моральным авторитетом располагает моя родина, каким могущественным единством отмечено нынешнее стремление народов к мирной, честной, справедливой жизни.

Напрасно реакция пытается затемнить великие заслуги нашего народа в минувшей войне. Еще задолго до голосования выяснилось, что нации помнят жертвы, принесенные моими товарищами и соплеменниками в страшной битве за самые насущные права человека, длившейся почти полторы тысячи дней и ночей. На этом конгрессе были сказаны все необходимые, назревшие гневом слова, и я верю, что голос конгресса будет услышан всеми народами, а реакция убедится, насколько в последние годы созрела в человечестве решимость бороться за свое счастье — и не только обороняться, но и наступать. Я хочу верить, что эти слова будут в особенности понятны на польской земле, где во имя ее свободы пролита была наша советская кровь и где еще раз проявилось бескорыстное благородство освободительных советских армий. Необъятно мужество нашего человека, и подвига его всегда хватало на всех.

Однако на этом конгрессе кое-кто из англосаксонских делегатов бросил моим товарищам, выступавшим на заседаниях,

упреки в непримиримости и даже в отсутствии благопристойных манер «интеллектуального поведения»; по счастью, их было немного, и я не собираюсь спорить с ними здесь,— не столько оттого, что не располагаю достаточным даром убеждения, сколько в силу того, что оппоненты наши слишком заинтересованы — не понять меня. Я решаюсь вынести этот маленький спор на ваше суждение, потому что, мне кажется, именно Польша, столь пострадавшая в прошлой войне, имеет особое право быть нелицеприятным судьей в этом деле.

От каждого великого исторического несчастья, кроме ведущих политических тезисов и параграфов, резолюций и формул, остаются также отдельные изречения, эпизоды, трагические мелочи быта, в которых, как в капле воды, отражается личное живое ощущение очевидца и которыми обычно пренебрегает история, когда подводит свои итоги... Мне думается, что некоторые особенности второй мировой войны, в частности характеристика врага, стоявшего по ту сторону наших траншей, лучше всего выразилась в предсмертном крике пятилетней девочки, о чем мне рассказал уцелевший свидетель на Харьковском процессе. Я писал об этом в наших газетах, и надо, чтобы вы также узнали об этом. Дело происходило так. К заранее приготовленным ямам привезли для истребления шестьсот человек. Это были старики, инвалиды, женщины и дети. Накануне выпало снегу на метр, мороз достигал двадцати пяти градусов. И когда все стояли уже раздетые, потому что, как вы знаете, одежда жертв служила сырьем для германской легкой промышленности, ребенок прокричал эту фразу: «Дяденька, я боюсь!»

Возможно, этот случай не потрясет всех вас, у которых вчера еще были заплаканные глаза,— я вспомнил его только в связи с другим эпизодом, из цинизма которого проглядывает лицо новой, подготовляемой империалистами войны. В кулуарах конгресса честная польская женщина рассказала мне про другой случай, который я не смею утаить от вас для своей записной литераторской книжки.

Есть одно скорбное место на вашей многострадальной земле, я бы даже сказал, самое страшное место на всей планете, если бы оно оказалось единственным, если бы не было Дахау, Бельзена и других. Это слово понятно сегодня на всех наречиях — Майданек. Наверно, у каждой польской семьи хранится горстка родного пепла в этой громадной националь-

ной могиле, также оказавшей горькое братское гостеприимство многим из моих советских соотечественников.

В 1947 году господин посол просвещенной американской державы посетил и обошел это обугленное, такое позорное для современной цивилизации место. Он ходил и все улыбался, а когда обход был окончен, этот страшный джентльмен с крепкими нервами позволил себе произнести одно лишь слово: «Пропаганда». Вы думаете, что он усомнился? Что он в своем провинциальном неведении принял за бутафорскую подделку склады женских волос и груды пепла, а двенадцать знаменитых костров из человеческих тел, зарево от которых годы подряд жгло совесть мира,— за бенгальский огонь для совращения иностранцев в «красную веру»? Нет! Этому господину просто невыгодно было поддаться разящей убедительности фактов.

Но мне хотелось бы спросить у моих ученых коллег на конгрессе, позволял ли себе питекантроп острить таким способом в какой-нибудь вдовьей пещере каменного века?

Как говорится в пословице, в семье не без урода, тем более — в такой многочисленной и трудолюбивой семье, какую представляет американский народ. Да этот джентльмен и есть посланец не народа, а лишь незначительной кучки людей, которая в настоящую минуту улыбается на усилия своих красноречивых и, будем верить, добровольных адвокатов.

Мы-то знаем, что доллар не плачет. Нет, жалоба пятилетней девочки не терзает ему сердце. Ему недоступно это острое ощущение, потому что ему нечем плакать и нечему терзаться. Он ничего не совершает попусту или в ущерб себе. Деньги есть деньги, они умеют расти за счет человеческой крови. Доллару нужны плацдармы в Европе, нужны не менее, чем бездушные двуногие, во всем отчаявшиеся автоматы, готовые исполнить его любую волю. Вы понимаете сами, в какую сторону направлены взлетные дорожки авиабаз. Это поход на нас, поход на мир, на оплот мира.

Мы этого не боимся, мы пришли сюда защищать не себя. События показали, что мы не трусливого десятка,— у нас имеются хорошие головы и твердые руки. Нас много и теперь, а если новое страдание коснется незаживших человеческих ран, мы станем гневным, бесчисленным множеством. Меняется политический климат земли, и никакая сила не в состоянии отменить или хотя бы задержать смену геологических формаций. Механизм культуры предназначен для умножения благ

и удовлетворения возрастающих человеческих потребностей, и если, к примеру, величайшее открытие разума, которое может облагодетельствовать человечество, становится инструментом шантажа, варварской дубинкой, загоняющей людей в пещерное стойло, значит, этот механизм в злых, бесчестных руках, и нам, мастерам культуры, следует действенно позаботиться о его дальнейшей судьбе...

Мы пришли сюда защищать наше будущее — и не храмы или обсерватории в нем, не госпитали или университеты, которые имеют обыкновение восставать из праха еще величественнее и краше,— а детей. И не только беззащитное тельце этих пятилетних крошек, еще не успевших крикнуть перед командой заокеанского атомника: «Дяденька, я боюсь!» — а живую прекрасную птицу их веры в правду, в человеческое величие и в мужественную честность их отцов.

Итак, речь идет о самом главном, о детях. История простит нас, советских людей, за то, что мы говорим об этом решительно, громко и даже грубовато подчас. События нашего века заставили нас упростить язык политики и порою не заботиться о красотах стиля, или манерах «интеллектуального поведения», или изяществе слов, которые, кстати, так часто и подло предавали это маленькое человечество. Кроме того, историю будут писать эти самые дети, если только мы сумеем уберечь их от грядущих несчастий. Они поймут нашу страстность, напор и непримиримость, которые есть постоянное оружие правды, когда она пробивается сквозь тенета зла.

Великое счастье жить и трудиться на свободной земле, но никакое счастье не дается без боя. Боритесь за него, пусть каждый станет верным солдатом мира, если не хочет стать солдатом или жертвою новой войны.

1948

ЖАБА

Давно, лет тридцать тому назад, на биваках гражданской войны певали мы песню про паровоз, что стрелою летит в Коммуну. Таким словом обозначено в трудовом народе понятие о справедливом людском существованье. Тогда эта конечная станция еще не была введена в действующий график всечеловеческого прогресса. Лишь предвиденьем Гения да суровой солдатской думкой она угадывалась за горизонтом... С тех пор, все набавляя ходу, мчится наш поезд, заправленный рукою великого машиниста. Даты убегают вспять, как верстовые столбы; их застилают другие, попеременно то слепя, то туманя взор блеском незнакомых просторов, печалью утрат, сверканьем очередной победы.

За время пути поприбавилось в нашей семье, прежде всего за счет молодежи. Поколение, рожденное в полете, оно поднялось незаметно, как всегда бывает с детьми. У вчерашних малюток уже есть о чем вспомнить на вечеринке и при этом горделиво погладить пробивающийся ус; по размаху дел, записанных в трудовой книжке комсомола, можно представить, какие свершенья разместятся на еще не заполненных страницах... Здорово, детки! Одни из вас рядом и вровень с отцами творят новую жизнь, другие уходят на окраины страны, где, на памяти тоже хорошей песни, еще недавно рыскали золотоискатели да каторжные сухари бренчали в котелке бродяги. Дерзкие и красивые, вы стоите перед лицом пустыни, радуясь богатырской дикости природы, которую вам предстоит покорить и обуздать. Так молодая кровь поминутно вливается в жилы народнохозяйственного организма. Все эти люди, старые и малые, поклялись одолеть любые материальные несчастья, унизительные для социалистического века. Многое им уже удалось сделать... и пусть не иссякнет никогда благородное нетерпение советских людей!

Впрочем, за границей имеются еще такие орлы мысли, утверждающие пользу человеческого страдания. Оное якобы просветляет мозги людям и помогает нагулять аппетит к радостям бытия. По их словам, потенциалу добра всегда сопутствует равновеликий потенциал зла. В войне они усматривают нечто вроде взбадривающего массажа, без которого человеку будто бы грозит опасность вскоре обратиться в обыкновенную свинью. (Хорош же этот мирок, где для общественного здоровья приходится периодически прикладывать к затылку такую пиявку, как Гитлер!) По ряду причин мы держимся другого мнения... Ладно бы, если бы свои теории они применяли не к народу, а к самим себе: пускай раскамаривают себя, как им глянется. Но за этой апологией страдания прячется подлая мыслишка о примирении человечества с якобы неизбежным злом. Таким образом, взамен сверкающего инструмента гнева, наравне с разумом, отличающим человека от скотины, они всучивают ему для улучшения быта небогатый набор надежд, вздохов, мечтаний и молитв.

В отличие от прочих, советский человек не рассчитывает ни на чудо в образе наследства от богатой тети, ни на план Маршалла или заботливость иных высших сил. Он твердо выяснил, что каждый лишний грамм масла на его столе определяется лишь дополнительными количествами или качествами его личного труда. Поэтому мечтания его и носят глубоко земной оттенок. И хотя мечтаем мы все более крупными купюрами, чем на заре нашего государства,— не заводами и электростанциями, а целыми городами и даже краевыми производственными комплексами,— всякая самая песенная наша мечта сбывается в положенные сроки. Причина в том, что и песня наша чертится на жесткой нотной линейке государственного плана... (Хочется верить, однако, что еще досрочно осуществится недавнее, необычайное даже у нас, как поэма, стройное, постановление правительства о полезащитных лесонасаждениях, где так умно, деловито и душевно сказано о сомкнувшихся кронах Зеленого Друга.)

Если мне удалось доказать хоть частично, что мы хорошие и мирные люди, затеявшие строить большой, удобный, хотя, правда, небывалой формы и назначения дом, то я хочу заняться одним попутным и примечательным обстоятельством. Не будучи объяснено в нашей статье, оно стало бы приводить в научное замешательство биологов последующего столетья. Имеется в виду наличие всяческих жаб, которых при-

влекает наша стройка... За минувшие тридцать с лишком лет их нашествия регулярно повторялись — с запада и востока, севера и юга. Мы повидали их под Вологдой и Читой, на Халхин-Голе и у Ленинграда, даже у ворот самой Москвы. В пороховой дымке можно было различить их резиновые лапки, как бы в улыбку растянутые рты и странную окраску цвета хаки. Вследствие того что эти существа не только портили нам вид из окна, но и посильно стремились нагадить, приходилось бить их наотмашь чем придется... и наименее поврежденные убирались в свои норки, чтобы через некоторое время снова появиться у самого крыльца. (Не является ли скопление иностранных авиабаз вокруг Советского Союза новой разновидностью авиажаб, снова устремивших на нас упорно-созерцательные взоры?)

Вряд ли следует объяснять это явление любопытством низших тварей к разумной деятельности человека. Нечто совсем иное светится в их черных, навыкате, очень недобрых глазах. А ведь, пожалуй, это просто ненависть, та ее особо жгучая степень, когда она сопровождается улыбкой. Больше того, это вполне осмысленная и, значит, человеческая ненависть. Следовательно, мы имеем дело с людьми, которым длительные корчи злобы придали столь своеобразную биологическую внешность...

Человека простодушного, именно это и повергает меня в недоумение. Казалось бы, смелые советские люди, создавшие удивительное государство, которое не зарится на богатства соседа и где порознь не обогащается никто, посвятившие себя бескорыстной борьбе с человеческим страданием и со всем, что его производит, достойны не только восхищенного удивления иностранцев или описания в звучных стихах, но и прямого сочувствия. Больше того, мне кажется даже, что как-то непристойно не подсобить герою в его беззаветной схватке с таким драконом. На месте Объединенных Наций я бы даже почтительно просил подобное государство вывести человечество из такой глухой полночи мира... Но, значит, что-то препятствует людям принять это спасительное решение. Видимо, имеются среди двуногих такие гурманские создания, которым на руку человеческое горе, для которых слезы составляют лакомство. И если мы враги Зла, то они враги врагов Зла. Что же это за публика,— вот задача!

Не стану дожидаться, пока миллионный хор детских голосков подскажет мне ответ. Взрослые догадались еще раньше,

что речь пойдет в осудительном смысле о так называемом старом мире. Но как раз в этой статье я не собираюсь ни обличать его столпов, ни бранить их за отсутствие дружественной честности к миру новому, ибо именно в отношении к революционной молодости должно было проявиться характерное для буржуазного общества волчье чувство озлобленного недоверия. Конечно, у старого мира есть причины дуться на мир завтрашний, который с румяными щеками идет ему на смену. А старику из собственного опыта известно, что ни один наследник не может вступить в права, не потрудившись в роли могильщика. И вообще-то неприятно умирать, а тут еще в последнее время в ряде бывших колониальных стран наследник шумно проявляет какое-то подозрительное нетерпение. На Вроцлавском конгрессе можно было наблюдать, какими печальными вдовьими взорами представители арийско-банкирских империй взирали на осмелевших делегатов цветных наций, которых уже нельзя стало попридержать ни хлыстом, ни связкой бус, ни проникновенным миссионерским словом.

Начну с того, что ни один порядочный джентльмен не может без известной щекотки в душе жрать булку на глазах у голодного ребенка, машинально повторяющего его глотательные движения. Это вовсе не к тому, что в Соединенных Штатах булки стали привилегией миллиардеров. Не в том суть, что булок там пекут достаточно и при кое-каких общественных изменениях их хватило бы на всех. А в том суть, что самая система всего этого булкового механизма основана на создании все более обширного круга голодных младенцев. Обычно, когда берут что-либо даже у взрослого соседа втихую, без особого одобрительного энтузиазма с его стороны, то испытывают при этом если не стыд, но некое смущенье, свойственное и псу моему, Дозору, когда его укоряют в нехорошем обращенье с зазевавшейся курицей. Не оттого ли и прячутся они от простых людей, все эти Меллоны и Дюпоны, временно исполняющие должность Кащея на земле...

Возможно, что, не побывав в жизни миллиардером, я допускаю какие-то промахи в изображенье миллиардерской психологии. Откуда знать, не прячутся ли они от скромности или от сознания собственного ничтожества, как говорят закоренелые большевики. В самом деле, поставленные на такую высоту, владеющие стольким, к т о они? Какие благодеяния причинили они ближним? Может быть, усовершенствовали аспирин или изобрели электрическую мухобойку на радость домохозя-

ек или облегчили всеобщие мозольные страдания человечества?.. Я не замахиваюсь на чужие законы, но у меня пытливая душа, и я почтительно прошу у сведущих лиц ответа на запросы, которые, так сказать, теснятся в моей груди. Кто дал им страшную власть растлевать слабейших из людей стремлением к легкой наживе, поить их многолетним настоем клеветы на нас и даже таить в замысле когда-нибудь вторично послать их на недавних соратников в великой битве, на первейших друзей, чтобы,— лежа по горло в грязи беспримерного униженья,— они стреляли в наши окна...

И вот я уже выкурил целую папироску, но нет мне ответа на вышеуказанный крик моей души: кто они такие, эти господа, норовящие взять за глотку человечество? Молчит провидение, молчит нарядный Белый дом со столпами, и самые столпы тоже молчат. Вообще нигде их не встретишь, ни в сенатском отчете, ни в стенограмме Международной ассамблеи, ни в беглой репортерской строке. Они живут под защитой несгораемых стен, псовидных детективов и свирепых демократических законов о собственности. Наверно, на манер библейского божества, они не чаще раза в год являются в скинии, в Святая Святых, и тогда дипломатические и газетные трепачи бьют в оглушительные гонги (преимущественно о русских кознях), чтоб смертные не подслушали, какого рода инструкции верховный жрец Белого дома получает от божества. Боги избегают показываться публично; лишь в случае необходимости лично разъяснить свою волю людишкам они появляются, и то в переодетом виде. И как библейский небожитель вселялся для этой цели в оболочку прямолинейных, дубоватых пророков, так и эти располагают обширным гардеробом солидных сюртуков, римских тог, разной прозрачности туник, носящих странные наименования — даллесы и бирнсы, бевины и форрестолы. Так что никак не разберешь, как же выглядят в жизни истинные носители этих одежд: пузатенькие они либо попостней, вроде дядя Сэма, или же наподобие мордатых гангстеров, как мы видим их в американских наглядных кинопособиях... Одни надеваются в праздники, другие в будни. Для особо торжественных случаев имеется специальная одежда со сверлящим названьем — черчилль. Она представляет собою просторную, пророческого типа хламиду с пеплом в рукавах для посыпания головы, с громами и молниями в потайных карманах, чем и отличается представитель

божества от обыкновенного шумливого и надоедливого домового.

В частном быту эти земные владыки живут довольно скучно. Ночи их насыщены тревожными снами о революциях и стачках, дни отягчены хлопотами по вербовке ландскнехтов для будущих мокрых дел: предприятие трудное и разорительное. Во-первых, живы еще кое-какие бравые путешественники по России, а, во-вторых, каких там солдатушек наскребешь в бенилюксах! С помощью чековой книжки можно купить все, кроме истории. И оттого, что морально эти люди очень уязвимы, пропадает и в их собственном теле уверенность, необходимая для большой драки. Все чаще одолевает страх перед Неизвестностью и всякой Новизной. Подстегнутое воображение рисует, что наследник уже бродит по дому, подходит к изголовью, склоняется, берет за руку, слушает прерывистый маятник пульса... Ах нет, это только затянутый обшлаг сорочки давит в запястье. Тем хуже, значит, он придет завтра. Тем лучше, значит, есть время свалить его до рассвета... А прежде всего — расставить стражу из дюжих молодцов, предпочтительно высшего военного звания!.. И тотчас бывшие генералы и адмиралы, переряженные в штатские платья, устремляются в распахнутые двери государственного аппарата. Они облачаются в посольские мундиры, занимают канцелярские кресла, штурмом берут университетские кафедры: для фельдфебеля это сущая отрада — годок-другой походить в вольтерах. Видимо, рвутся они и во епископы; по слухам, уже имеется один, который лихо водит самолет и неплохо целит из маузера... Они уже вроде как бы коменданты страны. Один такой, генерал Икер, так и рванул недавно в Лос-Анджелесе: дескать, «в конгрессе заседают те самые старцы, которых в любой другой стране (подразумевается, видимо, прежняя Германия!) давно бы вышибли оттуда за слабоумие». Ого, это уже рык пополам с угрозой, шлепок по хозяйской лысине... но ничего, пускай, только бы не остаться одному в таких потемках. Эй, кто там! Надо выслать форпосты на Кубу, на Исландию... нет, все еще слишком близко. На Кипр, в триполитанский Мелах, под Лондон и Стамбул! Эх, хорошо бы для верности и под самые Фили такую же авиабазу! Как вы думаете, генерал... пожалуй, не допустят, а?

Так рождалась жаба в Берлине, так она рождается сегодня в Вашингтоне.

Теперь мы знаем способ изготовления нормально действующей жабы по рецепту новейших парацельсов. Берется некоторое количество страха, и к нему по весу примешивается ненависть. Затем в уже зеленоватое месиво сыплют вонючий кардамон нечистой старческой совести и, добавив по вкусу атомного самодовольства, подогревают на огоньке лицемерия и лжи. Готовые, еще полудохлые головастики поступают в газетные инкубаторы, и вскоре тысячи резвых тварей скачут по стране, лезут в неискушенные простые души и вот уже карабкаются на чистые, почти эллинского мрамора, ступени монумента Аврааму Линкольну, что стоит на Потомаке. Они взбираются все выше, и, такова ирония судьбы, мертвый гигант, потрясший рабовладельчество в своей стране, не может скинуть гадкую, еще не окрепшую жабенку со своего плеча. Печальный пример дряхлости класса...

А ведь старуха История помнит, как всего полтора-два века назад молодой хищник упругой львиной походкой выходил на арену. Он тащил за собой дары, свои вступительные взносы на право жить — дешевые товары и машины, железные дороги и более демократическую цивилизацию... О, как ненавидели его тогда чопорные феодальные грымзы в париках и парчовых камзолах. Но совершается железный Марксов закон, и уже не юноша, а одряхлевший, с облезлыми боками зверь смотрит на нас с почти дочитанной страницы. Все иссякло в нем — крылатые мечты, живительные идеи; осталась лишь тупая воля к прежнему владычеству. Он сидит в золотом кресле и вместо скипетра держит на коленях глупый продолговатый предмет — атомную бомбу. Другого подарка у него больше нет для человечества... Он сидит и думает, линялый Гамлет новейшего времени: «Кинуть или не кинуть, быть или не быть?»

Это означало бы смерть и для него самого, но умирающему, не накопившему мудрости за отпущенные сроки, всегда немножко хочется, чтоб самый свет затмился вместе с ним. По словам Диодора, ассирийский царь Сарданапал, когда приспело время, заперся в ниневийском дворце и спалил себя заживо вместе с телохранителями, женами и сокровищами... но утром солнце взошло как ни в чем не бывало. Если же у Диодора ничего нет о восходе солнца, это показывает, что историк не был философом. Умирающему старому миру все вокруг мнится в заговоре с коммунизмом. О, конечно, это московские большевики втянули Франклина Рузвельта в борьбу с фашизмом,

уговорили короля Георга внести в парламент программу национализации британской сталелитейной промышленности, это они разбудили чувство голода у французских рабочих и чувство боли от кнута у индонезийских туземцев,— назло ему, старому миру. Унылые желания чередой текут в его воображении... и не только в воображении! В этом отношении привлекает наше внимание недавний спич в Лландидно штатного льва британского империализма, старого знакомца и хлопотуна по пролитию русской крови, сэра Винстона Черчилля.

Потомок тех самых герцогов Мальборо, что известны у нас по сорту садовой малины да по знаменитой фривольной песенке «Мальбрук в поход собрался», он всю жизнь стремился на военном поприще оправдать свою фамильную репутацию. Так он служил в испанских войсках на Кубе, маршировал в Пенджабе и у Хартума, летал на буров с эскадроном королевиных гусар. В погоне за дополнительной славой он предпринял непосильную задачу сломить молодую рабоче-крестьянскую Россию; мои современники помнят его дикую затею с походом четырнадцати держав. То была самая крупная его неудача, считая Дарданеллы и Дюнкерк. В мировой схватке демократической коалиции с фашизмом он всемерно проявлял свои разнообразные дарования, и не его вина, что Советский Союз не только уцелел, но и вышел победителем из борьбы. То был четвертый промах, надломивший силы. В последние годы наступает перелом в здоровье этого одаренного и неутомимого джентльмена, ясно обозначившийся в Фултоне. Он часто и без поводов машет руками и произносит разные такие слова. Он попеременно воображает себя то Катоном Старшим, твердящим при всех оказиях о необходимости разрушения советского Карфагена, то даже Питтом, хотя никто из моих сограждан не посягал на неприкосновенность Британских островов. Его посещают изнурительные и неестественные видения в образе волосатого коммунистического комиссара, который берет в плен Вестминстерское аббатство вместе с куполом, привратниками и со всеми могилами виднейших английских деятелей. Последний его припадок в Лландидно, где он, науськивая атомщиков поскорее взорвать Сибирь, Туркестан, Тянь-Шань, Ангару с притоками, а также срочно починить Адольфа Гитлера, огорчил даже его коллег, хотя и комиссия по расследованию антиамериканской деятельности не заподозрила бы их в симпатии к коммунизму. Хочется отвернуться от грустного зрелища такого разрушения выдающейся личности,

когда от Питта остается всего пол-питта, да и то в каком виде! — когда старый человек, фигурально говоря, в исподниках и с разнузданными криками: «Вот я их, вот я их!» — выскакивает в освещенный солнышком мир божий, чтобы постращать публику страхами маньякального происхождения. Следует упрекнуть ближних его в нерадивом присмотре за беднягой Винстоном.

Вот судьба любого хищника, будь то человек или класс, государство или просто лев, вышедший из употребления. Он лежит в своем логове на груде гостей, наломанных в пору молодости, и вспоминает былую, напрасную славу. Он пробует рыкать, но даже дети мира не пугаются, занятые своим песочком. Слеза бессилия и ненависти родится в его глазнице, усеянной мошками, которые тоже его не боятся. Жизнь уходит куда-то во мглистое облако. Теперь все годится в пищу его уму — и слух, и шорох, и просто сплетня. Значит, это правда, что львы в старости едят что придется — траву и даже мышей.

Я занял внимание терпеливого и доверчивого читателя затем, чтобы на беглом примере проследить превращение льва в жабу.

1948

ПАМЯТИ ГОГОЛЯ

Сегодня наша родина отмечает память великого писателя, чье имя так дорого уму и сердцу русских. Уже целый век сверкает оно в нашей национальной культуре, и не перестанет звенеть его чудесная слава, пока живет, летит и плещется над землей громовое русское слово,— то есть вечно!

Вся стоязыкая семья советских народов любовно произносит имя Гоголя наравне с именами его блистательных современников. За минувшее столетие много раз вносили мы свои поэтические образы, свои научные открытия, свои светлые идеи в общечеловеческую духовную казну, и в том заключена немалая гордость наша, что не менее щедро отдавали мы свой труд и кровь на их осуществление.

Кажется, не один век, а целая глыба геологического времени отделяет нас от эпохи Николая Гоголя. Все изменилось с тех пор в нашей стране — от уклада народной жизни до некоторых сторон национального характера,— потому что с особой силой проступили его подавленные прежде черты народа-вожака. Но, как и дедам нашим, нам бесконечно близок этот вдохновенный поэт за то, что в темную ночь России помог осознать свое величие, свою богатырскую стойкость, просторы своего завтра, всю красоту то торжественной, то разящей русской речи. Мы любим его за сыновнюю преданность отчизне, за глубину проникновения в тайники народной жизни, за разлитый в его страницах неуловимый пламень, по-прежнему испепеляющий наших врагов и согревающий наших друзей. Многие поколения подряд вдохновлял его вещий образ русской тройки, гениальное прозрение будущего, выраженное в скупых словах неповто-

римого блеска. Дети наших детей с тем же благоговейным восхищением будут читать про нее, сброшенную с неба молнию, про вихри, вплетенные в гривы ее коней, про воздух, разорванный ею в клочья и становящийся ветром.

Столетие спустя мы обращаемся к творениям Николая Гоголя как к живым родникам патриотического мышления. Написанные при лучине крепостнической России, они доныне звучат как песни детства нашего, запоминающиеся навсегда,— и вместе с тем это книги-труженицы, много поработавшие для нравственного воспитания своих читателей, достойные почетного места рядом с букварем. Они учат любви к добру и отечеству, они учат ненависти к злу и иноземному насилью. Герой завтрашнего дня, решаясь на смертный подвиг, мысленно повторит знаменитую гоголевскую фразу несравненного анестезирующего действия — о силе народной, не боящейся никакой боли... Как и столетие назад, не смолкает гоголевский смех над подонками людского племени; его немеркнущие образы и сегодня применимы в практике поведения и борьбы нашего народа. Есть у Гоголя и про обреченный, разложившийся класс, который в смятении ожидает своего сурового ревизора; найдется словцо и про нынешних чичиковых, по дешевке скупающих в Европе живые человеческие души, чтобы сделать их мертвыми ради своей темной корысти.

Самой жизнью своею Гоголь учит нас, своих взволнованных потомков. Не в том ли была трагедия Гоголя, что, в лупу Мертвых душ рассмотрев тогдашнее общество, он не нашел в нем подтверждения своим надеждам? Продолжая настойчивые поиски просвета в том же окаменевшем помещичьем классе, он повторил свою ошибку — вместо того чтобы обратить свой взор в самые низы России, к бедным хатам, мимо которых промчался со своим героем невесть куда. Он увидел бы спокойную силу народную, уже сломившую хребет одному коронованному захватчику в войне двенадцатого года. Он увидел бы детей при обочине дороги, отдаленных предков тех, кто впоследствии взялся за осушение человеческих болот, за преображение такой милой и такой несчастной родной земли. И великая мать Отчизна взяла бы в объятия своего любимого сына, она вернула бы ему утраченный песенный дар, она отвела бы его от костра, зажженного его собственной рукой.

Молодость наша, перешагнувшая границы будущего, бережно хранит в своей памяти имя Николая Гоголя. В величавом разбеге к Грядущему она все выше поднимается по сту-

пенькам новых университетов, гидростанций и заводов... и книжки Гоголя лежат вместе с инструментом в ее походном рабочем подсумке. Все явственней наступает утро человечества, и вот уже видно в рассветной дымке, что не одна русская, а уже добрый десяток бойких, необгонимых троек несется в социалистическую даль, по столбовому тракту человеческого счастья. Дымом дымятся под ними дороги, гремят мосты, все отстает и остается позади.

Да не умолкнет никогда вдохновенное русское слово, на праздник которого сегодня собралась наша Москва. Вечная слава Николаю Гоголю!

1952

ВСЛУХ О КНИГЕ

Имеются такие области в нашей жизни, куда редко заглядывает критика. И раз уже назначенные к данной деятельности люди бесперебойно выпускают положенные им изделия,— скажем, топоры,— то, независимо от качества продукции, считается, что все обстоит благополучно. Так, у нас принято, что ножи для безопасных бритв должны несколько портить кожу лица, и бритье такими лезвиями желательно производить под местной анестезией, после чего заклеивать пластырем нанесенные увечья. И это никого не удивляет. Никто не задумывается, например, над тем, что сплошная перфорация на лезвиях бритв, принятая на Западе для того, чтобы бритву нельзя было вторично использовать для бытовых нужд, нам вовсе не нужна... Значит, и здесь полезен инспекторский глаз: в какой степени трата ценного сырья на выпускаемый данной отраслью промышленности продукт соответствует своему назначению. Именно это существенное обстоятельство нередко и повсеместно упускается из виду под шумок перевыполнения плана. Вот и появляются, например, отвратительные электровыключатели, ломающиеся через неделю, или настольные лампы с мрачно-черными абажурами, незаменимые для подарка молодоженам.

Не менее подзапущенная область в нашем быту — книги. Мы имеем право говорить об этом вслух, без опасения умалить наши несомненные огромные достижения в отношении, скажем, тиражей советской книги или удивляющих весь мир механизмов из безупречной стали — таких, как шагающие экскаваторы или землесосные снаряды и многие другие небесполезные в социалистическом обиходе вещи.

В практике у нас если порой и возникают разговоры о книге, главным образом о ее содержании или же в плоскости увеличения тиражей, то совершенно упускаются из виду чисто

полиграфические проблемы, касающиеся качественной целесообразности данной продукции: о внешности — то есть эстетике, о прочности — то есть долговременности.

Разнообразные издания преследуют различные цели, а следовательно, предполагают различную внешность книги: справочник или роман, сельскохозяйственная книга или стихи. Почему-то до сих пор не возникает вопроса о создании научно-исследовательской организации, которая должна была бы думать об оформлении книги в зависимости от ее отраслевого назначения. По правде говоря, в этой области мы двигаемся на деревянных колесах по усовершенствованной мостовой.

Начать с того, что, судя по всему, при массовом выпуске книг проверяют лишь первую сотню-другую экземпляров, которые и кладут на столы полиграфического начальства, а тираж пускают на произвол. А тут-то, казалось бы, и нужна особо придирчивая и внезапная технологическая инспектура. Иногда из «Вечерней Москвы» мы слышим тяжелые вздохи потребителя, что он получил том, состоящий из одних оглавлений или из первых глав. Надо бы дать потребителю возможность высказать более полно те чувства, которые его охватывают при получении подобной продукции. Невольно порою возникает мысль, что качественный уровень иных самых кустарных, казалось бы, изданий XIX века значительно выше тех, которые выпускают многие наши издательства на базе нынешних сверхсовременных типографий. Посмотрите первые издания Пушкина: сколько в них вкуса, отработки, пропорции!

В свое время я много говорил об этом с А. М. Горьким. Он все собирался (и забывал) поставить где следует вопрос о необходимости организации хотя бы малюсенькой, о двух плоских машинах, показательной типографии, которая выпускала бы отлично оформленные книги на превосходной бумаге,— «чтоб теплился огонек полиграфического качества». Большая загруженность помешала Алексею Максимовичу осуществить его намерение. А пора бы такую экспериментальную типографию создать и поручить ей неторопливое изготовление показательных изданий небольшими тиражами, которые, несомненно, окупятся! Это нужно для того, чтобы поддерживать уровень мастерства и создавать новые кадры полиграфистов, художников своего дела.

В свое время в Москве и Петрограде в типографиях, принадлежавших крупным издателям, были школы мастеров художественных изданий. Туда принимали подростков со способно-

стями к рисованию и прикрепляли их к опытным мастерам. Готовили художников книги и в Строгановском училище и в училище Штиглица. У нас же есть несколько художественных ремесленных училищ, организованных в послевоенные годы, куда принимают учащихся без учета их способностей к рисованию и готовят из них лишь квалифицированных ремесленников, а не мастеров-художников.

Недавно я был с художником Д. Шмариновым в Англии. Насколько можно было установить при быстром аллюре, мы нашли, что, как во всяком большом организме, в английской жизни есть отрицательное, имеется и положительное. Из того, что мы успели посмотреть, есть нечто, чему не вредно было бы поучиться и нам. Я, в частности, имею в виду художественные школы прикладного искусства, призванные обслуживать повседневно быт народа. Эти школы не ставят себе задачей скоростной выпуск живописцев чистой воды, зато готовят высококвалифицированных мастеров полиграфического искусства. Издания, выпускаемые английскими художественными школами, просто отличны. Учащиеся там обладают необходимыми для этого техническими пособиями, а у нас на оформительском факультете Полиграфического института студенты делают книги главным образом мысленно, в воображении. А ведь именно при этом-то институте и должна была бы существовать образцовая типография — экспериментальная творческая лаборатория. Повторяю, она себя сторицей окупит, выпуская великолепно оформленную, любительскую книгу, разумеется, на соответственного качества бумаге.

Я предвижу, что осведомленные люди немедленно возразят мне, что у нас нет такой бумаги. Значит, пора начать ее производить — отличную бумагу современного качества и в соответственном ассортименте. А то ведь наши бумажные фабрики хотя и делают бумагу по единому узаконенному стандарту, но почему-то порою она то расточительной толщины, то и размеров разных. На ней расплываются чернила (зато обычная «промокашка» отличается образцовой непромокаемостью, хоть на зонты натягивай!), нередко она рыхла, косо обрезана. Кстати, пора бы научиться производить бумагу из древесных отходов, остающихся в лесах в количестве пятидесяти процентов, что при нашем плане лесозаготовок составит сотни миллионов кубометров, бесполезно предаваемых огню. Пора бы наконец поберечь леса-то наши, чтобы не всплакнуть впоследствии!

В стране, где производится множество любых сортов стали, неисчислимое множество станков, инструментов, совершеннейших сельскохозяйственных машин, мы вправе требовать от бумажной промышленности (разумеется, обеспечив машинами исполнение ее прямых обязанностей), чтобы там серьезно поразмыслили о культурных потребностях современников, которых она призвана обслуживать.

Соответственно сурово следует поговорить и о другом наболевшем вопросе. Куда пропало разнообразие шрифтов, которыми всегда отличалась русская полиграфическая промышленность? По чьему вкусу остался нам на радость один, лично мне представляющийся если не убогим, то уж никак не пригодным для художественной литературы, латинский шрифт, которым набирается, как правило, чуть ли не все, что попадает на типографский двор? В наше время как-то перестали встречаться даже музыкальные инструменты об одной струне, тем более непонятно это стремление ввести единошрифтие в книжном деле. Я спросил великолепного мастера своего дела, ныне покойного художника Н. В. Ильина, куда же исчез отличный елизаветинский шрифт, который, как мне кажется, способен придавать нарядность даже иному заурядному творению. В ответ он пожал плечами с таким видом, будто я допустил величайшую бестактность. Оказалось, что, по мнению некоторых знатоков, елизаветинский шрифт носит в себе якобы крамолу буржуазно-идеалистического порядка. Признаться, на такую глубину политического прозрения у меня как-то не хватает мозгов: в чем же тут корень зла? Чем провинились злосчастные литеры, указанием чиновного перста посланные в переплав?.. Давайте же подумаем вслух и сообща об этом, как поправить дело; мне кажется, что на современной стадии развития нашей промышленной мощи мы сумели бы справиться даже и с такой титанической проблемой.

Мне сообщили интересную подробность: в свое время в Ленинграде от частновладельческих шрифтолитейных заводов осталось несколько сот различных гарнитур шрифтов и политипаж. В довоенные годы была создана комиссия, которой было поручено пересмотреть это наследие и отобрать все, что могло бы быть использовано в нашей полиграфии. Комиссия добросовестно поработала и признала годными к употреблению более двухсот гарнитур шрифтов. Но нашелся некто от полиграфии, который заявил, что нам это имущество не понадобится, хватит и одного шрифта. И вот все пуансоны (стальные формы, с ко-

торых отливают буквы) были уничтожены. В познавательном отношении было бы крайне полезно осведомиться, из каких высоких соображений было загублено это неосвоенное культурное наследство, накопленное в течение десятилетий усердной работой русских шрифтовиков.

Дальше. Совершенно естественно, казалось бы, что если при громадной потребности советского народа в книгах мы выпускаем их в тиражах, неизменно вызывающих почтительный шепот в любой аудитории за границей, то нужно подумать и о надлежащей прочности книги. Мы не заинтересованы в том, чтобы бесконечное число раз повторять то или иное издание во имя барышей. Советская книга должна быть самой долговечной в мире! Цели наших издательств весьма отличны от издательств капиталистических стран. У нас книга давно уж перестала быть предметом роскоши и развлечения, как порою это бывает на Западе. Я бы сравнил советскую книгу с буром и лопатой. Они работают во имя преображения земли, как книга — во имя преображения человеческой души. Кто может выпускать инструменты из явно недоброкачественной жести, кроме некоторых наших промысловых артелей, которые под шумок и чертыханье садоводов тоже в течение десятилетий безнаказанно штампуют, мягко говоря, мерзейший садовый инвентарь из плохо оцинкованного железа!

Вследствие явного недостатка даже таких тиражей книга у нас призвана обслужить сотни читателей. В Советской стране имеется около трехсот девяноста тысяч библиотек! Итак, книг явно не хватает, а библиотекари вынуждены ежегодно списывать в макулатуру множество книг, износившихся за год. Пожалуй, и количество знаменитых переизданий, которые неизбежно занимают в планах издательств весьма почтенное место и вызывают такое раздражение у иных финансовых деятелей наших, в значительной степени подсократилось бы. Настолько ли мы уже богаты, чтобы производить дешевые и соответственно непрочные вещи?

Кажется, не подлежит сомнению, что книга, которая идет в народ, занятый величайшим подвигом, книга, которая поступает в нетерпеливые рабочие руки, нередко в мазуте,— потому что читают ее и в цехе, и у трактора в обеденный перерыв! — эта книга должна быть в особенности прочной, то есть она должна быть изготовлена добросовестно и из надлежащих материалов. Она должна быть заключена в соответствующую упаковку, не боящуюся побывать в походном вещевом мешке или в кар-

мане комбинезона тракториста. Она должна подвергаться хотя бы мало-мальски добросовестной сшивке, чтобы ветер не вырывал страниц, чтобы книга выдерживала прикосновение даже иной не слишком бережной человеческой руки.

Очень грустно, что о подобных банальных истинах, которые должны быть внушаемы инженерам книги в первый же год их обучения, приходится говорить малосведущему в этих вопросах литератору, да еще на страницах газеты, существующей для сообщения читателю несколько более злободневных новостей. И тут возникает вопрос еще об одном явлении, о котором порою мы стыдливо умалчиваем, но вследствие которого мы часто страдаем в нашем житейском обиходе. У нас наряду с великолепными рационализаторскими предложениями, которые, зародясь под зорким глазом творца вещей, помогают облегчить трение ходовых частей в нашем народнохозяйственном организме, то есть удешевляют продукт, упрощают производство и, значит, соответственно снижают цену продукта, вовлекают в производство новые сырьевые ресурсы,— наравне с такими творцами у нас немало еще достойных сатирического прославления горе-новаторов, «обогащающих» нашу действительность такими плодами своего творчества, что народ долго-долго поминает соответственным словом и их самих, и их ближайших родственников!

К числу подобных «благодетелей человечества» вполне имеют право быть причислены, по-моему, изобретатели стандартных узких полей в книгах вне зависимости от назначения последних. А стоило бы посвятить хотя бы часть умственных сил на раздумье о роли полей в книгах, имеющих усиленное хождение в народе,— таких, как художественная литература.

Любопытно, скажем, чем же руководствовались средневековые издатели, выпускавшие свои книги (при столь малых фондах тряпичной бумаги, единственной в то время) со столь широкими полями. Только ли соображениями сугубо эстетического или даже, боже сохрани, снобистского характера? Дьяк-типограф Иван Федоров тоже снабжал свои первопечатные издания уширенного образца полями. Нет, они рассматривали эти широкие поля как естественную рессору или буфер, что ли, защищающие текст, набор от возможных повреждений. По мере того как край страницы подвергался разрушению от тысяч небрежных пальцев и книге грозило преждевременное уничтожение, ее обрезали с трех сторон, и она вступала во второй и нередко в третий цикл своей жизни и работы. И, конечно, толь-

ко благодаря этому до нашей поры уцелели некоторые памятники средневековой полиграфии. Не слишком ли дорого нам обходится временная экономия, за которой мы столь легкомысленно гонимся порою, не предвидя вредных последствий такой резвости? И опять — вопросы такого рода должны были бы своевременно возникать в стенах соответствующих учреждений, а не на страницах газеты: что именно является желательными качествами, добродетелями социалистической книги? В связи с этим не менее остро стоит вопрос о внешнем виде,— бухнем опасное словцо! — об изяществе книги. Мы имеем в виду не роскошь в виде золотых обрезов, бронзовых застежек, мозаичного сафьяна на переплетах или целлофановых суперов по образцу кондитерских изделий, а ту умеренную, ласкающую самый придирчивый глаз целесообразность, какой отмечены бывают все особо ответственные общественные сооружения или машины: мосты и радиобашни, реактивные самолеты или быстроходные катера.

Раз уж начался большой разговор о полиграфии, не менее остро стоит также вопрос о красках, которыми пользуются типографии. Я думаю, что если пошарить в нашей стране, то можно найти мастеров и способы изготовления вполне добротной типографской краски, значительно превосходящей нередко бытующую у нас типографскую ваксу. В не меньшей степени это относится и к красителям для нашей цветной печати, образцы которой зачастую представляются просто оскорбительными для нашего народа, обладающего химической промышленностью — одной из самых совершенных в мире. Правду сказать, наводят глубокое уныние эти линялые, точно прямо из-под дождя, отпечатки, регулярно появляющиеся в наших периодических изданиях. Стоит, например, полистать изготовленный в так называемой экспериментальной типографии Всесоюзного научно-исследовательского института полиграфической промышленности и техники альбом репродукций картин Третьяковской галереи и сопоставить их хотя бы с красочными изданиями народного Китая, Чехословакии и Германской Демократической Республики. Было бы полезно, если бы теоретики сего дела (если таковые еще существуют) часть своего служебного времени посвящали обсуждению этих вопросов.

Раз уж речь пошла об этом (когда еще придется так вплотную поговорить о наших полиграфических делах?), оставляет желать много лучшего работа наших цинкографий, изготовляющих клише. Очень возможно, что и здесь имеются крупные

нерешенные вопросы. Очевидно, следует пересмотреть систему организации труда и поощрения высококвалифицированных мастеров, изготовляющих клише для черных и многокрасочных иллюстраций, или принять какие-либо другие разумные меры. Не может быть никаких оправданий для того, чтобы делать что-либо сознательно плохо, выпускать дурную продукцию под маркой нашей прекрасной страны.

Это все главные вопросы, вслед за которыми, если ими заняться всерьез, встанут десятки других, более мелких. Спросим мимоходом, стоит ли заставлять автора платиться за требовательность к своему произведению и тем самым лишать его права на корректуру, занимающую столь важное и ответственное место в производственном процессе писателя (а иногда чуть ли не штрафовать его за это!). Мало-мальски грамотным людям, которым доводилось в жизни написать хотя бы пару строк (кроме расписки в получении почтового перевода, разумеется), известно, что в печатном виде один и тот же текст выглядит несколько по-другому, чем в рукописи. Мы всегда приводим в пример молодым авторам упорство и трудолюбие классиков, но неизменно всегда забываем показать им корректурные листы Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого, О. Бальзака. Очень часто настоящая работа над рукописью начинается только тогда, когда поставлена последняя точка и автору предстает обнаженное тело его произведения во всех его изъянах и недосмотрах, несоответствии частей или композиционных неравновесиях. Во всяком случае, как правило, всякое усовершенствование полиграфического процесса полезно производить после некоторой консультации у имеющих какой-то опыт литераторов. Общеизвестно, что при постановке диагноза небесполезно бывает выслушать больного.

Точно так же следует подумать, например, о лучшей упаковке книжной продукции, для того чтобы веревки не мяли, а то и разрезали и без того квелые книжные переплеты; то же касается и транспортировки книг. Давайте не пощадим также времени нашего на обсуждение вопроса: как добиться, чтобы переплет не завивался в трубку при сушке и не напоминал птичку на взлете.

Пора уже всерьез и коллективно подумать всем тем, кто причастен к созданию книги — издателям, художникам, шрифтовикам, полиграфистам, бумажникам, текстильщикам, химикам, машиностроителям,— как сделать, чтобы советская книга стала самой лучшей, самой прочной, самой красивой книгой в мире.

1955

ПРИЗЫВ К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ

Когда в молодости мы заводили речь о светлом будущем, то неизменно связывали его с раскрытием и освоением великой тайны атомных недр. Мы видели в ней сказочный ключ к заветной кладовой природы, где хранятся неиссякаемые резервы топлива для той изобильной и справедливой эры, за которую отдали жизнь лучшие из нас. Самое проникновение в атомное ядро, подчинение его инженерскому чертежу и приказу всем нам казалось венцом знания, торжеством разума, вершиной прогресса... Несмотря ни на что, энергия эта навсегда и останется в наших глазах величайшей находкой науки... Будем надеяться, что применение ее люди станут сообразовывать с суровой ответственностью, какую налагает обладание столь грозной, поистине испепеляющей тайной.

При иных обстоятельствах такая победа могла бы послужить человечеству трамплином для исполинского скачка в счастье; произошло вроде как наоборот. Нашлись люди с дальним и недобрым прицелом,— они с самого начала употребили этот дар разума во зло и в глазах многих простых людей опорочили эту несомненную удачу прогресса. Живые никогда не забудут Хиросимы, потому что эта рана кровоточит доныне, потому что она не только на теле японского народа. Мы никогда не сможем забыть Хиросимы, как не посмеем забыть и Освенцима, потому что Освенцим тоже есть злодейство не только против населения восточноевропейских территорий, но и против человечества вообще... Приблизительно так и рассудили юристы Нюрнбергского трибунала.

Как видно из последних газет, не всем пошли впрок предметные уроки благоразумия, преподанные историей в прошлую войну. Печально открывать, что Европе угрожает повторный самообразовательный семинар бедствий — со всеми наглядными пособиями в виде истребительных бомбардировок и многокилометровых руин, но уже на основе последних достижений атомной техники. Ныне все достаточно начитаны о вредности

ядерного оружия, о доставляемых им телесных и душевных повреждениях. Всякому ясно, что теперь надлежит поступать лишь с величайшей осмотрительностью, потому что человечеству предстоит пройти через минированное пространство, вследствие чего не стоит больше относиться к велениям здравого смысла со столь вызывающим пренебрежением.

Благоразумное решение само собой напрашивается на соответственный международный документ, и поразительно, как оно сразу не пришло на ум зарубежным дипломатам, по их собственному признанию, искренне заботящимся о мирном благосостоянии своих народов. Свое недоумение по этому поводу я долгое время объяснял слабостью моего политического мышления, пока не увидел, что оное недоумение разделяется большей частью человечества... Что же касается остальной части, она самостоятельно придет к тому же,— а возможно, и к более сердитым заключениям, когда ее вплотную затронут некоторые последствия непростительных на пороховом погребе шалостей.

Смелость для подобных суждений я извлекаю из ужасно прочных и трагических воспоминаний о европейских событиях всего лишь десятилетней давности. Я имею в виду дрезденские, например (но и сталинградские тоже!), лабиринты развалин со сладковатым запахом тлеющей человечины; я имею в виду траурное материнское и сиротское безмолвие, эту черную тишину человеческого горя, которую первое время, чего греха таить, еле удавалось заглушить медным грохотом оркестров; я имею в виду также бельзенские печи, в которых атлетического вида мужчины сжигали малюток недозволенной расы...

В этом свете диву даешься иной раз, до чего легкомысленно ведут себя иные мужи своих отечеств, занимающие в них высокие должности. Какими послушными глазами взирают они на приезжих из-за моря деятелей, устраивающих целые мессы ненависти по адресу нашего народа. Миллионы грустных человеческих глаз давно уже наблюдают эти воинственные судороги и махание руками, держащими разные нежелательные предметы. Невольно вспоминаются лихие, в стародавнее время у нас, ухари-купцы, которые то и дело вытаскивали из жилетного кармашка серебряные часы, куражились, не подозревая, что у кого-нибудь из окружающих могут точно такие найтись, и не только чистого серебра, а возможно, и позолоченные.

Тот же здравый смысл и совесть говорят нам, что война — величайшее горе, в особенности в условиях современной военной техники, а превознесение войны как аргумента для разреше-

ния застарелых споров грешно для верующего, преступно для обладающего даже посредственной памятью, низко для мыслящего существа.

Однако время от времени и у совсем, казалось бы, трезво настроенных отцов своих отечеств в Европе замечаются иногда те же рискованные телодвижения, из чего следует, что микроб военного психоза благополучно перебрался через океан. Никто не хочет сомневаться ни в рассудительности этих людей, хотя и недальновидной, ни в серьезности их отношения к возложенным на них историей полномочиям... Но в таком случае за счет чего же следует отнести опасную торопливость, с какой они выпускают на свет хорошо знакомого им зверя с довольно внушительным растерзательским стажем и затем с видом кроткого, за сердце хватающего неведения собственноручно вставляют ему усовершенствованные клыки взамен утраченных в событиях сорок первого — сорок пятого годов. Они зовут к себе домой этот похрамывающий, с железными костями организм, щекочут ему ноздри фимиамом намекающих речей, чтобы впредь лязгал зубами исключительно в направлении на Восток. Они забывают, что, ой, как далека дорога в восточные пространства и как перед прежними походами он сперва подкреплял силы гостеприимными хозяевами.

О, как же скоро, несмотря на трехкратное и суровое повторение, девочка в красной шапочке подзабыла свою же, знаменитейшую из сказок, родившуюся на ее же милой и прекрасной родине. В этой сказке одна смышленая внучка спрашивала у одной закамуфлированной бабушки:

— А зачем тебе такой просторный рот?.. А для чего у тебя, родная, такие усиленной прочности зубы?

Мне мало довелось поездить по Европе, но и увиденного достаточно для понимания, почему русские литераторы прошлого века в такой степени чтили «священные камни Европы». В ее гигантских накоплениях духовной и материальной культуры отпечатлелся не охватный никаким воображением подвиг рода человеческого: его труд, его творческие метания, его вдохновенье. Есть там и наша доля, никто не откажет нам в этом. На каменных страницах европейских площадей, с такой царственной готикой — вроде Йоркского собора — написана добрая треть всемирной истории, не меньшая, чем в громадных, еще не раскрытых до конца тысячелетиях и пространствах Азии. Тем горше видеть, как иные правители соглашаются впустить на постой к себе войну, а форумы мировой цивилизации отдать

внаем для танковых эволюций, каменных смерчей, радиоактивных фейерверков. Если принять за исходную истину, что мы живем в эпоху, когда **нельзя** ошибаться, то откуда же эти люди черпают свои печальные надежды на благополучный исход — после таких ошибок? Ужели в детской вере, что какая-нибудь сила небесная защитит их от ими же разбуженных извергающихся вулканов? А ведь из опыта прошлого известно, что никакая броня из крыльев — ни дюралюминиевых, ни ангельских — не в состоянии сплошь прикрыть даже самую скромную страну-крошку. **Это** падает до отчаянья быстро, **оно** не знает препятствий, и, по слухам, расплата за ошибки происходит в гораздо меньший срок, чем можно отбежать в сторонку.

Нет, не грустных, а внимательных и требовательных глаз неисчислимые миллионы смотрят сейчас на руководителей малых стран Европы. Не будучи властителями мировых рынков, бирж, великих армий, они в силах могущественно повлиять на угрожающую Европе участь. Сегодня еще не поздно, а завтра настойчивые гости могут уже пригласить их на ту роковую прогулку в ад, вполне по-джентльменски уступив им право идти впереди. Большой бизнес порхает по Европе и Азии, провозглашая шумные тосты за потенциальные армии, какие ему удастся прикупить к игре. Дельцу приятно и выгодно выпивать за здоровье тех, которые завтра расстанутся с ним, проливая кровь за его интересы. Вино дешевле крови,—в таких случаях можно авансом оплатить и будущие черепки!

...Как раз по радио в эту минуту передается детская песенка. Я почти вижу певцов. Стеснясь у микрофона и вытянув шейки, московские малыши старательно выводят мелодию про снежок, синичку и другие первостепенные явления своей действительности. Они еще не знают, что надо бороться даже за мир: в их возрасте это простительно... Собственно, эта услышанная мною песенка и побудила меня написать эту статью. Как хорошо было бы, если бы во время крупных международных конференций тоже передавали такие радиопрограммы! Память о детях придала бы некоторым участникам дипломатических дебатов недостающее им благоразумие и помогла бы увенчать эти дебаты результатами, которых так долго, так терпеливо, так строго ждет человечество.

Эти соображения и заставили меня поставить свою подпись под Обращением Всемирного Совета Мира о запрещении атомной войны — этим серьезнейшим призывом к здравому смыслу.

1955

ТАЛАНТ И ТРУД

В искусстве нет правил или готовых схем. Художник как угодно может осуществлять свой замысел, лишь бы получилось хорошо. Всякая значительная вещь требует очень многого, и прежде всего — творческого проникновения в материал, большого труда и соответственной культуры. Представители самых различных критических течений и школ одинаково сходятся также на том, что еще для писателя желателен и талант. В рецептуре создания литературы он занимает по меньшей мере процентов шестьдесят, а остальные сорок приходятся на знания, творческую волю, работоспособность и множество других качеств, взятых в самых различных дозировках. Разумеется, не меньше таланта писателю положено иметь ум, совесть и душу.

Настоящий, большой писатель может родиться лишь из большого человека. Ведь литература — это мышление; следовательно, писатель — это мысль, а мысль — это производное от сердца, разума и гражданской совести: это большая любовь к своей стране, это желание **не получать**, а **давать**, это путь человека, на которого с особой ревнивой надеждой смотрят миллионы сограждан. Обывателю и ремесленнику в литературе делать нечего, кроме расхожей журнально-газетной поденщины.

Призвание писателя — беспощадный труд с максимальной отдачей себя. Чаще всего литературные занятия приносят огорченья, потому что это всегда поиск почти невесомого, которое требуется еще открыть, прежде чем найти ему словесное обозначение, но бывают у нас и радости, ставящие в моих глазах дело художника выше всякого другого. И все победы в искусстве начинаются с побед над самим собой.

Для меня, например, очевидно: для того чтобы писать хорошо, надо писать много. Речь идет не о множестве вещей, а о количестве работы над каждой. Работайте над одной темой до тех пор, пока ее не исчерпаете до дна, до самых глубин, чтобы хоть на десяток лет никто не смог за нее взяться. Нужна большая предварительная работа над жизненным материалом, над композицией произведения, чтобы облегчить читателю восприятие рассказанного, чтобы передать последовательно логику событий.

Я думаю, что опыт Чехова, который в ранний период творчества проделал громадную предварительную работу, ежедневную работу — многочисленные и быстрые наброски и зарисовки с натуры,— принес позднее писателю большую пользу. И посмотрите, как легко и просто впоследствии полился у него рассказ, как плавно воплощался замысел. Мне кажется, что в зрелый период Чехов вообще не задумывался о красотах стиля. В электротехнике золото считается лучшим проводником, а з о л о т ы е р у к и в искусстве — это те, по которым родившийся в уме замысел легко, без потерь, сходит на бумагу.

Если все продумано и подготовлено, если сращение отдельных эпизодов произведено не способом механической присадки, а в условиях органического человеческого тепла, тогда и появятся те необходимые находки в образах, сюжете, композиции, взлеты и даже откровения, которые радуют читателя и которые вместе с признанием народа становятся нашей высшей наградой в том чернорабочем труде, каким мне представляется труд писателя.

Нелегко овладеть всем, что наработало человечество в области культуры за тысячелетия. Но литератор должен иметь представление о том, г д е это можно узнать, на к а к и х полках это стоит. Вряд ли стоит сообщать людям уже известное, а люди сегодня очень много знают. И для того, чтобы представить себе нынешнюю потребность людей в чем-либо, нужно в первую очередь отчетливо уяснить это самому. Книга, как любой продукт человеческой деятельности, создается в расчете на определенное действие. Значение книги мерится количеством работы, которое она может произвести в умах человечества для его дальнейшего прогресса. Желательно, чтобы каждая книга была пусть маленьким, но событием в культуре. Ведь новая книга — это взгляд в будущее, и надо непременно соображать, движет ли она вперед, несет ли она хоть стотысячную дольку

того значения, которое нынче имеет, скажем, синхрофазотрон или нечто в этом роде.

Герой всей литературы XIX века за немногими исключениями не принимал участия в трудовых процессах.

Я говорю это не в оскорбительном смысле, а потому, что раньше автор был освобожден от необходимости показывать трудовой источник, из которого персонаж черпал средства к существованию. Сегодня героем советской литературы является работник, своей профессией, как приводным ремнем, связанный с эпохой, в которой он творит. Отправить своего героя с очаровательной приятельницей на прогулку в Булонский лес — дело легкое, потому что круг предстоящих ему занятий нам приблизительно известен без дополнительного изучения. Нынешний литератор должен пойти с утра за своим героем в лабораторию, в цех, на совхозное поле. И здесь ему потребуется совершенное знание профессии своего героя, без чего он не сможет понять его психологического отношения к тому или иному явлению жизни, без чего писатель не сможет поймать ту оживляющую подробность, которая убедит читателя в достоверности происходящего.

Очень важно для молодого писателя иметь возможно больше знаний о мире, ненасытного интереса к окружающему, потому что глубина каждого обобщения прямо пропорциональна количеству элементов, на которых оно основано. Он должен быть заинтересован в любом живом движении человеческой мысли. Бич начинающих молодых писателей, авторов одной-двух книг,— ограниченность кругозора. Выступая перед большой аудиторией и увидев в конце зала иронический взгляд человека, который знает больше вас, не бегите от невольно возникающего между вами соревнования.

Писатель — это передовой человек, передовая мысль, а книга — это прежде всего отчет о прошедших у вас процессах мышления. Уверены ли вы, публикуя новую книгу, что у вас есть чем поделиться с изнемогающим от любознательности человечеством? Мы живем в век громадных открытий, материальных приобретений, социальных преобразований. Открытие атомной энергии и использование ее в мирных целях знаменует собой новый период в истории человечества. Мы стоим перед новой эрой потому, что потенциально атомная энергия — это преобразование жизни в селах и городах, изменение климата, освоение пустынь, излечение большинства болезней, это не-

обыкновенная сила у человека. На мой взгляд, открытие атомной энергии равносильно изобретению огня.

Всю нашу действительность мы равняем по будущему, и как до убожества мало мы смотрим в него глазами наших книг, которые должны приглашать туда современника. Литература должна стоять на уровне величайших открытий времени, это важнейший инструмент прогресса. Нам нужно добиваться в меру наших сил такого уровня нашей литературы, чтобы стыдно было не переводить нас на языки всех стран и народов, чтобы было стыдно не читать нас, как стыдно, например, не знать Достоевского или Толстого. Нужно, чтобы наши произведения переводили в иных странах не только и не столько для разведывательного ознакомления с нашей жизнью — чем живут и дышат советские люди,— а главным образом потому, что они отражают ход важнейших для всего человечества процессов, совершающихся в нашей стране, этой громадной лаборатории завтрашнего дня. Только такие книги имеют право на жизнь и способны вдохновлять «бумажника», который делает бумагу, наборщика, который набирает книгу, продавца, который ее продает, и редактора, редактирующего ее.

Кстати, я не очень уверен в полезности неимоверно разросшегося института редакторов (и в количестве и функциях), потому что практика показывает, что они подчас занимаются работой, обязательной для самого литератора. Тем самым редакторы эти и лишают молодых авторов той пользы, которая происходит от самоличного осознания допущенных погрешностей. Бывает так, что отчаяние по поводу незрелости выпущенной книги может послужить могучим толчком к дальнейшей работе. Они мешают молодым литераторам самостоятельно осознавать свое несовершенство, свои ошибки молодости. Я бы поубавил роль этой косметической редактуры. И пусть писатель полностью платится за свои неточности и погрешности перед публикой, как за свою неопрятность или за неряшливо застегнутые пуговицы, да еще при таком крупном общественном акте, как выход книги.

Больше думайте о культуре. Думайте о ней, не только придвигая к себе чернильницу, а всегда. Больше имейте соприкосновения с деятельностью других смежных отрядов культуры. Профессия писателя тем и отличается от других, что он работает все время; что бы он ни делал, дома или на улице,— он изучает, наблюдает, формулирует. В меру возможности

будьте в курсе всех достижений ведущих наук — от астрофизики до биологии, изучите какое-нибудь дело досконально.

Когда хоронили Гете, мемуарист слышал вопрос в толпе: «Кого это хоронят, естествоиспытателя Гете?»

Очень хорошо, если читатели не без основания смогут приписать и вам какую-нибудь профессию. Мое личное убеждение, что любое образование, инженерное или медицинское, гораздо в большей степени пригодится в работе писателя, чем чисто литературное образование,— разумеется, при условии того же гражданского накала. Горе литератора сведущего заключается в том, что на бумаге у него не умещается все, что он хочет сказать; несведущего — как раз в обратном: у него не хватает, чем заполнить чистый лист бумаги, и тогда он порою набивает произведение чем попало, как чучело соломой.

Только культура, совмещаемая с повседневным профессиональным опытом, способна дать писателю то необходимое чувство материала, которое можно уподобить чувствительности пальцев мастеровитого рабочего, мускульному ощущению поверхности обрабатываемой детали при определении ее технологической пригодности. При соблюдении всех прочих необходимых условий это обостряет вкус, который есть не что иное, как компас таланта. А этот прибор в иных случаях можно уподобить автопилоту, который из бесчисленного множества ошибочных вариантов выбирает правильный путь.

За время многолетней работы в рабочих кружках на заводах, в нашем Литературном институте мне приходилось наблюдать неудачи молодых талантливых литераторов, которые срывались и терпели поломки иногда на всю жизнь. Мы, к сожалению, подчас еще неправильно относимся к оценке первой книги того или иного автора и тем наносим ему порою непоправимый ущерб. Молодому писателю, выходцу из народа, имеющему корни в своей производственной среде, при наличии какого-то дарования, право же не слишком трудно написать сносно эту первую книгу. Самый материал непосредственно окружающей его жизни, биография родителей, события детства и юности, расположенные в разумной последовательности, могут послужить основанием для честной, незамысловатой повести. Вряд ли можно считать за подвиг перед человечеством, если от удара ломом по земле показывается нефть. (К тому же в стране у нас молодость и молодые дарования окружены таким чрезвычайным вниманием, даже порой вредноватой для них любовью, что принято зачастую преувеличивать технические каче-

ства этой первой нефти.) Пожалуй, об истинном успехе литератора можно говорить со второй, третьей книги, когда ему приходится вычерпывать нефть со все большей глубины и когда он поэтому становится перед необходимостью, фигурально выражаясь, изобретать машины, чтобы достать эту нефть и пустить в дело. Только здесь начинается подлинный профессионализм, и можно по совести сказать начинающему литератору, что его литературное призвание оправдалось.

Ко всем критическим оценкам, положительным и отрицательным, нужно относиться также весьма критически. Общеизвестен вред захваливания, хотя еще вредней обходиться вовсе без похвалы. У людей, склонных под влиянием фимиама утрачивать хотя бы даже временно реальное понимание литературного процесса, это прямым образом ведет к зазнайству, к мании литературной непогрешимости, связанной с утратой зрения на самого себя, на свои возможности, на отличный, ни в чем не виноватый, свежеиспорченный ими лист бумаги. Долговременное отсутствие одобрения может у натур неустойчивых повлечь частичную утрату веры в себя.

Много предстоит огорчений начинающему литератору, так что спокойным пониманием своих способностей, лежащей на тебе ответственности, необъятных потенциальных возможностей, заключенных для автора в девственно чистом листе бумаги, также терпением — но нетерпимостью к себе! — нужно запастись в самом начале литературного пути. Мне даже представляется хорошим симптомом то отчаяние, которое порой охватывает молодых при первой заминке, срыве, мнимом тупике, когда кажется, что ничего не можешь, когда пропадает вера в свои силы. Отсюда только один выход: искать! Правильное решение спрятано тут же в бумаге, поскребите ее пером — попробуйте переписать большой кусок еще и еще раз, дайте разбег вашей руке и мысли. Большие препятствия надо брать с разгона. Словом, избрав литературный путь, взяв на себя смелость работать пером, не теряйте ни дня. Не забывайте хорошее правило древних: «Nulla dies sine linea!» («Ни дня без строчки!»)

Итак, не доверяйте похвале, воспринимайте ее иронически-дружески, но не доверяйте также и литературной брани, в особенности когда у вашего критика выступает пена на губах. Критики — тоже люди, они бывают разные. Белинские так же редки, как и Пушкины. У нас подчас забывают, что литератур-

ная критика наравне с нами ответственна за состояние литературы, ее ведущих областей. При похвале и брани следует одинаково вникать не только в содержание того и другого, но и давать себе отчет, за что и почему он лущит тебя либо елеем мажет. Елей, в изобилии проливаемый на письменный стол, так же затрудняет творческий процесс, как деготь. Лучше всего вырабатывайте в себе самом способность критической самооценки, критерий анализа своих рукоделий. Это избавит вас от опасных колебаний в оценке своих возможностей.

Правда, это достигается очень большой, интенсивной ежедневной работой, умением сделать выводы из мимолетных затруднений, не любованием своими, пускай несомненными, но преходящими успехами, а осознанием своих промахов, неудач, слабостей. Чем глубже их осознание, тем действительнее их преодоление. Таким образом вырабатывается *умение*, и оно никому не дается сразу. Тем более его не сможет дать вам ни литературный вуз, ни литературная консультация, ни самый терпеливый корифей. Обучить *этому* нельзя, как нельзя научить делать изобретение. Никто не сможет ни прописать вам целительного рецепта от болезней литературной молодости, ни указать дозировку и состав этих лекарственных средств — кроме самых общих мест. Да, на мой взгляд, и состав этих лекарств не может в одинаковой степени быть пригоден для всех. Однако пользоваться в своей литературной практике и поведении гениальным пушкинским законом «ты сам свой высший суд» я рекомендую только при условии все той же *беспощадной* требовательности к себе и *жестокой* работы, которая, на мой взгляд, всегда отличала истинный талант. В какой-то моей пьесе герой говорит: «Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки».

Следует помнить также, что успех в любых искусствах обеспечивается лишь высоким и взаимосоответствующим качеством орудия и сырья, мастерства и темы. Только сталью о сталь можно высечь искру, способную высветить из вечных потемок сокровенные глубины бытия. Разумеется, все эти мнимые тайности действительны лишь при наличии литературного дарования. Какие бы ни варились щи, присутствие капусты в них — обязательно.

Мне попалось недавно напечатанное черным по белому высказывание одного из видных наших писателей-современников. Смысл его таков: когда вам нечего писать — все равно садитесь за стол и пишите *что-нибудь*. По-моему, это глубо-

ко ошибочно и крайне вредно. Я вполне допускаю, что любой гражданин вправе разбазаривать свой досуг на любые не опасные для соседа упражнения, но сомневаюсь, чтобы общество согласилось оплачивать ему подобное занятие ценными продуктами своего труда. Нельзя представить себе игру артиста без предварительных репетиций, инженерии — без чертежей, геолога — без географической карты. По-разному происходит зарожденье вещи — с проблеснувшей детали или портретного наброска, ситуации или психологического открытия, отвлеченной идеи или почти музыкального ощущенья темы-полудогадки, но потом это неминуемо должно пройти через тесную формирующую линзу мысли. Не может не быть мыслей у автора, когда он в такое время, как наше, берется беседовать с современниками! Конечно, весь этот долгий и томительный процесс подготовки, похожий на протяжку золотой нити через тончайший фильер, к слову — сечение которого и составляет стилевые особенности писателя, является серьезной проверкой замысла на жизненность, но бедна же та творческая одержимость, которая может погаснуть хотя бы даже под ветром эпохи. Настоящее так называемое вдохновенье — это нечто вроде паровозной топки, а не светильник в руках худосочной девы, как приблизительно изображали музу декаденты в начале века. Я бы как раз рекомендовал молодым товарищам всякие такого рода упражнения, развивающие большое дыхание, выносливость на большие дела, остроту зрения и мускулистость стиля: создание точного плана, заранее продуманную архитектуру произведения, точный расчет пропорциональности и заблаговременную подгонку, хотя бы в уме, всех частей механизма, чтобы он жил, двигался, а не лежал грудой лома. Как же можно без плана, если все живое, от кита до божьей коровки, заранее программировано в хромосоме!

Крайне полезно составлять не только по возможности подробный, не в ущерб общему рисунку, логический план, но даже и графическую схему сюжетного развития; не повредит и топографическая карта местности, где происходит действие. Предварительный план может избавить произведение от литературного жира, неуклюжей одутловатости, рыхлости. Под жиром, конечно, не следует понимать всякую полнокровную живопись, буйство красок, чрезмерность выразительных средств, равно как под понятием экономности, сжатости не должна прятаться бледная немочь. Следует помнить, что без слоя подкожного жира не бывает здорового живого организма; именно этот

жирок и придает блеск и гибкость коже, служит показателем жизнеспособности, а равно и неприкосновенным запасом в случае очередного испытания на прочность. Но бывают и случаи обратного характера, когда при помощи нерабочего жира литераторы пытаются придавать произведению мнимую солидность и толщинку. Остерегайтесь употреблять без разбора всякую, хотя бы даже очень привлекательную, пищу, которую вам предлагает жизнь.

В особенности это касается записной книжки, которую непременно надо вести, всякий раз добиваясь точной формулировки характера явлений. Но ею необходимо умело пользоваться, чтобы она не стала грузом, который скорее поможет вам опуститься на дно, чем облегчит ваш полет. Пусть все, что идет вереницей в ваши произведения, непременно проходит мимо будки, в которой спрашивают пропуск. И именно в этом месте полезно повторить, что искусство не терпит каких-либо стеснительных рецептов.

Знаменитое чеховское правило о ружье, которому полагается выстрелить в заключении пьесы, может и не быть соблюдено, при условии, если как раз это и входит в замысел автора и, следовательно, несет какую-то конструктивную роль. Таким образом, ничего без умысла. Как во всяком живом организме, в литературном произведении не должно быть ни одного лишнего органа, если не считать тех, которые существуют как исторический пережиток и которых сама мать-природа еще не успела вычеркнуть.

Словом, прежде чем взяться за перо, надо долго думать о существе и логике событий, которыми вы, автор, заболели. Надо терпеливо ждать, пока все это вызреет и срастется, но надо, чтобы это срослось правильно, для этого-то и нужен план.

Мне представляется, между прочим, что в тексте рукописи допустимы и экспериментальные сокращения абзаца в местах наибольшего разгона, потому что эти сокращения, вычеркивание целых фраз дают странице тот пунктирный просвет, который невольно заполнит следящий за вами читатель и таким образом станет вашим соавтором, я бы даже сказал, соучастником рассказанных событий, а это и есть, на мой взгляд, наивысший результат, к которому мы обязаны стремиться, ибо вывод, мораль произведения, если мы хотим сделать ее по-настоящему действенной, должна фокусироваться и убеждать в самом сердце читателя и зрителя, а не декларироваться у рампы в качестве обязательной прописи. Применение же противопо-

ложного способа может со временем привести к вряд ли желательным порядкам древнегреческого театра, где зрителю, оказывается, платили небольшую сумму за посещение спектакля.

Если читателю с самого начала дан правильный и умный смысловой разгон, он, как я говорил, перескочит эти вычеркнутые фразы. Это — очень важное обстоятельство. Допустим, предстоит написать трудную главу о каком-то сложном металлургическом процессе. Представьте себе новатора производства, который нашел какие-то новые сверхполезные средства благодаря планомерному применению достижений науки. В этом случае полезно было бы увлечь читателя с самого начала интересными и недосказанными эпизодами, чтобы он терпеливо проглотил жесткий кусок в чаянии того, что ему предстоит впереди. Право же, читатель не рассердится: он просто не заметит вашего приема. Чтобы осуществить этот «пунктир фраз», нужно очень хорошо видеть в разбеге своего героя. Кстати, я, например, пишу очень мелко, отчего Горький не раз и упрекал меня за «микробный почерк». Прошу прощения за неуместное приглашение на кухню: я делаю это для того, чтобы видеть архитектуру главы, страницы, абзаца, видеть, чего в них мало и что в излишке. Если на одной странице умещаются три или четыре обычных страницы, у вас будет перед глазами большой кусок написанного, и тогда видна (как под лупой) логика поступка, эпизода, детали.

Ремесло писателя, говоря в узкопрофессиональной среде, мне кажется очень близким к ремеслу следователя. Нужно уметь обследовать определенный кусок жизни, изучить его во взаимодействии всех процессов и затем представить читателю готовый материал так, чтобы он легко усваивался, был убедителен, чтобы читатель сам подошел к правильному выводу, не притягиваемый туда на арканах прописей, чего он, по моим наблюдениям, страсть не любит и что в конечном итоге весьма сказывается на расходимости книги и посещаемости театров.

Идеи нашего общества не нуждаются в приукрашении. Высочайший смысл социалистического гуманизма состоит в том, чтобы человек не эксплуатировал человека, а сам бы добывал свой хлеб, без чего он превращается в скотину, чтобы человек тратил силы не на войну, а на улучшение жизни, чтобы при помощи самых последних достижений техники не убивать женщин и детей, потому что это подло и бессмысленно. И приукрашивать этот гуманизм — это все равно что повязывать бантиком Эверест, который и без того вечно сияет в вышине.

Возвращаясь к приему «сообщничества», скажу, что особенно важен он в драматургии. Зритель не хочет пребывать безучастным в зрительном зале. Его можно удержать на месте, если только он является действующим — пускай без роли! — лицом. Он всегда должен быть одним из углов действующего в драме треугольника, который, на мой взгляд, и представляет собой главный двигательный механизм пьесы. В этом треугольнике — автор, зритель, персонаж — один всегда не знает того, что известно двум другим. Раскрытием этой непрерывно возникающей тайны движется конфликт пьесы. Да тут можно, помоему, без головы остаться, если вступать в такую опасную игру без точного диспетчерского плана.

Мы все еще не слишком хорошо разбираемся в различии литературных жанров. Если, положим: Иван Петрович пошел в баню,— то это будет проза.

Если будет:

Иван Петрович. Я пошел в баню,— то сие считается драматургией.

Если же, наконец:

Иван Петрович *(нараспев и вприсядку)*. Эх, мать моя честная, давно я в баньке не бывал... — то это будет нечто вроде оптимистического водевиля с краковяком посередке.

А ведь пьеса — это очень трудный жанр, к нему в особенности нужна большая подготовительная работа. Это — способность любую ситуацию осмотреть и обыграть всесторонне, это расчетливое умение удержать внимание зрителя до конца пьесы. Опасно раскрывать ему все сокровенные механизмы сюжета сразу с первого акта. Для драматурга мне представляется очень важным видеть, что именно в каждом данном отрывке будет делать актер, который возьмет на себя тяжелый труд быть посредником между автором и зрителем. В конце концов у драматурга всегда остается возможность, если наметился явный провал, сбежать со спектакля и провести остаток вечера в блужданиях по городу, что никак не возможно для актера, обязанного выстоять весь спектакль перед публикой вплоть до самого финала и выпить чашу, причитающуюся автору.

Если в прозе вам приходится тщательно выбирать тональность и прием, как наиважнейший инструмент локального воздействия, то какой же отбор надо произвести в условиях лимитированного времени и тончайшей партитуры взаимодействия движущих частей драмы! Следовательно, опять работа, работа и работа! В особенности жестокая работа начинается тогда,

когда поставлена последняя точка: когда дом как будто уже под крышей и можно судить со стороны о соотношении частей в воплощении замысла.

Меня всегда огорчает стремление молодых авторов напечататься во что бы то ни стало, хотя бы в самом непричесанном виде. Кроме дурной репутации у читателя, они заработают себе этим горькое авторское разочарование в зрелые годы. Учитесь как можно раньше распознавать эти гиблые и соблазнительные дорожки наименьшего сопротивления, иначе тяжелая расплата поджидает вас в их конце. Помните: все, что дается легко, без труда, представляет собой весьма сомнительные ценности. Как часто молодые от глупости, старые — от чрезмерной маститости на требования редакции оживить любовную интригу либо прибавить ума ведущему герою отвечают со спортивной легкостью: «Вы уж там, братцы, за меня поработайте, а я пробегу глазком по возвращении с курорта». Таким образом, укреплять свое расшатанное неумеренным творчеством здоровье он отправляется как раз в тот момент, когда должна начаться окончательная подгонка частей и выверка стиля, ежели он там имеется.

В этой фазе лично я рекомендовал бы молодым авторам усиленную промывку произведения, причем струей хорошего напора. Расчет прост: если на тонну песка приходится всего один грамм золота, то при удалении половины песка золотоносность его повышается вдвое. Больше того, чрезвычайно полезно молодому литератору взять второй экземпляр своей работы, из-под копирки, и прогуляться по нему самым свирепым рейдом, выкидывая все, без чего можно обойтись, над чем может посмеяться недруг или скептический и дотошный читатель. А на оголившийся местами костяк полезно и поучительно натянуть новые мышцы. Проводя такое сокращение, на мой взгляд, не следует механически выбрасывать ни один кусок старого текста. Он должен раствориться на странице, повышая ее емкость, но не отягощая ее.

Нужно уметь переписывать произведение столько раз, сколько необходимо, чтобы довести до логической ясности и законченности каждую мысль.

Переписывайте как можно больше своей собственной рукой. Глаз — всегда барин. Он скользит по строке и нашептывает вам: «Неплохо, неплохо»; а рука — чернорабочий: при переписке ей просто лень перетаскивать с места на место лишний груз, она непременно по дороге сама будет стараться освободиться от него. Верьте руке!

Рационально распределяя свое рабочее время, не менее бережно распоряжайтесь временем своего читателя. Каждый автор, вручая книгу своему читателю, располагает всеми ста процентами его внимания, но если он благодаря своему дурному авторскому почерку на первых же страницах истратит, скажем, восемьдесят пять процентов этого внимания и заставит читателя продираться сквозь бурелом дальнейших страниц, редкий бедняга дочитает вашу книгу до конца.

Больше думайте о форме, форме произведения. Как жаль, что у нас из каких-то фальшивых побуждений критики избегают говорить о проделанной автором в этом направлении работе, так же как и о его таланте. Калорийность пищи отнюдь не исключает искусства высокой кулинарии. Важна не только свежесть продуктов, но и система их приготовления. Общеизвестно, что из пшеничной муки можно сготовить и хлеб и клейстер; из честной питательной рыбы у нерадивого повара могут получиться и столярный клей, и удобрительные туки, малопригодные для пищи.

Писателю нужна культура, работоспособность, здоровье, регулируемое железным режимом. Мне кажется, что если это важно для спортсмена, то для литератора вдвое. По-моему, следует работать и в праздники, и в выходной день: без поблажек. Французский писатель Жюль Ренар говорил, что «...литературу могут делать только волы. Самые мощные волы — это гении, те, кто не покладая рук работает по восемнадцать часов в сутки». И добавлял: «Слава — это непрерывное усилие».

Здоровье потому так важно в искусстве, чтобы было что беспощадно тратить в самом творческом процессе. Делать искусство — значит также производить ценности. И не кажется ли вам, что это всегда большая теплоотдача, с обязательным, пожалуй, повреждением столь необходимого всем нам здоровья? Без подводки тока надлежащей силы вольтова дуга гореть не будет. Писателю необходимы творческая воля, изобретательность, ассоциативность мышления, настоящая принципиальность, умение ориентироваться в великом и в малом.

Взявшись за большую работу, работайте без выходных дней: берегите рабочий разгон. Едва притормозится инерция полета, начнется падение. Одна знаменитая балерина умно сказала на этот счет: «Если я пропущу один день без работы — я уже замечаю это. Если я не поработаю два дня — это замечают мои друзья. Если же три — это замечает публика».

Еще опаснее в литературе — стареть. Не поддавайтесь равнодушию нравственного одряхления. Помните, ваш читатель всегда предельно молод. Он тащит на себе весь мир, он вертит непрестанно колесо прогресса. Если вы не горите сами, вы никого не зажжете. Если вы не любите своего персонажа беззаветно, до смерти, вы не заставите читателя хотя бы только снисходительно улыбнуться ему. Вставайте ночью, чтобы переправить неудачную строку. Огорчайтесь из-за пропущенной в корректуре запятой.

В 1927 году, при моем отъезде из Сорренто, Горький передал мне статью одного французского литературоведа для напечатания в «Красной нови», где я был тогда членом редколлегии. Фамилию автора не помню, называлась она «Как они работали». Речь шла о ряде французских классиков, в том числе об увенчанном лаврами Флобере. Статья была напечатана, стоило бы обновить ее в памяти читателей. Помнится, у меня осталось впечатление, что для этих писателей литературное делание было одновременно и страстью, и тяжелым подвигом, который способен отпугнуть иного любителя легкой литературной наживы.

Как часто при чтении произведений молодых авторов читатель жалуется на скудный, порою просто убогий язык! А ведь язык — это каким количеством пальцев ощупать вещь, характер, событие. Язык — это дополнительные ступени вовнутрь страницы, по которым можно сойти и осмотреть изнутри описанное явление. Языком для меня мерится грузоподъемность строки. Он для меня как станок, производящий множество одновременных операций. В драматургии же язык несет особую функцию. Здесь каждая реплика действенна и выполняет, кроме основной, множество дополнительных нагрузок, которых никаким иным образом не выполнишь из-за лимита времени и места. Непонятно мне, почему же не пошли молодежи впрок наши замечательные литературные богатства: кипучего, разящего наотмашь, магического языка Гоголя или языка Салтыкова-Щедрина, который представляется мне симфоническим по обилию звучащих в нем инструментов, или Лескова, который копил словцо к словцу и, ровно Кащей накопленным златом, любовался и пересыпал их в руках. И ведь у многих из вас, молодые люди, было по бабушке, по собственной Арине Родионовне, которая, наверно, немало пересказала вам в зимние вечера из уст в уста, из глаза в глаз, даря вам бесценные золотинки родного языка — в сказках, поговорках, приметах и просто вос-

поминаниях о своем житье-бытье. Откуда же язык у вас иногда такой серый, скучный?..

Умейте благоговейно слушать народную речь. Для нас, литераторов, не может быть слаще музыки. Это такая же радость, как сидеть у родника и следить за игрой живых подземных струек. Какая многогранность народной жизни слышится порой в ее кажущемся иному снобу косноязычии! Так, в народной речи нередко отсутствует эпитет, вместо которого часто применяется так называемая ракурсировка прилагательных, глагола. В народной речи слова несут в себе еще первозданное свечение и звучание. Поразительна при этом скупость — отнюдь не за счет емкости! — народного языка.

Вот так же дивишься тончайшему узору на изделиях устюжской черни или изяществу крепко сшитого архангельского туеса с рисунками киноварью по бересте. Стоит почаще проветриваться этим ветерком народной речи... Но берегитесь худого фонетического подражания ей, внешнего стилизаторства! Просторная лапидарность народной речи достигается вековой привычкой мыслить под большим и открытым небом; она строится на основе немногочисленных, отобранных всем историческим строем самоважнейших элементов жизни.

Найдется еще несчитанное количество разделов, о которых необходимо было бы говорить, коль пошла речь о таком важном деле, как мастеровитость, но останавливаться на всех них так же бессмысленно, как пытаться полностью перечислить обстоятельства, благодаря которым составляется такое обыкновеннейшее явление, как василек или горстка снега в руке у ребенка. Словом, могу сказать одно: с годами, чем больше начинаешь понимать, к а к оно делается, тем чаще приходится огорчаться, до какой степени э т о не получается. Тем не менее мне кажется, если молодой литератор умело применит кое-что из сказанного выше, он сможет порою избегнуть неминуемых в его творческом возрасте разочарований.

1956

ОБЪЕДИНИТЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ!

Приятно сознавать, что присуждением мне премии — награды за роман «Русский лес» одобрено и дело, которому посвящена книга. В ней я в первую очередь хотел привлечь внимание к полезному и важному вопросу, к судьбе того, что принято называть Зеленым Другом. Рад, что все шире в последние годы одерживает верх единственно правильная точка зрения в смысле постоянного лесопользования. Глубоко удовлетворен и тем, что роман вызвал многочисленные отклики из самых отдаленных уголков страны. Это показывает глубокую патриотическую заинтересованность различных слоев населения всех возрастов в поднятой теме.

Подобная, кровная озабоченность судьбою леса является драгоценным качеством как у специалистов, так и прочих граждан, которым дороги красота и зеленое достояние Родины. Зачастую в спешке строек мы допускаем небрежность, расточительную неосмотрительность в расходовании леса. Не думаем, например, о нормальном размещении лесообрабатывающих предприятий, как и о многом другом, и уже сегодня накопившиеся ошибки диктуют нам чрезвычайные меры, отсутствие которых может сказаться нежелательным образом. Так, леса наших северных областей производят дожди для Украины,— вместе с тем вырубка их приведет к затундриванию самого севера. Помимо того что лес является всепланетным климатическим регулятором, он имеет для страны и значение общегосударственной казны. Все леса входят в единый общенародный фонд и не составляют собственности ни сел, ни уездов, ни губерний, ни областей и ни в коем случае не могут подлежать какому-либо разделу и распределению ни между гражданами, ни между хозяйствами. Нужно предвидеть и возможные последствия от нарушения этого лесного закона, подписанного Лениным в 1918 году.

Вот почему, думается, пришла пора придать какие-то организационные формы огромному всенародному раздумью о лесных делах. Мне кажется, налицо имеются все данные, чтобы начать сегодня же поход за всяческое, юридическое в том числе, благополучие нашего зеленого хозяйства. Если глядеть на дело по-государственному глубоко, то денежные затраты и труд, даже в масштабе подвига, у разумного хозяина оправдаются не только моральными, но и материальными результатами, сумму которых даже трудно заранее предсказать, разумеется, если только поход этот будет избавлен от нежелательных черт обыкновенной компанейщины. Так, например, при проведении в прошлом подобных мероприятий нередко тратились колоссальные средства на посадку деревьев, озеленение. Если бы все это сохранилось, то мы проживали бы теперь, возможно, в дремучих лесах времен Калиты, которых что-то незаметно! В этом разрезе хорошо бы взять пример с Грузии, где ровно десять лет назад созданное «Общество друзей леса» успело насадить десятки миллионов деревьев, озеленить многие республиканские шоссе и в первую очередь свою чудесную столицу.

Достойно сожаления, что мы, старшие, не сумели в свое время направить на пользу целые днепрогэсы детской энергии, которая в юном возрасте может одинаково стать источником разрушения и созидания. Вот почему зачинателем в этом сверхважном деле и должен стать именно комсомол.

Разумеется, энтузиастам потребуется дать и кое-какие реальные права, потому что помощь старших не должна ограничиваться одним набором напутствий и пожеланий.

Всесоюзное общество друзей природы — с деятельным правлением, и, может быть, даже Комитет по охране природы, которые активно будут бороться за реализацию жестких планов охраны — вот что нам нужно. Громадная армия патриотов ждет своей организации, ждет, чтобы ее призвали к жизни. Нужно также подумать и над тем, чтобы не было совершено ни одного ложного шага, который уронил бы, развенчал идею общества в глазах энтузиастов и таким образом угасил бы в зародыше народное вдохновение.

1957

МИЛЛИОНЫ ДРУЗЕЙ

Я не лесовод, не облечен никакими специальными полномочиями по охране леса, я только один из обожателей живой природы, хотя и с пером в руке, а ведомство писательское, при всем нашем желании, несмотря на его мнимую значительность, далеко не всесильно. Но меня давно волнует дело, которое наравне с первостепенными хозяйственными и эстетическими сторонами имеет сегодня и громадное политическое значение. С некоторых пор я превратился чуть ли не в инстанцию. Мне без конца пишут, звонят по телефону, жалуются, просят защитить те или иные неохраняемые уголки нашей родной природы, требуют публичных выступлений и даже предъявляют упреки в недостаточности моих усилий, хотя давным-давно функции по охране природы должна выполнять какая-то юридически могущественная, ответственная организация. Частное лицо бессильно приостановить лесные беспорядки.

Посмотрите, что делается с ценнейшими лесами страны! Трещит пицундский лес на Черноморском побережье, редеют киргизские орехоплодные леса, бессистемно вырубаются тяньшаньская ель, пробковые деревья на Дальнем Востоке, не говоря уже о тающих на наших глазах заповедниках. Со всех концов пишут о подобных фактах. Я не сомневаюсь, что такими же тревожными письмами «снабжены» лесные учреждения, которые с молчаливым и печальным мужеством выдерживают эту бурю. Не сомневаюсь, что такая же почта идет и в адрес многих редакций. Но до какой же степени грустно обстоит дело, если старые лесоводы, любители природы вынуждены обращаться за помощью в частные адреса, в том числе ко мне. А было бы в десять раз полезнее, если бы за-

ступником и ходатаем леса стало какое-то авторитетное лесное учреждение, которого покуда не имеется.

По-видимому, работникам лесного главка надо дать больше прав на вмешательство в укоренившийся у нас способ обращения с лесом, пока не будет учрежден более сильный и автономный государственный орган, правомочный налагать вето на бесхозяйственную деятельность того или иного разорителя родной природы или служилого дурака — пускай бессознательного и всего лишь равнодушного,— народу от этого не легче.

Таким образом, прежде всего надо говорить о делах организационных. Какие же меры, на наш взгляд, необходимы сейчас, чтобы помочь устранению беспорядков в лесном хозяйстве? Не строители, не железнодорожники, не представители любого другого ведомства должны быть хозяевами в лесу, а орган совершенно свободный от ведомственных интересов, облеченный большими правами, способный во имя поколений отстаивать общенародное достояние и умножать его. Лес и живая природа должны иметь своих консулов! И в качестве актива следовало бы параллельно создать широчайшую общественную организацию, которая будет глазами и, если нужно, рабочими руками народа.

В неоднократно опубликованных беседах мне доводилось говорить о большой роли молодежи в охране природы и, в частности, лесов. Ей жить и хозяйствовать завтра на этой земле, ей и украшать ее. Чем раньше она примется за это дело, тем больше накопится зеленого добра ко времени ее вступления в полноправное наследство. Живое дерево есть капитал, который множится с каждым часом. Разведение лесов — это мудрая работа впрок, на будущее. Мы часто говорим, что капитализм пользуется готовым, тем, что создано до него, жадно набрасывается на даровые блага природы, не думает о завтрашнем дне. Ему невыгодно вкладывать труд и деньги в то, что будет когда-то, что принесет плоды лишь для следующих поколений. У беспланового капитализма, говорим мы, нет будущего, отчего он так преступно и безразличен к завтрашнему дню человечества. Именно поэтому мы и должны доказать на деле, что в социалистической стране земные богатства принадлежат всему народу в его исторической преемственности.

Когда здесь говорится о защите природы, то имеется в виду не только практическая, но и моральная сторона, прежде всего первостепенно — безотлагательный вопрос о

воспитании подрастающего поколения в духе повседневного деятельного патриотизма. Как часто у нас, в речах и тостах, рассуждают о родине казенными, трескучими словесными отливками, хотя полагалось бы голову почтительно обнажать при произнесении некоторых священных имен существительных, да и деток заблаговременно приучать к тому же. Родина — это, в частности, и ее природа, наши поля, реки, лес и небо над нами. Любовь к родине недостаточно только декларировать, желательно и в нерабочее, неоплачиваемое время претворять ее в живые дела. Оттого-то чем больше труда отдает гражданин ее неотложным нуждам, тем дороже она ему, тем на большие жертвы сам готов он пойти ради нее. Знаменитые патриоты в нашей истории были и самые беззаветные ее труженики.

Оглянись вокруг себя, молодой человек: буквально все в поле твоего зрения соткано, спаяно пламенной любовью твоих предков, наших старших сограждан по Отечеству!.. Вот почему ответственность перед родиной полагается внушать с малых лет через чувство родной природы. В наших школах на уроках биологии и географии ребята узнают о пустыне Калахари и мысе Доброй Надежды, норвежских фиордах и «розах ветров». А спросите школьника, какие кустарники произрастают в знакомом лесу, как называются простецкие милые травки на лугу, что за птицы концертируют в весенней роще,— ведь не скажет. Не знает, потому что и сами педагоги зачастую не слишком осведомлены в этих сокровенных, ускользающих из учебника тайностях. У нас все еще нет настоящих полнокровно поэтических изданий о природе, а наличные нередко ведомственные и скучные. Между тем наравне с хлебом насущным нужна нам сегодня увлекательная, красочная литература для читателей всех возрастов не только о природе вообще, а именно о ее даже неподозреваемых частностях.

Детские впечатления — самые яркие, самые устойчивые на всю жизнь, и, признаться, до сих пор для пейзажа в своих книгах зачастую пользуюсь я впечатлениями детских лет о родных калужских лесах вокруг тамошней деревушки моей Полухино. Сызмальства следует бережно посвящать ребятишек в поэтические и трогательные загадки окружающего их таинственного, еще не исследованного ими мира — в законы тысячелетиями слагавшегося лесного уклада, в государственные распорядки муравейника или в архитектуру птичьих гнезд, без непременного, однако, их разорительства, даже прикосно-

вения. Дети должны благоговейно изучать жизнь и навыки лесных и водных жителей, искусно скрываемые от опасностей излишнего человеческого внимания. И прежде всего — как вести себя в беззащитном, гостеприимно распахнутом настежь доме живой природы, без чего нельзя стать впоследствии ее преобразователями. Только безнадежный чиновник не поймет всей важности таких начинаний. Прививать детским душам потребность деятельного и бескорыстного общения с родной природой, чтобы стали не насильниками ее и расточителями, а друзьями и покровителями своей меньшей, неслышной вокруг себя братии — той, что доверчиво чирикает, плещется, просто зеленеет и, всяк по-своему, тоже трудится под солнцем.

Именно комсомольцы должны помочь государству в охране родной природы, разумно используя бесконечно долгие дни младости, чтобы было куда прийти на отдых с седою головой. Наблюдающееся захламление природы так называемыми туристами —с варварскими кострами, самовольными порубками и другими вариациями обывательского хамежа — показывает, как много было в этом смысле упущено педагогами в недавнем прошлом... Словом, пора бы учредить веселый, яркий творческий День леса или День природы со всеми вытекающими отсюда, не только праздничными, зачастую губительными для нее последствиями, но прежде всего с дружными и обязательными работами по возмещению нанесенного ей ущерба или без спросу взятого взаймы.

Генеральное наступление в защиту природы следует начинать на всех ее фронтах и, по возможности, немедленно, пока глаза всего народа устремлены на эту благородную цель: отличная пора для великого почина!

1957

ЖИВОЙ ПАМЯТНИК

У многих народов существовал хороший обычай: в особо праздничный день посадить в родном селении молодое деревцо. Пройдут годы, оно окрепнет, поднимется в рост, станет тенистым памятником давно прошедшей радости.

Хорошо, что молодым друзьям пришло в голову возобновить этот старый и мудрый способ отмечать торжественные встречи. Пусть далеко стоят друг от друга Прага и Дели, Будапешт и Токио, Лондон и Джакарта. Но искренняя дружба сокращает географические расстояния, и вот почему голландцы и индийцы, вопреки учебникам, становятся вдруг добрыми и близкими соседями. А когда люди молоды, когда у них впереди еще не растраченный запас жизни, им особенно дороги мир и дружба, ибо это самые могучие и эффективные инструменты для того, чтобы мечты вашего поколения стали действительностью.

Мы свидетели того, как рождается новая умная традиция. Так, в неувядаемое зеленое кольцо вплетено еще одно звено. Шесть тысяч рук — белых, черных, желтых — любовно и бережно опустили саженцы в подмосковную землю, и вот потянулись к солнцу три тысячи завтрашних деревьев, которые усыновит наша природа.

Так каждый из гостей, посланец своей родины на празднике молодости, оставил на далекой земле о себе вещественную и главное — живую, растущую с каждым днем память.

Потому и хорошо, что в этом знаменательном начинании таится прообраз новых вызревающих человеческих отношений.

1957

ЕДИНСТВО ЦЕЛИ

Стало почти традицией, что писатели редко пишут о живописи, а художники о литературе. Это странно. Не может быть, чтобы человека, принесшего свое сердце в искусство, не волновала многообразная жизнь нашей художественной культуры. Поэтическая правда о современности является душой искусств, будь это литература или живопись. Писатель и художник одинаково приходят в мир для того, чтобы открыть современникам никем не увиденные ранее новые стороны их жизни, чтобы сказать о новом человеке, рожденном современностью.

В повседневной практике наши руки ежечасно встречаются с руками строителя, ученого, тракториста. Вот почему каждый из нас остро чувствует творческое волнение другого, и в этом заключено побеждающее единство нашего строя. Крупнейшие деятели русской культуры всегда горячо откликались на коренные вопросы жизни, и, таким образом, славные традиции этого единства со старшими лежат в исторической практике нашего общества.

Эта идейная близость и дружба приобретают особенную ценность сегодня, в нашу эпоху, когда сами исторические обстоятельства снова выдвигают людей искусства с их грозным оружием на передовые позиции в борьбе за насущнейшие блага человека — мир, правду, справедливость.

Дружеское единение художника и литератора, людей, имеющих одну цель — рассказать о человеке сегодняшних дней, о его созидательном творчестве,— раскрывает свои неоценимые возможности еще и в том, что иногда живописцу

удается найти такое, что оказывается начальным толчком для поэтического взгляда писателя.

Вспомним о дружбе Л. Толстого и И. Репина. Это была не только забота или поддержка, но и заинтересованность в творчестве друг друга, рожденная внутренней близостью художественных позиций, взаимно обогащающая искусство этих великих художников.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла с собой новое отношение к искусству. Сформировался новый тип художника-гражданина и выработалась иная связь между литературой и живописью. Раздумье о нашем советском искусстве в целом, о его успехах, о его людях и их творческом будущем становится жизненной потребностью писателя, художника, артиста, музыканта.

Благородная преобразующая сила искусства накладывает на каждого советского художника особую ответственность не только за свое творчество, но и за творчество товарища по искусству, потому что искусство в наше время давно превратилось в инструмент, которым мысль художника наравне с героическим трудом доменщика или, скажем, геолога борется за преобразование жизни.

Прекрасный образец моральной ответственности писателя за судьбы родного искусства дает нам, современным художникам, деятельность Максима Горького — писателя, принесшего свой великий талант народу; человека, который никогда не отделял своего творчества от заботы о первых шагах начинающего литератора. Горький был не только родоначальником нашей литературы, но, можно прямо сказать,— учителем, наставником многих и многих деятелей советского искусства. Он заботливо растил молодые таланты, помогал им овладеть профессиональными тайнами, но, главное, он учил их видеть и понимать жизнь, учил новому, сознательному отношению к великой преобразовательной и воспитательной силе искусства, учил заботиться о развитии нашей художественной культуры. Целое поколение советских писателей обязано урокам Горького, и не только писателей: многим нашим художникам помог он своим примером, своими советами. Кукрыниксы получили мудрое горьковское напутствие в искусство. Корин нашел в Горьком своего внимательного наставника. Художники и писатели, связанные крепчайшими узами исторического, самого кровного родства, мы, кроме того, родня и по Горькому.

Раскрывая свое понимание искусства, Горький всегда выделял необходимость отчетливого представления об основном в творчестве: никогда нельзя забывать, что искусство выходит из народа и возвращается к народу.

Именно в близости к народу, создавшему материальный фундамент нового, уже реально, а не только в мечте существующего мира прежде всего заключается возможность творческого успеха писателя и художника.

И в литературе и в живописи сказание о великом народе, о его творческом гении, строящем коммунистическое общество, составляет душу советского искусства.

1957

У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

С каким запозданьем иногда осознают современники смысл происходящих перед ними исторических перемен!.. Вначале они улыбаются дерзости иной молодой идеи,— хотя бы древнейшая мечта народная возродилась в ней! — потом стараются издевкой смягчить конфуз своей недооценки, потом досадуют на естественное стеснение от мужающей с каждым днем новизны, которой предстоит сменить старый распорядок жизни; в этой фазе, как правило, раздражение окрашивается тревогой за свой завтрашний день. Вслед за тем наступает лихорадочная потребность противодействия в отношении к своему сменщику в историческом процессе, хотя и не противнику пока. Так обстояло дело и две тысячи лет назад с одним народным движением, зародившимся в среде галилейских рыбаков. Забавно читать сегодня высокомерные, исполненные латинского изящества суждения о нем, принадлежащие видным мыслителям античной, уже отмиравшей эры.

Нам не дано предвидеть будущность ребенка, когда мы браним его, чтоб не шумел во дворе... Все же просвещенный Запад мог бы разобраться в характере пооктябрьских российских перемен задолго до того, как о том оповестили сейсмограф, счетчики Гейгера и зеленые змейки на экране осциллографа от сигналов первого разведчика наших ближайших космических окрестностей. Общеизвестные за истекший год новинки нашей науки и техники — и спутник, и атом, и чудосамолет — являются прямым следствием трудовой всенародной складчины за минувшие сорок лет. С осени 1917 года Запад имел неоднократные возможности оценить по существу страстность и серьезность народившегося в России поколения, его дерзкую и беспощадную к себе юность, широту планов и темпы его творческих взлетов, а прежде всего — его решимость к пре-

одолению препятствий на пути к поставленной цели. К несчастью, прозрения такого рода, если и осеняют иногда стариков, быстро застилаются воспоминаниями собственной молодости, вспышками подозрений и ворkотни, доставляющей некоторое утешение в пору возрастного упадка.

В одно из таких просветлений старый, угасающий господин постигает, что вчерашнее резвое дитя, а ныне саженного роста удалец давно уже является наследником всего его достояния. Если вступление в права наследства иногда и задерживается, то не юридическими формальностями, вроде отсутствия завещания, а фактом подзатянувшегося со стороны завещателя, как иногда говорят нотариусы, отдания концов. Отсюда настроение старика портится, он ворчит, ищет крупной ссоры, но на данном этапе миролюбие молодого объясняется не страхом за свое здоровье, а стремлением сохранить от повреждений большой дом, где ему предстоит жить. При хрупкости обслуживающих коммунальных механизмов, при уровне нынешней военно-технической оснащенности и при надлежащем энтузиазме можно наделать уйму непоправимых бед. Можно разбить в осколки так называемый ларец культуры с накопленными в нем пожитками. Современная цивилизация целиком построена на чудесной, но бесконечно хрупкой возможности нажатием кнопки вызвать каскады воды или ослепительного света, волны симфонической музыки и киловатты энергии для целеустремленного движения и тепла; однако точно таким же нажатием соседней кнопки можно легко поднять на воздух весь этот набор чудес.

Словом, в наши дни для разрешения вопросов войны и мира одного оптимизма явно недостаточно, желательно также приложение ума и воображения.

Давно должен был бы последовать международный акт о безоговорочном, при любых политических разногласиях, воспрещении столь бесчеловечного и, главное, абсолютно бессмысленного оружия, как атомно-водородная дубина. В случае возникновения большой, с огоньком, дискуссии аргумент подобной силы явится скорее средством обоюдного навечно упокоения, чем доказательством чьего-либо превосходства... А ведь это запретительное соглашение доказало бы волю человечества к единству, его способность к единому мышлению о самом себе, без чего земное житьишко может однажды покончиться несчастьем, похожим на ужасный биологический взрыв перебродившего белка. Однако что-то не слыхать за окном кликов

уличного ликования, каким население планеты встретило бы желанную весть об освобождении от щемящей тоски по поводу возможной трагедии... Летописец нашего времени по достоинству оценит величавую и терпеливую настойчивость, с какой моя страна, располагающая вполне современным арсеналом, стремится обезвредить жало войны. В особенности дурно выглядит упорство старого Запада в отказе даже от убийственно загрязняющих воздух термоядерных испытаний, применяемых единственно ради острастки, наподобие пальбы из пугача. Водородная бомба не нуждается в улучшении, потому что уже достигла вполне достаточного коэффициента полезного действия.

Тремя причинами, надо думать, объясняется это преступное медлительство старого господина с совершенно неотложным атомным разоружением. По-видимому, первые две — это его чрезмерные ночные страхи и стремление держать скованными материальные мощности Советского Союза, так как постоянное военное напряжение действительно мешает нам показать все возможности социалистического строя перед лицом колеблющейся половины человечества. Третья выглядит еще менее привлекательно... и пусть заинтересованная сторона опровергнет нас!

Смертно все — люди и звезды, большое и малое, общественные формации в том числе, но в области биологических и социальных явлений никто добровольно не уступает своего обжитого места под солнцем. Угасающий господин хочет жить во что бы то ни стало и дальше, хотя цепью скандальных и кровавых массовых несчастий последнего времени вполне доказана его неспособность управляться с возросшим и усложнившимся хозяйством,— жить по-прежнему, вышибать барыш из материнской слезы, из развалин, из битой человечины. Так просто он уходить не собирается, несомненно, в свое время и феодализм грохнул бы дверью уходя, кабы владел подходящим инструментом!.. Парадоксально, но изобретение сверхубойных баллистических ракет заметно снижает — при разумных противниках, конечно! — возможность возникновенья войны. Не может быть зрелища желаннее: загнанная в тупик гадина, подобно скорпиону, жалит самое себя!

Я не верю в войну, она означала бы конечную степень отчаянья и безволия к жизни, биологическую обреченность людской породы. А ведь истинная история человечества, посредством которой только и можно оправдать наш долгий,

невыносимо тернистый путь к звездам, к овладенью высшим умным счастьем,— целиком покамест впереди! Самые великолепные достижения людского гения, включая исполинские гидростанции и обсерватории, атомные реакторы и синхрофазотроны, полеты через ночной океан на сверхзвуковых скоростях, и эта белая летающая советская собачка, к пульсу которой еще вчера благоговейно прислушивались академии мира,— все это лишь проба пера в сравнении со свершеньями ближайших наших потомков. Признаемся в дружеской новогодней беседе: ведь несмотря на все уже достигнутое, люди еще не начинали жить, как оно полагалось бы по их человеческому званию. Если на минутку допустить, что покидаемый нами вчерашний день земли — с его всемирными бойнями, расистскими гоненьями, ограбленьем слабейших при помощи тончайших ухищрений совести и разума, с Гитлером и лагерями смерти, с термоядерными грибами-убийцами на хилой, бледной ножке в версту длиной, с расточительной перекачкой материальных богатств, пота, ума, человечьих молодостей — на всевозможные дьявольские военные штучки,— с неосушаемыми материнскими слезами, упоминанье о которых считается кое-где непростительной тривиальностью... — если вся перечисленная кровавая слизь и грязь и есть высший удел рода человеческого, так стоило ли ему ради этого выбираться из блаженного обезьяньего неведения? Стоило ли человечеству добрых сто веков стремиться к вершинам однобокой культуры нашей, откуда тем не менее наконец-то приоткрылись дразнящие горизонты Большой Истории? Или суждено нам всем, уже почти достигнув, рухнуть и сгнить на пороге — с пробитым сердцем, с оплаченным билетом в обетованный, мысленно из края в край исхоженный нами мир? Пещерный предок наш, обгладывая медвежью кость в семейственном углу у вечернего костра, не испытывал нашей щекотной опаски — вдруг вместе с супругой, крошками и домашним инвентарем превратиться в дым, радиоактивный пепелок, в малоинтересную звездочку семнадцатой величины. Он не знал и горьких раздумий о высочайших, с божеством нас равняющих человеческих свершениях, недостижимых на земле из-за неустройств всемирной жизни, хотя бы счастье находилось на расстоянии поколенья, пятилетки и, может быть, всего лишь — протянутой руки.

Верю в неистребимый инстинкт жизни; он и на этот раз, подобно автопилоту, выведет человечество из самого крутого и опасного виража его истории. В каждую живую клетку при-

рода вложила жироскопическое чувство самосохраненья; она полураздавленного червя заставляет тянуться в спасительную щель! Человеку сверх того придан разум и не покидающее его даже в скольжении над бездной чувство своего исторического предназначенья. Нынешнему Гамлету нет необходимости совершать мучительный выбор между двумя одинаково реальными и противоположными жребиями. Пусть только, оттолкнувшись от сгустившегося над ним отчаянья, этот единый Всемирный Человек попытается с детской непредубежденностью отдаться естественному зову жизни — туда, в неохватный глазом простор будущего, за горные цепи сгромоздившихся, но вовсе не безвыходных затруднений.

Происходящие ныне перемены в земной действительности наглядней всего уподобить крупным геологическим смещеньям. Как и всемирный потоп, след нашего века навечно отпечатлеется в поэтической памяти человечества, в высоком эпосе на всех языках планеты... Вот древнейшие пласты земной коры приходят в движение, кромешная тишина поминутно оглашается то вздохами глубин, то грозным шумом от соприкосновенья первородных соперников — огня и воды. Взамен погружающихся в небытие атлантид из пучин выступают новые континенты с мокрыми левиафаньими хребтами... Но когда постихнет скрежет великой ломки, а воды улягутся во впадины, отведенные для них земным тяготеньем, а отвалы скал и взломанной почвы расположатся, как им экономически удобней, выгодней, математичней, что ли,— тогда, пасмурноватое вначале, наступит утро следующего тысячелетья... Солнечные лучи дырявят и гонят застоявшуюся ночную мглу, а разъяренный пар вздыбленными розовыми облаками поднимается в безветренный купол неба. Прекрасен — потому что исполнен еще не омраченных надежд — пейзаж всякой новой эры. Здоровому и честному нечего бояться этих перемен. Земля и воды там такие же, как раньше, а в промытом воздухе легче дышать, и даль жизни виднее в нем. И уже возобновляется ее триумфальное шествие — с пареньем ласточек на вечерней заре, шалостями детей, цветеньем вешних лугов,— совсем как вчера, за вычетом устарелых форм общежития и некоторых Чудовищ, подвергнутых выбраковке в ночь Преобразованья.

Как и во времена античной древности, на меркнущем горизонте Запада маячат недвижные фигуры мыслителей. Стоя над трагическими и благословенными трещинами, рассекающими континенты, семьи и людские сердца, они допытываются

о причинах наблюдаемого вокруг беспорядка. В их задумчивых бормотаньях часто упоминаются рука России, красной Москвы и, что совсем не годится для мудрецов, руки отдельных лиц. Конечно, из недавней практики известно нам, что на историческом эпизоде может весьма грустно сказаться индивидуальный почерк отдельной личности, но вряд ли одной чьей-то, пусть самой могущественной прихоти хватило бы произвести такое сверхвулканическое перемещение понятий, сил и ценностей, какое произошло за эти неполные полвека. Не менее выдающиеся персоны из противоположного лагеря, пожалуй, с более могучими средствами противодействия, не смогли же приостановить начинавшийся сорок лет назад великий геологический переворот. Очевидно, не только в коварстве, подстрекательстве или подкупе тут дело. Едва ли надо подкупать раба, чтобы он возненавидел униженья, голодовки, неутомимую жадность и бич дряхлеющего господина своего. Незачем также уговаривать узников, чтобы они возлюбили свободу, солнечный свет и прочие вольные радости бытия. И уж вовсе не требуются ухищренья московской пропаганды, чтобы всемирная Мать еще сильней проклинала подлый миропорядок, который вчера распинал ее взрослых сынов на колючей проволоке, а нынче тренируется ядовитым лучом сжигать малюток в их колыбельках.

Начавшись менее чем полвека назад, новая эра превратилась в цепную реакцию всемирного пробужденья умов и душ. Ей предшествовал целый подготовительный век, с одной стороны —отмеченный бурной социально-экономической погодой, подземным гулом в классе тружеников и соответственными подвижками колониальной почвы, а с другой — стихийным наращиваньем знаний о человеке, обществе и окружающей физической среде. В науке то была эпоха скорее откровений, чем просто открытий. Природа как бы заранее стремилась обеспечить всем необходимым свое лучшее создание — человечество на его всестороннем новоселье... И здесь уместно сказать о ведущем положении России в этом процессе. В ту глухую дооктябрьскую пору взрывчатка революции — гнев и горести народные — медленно заполняла шпуры, пробуренные в русской скале усилиями передовой нашей мысли. Но сама Россия, бездорожная, полукрепостная, с ее блинной да троечной романтикой, могла помочь делу преображения лишь трудами своих великих художников и ученых.

Тем не менее будущий летописец отметит, что освободительное оживленье в семье народов усилилось как раз после

известных событий в нашей стране, отпразднованных прошлой осенью. Ему неминуемо придется тогда объяснить, в чем же состояла эта ведущая роль России,— однако без неумных обвинений в подпольных кознях, какими столько лет сряду клеймит нас терпящая бедствие сторона. Правда, в Октябре Россия принималась за исполинскую работу не для одной себя. Без отдыха и зачастую впроголодь, при высочайших температурах индустриального переплава она закладывала нерушимый, меди вечней и пирамид выше, фундамент новой — не только российской — эры. Сколько и каких кирпичей было опущено в мглистое лоно этого котлована!

Но пооктябрьская Россия никого не завоевывала силой оружия, не искала рынков сбыта или национальной эгоистической выгоды,— напротив, сама из нищего кошеля делилась с соседями харчами и опытом, считая долгом чести помочь другу в труде и беде. Главную силу советского влиянья на зарубежных друзей правильней всего назвать воздействием на расстоянье, притягательной силой примера и предметного показа. Подобно тому как введением в высокочастотное электрическое поле достигается безогневая термическая обработка металлических изделий, так и в моральном поле революционной России плавились цепи колониального рабства, головные уборы династических особ и всякое меднолобье, а заодно закалялись воля и вера меньших наших братьев в близкое преображенье земли.

Мы перевертываем страницу новогодья с уверенностью, что тот же творческий зной моих современников и сограждан будет оказывать свое волшебное воздействие на мир и в наступившем году... Такие мысли приходят сегодня в голову у новогодней елки.

1958

БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕМ ВАЖНОМ И ТРУДНОМ ДЕЛЕ

Чрезвычайно благодарен вам, товарищи, за приглашение на это совещание с избранием меня в президиум. Я тем более это ценю, что не являюсь лесоводом. Мне очень лестно, что моя не лишенная недостатков книга о лесе пришлась на пользу нашему общему делу.

Я давно интересовался делом озеленения, болел за нашего Зеленого Друга, неоднократно писал статьи по этому поводу, а потом важность этой темы заставила меня выступить с расширенными раздумьями о судьбе русского леса. Когда эта книга появилась на свет, в мой адрес стало поступать огромное количество писем — не только от лесоводов, но и иных граждан нашей страны. Большинство из них было с жалобами на всяческие беспорядки в этой отрасли хозяйства. Не могу не радоваться, что в какой-то степени мне удалось нарушить обманчивую тишь да гладь, сложившиеся на сей счет в общественном мнении, возбудить пусть маленькое, в сравнении с масштабами бед лесных, беспокойство у своих читателей.

С чего же все началось, как возникла у меня мысль написать книгу о лесе? Тревога зародилась еще раньше и укрепилась при первом же моем приезде в Вологодскую область на Монзенскую лесосеку, доставившую мне яркие, но невеселые впечатления. Я увидел совсем юный ельник, чуть не в руку толщиной, лесную молодь — рудстойку, как она обозначается в сортименте, а против него выстроилась первоклассная, синей стали, лесоуборочная техника — целая рать изготовившихся машин, узкоколейных паровозов, трелевочных тракторов и та самая бензопила, что так успешно работает на наших лесосеках, — подобие обычной сенокосилки, но по сравнению с последней, показалось мне, тысячекратной мощности.

Тогда же и подумалось мне, что если запустить эти механизмы на полный мах, на полную производственную скорость, не соблюдая при этом священных законов восстановления и, главное, сбережения основной нашей лесной казны, то как быстро-быстро железная силушка эта распахнет, разметет наотмашь нашу былую, песенную лесную дремь до самых океанов!

У меня тогда же возник первый вывод, что владеть столь высокой техникой в мире имеет право лишь высокосознательный человек, который понимает, чего можно ею натворить, если действовать торопливо, без оглядки на прошлое и без прикидки к будущему, неосмотрительно, то есть без соответствующего возмещения природе и позволяя бесценному добру миллионами кубометров утекать сквозь пальцы.

Конечно, и сейчас имеются друзья и доброжелатели, чьи пристальные и зоркие глаза безотрывно следят за порядками па ниве лесной, но, к несчастью, у них нет рук, в смысле должных прав, отчего они имеют лишь неограниченную возможность оплакивать, разумеется, если не очень громко, беды русского леса.

Нисколько не преувеличиваю. В Москве у меня, возле рабочего моего стола, сидел приезжий лесник, к слову — директор целого института, который с горькими слезами рассказывал об одном вопиющем беззаконии на Карпатах.

Приехали лесозаготовители в ценнейшие тамошние буковые леса, вторглись в эти поразительные, с величественной готикой сравнимые творения природы, свалили двадцать пять тысяч стволов и оставили согнивать на месте, буквально на глазах у населения, вызывая всякого рода раздумья, досадные недоумения и, естественно, законный гнев.

Нация существует не только гражданским чувством локтя, так сказать, в разрезе горизонтальном, не менее важно для нее самосознание по вертикали, и в особенности на наших суровых исторических перевалах благодетелен для нации именно тот патриотизм, что питается мыслью о своих предках и потомках. Неодолимая сила Октябрьской революции в том и заключалась, что в Октябре люди думали о человечестве в целом с осуждением прошлого и с надеждой на будущее. Вот почему надо побольше размышлять о последствиях нашей деятельности для послезавтрашнего поколения.

Вот и на Севере, слышал я тут печальную повесть, тоже происходит захламление лесосек, бесхозяйственно растрачива-

ются лесные богатства. А что же там будет дальше? Расстроятся леса, их место займут болота, поредеет северный лесной заслон, регулирующий осадки и водный баланс нашего юга, а может быть, и всей страны. Надо, чтобы общественное воображение почаще рисовало себе возможные последствия нашей деятельности, на которых мы могли бы своевременно кое-чему подучиться.

Когда я, с моими явно недостаточными силами, и ряд друзей, высокообразованных лесных деятелей, пытались привлечь общественное внимание к лесу,— знаете ли вы, кто в течение нескольких лет был главным тормозом, мешавшим нашей инициативе? Высшее лесное научное учреждение страны, которому больше всего надлежит думать о будущем лесной нивы и которому полагалось бы в первую очередь возглавить это движение. Если бы этот престранный «энтузиазм» противодействия был направлен в полезную сторону, легко себе представить, каких успехов можно было бы достигнуть.

Пора наконец в корне изменить наше отношение к лесу, положить предел расточительству лесных богатств. Прежде всего использовать древесину не как щепу, опилки и прочие отходы, а как неисчерпаемый источник ценнейших продуктов химической переработки.

Вы не одиноки, товарищи лесоводы, в вашем беспокойстве за судьбы родного дела. С вами самые широкие круги советской общественности. Кстати, я и не собирался открывать здесь что-либо неизвестное вам, а занял ваше время лишь из горячей потребности поддержать лесников в многотрудном и первостепенно важном подвиге служения русскому лесу.

1958

ГОЛОС БЛАГОРАЗУМИЯ

Как и другие, выступавшие здесь депутаты, я с волнением прослушал Заявление нашего правительства о прекращении Советским Союзом испытаний атомного и ядерного оружия. Весть об этом мужественном добровольном акте будет повсеместно на всей земле воспринята с горячей признательностью к советскому народу, который, находясь во всеоружии своего технического могущества, кладет почин практическому разрешению самой неотложной задачи нашего времени.

Мировому общественному мнению предъявлено еще одно свидетельство советского миролюбия. Теперь слово и очередь за другими государствами, наравне с нами ответственными за перспективы завтрашнего дня и судьбу грядущих поколений. Народы земного шара с понятным нетерпеливым ожиданием оборачиваются в сторону соответствующих правительств. Не будем забегать вперед, но отклик Запада на этот акт явственно обнаружит сокровенные его расчеты и намерения.

Разумеется, даже и обоюдное согласие сторон на прекращение атомных и ядерных испытаний еще не означало бы немедленного наступления хорошей международной погоды. Правительствам великих держав потребуется время, чтобы средствами осторожного, благожелательного сотрудничества постепенно разогнать скопившиеся в нашем небе тучи. Однако именно такое соглашение могло бы оказаться начальным шагом к новой фазе в международных отношениях. Это была бы фаза надежды, и, возможно, ей суждено стать воротами в желанную для всех длительную эру сосуществования, то есть мирного соревнования политических систем на радость рядового человека — труженика земли.

На нашей памяти Советское правительство уже в нескольких вариантах и, к сожалению, до сих пор безрезуль-

татно предлагало упомянутым великим державам осуществить разоружение и в первую очередь запрещение оружия массового истребления. Оно всемерно добивалось устранения опаснейшей международной напряженности, происходящей от сгустившегося недоверия и подозрительности.

Судя по сообщениям с ближнего и дальнего Запада, неуверенность в завтрашнем дне, страх перед неизвестностью все шире захватывает человеческое общество. И эта непрерывная боязнь проснуться однажды в хаосе беспримерной атомной катастрофы вполне понятна. Это не трусость за собственную жизнь, а естественная тревога за близких, за маленьких, чья жизнь и будущее целиком зависят от нас, взрослых,— за бесконечно сложный механизм цивилизации, за накопленные веками ценности человеческого творчества.

Трудно здесь переоценить глубокое значение советского почина. Бессмыслица дальнейших ядерных испытаний понятна сегодня каждому разумному человеку. Вряд ли этот способ сокрушительного и молниеносного уничтожения живых существ нуждается в дальнейшем совершенствовании. Атомное оружие полностью показало свои убойные качества еще в Хиросиме, и черное зарево этого преступления как напоминание и укор будет до конца жизни висеть в памяти нашего поколения. Без преувеличения можно сказать, что окровавленные по горло завоеватели прошлого выглядят перед этим злодейством буквально шалунами в коротких штанах. Так есть ли необходимость тратить сок ума и достаток народов на изобретение бомб повышенного калибра и еще более разительного действия? Спрашивается: какая же новая вершина солдатского и материнского страдания должна быть достигнута в этих непрекращающихся поисках бомбы-чудовища с рекордным радиусом поражения?

Почти еженедельно читаем мы в газетах сообщения о заграничных бомбардировщиках, патрулирующих над чудесными столицами Запада с водородными бомбами на борту. Здравому рассудку трудно уловить смысл этих таинственных манипуляций. Если это делается для охраны населения от мнимого «красного нашествия», то нельзя позавидовать тем, кого охраняют столь рискованным образом. Оказывается, эти опасные предметы иногда имеют склонность срываться со своих крючков и падать на жителей объятого сном города. Если же это применяется для опережения воображаемого противника, то ведь, как известно, смерть располагает сегодня еще более

скоростным транспортом. Остается допустить, что катание бомбы по воздуху производится единственно ради устрашения: чтобы даже из другого полушария видна была эта адская игрушка!

Можно было бы бесконечно шутить по этому поводу, если бы любой юмор на тему о новых бедствиях человечества не выглядел кощунственно в наши дни, когда солдатские кости еще не сотлели полностью в братских могилах последней мировой войны. Во всяком случае, эта разновидность административного психоза показывает, как далеко зашла болезнь. Плохо дело, когда палец дрожит на взведенном курке! Так стоит ли слепой случайности, пустому страху, игре воображения вручать такое первостепенное сокровище, как мир мира?

Ядерное оружие еще тем невыгодно отличается от прежних, что действие его простирается далеко за черту даты, когда оно применено. Мохнатый водородный гриб с километр высотой когда-нибудь рассеется, участники этого преступления непременно сойдут с исторической арены, но самый взрыв будет длиться, убивать, травить своей скрытой остаточной силой. Я имею в виду атомную радиоактивность, разрушительные биологические последствия которой ныне общеизвестны. Таким образом, на вооружение современных армий поступило оружие с еще не изведанным убойным свойством — дальностью действия в веках. Так в этот губительный водоворот вовлекаются завтрашний день мира, наши внуки, лужайки, на которых они играют, животные, которые должны им служить, самая пища их — заранее отравленная. Словом, человечество должно вполне осознать объем зла, заключенного в этом оружии многократного, неостановимого действия.

Даже на самом далеком и еще недавно, казалось бы, безопасном Западе теперь понимают, что на всей планете не осталось больше ни укромных пещер, ни благословенных захолустий, куда не смогли бы добраться сегодня ужасы войны. И действительно, современная война способна на любые коварства, она может предпринимать самые неожиданные маневры и охваты. Смерть может войти сегодня в образе веселого летнего дождика или освежающим ветерком ворваться в духоту герметического подземелья. Если она страшна даже для полупустующих территорий с редким населением, то чем она может грозить Европе с ее почти предельной населенностью? Итак, единогласно признается наконец всеми, что мир есть величайшая ключевая ценность нашего бытия, без которой

утрачивают смысл и силу все прочие блага и радости жизни. Ее надо беречь от неосторожного обращения всемеро заботливей, чем даже пресловутую зеницу ока: очей-то ведь у нас два! Можно сформулировать так: следует быть верным солдатом мира, чтобы не стать жертвой или просто пеплом современной войны... Трудней всего эти соображения прививаются некоторым общеизвестным в мировой политике лицам, для которых любое напоминание о минувших страданиях земли, о материнском горе, о битой, жженой и колотой человечине — всего лишь «красная пропаганда».

С горечью следует признать, товарищи депутаты, что иные влиятельные деятели на Западе, столь легкомысленно размахивающие взрывчаткой, слишком редко смотрят в глаза своих малюток. А между тем при решении нынешней повестки дня полезно почаще взглядывать на мирно играющих детишек: это прибавляет трезвости горячим головам, ибо ошибаться сегодня, как и саперам, можно лишь один раз.

Добьемся же того, чтобы наши дети дышали чистым воздухом, не отравленным ни атомной радиацией, ни гадкой корыстью хищника!

Особого внимания заслуживают все эти размышления в наши дни, когда западногерманский бундестаг принял решение оснастить свою возрождаемую армию атомным оружием. Опять в этом районе Европы слышатся знакомые зловещие шепотки сговора против народов мира. В знакомых позах копошатся хорошо знакомые нам люди, готовые вновь пустить знакомый огонек войны по едва оправившейся Европе и ее окрестностям.

Опасность увеличивается во сто крат оттого, что в руки этих губителей душ человеческих вкладывается самое опасное, самое отравленное оружие. Никого, конечно, не обманут рассуждения о том, что это делается будто бы в целях «обороны Европы». Миллионы людей в Европе и далеко за ее пределами помнят, какие преступления против человечества совершались под вывеской «обороны Европы». Однако сейчас на наших глазах готовится преступление, масштабы и последствия которого грозят превзойти все то, что доселе было известно человечеству.

Нельзя допустить, чтобы эти кровавые замыслы осуществились!.. Решение, принятое западногерманским бундестагом, грозит безопасности всех народов Европы, в том числе и нашего миролюбивого народа.

Я обращаюсь сегодня к интеллигентам Европы, к их не раз проверенному в бурях чувству совести и справедливости,— к ученым, которые добыли звездный огонь, готовый стать источником жесточайших разочарований; к писателям-современникам, чье слово способно проникать сквозь броню скептицизма, сомнения и непримиримости; ко всем людям, производящим машины и мысли и все, чем силен род людской,— обращаюсь я. Вслушайтесь в голос благоразумия, прозвучавший в этом зале, в предупреждение и призыв обуздать ярость полуукрощенного атома!

Благоразумных людей, всех людей доброй воли мы зовем встать на защиту мира и будущего! Сегодня советский парламент совершает в этом направлении важнейший шаг. Однако решение наше принесет свои благодетельные плоды лишь при условии таких же одновременных действий со стороны других обладателей атомного могущества. Дверь в будущее отпирается не одним ключом, а многими сразу.

Передовые люди должны объединиться, чтобы вернуть надежду миру!

1958

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Есть на Руси пословица, в которой как бы округлилась вся положительность, характерная для нашего народа: дело человеком ставится, а человек делом славится.

Русский человек всегда уважал людей трудовых. Поэтому так глубоко и чтят у нас тех, чье дело укоренилось в почве настоящего и дало росток свой в будущее. Наш народ всегда стремился отметить мастера, закрепить имя его в памяти поколений.

В несуесловной благодарности одного поколения другому заключается, между прочим, живая связь поколений, основанная на уверенности предков в том, что их дело не пропадет зря, а перейдет в руки надежных наследников.

Мне кажется, что на этом был основан древний обычай класть в фундаменты великих зданий первые кирпичи с именами выдающихся граждан своего времени. Это был не только знак почета и благодарности людям, которые положили свою силу и разум в основу великого начинания. В этом был сознательный умысел, который, подобно цементу, скреплял камни живого дела. Самая всенародность этих имен придавала нерушимую вещность народному делу, объединяла его в монолит, что «вековечнее меди и выше царственных пирамид».

Благодаря этому древнему обычаю мы знаем имена наших великих зодчих, строителей древних соборов, художников, литейщиков, оружейников. Имена их сохранились на чертежах, в рабочих клеймах на великолепных изделиях.

За четыре десятка лет мы узнали множество героических имен наших современников, обеспечивших все те исторические преобразования, осуществление бесчисленных материальных и духовных достижений, которые можно сравнить лишь с вулканическим извержением ценностей. И действительно, трудно

перечесть, сколько же за эти годы поразительных сокровищ подобно лаве извергалось из глубин народа.

Возводимое нами здание, расширяясь, приобрело много ветвлений и крыльев. Оно растет по законам рождения кристалла, в котором форму придают овеществленные, пришедшие в движение социальные законы — химия и математика общественной жизни. В этом смысле наш строй диктуется самыми насущными и священными потребностями человеческого общежития. Под каждым будущим крылом этого здания также должны возводиться основательные фундаменты. Таким образом, молодежи, не успевшей проявить себя раньше подвигами в боевой, духовной, хозяйственной практике, не поздно и нынче закрепить свое имя в истории нашей великой стройки.

Может быть, стоило бы вписывать в кирпичном пояске фасада новых зданий имена особо отличившихся тружеников, содействовавших своими усилиями ускорению этой стройки, монтажников, проектировщиков, верхолазов, каменщиков, плотников,— всех тех представителей основных отраслей человеческого труда, на которых покоится, как на гранитной основе, народное могущество, его слава, его счастье. И, может быть, пояс этот приобретет в просторечии название Пояса славы, и, кто знает, может быть, со временем это даже войдет в архитектурную терминологию.

Вообще, кажется нам, в наше время было бы крайне полезным воскресить мудрый обычай рабочей метки, клейма, завершающего творческий трудовой процесс (и весьма стоило бы в острастку иным развязным бракоделам завести обычай писания строгих рецензий на вещи).

Очень стоит начать деловой, без излишних восхвалений, показ наших современников, достойных того, чтобы имена их были вещественно закреплены в памяти нового общества.

1959

КРАСОТА ТРУДА

В бытность свою в Чехословакии я познакомился с интереснейшим человеком, инженером Петром Тучны, который посвятил работу свою эстетике инструмента, культуре трудовой обстановки и вообще мыслям об эстетической стороне социалистического производства. Это вопрос чрезвычайно большого значения, особенно для нашей страны, где в основу всей жизни положен труд, и потому нужно уделить ему самое первостепенное внимание.

Мне кажется, что до сих пор мы еще не начинали по-настоящему думать об этом. Но я уверен, государство и наша промышленность должны помочь решению этого вопроса хотя бы потому, что эстетикой труда легче и естественней осуществляется воспитание молодежи — нашей смены. Известно, хорошим инструментом больше наработаешь. Это процесс, благодаря которому самый труд становится не работой в низком корневом значении этого слова, а высоким творческим актом, источником вдохновенного, созидательного наслаждения... да, не побоимся этого слова — именно наслаждения!

Чем дальше мы будем двигаться в нашу совершенно реально обозначенную ныне не даль, а близь, эти проблемы приобретут все большее значение. И если сегодня так много уделяется внимания — в очерках, в рассказах, в сценариях — технологии и расчету новаторского сверла, то далеко не последняя вещь, скажем, инженерия рукоятки инструмента.

Надо думать, правильное решение этого вопроса уменьшит утомление труженика, увеличит его работоспособность, так как сделает потребностью, радостью ежедневное трудовое занятие — источник нравственного и физического удовольствия, а следовательно, даст экономию творческих сил и повысит производственные возможности. Собственно, экономия ска-

жется уже в том, что часть энергии, затраченной на производственный акт, через творческое удовольствие вернется к работнику. Можно и следует поэтому говорить об эстетике даже автоматических линий, ибо и в этом деле красота сливается с целесообразностью, как они сливаются в архитектуре самолета или ракеты.

Не сомневаюсь, что очень скоро предметом страстной дискуссии станут и эстетика цеха, его материальная обстановка, освещение, вплоть до цвета его пола и стен. И появится, может быть, в будущем, лет этак через сто, газетная рецензия на ткацкий или токарный станок, которая будет рассматривать степень мелодичности или раздражительности его шума.

Но, говоря о заводах-автоматах, где роль человека будет приравнена к роли куратора, технического наблюдателя, нельзя забывать о самых повседневных орудиях нашего обихода, с которых и началась человеческая цивилизация, потому что пила и молоток, долото и рубанок навсегда сохранят не только почетное звание предков современной техники, но и неизменную роль продолжения могущественной и вдохновенной человеческой руки.

Весьма приспело время, когда наравне с запуском спутников в далекие небеса стоит подумать о добротном плотницком и столярном инструменте, на который иногда мучительно смотреть, а работать им — зачастую подвиг. Об этом следует много и круто поговорить с теми, от кого это зависит. Мы приглашаем широкую, сметливую, мастеровую нашу общественность высказать свое мнение на этот счет. Обидно обходить небрежением столь действенный способ изменения мира, в котором мы живем.

Мы вступаем в пору, когда глубже, выше и поэтичнее на языках земли будет звучать слово т р у д. И думается, что в эту пору преступление против коллектива, против общества будет караться не как нынче — принудительными работами, а наоборот — отлучением от труда, от творческого общественного процесса — караться бездельем, означающим, что эта жалкая человекоподобная тварь хотя бы временно не нужна обществу.

Едва ли надо напоминать, что эстетическое воспитание человека является важнейшей, неотъемлемой частью его общего культурного и морального развития. Я исхожу из того, что человек, обладающий хорошим вкусом, не способен не только появиться в пьяном виде на улице или сквернословить,

но и украсть у Родины сто рублей или миллион. И не потому только, что это карается законом, а потому, что это крайне отвратительно.

В формировании художественного вкуса искусству вещи принадлежит такая же высокая роль, как живописи, музыке и литературе. К сожалению, у нас еще недооценивают общественное, я сказал бы, государственное значение эстетики быта. Уродливые плоды этой недооценки мы повседневно наблюдаем на полках магазинов, в квартирах трудящихся, на улицах наших городов.

Итак, будем считать, что, перепечатывая из чехословацкой газеты Культура интересную статью Петра Тучны, мы начинаем сей необходимый разговор.

1960

БЕСКОРЫСТНЫЙ И СВЕДУЩИЙ ДРУГ

Среди великих изобретений былых времен, окончательно выделивших род людской из приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. Дату рождения алфавита можно считать эпохой в человеческом самосознании, откуда открылся прямой путь к появлению книгопечатного станка. Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек в свою нынешнюю высоту. Таким образом, не только великолепную материальную часть современного мира, даже не святыни искусств (хотя не только они, на мой взгляд, скрепляют разнообразные на всех поприщах человеческие достижения в единую культуру), а книгу надо считать опорным камнем фундамента цивилизации.

Книга — это кристаллический, плотно упакованный в страницы, наш многовековый опыт, делающий бессмертным род людской на земле. Только благодаря книге накопленные знания обретают могущество лавины, способной с тысячелетнего разгона преодолеть любое препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса. Недаром грозные завоеватели древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою разбойничью деятельность порабощения уничтожением библиотек, кострами неблагонадежных, так называемых опасных книг. И верно, нередко в истории ту или иную страну или нацию вслед за этим поражала как бы слепота — наиболее подходящее состояние человека для безропотного ношения цепей. Словом, нет ничего дороже книги у мыслящего человека! Сегодня, когда на наших глазах некоторые люди, вопреки здравому смыслу, размахивают чадной атомной головней с риском пустить по континентам огненного петуха, страшно становится порой, что величайшие сокровища мысли вверены беспомощно-хрупкой бумаге.

Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия, рецептуру осмысленного существования на планете Земле. Книга есть кратчайший отчет о пройденном пути человечества и, следовательно, наметка его завтрашних маршрутов. Если бы беспримерная геологическая катастрофа отрезала у человека весь его громадный обоз неоценимых материальных орудий, книга еще внушила бы ему надежду и силы на возрождение. Без нее человек сразу бы стал затерявшимся путником в огромной безвестной ночной пустыне. Только книга может научить, как и в какой последовательности двигаться вперед, как избегать бездн и взбираться на вершины, как почестнее людям следует вести себя на земле согласно своему человеческому званию,— словом, указать дорогу если не к немеркнущему счастью, то хотя бы к устойчивому благополучию.

Книга поэтому есть верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг. Она самый терпеливый учитель, готовый десятки раз повторять недоступную сразу мысль, прежде чем ее освоит неопытный или ленивый разум. Не всякая пачка исписанной второпях бумаги достойна стать книгой. Люди бывают пристрастны, бесчестны, несовершенны в своих увлечениях, и опять только книга может научить нас безошибочно распознавать добро и зло, истину и ложь, красоту и безобразие.

Старшее поколение, вручая своей юной смене страну, мир и вечные идеи справедливости на земле, оставляет ей единственное, наиболее полное завещание — книгу. Поэтому любите книгу, храните ее выше всякого другого достояния. Учитесь у старших преданности книге, знанию. Пусть каждый образованный и знающий человек не пожалеет времени и досуга, чтобы разъяснить все это тем, кто не умеет пока пользоваться книгой.

1960

НЕПРОИЗНЕСЕННАЯ РЕЧЬ

Вы меня спросили о нынешнем положении на театре. Исходя из моих сомнительных успехов в этой области, нельзя считать ваш выбор собеседника особенно удачным, и потому я весьма ценю юмор, заключенный в вашем обращении.

Мне кажется, что у нашего театра все еще имеются впереди значительные высоты, на которые ему стоило бы подняться, тем более что, как видно из многочисленных газетных статей на театральные темы, к этому его понуждает, кроме собственного желания, также и кассовая необходимость. Судя по многим рецензиям, зритель явно ропщет на давно замечаемую периодическую повторяемость сюжета, надоедно-казенных конфликтов — то есть когда один и тот же товар оплачивается зрителем по многу раз, больше же всего — на участившиеся оживленные махания руками в театральных дискуссиях по невыясненным, а иногда и по очевидным поводам. Больше всего заслуживает раздумья мелкотемье нынешней драматургии. Для постановки диагноза это наиболее пригодное слово: оно достаточно объясняет возникающую время от времени то заискивающую, то гневную растерянность у наших ведущих театральных деятелей. И правда, непозволительно часто пьесы пишутся по поводу явно недостаточному — скажем, неоплаченной вовремя жировки или же о зонтике, похищенном у товарища, с которым герой связан тыловыми воспоминаниями военных лет либо славными днями трудового отпуска на курорте; не забывается и стандартный любовный т р е у г о л ь н и к. Естественно, все это вызывает законное недоумение у нашего народа, совершившего на перегоне одного поколения гигантский исторический — к слову, отмеченный чересчур даже сильными и памятными переживаниями — переход. И действительно, мы поразительно мало еще вглядываемся

в будущее, в которое уже вступаем, недостаточно осмысливаем и уже происшедшее. Буквально залежи бесценного и не только военного человеческого материала лежат у нас под рукой, почти не обобщенные искусством, даже непочатые порой. Между тем именно эти неосознанные душевные богатства нашего зрителя мы и призваны реализовать в произведения, достойные его подвига и исторического опыта.

Все это крайне серьезные темы для раздумий. Искусство есть такая сторона народной жизни, что без нее народ просто не может жить сегодня,— это его повседневная, естественная потребность: осмысление поучительнейшего пройденного пути. И если по не зависящим от нас причинам в прошлом поправить уже ничего нельзя, то, по крайней мере, отныне всем нам, художникам, на наше искусство следовало бы смотреть малость посерьезнее.

Хочется верить, что на предстоящем пленуме плодотворно озабоченные деятели театра и драматургии совместными усилиями разберутся, что там к чему и чего еще не хватает нашему театру для подъема, как говорится, на очередную высоту.

Стоило бы обратить внимание на особенно вредные для театра в нынешнем театральном положении разговоры о том, что, дескать, наш герой уже достиг предельной чистоты,— такой вроде кристальной прозрачности, что он временами как бы перестает и быть видимым в окружающей действительности, как бы сливаясь с небом. В этом-то пункте и сказывается наше пресловутое незнакомство с жизнью именно сегодня, когда наиболее страстно, вплотную схватываются новое и недавнее старое, доброе и злое, новизна — со столько раз похороненным, таким живучим, порою даже наглеющим мещанством. Я лично подозреваю, что в недавних утверждениях, будто конфликты в нашем обществе покончились, сказывается просто неумение (если не чрезмерная гибкость спины) утверждающих сие лиц ухватить, начертить, взять в рамки точных психологических формул происходящие ныне душевные процессы, мягко говоря — сложнейшие психологические диффузии. Некоторым образом мы уходим из вчерашней привычной и тесноватой арифметики, которой зачастую мерилась действительность, куда-то в пространство огромных чисел и больших, потому что итоговых, мыслей. Мне кажется, никогда с такой ясностью не становилось очевидным положение, что, как бы там ни было, литература (в том числе и драматур-

гия) все-таки есть искусство и средство мышления, исторического осмысливания вчерашнего и нынешнего, всего недавно пережитого в первую очередь.

В нашей молодой истории нам немало приходилось работать в невыразимо трудных условиях, по пояс в грязи, при сорокаградусном морозе, немало приходилось терпеть, скажем, от того-сего, а также из-за материальных нехваток, радоваться или получать серьезные огорчения — в том числе и от собственной нашей исторической неумелости... Но никогда с такой остротой не было у нас потребности думать, искать, осмысливать свой путь в завтра, не правда ли?

И всегда надлежит браться лишь за самую трудную — потому что единственную среди тысяч — тему, ради которой не жалко ни чернил, ни времени, ни потраченного жара души. В искусстве хорошие дети родятся только от любимой жены.

Мне во время моей недавней поездки не раз приходилось говорить американцам, что они крайне поверхностно воспринимают нашу литературу и действительность. Они еще осведомлены порой о каких-то даже острых ее подробностях, но что, в сущности, происходит там, в глубине, ради чего и почему — с каким выделением душевных калорий — сего им понять не дано!

Они берут на себя иногда просто завидную смелость, сидя за ленчем в комфортабельнейших креслах, судить о деяниях и переживаниях великого и грозного народа, который осуществляет буквально всемирный исторический подвиг,— причем, как это ясно видно из многочисленных современных событий, не только для себя одного... Как всегда с запозданием, они поймут когда-нибудь, что́ тут имеется в виду.

Кстати, я думаю, современный писатель, даже если он по своей конституции и склонен к веселью, не должен в своем творчестве по всякому поводу вступать в оптимистический гопак. Большие, воистину всечеловеческие боль, или радость, или сомнение обязательно должны существовать на палитре художника,— только им положено быть ясными, очищенными от нытья обывательщины, без удушающе-серого колорита иждивенческой философии. Драгоценные полупроводники возникают после долгих перегонок в вакууме, они — продукт и следствие долгих, точных и энергоемких процессов. Говорят, если на десять миллионов атомов, скажем, германия попадает один атом постороннего вещества, то этот засоренный полупроводник непригоден к употреблению.

Самая терминология предыдущего абзаца вызывает некоторые мысли. Наша научная молодежь, по отзывам осведомленных лиц, работает в физике четко, великолепно, на высочайшем уровне сегодняшнего дня. Чего, мне кажется, не скажешь об определенной части наших художников рифмы и слова, которые действуют все еще по старинке и пользуются своим словесным искусством, этим тончайшим средством общения с современниками, как долотом для воспитания своего потребителя, а по части воспевания — как домброй об одной струне. Не виноваты ли в какой-то степени мы сами, художники, что в научно-техническом секторе интеллектуалов возникает порой престранное сомнение — нужно ли вообще искусство?

Больше того, считают этот разговор об искусстве крайне своевременным и невероятно существенным для всеобщего нашего прогресса. Разумеется, без Леонардо да Винчи, без Чайковского, без Чехова, без Равеля человечеству жить нельзя, оно должно тогда превратиться, выражаясь гоголевским термином, черт знает во что. Но, повторяю, предостережение физиков — весьма строгая острастка в нашу сторону — в сторону художников — не только слова, но также кисти и тюбика. Физики кое в чем ушли дальше нашего, они уже научились ощупывать почти несуществующие для нас, грешных, вещи, которые обиходными плоскогубцами просто не ухватишь. Они пальцами ума давно осваивают какие-то стоящие на горизонтах будущего знания мю-мезоны, а мы порой даже не можем скомпоновать, толком причесать простоволосую, в десяти полновесных томах хронику-эпопию.

Театральная пьеса должна действовать точно, как выверенный часовой механизм, быть компактна и метка, как удар боксера. И тут о композиции. Я сравнил бы значение композиции с упаковкой, причем в словесном искусстве это так же важно, как правильно сложить, логически верно упаковать парашют перед прыжком, без чего можно преждевременно подвергнуться кремации.

У нас все еще до прискорбия бедно и мало рассуждают о технологии нашего словесного ремесла. Много у писателей съездов и пленумов, мало производственных совещаний... а вроде уж пора бы!

Различие жанров, к примеру, определяется у нас просто листажом: что потолще — то роман, что потоньше — новелла, гибрид называется повестью. Я взялся бы утверждать, что

литературное произведение можно приравнять к семени, которое, падая в благожелательную почву — душу зрителя и читателя, должно прорасти и вызвать к жизни именно то событие, во имя которого написана пьеса. Любое семечко, вплоть до еле приметной глазу споры папоротника,— это предел бесконечно экономной, умной, расчетливой упаковки, причем в сотой грамма этого подсушенного маслянистого вещества заключен весь будущий облик столетнего раскидистого дерева, даже с характерным именно для этой породы шумом ветвей. Это должно заставить драматургов вплотную подумать о некотором, пусть в меру, усложнении писательской инженерии.

И вообще — почаще бы нам задумываться! Почему, к примеру, так хорош *Ревизор*? Потому ли только, что автор *не покладая рук*, столь *выпукло* отображает отрицательные, глубоко неандертальские пережитки и иные непрогрессивные стороны николаевского режима, беспощадно разоблачая его гнилых представителей? А может, есть в этом сочинении еще какая-то великая сила, еще нечто, могуче воздействующее на человеческую душу, способное сделать благороднее человеческую особь, доставить бессмертие произведению вчера еще безвестного автора? Мне хочется этим подчеркнуть значение полузабытых ныне — в отмену частенько применяемых у нас,— более органичных для искусства, адресованных непосредственно к человеческому сердцу средств художественного воздействия, которые формируют читательскую и зрительскую душу незаметно для них — действуют наверняка, не вызывая зубовного скрежета и раздражения.

Опять же опасно, полагаю, безнаказанно снимать и в дальнейшем тезис о «святости» искусства, утверждать, что здесь всякий может, ежли подналечь. Не только неверно это, но и вредно, уже немало имеется соблазненных мнимой легкостью в искусстве, загубленных графоманским недугом жизней! Не всякий может в искусстве, так же как не всякий может в хирургии, или в цирке, как, например, и в великолепном ремесле верхолаза. Для этого нужны призвание, сметка, конституциональные признаки, хотя, разумеется, и — громадная подготовительная работа. Кроме смелости, требуется много кое-чего другого, чтобы занести нож над лежащим пациентом или сваривать железо на стометровой высоте, но, кроме так называемого упорного труда, нужна одна специальная штука, называемая *талантом*. Не стоит без этого фонаря отправляться

в неизвестность, без него все равно не подымешь ни одного из рассыпанных там золотых дукатов!

Оно и не следует никому огорчаться отсутствием литературного дарования, ибо в стране нашей все призвания и должности одинаково почетны; требуется лишь, чтобы человек работал на полные сто процентов душевной отдачи. Лично мне более приятен водопроводчик первой категории, чем эссеист шестой. Однако из всего этого вовсе не вытекает, что даже одаренному артисту слова дозволено, подобно соловью, петь, положась на одно природное, по наследству от родителей, вдохновение. Без повседневной, строжайшей работы над собой любой великан быстро сносится, непременно рухнет, и — боже! — сколько раз за последние полвека мы были свидетелями подобных акцидентов! Больше того, после упоминания о блеске или о неблеске исполненного на сцене дежурного шедевра следовало бы любой из них непременно оценивать по количеству затраченного труда, как это делается во всех прочих отраслях трудовой производственной деятельности в нашей стране, где главное слово, ведущий тезис поведения — труд! И нужно особенно беспощадно говорить о недостаточности труда при обсуждении каждого оскандалившегося произведения искусства. Безнравственно, пожалуй, когда актеры в поте лица дописывают иное драматургическое произведение, а гонорар выплачивается одному вдохновенному творцу.

Словом, мне представляется, что многие авторы при тех же картах, при наличии того же дарования могли бы играть гораздо лучше, если бы потратили на это дело больше времени и, как говорят, крови сердца. А сверх того, ежели постарались бы перед осуществлением книги или пьесы всесторонне осмыслить задуманное литературное задание, проще сказать — инженерно вычертить несколько кривых, по которым развивается действие. Тогда меньше бы у нас всех получалось огорчений от Книготорга и бухгалтерии ВУОАПа! [1]

Я считаю, что так вот и получается иной раз вредное кольцо: торопливый драматург делает недоброкачественные опусы, и те, пройдя через актера, начисто портят его тонкие рабочие реле. Если дорогую машину, которая работает, скажем, на эфире, запустить на солярке, она станет чихать, кашлять и если сразу не помрет, поскольку железная, то все же может подвести в ответственную минуту. В свою очередь, не-

[1] Всесоюзное управление по охране авторских прав.

важная пьеска, исполненная плохим актером, портит, на долгий срок засоряет душу зрителя. Вдобавок, необходимо учитывать бесконечный вред, который может принести иногда слишком — по официозным либо групповым мотивам — благожелательная пресса. Сбитый с толку зритель тогда вообще перестает разбираться, что в искусстве плохо и что хорошо.

Мне хочется привести маленький пример. В Малом театре до войны шла моя пьеса Волк. Не берусь дать ей оценку, но одна сцена в ней, на мой взгляд, в какой-то мере удалась. Во втором акте там, на кухне большого советского зажиточного дома, встречаются две старухи: бабушка невесты и мать жениха. Они церемонно знакомятся, чинятся своей родней и вдруг узнают друг друга: когда-то они были подружки, одна — белошвейка, другая — кухарка, вместе хлебнули прежней рабочей житухи, а дети их при Советской власти нашли свою большую дорогу. Эту сцену, со слезой и дрожью, божественно играли милые моему сердцу актрисы — Рыжова и Массалитинова. Признаться, я так волновался всякий раз, когда смотрел помянутую сцену в их исполнении,— даже забывал, что мною же и написано.

На одном из спектаклей весь акт впереди меня сидела приглашенная в директорскую ложу нарядная заводская, видно, чем-то отличившаяся знать: две девушки и двое молодых парней. Переживали они весь акт невероятно. И я все ожидал: как они теперь будут хлопать исполнителям, мне в том числе,— ладоши отобьют, потому что налицо эмоциональная заразительность спектакля,— в сущности, тот редко встречающийся товар, который вырабатывается театром, обогащает доверившегося ему зрителя и оплачивается его аплодисментами, восторженным стоянием и бурными вызовами у рампы.

Кончился акт, они сделали по два хлопка и отправились в буфет.

Я остался в разочаровании. И только к концу спектакля уразумел, в чем дело. Они вовсе не были приучены к пониманию того, что же есть подлинное искусство. Да, понимать азбуку, воздух искусства — то, что трудно укладывается в повседневные лозунги,— этому их просто-напросто забыли научить, как не научили радоваться закату, заре, птичьему щебету, умной мысли, хорошему стихотворению. Лишним показалось тратить время на сущие, даже вроде общественно бесполезные пустяки.

Впрочем, кажется, зритель и сам начинает разбираться, что на театре хорошо и что плохо, и это меня радует. В душе народа всегда таится стихийное чутье прекрасного, как имеется у него врожденное чувство исторического равновесия, не позволяющее ему упасть, поскользнуться, склониться,— подсознательное и безошибочное ощущение происходящих вокруг него явлений.

Так что дело поправимое: в конце концов все прояснится и наладится. Но, как всегда, чтобы из хаоса, из первородного сырья жизни получился ценный продукт, называемый искусством, театром, в том числе, следует употреблять не только чернила и часть своего досуга, но и некоторые обязательные для творческой личности, нередко дремлющие в нас качества.

1960

О ПРИРОДЕ НА ЧИСТОТУ

Прежде всего мне хотелось бы высказать досаду, как поразительно невозмутимо упоминают всегда наши газеты о все возрастающих беспорядках на лоне природы. Выступлений на эту тему за последние два-три года появилось довольно много. Почти каждая газета едва ли не через номер сообщает в тоне детского удивления о новом каком-нибудь случае безобразного пренебрежения к богатству и красоте родной природы. Вообще-то подобное внимание нашей печати к этой довольно запущенной темке можно было бы и приветствовать, если бы не обидно всепрощающий тон большинства газетных выступлений. Тон этот, мягко говоря, неправильный, до преступности вредный. В нем так и переливаются нотки извинения за беспокойство, этакого задушевного увещевания в адрес всяких почтенных производственников, отравляющих нам реки и воздух или в меру своих способностей разбазаривающих наши леса: много ли их останется от нашей деятельности? И вчера, скажем, один высокий хозяйственник ради выполнения плана по рыбе вылавливал вместо тюльки драгоценного осетрового малька, а другой нынче травит всю речную живность отходами своей многополезной деятельности, причем штрафы за нанесенный государству и народу ущерб оплачивает государственными же и народными деньгами. (Ух, какой же смешной материал для умного сатирика либо сценариста!) Третий в прямом смысле слова коптит ядовитым дымом небо над нашими детьми. И этих отравителей, сделавших своим девизом гладкую фразу «на наш век хватит», их все увещевают — без особого, кстати, успеха.

А пора бы поговорить по этому поводу жестоко и откровенно, ибо, когда речь заходит о благе, чести или зеленом лике Родины, патриотам полагается сразу засучивать рукава и бросаться в драку.

Мне то и дело приходится отрываться от своего рабочего стола: ежедневно из разных мест звонят и пишут о происходящих злодеяниях по отношению к природе и просят помочь прекратить эти злодеяния. То раздастся вопль из Сочи: в знаменитом дендрарии некий местный деятель решил вырубить участок столетних коллекционных деревьев под строительство какого-то общежития. То звонит лесничий из подмосковного Раменского: у нас тут электрики собираются уничтожить двадцать восемь гектаров восьмидесятилетнего дуба,— видите ли, топору обойти лень! Но все же обошли в результате, и дубрава спасена. А то жалуются избиратели: химическое предприятие в центре города выбрасывает в воздух столько серного дыма, что занавески на окнах истлевают за полгода.

И сколько же этих негодующих, гневных порою писем! Правда, время от времени что-то толковое и получается, только не после писательского вмешательства, потому что госделами занятое начальство эту писанину не читает, а если ласково его попросить, хотя общественность в этой части имеет право не просить, а говорить грубым голосом — даже с произнесением некоторых слов — и, наконец, просто требовать! Много бумаги исписал я на эту тему, но в надлежащем масштабе, считаю, пользы мои усилия не принесли, ибо, что там ни говори, вся моя епархия, все царство мое — этот самый квадратный метр письменного стола.

На глазах наших происходит самое страшное: испытанные энтузиасты Зеленого Друга, бескорыстные вояки за красоту Родины устают сражаться и кричать в защиту природы, начинают помаленьку затихать и сдаваться. Нужно кое-кому очень резко и уже без отлагательства вмешаться, чтобы остановить этот процесс разрушения нашей природы и даже, по возможности, решительно повернуть его вспять. На мой взгляд, дело зашло слишком далеко, поэтому необходимы тут срочные и соответственно крутые меры.

Впрочем, одного только закона об охране природы, даже если издадут когда-нибудь строгий закон, недостаточно. Мне кажется, для поправки существующего положения вещей потребуется еще два важнейших государственных шага. Во-первых, создание Государственного комитета по охране природы при Совете Министров СССР — мощного комитета, который бы возглавил соответственно большой партийный человек, знаток этого дела. И, во-вторых, нужно создать новое, массовое, низовое, в помощь комитету, добровольное общество защиты Зе-

ленного Друга, общество, наделенное не только правом вскапывать почву соседнего сквера на весеннем субботнике, но еще и какими-то безоговорочными полномочиями — в смысле жарко поговорить с местными нерадивыми властями и, может быть, даже постучать кулаком по ихнему служебному столу. Туда должны войти патриоты природы, местные садоводы-любители, пионеры, также не заменимые никем в этом святом ратном деле — уважаемые наши краеведы и практики-лесники.

Короче говоря, это должны быть люди, которым дорог каждый пейзаж, каждый древесный ветеран в нем — об одном из них в прошлом веке Мерзляков сложил славную, до сих пор звонкую песню! — даже каждый валун в округе, ибо и он в некотором смысле — примета родного края, а такие люди как раз и есть краеведы, которые могут указать вам и где растет какой-нибудь Struthiopteris или, скажем, шибко поредевший теперь, мечта любителей, Венерин башмачок, и где тут со своей дружиной воевода Боброк при Куликовской битве в засаде прятался. Этот когда-то огромный и значительный институт защитников природы, краеведов, к сожалению, глохнет, тает год от года, а еще хуже и стыднее — смирнеет. И пора бы нам сообща подумать, что надобно сделать, чтобы внушить ему дерзость, силу и чтобы он, наоборот, начал отныне буйно процветать. И тут надо вспомнить о наших великих резервах — школьниках и молодежи, ибо именно из них ветеранам природы надлежит черпать достойное пополнение.

Помню, в 1947 году я написал для Известий статью В защиту друга. По напечатании ее я получил уйму жарких писем — от академиков, от домохозяек, лейтенантов, инвалидов, служащих, пионеров,— словом, самого разного круга людей. А вот от вступающей в жизнь молодежи, которая завтра сменит нас у всех пультов страны, писем было, мягко говоря, уже необъяснимо маловато. А ведь эта часть наших граждан с удовольствием поет на вечеринках песни про черемушку да рябинку, ломает по весне, кушает ее в мороженом виде, а вот заступиться за природу — вроде бы и руки не доходят. Почему сие происходит и откуда? Потому что в наших школах ребятам с малых лет не прививают деятельной любви к природе. Министерство просвещения до крайности мало работает в этом направлении. Думаете, хоть разок отозвалось оно на мои призывы и попреки? Нет, это люди занятые, чиновные! А ведь прямое дело школы — постепенно готовя из детей будущих агрономов, инженеров, развивать ребячий ин-

теллект, воспитывать характеры под углом практической, с малых лет, преданности родной земле. Будь моя воля, я бы непременно ввел в программу начальных классов «час родной природы».

Надо создать кадры таких вдохновенных педагогов — поэтов родной природы, которые могли бы выразительным, на всю жизнь запоминающимся словом внушить малышам, что хотя они и являются маленькими, очень маленькими, начинающими пока гражданами, но всегда имеется вокруг них уйма еще меньших, нуждающихся в их защите существ, полезных и поразительно трогательных,— вроде птиц, муравьев, зверюшек, которые пугливо прячутся при появлении человека в лесу — то с ружьем, то со спичками для костра, то с бутылкой водки, которую потом хамски разгрохают о древесный ствол — чтоб не пропадала,— то с пилкой — палочку с набалдашником организовать, и просто с ножичком — вырезать на березе свое и сопроводительной девицы имена в ознаменование того, что под означенной березой они полной чашей испили радость бытия.

Пишу об этом уже в который раз,— авось дойдет до слуха надлежащих, приставленных к педагогическому штурвалу лиц.

Надо объявить самый жестокий, массовый, деловой поход против пренебрежения к этим хрупким, неохраняемым богатствам природы. Без этого, я считаю, все административные постановления с параграфами будут бесполезны.

Правда, не знаешь даже, как это и назвать: в пригородных лесах уже не найти ни одного неизуродованного муравейника... разве только до которого руки не дошли! Идет по лесу этакий взрослый, вроде как бы номенклатурный дядя, скучает, а увидал муравейник на пути, просиял вдруг и — раз, проковырнул его посошком до дна, для забавы, получая моральное удовольствие от великой муравьиной суматохи, ничем не меньшей, чем у людей после основательной бомбежки. (А невдомек дураку, что один такой муравейник за летние сутки уничтожает до двадцати тысяч насекомых. Кстати, на Западе по этой причине даже специально разводят муравьев в лесах.) А то вот недавно я наблюдал в Переделкине, как два трезвых половозрелых парня мчались с дубинками за хромой уже, подбитой белкой. Жаль, что милиция не велит в таких случаях прибегать к прямому физическому воздействию тем средством, что под руку подвернется, в отношении к таким вот злобным недорослям и недоумкам... Или случилось мне как-то побывать

в Плесе на Волге, прославленном кистью Левитана. Я поднялся на бугор и увидел изумительной красы рощу, где каждая береза, верно екатерининских времен, была в два обхвата. И не оказалось там ни дерева без зверских увечий, нанесенных чьим-то вдохновенным мимоходным топором... Какое исполинское, не вознагражденное мордобоем злодейство!

Пора приняться всерьез за обучение некоторых граждан уважению к обществу и его достоянию, а параллельно усилить и присмотр за последним. Уместно, мне думается, попутно вспомнить также, что при радетельном лесном хозяине Петре, к примеру, от трехрублевого штрафа за нарушение лесного распорядка два рубля шли в пользу лесников. И вряд ли в ту пору возможны были случаи, чтобы лесник не только разрешил украдкой воровскую порубку, но и помогал за пол-литра собственноручно, из казенного леса, заготовить дровишек иному щедрому дачнику. Говорю это к тому, что слишком уж таинственно и быстро стали у нас исчезать рослые здоровые деревья на дачных участках вблизи городов.

Вскоре после помянутой моей статьи в Грузии было создано общество Друг леса, которое с тех пор добилось, правду сказать, поразительных успехов. Лесные друзья провели там настоящее генеральное зеленое наступление. Я был там этой весной и с завистью созерцал их победы. Миллионы зеленых крон — а не полуживых сеянцев! — украсили Грузию, ее шоссейные дороги и милые холмы, воспетые Пушкиным. Зеленый Друг у нас в Российской Федерации поотстал в этом деле от Грузии на целых тринадцать лет. Да и не только у нас! Я убежден, что если бы на Украине пораньше отдали в руки молодежи и школьников всякие уже со следами эрозии степные овраги и балки да посердечней, не казенно объяснили бы им, что к чему,— пустынные те места давно стали бы настоящими оазисами в степи, а там, глядишь, в ином и родничок бы проклюнулся!

Еще жестче следует подзаняться браконьерством, уже без поблажек, скидок на чины, именитость и прочие якобы смягчающие обстоятельства, называя факты и людей их настоящими именами.

На Волге, например, браконьеры почти в открытую продают черную икру по четвертному за килограмм. А поюжнее у нас, мне как-то рассказывали, знатные, под хмельком, охотники палят по сайгакам прямо с сидений автомашин, загоняя несчастных животных до смертельного изнеможения, испы-

тывая от этого зрелища полный скотский экстаз. Так почему же народ наш должен терпеть эти нежелательные, доселе именуемые у нас в печати, пережитки прошлого?

Опять же — просто находка для комедийного киносценариста: браконьеры, как правило, имеют в руках вполне современную моторную лодку, капроновую сеть, запас взрывчатки, автомашину на ходу, а злосчастная — этакие глупышкины из дореволюционных фильмов! — охрана мечется за ними по бережку пехтурой!

И напоследок еще раз о лесе. Мы зря его сделали отраслью сельского хозяйства, лишили самостоятельного управления — и вот, по-моему, начинаем расплачиваться за эту опасную ошибку. Вот и получаются с лесом такие не постижимые умом происшествия, что не знаешь, где и какими словами кричать о них. В Калининской и Владимирской областях, сказывают, придумали потрясающую новинку в области животноводства: зимнюю пастьбу скота в лесу. Новатор-пастух, вооруженный топоришком, гонит овец в лес и там производит кормление их, срубая древесный подросток — что повыше, подгибая — что пониже. Интересный вклад в науку животноводства и земледелия!

Заодно стоило бы вообще — пусть опять бесполезно — поговорить о лесной промышленности, допускающей баснословную расточительность на лесосеке, сплаве и последующей обработке древесины, но отложим до другого случая этот особый, большой и, признаться, довольно болезненный разговор.

Лес и природа — мало сказать, добрые друзья: они еще и терпеливые друзья. Они не станут жалобиться по начальству. Но они просто уйдут, сгинут, если пренебречь их нуждами. Потому-то мы, хозяева природы, и должны проявить элементарное благоразумие.

1960

СЛОВО О ТОЛСТОМ

Полвека назад, в канун зимы 1910 года, у нас в стране произошло событие, которое глубоко взволновало современников. На исходе одной ненастной ночи писатель Лев Толстой ушел в неизвестность из своей яснополянской усадьбы. Кроме немногих доверенных лиц, никто в России не знал ни адреса, ни истинной причины, заставившей его покинуть насиженное гнездо.

Четырехдневное скитание, порой под проливным дождем, приводит великого старца на безвестный полустанок. Болезнь, чужая койка, огласка... и вот приезжие деятели, духовенство, мужики, «синематографисты», жандармы толпятся поодаль бревенчатого строения. Там, за стеной, один на один со смертью Лев Толстой. Все торопятся делать, что им положено в беде. Старец Варсонофий рвется вовнутрь благословить отлученного от церкви мыслителя до его отхода в дальний, невозвратный путь; из Москвы поездом № 3 Рязано-Уральской железной дороги срочным грузом высылаются в Астапово для больного писателя шесть пудов лекарств. Смятение отринутых им церкви и цивилизации. Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. Морфий, камфара, кислород. Последний глоток воды, в дорогу. Без четверти шесть Гольденвейзер прошепчет в форточку печальную весть, которая к рассвету обежит мир. Закатилось...

Европа шлет словесные венки на могилу гения. В одну строку с Гомером, Лютером и Буддой. А в Ясной Поляне белесая пасмурная тишина. Мерзлая комковатая дорога под можжевельником, сотня стражников переминается у ворот, вокруг, с непокрытой головой,— Россия. «Несут, несут...» Могила смыкает свое объятие. К потемкам на бугре посреди девяти молодых дубков вырастает холмик, который сближает

самые несхожие биографии... Тогда стоял ноябрь, самый сумеречный месяц, пожалуй, наиболее сумрачного в России года, считая с начала века. День шел на убыль, круче примораживало, но передовая русская мысль уже провидела рассвет в этом подобии ночи.

Так бывает на бору после паденья хвойного великана: длинный гул стелется по земле и потом — листва, птица, самые пилы затихают на время. Лес становится ниже, человечество победней. Длительностью наступившего безмолвия мерится значение ушедшего для остающихся. Моему поколению дважды, четырнадцать и двадцать шесть лет спустя, довелось испытать эту скорбь одиночества, которая, как любое всенародное событие, делает родину тесным домом под единой кровлей. Наличие подобных людей на капитанском мостике национальной мысли внушает современникам доверие к настоящему и бесстрашие к будущему. Роль Толстого в нашей общественной мысли неоднократно подчеркивалась русскими писателями. За десять лет до смерти Толстого Чехов писал из Ялты: ...б о ю с ь с м е р т и Т о л с т о г о. Е с л и б ы о н у м е р, т о у м е н я в ж и з н и о б р а з о в а л о с ь б ы б о л ь ш о е п у с т о е м е с т о... без него литература наша обратилась бы в б е с п а с т у ш н о е с т а д о... Двадцатью годами раньше об этом думал Иван Тургенев, и за два года до толстовской кончины — Александр Блок. Смерть Толстого не только у передовой интеллигенции вызвала чувство сиротства, даже обезглавленности. Утрату Толстого ощутила и низовая Россия... Правда, в тогдашних условиях самые прославленные литературные творения шли в низы долгими, окольными путями; зачастую простой народ составлял представление о живом писателе лишь по молве об его общественном поведении. А Толстой всю свою жизнь прожил на виду у народа, раскрываясь до тайников то под собственным именем, то под псевдонимом Оленина, Левина, Нехлюдова,— всегда идя против господствующих ветров и течений, борясь с неправедным богатством, праздностью и насилием, с накопившимися уродствами одряхлевшей цивилизации. И так как долголетием была отмечена жизнь писателя, передовые умы из низов привыкли к утешной мысли, что неподкупное сердце бьется вблизи, зоркое око видит их каторжный труд и лишения, чуткое ухо слышит их стон и песню, и, значит, со временем все это отольется полноценной золотинкой в сообщую сокровищницу завтрашней преображенной земли.

Думы и вдохновения, преодоленные сомнения и надежды эпохи и составляют золото литератур, живучесть которых целиком зависит от того, насколько они обеспечены историческим опытом современников, для таланта — казной всенародной, для гения — общечеловеческой. Все наши произведения, даже любимцев и баловней века, опускаются вместе с их создателями в могилу. Книги должны отлежать свой срок в земле, которая там, впотьмах, пока наверху шумит и ликует молодое, безжалостно сдирает с них кудри и румяна моды, шпаклевку накладного оптимизма, как это произошло с Марлинским, Кукольником, Озеровым — им при жизни были выданы талоны на бессмертие... А то еще был в пушкинскую пору некий поэт Тимофеев, провозглашенный Сенковским за величайшего гения. Ему принадлежит неизгладимое сочинение под названием Борода ль моя, бородушка!.. Словом, только чистому золоту дано выдержать испытание забвением.

В числе немногих произведения Толстого вовсе не подвергались этой пробе временем, как и Пушкина, которого повсеместно народ наш как бы усыновил навечно. На хо́лмах Грузии лежит ночная мгла; шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко; печаль моя светла; печаль моя полна тобою... Бывают стихи, которые во всей национальной поэзии пишутся однажды — и потом века без износа служат потомкам камертоном для настройки лир. Оба эти человека занимают особое место в русском Пантеоне. Подобно тому как Пушкин открыл нам волшебную музыку родной речи, Толстой с ее помощью беспримерно выразил заветные дела, радости и печали русских, в том числе их былинный поединок с многоязычной поднаполеоновской Европой! — а на их историческом образце показал столько раз проверенную с тех пор механику героического преображения в борьбе за правое дело — как наций, так и отдельных мирных душ вообще. Все внятно автору Войны и мира, Казаков, Анны Карениной и Воскресения — бури и неощутимый ветерок, столь громадное, что не умещается в нормальном зрачке, и мнимые мелочи, ускользающие от рассеянного взора, полдневное величие и вечер человеческой личности. Кроме того, противоречия и сложная биография Толстого помогла ему показать людское сердце в самых неожиданных сеченьях, и, конечно, после Руссо никто еще не распахивал его читателю до такой степени настежь. Сегодня, с полувекового расстоянья, Толстой без всякого под-

свечиванья виден нам во весь исполинский рост не только свершений, но и колебаний, крайностей и заблуждений своих, неминуемых для искателей правды, которая никому пока не попадалась в чистопородном виде.

Облик этого человека не умещается в рамки даже выдающихся литературных судеб. Подобно тому как о Пушкине, по слову Белинского, стыдно говорить смиренной прозой, имя Толстого требует сегодня праздничного словесного обрамления. Имя это входит в список едва ли полной дюжины великих мастеров слова, начиная с античной колыбели культуры нашей. Самый труд его представляется нам поистине Геркулесовым подвигом,— он весь как гора на столбовой дороге прогресса, с высоты которой видна вековая, иссеченная тропами даль человеческой мысли. Все они там, от самого Фалеса,— собеседники Толстого!.. И здесь мне полагалось бы остановиться на немеркнущей пленительности толстовских образов и, в частности, провести хрестоматийные параллели между Татьяной Лариной и Наташей Ростовой; сглаживая трудности духовных исканий Толстого, полагалось бы помянуть вскользь про всепоглощающий пантеизм и одновременно подчеркнуть столь основательное у Толстого и пресловутое, чрезмерно часто упоминаемое сегодня знание жизни, которое, по правде говоря, само собой вытекает не только из подразумевающейся литераторской честности, но также и профессиональной потребности нашего ремесла,— то есть такое проникновенье в жизнь, что иная его страничка кажется пригоршней неостылого житейского вещества, выхваченного из глубины тогдашней действительности. В связи с этим было бы важно еще раз раскрыть замечание Ленина о сильнейшей разоблачительной стороне толстовского творчества, которою является его самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок.

Для нас, нынешних литераторов, полезно было бы также остановиться на поразительной точности толстовского мышления и подгонки к нему толстовского языка — порою узловатого и терпкого, включающего в себя целый вихрь непроизнесенных оценок и психологических интонаций; языка столь емкого, с таким гулким эхом, что позволяет читателю не только спускаться в глубь страницы по ступенькам строк, но и по прочтении книги долго бродить в ее волшебных окрестностях; пусть иногда затрудненного толстовского языка, заставляющего, по отзыву Чехова, карабкаться на отвесные кручи словес-

ных периодов, что всякий раз с избытком окупается открывающимся сверху кругозором. Не менее уместно было бы перечислить причины столь могучего, оплодотворяющего влияния Толстого на европейские литературы и заодно показать на ряде блистательных примеров, как поэтические свершения писателя повлияли на наш национальный характер и как в его собственном творчестве проявились размах, упорство, глубина и другие качества русской натуры. Все это необходимо для понимания исключительного толстовского места в потоке мировой культуры, чем и объясняется такое множество книг о толстовской прозе как на русском, так и на иностранных языках.

Не меньше, главным образом за границей, написано и о прочих, гораздо реже раскрываемых нами томах Толстого. Причем некоторые заграничные исследования добиваются довольно откровенной цели — сделать Толстого провозвестником идей, которые, на наш взгляд, никак не вяжутся с истинными воззрениями писателя на современные ему законы общества и цивилизации. Кстати, это случилось и вследствие затянувшегося нашего невнимания к той части писательского наследия, что находится за пределами его главной прозы. Мы сами как бы отдавали писателя на произвольное, зачастую недобросовестное истолкование его духовного искательства... Некоторые обострившиеся обстоятельства нашего времени натолкнули меня даже в моем кратчайшем раздумье о Толстом заняться как раз этой мнимо второстепенной темой, потому что, как и главная толстовская проза, это тоже окна в большой, с анфиладами и галереями, душевный дом писателя, только окна без занавесок. Сюда так и просится название *малой* или *учительной* прозы Толстого. В отличие от основных его шедевров, каждый из которых точно прикреплен к определенным этапам российской действительности, эти чисто отвлеченные произведения по своей общехристианской идейной устремленности не датированы никак. Сюда входят небольшие по размеру рассказы, исполненные в сдержанной форме четьи-минейных легенд и преданий, местами с аскетическим отказом от авторского почерка, и всегда — образцы жанрового лаконизма и простоты. В щемяще-человечном говоре их слышится столь несвойственный Толстому голос странника, хлебнувшего из обманчивой чаши бытия и обретшего наконец покой от преходящих обольщений света. У всех бывалых народов найдется по бочонку такой живой воды, к которому, и помимо кораблекрушений, полезно иной раз при-

льнуть пересохшими устами. Остается впечатление, что при помощи этих маленьких, на один глоток, сказаний Толстой стремился утолить извечную человеческую жажду правды и тем самым начертать подобие религиозно-нравственного кодекса, способного разрешить все социальные, международные, семейные и прочие, на века вперед, невзгоды, скопившиеся в людском обиходе от длительного нарушения ими некоей божественной правды.

За минувшее полстолетие создалось определенное неписаное отношение к этим рассказам: наравне с пространной церковно-философской публицистикой Толстого они представляют для читателя менее интересную часть почти необъятного толстовского наследия. Вместе с тем в плане обычной толстовской практики многие из помянутых произведений до такой степени годятся в расширенные эпиграфы к каким-то им так и не написанным романам, что их можно считать зернами громадных, так и не проросших замыслов писателя. Литературный труд у подобных Толстому скорее суровое призвание, чем профессия,— как, впрочем, и будет оно обстоять у всех тружеников, когда они научатся творчески относиться к своей человеческой должности на земле. Книги таких авторов являются своеобразными отчетами о работе над своею гигантской личностью,— эпизодами их духовной биографии. Насколько дано мне понимать, каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он и развязывает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что это у таких художников бывает сплетено воедино, причем наличие одного признака непременно свидетельствует о присутствии другого,— так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов. Подобно общеизвестной трагической проблеме Гоголя, существует проблема Толстого; в ней и лежит разгадка — от жизни или, напротив, к жизни уходил Толстой из дому за полторы недели до кончины...

Можно спорить, в какой степени правомерно столь вольное толкование ведущей толстовской темы. Но даже в ту насквозь скорбную неделю, ровно полвека назад, пока еще не завяли цветы на свежей толстовской могиле, настолько расходились мнения современников о нем, что в один и тот же день погребения Гауптман провозгласил Толстого величайшим

христианином, а Метерлинк — величайшим атеистом века: единственно правильное в обоих суждениях — эпитет. Тем более, на мой взгляд, потомок имеет право на самостоятельное понимание явления, предстающего ему во весь рост без досадных подробностей и в полувековой дальности,— пусть даже на толкование запоздалое и, верно, столь же несовершенное!

Кроме мглистого утра в окне да шуршанья газетного листа с траурными сообщениями о смерти писателя, мне, десятилетнему мальчику, врезались в память тогдашние разговоры среди взрослых, пестрая многоголосица молвы о толстовском уходе, происходившая не из одной лишь обывательской любознательности. Все понимали, что этим актом завершается многолетнее и непонятное толстовское единоборство с самим собою, происходившее на глазах как у европейски мыслящего мира, так и прозревавшей низовой России. В той среде, где я рос, событие это живо обсуждалось как первостепенная общественная загадка; и одни присяжные чтецы газет видели в этом акте попытку мудреца избавиться от неправедных излишеств своей среды, от стеснительных житейских обуз,— другие же толкователи, с уклоном в богословскую умственность, смотрели на уход Толстого как на душеспасительное бегство от суетной и бесчестно сытой жизни к желанному покою наедине с душою, а возможно, и с богом. И те и другие догадки выглядели вполне правдоподобно в свете всегдашних толстовских настроений, кроме самого адреса толстовского ухода.

Вспоминаю свои путаные юношеские и чуть позднейшие недоумения по поводу учительной толстовской литературы. Прежде всего — что́ именно толкало этого сложного, своенравного, с мировым признанием художника, каждая строка которого тотчас по написании появлялась в десятках иностранных переводов, обращаться, казалось бы, к более доходчивому, как частенько полагают и в наши дни, а на деле к совершенно проигрышному, вследствие своей откровенной упрощенности, методу влияния на современников. Причина представлялась мне в том, что учительные рассказы Толстого, как и статьи этого раздела, писались хотя и вперебивку с основными его произведениями, но все же главным образом во второй половине творческой деятельности, когда уже редел такой дремучий вначале лес жизни, и, в предвиденье художника пока, мглистая опушка заключительной неизвестности таинственно просвечивала впереди. Думается, где-то здесь периодически и зарождалось у Толстого содрогание перед заключительной не-

избежностью, самую волю к жизни поглощающий арзамасский страх, названный так по городу, где впервые у него случилось это. Собственно, уж близилось... а тяжеловесное перо художника никак не поспевало за работой жадной мысли, которая ищет всего коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив высшим разуменьем, устремиться вперед,— которая «хочет на лету засечь протекающие сквозь нас вещи и мгновения, чтобы определить свои координаты в потоке бытия, без чего можно так безнадежно заблудиться в этом слепительном и мглистом пространстве». Этими словами думалось мне в ту пору; приблизительно так же, только проще, думается и теперь. Истинное произведение искусства, произведение слова — в особенности, есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию, а на это требуется время. В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства выращивается, как плодовое дерево; подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако — с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем суровом континентальном климате... Словом, не потому ли Толстой со смиренным лукошком сеятеля выходил на ниву народную, что торопился до заката опростать переполненный зерном кошель, пускай под снег, в не пропаханную еще людскую целину.

Тем более торопился он, что уж и некогда становилось: зарницами надвигающейся грозы то и дело посверкивало небо страны. Приближалась всеобщая ломка старых устоев,—бесшумные, но такие сердитые гребешки все обильней вскипали на волне моря народного. С каждым годом ощутимей под ногою и в сознании толстовских современников происходили подвижки материковой, вчера еще — верилось — столь незыблемой в России почвы!.. Во второй половине девяностых годов бунтарское пламя с рабочих окраин перекидывается на российскую деревню. В литературных салонах шепотком поговаривают, что вот идут мужики и несут топоры: что-то страшное будет! Первомученики революции чредою восходят на эшафот. Невежество, нищета и каторжный труд низов — все это тяжким грузом давит на совесть писателя. Еще в 65-м году, накануне очередной всероссийской голодухи, Толстой глухо роняет в одном письме к Фету — дескать, в случае чего, и нам достанется! Нам —

то есть правящим сословиям и церкви... Тот же жуткий предвестный холодок будущего не менее остро ощущал и другой, чуть постарше, сверстник Толстого по классической литературе русской, у которого страх перед грядущим так явственно отразился в одном не худшем его романе. Достоевский мучился страхом — что же станет с человеческой душою, если древние своды всемирного христианства рухнут на цивилизацию, которая за две тысячи лет так прочно и плодотворно обосновалась под ними. В то же самое время Толстой, подобно библейскому Самсону,— в конечном счете на самого себя, на собственный свой сословный мир! — стремился раздвинуть стеснительные ему, подернутые сеткой исторического склероза колонны. Он острее своего великого современника чувствовал неотложность общественной перестройки, в первую очередь — для пресыщенного привилегированного сословия, к которому принадлежал, а не только для трудового люда, который, по Толстому, и есть истинные дрожжи жизни и который во всех религиях служит почему-то главным объектом опеки и воспитания. Жить по-старому становилось все трудней Толстому, занятие это мнилось ему все горше и бесчестней. Куда ни выйду — стыд и страдание! — вырывается однажды, как брызга, из-под его пера. А вот он на верховой прогулке проезжает мимо сутулых, безличных, под слоем придорожной пыли, мужиков. Они бьют камень на обочине... Точно... сквозь строй прогнали! — по привычке, кровью сердца, записывает про себя Толстой в дневнике. Поразительно вообще, до какой степени сильно и ежемгновенно этот великий человек чувствует на себе пристальное... нет, даже в лютых бедах не заплаканное, лишь прищуренное око народное, око нищего младшего брата, в котором сквозь подавленную гневную усмешку теплится недоверчивое удивление перед человеческой черствостью. Можно живо представить, с каким презрительным вниманием люди Черной Африки смотрят сегодня на старших, осиянных светом христианского гуманизма, белых братьев, которые, нагостившись досыта, не желают убираться восвояси из их скорбных хижин.

Работа осмысления жизни началась у Толстого еще в юности — с раздумий о себе, с попыток самоограниченья, с тех общих запросов бытия, на которые умному бессильны ответить самые осведомленные и самонадеянные науки. Даже в годы шумной молодости под радужной пленкой светских удовольствий, не затухая ни на миг, бродит у него, тлеет эта ис-

корка негодованья на себя за телесные и нравственные слабости. В пятнадцать лет мальчик Толстой назовет себя учеником Руссо, и эта робкая вначале искра самоанализа в полную силу разгорится в зрелые годы, когда писатель вслед за великим энциклопедистом, на не меньшем уровне человековедения создаст еще одну Исповедь — пристрастный, третьей степени допрос самого себя, и, пожалуй, беспощадней, чем у Августина, изобретателя этого редкого литературного жанра. Можно приблизительно датировать начало перелома от мечты к ее практическому осуществлению: когда и без того недолгое левинское счастье впервые омрачилось думой о месте человека в жизни и снова просветлело лишь к концу романа от спасительного прикосновения к патриархальной земледельческой идиллии. Тезисом Левина становится — дать возможность миллионам понять одни и те же истины, чтобы по ним создать жизнь души, единственную, ради которой стоит жить. Это все одно как клятва себе — любой ценою уяснить смысл бытия; к своему заданию Толстой и Левин приступают с решимостью горько и больно наказать себя, самовольным отнятием дара жизни покарать себя в случае неуменья отыскать ей достойное применение. И так властно охватила Толстого эта одержимость — обрести истину для всех ближних на земле, так сильна стала уверенность в правильности избранного направленья, что в тридцать семь лет в той же заветной тетради Толстой задумывается о создании новой, соответствующей развитию человека религии. Возможно, даже одного этого порыва и хватило бы гиганту на выполненье своего обета,— кабы пораньше, в условиях, скажем, натурального хозяйства, когда иные пророки единственно огнем проповеди, бичом строгости, наглядным примером успешно добивались известного душевного и материального благополучия своей кочевой паствы... Отныне бродившая в глубинах искра прожигает бумагу под пером художника и пробивается пламенем наружу. Образуется так называемое вероучение Толстого.

Бросается в глаза смутительное родство эпилогов в творческих биографиях Гоголя и Толстого. Оба к концу жизни предались неистовству христианства в ущерб основной поэтической стихии, обоих пытались вернуть к их прерванной песне, у обоих образовались менее или вовсе не читаемые тома, оба жгли написанное ими в лучшую пору: один — вещественно, в печурке на Никитском бульваре, другой — жгучим пла-

менем хулы на себя в *Исповеди*, когда называл свои шедевры корыстным бездельем или напрасным умствованием. И, наконец, у обоих эта деятельность вызвала почти одинаково резкое осуждение со стороны передовых умов своего времени. К слову, Толстой высоко, по пятибалльной системе оценил некоторые места из гоголевской *Переписки с друзьями*. Однако при внешнем сходстве этих духовно-философских поисков, вообще свойственных большой русской литературе, совсем несхожий огонь сжигал обоих. Трагическое письмо Гоголя к черному священнику Матвею бросает свет на клинику сожженья *Мертвых душ*, на снедавший Гоголя, не только литературный, недуг. Тем разительней, на мой взгляд, отличие этого полуночного каминного пламени от полдневного толстовского костра, не помешавшего ему в конце жизни создать столь блистательное *Воскресение*... Впрочем, профессиональный литератор отыщет во второй части этого романа как бы зачерненные места, где этот пламень совести и гнева лизал толстовское вдохновенье в ущерб живому чувству. И если Гоголь во мглу и схиму уходил от людей, Толстого всю жизнь влекло к вечному празднику созидательной радости, в разлив простонародной стихии.

Понятно, какая трудная, просто опасная задача — в беглом очерке рассудить проблему великого, за полвека не превзойденного писателя. Почти всякая попытка окинуть взором явление подобного масштаба рисует скорее тихие возможности самого толкователя с его скромным инструментарием, нежели возвышенный объект предпринятых рассуждений. В сущности, оно и не надо бы!.. Но именно толстовское творчество породило в мире не затухшие пока идейные разномыслия, выходящие далеко за границы чистого литературоведения. Не только у нас отмечается сегодня память Толстого, и, может быть, в этот самый час где-то и чей-то озлобленный ум постарается набором лихо подобранных толстовских цитат нанести моральный урон нашей родине, к которой Лев Толстой всей своею сущностью принадлежал и которую так возвеличил. Наверно, нападки эти последуют именно с позиций так называемого толстовского христианства,— развитой Толстым евангельской строки о непротивлении злу насилием, которая сблизила толстовский гуманизм с гораздо более древним нравственным кодексом, зародившимся в одной благословенной стране вечного лета, вдалеке от наших северных стуж и нашествий, под защитой высочайшей горной стены мира... С таким же осуж-

дением будут помянуты, конечно, и неминуемые этапы, через которые в этом грешном, запятнанном мире проходила социалистическая революция, без которой, кстати, такая пестрая сегодня, радужно-веселая карта колониальных Азии и Африки доныне была бы покрашена в два-три унылых европейских тона. Ни в одном из упомянутых почтенных источников не указано, однако, как и чем следует живым защищать свои гнезда и детишек от столь неутомимого злодейства, от вчерашнего дня, который, судя по всему, не прочь бы зверски хлопнуть дверью, навсегда покидая планету. В этих условиях держаться непротивления можно только в случае, если кто-то другой, большой и отважный друг, примет на себя грех и подвиг сопротивленья всемирному злу во имя всех униженных и угнетенных на свете.

Признаться, странное же было у писателя Льва Николаевича Толстого христианство, обряды которого он отвергнул в семнадцать лет,— сомнительное христианство Толстого, от которого официальная церковь вынуждена защищаться отлучением, то есть публичным проклятием с амвонов страны, что хоть и полегче лишения гражданской чести на эшафоте, под барабанный бой и через палача, все же не могло не влиять на самочувствие графа Толстого в привычной ему среде, ставило его в затрудненные отношения с любезным его сердцу патриархальным крестьянством. Вера Толстого вела не в отшельнический затвор, не в пустыню эгоистического уединения от суетной житейской толкотни, а, наоборот, к деятельности на пользу ближних, во имя добра и мира, к простым людям — в том исчерпывающем сближении, к которому тянется всякая крупная, общественно мыслящая личность. Стоит лишь прочесть текст синодского отлучения 22 февраля 1901 года с перечислением толстовских ересей, за каждую из которых три века назад запросто сжигали на площадях Европы!.. Итак, требуется найти другое обозначение духовным исканиям Толстого, которые, по слову Ленина, завершались стремлением *смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян.*

Нет, это не бдения аскета, терзаемого ночными видениями в духе некрасовского дяди Власа, без чего, верно, не обошлось у Гоголя, а прямой бунт против церковных ветоши и волхований; окрашенный буслаевским озорством, бунт ничему не подвластной силушки, которую столь зорко в Толстом подметил Горький. В прельщенье гордого ума, как говорилось в тексте отлученья, Толстой расшатывал догматические устои религии. Надо помнить, что, как все религиозного типа сообщества, церковь еще на пороге храма требует от верующего полного отказа от самостоятельного мышления, то есть от собственной личности вообще, и с этой исключительно целью ведет его через испытательные лабиринты темных иррациональных догматов. Разуму тут неминуемо приходится потесниться, и лучшим выражением такой смятенной капитуляции служит исступленное, с пеной на губах вырвавшееся у Тертуллиана знаменитое латинское восклицанье о своей фанатической вере пусть даже в бессмыслицу,— то есть о готовности во имя Провидения ринуться даже во тьму безумья... Римскому богослову противостоят ясные слова Толстого: Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить.

В изложении так называемой толстовской веры нигде не найти ни положенных ей богословских рассуждений о таинственных качествах надмирного существа, ни попыток с помощью мистической алгебры вписать его в космос, как это практиковалось у отцов церкви. Вся проповедь Толстого родится из намерения совместными людскими усилиями утвердить честную, беззакатную радость в опустошенной напрасным и совсем необязательным страданьем душе человека. Любому слову в философской терминологии Толстого, вплоть до столь далекого, казалось бы, от нашей современности царства божьего, найдется надежный синоним и в нынешнем гуманистическом словаре. Так, бессмертие в письме к англичанину Кемпбеллу трактуется Толстым чуть ли не как вечная признательность живых за оказанные однажды для них благодеянья. При этом обязательность добрых дел Толстой выводит не из ужаса перед каноническим загробным возмездием, а из естественного и осуществимого права каждого смертного на свою долю счастья... Разногласия возникнут позже — в отношении дороги к его осуществлению! Корень их лежит в разности

воззрений — бытие ли определяет сознание или наоборот... Но ведь на протяжении тысячелетий небо над людьми и просторы вод океанских у их приножья были так прозрачны и громадны, что каждый по собственному складу и росту находил там свое отраженье. Не состоит ли весь путь философии как раз в непрестанной полемике — откуда же берется в нас этот священный пламень жизни и мысли? Добывает ли его человек посредством трения деревяшек, родится ли с ним, предвечно зажженным в душе, или бедняге приходится всякий раз похищать его у богов?

Итак, он был вполне сыном Земли, Лев Толстой, упорный труженик и гордец, который в полную нагрузку принял на свои плечи добровольное и пленительное бремя борьбы и тревоги за людей; и не следует считать зазорным недостаток, если подобные Толстому, при своем росте, не в меру часто достают головою небо. По его собственным словам, он принадлежал к тем людям, которые, *может быть, и рады бы не мыслить и не выражать того, что заложено им в душу, но не могут не делать этого, к чему влекут их две непреодолимые силы: внутренняя потребность и требование людей*. Великий художник, он в то же время был ненасытного жизнелюбия человек, который в пятьдесят лет уселся за изучение древних языков ради ознакомления с первоисточниками общеизвестных истин. Всякий звук жизни вызывал гулкое эхо в его душе, ничто не ускользало от его нетерпеливого и деятельного внимания — философия истории, сословная архитектура государства, задачи педагогики и воспитания, смертная казнь, голод в Поволжье, деньги и землевладение в России, духоборческая эпопея, вопросы веротерпимости, бессмертия, любви и воли. Игрой политической оказии подвернувшийся в 94-м году обменный визит русских и французских моряков вызывает у Толстого обобщенный саркастический отклик на целых три печатных листа. Все касается гения в его эпохе, всякое явление стремится он уложить в логический и моральный чертеж, чтобы высказать ему приговор или оправданье. Он пашет землю, кладет печи и шьет сапоги для высшего проникновенья через мускульное ощущенье, которое для писателя неизмеримо важнее знания книжного, а тем более — понаслышке. Даже во внешнем облике его сквозят знакомые и вечные черты другого, столь же ненасытного исследователя жизни — Леонардо, который вот так же шествовал по своей эпо-

хе, вызывая завихренье творческой мысли вокруг себя. Нападавший временами на Толстого пресловутый арзамасский страх происходил от вполне земного, телесного протеста против безжалостного средства, которым пользуется природа для смыванья старых, ею же начертанных чудесных письмен и видений — ради все новых, наплывающих из звездной пучины,— протеста против смерти, мысль о которой так любит навещать людей отменного душевного здоровья, зачастую в полдневном блеске бытия. Невольно вспоминаются соответственные страницы *Смерти Ивана Ильича*: как нужно было любить жизнь, чтобы так написать смерть! Думается, такое же гнетущее, на пределе творческой зоркости возникшее предвиденье — даже не мрака могилы, а бессмысленности предстоящего уничтожения, от которого ни хитрость, ни власть, ни деньги, ни крепостные стены не могут уберечь,— этой кощунственной бездеятельности ума и рук, разлуки с ненаглядными призраками и обольщениями земли, толкнуло Горького написать *Егора Булычева*... Вот так же страшно одинокой капле воды забираться в ледяное поднебесье, скитаться по голубой пустоте, падать, теряться и пропадать во тьме преисподних глубин... пока однажды не осознает себя посланницей вечного материнского моря. И от этой прояснившей животворящей связи, от соседства со множеством таких же, туда же несущихся в пространстве сестер вдруг раскрывается смысл неповторимой, отпущенной нам веселой радости — грозно шуметь на гребне штормовой волны, сверкать в радуге, журчать в ручье весеннем и вместе с июльским проливнем разбиваться об иссохшую ниву!

Еще за двадцать восемь лет до кончины, разочарованный в строе окружающей жизни, Толстой определил высшее удовлетворение бытия не в барском безделье, развлечениях или даже книгах, а в безраздельном слиянии с миллионами капель людского моря, в данном случае — крестьянского. Давняя у Толстого идеализация земледельческого уклада и горчайшее, за каждый сладкий съеденный кусок, никогда не покидавшее его чувство дворянской вины перед нищим, ограбленным народом служили тому питательной средой. Надо учесть, что все тогдашнее крестьянство, пока *укладывалась развороченная реформой действительность*, страдало от земельного и прочих неустройств... То была почти безоговорочная симпатия писателя к русскому крестьянину, даже с каким-то слепым обожествлением его бытовой скудости без

развратительного избытка, почти с завистью к безграмотности, к его добротному невежеству, как будто в этом — прибежище нетерпеливого ума, как будто есть хоть щель на земле, где не происходило бы сомнений, расслоенья и затем вечной схватки противоположностей, гарантирующих гармоничное развитие всего живого... Не в том ли благо, по Толстому, чтобы уйти от нечистой, пороками запятнанной цивилизации в гущу народную, в ничем не возмутимую природу, ближе прильнуть к ее вечной груди, где в условиях стерильной детской чистоты и должны возникать образ жизни и погода человеческой истории? Всюду в толстовских произведениях симпатии автора на стороне народной массы — вспомнить только самочувствие Оленина и Нехлюдова в ранних вещах или авторское отношение к Герасиму и Акиму в поздних. Мудрец Каратаев всего лишь солдат, и Пьеру Безухову больше всего хочется быть солдатом, просто солдатом. И если уже никому не ведомый автор пятисотлетней давности, Петр Хельчицкий, написал книгу, по словам Толстого, *умную, сердечную, сильную и до наивности ясную*,— значит, он был также земледельцем! Чуть заходит речь о блаженстве и покое на земле, тотчас между строк слышится знакомый мотив нравственного совершенства, самоограничения в потребностях, и еще — что только посоленный трудовым потом хлеб способен утолить терзающий нас душевный голод! Невольно вспоминается, видимо, за аскетическое опрощенство полюбившийся Толстому афоризм Григория Сковороды: *благодарение богу, что все нужное — не трудно, а все трудное не нужно*. И даже на смертном ложе в астаповской каморке, когда все житейские привязанности, спутники жизни, также избранная им котомка странника — все осталось позади, с мертвенных губ Толстого срывается последняя его, зарегистрированная газетной хроникой, пронзительной тоски полная фраза: ...*нет, мужики так не умирают!* И в этом предсмертном, сквозь зубы, сожалении выражена вся житейская философия Толстого — строить жизнь так, чтобы уходить из нее безбольно, как все эти немудрствующие счастливцы — деревья, птицы и труженики земли: без лжи, без боязни, без оглядки, без жалоб, без попреков совести. Отсюда — несколько в ином свете предстает уход Толстого из дому в ту глухую предзимнюю ночь.

Пусть истлевшая бумага и память наша еще хранят тягостные подробности последних лет его яснополянского суще-

ствования, но нет, не в семейных недоразумениях дело и не в несчастной писательской жене, которая с уймой детей на руках сама столько раз, для нас с вами, переписывала вновь и вновь исчерканные толстовские рукописи. И ведь правда, нам всегда хотелось, как досадный летучий сор, отстранить все это рукой, чтоб не заслоняло, не мешало вглядеться в дорогое нам лицо Толстого! Вообще, не пора ли кончать с пигмейской привычкой запускать нос и руку в телесные подробности наших исполинов,— доселе попадается нам дежурный репортаж из-под кровати Пушкина!.. Как хорошо, что с полувекового расстоянья ничтожное растворяется в голубой дымке, и Толстой, подобно снежной вершине, предстает нам в веренице горных пиков, этой галерее бессмертных, которая, сколько бы ни продвигались мы вперед и вперед, вечно будет сиять на горизонте человеческой культуры... Уход Толстого поэтому выглядит как запоздалое освобождение, когда, порвав истончившиеся путы, он осуществил старинное намерение раствориться в своей бесхитростной России и, тем самым, в рядовую былинку запрятать свою непомерно огромную, ему самому непосильную личность.

Все здесь сказанное вовсе не означает, что пустовало небо Толстого или что лишь мужики с сохами да земная юдоль отражались в нем. Воспоминания Горького как раз начинаются свидетельством, что — мысль, которая, заметно, чаще других точит его, Толстого, сердце,— мысль о боге. И дальше — важная, хотя столь субъективно окрашенная горьковская поправка: иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Силе этого яростного и беспрестанного богоборчества соответствовала и толстовская одержимость — ее имелось у него вполне достаточно для основания новой религии, о чем помышлял однажды на странице дневника. Более чем полувековая, ничем не сломленная обличительная деятельность Толстого роднит его даже с пророками древности, которые вот так же, единственно с заступом веры и воли выходили перекапывать человеческую целину, изменять географию континентов. Скажут, что были времена попроще... Но в таком случае вспомним обильные толстовские рассуждения о войнах, праздности, богатстве, даже о прибавочной стоимости — столь современные, что как бы невысохшие чернила блестят в строке. А чего стоит вступление к одной статье девяносто шестого

года, где, словами самого Толстого, прокламируется безоговорочное *уничтожение строя капиталистического с заменой его коммунистическим*. С другой стороны, стоит припомнить — как объятый пламенем разум Толстого отменял Данте, Рафаэля и Шекспира! Или — как собственная совесть, достаточно разъяренная, чтобы парализовать руку гения, упрекала его же в корыстолюбивом вымогательстве хлеба народного с помощью написанных им книг. Или его готовность даже остановить прогресс во всем разбеге: *пусть погибнет культура, но восторжествует справедливость*; и рядом: *чем больше мы отдаемся красоте, тем больше удаляемся от добра*, где красота выставлена прямой пособницей и маской зла. От подобной стерилизации мира огнем не далеко и до костра Савонаролы. С такой решимостью немало можно жарких дел наделать по части исправления земного шара!

Тогда чего же недоставало ему, столь решительно замахнувшемуся на обреченный мир Толстому?.. Чего недоставало ему — голоса, огня, пророческого рубища, чтобы возглавить возрождение обнищавшего человечества, прополоть заросшую сорняками людскую ниву?.. и — если не основать новую религию, то хотя бы занять заслуженное место в утверждении новизны, которая уже в ту пору стояла у ворот мира и семь лет спустя после толстовской кончины ворвалась в него на штыках русских рабочих и солдат? Всегда бывали у людей мечтанья, слишком объемные и глубинные для осуществления в одиночку,— так почему же не апостолы, не пламенные ученики, а лишь рассеянные по свету сектанты остались после Толстого, вроде тогдашних штундистов или молокан? Не в том ли разгадка, что задуманное преображение жизни Толстой пытался произвести через провозглашение всепрощающей надмирной доброты, которую, к слову, христианские иерархи за два тысячелетия так неосмотрительно приспособили к удобствам знатных и богатых. Опять же евангельское речение повелевает в первую очередь заняться душевным устроением — *остальное приложится вам!* Но вся родословная людских страданий показывает, что, кроме небесного осияния в душах, ужасно как много требуется людям для сносного существования — хотя бы и не на столь высоком уровне, который у Толстого обозначен термином царства божьего.

Список людских нужд, скрытый в евангельской рубрике — *остальное*, открывается хлебом насущным. Так чем же на-

кормить семью и прочее человечество, которого к исходу столетия накопится шесть миллиардов едоков? Со времени Нагорной проповеди еще не удавалось повторить евангельский опыт насыщенья пятью хлебами несоответственно большего количества ртов. Видно, благочестивой Марии никак не обойтись без земной хлопотуньи Марфы! А там чередою — чем дальше, тем грозней — встают смежные вопросы: как обеспечить всех одеждой и, в нашем климате, теплым жильем; как во вселенском масштабе наладить товарный обмен веществ, из которых делаются стихи, рельсы, телескопы и всякий ребячий инвентарь; и как отбиться от безумных кровопролитий и испепеляющих термоядерных бурь, чтобы матери не сходили с ума от тревог за будущее своих малюток? и как усовестить иных деятелей, настолько закосневших в классовой алчности, что даже два подряд, с промежутком в двадцать лет, всемирных столкновения не могут образумить их; и, наконец, чем остановить лавину «холодной войны» на краю кратера, куда все чаще заглядывает человечество с закушенными до крови губами? Видимо, требуется какое-то средство посложней евангельской цитаты, чтобы защититься, вырвать у ада наши смену и достояние — все то, что по праву принадлежит уже наступившей новизне.

В своих народно-учительных рассказах Толстой ставит на рассмотрение не частные — семейные, скажем,— проблемы, не такие уж неотложные, как — искусства или даже воспитания, а первоочередное назначение прогресса — универсальное людское благо. Это дает нам право на один прямой вопрос, который пусть останется без ответа!.. А что, если бы Лев Толстой, взыскательный и до скрупулезных мелочей обстоятельный художник, вздумал переселить бесконечно-праведное население своей малой прозы — старцев, отроков, странников и приветливых молодаек — в плоть и кровь своей же большой прозы,— то есть перевести их из умозрительного четьи-минейного существования на реальную почву тогдашней российской действительности, оделив их всем необходимым для полнокровной житейской радости,— то есть надежно защитив их от бедствий войны, голода и безработицы, классовой дискриминации, экономического паразитизма и прочих бед существования, то не пришлось ли бы автору пойти на утверждение некоторых неизбежных социальных предпосылок и мероприятий, способных правдоподобно обеспечить благополучие его героев? Как раз пренебрежение этими мнимыми мелочами и

влечет за собою потрясения всемирных катастроф, оставляющих позади себя курганы братских могильников и бедные, вонючие руины. И если бы великий художник слова решился на этот гениальный, логически подготовленный пересмотр, еще неизвестно — в какой другой точке он вышел бы на столбовую дорогу тогдашней передовой мысли... Словом, Толстому оставался только шаг,— но, правда, через какую же бездонную пропасть!

Для этого требовались другие средства и решимость несоизмеримо большая, чем только порвать сословную паутину. Легче обрушить гневную мысль на отвлеченный порок, чем голыми руками и в непогоду взяться за перекладку материальных основ бытия, вступив на путь, которым шел Ленин. Совсем иная сортовая сталь идет на резцы — для ваяния поэтического образа или новых общественных форм, и в этом мне видится отличие деятельности великого поэта от великого вождя. Толстой в первую очередь был художником, и предсмертный к нему призыв Тургенева вернуться на магистральную, покинутую им дорогу показывает, что́ думали о религиозном реформаторстве Толстого лучшие люди его века.

Творческая лаборатория Толстого раскрывает нам поучительный опыт поистине великанских как свершений, так и заблуждений, уводивших его порою от эмоциональной пушкинской традиции к рационалистической проповеди, тем уже опасной для художника, что она схоластическим умозрением подменяет критическое наблюдение действительности. И на эту проповедь была истрачена половина жизни поразительного художника, который повелением пера внушает читателю любое из спектра человеческих чувств — всегда с оттенком наивного, как при чуде, удивления,— оно неслышно преобразует человеческую душу, делая ее стойче, отзывчивей, непримиримей к злу. Не за то ли благодарны мы Толстому, что он дал нам силу и право презирать и отвергать Каренина; вместе с Наташей волноваться у постели раненого жениха; плакать от гордого восхищения перед подвигом тушинской батареи; возмущаться фальшью и преступным равнодушием сословного судилища над Масловой, их же безвинной жертвой, вместе с Левиным жадно испить сладкой усталости в знаменитой сцене покоса; навечно и благодарно запомнить зрительное и нравственное потрясение от той, на пределе мастерства исполненной разоблачительной встречи простертого на Аустерлицком поле Болконского со своим кумиром, осуществляющим истреб-

ление жизни? Все эти сцены наполнены трепетом подлинной жизни, и не этого ли глубинного проникновения в человеческую душу, продиктованного уважением к всегда неповторимой человеческой личности, так недостает подчас нынешней литературе?.. К какому же методу, из двух испробованных Толстым, надлежит обращаться современному художнику слова для скорейшего и надежного воздействия на читательское сердце? каким плугом и на какую глубину выгоднее нам поднимать слежавшийся душевный пласт, чтобы не обесплодить его еще до засева зерном под завтрашний урожай?

Кресло Толстого стоит пустое. В мировой литературе, в нашей нынешней также, некому пока сравниться с Толстым. Может быть, не в том и была наша задача, чтобы немедленно и до конца изъяснить разверзающуюся новь, наполненную вспышками молний, содроганиями тверди, грохотом исполинской ломки. Порою бумага тлела в наших руках! Не в том ли заключалась обязанность наша, чтобы пронести светильник гуманистической литературы сквозь бурю величайшего преобразования, довести до сведения потомков — как же свершалось все это? Еще не одно поколение литераторов впереди займется изображением и осмыслением баснословных дней и подвигов минувшего полувека, после которого иначе стали выглядеть людские души и поверхность этой страны.

На смену нам придут замечательные творцы слова, и один из них объединит в своем сердце предания молвы народной, новую социалистическую человечность, материальные завоевания обновленной цивилизации,— и это даст ему силу подняться в толстовскую высь, откуда видна будет с полета исправленная и дополненная карта мира, и еще — как прожитая нами трудная эпоха вписывается в большой поток человечества.

В нашей литературе ясно различима черта, до которой нет Толстого и после которой все в нашей духовной жизни содержит след его творческого наследия. Как бы ни были богаты наши деды, создавшие нам историю и язык, заложившие основу материального бытия, мы богаче их: во всех нас есть хоть по крупинке от Толстого. Вот пример взаимодействия Родины и Гения, который посредством врученного ему дара прославил ее всемирно и через это сам стал Львом Толстым, которого ныне славит мир!

1960

О ТЕАТРЕ БУДУЩЕГО

Больше всего человечество ошибалось в суждениях о будущем: слишком мало у людей координат для подобных суждений. Когда люди пытаются предсказывать, это им плохо удается. Самый искусный бильярдный игрок сможет предсказать комбинацию из пяти шаров. Если из семи, то, на мой взгляд, он выдающаяся личность, достойная памятника в Гендриковом переулке. Если из десяти, то это, по-видимому, гений. На предсказание комбинации из двадцати шаров понадобился бы сам господь бог. Жизнь же компонует свои события на миллиардах, а то и больше! — комбинаций, так как, в конце концов, в мире всё определяет всё.

Предсказания надо отнести к области фантастики, а это хотя и увлекательная, но и самая слабая область мышления, особенно в литературе нашей, за немногим исключением.

У нас нередко, рассуждая о театре будущего, гадают главным образом о его внешней форме. Одни думают, что действие будет происходить на площади, другие — в зданиях с особого типа акустикой или колоннами, третьи — на сцене, которая может не только двигаться, но и подниматься вверх-вниз и даже ходить вприсядку. Четвертым видятся такие масштабы сцены, которые позволят по ходу спектакля стрелять из пушек и применять тактические атомные ракеты. А ведь дело-то вовсе не в форме, а в содержании театра. МХАТ начинался где-то в сарае.

Вы спрашиваете меня, что я думаю о театре будущего. Трудно говорить об искусстве, как оно должно выглядеть через энное количество времени. Можно представить лишь приблизительные его контуры, и — не с помощью самых дерзких

прозрений в будущее, а, пожалуй, оглядываясь назад, на весь прежний опыт человечества на этом поприще. Как это происходило всегда? Как искусство вчерашнее шло в свое будущее?

Я думаю, что мои соседи по журнальным страницам в этих размышлениях о будущем станут особенно напирать на модное нынче слово новаторство. Во-первых, это легче всего. Во-вторых, не подлежит опровержениям, ибо никому в точности не известно, как вообще что-либо будет выглядеть в будущем. В-третьих, новаторство — это всегда звучит солидно, научно, революционно. Причем неизвестно даже, какого рода новаторство. Может быть, оно пойдет по линии метлы, обезьяньего или пресловутого ослиного хвоста,— словом, будет новаторством не совсем хорошего тона? Вроде того, как в прежние годы всерьез разговаривали о симфониях для паровозных гудков, причем, надо думать, от таких симфоний сами паровозы приходили бы в негодность.

Полагать, что за небольшой сравнительно отрезок времени, за четверть века, например, можно создать совершенно уж новое искусство, можно лишь от малой осведомленности в вопросах культуры.

Доброе, так называемое старое искусство, его методы, слишком часто сейчас потрясаемые, слагались веками, если не тысячелетиями. Каюсь начистоту и выставляю себя на всенародное поругание, но что-то шибко я сомневаюсь, чтобы каким-нибудь пылким фантастам и потрясателям основ удалось нарушить эти вечные скалы, застывшие, и, мне кажется, не совсем плохо застывшие, в фантастическом пейзаже искусства.

Я отношусь всегда с опаской к людям, особенно молодым, на визитной карточке которых написано новатор. Звания новаторов распределяют потомки.

Я не отрицаю поиска в искусстве. Я даже порицаю отрицающих поиск, отрицаю ограниченную профессиональность, бездумную посредственность в дедовском енотовом воротнике. Более того, лично я хочу верить в искренность художников-абстрактивистов. Но очень уж много примкнуло к ним жулья, за легкость поживы возлюбившего всякую новизну, где еще не установились твердые каноны. И когда абстрактивисты вместо одной точной линии чертят двадцать путаных-перепутаных в одном направлении линий и творят хаос красок и форм, чтобы потрафить двадцати различным вкусам,— это

значит, им просто не хватает своей идеи, воли и голоса. Потому что в наше время, когда мир чуть не каждодневно заглядывает за край бытия с трепетом, у творческих людей не может не родиться мыслей в десять раз более сильных, чем to be or not to be. Ведь Гамлет решал за себя, а человечество сегодня отвечает за общую культуру и цивилизацию. Впрочем, во время извержения вулкана каждый ведет себя по-своему: один спасает диван, другой пишет завещание потомкам, а третий пытается хаосом бессмысленных линий выразить существо происходящего. Мне в таком сокрушительном новаторстве (я говорю о внешнем новаторстве, о нагромождении элементов, о разрушении испытанных основ творчества) чудится попытка спрятать в обломках мелкость духа, тщету мысли. Зачем разрушать, если не произведен главный поиск, если не мобилизованы резервы души? Разумно ли применять взрывчатку для ваяния новых форм? Мутация в одном случае из тысячи может случайно родить гениальное произведение, но чаще всего она приводит к уродству.

Простой потребитель искусства не очень чтит труд абстрактивистов, которые предлагают ему лабораторию, в то время как потребителю нужен результат, товар, готовое произведение, насыщенное творческой личностью художника. Я бывал на выставках абстрактного искусства за границей — посетителей там почти не наблюдается.

Зачастую так называемые поиски нового в искусстве исходят не из возросших потребностей человеческого духа, а из тех дополнительных возможностей, которые предоставляют художнику новейшая промышленность и техника. То есть исходят из внешнего, из достижений материальной культуры. И когда новатор совмещает два цветных круга на фоне лилового квадрата, мне, по правде говоря, на таком полотне рядом с подписью художника хочется увидеть имя фирмы, которая изготовила эти великолепные поверхности, эти неугасающие краски, божественную тушь такого качества, что сама клякса, случайно опрокинутый на бумагу пузырек рождают произведение искусства... И надо быть большим нахалом, чтобы приписывать все эти чужие достижения себе. Здесь мало художника и много новой промышленности.

Может ли, однако, произведение техники, промышленности быть произведением искусства? Например, объектив Никола Першайд особо славился в сравнительно недавние времена, когда я увлекался фотографией, был предметом моих

мечтаний. Кажется, этот объектив обладал волшебным свойством — фиксировать фокус внимания на любой желательной детали. Я видел его однажды. Круглый, с туманной влажной глубиной, он напоминал добрый большой коровий глаз. Мне показалось, что его можно положить на стол и любоваться на него, как на шедевр века, как на техническую веху в развитии цивилизации. Вещь эта в моих глазах содержала глубокое символическое значение, потому что — коллективное творение лучших оптиков, химиков и конструкторов. Тогда впервые для меня возник целый круг вопросов о красоте и долговечности в области материальной культуры, и прежде всего — в какой степени произведения, где человек творил в содружестве с машиной, где гармонии помогала алгебра, может избегнуть музейно-архивной участи, сохраниться навечно, наравне со статуей, в создании которой участвовали единственно вдохновенная воспламененность, молоток, зубило да глыба известняка, и как это рассуждение относится к таким, скажем, насквозь утилитарным вещам, как римский мост или акведук, в которых архаика порой лишь удваивает прелесть. Почему время не властно над театром, состоящим из элементарных слагаемых — вроде подмостков, приставной бороды, картонного меча и актерской души,— и почему мы неизменно испытываем почтительное разочарование, даже скуку, на просмотрах самых знаменитых когда-то фильмов?.. Нет, вряд ли любые факторы внешнего обогащения смогут в добром смысле повлиять на театр будущего.

В Америке, под окном в одной из зал Национальной галереи, стоит превосходное по своей лаконичной целесообразности, поразительной работы кресло, даже получившее премию на какой-то итальянской, всего лишь мебельной, выставке. Я произнес вслух восхищенную, неожиданную для сопровождавших лиц похвалу этому скромному, вроде второстепенному предмету в окружении г л а в н ы х, довольно надменных по своей бессмысленности творений заумного, абстрактного искусства. В какой-то степени они тоже пленили меня, но не идеей или страстным ощущеньем бытия, а самым качеством материала, из которого были сделаны. Бедному Леонардо да Винчи, который вынужден был довольствоваться средневековой штукатуркой для создания Т а й н о й в е ч е р и, даже во сне не снились эти поразительные поверхности, все эти сварки кобальта с никелем, эти легчайшие золотые нити, звездными лучами льющиеся с потолка.

Приспело, мне кажется, время создать оды в адрес современной промышленности,— индустрии подлинных чудес, которая предоставляет в распоряжение художника и человека такие — сами по себе гениальные произведения. Хотя может случиться, что для истинного гения по-прежнему достаточно окажется кремневого ножа и каменной стенки, чтобы нацарапать на ней древнего бизона в его стремительном, недоступном и для нынешнего кино, движении.

Ведь искать нужно не средство выражения, а творческое состояние, мудрость, озарение... А средства придут сами, когда это потребуется. Я не помню примеров, чтобы могучий художник сходил с ума от бессилия выразить воспламенившую его идею. В крайний момент за него решит это автоматически его рука, сам собою откристаллизуется в ней отобранный материал. Ибо во всякой идее уже заключен и лучший способ ее выраженья. Бутылка-то всегда найдется, было бы вино — налить в нее. А в наши дни, невольно думается мне, слишком часто обсуждают форму некой отвлеченной идеальной, даже универсальной для всех жидкостей на свете бутыли, а также — состав стекла и характер орнамента, какой надлежит на нее нанести. А дело-то в напитке!

Человечество столько пережило, столько узнало сегодня, оно хранит в себе столько великолепного и страшного, невероятно взрывчатого и еще не использованного материала, выраженного покуда только в фантастических сдвигах, которые постигли нашу жизнь. Правду сказать, мои современники даже не понимают, какими огромными накоплениями владеют. Любая труженица таит в себе кладези исторического опыта, бесценного для искусства. Сколько она видела, оплакала, перестрадала; сколько было у ней ожиданий, ликований, разочарований, сомнений! Никому из современных художников, у нас и за границей, не удалось пока подобрать ключи к этим тайникам. Мы только похаживаем около, касаемся их не всегда бережно и почти всегда поверхностно.

Для выражения того, чем владеет нынче человечество, искусство должно искать великий знак, первичную идею, первичный символ, понятный в наше время любому современнику. Первые нашедшие его и будут новаторы. Это гении, которые вдруг открывают новую, емкую форму. Если первичный

знак найден — это всегда попадание в мишень, в точку, в яблочко. Потому что красота — это есть точный образ, это попадание.

Происходит что-то очень крутое в жизни и в искусстве. Новые, важные, еще незнаемые свойства возникают у людей, которые начинают жить в существенно измененном мире, руководствуясь какими-то новыми побуждениями.

Все прежнее искусство волей-неволей приобретает сегодня не то что музейный, но несколько академический оттенок. Великая пыль и дым извержения, пронесшиеся за минувшие полвека над миром, осели на музейных шедеврах. Что-то неуловимо потускнело для нас в старых полотнах, страницах, нотных линейках. Это рождает двойственное отношение, и в этом хотелось бы хоть на бегу разобраться.

Несомненно, мы живем в век крупнейших перемен, не только социальных. Меняется все — техника, моральные и научные воззрения, представления о космосе, способы и скорости передвижения, плотность населения. Человечеству становится тесно на земле, и, пожалуй, тесно уму в пределах, которыми он ограничен сегодня. Какие-то общие, неминуемо возникающие, первостепенной важности цели, с одной стороны, и, с другой стороны, становящаяся тесной жилплощадь планеты сбивают людей в одну, все более плотную семью. До такой степени плотную, что народы слышат за не в меру утончившейся стенкой голоса и самое дыхание своих соседей. Человечество поставлено в необходимость очень интенсивно, объединенно обсудить создавшиеся условия, выработать наилучшие способы человеческого общежития. Недаром же у людей такое высокое звание, как homo sapiens. Наша планета сейчас такой населенный дом, что все дети в нем начинают плакать одновременно. Надо твердо усвоить людям: если твоему ребенку плохо, то и моему наверняка будет тоже неважно. В случае пренебрежения к этим вопросам может случиться, что заплачут и их отцы.

Нет, я не думаю, чтобы старые формы были так внезапно свергнуты в искусстве будущего. Категории искусства сохранятся прежними. Человеческое тело останется тем же. Порывы человеческого духа были и впредь будут такими же, как в былые времена. Я неоднократно писал, что палитра человеческих страстей, вероятно, сохранится и в будущем, только

краски примут более яркий и благородный оттенок. Низменные страсти уйдут из нее.

Основой искусства будет все тот же человеческий дух,— это пересмотру и девальвации не подлежит. Потому что природа на планете неизменна — леса, дубравы, реки, горные кручи... если, конечно, в неукротимой своей деятельности человек не успеет истребить всю растительность на планете. Горы, во всяком случае, сохранятся, потому что уничтожать их труднее, чем сосны и ели.

И не надо думать, что все мотивы природы уже исчерпаны искусством. Пейзаж выражает состояние души художника, только таким он и интересен. Состояний же у художника великое множество и, надо надеяться, впредь их станет еще больше. Наше место в природе, хотя мы и цари ее, будет приблизительно таким же, как и раньше, как бы ни внедрялись в жизнь новые виды энергии, пластмассы и антибиотики. Люди будут уединяться парочками, любоваться на луну, на вечернюю зорьку и по-прежнему, как в старое время, пользоваться речкой, чтобы удить рыбу или топиться от неразделенной любви.

История взрывает лишь устаревшие общественные формы, стесняющие мысль и рост человечества, свободу его телодвижений.

Я не жду в будущем такой уж особой новизны, которая придет однажды под гром оркестра и рукоплескания толпы. Мне кажется, что новизна всегда приходит незаметно. Заметны бывают лишь средства, которые открывают ворота новизне. Сами же явления нового живут по закону накопления, перехода количества в качество, потому что новизна — это качество. Его не сразу замечают, а потом оказывается, что оно уже существует. И уже есть произведения, зеркально соответствующие состоянию умов и сердец. Но произойдет это без взлома, без применения ф о м к и в искусстве.

Сейчас что-то необходимое театр утратил. Лишили его святости, атмосферы благоговейного уважения, которая должна царить в нем. Милейший человек и отличный артист Малого театра, покойный теперь П. И. Леонтьев говаривал: «Когда я, бывало, подходил к Малому театру, я шапку снимал еще возле Незлобина». А то — Варвара Николаевна Рыжова однажды попросила у меня разрешения (она играла в моей пьесе В о л к): «Можно мне, милый Леонид Максимович, в этой фразе прибавить вначале «и», без этого у меня слово не идет с

языка?» Вот такое отношение исполнителя к своей роли я считаю образцово-показательным для Малого театра, не только лестным, но и обязывающим для драматурга.

Нынешние жрецы искусства при всяком случае произносят немало сакраментальных и чеканно-умных фраз о верности эпохе, торжественных заклинаний, сопровождаемых воздетыми руками, а между тем, когда видишь творения этих рук и ума на сцене, начинаешь понимать, какая скорбная начинка в этот солидный переплет вложена.

Больше всего надо нам бояться казенного штампа, то есть пошлости, которая, к слову сказать, очень часто применяется в искусстве в качестве смазочного средства при построении сюжета. Именно сегодня ценности культуры должны быть химически чистыми. Пошлость и ложь в искусстве достигают результатов, просто политически противоположных тем задачам, которые ставит общество.

В особенности много грешили у нас по этой части в многочисленных дискуссиях о так называемом положительном герое, все сорок лет в той же трубно-повелительной тональности и с единственным, в сущности, намерением оправдать происходившее с нами и на наших глазах. Правду сказать, у меня как-то никогда не хватало на это энтузиазма, что крайне, до слез порой, осложняло мою творческую биографию, но умеренность и воздержание мои объяснялись не фрондой или злым умыслом, а просто непониманием — из чего готовится сей продукт,— из дуба, железа или резины. Весельчак ли это, от юмора и мудрости по любому поводу, в том числе сомнительному, провозглашающий удалое ура, ванька ли встанька, на всех крутых поворотах недавней действительности сохраняющий оптимизм, здоровье и устойчивость, образец ли христианского добротолюбия и незлобивости, приемлющий все на свете, даже лагеря и страшные бессонные ночи конца тридцатых годов! Видимо, от художника требовался кибернетический автомат, бесполый и безличный, без ошибок и промахов, потому что без адреса и даты, программированный на высшую степень благонадежности, нечто вроде мифического рабочего Василия, под разными псевдонимами бытующий почти во всех, удостоенных высшей ласки, произведениях.

В силу этой путаницы я и сам утратил представление, как надлежит мне относиться к собственной своей особе,— положительный ли я персонаж, по мнению друзей и согласно

лауреатским званиям, или же настолько отрицательный, что, по отзывам былой доносной критики, самое существование мое было крайне нежелательно. Так создавался унитарный, схоластический штамп, эталон для отливки алюминиевых рублей с разными т а к и м и профилями, имевших обязательное хождение в культуре наравне с золотой валютой классики. А писать-то ныне действующего современника следовало во всех его потенциальных разностях, во всей многоликости характеров, судеб и поступков, ибо — как довелось мне выразиться годов тридцать назад,— универсальный, духовный в особенности, одинаково пригодный на всех костюм в просторечии называется с а в а н. Перестанем же баловаться, исполним свой долг перед молчаливым, зорким и таким терпеливым потребителем нашего искусства!

Исполненное величайших озарений, время наше отпущено нам для экспериментальной проверки и воплощения самой действенной людской идеи о з о л о т о м в е к е. Ее родословная уходит во глубину вечности, и, конечно, все прочие гуманистические течения, религии в том числе, суть лишь пробы ее, рокадные дороги, варианты и ответвления. Т у д а мы идем. Достоин внимательного и почтительного изучения наш человек, взявший на себя подвиг — на своей собственной судьбе показать человечеству все фазы, случайности, опасности и возможности на пути осуществления древней мечты. Не мудрено, что в этой роли он то отважен до песенной дерзости, то легендарен по могучему броску в будущее, то несчастен до самых низин отчаянья — все это в немыслимых для Запада масштабах. При этом невольно возникают образы Прометея и Атланта, Икара и Геракла. Как далеки они от зализанных до глянца идеологических болванок, на создание которых такими сильными средствами направляла нас критика в годы к у л ь т а! Эти полированные образцы, свободные от изъянов добродетели, и сегодня можно наблюдать в магазинных витринах готового платья, например, по улице Горького, 54, в Москве. Стоя в непринужденных позах и несмотря на отсутствие голов, они день и ночь как бы беседуют между собой на темы, не вызывающие нареканий ни у ближайшего постового, ни у проходящих мимо прогрессивных деятелей.

Нет, хорошесть литературного или театрального героя достигается не усердием либо косметическим мастерством автора, она рождается в результате борьбы хорошего с дурным в самой душе нашего героя. Сцена, экран, страница и являются

ареной для этого по-шекспировски жестокого, порою врукопашную, поединка человеческих страстей и потенциалов, которые автор вправе усилить, углубить, избирательно подчеркнуть в них *главное* для него — не только в меру дарованья, но и в преломлении своей творческой личности. Мне думается, что лишь заведомые, во всем на свете осведомленные простаки возьмутся определить содержание истины и красоты, потому что это лишь зеркала, в которых каждая эпоха и мыслитель видят свое собственное изображение. Поэтому, если при очевидном усердии и расположении к добру иному автору легче дается изображение дурных сторон, чем начертание Блага — да еще средствами искусства, а не прописи,— да еще в условиях нашего длящегося сорок лет вулканического извержения! — то не надо карать его лишением огня и воды либо чего-нибудь еще более существенного, потому что сие зависит не только от его благонамеренности. Художник не может просто *списать* добро, он должен предварительно создать его внутри себя, а для этого требуется наличие, даже присутствие в нем еще чего-то, кроме таланта. Видимо, тем и карается прикосновение к святыне, что посредственная копия с *добра* всегда выглядит пародией или карикатурой.

Значит, вопрос об искусстве будущего решается не снаружи, а изнутри!

И еще ряд банальных соображений. Новый театр надо делать с полным доверием к зрительному залу, потому что, какие бы колебания ни претерпевали культура и вкусы зрителей в силу климатических или иных потрясений, человек всегда в основе своей — хороший. Ему просто выгодно — быть хорошим, потому что это менее всего сопряжено с личным несчастьем, с неожиданным сиротством, с нищетой. Выгодно быть таким по отношению к людям, какими хочешь видеть их в отношении себя. Настоящий, в подлинном смысле хороший человек — он и друга не предаст, и ребенка не обидит, и доверенные ему месткомом деньги не присвоит. Не потому, что его учили по всем этим узким секторам поведения, а потому, что он *вообще* порядочный человек. Ныне действующий социалистический гуманизм включает в себя расширенные понятия порядочности, которые вытекают из того, что твое собственное благо исходит из зеркальной возможности точно такого же блага для ближнего. В этом основа морали и этики будущего.

Театр должен быть святилищем, где, как в магическом луче, происходит пробуждение спрятанных, неосознанных человеческих качеств. Потому что в человеке сегодняшнем все элементы завтрашнего человека существуют. Но пробуждать их надо осторожно, тактично, всячески стараясь сохранить жизнь пациента,— без применения приборов и средств, способных вызвать сотрясение мозга.

Надо стремиться к искусству, которое разминает человеческую душу, чтобы выкрошить оттуда все эгоистичное, всю склеротическую известку,— осадок нашей цивилизации, отложившийся в душевных складках. Чтобы под рукой искусного кожемяки человеческая душа становилась мягкой, эластичной, нежной, как замша.

Искусство должно воспитывать хорошие качества, заложенные в человеке, а не заниматься перековкой зла на утилитарное добро, как это нередко понимается у нас по списку милицейских добродетелей.

Есть два театра. В одном вам предлагают купить билет и за это, не слишком утомляя ни вас, ни себя, показывают постигшие героя происшествия. И другой театр, где за ту же сумму вам позволяют присутствовать при настоящем куске жизни, при восходе ее или закате. Но с условием, что вы будете вести себя достаточно почтительно и благоговейно, а участники спектакля будут понимать всю важность и ответственность своего призвания.

Театр будущего на его идеальном этапе — это театр глубокого анализа, очень высокого чувства, тонкого слова и до пронзительности правдоподобного сценического изображения.

Театр будущего — это магическое зеркало, где общество, люди увидят себя не конкретно такими, какие они есть, какими сидят в зале, а в ореоле времени, в историческом разбеге, не только в быту, но и в невидимых инфракрасных, ультрафиолетовых лучах потенциального спектра.

Таким образом, я вижу театр будущего (если попытаться увидеть его) не с греческими амфитеатрами и хорами, хотя, несомненно, весь греческий театр войдет целиком в опыт режиссера,— не в плане мистерии, хотя элементы ее всегда останутся потенциально в палитре театрального мыслителя.

Если уж говорить образно о театре будущего, то мне представляется чистая светлая операционная, где вниманию зри-

теля предлагается как бы разъятая на части прекрасная человеческая душа. И все те, кто стоит вокруг, могут сами увидеть, как оно действует, человеческое сердце, проследить возникновение событий, зарождение паденья или подвига, рассмотреть мускулатуру движущих мир страстей. Увидеть, каковы они, творческие озарения и грехопадения, эти ошибки и терзания порока, хмель и похмелье заблуждений,— все то, из чего составляется Жизнь Человека. И это самое главное для понимания, что́ вредит человеку, и что́ идет ему на пользу, и как надо поступать, чтобы получалось счастье.

1961

ПРЫЖОК В НЕБО

В конце концов современный человек слишком привык к накопленным богатствам, к удобствам коммунального обслуживания, к неустанным наукам, которые тысячами трепетных глаз и пальцев день и ночь — буквально день и ночь — ощупывают окрестности бытия для отыскания все новых источников пищи уму и телу.

Как правило, при виде затоптанной, оборжавевшей гайки редко кому приходит в голову, что под его ногой — почти чудесная материальная дата в человеческом прогрессе, а при некотором печальном обороте дел — даже потенциальная святыня на гайтане дикаря. Мы так редко вспоминаем, сколько же веков бессонного вдохновенья и творческих огорчений понадобилось, чтобы этот граненый, с нарезкой внутри кусок железа закрепил собою еще один достигнутый этап нашего благополучия. Если бы хоть немножко чаще — человечество больше ценило бы свою великолепную, разностороннюю и безмерно непрочную цивилизацию, где мановением руки доставляются буквально все основные блага человеческого существования. Отсюда всеобщая наша самоуверенность в завтрашнем дне, опасная успокоенность — как бы за вечные блага существованья, а также хоть и законная, но столь вредная в преизбытке — гордость, нередко смахивающая на гордыню... Право же, представляется порой, что человечество некоторым образом чрезмерно зазналось на своем крохотном летящем островке среди пылающей тютчевской бездны... То, сегодня, оно неразумно шалит грознейшими силами природы, которые сама она применяет лишь для созидания, то, завтра, в лице

некоторых злостных скептиков, на конференциях по разоружению, сопротивляется спасительным мерам, без чего иная чересчур оживленная дискуссия о вариантах людского счастья может привести к дурным и, главное, необратимым последствиям.

Древние не зря называли тернистый путь человеческого развития дорогой к звездам. Если оглянуться с достигнутой вершины на историю человеческого возвышения от колыбели в перегретой архейской лагуне до нашего безоговорочного нынешнего гегемонства, легко просматривается, на мой взгляд, сквозная идея этого движения,— и пускай сведущие мудрецы подскажут мне какую-то иную, более достойную человеческого званья цель! Разведка неба — вот содержание человеческого прогресса. Стихийное вначале стремление, оно с течением времен становилось все сознательней: заострить взор, протянуть руку в глубь Метагалактики,— настолько утончить пальцы и осязание, чтобы по своему усмотрению перемещать мельчайшие кирпичики микрокосмоса. И таким образом, с одной стороны, увеличить прочность вещества, чтоб не плавилось на космических скоростях, когда испаряются и метеоры, а с другой — создать предельной емкости горючее,— горсть на всю трассу до Полярной звезды! — чтоб род людской смог преодолеть земную тягу и умным посевом разбрызнуться по Большой Вселенной...

Любопытно было бы проследить — в лупу времени, что ли,— как совершенствовалось на высшую биологическую ступень живое правещество, как робко, в течение мильонолетий, выбиралась на берег из недр морских тускло-зеленая водоросль, поближе к солнцу, чтобы однажды покрыться чудесными цветами и, уже в расчете на сотрудничество смежных форм, спелыми плодами... Или как нехотя, и тоже через уйму времени, покидали планету ленивые, жестокие ползучие рептилии, потомки которых известны нам под названием гадов, закованные в тяжкие пластинчатые панцири и снабженные надежным оборудованием для вспарывания брюха задремавшему приятелю. На смену им, оглашавшим тишину мезозоя лишь лязгом челюстей, приходили новые, легкие виды, способные с песней плескаться в синеве июньского неба или с ветром наперегонки мчаться по необозримым, также изменившимся степям... Хочется спросить у современников: не напоминает ли наша эра вооруженных до зубов государств ту, давно минувшую, когда вот так же возлежали они по материкам, бронированные ту-

ши, угрожающе шевеля убойной снастью и карауля друг дружку крохотным, сквозь амбразуру, недоверчивым глазком. И как же медленно доходит до их сознанья призыв к благоразумию — скинуть наконец одинаково парализующую всех нас, столь осточертевшую людям военную обузу.

Только это мешает людям вступить в очередную историческую фазу, во имя которой, по существу, трудились предки и сами мы несли беспримерные лишения. Ибо, округляя счет, стотысячелетнее бытие человечества есть не что иное, как все ускоряющийся разбег, который на наших глазах переходит в плавное состояние полета. Пусть пока считанные метры, сравнительно с парсеками небесных расстояний, отделяют нас от взлетной дорожки, но это уже вошло в наш опыт и подлежит дальнейшему развитию!.. Победное свершение, подобное только что состоявшемуся, тем еще значительно, что — вчера объединившее все население Земли в единой тревоге за судьбу героя, сегодня объединяет всех нас в заключительном празднике труда, отваги и разума. И все пытливо всматриваются в глаза смельчака, чтобы понять его переживанья на достигнутой высоте, где еще не бывали ни птицы, ни — верно — бури, чтобы прочесть в них увиденное им оттуда,— прежде всего даль, сокрытую за горизонтом века. Что-то решительно изменилось в нас за эти дни к лучшему, потому что каждый осознал, как мало сделал он в сравнении с возможным и как оно могло бы обстоять, если бы люди земли единодушно того захотели.

И как было бы желательно, чтобы взволнованные ныне руководители всех бронированных держав сохранили бы в себе свои благородные чувства, продлили их на радость изнывающих от военного бремени народов, не дали бы потускнеть своей благодарности завтра, когда, чего греха таить, все мы начнем потихоньку привыкать к свершившемуся, как попривыкли ко многим чудесам из человеческого прошлого... Ибо, к сожалению, все эти добрые порывы навещают нас лишь непосредственно после огромных легендарных подвигов гения и воли, которыми все чаще пополняется список всечеловеческих побед. Но в целом он не так уж велик, если считать масштабом таких открытий, как компас, электричество или знаменитые находки мореплаванья. Прогресс — как бы лестница со ступеньками, по которым человек взбирался в сегодняшнюю высоту; каждая в ней выше своих сестер, хотя ни одна не могла бы состояться без предыдущих.

И в этот бесконечно драгоценный перечень побед сегодня прибавляется еще одна гордая, по-летописному скупая и краткая запись:

1961 год. Ю. Гагарин. Выход человека в ближний космос.

На долю этого человека выпало счастье совершить первый, качественно непохожий на все прежние, немножко жюльверновские, космический облет планеты. А на нашу не меньшее — быть его согражданами, современниками, соучастниками, помощниками, земляками — его народом.

1961

ПОХВАЛА ЖАНРУ

Для нашей страны, всеми помыслами обращенной в завтрашний день, для нашей эпохи с чуть не ежедневными прорывами ее пытливой мысли в манящую, вчера еще кромешную неизвестность у нас поразительно скудно пишется о будущем, преступно мало прилагается усилий, чтобы рядовых граждан сделать если не наблюдателями вплотную, то хотя бы сознательными современниками громадной и, кажется, выигрываемой битвы за Большое Знание. Невольно создается обидное и, конечно, неверное чувство вроде как от пренебрежения к нам, толпящимся у таких нарядных нынче подъездов ведущих наук. В особенности касается это одной, самой модной и, пожалуй, высокомерной из них — не оттого ли, что уже на нынешнем этапе она может совершить весьма горестные и непоправимые преобразования с человечеством? Не в этих ли настроениях и кроются корни знаменитой — и у нас и на Западе — чисто умственной покамест и весьма опасной распри между физиками и лириками? Из них первые почти не выходят к нам из своих святилищ, занятые непосредственно исполнением служебных обязанностей у алтарей науки, вторые же, то есть мы, задрав головы и почтительно вздрагивая, взираем на их высокие готические окна, периодически озаряемые изнутри непонятными вспышками. И поелику все мы, народ, десятилетия сряду принимали посильное долевое участие в сооружении этих неслыханных чудес света, то естественно закономерен наш интерес: что же именно каждую минуту творится там — синтез ли тяжелых ядер из элементарных частиц, роение ли полумагической плазмы или же, наконец, выворачиванье материи наизнанку с целью посмотреть действие ее на другую контрольную половинку земного шара. Чего только не снится обладающей любимыми внуками старушке, когда ей не спится!

Итак, речь идет о нехватке пояснительных, страстных и умных документов, способных приглашать в грядущее, также о популяризации разных чудесных достижений, которые, надо же надеяться, когда-нибудь, черт возьми, и в положительном смысле окупят вложенные в них затраты. Предвижу возражения издателей, целые свитки в их руках с перечислением литературы просветительных отраслей, выпущенной со времен национализации типографий в России... К сожалению, здесь подразумевается не валовое количество обобщительно называемой продукции, познавательный ширпотреб и культтовар, а действительная емкость и доходчивость ее до читателя, общественная действенность их. Если не считать буквально нескольких, по пальцам перечесть, вполне выдающихся книг, то в большинстве, сколько могу судить, это или упрощенные пакеты стандартной информации научного Посылторга, неспособные толкнуть получателя на плодотворное раздумье о происходящих в жизни нашей процессах, или же чисто академические, зачастую секретарской рукой написанные отчеты специальных институтов, тщательно зашифрованные формулами, всякими зигзагами и греческими буквами не только от vulgus profanum, но и от средней интеллигентности читателя. А последнему уже мало скоростных экскурсионных пробегов по лабораториям, да и то пока начальство удалится на завтрак,— ему желательно личное присутствие с наблюдением хотя бы снаружи, сквозь прозрачный купол святилища... да он и сам не хочет мешать этому, на самом деле, священнодействию!

Мы имеем право знать, потому что при едином финансовом хозяйстве усиленное материальное оснащение культуры в одном месте неминуемо отражается на ее уровне в других: все острее чувствуется это. Мы хотим знать и потому, что все это в высшей степени касается всех нас, потому что наука стала ныне передовой линией фронта, на котором и мы все одновременно — и мишень, и в походном снаряжении солдаты. Как сразу догадается любой проницательный ум, мы стремимся к этому знанию не из нескромной тяги к секретам, не подлежащим оглашению, не во утоление нездорового любопытства, что именно произойдет с нами, если нечто случится однажды вопреки нашей общеизвестной любви к миру. Нет, мы желаем знать совсем другое, и нужны нам, в сущности, лишь мыслительные отходы больших наук. Кроме регулярных сводок — где и насколько мы продвинулись, чем и когда овла-

дели, мы ощущаем жгучую потребность определиться на карте человеческого прогресса, осознать — какую обобщающую перестройку вносит самое мимоходное, казалось бы, микрооткрытие в наше состояние, и насколько всякий раз расширяется наш вселенский кругозор, и что́ именно завиднелось с мачты, с отштурмованной сопки, с достигнутой вершины на горизонтах очередного века. Через знание, через радарное свойство мысли мы жаждем продлить себя в веках. Притом не одними только удачами так бессонно интересуемся мы, но также историей неоправдавшихся поисков, пускай даже без завершительной победы,— трагедиями великих научных ошибок, потому что это наши общие ошибки, и было бы безумным расточительством выкидывать из памяти людской мучительные и, может быть, наиболее ценные уроки заблуждений.

Проще всего заняться этой почтенной и беспокойной работой — непосредственно им самим, мастерам ведущих наук, раскрывателям тайностей неба, атома, клетки и числа. Они обстоятельней случайных лиц поведали бы нам о процессе научного раскрытия, механизм которого с гениальной, по-моему, наглядностью показан в метерлинковском сочинении о пчелах, на его бессмертном опыте со спичечной клеткой. При соответственной затрате времени, разумеется, сами ученые могли бы создать эти классические книги-исповеди о поединках искательной мысли с Неведомым — как она миллионами усиков прощупывает громоздкий хаос мирозданья, микрон за микроном подтачивая его, пока рухнувшие куски его, территории, целые материки не станут пригодными для освоения человеческим сознаньем... как гибко маневрирует она, фанатически верит, совершает тактические отступленья для захода с другого фланга — и вдруг непосильное разуму отчаянье становится резонатором радости! И все это — чтобы, наконец, по вступлении в покоренную твердыню снова и снова застать начертанную на стене формулу горькой и величавой Сократовой мудрости scio me nihil scire... К несчастью, ученые не слишком податливы на уговоры, да и сам уговаривающий нередко испытывает неловкость при этом, как если бы сверхпочтенного, в академическом сюртуке мужа уламывал, скажем, совершить цирковой кульбит на глазах уважаемой публики.

Собственно, они и откликнулись бы, да в том беда, что описание, то есть передача только что самим наспех осмысленного — столь разноликой, никак не подготовленной толпе есть

дело куда более емкое порою, чем сам начальный толчок к открытию: падает на голову яблоко, наступает плесень в чашке Петри, фотопластинка чернеет от неведомых причин!.. Видно, упрощать стыдятся, а зря! Их мысли и чаяния дороги нам, потому что это и наши мысли и чаяния, только недодуманные, неосуществленные. Нам хорошо известно, что если не величайшие, по Уайльду, то насколько величественные трагедии совершаются в человеческом мозгу. Порой даже оставаясь наедине, они, хранители заветных ключей, с присущей им всем симпатичной улыбкой уклоняются от обсуждения вопросов своей компетенции, обычно со ссылкою на глубину и сложность, на тонкость объекта. Оно так, ведь пресловутые выкладки Гейзенберга куда замысловатее, чем даже таинственная специфика кино, с помощью которой жрецы этого оккультного жанра долгие годы пугали профанов, пытавшихся приблизиться к экрану... А в самом деле, как ухватить ее перстами нетренированного ума, ультраневидимую реальность, длящуюся всего лишь миллионную мига? Однако и эта крайняя, с большим запросом, трудность представляется мне преувеличенной и одолимой. Если только наша эпоха, по свойственному иной философии чванству, не предвосхитила наперед, до конца дней, все головокружительные открытия наук, если только человечество без осложнений и с тем же коэффициентом познавательного ускорения станет двигаться и впредь, то не так уж отдален срок, когда теория относительности будет изучаться приблизительно в четвертом классе средней школы... или не так? Да и не важно, наступит ли это через сто или тысячу лет,— гораздо важней потенциальная возможность подыскать точное слово, достаточно вместительный иероглиф для любой возникшей в нашем сознании идеи. Точно так же совершенно безразлично, будет ли эта статья напечатана или прочитана кем следует, важнее, что она была своевременно написана.

Она потому и написана местами со чрезмерной страстностью, что тема эта сегодня, на мой взгляд, приобретает у нас первостепенное общественное значение. Так, последнее время, судя по газетным заметкам и судебному репортажу, в среде нашей молодой смены на общем, как говорится, *отрадном* фоне несколько участились нежелательные явления вроде алкоголизма, ухода в сектантство, стиляжества или дармоедства, как оно именовалось по старинке, неаккуратного обращения с чужой и государственной собственностью и просто

некорректного поведения молодых людей в местах публичного пользования. Вроде не тому учены были они все эти годы, и потому подобные факты вызывают у старших законную кручину — с горестными вздохами и разведением рук попеременно в обе стороны, что действительно может иногда доставить временное облегчение. Но — не у нас одних!.. того же рода ненормальности, только с применением совершенной огнестрельной техники и на основе крупного наследственного опыта замечаются и у зарубежной молодежи, так что стесняться либо припудривать эту болячку нам не следует, равно как и отмахиваться от возникающих при этом тревог по мнимой их якобы несущественности. Дело серьезное: наше поколение стареет, море истории неспокойно как никогда, человечество держит завершительный, самый что ни есть гамлетический свой экзамен на аттестат высшей зрелости, а по существу — целости, и печальнее всего, что все чаще политическое поведение его регулируется доводами не столько разума и благородства, как страха.

Но кто знает, может быть, и нельзя иначе? Если бывшие, ныне ископаемые, с пониженной восприимчивостью и надежно бронированные организмы испытывали, надо полагать, недомогание при переходе из одной геологической эпохи в другую, продолжавшемся многие миллионы лет, не менее закономерно оно для тончайших, с голой кожей, мыслящих созданий в столь поспешной, за одно неполное столетие, перебежке из вчерашней социальной формации в более приспособленную для множественного и справедливого существованья. Экономическая и всякая прочая динамика шести с лишком миллиардов особей на планете, предполагаемых к юбилейному двухтысячному году, верно, будет несколько напряженней, чем при нынешних,— меньше трех. Поэтому, кроме заботливой повседневной помощи людям в их хлопотливом переезде на новую во всех отношениях квартиру, требуется терпеливое лечение того самого, находящегося у нас в преступном небрежении, что в бывалошные годы, при проклятом царизме, называлось человеческой душой. Успех же этого предприятия, в свою очередь, зависит не только от правильного выбора медикаментов и правильной дозировки их (ибо у нас, стремясь показать преданность и оперативность, не поскупятся прописать полкило аспирина на прием!), а прежде всего зависит от быстрого и до скрупулезности добросовестного диагноза общественных явлений.

Дело-то в том, что, как показывает практика, всякая работа на человеческой душе требует ума, такта, индивидуального подхода и умелой руки; при несоблюдении одного из пунктов обычно, как у нас часто бывает, получается покойник, хотя и способный к передвижению, битью стекол и принятию пищи. Ни в какой другой операционной не нужна такая стерильность, как здесь, чтобы не занести в рассеченное тело инфекцию бездушия, неискренности или лжи. Желательно даже, чтобы пациент вовсе не подозревал производимого в его сознание вторжения, как это бывает в большом, а не прикладном искусстве, заботящемся лишь об устранении бытовых частностей. Разумно ли, к примеру, строить антирелигиозную пропаганду на упитанности некоторых служителей культа, хотя, как легко убедиться в бане, толстые животы попадаются и у представителей прогрессивного мировоззрения. И вообще, вряд ли целесообразно бездарной чиновной рукой и в наше бесконечно бурное время да еще на десятилетия вперед программировать молодые, не искушенные бедствиями характеры пускай даже самыми добродетельными алгоритмами... да оно просто и невозможно, по счастью для рода человеческого!

Так выясняется, что, кроме технического образования, требуется еще гуманистическое воспитание личности, и уж тут одними мановениями казенных рук не обойтись. Формирование ее в прежние годы, у старшего поколения, начиналось с одной какой-то холодной, тревожно-бесприютной ночи, которую нужно было преодолеть собственной волей,— начиналось с понимания суровой, всевидящей и беспощадной к слюнтяям и дармоедам действительности. Вообще при закалке организма всякого рода холод — довольно полезная вещь, если без укрупненных, дореволюционных порций... Затем — окружение молодежи романтикой железных и неизменных традиций, овеянных славой исторических реликвий, гордой и сильной стойкости, всечеловеческих обязанностей на земле и даже с уточнением — как ему вести себя, если бы когда-нибудь он один остался на планете!.. да и мало ли чем цементируется человеческая душа. Но прежде всего — это смолоду внушить страсть к переделке, к улучшению мира, причем не в отвлеченном понимании из кабинета с кондиционированным воздухом, а своими руками, немедленно и конкретного, пред глазами лежащего, участка его. Пусть об этом священном для человека призвании юноша услышит не из казенных уст, когда святейшая заповедь

звучит комендантским параграфом, а в своем первозвучании — трепетном ощущении повседневно творимого человеком чуда, в овладении сокровеннейшими благами мышления, в том числе и не предусмотренными домоуправлением, и разумеется, в создании соответственной для всего этого материальной базы, требующей, однако, от новоселов кое-каких существенно новых качеств, например чистоплотности или такого недостающего ныне, обязательного уважения к большинству. Словом, весь морально-бытовой обиход молодости надо строить с уклоном в Грядущее, чтобы она сама влеклась туда,— всюду расставить как бы электромагнитные линзы, способные сплотить беспорядочно блуждающие, разрушительные токи юности в целеустремленный пучок полезного действия. Кроме завлекательных книг по переделке мира всемогущей мыслью, уместно было бы также снабдить молодые, жадные руки нарядным и, главное, добротным инструментом, который так и звал бы их на создание ценностей и преображение действительности. Кстати, инструменту в стране Труда полагалось бы быть самым лучшим в мире... этим я хочу сказать — не первоклассным, а лучшим на свете! И, конечно, даже незаконченные мыслители согласятся со мною, что постыдно при нынешней, хваленой-то нашей индустрии до сих пор изготовлять окулировочные ножи из подержанного кровельного железа. Допускаю, что при реорганизации душевного хозяйства смены нам, кроме качественных стамесок, потребуется и еще кое-что, к чему мы все равно придем однажды, но эти второпях накиданные строки и не претендуют стать повесткой дня. Их цель лишь созвать друзей к совместному раздумью.

В значительной мере на театре, на искусстве, на художественной литературе нашей лежит эта обязанность — приглашения к Грядущему через показ главного в нем, а не только предстоящего разливанного житва с даровым высококалорийным угощением,— в духовном разрезе завтрашнего дня с его непримиримой строгостью и ответственностью, потому что чем выше уровень благополучия за счет автоматических машин, тем больше потребуется внимания и четкости от их хозяев, чтоб не рухнуть вместе со своим электронно-мыслящим железом назад даже не к предкам, а просто к чертовой матери с достигнутой-то высоты! Литераторы могли бы показать манящую прелесть этих возросших трудностей, и непременно с конфликтами качественно новых сверхшекспировских страстей,

как если бы носители и герои их были исполинами четверного роста, темперамента и разума. О, как безумно хочется хотя бы через травинку, через парящее в небе облачко, даже со сверхптичьего полета взглянуть потом, потом на наше продолжение в веках!

К несчастью, опыта в освещении будущего у нас недостаточно: весьма долгое время старания литераторов были ориентированы главным образом на соблюдение оптимизма в жизни и творчестве. По крайней мере, все три последние десятилетия, если припомнить ушедших за этот срок товарищей по перу, литература наша была вредным в смысле жизнеопасности цехом культуры. Надо надеяться, суровый завтрашний критик с учетом обстоятельств примет это во внимание при оценке наших столь несовершенных, насквозь пропитанных гарью и шлаком великого вулканического изверженья, таких противоречивых порою рукоделий, на которые оглядываешься с чувством неизбежности, исполненного долга и отчаяния.

Частично это ответственное задание, взор в будущее, ложится и на так называемую научно-фантастическую литературу, которой хочется попутно пожелать большего совершенства, в частности, умножения сюжетных координат, в пересечении которых только и образуются поразительные детали, выясняются неожиданные и незнакомые еще очертания новой эры. Опять же современная наука в самой себе достаточно содержит интеллектуальных противоречий, чтобы тащить в произведение в качестве наполнителя любовную, да еще дурно свитую канитель либо всякую там бытовую чепуху... Но лучше всех нас работу эту произведут универсальные, авторитетные, увлекательные, еще лучше — вдохновенные обзоры по ведущим наукам современности, причем с некоторым люфтом, сиречь вольностью в сторону запретных допущений, и даже, прошу прощенья у редактора, хотя бы с самой малой долею гипотетической ереси, которой наши железные ортодоксоблюстители страсть терпеть не могут и в личине которой нередко на сцене науки и жизни так любит появляться истинное новаторство. Словом, нам нужны книги-размышления на берегу все того же моря, где так любил вглядываться в вечность Ньютон.

Таким образом, и не стоит отрывать наших больших ученых от рабочего места, пока самим не захочется побеседовать с современниками, не стоит подбивать их заниматься, в ущерб

основному призванию, делом чужой, в сущности, специальности. Для впечатляющего описания самого что ни есть математического предмета у лирика найдутся средства, отсутствующие и вовсе не обязательные для физика. Не в упрек крупнейшему и покойному ныне геологу и географу, обручевская Плутония с полноценным светилом в середке земного шара в свое время не шибко пленяла меня как читателя, даже смущала отсутствием технического правдоподобия... А уже давно пора этому жанру, существующему пока на правах подсобного цеха где-то между Союзом писателей и Академией наук, выходить на самостоятельную дорогу со всеми организационными выводами вроде факультета научной журналистики,— основа для этого уже имеется у нас в виде целой плеяды первоклассных, по-моему, писателей этого профиля, увлеченно и достаточно глубоко проникших в предмет.

1962

О СТАНИСЛАВСКОМ

В последнее время в связи с юбилеем Константина Сергеевича, то ли по причине некоторого ухудшения положения на театре, стали довольно часто, к делу и не к делу, вспоминать этого большого человека сцены, иной раз используя имя его как бы в качестве заклинания против театральных «напастей», как будто этим можно поправить далеко не совершенную нынешнюю драматургию, повысить мастерство режиссера или наполнить пустующий театральный зал.

Разговоры, как правило, начинаются с академических рассуждений о системе Станиславского, хотя, на мой взгляд, всякая даже самая новаторская система в искусстве больше всего пригодна бывает лишь для самого мастера, совершающего однажды свои неповторимые открытия, рождающего немеркнущие театральные создания. После этого система со всеми ее параграфами становится достоянием учебников, потому что на пороге возникает иная действительность, требующая неотложного изобретения какой-то совсем иной, более соответствующей своему времени, хотя и непременно на основе прежних систем, театральной правды.

Мне кажется, очередная задача театра состоит в том, чтобы сегодня вернуть театру, актеру и драматургу утраченные ими у зрителя авторитет и доверие. И путь к этому, по моему мнению, намечается совсем иной, чем это было когда-то при создании МХАТа.

Но Станиславского действительного надо очень много и действенно вспоминать сегодня, потому что он, несомненно, обладал всеми качествами, свойственными подлинному новатору, в котором театр наш, безусловно, в не меньшей степени нуждается и сегодня.

Минуя всю суть театрального учения Станиславского, не трудно сразу увидеть какую-то существенную разницу в русском театре *до* и *после* этого человека. При всем величии русского театра и при всем непревзойденном мастерстве актеров старой поры были же какие-то основания у А. Н. Островского для его одновременно шутливой и не очень шутливой характеристики *артиста* Шмаги — насчет его места в буфете. Так что же случилось с приходом Станиславского на театр, отменившего во МХАТе этот злой и печально-уместный диагноз?

Театр Станиславского, кроме того, что он был зрелищем высоким, доставлявшим большое и умное наслаждение всем любителям театра, явился еще великим образцом общественного действия, громадной лабораторией по осмыслению происходящих в русской жизни явлений, по отработке самых существенных, злободневных гражданских эмоций.

Театр Станиславского был великанским шагом вперед даже по сравнению с таким первоклассным театральным институтом, каким в России всегда являлся Малый театр.

И сегодня стоило бы внимательно рассмотреть, из каких элементов, помимо знаменитой *системы*, слагается наше глубокое негаснущее почтение к имени Станиславского.

Станиславский, на мой взгляд, это философское самосознание театра, это его интеллигентность на уровне современного мышления, это предельная требовательность к своей продукции, вряд ли возможная при нынешнем сверхделовом планировании, когда искусство учитывают так, как если бы это была нефть или галантерея.

Весь мой опыт убеждает меня, что бывают спектакли, которые при всей их недоходности либо отвлеченности являются театральными манифестами эпохи, так же, как у литератора иной абзац в двадцать строк, не доставивший ему зримого материального успеха, должен считаться великой удачей художника, а все остальное время, бумага и силы ушли лишь на *прояснения*, на его подготовку.

Надо учиться у Станиславского глядеть на каждую новую постановку, как на самое существенное испытание, в котором, может быть, решается судьба данного театра вообще. Это вовсе не означает стремления во что бы то ни стало увидеть весь мир заново, потому что многие вещи изготовляются и стародедовскими способами настолько неплохо, что даже лег-

ким коррективным массажем можно их покалечить бесповоротно.

Конечно, для таких экзаменов нужен и соответствующий полноценный драматургический материал, потому что бессмысленно и даже глупо выяснять свое призвание и судьбу на полубалаганном водевиле.

Станиславский — фигура монументальная, поразительного благообразия и даже красоты, но в памяти моей, пожалуй, еще сильнее образ другого, рабочего, Станиславского на одной из заключительных, уже на сцене, репетиций моего «Унтиловска» в Художественном театре.

Так и вижу его: вот, стоя на коленях, он показывает артистке Тихомировой, как надо тряпкой собирать лужу от натаявшего на полу снега.

Он делал это с артистическим, просто классическим анализом всей технологии, казалось бы, несложного процесса, именно так, как он закрепился навечно в народном обиходе.

Мне дополнительно представился случай полюбоваться, не говоря уже о мудром сценическом решении пьесы, на зоркость, проникновенность мастерства Константина Сергеевича.

Я потому лишь упоминаю об этом, сомнительной важности (в такой день!) эпизоде, что как раз в презрении к мелочишкам в искусстве и могут крыться причины многих из нынешних театральных бедствий. Потому что, если театр и начинается с вешалки, то состоит он далеко не из нее одной.

Прибегая к старомодной терминологии, Марфа последнее время все чаще и нахальней стала заслонять и даже просто затирать бедную свою сестру в искусстве — Марию.

И как не похож Станиславский на иных нынешних театральных деятелей, заласканных до глянцевитости и даже согбенных под бременем не столько опыта и раздумий, как многих килограммов регалий и званий, вроде — полузаслуженный деятель Перерубо-Пополамского района Энской области или лауреат всереспубликанского конкурса ляринголигов — артистов оригинального жанра. А ведь, по существу говоря, все эти, вредно отражающиеся на подвижности их владельца, лестные и довольно бесполезные в искусстве предметы полагается с наступлением рабочего дня вместе с галошами и дохой оставлять под номерком в гардеробной.

В связи с этим мне даже порой как бы ударяет в голову кощунственная, однако не лишенная некоторой целесообразности мысль: не стоит ли маленько сократить в рецензиях и

на афишах эти громоздкие титулы, рассчитанные на людей простодушных в искусстве, еще не постигших простой житейской заповеди, что умы и дарования познаются не по одежде, а вино не по ярлыку.

Нуждаются ли в подобных виньетках и орнаментах имена Станиславского и Анны Павловой, Шаляпина или Ермоловой? Равным образом вряд ли в памяти народной усилится блеск имени пушкинского от упоминания его камер-юнкерства и звучание толстовской славы от его графского происхождения.

И еще уместно в юбилейные дни вспомнить ту героическую сарайную бедность, в которой начинался тот МХАТ Станиславского, гражданскую отвагу его основателей. Беззаветную преданность мхатовцев первого созыва своему высокому искусству. Целеустремленность всего театрального организма на одоление главного и, прежде всего, так называемых второстепенных мелочей, которые нынче просто не принимаются в расчет вследствие учета продукции валом, бухгалтерского засилья и простого недосуга.

И вообще — представить сегодня себе ту смешную, такую стародавнюю и тоже не менее суровую эпоху, когда добрый и умный Константин Сергеевич Станиславский был известен на театре всего лишь под именем московского купца Алексеева.

1963

СНОВА О ЛЕСЕ

При виде прискорбных событий, происходящих ныне на лесной ниве нашей, невольно приходит на ум знаменитое французское речение: apres nous le deluge[1]. Изредка пришлет корреспонденцию из глухомани заезжий журналист, наглядевшийся лесного разорения, да появится академическое рассуждение о значении водоохранных лесов для млекопитающих организмов... и опять захлестнет газеты очередная злободневная текучка. С расстояния не слышны в столице ни хрип осатанелой техники, вгрызающейся в лесную целину, ни такой же неумолчный, с нахлестом, шелест падающих зеленых твердынь... Одно время в адрес мой приходила уйма отчаянных посланий с мест, навещали и ходоки по поводу разных лесных обид и невзгод, а двое, уже пожилые, слезно жаловались на происходящее в наших лесах беззаконие. Наконец после одного такого визита — покойного ныне директора Лесного института во Львове Ю. Д. Третяка, я даже пробился на прием к значительному в ту пору и тоже покойному ныне начальнику, нагрузившись фотокартинками, как оно о б с т о я л о некогда на Карпатах и как с т а л о в наше время — с видами навечно эрозированных горных склонов, с завалами бездельно гниющих стволов. И, пробившись, слаб человек, тоже пролил слезу по указанному поводу, чем вызвал, надо сознаться, взволнованное участие от высокого собеседника. Помнится, даже руками было всплескивано... однако впоследствии — пальцем о палец не ударено для наведения порядка в родной природе. Судя по шибко поредевшим в последнее время письменным воплям с мест, самые яростные ее патриоты затихать стали — не то что попривыкли или смирились, а, видать, справедливо

[1] После нас хоть потоп *(фр.)*.

разуверились в действенных возможностях литературного слова.

И впрямь, много ли наделаешь пером против стальной армады быстродействующих пил?.. Куда там, неравный бой! Опять же, его и салтыковским словцом не проймешь — нынешнего, из оптимистического чугуна цельнолитого, хозяйственного бюрократа. Разве только смешливую щекотку вызовет у него подобное данному причитание на полтораста строк — пускай в манере, скажем, Феофана Прокоповича: «...Россияне, чего творим? Заповедную нашу, в материнских заветах помянутую, в букварях воспетую, ненаглядную красоту земли своей погребаем!..» Пускай в стиле незабвенного Николая Васильевича: «Над кем смеемся, братцы?.. кого в конечном счете караем, из бюджетных средств штрафуя нерадивых директоров, не совершающих ли с некоего высшего дозволения свои злодейства над лесами, реками, воздухом со всею обитающей в них живностью? Не над собою ли всемирно потешаемся, родимые?»

Отлично разумея, какая неприглядная действительность скрывается под благочестивыми отчетами о так называемом *лесовозобновлении*, все мы отлично понимаем, только помалкиваем, что успехами лесопосадок, равно как и цыплятами из русской поговорки, надлежало бы хвастаться *по осени*, в пору жатвы, которая, кстати, в нормальном-то лесу наступает не чаще раза в столетие. А до той поры, при нынешней густоте людских поселений, молодой лесок неминуемо проходит множество фаз абсолютной беззащитности, столь соблазнительной буквально для всех — от коровы и туриста до браконьера и дачного порубщика. Сунуть в ямку древесный сеянец и подкинуть его на воспитание дождям да солнышку дело совсем легкое, потому что минутное в сравнении с вековым сроком созревания лесного урожая, когда подросшая хвойная былинка станет наконец полноценным товарным бревном. Нынче долго ли жену завести, как и поступают расплодившиеся наши донжуаны, хожалые по дамской части, а вот из младенца вырастить человека, воина и гражданина, способного прокинуть во тьму времен генеральную трассу великого народа, сие куда труднее!.. И уж коли о воспитании смены речь пошла, то сейчас одновременно с разговором про убывающее лесное наследство, какое получат на руки возлюбленные внучата, уместно было бы поговорить вплотную о сверхзаразительном для молодежи наглядном примере ханжески жестокого обра-

щения их отцов с родным домом природы, в котором больше тысячелетия гнездовались наши собственные могучие деды и где предстоит существовать бесчисленным, хотелось бы верить, поколениям потомков.

Уж которую пятилетку длится на лесосеках этот нескончаемый беспощадный аврал, в суматохе которого все дозволено и топору, и кто держит его в руках, и тому, кто, в сущности, должен отвечать за их совместную деятельность на лесосеке. Так не пора ли повести счет лесному расходу, соразмеряя пыл с насущной действительностью, и хотя бы по часу в день, не особо утомляясь, предаваться историческому мышлению? Вряд ли те, завтрашние, для кого мы приняли на себя беспримерный подвиг преображения России, назовут наше нынешнее поведение в природе всего лишь издержками, запалом, так сказать, отходами неудержимого творческого вдохновенья.

Вот тоже и кедры, из-за которых снова сыр-бор загорелся... В старину, не очень давнюю к тому же, поминали это царь-дерево для обозначения лесного величия, кроме того, в связи с общеизвестным кедровым орешком и добывавшимся из него (в несметных, сравнительно с нынешним, количествах) ореховым маслом, составлявшим немалый процент в пищевом рационе страны. Что-то не слыхать о нем нынче и в продаже давно не видать: дошел свой черед и до кормильца!.. Сегодня вековым кедром план выполняют,— плакались мне с полгода назад бывалые ученые-кедровики, ибо, как смахнешь его, батюшку, враз тебе и без всяких хлопот десяток кубометров, а то и все двенадцать, если поглубже в непроходимую дебрь забраться. Чихать, что иной достигнул четырехсот годков и вступил в ранг почти повсеместно на земном шаре охраняемого явления природы. Недаром, при взгляде на этот былинный утес посреди зеленого океана, шапка у наших дедов сама валилась с башки от почтения. Сколько же их полегло, безгласных великанов, пока писалась, печаталась и читалась вот эта расхожая статейка, потому что недосягаемый для критики кот Василий Васильевич по-прежнему слушает, усмехается... и рубит. Да уж хоть бы в дело шло, что срублено, а то ведь — сгублено да и брошено, как поступают в живой природе со своей жертвой лишь хорек и ласка. Печальнейшие вести такого рода доходят до меня с Алтая... Жаль, ибо вот такими ветеранами живого мира, равно как старинными зданиями, славными твореньями отечественных умов либо другими почтен-

ными актами национальной культуры сшивается крупным стежком, прочнее всякой военной дратвы, раскиданная по вертикали память поколений в одно целостное всенародное самосознание.

Этим я хочу сказать, что, как ни важен патриотизм добрососедства и современничества, он непременно должен подкрепляться патриотизмом творческой преемственности от предков.

Нет, не в том беда лесная, что проезжих дорог и большой древесины мало, потому что проезжие дороги, видите ли, по другому ведомству, а в том безутешное пока горе леса, что заодно с короедом на захламленных лесных побоищах ужасть сколько сохранилось у нас от недавнего культа всяких проворных теоретиков, атаманов и разудалых песельников безнаказанного лесного разбоя. И хотя вот уже шестнадцать лет хлопочу я не о какой-то блажи поэтической, а о сбережении зеленого убранства России — за счет повышения КПД с гектара лесодобычи, за счет перемены принципиального отношения к дереву и древесине, за счет ликвидации безумных и преступных костров на лесосеках, где сжигаются бесценные материальные резервы социалистического прогресса, словом, о пользе отечества, все же пора кончать мне свое рукописание, чтобы не схлопотать новое со стороны помянутых лиц обвинение, будто этими несвоевременными мыслями мешаю выполнять государственный план лесозаготовок.

Но почему-то верится мне, что вскорости спохватимся, и за долгий срок скопившиеся в защиту Друга строки эти будут однажды прочитаны и в кабинетах, где зарождается погода нашего народного хозяйства.

1963

ПРИРОДА И МЫ

«Литературная газета» сделала доброе дело, пригласив нас, писателей, и других товарищей, обеспокоенных нынешним состоянием природы и заинтересованных в охране ее, для большого и обстоятельного разговора на эту тему. Речь идет о водоемах, воздухе, лесе. По некоторым причинам разговор о лесе мне ближе, и потому хочется говорить в первую очередь о нем.

Видимо, требуются какие-то серьезные государственные меры, чтобы защитить природу, но мне кажется, что и мы, частные граждане, в этом деле можем помочь. Однако прежде нужно отвергнуть обвинения, которые выдвигают иногда в адрес ревнителей природы некоторые недобросовестные люди, пытающиеся защитить себя от общественной критики: вы-де своими разговорами о защите леса и природы лимитируете социалистические стройки. Подобные обвинения в наш адрес, скажем прямо, неуместны сегодня и, главное, неразумны.

Что же нас интересует, чего мы хотим?

Мы настаиваем на принципиальном изменении отношения к лесу, мы хотим честного и совестливого поведения человека на лесосеке и у водоема, мы хотим, чтобы современники наши не забывали, что после нас будут жить многие поколения и народу нашему вечно предстоит жить на этой земле. Мы хотим, чтобы потомки не корили бы нас, что мы слишком много отобрали у них — их же именем.

Часто говорят, что мы богаты. Да, мы богаты, но богатства наши тают. И сибирские леса ныне обнажены, и на Каме, и в Ярославской области уже мало лесов осталось. Пусть об этом помнят люди, прикрывающие свою бесхозяйственность заверениями о неисчерпаемости наших богатств, в том числе и лесных.

Есть возражения тому, что я говорю, и с других позиций. Некоторые люди держатся даже такого мнения, будто лес иссушает почву. Получается, что пустыня, к примеру, будет нам в самый раз. Конечно, лесу требуется влага. Но почему-то русская земля во времена Гостомысла была куда гуще покрыта лесами, однако, сколько ни ездили по ней знатные инопутешественники, никаких трещин на нашей почве не отметили. Так что, полагаю, вышеупомянутое иссушающее обстоятельство серьезной опасностью нашему здоровью не грозит. На Севере же данное свойство лесных великанов чистая благодать, потому что при медленном, отлогом стоке северных рек леса здесь работают как мощные осушающие машины. Если последовать теории вредоносности леса и беспощадно выкорчевывать тайгу, то в скором времени по северной равнине откроется, надо думать, уйма новых рек и застойных водоемов уже тундрового происхождения. Так что — прошу простить мне горький юмор мой — план обводнения мы уже перевыполнили, как за себя, так и за наших потомков. Вот почему для наведения порядка в деле, о котором мы здесь толкуем, было бы уместно учредить, по моему мнению, Государственный комитет по охране природы, что облегчило бы в лесопользовании переход к более плановому хозяйству.

Будем надеяться, что так оно и будет!

1963

ВМЕСТО ПРИВЕТСТВИЯ

Наверно, не меня одного, но и все мое поколение современников, вступивших в итоговую полосу жизни, частенько тянет оглянуться назад с достигнутого пригорка на пройденный вместе со страною путь. В такие минуты, естественно, возникает желание прикинуть в уме, без фальши и самообольщения, все pro и contra истекшего периода, а там, глядишь, и литературно, за письменным столом разобраться в существе теперь уже очевидных, качественных и абсолютно во всем обозначившихся перемен... Кажется, лишь вчера сам проходил мимо всех этих пламенеющих ориентиров и вех, а уже даль какая! Гражданская война с памятным, через Каховку и Сиваш, походом на Врангеля, с чего началась моя творческая юность, представляется отсюда бесконечно отодвинутой — как бы через обратную сторону бинокля: поистине эпоха «времен Очаковских и покоренья Крыма»! Необозримо и пока еще не осмыслено нами до конца, на фоне нашего общего детства, происшедшее за неполных полвека преображенье России. Четыре, буквально один за другим совершенных космических полета составляют в особенности благодарную тему для всяких творческих раздумий... и прежде всего щекотный вопрос: кем суждено было стать этим летающим где-то за стратосферой братьям в старой лошадной, а зачастую — и вовсе безлошадной России? Каких высот — куда там космических, а просто житейских! — удалось бы достичь им, выходцам с самых низов народных, если в ту пору подняться до общественных и житейских высот удавалось сравнительно лишь немногим избранникам да счастлив-

чикам, наделенным гением Репиных, Шаляпиных и Пешковых?

И тут в качестве наглядного пособия к затронутым мыслям стоило бы полистать мировую прессу текущих дней с откликами на запуск еще двух кораблей в синь поднебесную или просмотреть показанные на днях короткометражки о международных, в Азии и Африке, турне двух первых космонавтов, к слову — таких молодых и красивых! Это помогло бы осознать социально-философский смысл их нынешнего представительства в мире, также — значение оваций и почестей, которые наперебой воздаются им государствами и нациями даже не нашего социалистического круга и из которых какая-то доля причитается каждому из вас, многомиллионных наших тружеников!.. Но прежде всего необыкновенным их триумфом подчеркивается самое важное, пожалуй, обстоятельство — что впервые на всем протяжении земной истории, единовременно и на всех площадях планеты — тревожно всматривается в небо, до глубины души волнуется и благодарно рукоплещет им все целиком, пусть пока лишь в благородных помыслах объединенное, но уже вплотную подошедшее к черте единства, большое, истинное человечество.

Все они, бессчетное число раз промчавшиеся над головами нашими смельчаки, происходят из одной вместе со всеми нами, советской семьи, однако наравне с другими своими ровесниками они чуточку другой, уже завтрашней породы, которая полностью, во всяком случае, и гораздо скорее многих ожиданий сменит старую, несовершенную, вовсе не пригодную для существования в условиях предстоящего нам множества,— неблагополучную из-за так называемых пережитков, главным образом — общественного, расового и личного эгоизма.

По сравнению с нашей славной плеядой, которую современники увидели сразу в ореоле скромного мужества, просто непотребной карикатурой выглядят дельцы всех зачеркнутых у нас паразитарных категорий и заодно с ними — наши отечественные стиляги по части экзотической внешности, общественного поведения или почерка в искусстве... Какой поразительный пример для подражания представляет собою эта героическая поднебесная шестерка с младшей сестрой Валей Терешковой во главе! И если через лупу подвига каждая подробность в биографии героя всегда кажется полной символического содержания, то самая поразительная у Чайки — та, что

всего три года назад она была текстильщицей на Красном Перекопе. С какой силой выступает здесь доступность и всех прочих высот для наших юношей и девушек, способных так центрировать всю свою волю на преданности Родине и на однажды поставленной цели. Не климат ли наступающего века позволил развиться скрытому таланту в этой девушке, участь которой в старые те годы, наверно, мало отличалась бы от обычных на Руси женских судеб, в стольких горестных вариантах и с большой правдивостью описанных мастерами слова, начиная с Некрасова... Вот так же, как почти вчера, судя по все еще кровоточащей памяти, передовая молодежь промежуточного, между нами и ними, поколения выставляла одетых в бронзу Зою и Гастелло образцом действия для не окрепших духом воинов, сейчас молодым людям нашей страны предоставляются мирные возможности внести свои имена в довольно большой уже список наших бессмертных.

При свете огневых орбит на небосклоне виднее становятся прожитые годы с их свершеньями, беззаветным энтузиазмом и общеизвестными тягостно-страшными переживаниями. Сколь многое и дорогое сгорело в плазме великого индустриального переплава, не меньше того невозвратно оплавилось, навсегда утратив заточенные грани резца, но, значит, главная, головная-то часть приобрела дополнительную закалку. Это весьма важно в наши дни, когда меняется буквально все — государственные системы и границы, стимулы человеческой деятельности, воззрения на природу с ее тайнами, генеральное направление всемирного прогресса, моральные основы общественного сознания, самый темп времен, наконец, и мы вместе с ними. Испытываешь странную неуверенность, как бы неполадку со зрением, когда однажды и среди взрыва возникшие формы жизни твердеют, кристаллизуются, приобретают будничное постоянство, и вот уже образуется новая, никем пока не хоженная почва, на которой вырастают новые, интересные, хотя иногда, для стариков, и несколько непривычной формы деревья, и уже проходят мимо аплодирующих современников только что вернувшиеся из неба новые люди, с новым строем мысли. Как часто иные из так называемого старшего поколения никак не могут забыть о прошлом, мучатся и раздвоившимся взором глядят на две эти смежные эпохи сквозь искажающую пленку собственных возрастных изменений, а эти, нынешние, уже давно летят в будущее на орбитальных скоростях, по назначенным им историей маршрутам...

Это я очень правильно написал где-то, что мир есть двигатель, работающий на молодости. И вдруг: но ведь и мы, и мы когда-то, даже совсем недавно тоже полыхали из раскаленных дюз, обугливаясь и обугливая землю под собою, тем самым разгоняя необъятную громаду страны ввысь, помогая ей преодолеть земное и косное вековое притяжение... не правда ли, не правда ли?

...Так вот, незаметно, хотя и на глазах у всех, наступает завтрашний день мира.

1963

ФОРМА И ЦЕЛЬ

Я впервые присутствую на ассамблее Европейского сообщества писателей, но мне удалось ознакомиться с беглыми заметками наблюдателя на прошлом Эдинбургском совещании, и я почувствовал необходимость сказать некоторые старомодные, даже банальные вещи, так что каждый повеселится в меру своих возможностей.

Часть тогдашних выступлений касалась судьбы романа вообще, и были провозглашены утверждения, что роман как устарелая форма повествования не только болен, но благополучно умер и якобы уже пора его погребать, а теперь нужен качественно новый роман с переходом на высшую ступень, а именно: с полным исключением того человеческого горючего, которым и двигалась доныне мировая литература.

Меня огорчил категоричный тон этих утверждений, тем более что лет тридцать с лишком назад такого же рода манифестами некоторые литературные экстремисты стращали нашего брата-сочинителя и у нас в стране. Разрешите же мне вкратце и вслух подумать на эту тему, поскольку я в течение ряда лет тоже пробовал свои силы в этом жанре.

Вообще время от времени в искусстве и раньше возникал круг таких стариковских вопросов: зачем любовь, зачем жизнь, зачем человек?.. Такие вопросы, на мой взгляд, нуждаются не столько в ответах, сколько в сочувствии и даже в диагнозе. Они, как представляется мне, выражают какую-то опасную для мировой культуры степень бессилия перед современностью, отступление перед нею, некую духовную изношенность и, во всяком случае, затухание творческих импульсов.

Знаменитые художники прошлого, могучий Бальзак в том числе, как правило, не тратили время на подобные раздумья. Они брали пищу своего гения руками, предавались неистовым

трудам, не замечая смены суток, вступали в неравные битвы с наиболее выдающимися чудовищами своего времени. Жили шумно и полнокровно. И если любили, то от этого у них рождалось много пусть не всегда красивых, но исключительно здоровой наследственности детей, которые также исправно несли службу человечеству. Фундаторы, родоначальники идей, не тратят врученных им сил на бесплодные, в сущности, рассуждения: зачем жизнь, зачем солнце, зачем человек? Им некогда. Они открывают неизвестные материки, пируют победы или страдают в оковах, закладывают столицы, которым суждено процвести лишь через столетия, они наполняют своей одержимостью биографии последующих поколений и порою умирают не столько от усталости или боли, как от огорчения, что не сделали вчетверо больше, не выполнили замышленное до конца. Откуда же получается, что будто бы все так безоговорочно покончено и с человеком, и с романом на данном историческом перевале? Разве нечего стало открывать, не за что больше сражаться и так уже безотрадно обстоит дело с будущим, что, пожалуй, и не стоило рождаться на свет?..

Словом, мне хочется вступиться за роман. Я безмерно уважаю всякие бывалые инструменты: они послушные слуги нашей творческой воли и продолжение человеческой руки. Люблю зазубренные в смертных поединках старые сабли, сточившиеся до рукоятки стамески или, например, хранящееся в московском музее Достоевского простенькое, почти школьное перо, которым были написаны Братья Карамазовы. Грешно такое выкидывать за окно. В руке помянутого гения, кабы не смерть, оно могло бы произвести еще не одно литературное сокровище. Словом, роман — отличное орудие, немало поработавшее в истории культуры. Единственное усовершенствование, которое постигнет его на протяжении ближайшего полувека, это повышение его мыслительной и образной емкости соответственно текущим приобретениям нашего ума и духа. Посмотрим, однако, что именно порою сулят нам взамен.

Вероятно, мне просто не везло, но так называемые новаторские современные романы, попадавшиеся мне, часто выглядели игрушечной гонкой на мотороллерах с рискованными и хитрыми виражами порою, однако, все по тому же замкнутому кругу, нередко на моторах не очень крупной мощности, что возмещалось, впрочем, избытком заумного треска и ложной значимости. Зато мне очень повезло, что авторы таких очевидных неудач не присутствуют в этом зале.

Не состоит ли эта чисто формальная новизна из открытия сущих пустяков, из игры в очаровательные и несытные микромнимости, из всяких полуосязаемых ощущений, из мелочных и до такой степени социально сомнительных страстей, что иной читатель берется за эти книги не из потребности утолить душевную жажду, столь мучительную в условиях нашей исключительно сухой, жаркой погоды, не из стремления вернуть себе поколебленную веру в ценности человеческого существования, а главным образом из гурманской или даже несколько худшей любознательности?

Однако неиспорченное большинство наших читателей, несмотря на свои многочисленные разочарования, все еще с любовью и верой взирает на нас в надежде услышать нечто, что могло бы утроить их силы и через это облегчить им подвиг жизни.

Когда же автору не под силу или страшновато вступать в этот грозный диалог с большим, израненным в бою либо усталым после трудового дня читателем, он прячется от него в так называемые башни из слоновой кости либо пустыни и другие убежища: так происходит писательское одиночество. Кстати, судя по рассказам очевидцев, этому последнему слову почему-то в особенности дружно аплодировали на Эдинбургской встрече. Сегодня почти каждый всерьез размышляющий литератор стремится завести себе собственную небольшую, уютную, эстетически благоустроенную пустыню; каюсь, на всякий случай имеется она и у меня.

Здесь возникает достаточно наболевший вопрос о взаимоотношениях художника и гражданина. Если показать суть спора на наглядном примере, борьба этих двух вполне равноправных тенденций сводится к дилемме: так каким же, в конце концов, надлежит быть Гамлету? Остаться прежним несчастным и печальным мудрецом, умирающим скорее от горя, чем от раны, или, напротив, пусть он свергнет ненавистного Клавдия, расказнит наглое обступившее его злодейство, после чего приступит к расчистке средневековых нравов с последующим переходом к аграрно-правовым реформам для феодального крестьянства. Однако так и не выяснено до сих пор, который же из этих двух столь непохожих, даже противоречивых замыслов способен проделать бо̀льшую работу в гуманитарном преобразовании человеческой души, без чего бессмысленны и даже чреваты опустошительными следствиями самые чудесные машины века.

У нас в России подобные раздумья, как правило, протекают в особенности мучительно, может быть, в силу крайностей ее континентальной географии, диапазона ее исторических и температурных перепадов и просто непонятных Европе астрономических наших расстояний. Не потому ли больших русских литераторов прошлого века наравне с текущими обстоятельствами жизненного пути в особенности интересовала та конечная цель, ради которой стоило бы предпринять столь долгое путешествие по еще не слишком благоустроенным местностям прежней российской жизни?

Вдобавок в Эдинбурге провозглашалась также свобода авторов на выбор любой темы в спектре человеческого бытия, то есть право на создание даже сомнительных книг с самыми живописными, обстоятельными описаниями наиболее стыдных человеческих изъянов и уродств — от наркоманства до кровосмесительства, что придает им вид общедоступных монографий к познанию каждого греха в отдельности. В особенности повезло разным сексуальным порокам, бросающимся в глаза роднящим их признаком, что при этом как раз не родятся дети. Мне могут сказать, что все эти каталоги и самоучители распутства находятся на крайнем фланге литературы, но это на нашем фланге, уважаемые коллеги и товарищи.

Так из души в душу распространяется зараза наиболее опасного тления, происходит массовое отравление общественных источников, образуется самый грязный паразитизм на святынях. Считаю *Аве Мария* одним из светлейших шедевров человечества; если только моя покойная бабушка не ошибалась насчет существования рая где-то в небе, то, наверно, для автора этого гимна там поставлено особо почетное курульное кресло. Так вот, за неделю до отъезда в Ленинград я поймал по радио донельзя искалеченную мелодию *Аве*, исполняемую на каких-то самых гадких адских инструментах в подхлестнутых синкопических ритмах: не знаю в точности, как называются на Западе эти модные танцевальные корчи, но это было куда похлестче, чем памятный всем *Майн либер Аугустин* из Достоевского. Надо думать, передача шла непосредственно из ада или одного из его филиалов на земле. И никто во всем праведном западном мире не рассердился, даже не поскандалил против этого низкого коммерческого плагиаторского кощунства, что также позволяет судить о нынешних вкусах и религиозной искренности современного христианства. Продали дельцы божью матерь, продали! Не означает ли все это в це-

лом, что на буржуазном Западе достигнуто полное осуществление знаменательного тезиса из того же автора — все дозволено!

Прошу извинить мне своеобразно направленный и, может быть, излишне образный строй мышления. Как давно и глубоко шутят на Западе, в нашей стране буквально каждая мошка принимается всерьез, и правда — почти всегда мы не в меру строго судим о сущих, казалось бы, мелочах... Но, уверяю вас, после всего того, что мы вынесли в своей истории, мы имеем право относиться к будущему с особой ревностью и суровой настороженностью. В силу этого мне хотелось бы кулуарно спросить у некоторых участников данной ассамблеи: все эти весьма подозрительные признаки — измельчание литературной личности, поразительный рост преступлений, падение общественных устоев, вырождение древних табу, этих незримой стали моральных обручей, в которых держится человеческое общежитие,— растление веры в золотой век и в торжество человеческой правды, этот гнилой, все более распространяющийся цинизм, выдающий себя то за скепсис снобов, то за юмор отчаяния,— не симптомы ли все это? Не кажется ли уважаемым коллегам, что создавшаяся в мире обстановка чуточку походит на знаменитый спаленный небом библейский Содом, только несравненно более тонкого вкуса и с гораздо более универсальным обслуживаньем? Не потому ли сектанты всего мира в своих целях так усердно ждут карающих молний свыше, что когда уже ничто не способно вылечить недуг, то лечит огонь?

В те отдаленные прежние времена приблизительно на том же уровне распада цивилизаций суровые обличающие пророки зарождались в народах, и потом босые, простоволосые идеи разгневанно, с мечом и факелом в руках врывались в действительность, чтобы произвести необходимую санитарную чистку. Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтобы так запросто и по-собачьи дать ему сдохнуть на земле... И если у римлян словом vates обозначался одновременно и пророк и поэт, то не надлежит ли всем людям нашей профессии в связи с вышеуказанным возложить на себя коренные наши хлопотливые, может быть, мученические, но вполне благородные обязанности?

В самом деле, казалось бы, у наших современников нет оснований для особого пессимизма. Ведь все так планомерно движется вокруг. Прогресс находится в отменном здоровье и, можно сказать, на всем скаку. Сверкают переполненные товар-

ные витрины, по улицам движутся потоки прохожих, туристов, всяких благоустроенных экипажей. Воздушные лайнеры за четверо суток преодолевают расстояния, на которые Марко Поло и Афанасию Никитину потребовалось по три года. Стен просто не видать из-за наклеенных там увлекательных афиш, призывающих с помощью разных средств незаметно скоротать скуку жизни. Музеев уже не хватает для передовых произведений искусства, а пытливые науки тысячами усиков с чрезвычайным коэффициентом полезного действия прощупывают окружающую неизвестность, дабы извлечь оттуда пользу для дальнейших удовольствий.

Но посмотрите, как дрожат стрелки манометров, определяющих духовное благополучие в мире, как стелется горелый чад от перегретых под ногами, перенапряженных проводов, как обжигает лицо не в меру раскаленный воздух, какие подозрительные гулы ползут по земле не только от пробуждения материков или зарождения новаторских идей, но и еще от чего-то... Нечто подобное испытываешь во сне, когда, подкравшись к двери, слышишь за нею скрытное, затаившееся дыхание какого-то неописуемого существа, которое только и ждет вставить колено, чуть приоткроется малая щелка, и ворваться к тебе в теплое обжитое жилье.

Вместе с тем кривая человеческого могущества в последнее время как-то уж слишком круто, почти по вертикали лезет вверх. Утверждают, якобы быстрота жизни соответственно повышает емкость впечатлений — следовательно, удлиняет жизнь. Но ведь на таких скоростях прогресса, братцы, любая песчинка может взорвать хрупкие шестерни турбины цивилизации! При таком напоре только строжайший всечеловеческий самоконтроль, абсолютная моральная чистота, как в полупроводниках, могут предупредить многие нежелательные и, к несчастью, уже обозначившиеся последствия. Человечество движется вперед как бы с миной на шее, которая есть расовый, национальный, сословный и просто личный эгоизм. Очень хотелось бы верить в скорое наступление эпохи, когда люди и нации будут приходить на помощь соседям без просьбы и зова, не дожидаясь жалобы и разбойничьего вторжения, иначе нам просто несдобровать на этом летучем и вот уже тесноватом шарике.

Ибо прибавьте сюда ускоренно растущее всечеловеческое множество. К концу века, слава богу, нас станет шесть миллиардов. В середине следующего, по отзывам сведущих лиц, род

людской увеличится чуть ли не до одиннадцати... Вот здесь-то и гнездятся у меня справедливо порицаемые у нас микробы пессимизма, причинившие мне уже немало профессиональных бедствий. Однако мне всегда казалось, что разрушительные последствия заболеваемости чрезмерным оптимизмом, как это случилось у нас в начале войны 1941 года, сказываются куда болезненнее.

Мне бесконечно жалко мою цивилизацию, которая представляется мне самым неслыханным чудом в мире. Я живу и все не могу насмотреться на этот волшебный пульт с кнопками, нажатием которых извлекается любое, на выбор благо жизни — вода, свет, тепло, энергия, живительные лучи... да еще ждут срочного освоения десятки других, под которыми таятся иные, впрок упакованные блага для утоления еще не известных людям потребностей. Я благоговейно подымаю брошенную гайку на улице, потому что мускульно ощущаю количество затраченной на нее работы,— эти концентрированные будни шеститысячелетнего бессонного трудового подвига, которые предшествовали ее созданию.

Русский крестьянин, выросший в наших необъятных просторах, благоустроить которые, скажем условно — в люксембургской либо швейцарской степени, представляется почти немыслимым, всегда довольно недоверчиво относился к дарам цивилизации. И в самом деле, еще немало в нынешней России углов, где топор, русская телега, добрые яловичные сапоги еще жизненно необходимы даже в наш век электронных машин и заоблачных спутников. Собственно, страхи мои за цивилизацию тем и объясняются, что я сам происхожу из этого сословия. К слову, мне рассказывали о двух буддийских ламах, якобы завезенных кем-то ради психологического эксперимента в один лондонский ночной вертеп,— как невозмутимо, с насмешливым мерцаньем в глазах созерцали они происходившие перед ними стриптизы, кривлянья наготы и прочие дивные аттракционы, ни в малой степени не допуская их реальности, принимая все это лишь за игру теней на минутном облаке, за коварный мираж, который может внезапно рассыпаться пепелком либо исчезнуть вовсе.

И действительно, а вдруг из-за наших чрезмерно участившихся промахов все это возьмет да и схлынет прочь и на поверку останется одна пещера нижнего палеолита, в которую и ступит то самое, одетое в метель и мрак, что в продолжение ста тысяч лет человеческого существования пристально и враж-

дебно следит за каждым нашим движением из недр космоса. Люди воображения, уж мы-то хорошо знаем, как может обернуться дело в случае какой-нибудь генеральной ошибки. В отличие от евангельских птиц небесных, нам полагается почаще задумываться о завтрашнем дне... В свете перечисленных соображений не кажутся ли всем вам столь хваленые западные свободы всего лишь правом на пренебрежение к будущему?

Но люди стоят того, чтобы беззаветно помочь им в их труде и осознании их нынешних богатств, чтобы облегчить им процесс происходящей перестройки и наступления великой, категорической, повсеместной и всесторонней новизны. Она стучится в мир, и там, где ей долго не открывают ворот, она взламывает стены. Мне думается, однако, не надо ее больше бояться, потому что главное уже произошло, хотя кое-где еще и не закончилось.

В этом смысле воздадим должное хозяевам этого города, оказывающим нам свое гостеприимство: и нынешним живым, и тем, которых мы с вами третьего дня навестили у них дома на Пискаревском кладбище. Они честно положили свой труд, свое вдохновение и жизнь в фундамент завтрашнего дня. И тут возникает очередная тема для литературной дискуссии... Если корабль терпит бедствие, то понятно, что слабейшие страдают морской болезнью философского или житейского неустройства. Нам, литераторам, также вполне посильно показать, как одни при этом предаются воспоминаниям детства, другие поют всезавершающую молитву — ближе, ближе к тебе, господи! — третьи тянутся к любимому наркотику — нюхнуть последний раз. Несомненно, что все это психологически выгодный материал для одаренного литератора.

Но как утешительно знать, не правда ли, что, помимо этих чисто каютных героев, где-то на мокрой верхней палубе, в машинном отделении, в кочегарке одновременно действуют хмурые, недоверчивые, не шибко сильные в дипломатическом этикете люди и один на один за всех борются с судьбой, с ночной стихией, с дьяволом самим, хотя бы для того, чтобы до последнего вздоха было соблюдено высокое человеческое достоинство.

И когда мы осознаем этот наш долг, не возникнет и мысли об устарении романа. Сколько раз в прошлом помогал он мировой литературе выходить из не менее стесненных обстоятельств. Нет, я не верю в искусство, которое начинается с барабанных манифестов. В искусстве можно как угодно, с одним лишь условием — чтобы было хорошо. Форму диктует практи-

ческая цель художника, гавань назначения, которую всякий серьезный мастер должен предвидеть наперед. Таким образом, дело не в бутылке, а в вине, которое мы, литераторы, в нее наливаем.

Тогда нам не придется изгонять из литературы прекрасную и бессмертную человеческую тему, осуществлением которой только и мерится гений художника. И даже если бы она когда-нибудь исчерпалась до конца, скажем, с трагической гибелью человечества, то навечно останутся громадные, неостановимо расширяющиеся окрестности человека, эта разбегающаяся вокруг него вселенная, с отвоеванными у небытия категориями и территориями для заселения будущими избранниками природы. Слава человеку!

В заключение я прошу не судить меня ни за утомительную дидактику этой речи, которая есть всего лишь жанровая окраска моего выступления, ни за чрезмерную настойчивость доводов, потому что еще более, чем вас, мне требовалось убедить и самого себя в примате гражданина над художником.

1963

СОЮЗ УМА И СЕРДЦА

Почему-то в последнее время в особенности часто, так сказать с вышки наших дней, так и тянет оглянуться назад, на пройденный за тысячелетия путь, чтобы затем бесстрашнее вглядеться в будущее наступающего года. Обычно такого рода потребность возникает в канун либо великих радостей, либо грозных, на жизнь и смерть, испытаний. Принято рассматривать нынешние неудобства и усложненность международного существования как неминуемые обстоятельства громадных, происходящих вокруг нас и в самих нас не только политических перемен. Вот так же при сейсмических подвижках вся древняя плодородная почва приходит в движение под нами, чтобы после некоторых толчков и притирок улечься в более совершенном, математически более разумном порядке.

Натерпевшись от страхов, кризисов и войны, люди на земле ложатся спать с надеждой, что за ночь все устроится к лучшему. И верно, когда-нибудь завтра решительно все станет по-новому. Возможно, будущие историки назовут двадцатое столетие эпохой генеральной линьки человечества. В таком случае время наше, вулканическая сердцевина века и в особенности переживаемое нами десятилетие, представляется мне самым главным и смелым переходом по довольно малознакомой местности. Решение основной проблемы современности, со всеми вытекающими последствиями, целиком поэтому зависит от нашего поведения сегодня. И чтобы не тужить потом, не следует сопротивляться наступающей новизне, ни равным образом шалить с неизвестностью. Ибо, представляется мне, на сегодняшнем повороте истории мало одного оптимизма и удальства, как, наверное, недостаточно и реформаторского вдохновения. Крайне желательно даже высочайшие веления ума поверять прозрением большого сердца.

За осуществление надежд!

1963

ПРОЩУ СЛОВА

Имею потребность высказать кое-какие неквалифицированные соображения по поводу только что опубликованного проекта новой русской орфографии.

Признаться, малость невдомек: к чему она, уже не первая на памяти моего поколения, реформа правописания? Столь утомительные для запоминания, малообоснованные, они с грустным удивлением воспринимаются братьями-литераторами и терпеливыми нашими корректорами в особенности. Нельзя столь часто совершенствовать одно и то же, вострым ножом по живому телу. Надо по-божески, братцы, дайте и передохнуть немножко.

Стихия народного языка представляется мне громадным неспокойным морем, которое вечно колышется, меняется, поминутно вспенивается и бессонно бежит куда-то. Притом сквозь волну, чуть постихнет, всегда видна почти бездонная глубь, где таинственно возникает вдруг ступенчатая преемственность поколений, по которой читается последовательность интеллектуального развития нации, что так необходимо для ее исторического самопознания и, следовательно, для ее здоровья. И это очень хорошо, что язык просвечивает насквозь, что море это постоянно волнуется и кипит, бьется в целинные скалы в поисках более удобных и соответственных бытию форм. В этом его отличие от мертвых языков, где все застыло, все до алгебраичности статуарно и отвлеченно... Нам, имеющим постоянное творческое соприкосновение с этой родной стихией, надлежит лишь констатировать уже прижившиеся перемены,— по счастью, нам и не дано иной возможности вмешиваться в этот процесс, кроме как с совещательным голосом.

Таким образом, вопросы родной речи, как и начертания слов, которые для меня являются трепетной оболочкой мысли, решаются в недрах общенародной лаборатории, в процессе повседневной деятельности. В этом смысле нам, нынешним, бесконечно трудно предугадать, по какому руслу направится языковое творчество будущего, правописание в том числе. Пожа-

луй, давняя, начальная реформа отечественной орфографии, касательно ятей и твердых знаков, прошла так единогласно и относительно безболезненно потому, что, при очевидной необходимости своей, она была вдобавок первая.

И в человеческом организме, кстати, также имеются застарелые и вопиющие пережитки, вроде копчика или излишней на нынешнем уровне цивилизации волосяной щетки на щеке, но смотрите, с какой осторожностью природа ведет нас по этапам своего неисповедимого совершенства. (К слову, какая прелестная темка для инотолкования с переносом филологических рассуждений автора, скажем, в плоскость социологии!)

Грешен, эта тяга отрегулировать раз навсегда непокорную вихрастую стихию напомнила мне одно смешное в двадцатых годах, сатирическое конечно, предложение вскипятить все наличные, имеющиеся в распоряжении рода людского водовместилища, как-то: пруды, лужи, океаны, тучки на сносях, колодцы и так далее, чтобы нигде не оставалось более сырой воды, и одним ударом покончить раз и навсегда с проклятым источником желудочных заболеваний. Даже благороднейшее в замысле своем мероприятие должно сопровождаться хотя и беглым подсчетом, во что оно обойдется пациенту.

Жаль, что проект не сопровожден конкретными подписями его авторов. Анонимность орфографической комиссии и некоторые несомненные шедевры ее работы, вроде заец, мыш, ноч, дают мне основание предположить, что к обсуждению этого общенационального дела не был приглашен ни один литератор — поэт или прозаик, имеющий по самому призванию своему повседневное профессиональное соприкосновение с разными речевыми таинствами в русском языке, какими, к слову, изобилует богатейшая крестьянская речь. Оговорюсь, не себя имею в виду: не будучи своевременно принят в Московский университет и не обладая законченным филологическим образованием, я не претендую на участие в работах высокой подразумеваемой коллегии. Однако в недрах Союза писателей у нас нашлись бы гораздо более меня осведомленные товарищи, обладающие сверх необходимых сведений и цензом с приложением печати.

Конечно, по затронутому вопросу следует массово, как говорится, выступить и братьям-читателям, для которых, надо полагать, небезразлично — пускать ли на свои книжные полки любимых классиков, перечесанных на новый образец. Разные

бывают упрощения, по разным поводам и оттого с прямо противоположными следствиями! Будем же коллективно рассчитывать, что строгие авторитетные инстанции не допустят выпуска изданий, которые потомкам придется расценивать как заведомый полиграфический брак. (Впрочем, жаркие замечания эти не распространяются на ряд имеющихся в проекте вполне уместных уточнений, большинство которых и без того всегда разумелось само собою.)

В непременной, надо думать, столь же горячей чьей-то отповеди на мои необузданные нападки очень хотелось бы почитать что-нибудь толковое в защиту — заец. (Кстати, насчет огурцов: если вместо них вырастут огурци, то я не стану есть таких огурцей!) Если таким путем стремились пощадить нежные мозги школьников и других перегруженных занятиями лиц, сберегая их от неизбежного, при письме, умственного напряжения, то... стоит ли? Систематическое высвобождение юной смены от так называемых излишних гуманитарных и смежных с ними сведений, исторических фактов и, скажем, библейской мифологии, мягко говоря, не во всем привело к добру. Один неназываемый покойник сказал однажды, лет тридцать тому назад, тогдашнему наркому просвещения про его паству: «Они у тебя думают, что Наполеон — это пирожное». А между прочим, младому поколению существенно полезно знать, что Наполеон не только пирожное, а Галифе — не только штаны с кавалерийским раструбом!.. В старых благодарной памяти моей русских гимназиях обязательными были стяжавшие ненависть недорослей древнеславянский язык и классическая латынь. Своими экстемпоралиями, головоломными герундиями, достигательными наклонениями и аблативами они не только помогали освоению родственных им или дочерних наречий, но как раз и применялись для упражнений девственного ума, подобно тому как нижегородские кожемяки поступали с бычьими кожами для придания им гибкости и лучшей пригодности в деле труда и обороны.

Это уже не первый заход по русскому правописанию. Интересно — последний или имеется в замысле еще что-нибудь?

Возможно, все торопливо высказанное здесь и не во всем благозвучно, но, простите, бывают такие поводы, когда на площади в рельсу бьют.

1964

О БОЛЬШОЙ ЩЕПЕ

Собственно, поводом для этого задушевного разговора послужил выходящий на экран документальный фильм «Наш неизменный друг» [1]. Это отличное произведение кинопублицистики надо посмотреть каждому, для кого живая природа не звук пустой. В нем образно рассказывается о лесе, этом мнимобессчетном богатстве нашем, его красе и невзгодах. Имеется в виду вошедшая в обычай утечка бесценного органического сырья, способная разорить самое благополучное казначейство.

Старая пословица утверждает неизбежность щепы при рубке леса. Однако, по слову одного пограничника, наглядевшегося на лесные порядки по обе стороны рубежа, в смежной с нами Финляндии отходы «в картузе с лесосеки домой уносят», у нас же они полыхают в огнищах до неба. Эка разбогатели, чего сожигаем: иную щепку вдвоем не поднять! Посему беседа наша и начинается с этих варварских костров, столь характерных для повсеместного леспромхозного пейзажа... Полюбуемся же сообща на эти круглосуточные багрово-черные облака, пронизанные трескучей вспышкой, с какой любят гореть спирты с таннинами, кормовые дрожжи для скота, канифоль, всякая бумага — с водяными знаками в том числе: кредитные билеты Госбанка.

Сразу установим преамбулу. Отбиваясь от попреков в расточительстве, лесные владыки жалуются на интенсивные нравственные страдания от незаслуженных обид. Дурной юмор этих лицемерных вздохов очевиден каждому! Не грозна, к сожалению, наша сила — пузырек чернил да квадратный метр

[1] «Наш неизменный друг» — цветной фильм Свердловской киностудии. Сценаристы М. Витухновский и Н. Орлов, режиссеры В. Волянская и Л. Рымаренко, операторы А. Гарибян, В. Киржибеков, Х. Лобер и Б. Митлин.

письменного стола: не велик плацдарм для наступления на прелестно оборудованную ведомственную твердыню с мощным гарнизоном. Время от времени оттуда проливается уничтожительный кипяток, также охладительные жидкости на галдящих внизу болельщиков природы и ходатаев лесных; последние, кстати, никаких барышей от своего добровольного заступничества не имеют, только неприятности... Позавчера, к примеру, некий высокочиновный Гаврилов при большом стечении публики перстом грозился со своих высот,— дескать, стараемся, вдохновенно рубим-пилим не покладая рук, и вдвое делов натворили бы, кабы разные писаки, имярек, не мешали топору трудиться вволюшку... Здесь явно упущено, что железный предмет топор без приложения ума может немало бед натворить в централизованном государственном обиходе. А нынче, глядишь, один республиканский Сидоров фырчит из министерского кресла про вышеупомянутую категорию патриотов: «Ха, Леонова начитались...» А не надо грозить, фырчать в браминском стиле,— не надо. Досаждают вам не частные любители пташек и березок, а полноценные граждане этой страны, ваши прямые хозяева.

В силу инакомыслия сторон придется еще раз, вслух и погромче разъяснить, что́ за шум и откуда дым, чтобы через полгода не возвращаться к повторению пройденного. Не запрета рубок лесных требуют означенные граждане, потому что самим без древесного продукта шагу не ступить,— не о том хлопочут, надоедные, чтоб было куда в выходной смотаться по гриб да ягоду. Они настоятельно желают, чтобы по утолении потребностей и тщеславия современников осталось кое-что и подрастающим малюткам. Надменное же пренебрежение к очевидному здравому смыслу и пользе народной никогда не приводило к добру.

Словом, речь идет о коренном пересмотре архаической точки зрения на лес как нечто бездонное и дармовое — о более бережливом отношении ко всем видам казны, лесной в том числе. Современная лесохимическая технология и пример процветающих лесных соседей обязывают и нас подумать о повышении дохода с каждого вырубаемого га зеленой площади — взамен далеко не достаточного нынешнего. Приспело время всенародно посчитать, сколько же сыплется у нас сквозь пальцы всякого, лесного покамест, зерну и волокну равноценного, дефицитного добра. Оно рассеивается пеплом и удушливой гарью, лигнином и опилками спускается в подвернувшуюся

речушку, бездельно сорится па **нижних** складах и разделочных эстакадах, в дюжину рядов устилает топляком русла знаменитых водных магистралей, сгнивает под железнодорожной насыпью и по берегам сплавных, рано мелеющих ныне путей и, наконец, просто бесхозным плавником утекает в иноземные моря, где предприимчивый скандинав, дивясь причудам необъяснимого нашего преизбытка, строит из него уютные и ладные поселки... Уместно было бы подумать заодно об элементарной экономической справедливости в отношении северных районов страны... Сопоставим любознательности ради ежегодный доход с одного участка под хлопком и такого же — под лесом, урожай которого собирается раз в столетье... да и то из-за нерадивого лесовозобновления — с риском затундривания обнажаемых площадей. Если даже признать неизбежность столь неравномерного оседания благ на разных параллелях — в силу климатического неравенства, тем преступнее выглядит хозяйственное размахайство, расточительство единственного, в сущности, добычного продукта, коим определяется благосостояние наших северных окраин.

Вот сознательно, в меньшую сторону, округленные цифры для плодотворного размышления о лесных печалях — уделите минутку этой скорбной арифметике... Ежегодно с лесосек страны вывозится приблизительно триста миллионов кубометров — госплановой и пятьдесят — колхозной древесины. **Неликвид** в количестве ста миллионов кубов остается на месте. В эту сумму, кроме пня, сучьев и кроны, входят и подсекаемые заодно лиственные породы, так как привередливая наша промышленность потребляет лишь хвойные,— а рубки ведутся сплошные, подчистую. В костер же пойдет и вся божественная лиственница, красавица лесов сибирских, по удельному своему весу не пригодная к сплаву. «Плыть не можешь, полыхай, мать честная!» Словом, падаль этой бескровной бойни будет подметена огненной метлой при содействии равнодушных, закопченных людей с цигарками в зубах... Теперь из наличных трехсот пятидесяти вычтем добрую сотню миллионов на дрова — тоже горькая дань химической отсталости! — да еще на варку целлюлозы миллионов двадцать, из коих половина, в жидком и твердом виде, сразу пойдет в промой, на отраву рыбы и захламленье рек. Оставшиеся двести тридцать предназначены на шахтный крепеж и тару, на столб и шпалу, на всякую строительную деталь с полезным выходом в один кубометр на четыре заведомо пропащих. Деловая древесина как бы тает на

всем пути до потребителя, и эта дополнительная порция сора составит еще сто семьдесят миллионов кубометров...

На беду нашу, лесные вузы обучают студентов главным образом механической обработке леса — существующим способам рубить, дробить, кромсать бревно... А чтобы отменить эту убийственную пропорцию — четыре пятых, потребуются новые люди, много, с расширенным лесным кругозором, с прозрением сокрытых в древесине химических превращений. Только сильные характеры, способные пройти по тернистой целине, смогут преодолеть сопротивление отживших рутинеров. Сперва люди, за ними придут машины!.. Наравне с неотложным, по моему мнению, восстановлением факультетов зеленой архитектуры, абсолютно необходимых в предвидении будущего и уничтоженных недавно мановением одной указующей руки, надо срочно приниматься за воспитание этих новых кадров — новаторов промышленности, которые станут извлекать из обыкновенного полена сверхсокровища на уровне современной химии... А пока Министерство высшего образования плодотворно размышляет об этом, кликнем грамотеев на подмогу. Ну-ка: 100+170+10... Какая общая сумма лесного мусора у вас там получается?

Как же нам, любезные Сидоров и Гаврилов, не нагнуться за нею, не поднять из-под ног сию пресловутую щепицу, в ежегодном объеме исчисляемую в двести восемьдесят миллионов кубометров органического сырья — на любые чудеса современной цивилизации? Вдобавок в пересчете на живую зеленую площадь, считая в среднем по сто сорок кубов на га, это означает двадцать тысяч квадратных километров великолепной, который год понапрасну срубаемой шумящей на ветру лесной стихии, полной птиц, прохлады, радостей и благ, обычно не включаемых в перечни ширпотреба. В живом мире вокруг нас слишком много таких явлений, без коих никак нельзя Человеку на земле. Да разве можно, родимые, подобными кусками кидаться: за такое и потомки не простят, и сама история, пожалуй, не помилует!

Национальное богатство происходит не из раскопанных кладов — сотенными бумажками сплошь, не из золотых, по пуду, самородков. Помимо безответного, бывает — круглосуточного и поголовного труда, как в минувшие легендарные наши полвека, оно слагается из дополнительных усилий и трудодней сверх нужного на дневное пропитание. Закон этот обязателен даже при неисчерпаемых рудных недрах, при подземных океанах нефтяных. Жир простонародного зажитка явля-

ется как бы наградой за своевременно залатанные мешки, за спасенный из грязи, на чурбаке выпрямленный гвоздь вместо потраты свежего,— за охапку сочной травки из ничейной канавы, по дороге домой — «у калитки-то, поди, кормилица встренет!»— за всякие размельчайшие, с малых лет впитанные, вовсе не зазорные привычки вплоть до экономного ношения штанов, покупаемых покамест на родительское средствие. Тут и скопидомство не грешно, когда б с умом да не в ущерб родной матушке!

Благоденствие нации обеспечивается воспитанием юнцов в духе сурового и безусловного благоговения к наследию дедов — от мемориального камня даже и с крестом, поскольку были незнакомые с трудами Гольбаха и Марешаля! — до целомудренного, полностью еще не осознанного догмата — считать божьим телом даже плесневую черствую корку. Не зря прежние-то старики ревниво следили за каждой упавшей со стола крупицей, чуть что — ложкой в лоб!.. И полколосу счет да почесть на политой крестьянским пóтом ниве! Нас с пристрастием учивали так с хлебной крошкой обращаться, чтоб не стыдно было перед дождиком и солнышком, которые трудились над нею в одном хомуте с савраской... С возрастом эти навыки детства закрепляются по возможности ранним мускульным ощущением потребляемой ценности, то есть чувством человеческого труда, потраченного на ее создание. Впоследствии это поможет народу в целом сбалансировать худо и добро исторической судьбы, зиму и лето континентального климата! Сколько помнится, в старину у подрядчиков толь, электропровод да помянутый гвоздь на стройках не валялись,— верно, из опасения сквозь подошву пораниться. Так вот и получается, что нынче и гривенник нипочем, а в те смешные времена, помимо копейки, чеканились и монетка половинного достоинства, и даже полгроша, под забытым ныне названием — п о л у ш к а.

А не к лицу нам забывать свое недавнее прошлое, откуда вышли на простор неслыханных нынешних идей. При всяком удобном случае воспевая любимый город Москву, ее вечера и окрестности, мы редко вспоминаем неслышного ее ревнителя, говорят,— и в учебных-то примечаниях неназываемого, некоего Ивана Калиту, который по пяди, чуть заведется денежка, скупал у соседних ухарей да хвастунов подмосковную землицу. Устройте викторину среди школьников, многие ль слыхали про такого? А это нельзя, опасно отстраняться от истории отцов, будто ничего там не случалось, окроме исчадий гнилого феодализма. Было там, много кое-чего полезного было! Археологиче-

ская наука повсюду из пепла и обломков пытается реконструировать чужую даже старину, восстанавливает из забвения имена мертвые и остылые, а у нас нередко бульдозерами сгребается, в щебенку дробится своя, родная, стираются из памяти — теплые и живые. Наука История изобретена не только для образованности, великие гробницы живым нужнее, чем мертвецам. Это они властно связывают поколения круговой порукой, зовут на повторенье отцовского подвига, кладут узду на иную неустойчивую совесть, трезвят хвастливое удальство, укрощают приступы административной эйфории! Надо почаще, не только в грозу, доставать, проветривать некоторые спасительные святыньки из подразумеваемого сундука: чтобы время да моль всеядная не поточили. Без пониманья этих истин можно наделать уйму неправильных поступков в стиле рекордов, поведанных Достоевским во сне Раскольникова!.. Все перечисленное здесь жизненно необходимо для нации, замыслившей совершить восхождение на величайшую, никем пока не покоренную вершину.

Каждый день явственней слышится в народе сожаленье по поводу хиреющей там и сям природы, терпящей бедствие от победного наступления промышленности, хотя, казалось бы, при наших просторах обеим хватит места. За все минувшее десятилетие один и тот же недобрый почерк сквозит в разных мероприятиях, чем-либо соприкасающихся с этой лишенной гражданства, безглагольной стихией, причем всякий раз почему-то не подлежащих нашему с вами обсуждению. Промолчим насчет того, что еще раньше навек упало с воза... но вот не успела совсем пожухнуть от адских воспарений соседнего химкомбината Яснополянская дубрава с могилой Толстого, один из центров мирового культурного паломничества, как уже под благовидным предлогом и, главное, на крупные казенные деньги замышляется злодейство над Байкалом. И опять печаль наша не просто любительская — «прощайте, дескать, возлюбленный баргузин да омулевая бочка!». Никакие резоны не принимаются во внимание: дескать, дожмем, а как маленько подзабудется, так и спишем в небытие. Не забудется!.. Сымем же шапки всенародно в тот пасмурный денек, когда хлынет туда, в эту чистейшую чашу, первая отрава... Всемерно ужимаются заповедники, хотя и без того, процентно, по количеству заповедных площадей чуть не на последнем месте стоим!.. Лишь позавчера воздвигся в обреченном ныне Астраханском заповеднике, всемирно известном гнездилище перелет-

ной птицы, мощный камышово-целлюлозный завод, работающий, жутко сказать, на привозном, с матушки Камы, северном бревне, как уже вторгаются электропилы в Северо-Кавказский заповедник, чтобы дать занятие освободившимся поблизости лесорубам. Похоже на то, как если бы танкам по окончании войны предоставить в работу прилегающие сады, чтобы не получилось машинного простоя!.. Трещит вековой алтайский кедрач, валятся исполины, помнящие Ермака, шелестит под лемехом уникальная асканийская целина,— видать, все назло любителям недозволенных травок! В промежутке же возникает глубокомысленное переселение лесников с охраняемых ими лесных кордонов в близлежащие поселки с целью подключения их к культуре, для гармоничного ихнего врастания в прогресс. Малость невдомек: на кой черт вологодскому лесу стража, проживающая, скажем, за Таганкой, в Гендриковом переулке?

Требуется срочное общественное вмешательство в эту, из-за постоянной гонки да спешки, слишком уж подзапущенную область. Очень помогло бы делу всесоюзное, по примеру многих отраслей сельского хозяйства, совещание мастеров леса, лесничих, теоретиков и практиков, имеющих не меньшее право на столичные приемы и ласку. Коллективно обсудили бы происходящую пользу от вырубки водоохранных зон и другие, мягко сказать, скопившиеся недоумения, наметили бы способы к исправлению ошибок и основы для все еще отсутствующего Лесного Закона, обличили бы показуху с лесопосадками через выяснение истинного процента приживаемости и еще разное, что у всех на языке... Еще лучше было бы сосредоточить все наше бесконечно встревоженное внимание в Государственном комитете по охране природы с руководящим тезисом вроде римского Caveant consules — защиту утесняемого живого мира вокруг нас. Не обладая правами единого лесного хозяина, без которого лесу все равно не обойтись, орган этот возглавил бы хозяйское наше наблюдение за сохранностью заповедных объектов по списку авторитетнейших наших ученых... Не менее важно было бы учреждение массовой, по образцу существующих, добровольной организации «Друг Природы» — с упором на молодежь, которая завтра сама встанет у государственного штурвала. Кроме плохо насаженной лопаты, бесплатно отпускаемой для вскопки общественных цветников, энтузиастам этим придется вручить и право сердитого разговора с местными сквозник-дмухановскими, не без того! Но взгляните на фантастические озеленительные успехи в Грузии, где эти же люди

за полтора десятилетия преобразили лицо республики. Патриотизм граждан прямо пропорционален количеству творческого вдохновения, вложенного в дело Родины, это была бы дополнительная матица, крепящая наше единство.

Нам нужно возможно раньше отучивать ребят от барского, иждивенческого и потребительского поведения в природе. Ох, эти жизнерадостные мальчики-горнисты с котелками, топориками и оглушительной медью, повергающей в дрожь и долгое молчанье перепуганную лесную живность!.. Без предварительной гуманистической подготовки, вооруженная орудиями ужасного, самонадеянного могущества, молодежь вступает в соприкосновение с чудесным и почти незащищенным миром, где любое можно раздавить, не заметив, даже джунгли. Всегда меня отпугивало в лице нашей цивилизации это выражение иронического превосходства над всем, самым неприкосновенным, казалось бы, даже над бытом своих творцов... Но многое выглядело бы по-другому, если бы заповедью наших детей стало — «пускай я маленький, но я бесконечно сильный и нужный, потому что в мире много существ меньше и слабее меня, и можно сделать им добро хотя бы тем, чтобы пройти мимо, не заметив, не тронув их, не задев». Без этого начального чувства дружбы к младшим в окружающем мире никогда не получится бойца за освобождение порабощенных.

Предлагаемые мною занятия — час родной природы — должны начинаться одновременно с азбукой, и проводить их будут люди, обладающие, кроме знаний, и поэтической жилкой, сами одержимые, способные увлечь племя младое без казенной хворостины и схоластики. Затеплившийся в этом возрасте огонек, тяга к рассеянным вокруг нас тайностям природы, ни под каким ветром не угасает до гроба. Педагогические вузы могли бы, среди прочих специальностей, выпускать и пламенных паладинов Природы, не только осведомленных по части цветочков и мурашек, но способных и самолично, позабыв про сон и еду, полдня продежурить у гнезда или норки какой-то пичуги, зверька и просто осы, как делал это поразительный следователь по делам насекомой твари, милый старик в широкополой шляпе Жан Фабр, когда часами, лежа на палящем солнце среди будяков и чертополохов у себя на каменистом пустыре под Авиньоном, выслеживал повадки какого-нибудь сфекса или бембекса... Природа представляет собою самую древнюю в мире лабораторию с постоянной выставкой инженерных, архитектурных и прочих достижений, причем с наиболее выгодным

решением сложной технической задачи. Большая мать, она всегда обогащает нас, однако щедрей вознаграждает тех, кто с малых лет научается любовно смотреть ей в лицо.

В придачу к большим нашим ученым, профессорами подобных кафедр могли бы стать фенологи и краеведы, эти ютящиеся еще кое-где при музейцах скромные люди, всегда с глазами настежь и с сердцем настороже, местные хранители фольклорного жемчуга, примет и народных речений, сущие энциклопедисты родного края в диапазоне от эндемов флоры и фауны до бесценных преданий, ускользающих от большой хроники. Она шибко поредела без госпригрева, эта драгоценная категория патриотов,— с ними надо торопиться, чтоб не опоздать. Тут-то и пригодятся как гигантские наглядные пособия заповедные, с непуганым зверем обители природы, нередко предмет административных упражнений, диких охотничьих забав, изощренной ненависти невежд. Навечно полюбился мне граффовский оазис Великий Анадоль или в Подмосковье, близ села Поречье, творение почти безвестного лесного зодчего К. Ф. Тюрмера, богатырское содружество ели, лиственницы и сосны, век спустя представшее нам во всей былинной мощи!

Все эти слова взволнованных надежд и сожалений авось теперь-то будут услышаны! Главное — что это было вслух произнесено однажды... Меньше станет тогда захламленных опушек, разоренных муравейников, взломанных телефонных автоматов и еще кое-чего. Поубавилась бы грустная в отношении меньшей бессловесной, хвостатой и пернатой братии детская жестокость, которая, как и все человеческое, имеет тенденцию к дальнейшему развитию... Ибо уж сколько раз шумели мы сообща под окнами таких непреклонных к баловству, несгибаемых начальников, а неприкасаемый тугоухий кот Василий все слушает да ест. Он жует ее, многострадальную нашу природу, и мурчит нам нечто в тембре работающей вхолостую электропилы. Он мурчит нам о том, что, дескать, все рассказанное здесь — чистая выдумка, на деле же великая тишь да гладь наступает в природе...

Для того и затеян этот разговор, чтоб они не воцарились в ее лоне окончательно!..

1965

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ БЕДНЫХ

Я бы сказал так: хорошая литература не стареет. Стареет любой вид искусства, связанный с техникой. Может быть, за исключением архитектуры.

Кинолучом, конечно, можно нарисовать гораздо больше без риска надоесть, чем по старинке водя пером по бумаге. Кинематографист может больше показать, но писатель — глубже, емче сказать. Потому литературу рассматривают как некую материальную основу, от которой зависит благополучие многих искусств.

Я думаю, что главнее всего в кинематографе писатель. Этим я вовсе не хочу умалить роли режиссера, который есть главный фильтр, главная антенна, через которую идет волна — мысль и образы писателя — к людям.

Мне кажется, что у нас часто забывают об этом примате литературы. Тогда-то и возникают многие, широко распространенные болезни кинематографа, о которых так часто говорят.

Когда режиссеры берут на себя функции сценариста, они совершают большую смешную ошибку.

Недавно я подвергся экранизации — я говорю о «Русском лесе», что, наверное, сохранилось в памяти у зрителей, и у кинематографистов, и у читателей. Из этого опыта я сделал вывод, что практически почти невозможно события романа, которые происходят на протяжении многих лет, уложить даже в двухсерийную ленту.

Это всегда обеднение, упрощение, бриллианты для бедных. Я совершенно уверен, что когда-нибудь кинематография, экранизируя достойные литературные произведения, будет брать не весь материал целиком, а отдельные, сюжетно самостоятельные куски его, раскрывая с помощью кинематографи-

ческой лупы то, что бывает спрятано у писателя между строк,— настроение, окрестности темы. Это откроет великолепные возможности соревнования между режиссером и художником слова, без того беспощадного подавления нашего брата, которое практикуется ныне во славу так называемой кинодоходчивости.

Я слишком давно работаю в литературе, и, когда вижу некоторые фильмы, мне очень часто, несмотря на весь кинематографический блеск, трудно отделаться от ощущения, что я читаю, мягко говоря, рукопись новичка.

Мне не очень нравятся бытовые рассказы о случайностях, которые постигают человека при выполнении производственного плана или в частной, семейной жизни. Лично мне хотелось бы видеть фильмы, которые время от времени заставляют взглядывать на звезды, хотя бы для гимнастики, чтобы не атрофировалась шея. Это совершенно необходимо: без этого слово «человек» начинает звучать менее гордо.

Леонардо да Винчи говорил: «Опыт — единственный источник познания». Это и позволяет мне высказать мысли, к которым меня привел мой опыт.

1965

ПОКА СУД ДА ДЕЛО...

За последнее десятилетие у нас наблюдается успешное — наряду с заповедниками природы — искоренение памятников старого русского зодчества. Для сбережения уцелевшего создан охранительный Оргкомитет, куда назначен и я. Начинается медлительный, без ущерба для здоровья, разворот общественно-учредительно-краево-республиканско-заседательской деятельности... к сожалению, пока без учета повседневных происшествий на этом действительном, в силу применения взрывчатки, фронте нашей культуры. Может случиться, ко времени организации Общества по охране охранять-то будет и нечего, так как с момента появления означенного Оргкомитета дело по ликвидации русской старины пошло вроде веселей. Полагалось бы поэтому впредь до окончательного выяснения — «сколько там будут платить помесячно школьники, в отличие от военнослужащих-сверхсрочников», поставить возле наиболее беззащитных святынь хотя бы по полсолдату с ружьем, хотя бы даже с незаряженным. Среди многих, далеко не обязательных, нынешних расходов непременно должна и копейка найтись на эту вполне святую цель. Числящееся в казенных ведомостях как деревянная ветошь да каменное старье для народа нашего является материнской ладанкой, вдохновлявшей его на многие весьма существенные победы, недавнюю в том числе... Вспоминается в связи с этим, как горячо, с этаким огоньком порицались у нас перед лицом великой опасности иные Иваны беспамятные...

Вследствие приходящих в мой адрес патриотических писем, полных яда, слез и недоумений, крайне интересуюсь получить откуда-либо авторитетное разъяснение, что́ именно надлежит мне отвечать на них — для успокоения встревоженных умов и пресечения опаснейших догадок о смысле всей этой деятельности.

P. S. Примечательно, что в деле разрушения русской старины принимают активное участие и видные деятели культуры. Вот ряд взятых наугад памятников, уже разрушенных или намеченных к срочному удалению с глаз долой.

1. Администрация Восточного музея (ул. Обуха) взорвала апсиды церкви XVII века (Илья Пророк) для постройки там одного подсобного помещения. В этом году памятнику исполнилось бы триста лет, поздравляем кого следует с юбилеем. Остальные соавторы этого варварского акта скоро будут опознаны нами по горящей на них шапке.

2. Резная деревянная церковь-игрушка XVII века в Закарпатье (село Русское Поле) отдана местными властями директору школы Я. С. Яновскому по его просьбе на дрова — в силу ее сухой выдержанной древесины. Особенно трогательно здесь внимание администрации к нуждам деятеля народного просвещения. Распилку вели учащиеся старших классов, видимо, в порядке общественной работы.

3. Уже намечен перенос знаменитого Кондопожского собора XVIII века, хотя любая подвижка деревянного здания такой давности исключает его дальнейшую пригодность даже в качестве топлива. Авторы — проектировщики института «Ленпромстройпроект».

4. Мне пишут, что предполагается ликвидация Александро-Невской лавры (Ленинград) со знаменитым кладбищем исторических деятелей и классиков мировой литературы, небезызвестных также и у нас. Авторы — вдохновенные городские архитекторы тт. Каменский и Асс. Они же приступают к срочному преобразованию всего нижнего этажа по Невскому проспекту в широковитринный торговый ряд — в приблизительном стиле 5-й авеню.

1965

ПОДВИГ ЛЕСНИКА НЕЗАМЕТЕН

Дорогие товарищи, позвольте мне оторвать Вас от работы, чтобы сказать доброе слово привета и пожелать успеха в вашем, без преувеличения говоря, важнейшем государственном деле.

Вы знаете, что нашему лесу сейчас приходится нести очень большие повинности.

Лес требуется буквально везде. Без него не обходятся ни шахты, ни стройки. Лес нужен многим отраслям промышленности, не говоря уже о самой насущной для нашего брата — целлюлозно-бумажной. Лес нужен также Госбанку, добывающему из древесины валюту, на покупку машин, производимых у нас пока не в полной мере.

Вы призваны охранять и восстанавливать нашу зеленую казну, причем работать Вам приходится в крайне трудных условиях. Вам нужно сберегать народное добро от браконьеров, самовольных порубщиков, от потрав и вредителей и слишком резвых туристов в том числе.

У нас частенько хвастаются площадями восстановленного леса, а между тем мы-то с Вами хорошо знаем, как трудно растить лесную ниву. Пока вызреет одно дерево, можно построить десятки заводов, написать немало толстых книг, пройти весь положенный человеку путь от колыбели до могилы. Всем известно также, как мизерно мало в обществе нашем говорится о подвиге лесника. А пожалуй, подвиг лесника тем-то и выделяется среди других героических свершений, что в массе своей он остается почти незаметным.

Но честные и настоящие люди нашей страны так же, как и деды наши, всегда руководились не погоней за наградами и и личной прибылью, а вкладом в благосостояние Родины.

Пусть в повседневной деятельности нашего Отечества вдохновляет Вас сознание, что несмотря ни на что в лесном активе немало друзей и патриотов, преданных делу умножения зеленых богатств и красы нашего Отечества.

1966

ЕСЛИ НЕ СЕГОДНЯ, ТО КОГДА ЖЕ...

Когда мы программно думаем о будущем, оно является нам в поэтическом образе просторного сада, где гуляют труженики, строители, мудрецы, поэты. Они разумны, чисты, они беседуют под кущами прекрасного парка о самом главном, самом сокровенном, ради чего только жили и боролись их предки, ради чего не жалели пота, ума и рук, шли на любые и часто кровавые жертвы.

Но сад будущего — не только красивая метафора, и потому возникает вполне реальный технологический вопрос: кто будет создавать этот сад?

Опустимся с небес на нашу землю.

Несколько лет назад при Московском лесотехническом институте и Ленинградской лесотехнической академии имелись факультеты зеленого строительства. Они готовили инженеров, архитекторов, художников леса. Построить настоящий парк, полностью отвечающий поставленной задаче, способен лишь истинный художник. Здесь нужны не просто ботанические познания, но и громадный вкус, развитое эстетическое чувство.

Создавая парк, надо стремиться, чтобы он был красив в любое время года, учитывать чередование посезонной окраски, декоративные свойства деревьев, постепенность цветения различных пород,— словом, представить всю разнообразную палитру благоденствующего леса.

Деревья плюс красота, плюс человеческие знания, глубокое понимание садовником роли природы — вот что должно входить в понятие «парк будущего».

Несколько лет назад такие факультеты были решительно прикрыты. Студенты стремились создавать парковую архитектуру, а теперь их обучают, как рубить лес. Между тем страна наша растет и должна множить, а не сокращать число столь первостепенно необходимых специалистов, как инженер-художник зеленого строительства. Необходимо расширять инстру-

ментарий для переделки жизни, а не сводить его единственно к топору да лопате.

Итак, если нашей стране действительно нужны национальные парки, то кто же будет создавать и сберегать их для потомков?

Пока к парковым делам, как правило, приставляются служивые канцелярского профиля. Один опытный и заслуженный на этом поприще инженер из Ленинграда с тревогой пишет мне, что в прославленных тамошних парках гибнут старые деревья. По служебным инструкциям порядок повсеместно в наших парках наводится таким образом, что весь лиственный опад выскребается, вывозится начисто, дабы уберечь природу от вредителей. Мошки мошками, а без опавшей листвы — естественного питания парковой почвы — деревья начинают хиреть, суховершинить, уходить. Из Краснодарского края тоже сообщают: местные головотяпы распорядились рубить старые пирамидальные тополя, чтобы летящего пуху от них не было.

Горько получать письма, рисующие надругательства и зверства над родной природой. И писать о них вроде бы и некуда. У нас до сих пор нет центра, озабоченного судьбой отечественных лесных богатств.

Сюда надо прибавить еще одно беспокоящее обстоятельство. Ратуя за создание национальных парков, как завтрашнего рая для туризма, как-то не предвидят их неминуемой печальной судьбы. Нетрудно представить себе ораву с ружьями, транзисторами, топорами, оставляющую после пикников и «вылазок» следы костров, потравы, поломки, россыпь бутылочного стекла... О, мы-то знаем, как легко погубить в зародыше всякое доброе начинание.

Надо заранее научить будущих посетителей и гостей приличному поведению в проектируемых национальных парках, и весьма жаль, что приходится повторять вслух столь банальные истины, в частности, о том, что в такие заповедные уголки родной природы следует вступать если не с благоговением, то хотя бы с посильным пониманием идеи, которая воодушевляла этих энтузиастов и зачинателей. Словом, всем нам надо отнестись к этому делу с предусмотрительной серьезностью, чтобы охранить себя от будущих разочарований.

1967

ЛЮБИТЕ ПРИРОДУ, НО... БЕЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Те, кому приходилось бывать на охоте, но не довелось там никого убивать, все равно испытали полный набор удовольствий, получаемых от хождения по вешним проталинам, по осенним привольям, по первой пороше русского зазимка. Приятно даже промокнуть под мелким дождичком и, нагуляв аппетит, под рюмку водки с устатку похвастаться товарищам на привале былыми трофеями, как оно изображено на одной знаменитой картине в Третьяковке.

Но как ни рассматривать охоту, она есть акт предумышленного лишения жизни и в этом качестве заслуживает строгого юридического рассмотрения, если не от лица закона, поскольку убиение зайца судебному разбирательству не подлежит, то с точки зрения общественной морали. Не требуется особых доводов в пользу промысловой охоты, доставляющей народному хозяйству материальные ценности — пушнину и пищу, или — когда производится в защиту человека от хищников. В этом смысле, на мой взгляд, еще достойнее специализированная охота на микробов, вредных грызунов, на таежного гнуса — научно обставленная во избавление человечества от паразитизма. Никто не пожалеет, скажем, преждевременно погибшего комара,— напротив, охотники такой специальности пользуются среди людей даже особым почетом.

Куда меньшего уважения заслуживает охота без вышеперечисленных оправдательных побуждений, дозволяемая законами в качестве прицельной забавы, упражнений на меткость вообще, а между тем — мало ли какая бесполезная для дела живность попадет на мушку азартного любителя такой охоты, зачисляемой обычно в разряд спорта... хотя, в сущности, какой же тут спорт? Прыгун с шестом, помимо долговременных тренировок, рискует сломать ногу, мотогонщик имеет

шанс разбиться, тогда как для владельца нарезного оружия занятия его совершенно безопасны. Какой же это, спрашивается, спорт, ежели с одной стороны находится гражданин, вооруженный штуцером безотказного боя, на другой же — безгласное на расстоянии выстрела трепещущее существо, не способное ни выругаться, ни убежать, не успевающее даже толком огрызнуться. Нет, правду говоря, совсем иное здесь напрашивается словцо.

Мне вспоминается рассказ одного знакомого художника, некогда до революции служившего егерем в Беловежской пуще. Речь зашла об охоте, устроенной там в честь приезжего германского императора Вильгельма II бывшим же русским императором Николаем II. Был специально воздвигнут длинный, суживающийся воронкой дощатый загон, по которому с грохотом и криками гнали всяческую всполошенную живность, а на выходе, в безопасном окопчике, сидел высокопоставленный гость с целым арсеналом заранее заряженного оружия любых систем и без промаха бил летящую к нему на пределе сердечного разрыва обезумевшую лесную тварь. Легко можно представить, сколько мертвечины навалил сухорукий монарх за какой-нибудь час злодейства. Кстати, и доныне в иных странах практикуются для особо знатных гостей угощения подобным убийством.

Особо мерзко выглядит бытующая у нас, по слухам, охота с автомобиля за удирающим сайгаком, видимо, доставляющая кому-то особо оргиастическое наслаждение — после жаркого состязания сердца и стальных поршней, с ходу и наконец-то всадить пулю в изнемогшее от одышки, насмерть загнанное, потной пеной покрытое тело зверя. И, наверно, какое презрение, помимо предсмертного ужаса, испытывает он, поверженный на землю, простреленный, фонтанирующий кровью в последнюю свою минуту, к наклонившемуся над ним жизнерадостному убийце. Не странно ли, что при гуманнейших вроде бы своих воззрениях, наш коллега по перу Хемингуэй смог написать такую, вполне гадкую книгу, как «Зеленые холмы Африки», где с мужественной похвальбой выставляется своей поразительной оперативностью на сем печальном поприще. Оплаченное валютой массовое убийство беззащитных животных называется в Африке сафари. Помимо сладостной погони и стрельбы оно состоит также в пристальном затем созерцании агонии громадного, вдруг пошатнувшегося тела и в чувстве вышепомянутого навуходоносорского удовлетворения:

— Это сделал я. Это я пресек в нем дыханье. Я просверлил ему середку, погасил ему глаза. Я обратил его в падаль, в паек для грифов и червей.

Кстати, при некоторых дополнительных затратах богатые шалуны могли бы легко продлить удовольствие, перевезя тушу к себе домой, в Лондон или Чикаго, чтобы с чувством того же превосходства любоваться время от времени на дальнейшие, еще более разительные в ней изменения органического распада. В этом смысле наиболее увлекательной представляется охота на левиафана — сколько крови, рева и содроганий!

Между прочим, иные хитрецы-охотолюбцы спрашивают с наивным видом, по каким, дескать, основаниям подымается сам этот разговор насчет правомерности подобной, так сказать, веками освященной, национальной забавы. Даже ссылаются в письмах на Тургенева, Куприна, Чехова и некоторых других деятелей, увлекавшихся охотой. Разумнее им было бы брать пример с основных качеств, коими прославлены поименованные личности, иначе пришлось бы вспомнить, что Кант был скряга, а Гейне и Мопассан страдали от прискорбного недуга, а Руссо бросал своих детей на произвол судьбы, а знаменитый у нас певец горя народного по слухам проигрывал в картишки тысячи, да еще какие!.. Опять же одно дело — дедовский, со ствола заряжаемый самопал с пыжом и самодельной пулей и уже другое дело даже тульская берданка. Равным образом есть некая моральная, доселе нами плохо усвояемая разница между старинным мужицким топором, по несовершенной конструкции своей тормозившим начатый русским капитализмом процесс лесоуничтожения, и нынешней бензопилой, применяемой в качестве обыкновенной древокосилки, да еще в руках беззаветного энтузиаста. Еще виднее это на примере героической полевой пушки капитана Тушина из Бородинского сражения и атомной новинки, с таким блистательным успехом испробованной в Хиросиме. Назначение вроде одинаковое, да в том беда, что КПД совсем другой.

А уж если непосильно отказаться от сомнительной, чисто атавистической радости своего превосходства над темным и бессловесным зверем, хотя бы и наделенным наравне с нами правами гражданства на планете, так дайте, по крайней мере, возможность защищаться ему. Почему бы не возродить былинную по старинке охоту с топором, ножом или рогатиной, вроде прежнего богатырского единоборства с могучим зверем один

на один, где свирепая дикая сила противостоит отваге и ловкости смельчака — без применения изделий современной убойной индустрии. Каждый раз, когда видишь тигролова или другой подобной специальности храбреца на кинодокументальной ленте, испытываешь одно лишь почтительное восхищение.

Когда же некоторые охотники клянутся вдобавок, что они-то и есть истинные любители природы, так и просится на язык совет — любите ее не как мишень, без применения огнестрельного оружия. И наконец, поскольку дары природы принадлежат не только одним любителям охотничьего спорта, а всему народу в целом,— не пора ли позаимствовать давно введенный в зарубежных странах, социалистических в том числе, обычай оплачивать добытую на охоте дичь как пищевое мясо, по его весовой, сортовой стоимости?

1968

ВЕНОК А. М. ГОРЬКОМУ

Сегодня передовая общественность мира возлагает мемориальный венок почтения и признательности к подножию Максима Горького. Названное имя принадлежит, несомненно, крупнейшему на обозреваемом историческом отрезке властителю дум и деятелю культуры в нашей стране. Будучи лишь одним из рабочих потоков в этом бесконечно сложном, если даже и результативном процессе, литература тем не менее является живой, вполне автономной мышцей для ваяния душ человеческих, чем и определяется ее место в планировке будущего.

Естественно, что, различаясь по силе воздействия или качественной прочности, создания искусства имеют и разную судьбу. Так устроено, что штормовой девятый вал пеной и шепотом гаснет где-то на отмели, неистовые Свифт и Дефо добегают до нас в жанре детской сказки. Пройдя сквозь фильтры эпох и поколений, только чистое золото достигает отдаленнейших потомков... Хотя еще и не приспела пора для окончательной оценки Горького, но видно уже теперь, что из тройки замечательных русских писателей, вместе с ним перешагнувших рубеж века, этот мастер слова и жизни если не сильнее, то шире других повлиял на общественное мнение своего поколения. Почти равные по заданной потенциальной мощности, они крайне разнятся по характеру своих литературных судеб. Время покажет, насколько отразится, и отразится ли, почти молниеносный подъем горьковской славы на длительности ее последующего сбега.

Большая и круглая дата, ради которой мы собрались, обязывает нас к искренности — она и должна служить каркасом предлагаемого венка. Здесь происходит не обычное из примелькавшихся за последние годы чествований, когда каждый проливает пузырек хвалебного елея на темя беззащитного старца, заранее устрашаемого перспективой предстоящих лобзаний. Признаться, подобные юбилеи всегда представлялись мне не столько вознаграждением содеянных заслуг, как возмездием за неосторожное долголетие. Но в данном случае юбиляра нет между нами, только дела его и книги вещественно присутствуют в этом зале. Кто помоложе, даже не сможет

утвердительно определить ни возраст его, ни обрисовать приметы внешности. Постепенно облик Горького все более приобретает ту мраморную отвлеченность знаменитых философов, художников, учителей, чья аллея уводит наш взор к истокам человеческой культуры...

Все же из помянутой великой тройки Горький покинул нас позже Чехова и Толстого, и оттого для моего поколения образ его сохранился живее прочих. В ушах наших еще звучит его глуховатый, чуть окающий басок с непременным «нуте-с» в конце фразы, которым как бы приглашал собеседника на равноправное обсуждение поднятой темы; мы еще сберегаем драгоценное мускульное ощущенье его властного, как пароль, рукопожатья... Так в воображении нашем всякий раз предстает строгий, высокого роста и как бы от тяжести скопленного опыта слегка сутуловатый человек, неузнаваемо разный с врагом и другом, не склонный ни к малейшему сговору за счет своих позиций, нередко даже в ущерб старинному приятельству. Но этот отсвет игуменской суровости в личной памяти моей неизменно смягчается впечатлением ласковой внимательности в сочетании с пристально-щуркой приглядкой ко всяческой новизне — вплоть до сущих мелочей порою, ибо жемчуг великих открытий любит скрываться в самой неказистой оболочке. Всегда поражало меня, как много всего и всякого было в Горьком, и прежде всего бросалось в глаза именно это жадное горьковское искательство чего-либо выдающегося по людской части, в расчете на дальнейшее продвижение вперед — будь то еще не воплощенная в формулу дерзкая научная идея или едва набухающий росток молодого дарования. Встречавшиеся с ним вспомнят сейчас его безудержную радость по поводу таких находок, словно и сам обогащался ими. В самом деле, всякая такая удача умножала рать его единомышленников, сподвижников в никогда не прекращающейся битве за нечто генеральное, выверенное на собственной спине и самое священное на свете, чему он дал клятву верности на пороге сознательной жизни. Собственно, он и сам ежеминутно готов был хоть врукопашную за это самое... Не отсюда ли в представлении моем облик его всегда наделяется особой, атлетической статью, вдобавок усиленной длинными хлесткими руками, почти как у кулачных бойцов, памятных мне по забавам собственного детства. Пусть никого не смутит несколько неожиданное сравнение: правда куда убедительней выглядит в сопровождении готового постоять за себя физического превосходства!

Представляется вполне бессмысленным тратить отпущенное мне время на перечисление общеизвестных произведений Горького,— куда важнее, что все они выдержаны были в одном ключе. В те давние годы уже дозревал великий план генеральной перепашки всей жизни, причем именно Горький как бы брал на себя подготовку кадров для грядущего, как оно мыслилось тогда,— одновременно поэтическое и уже грозное, обусловленное логикой социальной целесообразности, построенное из целых чисел и химически чистых элементов, хотя бы и не встречающихся в природе, в обстановке почти стерильной от загрязнений, сопутствующих всяческой жизни, без статистических уклонений, обозначившихся впоследствии... Словом, как всегда и рисовалось о н о в черновых набросках всех благороднейших мечтаний о п р а в е д н о й жизни, начиная с утопистов и даже пятнадцатью веками раньше. Таким образом, совершенная Горьким работа дает основания назвать его не только провозвестником гуманистической новизны, но и селекционером более качественного, на пересев планеты, отборного людского зерна — взамен того, каким пока, вперемежку с сорняками, засеяна горестная нива человеческая. Особые качества — непреклонная волевая целеустремленность наравне со страстной убежденностью и сосредоточенной нравственной силой требуются для такой, собственно, наивысшей должности на земле, пожалуй, даже пророческая вера в человека как главную ось мира, вокруг которой и крутится все остальное, второстепенное — включая светила небесные, созданное единственно в расчете на человека и на его потребу, потому что только человеку и посильно выделить давно искомые смысл и красоту из этого бешеного, волчком запущенного хаоса. Человек с большой буквы и был религией Горького,— не эта ли безоговорочная вера в него и доставляла ему такой авторитет среди младших современников и абсолютное старшинство в семье зарубежных гуманистов?!

Ярче всего Горький запомнился мне, пожалуй, в одной прогулке из Сорренто в направлении к Амальфи, весной 1931-го, при второй моей поездке к нему в гости. Я был тогда дерзкий, необъезженный, и мне казалось — художникам важнее яростно д е л а т ь литературу, чем тратить время на бесплодные рассуждения о ней. Начало беседы не сохранилось в моей памяти, но по ходу ее Горький напомнил, что именно в Сорренто родился Торквато Тассо... И тогда почему-то потребовалось взглянуть поближе, с обрыва, на Тирренское море,

на которое любовался в юности знаменитый итальянский поэт. Там имеется один скалистый выступ с площадкой, как нельзя лучше подходящей для обозрения пейзажных тамошних очарований. Тотчас за каменной балюстрадой, где-то далеко внизу, леностно рябилась, струилась никуда полуденная зеленовато-призрачная бездна. И едва вышли из машины, через какой-то смежный, к сожалению, тоже утраченный мною логический переход, Горький заговорил о разновидностях гуманистического оружия, только изготовляемого не из металла, а из невещественного, через предварительную огневую закалку прошедшего человеческого с л о в а. Почему-то, вспоминается мне, никогда в моем присутствии и позже не говорил он жестче, непримиримей, с такой живописной наглядностью. По нехватке времени на писание дневников мне запомнилась лишь черновая схема горьковской концепции, но как пригодилась бы мне теперь ее своевременная запись!

Как оно слагается сейчас, Горький сказал тогда, что из с л о в а можно выковать и былинный меч-кладенец на любое ч у д и щ е п о г а н о е в пределах от сказочной его ипостаси до вполне конкретной, в виде русского самодержавия; подразумевалось взятое эпиграфом к радищевскому П у т е ш е с т в и ю, в переводе Тредьяковского — «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Из того же священного материала, с л о в а, были изготовлены вскоре за тем сломанные на эшафоте романтические клинки декабристов, равно как и более реальные, тщательней отточенные, куда дальше достававшие рапиры р е в о л ю ц и о н н ы х д е м о к р а т о в, как они сами себя называли. Помнится, кто-то еще был там поименован в промежутке, может быть, Щедрин, а последним в ряду образцов, уже в качестве отрицательной категории, приведен был еще один именитейший российский литератор, вовсе безвестный ныне, а в ту пору настолько опасный, свыше увенчанный, что журналы закрывались за непочтительный отзыв о его рукоделиях, орденов кавалер и придворный гофдраматург, его превосходительство Нестор Кукольник, самая фамилия коего обернулась ныне злейшим памфлетом на своего обладателя. Благонадежнейшего сего писателя Горький привел в качестве показательного ремесленника, то ли во имя прижизненных благ, а вернее — по бесталанности, употребившего скромный дар свой на поделку декоративной регалии вроде тех фальшивых, церемониальных шпаг, что надевались при парадных мундирах и камзолах... Причем, возможно, кроме богато укра-

шенного эфеса, не имели положенного им продолжения в виде режущего лезвия. Оно и не обязательно было, поелику в дворцовом обиходе и не извлекалось никогда из бархатных ножен... Да и вряд ли сгодилась бы та продолговатая железка даже солдатской лучины нащепать, куренка зарубить, не то что для защиты возлюбленного отечества, о котором вещалось в главной пьесе указанного автора... Задним числом полагаю, что острая эта притча, предостерегавшая молодого литератора от легкого и сдобного харча, возникла в тот раз у Горького по цепной, легко прослеживаемой связи: оный Кукольник являлся автором прошумевшей в свое время драматической фантазии Торквато Тассо, уроженца тех самых мест, где проходила наша беседа.

Наверно, я потому плохо слышал Горького в тот раз, что, жадно вслушиваясь в иронический, глубоко проникавший в меня голос, все искал объяснения его покоряющей силе,— вслушивался и вглядывался искоса в его фигуру, исполненную, всегда казалось мне, какой-то исключительной человеческой элегантности, насколько слово это приложимо к мыслителю. Всякий из встречавшихся с ним подтвердит мое тогдашнее впечатление, по совокупности происходившее от логической стройности его идей, подкрепленных душевной одержимостью,— от его универсального, десятками профессий добытого житейского опыта, объясняющего такую гибкую и зоркую проницательность, именно — мудрости, но без горестных, сопутствующих ей, возрастных признаков. Кстати, был он в тот день в своей канонической широкополой шляпе, борсалине, в какой его знали мир и вся простонародная Россия, с любовной фамильярностью звавшая его Максимом,— с асимметричными, едва ли не под прямым углом, шадровскими усами, в неизменной — с просторным воротом и цвета блеклой полуденной синевы — рубашке под ловко схваченным в талии светло-серым пиджаком. Возле меня стоял признанный арбитр основных человеческих достоинств и вожак двух сряду штурмующих поколений,— учитель, предназначенный формулировать гражданские заповеди века и свергать монархов, по всем параметрам неохватной личности годный хоть завтра в председатели земного шара,— широкоплечий силач из породы беспокойных новгородцев, только родом из Новгорода-Нижнего, что на Волге, из той плеяды отборных волгарей, которых, расплескавшись в скором беге, чуть не единой пригоршней вынесла вместе с Лениным на берег река истории нашей.

Мне простительны кое-какие преувеличения благодарно-

сти в этом портрете. На первых порах, пока не вмешались злые люди, я сам испытал на себе вдохновительные чары горьковской дружбы — в придачу к общеизвестным его письмам и разговорам наедине,— этот поистине Мидасов дар повышать ценностную емкость всего, к чему ни прикоснется, приумножать творческий запал обласканного им, сомневающегося в себе подмастерья. И не в том дело, чтобы возложить на себя щекотливую и опасную обязанность раздачи направо-налево поощрений, потому что с риском повредить собственному авторитету при неизбежных в столь темном деле промахах и ошибках, а в том, чтобы сперва заслужить у эпохи это непререкаемое право, которого, к слову, так и не приобрел еще никто из проживающих ныне литераторов. Высокое искусство это, составленное, помимо доброжелательства и титанического терпенья, также из недостающей всем нам, нынешним, педагогической сноровки, объяснялось у Горького его явственной, наполовину, по крайней мере, принадлежностью к той особой в нашей литературе полуподвижнической линии просветителей, где отвергается не только развлекательно-беллетристический сервис, но и отвлеченная созерцательность в отношении пускай высочайших тайн бытия, если не работают на реальное, осязаемое злободневное заданье... и где генеральной целью творчества ставится всемирное обогащение черной житейской руды, из которой в сплаве с человеческим трудом когда-нибудь и должно образоваться поставленное на повестку дня счастье. В соответствии с их ведущим догматом, по которому общество является полновластным владельцем всех видов материального и духовного достоянья, алмазно рассеянных гениальностей в том числе, они даже стремились ограничить деятельность последних единственным средством прямолинейного воздействия, лучше всего уподобляемого стрельбе с открытой позиции и прямой наводкой, что, признаем же когда-нибудь начистоту, в силу самой недолговременности выстрела плохо сказывается не только на прочности, но и на дальнобойности подобных произведений. Да что там: оценка бессмертнейших наших в прошлом веке производилась самыми нетерпеливыми из них по шкале такой повышенной гражданской ответственности. Нечего греха таить: как часто в двадцатые годы и нам, еще не снявшим красноармейских шинелей, едва ступившим на трудную стезю великой русской литературы, железным голосом твердили на ухо, что эстетика пушек в их технической целесообразности, остальное же — от лукавого, а может быть,

даже из-за рубежа. Но ведь и без принужденья, в исключительные моменты народной страды законные заботы о долголетии своего детища переставали быть ведущим нашим творческим стимулом. Поэтический тезис Полонского о волне и океане в применении к России доныне остается руководящим для русского писателя. Ибо, как и в нынешней обстановке, например, что толку в зашлифованных до классического блеска творениях, если может статься, что некому их будет читать. Перо наше в ту пору нередко приобретало непосильную тяжесть для руки. При масштабе встававших перед нами эпохальных тем, подвергавших пересмотру вчерашний мир с его богами и скрижалями, нехватка профессионального уменья нашего осложнялась риском пускаться в слишком отдаленное от заданной РАППом печки плаванье. И тогда на помощь к нам, молодым, пришел Горький.

Именно Горький перекинул, как мост, идею литературного *служения* из девятнадцатого века в наш, двадцатый. Отсюда впоследствии зародился сыгравший такую роль в годы материального социалистического становления метод *активного* писательского вмешательства в преображавшуюся отечественную экономику. Даже при частичной своей прикосновенности к просветителям, будучи крупнейшим в их ряду, Горький вместе с весьма немногими в ту пору понимал, что для правильного ведения литературного хозяйства, во избежание непоправимых поломок и увечий среди литературной молодежи, следует всякий раз сообразовываться с творческой конституцией художника. Ведь блага общественного, являющегося обязательной конечной целью для любой человеческой деятельности, можно добиваться не только обращенным к уму набатом, командным призывом к немедленному подвигу, но еще вернее, в искусстве прежде всего, так сказать, тектонической перестройкой людской целины, ведя подкопы из глубин и предместий человеческого сердца — с тем, чтобы изменять снизу нравственную топографию жизни, придавая ей тот императивный рельеф, когда послушная самому закону тяготенья масса людская без понужденья извне перельется в образовавшиеся благодетельные ложа и впадины. Тогда же, в схоластические годы РАППа, Горький обмолвился в одной из наших бесед *без стенограммы*, что гении объединяются не по профсоюзам, а понятие художнического призвания не совпадает с ремеслом,— что большое произведение всегда будет концентратом духовной биографии его создателя, в отличие от

перронной кассы, действующей безотказно и сразу по опускании в нее алгоритма в виде гривенника, содержащего в себе все приметы заранее ожидаемого продукта. Правда, такого рода метод значительно упрощает сложнейшую технологию нашей профессии, даже доставляет иным известные житейские преимущества, зато в корне вредит не только здравому смыслу, но и национальным интересам. По счастью, далеко не каждому дано приравнять свое перо к штыку, и наступает час однажды, когда дальнейшее применение этого слишком универсального прибора для деликатных операций на мозге и сердце может повести к совсем обратным следствиям. Поэтому некоторые нынешние авторы с благодарностью вспоминают, что, несмотря на уже в те времена обозначавшиеся различия в творческом почерке, великий Горький не сделал и попытки править их на свой образец. Да и в самом деле, вряд ли из Николая Лескова даже при весьма сосредоточенном воспитательном массаже мог бы получиться хотя бы среднего качества Николай Чернышевский.

Однако при всей своей широте и бережности в отношении всегда несколько хрупких, на первых порах, молодых дарований, сам он гениально совмещал требования высокого искусства с общественной действенностью своих произведений. Творческая анкета этого мастера вплотную переплетена, то и дело пересекается с биографией его бурного века. За немногими пробелами она совпадает с трассой революции, по которой с грозовым убыстреньем подвигалась в свое огненное будущее Россия. И опять, пусть нелицеприятное время покажет, которая из этих двух струй была сильнее в Горьком; во всяком случае, мнится мне, именно гармоничное сочетание обеих и определило крутизну взлета горьковской славы... Лишь в девяностом году Горький встречается с Короленко, и затем следует естественный для обучавшегося грамоте по Часослову и Псалтырю десятилетний разбег литературных проб и опытов пополам с газетной работой, но вдруг тираж его начальных рассказов достигает невероятной по тому времени цифры в сто тысяч, а двадцатипятитысячный — пьесы Мещане — раскупается в две недели, то есть нарасхват. Следом за этой первой заявкой на почти безграничную власть над умами современников появляется классическая, обошедшая все сцены мира, по сей день дающая аншлаги, коронная его На дне. В тридцать четыре года, в обгон знаменитейших предшественников, он уже почетный академик российской словес-

ности, причем скандал с последующей отменой звания лишь удваивает его популярность, а повторный его, после Девятого января, арест вызывает уже всеевропейскую бурю протеста. В тридцать восемь лет происходит триумфальный выход Горького в зарубежный простор — Швеция, Дания, Германия, откуда, кстати, он предпримет открытый политический демарш против царского правительства... И, наконец, страна Желтого Дьявола, Америка, где семидесятилетний Твен становится во главе Комитета по — пускай тоже не состоявшемуся! — чествованию знаменитого гостя. О, как жаждет освежительного дождя иссохшая почва России и мира!

Даже бегло листая необозримое эпистолярное наследие писателя, и в особенности двадцать шестой том его сочинений, можно понять, как щедро раздаривал он себя не только в молодые годы, но и по окончательном возвращении на родину из-за границы. Будущим историкам предстоит объяснить, почему и как ни один общественно весомый факт действительности не оставался без его внимания, оценки, отклика, незамедлительного вступления в схватку, разумеется — в логике того десятилетия. То самое, на что по мечтательной чеховской прикидке отводилось добрых триста лет, Горький стремился осуществить если не завтра, то хотя бы на своем веку, и всю свою незаурядную творческую волю вкладывал в попытку всемерно приблизить Грядущее... Словом, возникший подобно взрыву в застойной тишине кончавшегося девятнадцатого века, он немалую часть себя отдал в излученье, и не мудрено, что столь многое на протяжении отведенного ему полувека проникнуто насквозь, скреплено, окрашено обаянием его всеобъемлющей личности. Но именно эта саморасточительная щедрость неминуемо должна была к концу жизни привести Горького — нет, не к отчаянью, а к позднему размышлению, что растраченные калории могли бы пригодиться ему для переплава всего сделанного в какие-то высшие, более долговечные ценности.

Почти каждому человеку свойственно на склоне зрелых лет мучительное сожаленье, что так и не свершил чего-то важнейшего, предназначенного ему от рожденья,— сожаление, одинаково мучительное и уже потому напрасное, что исходит из запоздалого овладенья сокровеннейшими тайнами мастерства: лучше всего эта закатная тоска выражена у Тютчева. Насколько сие поддается нашим скромным наблюденьям издали и снизу, описанное отчаянье гигантов заключается не в мнимом несходстве портрета с оригиналом, а в ценностном,

лишь к старости познаваемом, несоответствии их, омрачающем удовлетворение столь добросовестно, казалось бы, исполненного долга. С той предпоследней, достигаемой однажды вершинки видней становятся гигантская панорама века и проложенные там вехи так называемого человеческого шествия к так называемым звездам — понятней делается вседвижущая анатомия людских страстей, наконец бесконечно запутанная сложность сущего, всегда более емкого, чем самый усердный наш ученический его пересказ, даже если это будет опрокинутое повторение мира в громадном, благоговейно затихшем океане. Здесь начинается та, обойденная нами, помимо просветительской и античной, пушкинско-толстовской, третья линия в русской литературе, состоящая в отражении события не в документе, а в самой человеческой душе, с приматом художнической личности над материалом, потому что только таким способом, представляется мне, и возможно выделять дальнейшее множество еще неведомых, неповторимых существований из окружающей нас бездушной, математической пустоты, в которой всего так много, что почти нет ничего. В подобные минуты сумерки большого художника омрачаются торопливым, таким поспешным и зачастую бессильным поиском какой-то равноценной сущему абсолютной строки, еще до тебя как бы начертанной незримо на девственно чистом бумажном листе и настолько реально присутствующей, что остается лишь обвести ее там пером для получения нетленного шедевра. И тогда начинается безмолвная, возможно, наихудшая из всех бескровных, пытка бумагой, поглощающей в себя считанные дни гения. Следы этих схваток с самим собой легко прослеживаются в рукописях всех наших литературных предков,— наверно, и в черновиках Горького, к которым, впрочем, мне ни разу не досталось прикоснуться.

С годами Горький неоднократно — то в доверительном письме, то на совещании с молодыми ударниками от литературы, да и в ряде незарегистрированных бесед — выражал непреклонное, так и не осуществленное намеренье прокалить свои книги в самокритическом огне, заранее отсеять все то, что посмертно поступает на строжайшую, от ничьей воли уже не зависящую сортировку временем. Почему-то в полдень жизни никак не помышляется о закате!.. И когда Толстой говорил, что из наличных тридцати пяти томов Гете он оставил бы всего два-три, то, надо полагать, думал попутно и о собственном своем громоздком обозе в девяносто томов, в

который как бы впряжены его основные, до крылатости легкие созданья... Столь же естественную оглядку на пройденный путь должен был совершить и Горький. Она сопровождается неизменным сожалением о допущенной тепловой утечке, снижавшей мощность рабочего двигателя, хотя понятно каждому, что крупные произведения неминуемо зарождаются в эмоциональной плазме предварительных, зачастую бессознательных усилий, составляющих начальные фазы еще безымянного шедевра. Подлежа рассмотрению кропотливого исследователя, они нередко заслоняют нам, обедняют вид на чудо, и потому надо считать в особенности правильной разбивку намеченного ныне юбилейного горьковского издания на три четко разграниченные серии, представляющие последовательные фазы пути от лаборатории до завершения.

Но если бы сам Горький смог, вопреки утверждениям передовых наук, заглянуть оттуда на нынешний наш вечер, мы нашли бы доводы опровергнуть его опасенья, что недостаточно сконцентрировал себя на главном, составляющем истинное предназначенье художника. Мы сказали бы ему, что сожаленье гения о неосуществленном прямо пропорционально размерам содеянного им,— что такие звонкие для своей эпохи начальные его рассказы продолжают свою работу, потому что потомки, как раковину, приложив к уху, могут расслышать в них нараставший гул революционной бури; что классическая по форме и блеску обобщения его трилогия, так целостно вписавшаяся в самосознанье тогдашней России и сама зеркально вместившая в себя всю ее кипучую, уже забродившую, низовую действительность, подводит читателя к истокам Октября, определившего впоследствии будущность его страны. Мы повторили бы сказанное ему наедине однажды, что запевная фраза Детства по образной структуре рисунка годится стать манифестом реалистической школы высшей точности, а созданные им портреты выдающихся современников надолго останутся образцами словесной гравюры. Мы вслух подвели бы итоги всему, написанному о нем восторженной критикой,— о глубине его афористического мышленья и широкоугольной зоркости, способной уплотнить впечатление в предельной меткости эпитет, в интонацию, в невесомую паузу наконец, но в первую очередь — об изобразительной тонкости описаний и характеристик, также о родниковой свежести горьковского языка, при всей емкости своей пленявшего не только просвещенные верхи России, но массу народную, для которой

в основном и стремился он писать. Помимо восхищенных признаний со стороны ровесников и собратьев по перу, зачастую потому лишь не растворившихся в забвении, что успели закрепиться в комментариях к Горькому, мы напомнили бы почтительные отзывы современных ему западных корифеев — от Роллана и Уэллса до Гамсуна и Цвейга... Вот почему слава отсутствующего юбиляра не в количестве лаврового листа, посмертно доставляемого на могилу, а в том знаменательном факте, что столько соотечественников очередного поколения пришло сюда в сотую годовщину его рождения, чтобы воздать должное памяти Горького и еще раз ощутить на лицах своих свежий ветерок этого блистательного имени.

Оно слишком близко нам и живо до сегодня, громадно и вместительно, чтобы в кратком очерке рассмотреть столь обширную, с пристройками, чердаками и анфиладами во все стороны, горьковскую личность; к концу жизни его так и называли ласкательно и в полушутку — учреждением. При такой его обширности самый выбор точки для обозрения горьковской биографии неминуемо становится портретом, даже паспортом самого очеркиста. Все в особенности важно в ней, но если бы мне привелось проследить ее поэтапно, то я остановился бы не на каком-либо из периодов его восхождения, расцвета и зрелости — с неминуемыми для такого человека раздумьями и колебаньями, составляющими, так сказать, технический люфт интеллектуального явления, а по утвердившемуся в моей художнической практике приему я уделил бы наибольшее время рассмотрению первичного, только что брошенного в борозду жизни зерна, из которого впоследствии возникла эта поразительная на рубеже двух столетий человеческая вспышка.

И в самом зародыше зерна я поместил бы встречу юного поваренка Алеши Пешкова со скромным книжным сундучком, где хранились старопечатные сокровища унтера Смурого. Для подростка это было все равно, что в дремучем лесу найти связку волшебных ключей к даже не подозреваемым дверям громадного, вдруг расступившегося мира. Без усилий можно представить растерянное вначале озарение мальчика и гамму последующих его чисто Колумбовых изумлений, потому лишь столь горестно недоступных всем нам, что после слишком раннего в школьном возрасте узнаванья мы лишены бываем, может быть, наиболее трепетной радости жизни — повторно из-

ведать восторг предлагаемых нам открытий. Представляется, что после самого поверхностного, по обложкам пока, освоения находки очарованное Алешино состояние сменилось затем робкой гордостью за свою — и за свою тоже! — принадлежность к такому могущественному, самоотверженному и, при всех своих богатствах, столь незаслуженно страждущему роду человеческому. А в свою очередь из благоговейной немоты начального ознакомления с кладом и должно было родиться всю жизнь не изменявшее Горькому ощущение себя струйкой в водопаде, вернее — гигантском человекопаде, низвергающемся на единую турбину прогресса... Горький силен был сознанием своего множества, и вот почему такими преступно-кощунственными представлялись ему всякая нотка лирического нытья и жалобы на свое якобы одиночество в мире. Именно нетерпением поскорее приблизить, встретить, прижизненно коснуться рукою преображенной завтрашней целины и отмечена каждая строка Горького,— на утоление этой жажды он и затратил свой гигантский дар.

Неведомый, еще ничьей посторонней разоблачительной подсказкой не тронутый мир таился в сундуке под койкой повара Смурого. И какие видения хлынули на Алешу из-под крышки, оклеенной сообразно экзотическими картинками,— в диапазоне от сказочно неодолимых богатырей русской лубочной классики до мрачных, так сказать, собственноличного наблюдения демонских призраков алхимика и мистика Эккартсгаузена!.. Кстати: казалось бы, какая опасная и ложная западня для неопытного отрока, к тому же, как говорится, вступающего на путь борца да еще пролетарского писателя, но во исполнение старинного речения об умении мудрых извлекать пользу даже из дурных источников, как раз через сей потаенный ход можно было проникнуть в таинственное подземелье русского франкмасонства и, следовательно, узнать кое-что о фанатической, лишь во имя незасорения голов ускользающей от обывателя, а на деле могучей, доныне небезынтересной орденской организации XVIII века, преследовавшей, как оно нередко бывает, весьма прозаические земные цели под видом создания небесной религии. В воспоминании моем эта частность связывается с одним брошенным вскользь, казалось бы, парадоксальным замечанием Горького о небесполезности заблуждений в человеческой культуре как промежуточного этапа, как отрицательного опыта, нередко помогавшего мышле-

нию в поисках истины... Сколько помнится, он даже развил свой намек в том направлении, что дурные примеры в литературных произведениях иногда выгоднее показа хороших — при условии, конечно, что порок и преступление уравновешиваются этическими нормами в них же самих содержащегося наказания. Недаром церковь, столь преуспевшая в пасении душ, издавна предпочитала воздействовать на воображение паствы картинами адских мук, нежели беспредметного райского блаженства, сопряженного с атрофией как телесной, так и умственной. Верно, оттуда же происходила и общеизвестная горьковская любознательность ко всякого рода еретикам и ересям, которыми от века открывалось наступление всякой благодетельной новизны.

С другой стороны, сказочные Гуаки из смуровского сундука, фонетически столь близкие Гераклам, расчищавшим жизнь от нечисти и зверства, тоже имели дело с несуществующими дьявольскими исчадиями, но тут уже сама действительность немедля подставляла на место уродливых масок реальные персонажи из тогдашней жизни, на одном полюсе которой перманентно шумела, пузырилась жирная холеная масленица,— на другом бурлила, заливаясь похмельными слезами, плясала и горланила трущобная разлюли-камаринская голытьба. Во всяком случае, тогдашняя житейская практика сама заставила Алешу Пешкова задолго до появления первых романтических рассказов дать — пускай бессознательную клятву верности, пускай — отвлеченному покамест человечеству, но уже объединяемому не национальными приметами, а горестями всеобщего подлого неустройства.

Указанное обстоятельство представляется мне в особенности важным и потому, что будущему Максиму Горькому предстояло заниматься литературой в России. Скажем прямо, со времен Курбского там не слишком обожали беспокойное наше, вечно доставлявшее начальству уйму хлопот, чернильное племя, чему, помимо прочих, многократно описанных причин, имелась еще уважительная одна, обычно упускаемая из виду. Приходится иногда намеренно упрощать чертеж, чтобы лучше понять механику действующих сил. Непомерная громадность страны с поперечником, по тогдашнему времени, в пятнадцать суток гонки пассажирским экспрессом, естественно, создавала в столичном центре некоторые специфические явления, между прочим — в виде структурного уплотнения и повышенной тем-

пературы: по-видимому, закон тяготения, удерживающий светила небесные от центробежного разлета, в полной мере приложим и к великим пространственным империям. Судьба литературы русской не потому ли так и отличается от прочих литератур мировых! И, кто знает, может быть, это чрезвычайное, экспериментальное, нигде, кроме нас, не наблюдавшееся, да, пожалуй, и немыслимое — санкт-петербургское — состояние человеческого вещества способствовало такому ее величию на всем протяжении прошлого века.

Словом, поистине заслуживает всемирного земного поклона пройденный ею за полтора века до Горького подвижнический путь. Смотрите, смотрите: вышепоименованный российский пиит и элоквенции профессор Василий Тредьяковский подносит всемилостивейшей государыне силлабические плоды своих ночных упражнений, не иначе как на четвереньках — весь путь от дверей до трона, держа оные злосчастные вирши вот здесь, у парика, на согнутой литераторской вые. Но уже через двадцать один год после его кончины, при очередной императрице, другой российский литератор, и, кстати, весьма великодушно отзывавшийся о нем, Александр Радищев решится, страшно сказать, представить на публичное обсуждение бедственную участь крепостного народа в своей стране, а еще через девять лет после его гражданской казни там же народится великий поэт, который подарит печатное напутствие на века своим литературным потомкам. Я потому обращаюсь к этому дорогому для нас имени, что, конечно, поверх прочего книжного добра в заветном смуровском сундучке находились и сочинения Александра Пушкина.

Имеется в виду величайшее, на мой взгляд, во всем нашем девятнадцатом веке стихотворение. Ему взволнованным тоном готовности к смертному жребию, почти в самый канун рокового поединка, вторит Лермонтов, его так ценит Толстой и при всяком подходящем случае, бледнея и задыхаясь, читает Достоевский. Произведение это, донесшее до нас печать трагической опаленности, решимости во что бы то ни стало выполнить долг перед людьми, поразительно еще и тем, что создано автором в двадцать семь лет, надо полагать — под свежим впечатлением только что с ним самим происшедшего кровавого преображенья. Невольно приходит на ум,— не потому ли проницательная николаевская цензура выпустила его в свет, что участие упоминаемого там ангела в наивысшем иерар-

хическом ранге как бы исключало содержащийся в нем неблагонадежный умысел.

Стихотворение носит название П р о р о к, что является латинским аналогом п о э т а. В нем последовательно изложена мучительная процедура поэтического посвященья. Не исключено, что черновой проблеск будущего литературного имени подсознательно возник у Алексея Пешкова тотчас по его прочтении. Допускаю даже, что вскрикнул от боли на той пятнадцатой строке, где рассказано, как —

...он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.

Будь моя власть, я бы ввел обязательное произнесение этой строфы хором на всех наиболее значимых а с с а м б л е я х писателей!.. Оговорюсь: никого не должно смущать уподобление литературного дара упоминаемому здесь непривлекательному существу с довольно сомнительной репутацией. Во благовременье употребляемый яд змеи не только не вредит здоровью, напротив — даже лечит, а в эмблеме медицины она изображается над особо широкой чашей, чтобы ни капли не пролилось зря. Подтверждается также, что, несмотря на губительное действие сего злокозненного вещества, оно жизненно необходимо и в литераторском обиходе. Наделенное свойством в чистом виде умерщвлять наповал, оно при недобросовестном употреблении в литературе способно производить ублюдков для умерщвления других, но понудительное удаление его из чернил может вызвать длительное замирание самой литературы. Зато в разбавленном виде, сообразно рецептуре веками проверенной эстетической фармакопеи, это и есть та могущественная целебная горечь, в равной мере обеспечивающая величие нашего искусства и нравственное здоровье нации, а следовательно, и крепость общественного организма. Все книги писателя Горького и впрямь отменно горьковаты для ума, и не в том ли состояла их животворная гормональная сила?

Почему-то горьки на вкус все наиболее знаменитые лекарства с классическим с а б у р о м во главе; от века отзывал полынкой богатырский и тоже кислым квасом запиваемый хлебушко российского земледельца, и, уж конечно, на свете нет аромата сытнее для души, чем горьковатый дымок над

костерком, и что-то не помнится, чтобы в лучших, признаться, весьма унылых порой наших песнях когда-либо восхвалялась утешная сладость сахара-рафинада, от злоупотребления которым, по глазастой народной примете, родятся весьма хилые да золотушные детки. Недаром все о той же неподкупной мудрой горечи говорит и начертанная на могильной плите Гоголя вещая цитата из горького Иеремии, насмерть побитого камнями за обличение царей и толпы. Вот в какую дремучую даль уводит нас родословная этого вернейшего средства от исторической слепоты, катализатора гражданских добродетелей, благородной присадки и на лемех плуга, и на боевое лезвие — горечи. Пожалуй, и в наши дни, на проходе через томительно жгучую неизвестность, горькое да упреждающее словцо куда полезнее усыпительных гуслей. Оно, правда, и струна Боянова, коли добротного качества, и шашка чапаевская творятся все из того же, огневую закалку прошедшего металла, да не всякие уста златые смогут в грозный день заменить дедами проверенную златоустовскую сталь. Не за эту ли целительную горечь волна признанья всенародного подняла Максима Горького столь высоко над современниками и на гребне своем донесла до наших времен?

...И еще настанет когда-нибудь, уже без нас, очередного столетия точно такой же вечер. Другие, еще не вошедшие, еще не родившиеся, заполнят ваши места в этом зале, но как бы ни было бесценно их время, немыслимо, чтобы периодически они не вспоминали о нас с вами, которые затратили во имя их, завтрашних, столько жизней, жаркого пота и вдохновений: себя! Не будем льститься чрезмерной надеждой: по собственному опыту известно нам, насколько необязательны для потомков дедовские кумиры и привязанности. Но только всякий раз, оглянувшись на наш век с его незатухающим заревом великих битв, эпохальных сожжений и бивачных костров на пути в землю обетованную, они среди прочих исполинских теней, на фоне пламенеющего неба, различат и характерную сутуловатую фигуру Максима Горького... Из-под козырька прижатой ко лбу ладони, с той же неповторимой, чуть иронической ободрительной улыбкой он будет испытующе всматриваться вослед им, все вперед и дальше уходящим поколеньям, в которые он так верил — трибун, поэт, бунтарь, отец и наставник Человеков на земле.

1968

ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ

Когда мы родились на свет, оба эти писателя уже высились снежными вершинами на читательском горизонте,— ими до сегодня пользуются для сравнительного глазомерного суждения о крупнейших литературных явлениях нашего времени: от них мысленно ведем мы, пожалуй, свое профессиональное летосчисление. В молодые годы, по прочтении частых в ту пору книг, сопоставлявших два эти блистательных имени, меня всегда мучила досада по поводу непонятных отношений между их обладателями, словно пребывали в странном неведении друг о друге. Казалось бы, родня по крови и призванию, столь близкие в характере своих духовных поисков, свойственных большой русской литературе, они представляются почти полярно разными нам, потомкам. Схожие даже по внешности, только один с обликом мыслителя и отшельника, другой — с пламенеющим, из глубоко запавших глазниц, взором пророка и неистового русского сектанта, современники и земляки, они почему-то так и не встретились ни разу в жизни потолковать об *этом*, самом главном в человеческом бытии. Однако первый весьма почтительно отзывался о лучшем романе Толстого в своем писательском дневнике, и, в свою очередь, лучшая книга его самого, *Карамазовы*, развернутая на центральной странице, насколько помнится, была обнаружена у второго на его ночном столике, чуть ли не возле смертного ложа.

Достоевский и Толстой!

Раздельные секторы национальной души, оба они явились истоками основных наших литературных течений, каждый со своей плеядой эпигонов и учеников. Но, значит, литературный пейзаж, с вечными в нем ориентирами, тоже имеет свойство течь, изменяться во времени: происходящее на глазах наших

смещение вершин все очевидней. Требуется волевое усилие исправить привычное школьное чередование двух этих исполинов. Начавшийся столетие назад, такой неравный вначале бег их явно завершается в пользу Достоевского. Да простится мне неправомерное сопряжение великих стариков: имеется в виду не сравнительная масштабность двух абсолютных гениев или, скажем, относительная прогрессивность их мировоззрений, сближаемых ныне дальностью расстояния... К тому же истина народная у каждого исторического периода всегда определяется лишь совокупностью ее возможных разночтений. Речь идет всего только о выявившихся преимуществах достоевского творческого метода. На мой узкоремесленный взгляд, они заключаются в большей емкости последнего, в его обобщенной алгебраичности, так сказать — шекспириальности его философской партитуры, исключающей бытовой сор, частное и местное, с выделением более чистого продукта национальной мысли,— этим и достигается всемирное нынешнее бессмертие Федора Достоевского. И как поучительно выглядит сегодня приводимое мною по памяти, где-то в письме к жене оброненное, как бы извиняющееся за постоянную нужду в доме замечанье, что если бы ему за печатный лист платили, как Тургеневу, то сочинения его, Достоевского, читались бы и полвека спустя после смерти их автора... Другими словами, вместо обычно применявшейся трехцветки, где читателю и зрителю предоставляется лестное право сопоставлять, делать выводы и догадываться (а степенью их соучастия и сообщничества с автором и определяется в конечном итоге успех произведения!), Достоевский впервые вводит невидимые, инфра и ультра, цвета изобразительного спектра, позволяющие полнее передать мерцающую, ежемгновенно изменчивую сущность современного, на предельную скорость разогнанного человека во всей последовательности его метампсихических, что ли, оболочек. Отсюда и появляются у писателя мнимые, иррациональные, просто немыслимые на дневном свету, потому-то и воспринимаемые читателем попроще как болезненные эпизоды вроде женитьбы Ставрогина на хромоножке.

Графически, в своем дружественном кругу, я изобразил бы сказанное в виде некоего воображаемого берега,— поверх черты нарисуется реальный, достоверный и даже в бурю устойчивый пейзаж, под чертой же, в омутах творческой лаборатории художника, разместится совсем непохожий, может быть, всего лишь потенциальный, даже в безмятежную погоду

бурный, зато всегда неповторимый мир. Вверху будет мощная, полнокровная стихия Толстого, внизу миражная, ускользающая — Достоевского. Как часто приходится доказывать, что личность автора всегда важнее темы его творения!.. Любая личность, но не любого художника. Противники такого мнения должны утешаться тем, что им безнаказанно дозволяется излагать самые священные события в рамках посредственного фильма, полугазетного документа. Не вижу иного способа поведать поколениям весь накопленный за последние десятилетия кровоточащий опыт человечества — после пережитого в недавнем прошлом и в преддверии совсем теперь близкого будущего.

Опаснейшее это приобретение людей, плод бессонных раздумий и колебаний, высоких вдохновений пополам с разочарованием и прямым отчаяньем, является, конечно, бесценным сырьем для еще не написанных шедевров, но и взрывчаткой для пересыщенных знанием наших душ, если это поистине дьявольское сокровище своевременно не загнать в бумагу, холст и бронзу — не запечатать магическими литерами и нотными знаками, как всегда оно бывало в истории человеческой культуры. Пророческое смятение Достоевского, провидевшего нынешние дни и нас с вами, создало для указанных целей совершенный инструментарий,— чтоб не появлялись из-под наших рук идолы глухонемые, смотрящие в дымную даль грядущего и не кричащие об увиденном.

1969

РОДНИКОВАЯ СВЕЖЕСТЬ

В просторном зале на улице Горького, где периодически проходят творческие отчеты художников со всей Российской Федерации, открылась примечательная выставка, посвященная семидесятилетию пейзажиста и реставратора Василия Осиповича Кирикова. Фамилия эта, весьма почитаемая в научной литературе о древнерусском искусстве, мало известна среди рядовых любителей отечественной живописи. По вине нашего нелюбопытства этот большой мастер и скромный труженик за весь полувековой рабочий путь лишь вторично появляется на выставочных стендах. Меж тем ему обязаны наши музеи возвращением к жизни многих первоклассных сокровищ нашего средневековья. О великих сложностях этого дела позволяют судить показанные здесь фазы восстановительного процесса — как из-под слоя ветхих зашлакованных записей постепенно проступает торжественная строгость оригинала. К сожалению, только обстоятельная, параллельно с демонстрацией, лекция могла бы пояснить профессиональные тонкости и почему художник хирургического скальпеля Юдин отдавал дань своего восхищения реставраторскому скальпелю Кирикова.

Неизгладимое впечатление оставляет и деятельность Василия Осиповича в качестве кописта, никем пока не превзойденного по отзыву покойного Грабаря. Не говоря уже о том, что печальная участь некоторых ценностей, утраченных на памяти нашего поколения, заставляет всерьез подумать о создании конгениальных дубликатов, именно такое школьное подражание помогало раньше ученикам усваивать профессиональную мудрость учителя. В самом деле, ничто не поможет в такой степени проникнуть в существо изучаемого шедевра, как терпеливое — мазок за мазком, фраза за фразой — следо-

вание по всему мучительному и путаному серпантину авторского мышления. На мой взгляд, чисто механическая переписка Капитанской дочки от руки доставит начинающему литератору больше сокровенных познаний о тонкостях нашего ремесла, нежели десятикратное прочтение пушкинского текста. На выставке показаны блистательные кириковские повторенья таких шедевров, как Триптих Ван Эйка и рембрандтовская Саския, тождественная по всем параметрам достоверности от вековой патины и кракелюр до паркетированной дубовой доски дрезденского оригинала. Но прежде всего посетителя ослепляет удивительная копия рублевской Троицы, в качестве экспоната нашей культуры объехавшая полмира по обе стороны московского меридиана. Будучи почти зеркальным отражением в смысле точности и, по заявлению знатоков, с двухметрового расстояния неотличимая от подлинника (кстати — плод почти пятилетней безотрывной работы!), перед нами, в сущности, предстает тоже своеобразный уникум, только тот, рублевский, посвятей и постарше. Оценка моя далеко не чрезмерна: слишком щедрые на похвалу по дружбе или компанейщине, мы теперь в нашей критической практике вовсе перестали упоминать о трудовом компоненте в произведениях современников, хотя именно исполинский труд — пускай и в подготовительной стадии — всегда бывал изнанкой гениальных вдохновений.

Равным образом приглашает к глубокому принципиальному раздумью пусть несколько однообразный по тематике, зато на пределе задушевности бесхитростный кириковский пейзаж. Он весь как бы призыв к искренности в искусстве. Без тени ложного новаторства в смысле буйства красок, издалека и подобно семафору привлекающего внимание посетителя, или грандиозной размерности, служащей зрителю как бы лупой для лучшего рассмотрения заключенного там содержания, эти самые скромные, сплошь миниатюрные видения нашей милой природы исполнены по старинке, в духе Саврасова, незабываемого Остроухова и доныне бесконечно близкого нам Левитана... К слову, последнему обязан я наиболее емким определением сущности искусства — для личного употребления разумеется.

Дело было лет тридцать назад, даже побольше, в Третьяковке, перед самым закрытием галереи, зимой. Нас в опустелом зале оставалось только двое,— рядом со мной — красноармеец, верно с периферии, совсем молоденький. Перед ним

висел небольшой, в размер детской тетрадки, этюд обыкновеннейшей копны сена, занимавшей почти всю площадь произведения. Минутой раньше, поодаль идя за ним по залам, воочию убеждался я в трудной судьбе нашего брата. С каким безучастным видом проходят они иногда мимо знаменитых, не нам чета, полотен классики, стоивших живописцам стольких терзаний, а может — и жизни!.. Скосив глаза, наблюдал я за своим соседом справа, как воспримет паренек простенькую картинку, изготовленную без фанфарно-просветительных специй, вроде бы и ни о чем. Сперва странная пристальность обозначилась в его лице, сменившаяся затем скользящей полувиноватой улыбкой. Зритель узнавал правду жизни перед собою. Похоже было, что он мысленно коснулся рукой колючих травинок, чуть волглых после недавнего дождя, вдохнул на проверку тончайший из запахов земли и рассеянным взором души проследил не попавшую в поле зрения лохматую тучку, что деловито убегала в смежную волость по должности: она-то одна, а делов пропасть! Когда же общение с родиной через посредничество искусства кончилось, спряталась до будущего раза и улыбка. Сам он, юноша в военной гимнастерке, вряд ли осознал тогда значение только что совершившегося с ним полуминутного преображения. Но можно было бы показать в обстоятельной повести, как тот маленький праздник на исходе пасмурного зимнего денька после уймы неуловимых психических трансформаций выявился однажды в легендарном подвиге — возможно, даже Сталинградской битвы.

Кириковские пейзажи, о которых речь, сплошь невелики по своим габаритам и не претендуют стать манифестом в изобразительном искусстве. Навечно покоренный прелестью ранней русской весны, и сам родом из песенной Мстёры, художник благоговейно исходил с этюдником окрестности знаменитого села, прилежной и неторопливой кистью отмечал особо полюбившиеся ему уголки. Это все вещи, связанные из уст в уста, как, из простонародного целомудрия, принято было когда-то у нас произносить любовные слова: разок на всю жизнь, на ушко и шепотом. Они напомнили мне заветные материнские треугольнички, посылаемые на фронт солдату с нерушимым по гроб жизни благословеньицем. Их носят в нагрудном кармашке, над сердцем, а в минувшую войну они простреливались вражеской пулей заодно с партбилетом. Только в отличие от каракуль деревенского грамотея здесь наряду с непосредственным мастерством сквозит та влюбленная преданность

красе среднерусского края, что помогала старшему поколению наших пейзажистов раскрывать в природе трогательные, даже неприметные чудеса, становившиеся затем в искусстве событиями мирового значения — будь то вечерний туманец над лесным омутком или цветение козьей ивы на апрельской опушке, или просто незримый ветер луговой в пору созревающего медосбора.

Право же, после иных профессиональных наших прокуренных и обычно бесплодных дискуссий о высоком искусстве, каким же надлежит ему быть, все мы немножко изголодались по глотку свежего воздуха, родниковой воды. Вот почему за немногими понятными исключениями посетитель, подобно мне, уйдет отсюда с благодарным чувством только что сделанного открытия.

1973

БЕЗЗАВЕТНОСТЬ

За немногими исключениями мемуарный жанр всегда казался мне литературно неполноценным по самой специфике задания и сомнительным в документальном отношении из-за трудностей проверки. Лишенный склонности к ведению дневников, я всегда избегал восстанавливать утраченные воспоминания, а порой и придумывать их заново. Мне легче изложить внешние обстоятельства моего знакомства со знаменитым советским военачальником, которого даже его противники по ту сторону фронта называли ein grosser Panzermann.

Если не считать двух более поздних и беглых встреч с маршалом Павлом Семеновичем Рыбалко, я общался с ним, к тому же всего несколько дней, при поездке на фронт осенью 1943 года.

Встреча наша произошла в Людвиновке, перед Черниговом, тотчас после взятия советскими войсками Киева, запомнившегося мне еще не убранными на Владимирской горке аллеями алюминиевых истуканов с тевтонской осанкой, а также ежедневными вражескими авианалетами и обязательными следами жестоких схваток за каждую улицу. То был период передышки перед новым рывком на Запад, ибо при своем сокрушительном ударе по танковой армаде Манштейна советский маршал шибко повредил свой железный кулак, и, по некоторым уцелевшим в памяти подробностям, в ту неделю штаб Рыбалко стоял почти без охранения. Так, например, пришедшая сдаваться в плен тройка немецких солдат без помехи, с поднятыми руками вошла в штабную столовую, что произвело неизгладимое впечатление на обедавших. Выражаясь горячим языком тогдашнего репортажа, стороны обоюдно слышали и лязг передвигаемого железа, и чад походных кухонь.

Несколько очень хлопотных дней, перегруженных ценными наблюдениями, я почти целиком провел у командного стола Павла Семеновича, следя, так сказать, через его плечо за примерной деятельностью полководца в своей, уже созревшей тогда повести. По условиям и лимиту времени мы маловато беседовали в те часы, тем не менее, взволнованный одним жарким рассказом танкистов, только что вышедших из поединка, я поделился с маршалом возникшей у меня заключительной деталью во «Взятии Великошумска». Сама вещь была задумана как гимн, как дань почтения нашей великолепной не только по ее исключительным боевым качествам, но и просто спортивно-элегантной тридцатьчетверке, а также и беззаветным людям в ней!

Моя стальная героиня, поставленная на гранитном постаменте для обозрения веков — с оплавленными пробоинами и пороховым нагаром на рваной броне, куда вещественней, наглядней и речистей нас, литераторов, рассказала бы потомкам, в каком вулканическом зное, в смертельном вихре металла добывали для них победу легендарные предки. К слову, маршал горячо поддержал мою мысль, к сожалению, осуществленную лишь на страницах повести. Думается, что, как и простреленные в бою знамена, тот драгоценный железный лом сильнее воспитывал бы в молодежи чувство исторической преемственности, нежели отличные и новехонькие машины, хотя и вызывающие прилив законной гордости за военную промышленность тех лет.

К общеизвестным и заслуженным эпитетам этого выдающегося танкиста Великой Отечественной войны я могу прибавить личные и впоследствии пригодившиеся мне в работе впечатления о Павле Семеновиче Рыбалко как об умнейшем и скромнейшем современнике, отце своих солдат и друге литературы, о большом и человечнейшем Человеке, былым расположением которого я горжусь.

1976

ОТЕЧЕСТВО

Отзыв о книге В. М. Пескова «Отечество» мне хотелось бы начать издалека. Перед человечеством стоят сегодня две первостепенные задачи: защита мира и защита природы, обе — главные условия нашего дальнейшего существования. Вторая, столь же неотложная, стоит сразу после первой. Но каждая неполна одна без другой. От обеих всецело зависит обеспечение грядущего!

Отсюда рождаются два родственных понятия: солдат мира и солдат природы. Они решают назревший чисто гамлетовский вопрос: быть или не быть завтрашнему человечеству, если сверхсрочно не прислушаться к голосу благоразумия. Тем более что накоплением средств убийства и отравления главнейших источников бытия человечество опасно приблизилось к необратимой бездне. Род людской стал слишком многочислен, расточителен, дерзок и могуч — несоразмерно наличию мудрости и добродушия, какие полагаются сказочному великану.

К тому же народы мира не торопятся осознать нависшую над ними опасность расточительности и беспечности, которые уже сегодня в поражающей степени застилают людям солнечный свет и радость бытия.

Кстати, в развернувшейся ныне дискуссии о завтрашнем дне мира, которая энергично ведется на земле, никому не следует забывать, что на пороге третьего тысячелетия перед въездом в новый дом — и если жить охота — человечеству не обойтись без кое-какой всеобщей и по возможности срочной перестройки.

Решение первой из названных задач зависит не только от литературы. Что касается второй, то в великой схватке за природу место застрельщиков вровень с учеными принадле-

жит и писателям. Наше перо — испытанное оружие в разведке грядущего. Причем действенность его, как в смысле общественного КПД, так и мобилизации душ и умов людских, всегда была плодотворнее в наглядном изображении потенциальных бед грядущего, нежели утопических розовых идиллий. Набат хоть и несется теперь по всей планете, но, к сожалению, еще недостаточен среди представителей литераторского ремесла.

В нашей стране слышнее всего голоса таких лично известных мне современников моих и коллег по душевному влечению к живой природе, как Борис Рябинин, Олег Волков, Владимир Солоухин, Владимир Чивилихин — ученый-лесник к тому же. Память подсказывает мне имена также ныне здравствующих Игоря Акимушкина, Гавриила Троепольского, Виктора Астафьева, Юрия Дмитриева, Юрия Грибова, Евгения Носова, Юрия Черниченко, Сергея Викулова, Виктора Бокова, Людмилы Татьяничевой. По душе мне и то, что поэтического дара этих талантливых певцов родной природы зачастую хватает и на защиту такой безгласной порою отечественной Старины. Не сомневаюсь, однако, что в ближайшем будущем армия друзей природы возрастет в такой степени, что ко времени неизбежного когда-нибудь учреждения Госкомитета по охране окружающей среды они получат право не только совета, но и хотя бы морального вето.

К первой шеренге этого боевого настроения я причисляю выдающегося журналиста и литератора со своим точным и увлекательным почерком Василия Михайловича Пескова. Как и многим-многим читателям и телезрителям, мне по душе этот верный, вдумчивый, знающий и бескорыстный друг больших и малых зверей и зверюшек, милых пташек наших и всякой полезной муравейной братии, безжалостно, иногда под предлогом прогресса, сметаемой с лица земли. Песков всегда в походе по необозримым просторам нашего Отечества. Почти ежегодно, подобно очарованному страннику с записной книжкой и фотоаппаратом вместо лесковской котомки, обходит он дозором самые уединенные уголки родной Земли, заставая ее то в разгаре работ по генеральному преображению, то в сокровенный час, когда она еще дремлет в ожидании разумного хозяина, способного подчеркнуть и умножить ее вечную красу.

Эпиграфом к книге с указанным выше названием могло бы служить приглашение — «смотрите, как прекрасна наша щедрая необъятная земля, ее зори и грозы, ее люди — мысли-

тели и творцы завтрашнего дня,— ее реки и кондовые леса (где уцелели!), а также вся веселая, многоголосая и безответная проживающая в них живность!». Приложенные поэтические картинки служат как бы фотодокументацией к этому призыву, хотя и убедительное песковское слово достаточно передает патриотическое волнение, охватывающее нас при мысли о Родине.

Хочется пожелать новому изданию песковского «Отечества» успеха и внимания у всех читателей, которым предстоит познакомиться с ним.

1976

ЖУРНАЛУ «МОСКВА»

По характеру текущих событий, в том числе — участившихся великих и грозных изобретений, знаменательных сейсмических подвижек дотоле дремавшего Африканского материка, также по некоторым другим, все очевидней становится, что мы живем в наиболее значительный, переменчивый период человеческой истории. Нет повода сомневаться в неизбежности настающего в мире обновленья. Где-то послезавтра многое на свете будет обстоять совсем иначе.

Сказанное обстоятельство возлагает на все отрасли людской деятельности — литературу в том числе, если не полную ответственность, то почетную обязанность, — и если не за судьбы людские, то за нравственный настрой хотя бы ближайших потомков. Никогда не требовалось от нас столько думать, и во исполненье своего призванья литераторам предстоит немало поработать по части интеллектуальной прозы. Современники ждут от своих художников, разведчиков по ту сторону века, широких философских обобщений с переходом в эпический концентрат, а прежде всего — зоркого предвиденья возможных рифов и водовертей, скрытых за высокой непогожей волной. В самом деле, какие новые движущие противоречия сменят ненавистные и низменные — прежние? Чем до самозабвенья займется род людской по завоевании своих трудовых прав и общедоступного коммунального минимума в виде хлеба, крова и солнечного света? А подобное задание потребует от авторов в придачу к обязательным профессиональным достоинствам, культуре и мастерству, еще и способности к разного рода смелым новаторским поискам на пределе мыслительной емкости.

Уже теперь, когда наиболее фундаментальные законы природы открыты, а дальнейшие вдохновляющие находки обре-

таются в недрах давно известного или на стыках научных дисциплин, человеческая любознательность устремляется к познанию ускользавших раньше от внимания, порою даже неподозреваемых мелочей. Психологические отходы этих, то — возникающих, то — рушащихся, конструкций и станут, надо полагать, основным материалом для литератора. Но если ученые давно оперируют в глубинах клетки и атомного ядра, то и литературе предстоит объяснить читателю сокровенные микропроцессы в тайниках потрясенной, прозревающей нечто, преобразующейся человеческой души.

Мне представляется, что проблемы завтрашнего дня неразрешимы без кооперации двух основных отрядов мышления. Тут мы подходим к еще недавно модной, но и доныне остро звучащей теме нежелательного разделения творчески думающих людей на физиков и лириков. Кстати, сказанная тема имеет непосредственное отношение к художнику нашего времени, прежде всего — в смысле его повседневного инструментария. Поразительно видеть порой при чтении иной научной статьи, каким тончайшим и точнейшим, не только математическим, но и словесным скальпелем или пинцетом ученый-атомщик выделяет из незримого хаоса для показа коллегам одну, всего одну, и лишь умственной оптике доступную частицу. Правда, к немалой досаде нашей,— даже там у них, где текст не загроможден рогатками заумных уравнений, применяется главным образом иностранная лексика, временами смахивающая на алхимические формулы средневековья, как будто материнский язык бессилен выразить магическую сущность наблюдаемых явлений (чем достигается, впрочем, благоговение профанов вроде меня!). Но все равно, все равно — насколько неэкономно, даже неряшливо на фоне сжатого, энергично-суховатого научного отчета выглядит иная наспех сметанная стихотворная строка, где порою сквозь шов так и просвечивает живая нитка.

Кстати, пора бы критикам и рецензентам хоть теперь, в связи с пятилеткой качества, попристальней вглядываться в товарную ценность литературного изделия. Сработанные нами вещи должны служить верно и долго, а чистым золотом не подтвержденный сертификат на славу общество вправе расценивать как обыкновенную фальшивку... Впрочем, и физикам, заслуженно и заочно вознесенным в почтении народном, тоже нашлось бы что́ позаимствовать у некоторых отличных наших же, покойных или ныне здравствующих, ли-

риков, способных в песенной строке передать звучание эпохи. Разумеется, в беседе о только что уловленном секрете природы можно сказать лишь на специфическом языке соответственной теории,— все же как жадно воспринимает читатель хотя бы попытку изложить логику громоздкого явления на уровне того букваря, где век-другой спустя оно уложится в какой-нибудь десяток общедоступных строк!.. Правда и то, что творческий процесс той и другой категории немыслим, когда незримая, пусть затихшая толпа, как говорится, стоя над душой и под руку, следит за рожденьем на бумажном клочке рифмы и ноты, штриха и формулы... но, во всяком случае, технари и гуманитарии, как мы нередко именуем в разговорном обиходе нынешних молодых людей, суть лишь половинки одного и того же мозга, и было бы чудесно, кабы каждая, по специальности осваивая свою неизвестность, не пренебрегала древним опытом смежной...

Отрадно отметить, что журнал Москва как раз и руководится основными наказами, что предъявляются литературе современностью. Еще недавно младший в семье наших журналов, он к своей юбилейной дате успел стать отчим домом для целой плеяды вполне зрелых писателей, которые вместе с прочими талантливыми, того же поколенья, собратьями по перу станут ведущим ядром завтрашней литературы.

1977

РАЗДУМЬЯ У СТАРОГО КАМНЯ

Гражданская совесть и стариковские предчувствия повелевают мне высказаться вслух по поводу национальной нашей старины. Многое уже не воротить,— тем громче надо вступиться в защиту уцелевшего.

Правда, одним воспоминанием прошлого не проживешь. Старина любит красоваться в раме могучей современности, и сколько на нашей памяти увяло слав былых, не поддержанных деяниями потомков. Плохо бывает не успевшим включиться в стремительный Гераклитов поток. Громадные империи уходят в пучину, как разломленные на штормовой волне старомодные корабли,— даже надменные религии пытаются пристроиться к ритму текущей жизни. Время от времени врываясь в застойные будни, новые, высшей целесообразности идеи порождают гигантские, подобные Октябрю, события. Они перепахивают карту мира, разоблачают мнимое благообразие прежнего уклада, ускоряют бег технического прогресса: так было и с нашей страной. Неторопливые историки, когда придут на смену нетерпеливым нынешним летописцам, подведут окончательный баланс совершившимся преобразованиям с учетом и материальных достижений, выдвинувших нашу державу на первейшее место.

Так с веками кладовые великого и трудолюбивого народа пополняются все новыми поступленьями его трудов и вдохновений... но вот уже и не видать под ними одного почтеннейшего, на самом дне хранящегося предмета, в давно прошедшие времена называвшегося хоругвью.

Как правило, реликвия эта представляет собой прямоугольный лоскут старой ткани, простреленной, обгорелой местами, с тревожно-бурыми пятнами на ней, но никому и в голову не придет отдать его в химчистку. Опять же изобра-

жается на нем не клюшка хоккейная, не экскаватор или мопед или другие эпохальные завоевания технического прогресса, а нечто давно отжитое, порою даже вопиющий анахронизм мистического содержания вроде ликов ангельских, как известно, полностью ныне опровергнутое посредством прогрессивных наук. И почему-то выясняется на практике — чем старше, чем глубже уходит корнями в прошлое такая, наивной рукой вытканная картинка, тем большей, почти магической обладает она силой воздействия. И оттого, что все на свете подлежит тлению, самые твердокаменные скрижали в том числе, то подобным до крайности хрупким сокровищам полагаются особые ласка и береженье. Предки наши от случая к случаю выносили из-под спуда на воздух сей изредившийся лоскуток, под колокольный звон поили вешним ветром досыта, молодили солнышком отускневшее золотое шитье. Иначе рассудительному государю было никак нельзя, а то в нужде, как примется история еще разок огнем да мечом поверять тебя на годность для самостоятельного государственного бытия, сунешь руку в заветный сундук, а там ветошинка одна, вся в плесневых каках да мышеединах: такая в бой не поведет!

Помимо того что велика и обильна, земля наша является сплошной равниной,— почти без тряски, из края в край проедешь по ней на колесе, чем, кстати, была значительно облегчена задача пытливых русских землепроходцев. Зато в черную минуту не оказывалось у нас никаких достаточных географических преград — заслониться как от недолговременных европейских удальцов, стремившихся порезвиться на русских раздольях, пополнить казну, утолить воинскую спесь и любознательность,— так и от потоков куда более грозной человеческой лавы, стихийно ввергавшейся к нам из незатухающих вулканов срединной Азии. Тысячелетняя память, обогащенная бедами совсем недавних столетий, воспитала в русском национальном характере помимо прочих достохвальных качеств даже странную, казалось бы, при исконном-то нашем забиячестве, осторожность в обращении с судьбой. Голос прадедов не велит нам кичиться перед ней, хвастаться, идучи на рать, учит считать цыплят по осени; незажившие уроки последней войны подтверждают смертельную опасность всяческого шапками-закидайства. Нет, не о тугодумии говорится в пословице насчет крепости нашей задним умом,— лишний раз она указывает, сколь трудно учесть целиком все противоречия и коварные

обстоятельства, возникающие на просторе неохватных глазом территорий.

Наши былины и живопись не раз брали темой раздумье могучего, в броне, конного витязя на распутье посередь мертвой костью усеянного чистого поля. Заботливые деды и посмертно, самыми останками своими наставляют уму-разуму опрометчивых внучат. И в том состоит их наука, что никому в нашей необъятности знать не дано, что поджидает тебя впереди — поганая Калка, предпобедное Бородино, славное поле Куликовское.

Для охранения подобных, ничем не огороженных пространств применяются особые средства... Прибегнем здесь к образу неких дальнобойных пушек, заряжаемых порохом не совсем обычной рецептуры. Как не бывает настоящего солдата без спортивного азарта, при выполнении задания, без прицельного, в самом безвыходном положении не покидающего юморка, без той персональной ненависти к врагу, что утраивала физическую стойкость окруженного, по глотку в болото загнанного белорусского партизана, так и в помянутом порохе, помимо всех воинских добродетелей, обязательно одно, вовсе невесомое, потому что зачастую даже подсознательное, вместе с тем шибче всякой живой воды важное вещество, настолько скрытое, даже целомудренное, что простыми людьми никогда не выставляется напоказ. К прискорбию, оно у нас нередко заменяется беспечным оптимизмом, что в дореволюционном русском просторечии называлось обыкновенным авосем. Может, здесь у меня и с запросом сказано, но стоит ли оставлять столь важное сомнение до практической проверки в битве, когда и в затылке почесать станет некогда?

Не странно ли, дорогие братья и сестры, что после стольких, почти вчерашних уроков мы так и не открыли мобилизующее действие трезвого пессимизма? Сия способность живо вообразить возможную изнанку некоторых парадных иллюзий хотя и может омрачить тихие радости, получаемые от рыбалки и бесед, проводимых в теплой дружественной обстановке, все же представляется мне далеко не бесполезной в нынешнем мире — сплошь в минных полях, волчьих ямах да ноголомных трещинах. В такую пору мало бывает одной хозсмекалки, а желателен целый радар в голове с дальностью минимум лет на двадцать.

И здесь нам в особенности полезно со всею болью сердца вспомнить, вникнуть, подвергнуть беспристрастному анализу

ту, потрясающую патриота, под незабываемый звон стекла, июльскую речь в трагическом сорок первом. Так почему же именно, почему уже на второй неделе страшного поединка пришлось нам, несмотря на едва ли не каждодневные рассуждения про малую кровь и чужие территории, пускать в ход столь необычные в нашей практике интонации, а в прекрасное суровое утро ноябрьского парада, четыре месяца спустя, выкатывать на передовые позиции столь устарелую, казалось бы, артиллерию, с клеймами Суворова, Дмитрия Донского и даже Невского Александра? Причем делал это предельного авторитета человек — с гулким на весь свет именем. Нельзя забыть и того, что разговор велся о родном, кровном нашем Смоленске, а не о какой-либо заморской, хоть и дружественной чужбинке!

И тут, забегая вперед, невольно приходят в память ретивые администраторы, чуть не позавчера призывавшие иных простаков не слишком-де церемониться со староотеческой рухлядью... И кто знает, как обернулась бы недавняя военная страда, если бы к памятной дате третьего июля сии иносказательные пушки оказались заклепанными чьей-то ночной, недрогнувшей рукой. О, сколь много вреда способна она причинить мимоходным, кое-куда, ударом преступного зубильца.

Поэтому и представляется мне, что поговорка о необходимости держать порох сухим имеет в виду прежде всего состояние духа народного, которое я определил бы банальным *чувством локтя* в отношении соседа не только ближайшего, по горизонтали данной эпохи, но по таинственной вертикальной связи с самыми отдаленными, давно растворившимися в земле родичами, положившими начало нашей с вами Отчизне.

Уместно повторить вслух неплохую, двухсотлетней давности мысль Руссо: всякое применение власти для своей правомерности должно быть выражением народной воли... А под волей народной, надо полагать, понимается не только воля всех живущих в известное время индивидов, но и та, что поддерживает идею народную среди сменяющихся поколений. Так раскрывается в полном объеме скрепляющее нацию воедино сотрудничество поколений. Для меня любая на сельском погосте, ромашкой да погремком заросшая могильная плита приобретает вещественную силу национального пароля, и вот почему до изощренности высоко и тонко поставлен в некоторых западных странах культ кладбищ, несмотря на жгучий соблазн обращения их в дармовые пригородные каменоломни.

Жизненно необходимо, чтобы народ понимал свою историческую преемственность в потоке чередующихся времен,— из чувства этого и вызревает главный гормон общественного бытия, вера в свое национальное бессмертие. Поэтическая традиция, утверждающая, будто чуть ли не основным источником сего вдохновительного вещества является популярная у нас березка, упускает из виду, что поименованное дерево не менее успешно произрастает и в смежных, чужеземных владениях. На мой взгляд, гораздо больше содержится его в других, скоропреходящих, казалось бы, явлениях,— например, в милых и унывных напевах предпокосного, бывало, девичьего хоровода, или в запахе ржаной краюшки под парное молочко, или в косом мимолетном дождичке над Окой, даже в пресловутом дыме отечества. Но, пожалуй, богаче всего этим живительным эликсиром, почти вровень с молоком материнским, те молчаливые, на любое кощунство такие безответные, грубой побелки мемориальные камни, что раскиданы кое-где по лицу нашей державы щедрыми и простодушными предками. Подразумеваются старинные здания нередко архаического замысла, творения изрядных русских плотников, самородных тож гениев каменного дела, воздвигнутые на потребу стародавних чувств и обычаев, почти сплошь,— извиняюсь за их творцов перед нахмуренными передовыми мыслителями,— культового, то есть церковного назначения. Большинство их — величавые соборы вкупе с онемевшими, порою жалостно-дивными звонницами, давно и жестоко источенные континентальной непогодой, поросшие по карнизам мелким кустарничком, как на гравюрах Пиранези... Атеистический топор в руках воинствующего невежды, о чем предупреждал еще Гете, оборачивается для культуры величайшим бедствием, потому что сопровождается уже невозместимым для человечества ущербом.

Не вдаваясь в теологические дебри, также и в обсуждение религий как социального инструмента правящих классов, беру на себя мужество вкратце объясниться по существу довольно ясного, но будто нарочно запутанного вопроса. На протяжении тысячелетий понятие бога как исходного начала всех начал, вместившее в себя множество философских ипостасей, национально окрашенных фантастических мифов, когда-либо двигавших людьми моральных стимулов, служило емкой и неприкосновенной копилкой, куда Человек — мыслитель и мастер, художник и зодчий — вносил наиболее отборное, бесценное свое, концентрат из людских озарений и стра-

даний, беззаветной мечты и неоправдавшейся надежды, наконец свершений нечеловечески тяжкого, исполинского труда. Неизменно, сверх положенной дани в размере десятины от трудов своих, люди отдавали небу и треть, и половину, и все достоянье целиком, включая самую жизнь иногда. Бессчетная вереница одержимых детской верой в свое же создание благоговейно возлагала на возвышенья алтарей свои черные гроши, пофазно переплавлявшиеся затем через восторг художника, щедрость мецената в пленяющие воображение архитектурные конструкции, населенные поэтическими причудами и химерами, в свою очередь, изготовленными из неупотребляемых в быту — чистейшего света и полнейшего мрака — воистину божественные шедевры, уже тем одним священные для всех нас, что в них сосредоточился совместный порыв иногда нескольких подряд человеческих генераций. Непосильные для любой частной мошны, вобравшие в себя всякие первостепенные ценности эпохи, эти великие храмы — от римского Петра до запомнившегося мне на всю жизнь, стрелой устремленного ввысь Йоркского собора, от циклопического Абу-Симбела, сберегаемого с нашей же помощью на месте нильской плотины, до крохотной, радовавшей москвичей несколько веков подряд расписной каменной игрушки, называвшейся Ризположенье и сметенной в яму забвения резвой метлой тридцатых годов, они становились вещественными показателями тогдашнего уровня техники, эстетического мышления и организации коллективного труда — факелами неугасимого творческого духа, интеллектуальными вехами века. В том беда наша, что вечно возвышающиеся над нами воистину гималайские исполины, так сказать, «замаравшие» себя прикосновением к церковной теме — Леонардо и Рублев, Бах и Микеланджело, иным доныне представляются всего лишь тупицами и прихвостнями феодально-купеческой касты, продавшимися в холуйство золотому тельцу. Наступление поздней зрелости во всех цивилизациях знаменовалось скептическим пересмотром потускневших миражей детства, но всегда неприглядной представлялась сомнительная доблесть, якобы в доказательство людского превосходства над божеством — по-свински гадить в алтаре, дырявить финкой Магдалину на холсте, отрубать нос беззащитному античному Юпитеру. Как и мы, еще не родившиеся души, разноликие боги тоже толпятся в ожиданье своей очереди у порога бытия, но во все времена по смещении очередного божества, перед интронизацией нового, устаревшего перево-

дили на вечный пенсион мифы, легенды, сказки, а их жилища, хоть и лишенные тайны, все же не утрачивали притягательной силы для посетителей, только вместо прежних паломников последние именовались туристами...

Но эти бедные обветшалые камни заслуживают пощады и жалости также и по причине очевидной выгоды; продажа входных билетов ценителям прекрасного в течение ближайших же лет даст больше валюты, барыша и выгоды, нежели одноразовое обращение иной национальной святыньки в щебенку для мощенья непроезжего проселка.

Сверхбанальные истины эти требуют неотложного внедрения в сознание подрастающей смены, коей послезавтра, может быть, суждено встать у штурвалов государственного управления. Наравне с обучением незрелых отроков и отроковиц — как надлежит обращаться со школьным имуществом, телефонными автоматами, с лифтами общественного пользования, с древесными посадками, и вообще как вести себя в лоне природы, которая есть о т ч и й д о м т в о й (полагалось бы не оставлять без внушения и поощряющих их грустную резвость родителей) — разумеется, постепенно и терпеливо, во избежание их умственной перегрузки.

Пока еще не поздно, надо довести до их сознанья, что с е г о д н я есть лишь промежуточное звено между в ч е р а и з а в т р а, что все мы нынешние — лишь головной отряд бесчисленных поколений пускай закопанных где-то далеко позади, однако отнюдь не исчезнувших вчистую, а и посмертно взирающих нам вдогонку. Существуют некоторые и другие связи между генерациями — кроме социально-экономической преемственности; только забвением этого рода объясняется, что иная ходовая щука ищет себе за границей глубинку посытней... И кроме налагаемой ответственности, какая радость заключена в безотчетном ощущении суровых, немигающих глаз, провожающих тебя в неизвестность будущего!

Было бы поучительно и занимательно провести на ходу беглую викторину среди подростков, собирающихся у вечерних кафе перед тем, как прошвырнуться под транзистор по местному проспекту: знают ли они, скорые наследники и отрада наших стареющих, меркнущих очей, что, к примеру, упоминавшийся в старых книгах Калита не имеет никакого отношения к проходному устройству в заборах, а Пересвет и Ослябя не являются фотографическими терминами в смысле неправильной экспозиции? Известно ли подрастающим дет-

кам, что печально ославленные древние наши лавры и монастыри — Валаам и Соловки, Суздальщина и Троице-Сергиева обитель — служили в старину боевыми и культурными форпостами русской государственности, так что сиянье золота на куполах и звон колокольный звали предков наших к деяниям, в некоторой степени обеспечившим их нынешнее благоденствие?

А знать сие надобно потому, что в наш век обесценения хитроумнейших фортификационных сооружений перечисленные обветшалые твердыни могут и сегодня оказаться крепостями похлестче хваленых линий Зигфрида и Мажино. А лучше всего это сравнивается с материнской ладанкой, что вешалась при разлуке на грудь возлюбленному детищу: нерушимое благословение на честный хлеб, на ратный подвиг, на сквозное безоблачное счастьице до наиотдаленнейших правнучат. Для вчерашних стариков утратить ее — было все одно, что жизни решиться, а недруги русских знают доныне: как сорвешь с нашего брата гайтан с той бедной наивной вещицей, тут его без рукавиц можно прямо в карман класть, гнуть-ломать на любое непотребство. Впрочем, довольно на нашем веку было говорено о ничтожестве беспамятных Иванов и неиссякаемой силе Антеевой!

Не блажью или переизбытком щедрот была навеяна мысль о создании республиканских обществ по охране национальных памятников, составляющих красу и гордость нашей страны. В их задачи входит не только сбережение, но и восстановление порушенных бурями мемориальных сооружений прошлого. И уж конечно, не для праздного любования нужен нам блеск старинных куполов, ажурный узор башен, каменная мощь стен, под сенью которых предки наши отваживали от своего порога гостей непрошеных. Вот почему я сам частным образом голосую за добавочные вложения на сохранение национальной старины.

1968—1980

РАЗГОВОР О ТЕМЕ ДНЯ

ОТРЫВОК ИЗ БЕСЕДЫ

Идеи тоже имеют родословную, как люди и все явления. И корни той идеи, которая осуществляется сегодня у нас в стране и в мире, мне кажется, уходят очень далеко. А поскольку литература всегда рассматривалась мной как ответственный, как наиболее доходчивый и потому в общественном плане наиболее полезный род мышления, то в своих статьях среди трактовок нашей профессии иногда толковал писателя как толмача, переводчика сложных, неведомых явлений и событий на общедоступную художественную речь. Мне не раз приходило в голову сравнение жизни с нетерпеливым ваятелем или гончаром, который, непрестанно творя неповторимые шедевры, тут же сминает их в погоне за каким-то одним совершеннейшим, ради которого только и стоило рождаться художнику на свет. Священным делом последнего становится закрепить в мраморе, красках, в свинцовых литерах ландшафты, встречи, разговоры с собой наедине, всякого рода откровения — все это быстротекучее, ускользающее чудо бытия. Но есть призвание и поважнее, самое дефицитное в наши дни. В плане большой русской литературы я бы обозначил роль писателя как следователя по особо важным делам человечества: самое почтенное занятие для человека с пером. И сколько же ему непосильной навалилось работы,— такие уж сверхисторические дела творятся сегодня на его глазах. Пожалуй, не было в истории людей более строгого переломного периода, чем вот эти тридцать — сорок лет, в которых мы активно присутствуем. Периода тем более ответственного для совести и ума, что буквально все экспоненты, определяющие экономику, потребности и отсюда всевозрастающую физиологическую уязвимость со стороны условий существования, круто полезли в та-

инственный свой перекресток наверху, и резвей всего, до жути беспощадно взвивается кривая военной техники.

Так что никогда еще от начальников не требовались такие серьезные и дальнозоркие раздумья о будущем, как сегодня... вам не кажется?

Потребность осмыслить события текущих дней, самый трудный перегон из позавчера в послезавтра, крайне велика и у современников. Именно это является главным, почетным и в силу разных причин почти неосуществимым заданием в моем понимании литературы. А между тем как раз здесь она смогла бы и должна играть гораздо большую роль, нежели выполняемая ею... Словом, ее следовало бы нагрузить гораздо большей работой в смысле всесторонней разведки будущего. «В том числе социальная фантастика, квартирьеры генерального наступления?» — спросите вы. Может быть... и даже с наихудшими сюжетными вариантами, фактическим опровержением которых пусть займется литературная и другая критика, по возможности без поломки мебели, разумеется, а также и самое общество повседневной сознательной деятельностью своей. Нет ничего грознее, как не предусмотреть те роковые, вроде волчьих ям, овраги впереди, которые по забывчивости иных плановиков нередко на бумаге не помечаются. Не надо бояться и пессимистичных картинок, «Слово о полку Игореве» тоже не поэтический рапорт о великой победе, а какую историческую работу оно проделало... Кстати, чем крупнее объем времени, из которого мыслитель выцеживает свой опыт, тем глубже и выводы. Точно так же река тем мощней, чем обширней называемая бассейном территория, с которой она собирает свои воды.

В самом деле, под влиянием високосного лета, довольно разные такие мысли лезут в голову порой... вроде усилившейся выпивки или, скажем, все еще наблюдаемых в нашей творческой действительности сорных тем, восторженных обоюдоприятных реляций и вообще благостной трескотни с поразительно ограниченным словарем.

Не вредно было бы, кабы в свою очередь и какому-нибудь заокеанскому, эмоциональному тож, рассуждателю взбрело высказаться вслух и погромче: «А давайте-ка, дескать, братцы мои, определимся поточнее наконец: куда — в какие непроходимые трущобы — занес нас черт окаянной наживы. А вдруг переживаемое нами нынче сгущение всяких роковых обстоятельств объясняется не причудами слишком нервного

солнца в текущем году и на манер поветрия связанного с ним крайнего международного беспокойства, а совсем по другой, более суровой причине?»

В самом деле, не разумнее было бы объяснять стремительные события последнего полстолетия с распадом великих империй, династий и фирм, с повсеместным крушением колониальной системы, успешной перекраской некогда всего лишь трехцветной политической карты мира, испестрившейся национальными оттенками, не коварными кознями пресловутого Кремля, а безмерно усложнившейся экономикой стихийно осознающего себя человеческого множества? К тому же чрезмерные достаток и привилегии, не обеспеченные соответственным золотом добродетелей, выглядят нынче совсем безнравственно, тогда как интеллектуальное развитие трудящихся масс в целом стихийно и повсюду обгоняет сомнительные совершенства элиты.

А вдруг суть дела в том, что двадцать веков спустя все та же грозная и нерешенная, ныне уж в земном варианте осуществляемая, доктрина бедных стучит в мир, и, если своевременно не распахнуть ей ворота, как выразился один толковый, в общем-то, резонер из моей старой пьесы, она взломает стены. Смогут ли люди предотвратить это явление? Вот вопрос, на который правомочно ответить только человечество в целом. Само собой напрашивается вывод о неизбежности какого-то престижно обставленного поворота в сторону наступающей новизны и, в частности, о постепенной хотя бы замене все еще практикуемого принципа жизни, джунглевого бизнеса каким-то более пристойным тезисом умного и честного единства на основе не мошны, чистогана и брюха, а некоего эллинского трудового и мыслительного совершенства. Право же, многострадальное человечество заслужило, чтобы по возможности безболезненно было ускорено его преображение.

Возможно, в наши обостренные времена представляется несколько наивным такого рода блоковский призыв, но ведь не к сдаче или к объятиям приглашаю я, а к трезвому осмыслению обстановки и к мужеству, тем более что уже не лира варварская призывает к благоразумию, а оскаленная на пороге реальность. Бывают исторические задания, которые выгоднее выполнять самому и сверху, прежде чем история реализует их явочным порядком снизу, с причинением издержек покрупнее. Положа руку на сердце, и по-моему скромному разумению, инициатива такого благородного шага должна при-

надлежать старшему, морально устаревающему старому миру. Согласен, на повестку дня становится тема предельной дерзости. В тесном разговоре помимо кое-каких спорных доводов предвижу брань и поношение. Однако новизне пятиться некуда. Пусть вспомнит старина, как сама бушевала во младости, не заботясь о возрастных огорчениях впереди. Конечно, подобное мероприятие несколько изменило бы облик современной цивилизации. Но, право же, шибко боязно, что дальнейшее промедление может повергнуть ее в состояние еще большей неузнаваемости.

Не надо слишком потешаться над вполне дитячьими аргументами, приводимыми здесь взамен иных, совершенно категорических, но, видимо, все еще недостаточно пробивных доводов вроде всеобщего стремления к разрядке. Все надежды мира средоточатся сегодня в этом слове...

Кстати, именно дети по характеру их кровных интересов имеют преимущественное перед взрослыми первенство на свое мнение о будущем мира. К сожалению, их голоса не слышны в разгоревшейся теперь беспорядочной, без регламента дискуссии. Налицо как раз тот случай, про который древние римляне говорили: «Тем самым, что молчат, они кричат».

...Существует немало и других почтенных и тоже сверхочередных задач, достойных писательского пера и вдохновенья, например, сохранение в глобальном масштабе источника всеобщего нашего благополучия, для смягчения зверства ласкательно называемого матушкой-голубушкой-природой, необратимо захламляемой наплевательско-потребительским прогрессом. Признаться, поистине мучительны уху и сердцу участившиеся в последнее время надрывные и напрасные, все более авторитетные вопли об уже надвигающейся экологической расплате, заглушаемые мощным чавканьем все того же, из крыловской басни, всемирного Васьки-кота. Не утратила своей насущной остроты и совсем подзатихшая тема иссякающего леса, кротко ожидающего внимания к своим нуждам со стороны бесчисленно облепивших его, преимущественно с топорами, хозяйчиков, хозяйственников и хозяев...

Словом, как бы мелкостно ни выглядела каждая отдельная деталь, не осталось ничего маловажного в машине современного прогресса, на повышенных скоростях устремленной в свою сказочную, полную острых переживаний и в конечном итоге вполне загадочную неизвестность.

1980

К СЛОВУ О СЛОВЕ...

Пожалуй, все главное об этом чудесном памятнике национальной словесности уже произнесено и написано с подобающей ему оценкой. Вместе с другой великой святыней рублевского письма народ наш благоговейно, как материнские ладанки, хранит обе на груди своей, близ самого сердца, отчего последнее время так ревностно избирает их своей мишенью противник. Казалось бы, потомкам остается лишь в порядке доследования раскопать побочные обстоятельства создания Слова, освежить в памяти суть роковой и поучительной ошибки пращуров и, полюбовавшись немеркнущим лексическим жемчугом шедевра, юбилейными цветами украсить безвестное имя его создателя, настолько для нас живое, как если бы сам он был участником похода Игорева.

И все же тема далеко не исчерпана. В частности, нам представляется случай на блистательном примере пристальней прислушаться к периодически возникающей в литературных кулуарах, обычно без оппонентов, дискуссии насчет обязательности счастливого конца и положительного героя. Перед нами налицо как раз не фанфарный рапорт о знаменитой победе, а всего лишь грустная, в жанре классического плача исполненная повесть, местами даже летопись о злосчастном событии на заре русской государственности. Тогда почему сей умный и скорбный шедевр приобрел в сознании народном нужность и долговечность сравнительно с ремесленными, тредьяковского типа, гремучими одами, всегда напоминавшими мне толстую царь-пушку об одном-единственном выстреле на более чем скромную дистанцию?

Не предрешая вопросов, хотелось бы пригласить заинтересованных лиц к плодотворному раздумью, каким образом в золотом фонде нашей литературы очутилось ущербное в смысле

рекомендуемых просветов грибоедовское Горе или вовсе сомнительное сочинение Ревизор, тем паче Мертвые души, на исправлении коих трагически сломался Гоголь. Видимо, у больших художников хорошие дети родятся только от любимой жены — кто же она? И тогда — чего же, собственно, недостает честному автору для создания (на таком щедром материале) бессмертных произведений при наличии таланта, нравственного здоровья и жаркой патриотической одержимости?

Благодарно обнажаю голову перед тенью славнейшего из гусляров, чья звонкая и трепетная песня, родившаяся в сумерках давнего лихолетья, доныне волнует, обогащает, зовет на подвиг сердца его позднейших соплеменников!

23 апреля 1984 г.

ПИСЬМО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Приношу глубокую благодарность участникам конференции за оказанное ими щедрое внимание мне и моим книгам. Оно и раньше смущало меня как не вполне заслуженное, ибо с годами, когда почти знаешь — *как надо и как не получается*, это чувство неполноценности усиливается порой до укоров совести за недостаточную духовную *сытность* своих книг применительно к возросшим потребностям народа и эпохи. Конечно, далеко не полностью справедливо давнее мое рассуждение, что в потенциальном плане чистый лист бумаги является гениальным произведением и потому всякий исписанный лист есть всего лишь испорченный лист бумаги, что и выясняется после различного, в зависимости от переменчивой погоды, довольно краткого в наши дни испытательного срока. Во всех нас теплится надежда, что какой-то уцелевший от сотления отрывок с отголосками пережитого, хоть в хрестоматийном упоминанье, дойдет до потомков. Бывает, что корректурная колонка представляется уму, глазу и нетерпеливой руке досадным сборищем текстуальных опечаток размером в строку, абзац, а то и всю страницу, что обрекает автора на трудную и долговременную правку зачастую всей работы в целом. Некоторые мои современники рассматривают сие как блажь чистописания, но Вольтер сказал где-то, что большое и главное пишется всю жизнь. Пусть мое, известное редакторам, порою неоднократное, вмешательство в одну и ту же, давно опубликованную книгу, казалось бы со знаком качества в смысле пригодности для библиотечного употребления, засвидетельствует искренность этого признанья. Сверх того, обычная в нынешней литературе сюжетно-локальная тема уступает место грозной глобальной, требующей дальнобойного мышления даже, пожалуй, в радиусе всемирной истории. Ибо Великая Октябрьская рево-

люция представляется мне начальным актом генеральной перестройки человеческого бытия на новый лад, когда прежний движитель прогресса, чисто эгоистический импульс материального самообогащения, сменится желанным, при равном для всех достатке, импульсом обогащения духовного. Естественно, задача решается в разных аспектах — с необходимым люфтом воображения, но во всяком случае, так или иначе, мир завтрашний будет сильно отличаться от того, как он выглядит сегодня. Совокупности перечисленных обстоятельств значительно тормозят появление серьезных новинок, каких ждут от литераторов читатели, в том числе и от меня.

Еще раз низкий поклон вам всем за доброе слово участия и нравственной поддержки.

Май 1984 г.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА

МИРОЗДАНИЕ ПО ДЫМКОВУ

ОТ АВТОРА

Никого не должны смущать приводимые ниже, сомнительные сведения об устройстве Мироздания в целом, полученные лично студентом Н. В. Втюриным от ангела Дымкова, якобы побывавшего по служебной надобности за пределами Вселенной, что по нашему мнению крайне маловероятно. Еще менее научно выглядит апокрифическая байка праотца Еноха о фатальной, при создании человека, размолвке, расколовшей небесное дотоле единство на два враждебных лагеря. Правда, любой, на моржовом клыке нацарапанный миф является равноправным уравненьем с тем еще преимуществом, что алгебраическая абракадабра заменена там наглядной символикой простонародного мышленья.

С тою же критической осторожностью следует воспринимать инфернальную личность вскользь упоминаемого здесь профессора Сатаницкого, автора знаменитой Космистики, где, разоблачая суеверие всех веков и народов с гипнотизмом во главе, он мощно опровергнул свое собственное существованье. И впрямь, надо полагать, ни один отдел кадров самого провинциального вуза не пропустил бы столь видного представителя нечистой силы в деканы-наставники нашей чуткой передовой молодежи. Все же, невзирая на доводы просвещенья, в тайниках мировой души доныне гнездится древняя плесень поверий в сон и чих, рыбий глаз и вороний грай, а по существу страх и надежда на какое-то главное чудо впереди. Не исключено, впрочем, что, как уже случалось в прошлом, пытливые потомки вдруг подведут железный фундамент под какую-нибудь нынешнюю ересь. Вряд ли уместно запрещать им вовсе иррациональные открытия на основе несуществующих наук.

Предлагаемый фрагмент из еще не завершенного романа публикуется досрочно в качестве раздумья об исподней сущности переживаемого момента, чем и как он может обернуться нам под воздействием нашей неосторожности.

Крайнее ничтожество, за каких-нибудь полгода постигшее ангела Дымкова, заставляет всерьез призадуматься о нем, в смысле его иррациональной достоверности. По отсутствию классических примет ангельства вроде летательных конечностей на спине, выяснению его личности может помочь лишь анализ его сущности изнутри. Существу супернатуральному полагается особо проникновенное знание вещей, ускользающих от нашего смертного пониманья, равно как умственный ранг мыслящей особи лучше всего распознается по ее суждениям о наиболее темных, при кажущейся общедоступности, тайнах неба и бытия.

Таким оселком представляется инженерная схема мироздания, слышанная студентом второго курса Никанором Втюриным непосредственно от испытуемого, к слову, настолько путаная, даже нахальная местами, что распубликование ее в полном виде могло бы бросить тень на книгопечатание. Но как мыслителя средней руки меня подкупила завлекательная с виду простота излагаемой теории — без головоломной цифири и лексических барьеров, охраняющих алтари наук от посягательства черни. Когда-то, платя дань исканиям юношеского возраста, я шибко интересовался всякими неприступными тайнами, в частности, вместе со сверстниками вопрошал небеса насчет святой универсальной правды, пока не выяснился шанс получить ответ на интеллектуальном уровне поставленного вопроса. И если в школьные годы составлял родословную античных богов и их земного потомства для уяснения логики древних, то позже, на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом, нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе, я средствами домашней самодеятельности стремился постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве. В земных печалях та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своею болью обитаю я».

Для начала Никанор решительно осудил надменную спесь некоторых наук, чья ограниченность, по его словам, проступает

в упорном самообольщенье, будто оперирует с абсолютной истиной. Меж тем последняя, в силу содержащегося в ней понятия окончательности рассчитанная на весь наш маршрут от колыбели до могилы, не может раскрываться ранее прибытия к месту назначения, откуда мир как бы с гималайских высот просматривается взад и вперед, без границ и горизонтов. Даже сделал предположение, что ничтожная в общем-то дистанция от разума муравейного до нашего вообще несоизмерима с расстоянием до истины. Однако при очевидных изъянах Никанорова предисловия некоторые соображения о характере научного процесса показались мне достойными вниманья.

Нельзя было не согласиться, например, что сознание наше — мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида — не рассчитано на полный охват мирозданья за явной ненадобностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. По той же причине боги, как правило, беседуют с людьми их же языком, на умственном уровне эпохи. Любое мировоззрение строится на какой-нибудь дюжине координат и констант из множества нам неизвестных. Отсюда выявление новых или оказавшихся ложными всегда доставляло известные неудобства состоящим при истине должностным лицам, в чем они и черпали моральное право на сожжение еретиков... Всплески же большой обзорной мысли легко возникают среди ночи — во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребыванье и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертаний колыбели, где дремлем. Таким образом, разновременные домыслы о ней суть лишь собственные, возрастные наши отраженья в бездонном зеркале вечности.

Не удивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламмарионовы шарики арифметично курсировали по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвалась и бешено понеслась куда-то. И кто знает, сколько еще раз предстанет она перед потомками в совсем немыслимой перспективе. Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения также нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано у х в а т и т ь сущее в его окончательном облике? Если Эвклиду нынешнее знание показалось бы бормотаньем пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозренья, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед? Всегда бывало, что уже разгаданное стано-

вилось лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно непохожих на прежние, но тоже транзитных — в направлении к сущностям высшей емкости, пока и те, одновременно обогащаясь и упрощаясь по логике диалектических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного нам порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозреньем с последующим переходом в поэтическое восхищенье, чтобы завершиться благоговейным созерцаньем.

По дерзости подобного вступленья с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя пока не познанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретение тоже нулевой научной значимости — из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента. Ожидания сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если дотоле создание принципиального образа Большой вселенной затруднялось недосягаемостью ее для целостного охвата, то здесь она была усмотрена вся, извне сущего, с некоей сверхкрылатой высоты. По Никанору, для постижения инженерной конструкции предмета в масштабе Метагалактики лучше всего положить его на ладонь и по-детски, без догматических предубеждений вникнуть в первичный иероглиф замысла. Самые сложные явления легче постигаются в их детском рисунке, в обратном же направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным щупом в виде звездного луча, а много ли океана углядишь через прокол диаметром в геометрическую точку? Словом, налицо был тот случай, когда большой науке вряд ли следует из престижной щепетильности отказываться от сотрудничества с бывалым лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь не таскаться на улитках по беспредельностям космоса.

— Иногда крупица истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнанья! — наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распускается в логическую нитку, как бабушкин клубок.

Мимоходом к главному стоит коснуться кое-каких теоретических соображений профессора Сатаницкого, высказанных при

нашем свидании у него на кафедре, куда меня привела надежда хотя бы окольным путем проникнуть в лоскутовскую тайну и заодно проверить молву о его собственной причастности к высшей адской камарилье. Беспощадный разоблачитель всяческой чертовщины, он наотрез отрицал наличие каких-либо существ потустороннего профиля и в загадочном пришельце оттуда склонен был усматривать обыкновенного разведчика из смежной суперцивилизации, заброшенного к нам под видом чудаковатого ангела, чем, в случае провала, ему обеспечивалось хотя бы временное убежище у верующих. По мнению самого корифея естественных наук, как почтительно именовала Сатаницкого наша пытливая общественность, всего проще уличить самозванца было бы сразу по прибытии на Землю, наблюдая его поведенье в незнакомой среде. Ибо всякая материальность, по его словам, образуемая взаимодействием лишь физических законов, без вещественных признаков для опознания, будет в лучшем случае представляться им пламенеющим завихрением силовых линий. Таким образом, мнимый ангел, не обладающий пятерней нашего чувственного восприятия, которою мы, слепые, обшариваем Вселенную вкруг себя, при встрече с людьми стал бы мучительно и близоруко вглядываться в мерцающий перед ним сгусток энергии, силясь различить вписанного туда человека. Но, к сожаленью, по не зависящим от него причинам студент Никанор отсутствовал на месте происшествия, а за те полчаса, пока его из края в край таскала над Москвой нечистая сила, воплотившийся призрак успел приспособиться к реальной земной обстановке. Словом, у нас не остается иного средства добиться правды, кроме как представить создавшееся недоразумение на суд виднейших столпов науки, чтобы в опровержении нижеизложенной дымковской ахинеи насчет мирозданья они популярно обрисовали трудящимся, как оно там устроено в действительности.

Оказалось, невнятную доктрину свою Дымков сообщил друзьям в первой же совместной прогулке по столице, когда те знакомили гостя с наиболее выдающимися диковинками нашей цивилизации. К вечеру, вдоволь покатавшись в метро и нагулявшись среди чудес московского зоопарка, они забрели по соседству в планетарий, где — как раз на лекции по мироустройству — Дымков неуместными, вслух, замечаниями неоднократно вызывал шиканье публики. В оправданье себе он по выходе из здания, еще во дворе и прямо по свежевыпавшему снежку на-

кидал спутникам принципиальную схемку звездной механики — как она, насквозь видная снаружи в своей помрачительной наглядности, запомнится наверно каждому, кому доведется по делам службы, вроде него, побывать за пределами Вселенной. Чертеж состоял из кинокаскадной серии равнобедренных треугольничков, которые, вонзаясь вверх острием, в каждом кадре постепенно сплющивались по медиане вплоть до исчезновения на некоем критическом рубеже, после чего, претерпев геометрический перекувырк и постепенно восстанавливаясь в прежней форме, замедляли свой бег уже острием назад, в зеркально-обратном начертании. В обоснованье этой метаморфозы Никанор сослался на свидетельство двух покойных профессоров заграничного происхождения о том, что всякое сверхбыстро летящее тело укорачивается по оси движения соразмерно своему разгону, в пределах дозволенного наукой. Дымковская же поправка к *ихнему* постулату раскрывала катастрофические для объекта последствия в случае весьма сомнительного достижения некой *абсолютной* скорости.

Очевидное тут расхождение с учебниками может объясняться и тем *еще*, что студент сразу не догадался закрепить услышанное от ангела Дымкова на клочке бумаги, отчего по дороге домой половина улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом досадной отсебятины. Головоломные открытия, которыми сопровождалось приподнятие завесы, излагаются дальше в порядке относительной легкости для их опроверженья.

Уложенная на ладонь Вселенная выглядела символическим кружком из двух, внутри, близнецов-головастиков, как у древних китайцев обозначалась структура неразрывного и равноправного единства противоположностей — света и тьмы, зимы и лета, плюса и минуса в данном случае. Соприкасаясь по разделявшей их синусоиде, они сообщались лишь через мощные протоки, стихийно возникавшие всякий раз, когда отбывшие свой век огненные гиганты, с захватом звездной мелочи из окрестностей закручиваясь на лету, исчезают из нашей видимости, проваливаясь куда-то, но не просто в глубь себя, а в смежную половину на переплав в свою диалектическую ипостась. Иначе,— успокоил меня Никанор,— во избежанье пессимизма, застрявшие в собственных ямах-ловушках светила небесные навсегда остались бы там, и тогда отведенный нам на жительство прелестный уголок превратился бы в свалку промороженного утиля. Впрочем, на полном разгоне прорываясь в свое

иррациональное состоянье сквозь знаменитое табу предельной скорости, материя в тот мнимый момент (как бы протестуя против столь невежественного обращенья с нею) радиоревом раздираемого Самсонова льва оглашает безмолвие космоса. Кстати, при переходе через нуль подобная метаморфоза должна уложиться в некое абсолютное мгновенье, куда запросто вместятся тысячи людских поколений, целые геологические эпохи, что позволяет судить о мимолетности нашего эфемерного существованья на шкале космического времени... Зато порадовала своей изобретательностью мать-природа, как она экономным переливаньем избыточного вещества из пустого в порожнее обеспечивает вечную гармонию и молодость мирозданья. Значительно расширила мой кругозор и ценная студентова догадка насчет помянутых звездных могил, которые в действительности не имеют дна, так что слепительные ядра, наблюдаемые посередке разных возрастом и порою все еще вращающихся галактик, суть не что иное, как яростные выплески плазмы по ту сторону синусоиды. Но отрадней всего было узнать про наш любимый Млечный Путь, который не сгинет в неведомых просторах антимира, а, напротив, по締 минованью обязательных фаз эволюции, снова станет оазисом прогресса и цивилизации, правда — с причудливым, по части этики и физиологии, комфортом в том зеркальном его отображении, где все вывернется наизнанку.

На беду мою, изложение дымковской теории велось так беспорядочно, с частыми пробелами и перескоками с одного на другое, что никак не удавалось мне свести сообщаемые сведения в стройную законченную систему. Будто бы, например, со школьной скамьи известные нам физические законы далеко не обязательны для всех этажей мирозданья, и если в привычном нашему мышлению масштабно ограниченном пространстве радиусом не свыше какой-нибудь тысячи парсеков материя выглядит несколько иначе, нежели в смежном микрообъеме атома, то как же она будет отличаться от самой себя по мере возрастанья своих объемных параметров с удалением в макробеспредельность, где уму и телескопам открываются устрашающие, научно немыслимые бездны с диковинками светимостью чуть ли не в мильон солнц. Как видно, подобные глубины простираются во все стороны, так что, ступенчато спустившись в одну из них и нигде не возвращаясь вспять, можно прямиком, сквозь круговую анфиладу вселенных, выбраться наружу в прежней точке пространства и времени, от которой еще недав-

но наука и религия, каждая своим кодом, вели отсчет бытия.

Парадоксальная заумь нашей мысленной прогулки объясняется лишь тем, что кольцевой маршрут ее является силовою орбитой атома высшего ранга, повергающего разум в смирение. Словом, в основе сущего лежит циклическая повторность, подтверждающая указание, что все зримое на свете обязано своим бытием мелкоэлектрическим кубарикам, которые даже ночью крутятся в нас самих, но мы привыкли и не замечаем. И как бы в подражанье им целые галактики, невзирая на свою громоздкость, тоже пребывают в непрестанном коловращенье, так что при внешней сложности вся механика Вселенной сводится к заурядному, меж двух полярных крайностей, качанью маятника, четким пульсом коего гарантируется упругое постоянство, то есть вещная прочность машины, а фазовым его состоянием мерится поэтапно разный возраст никогда не умирающей Вселенной...

Тут, по невозможности описать процесс во всей его протяженности, лектор прибегнул к опыту чисто житейской практики: ежели левое плечо некоего единства поднимается, то, по закону коромысла, столько же с правой стороны опускается. В особенности, говорят, это заметно на примере всякого слишком быстро летящего предмета, когда самая даже ничтожная на старте масса его с приближеньем к максимальной скорости безгранично возрастает за счет чего-то полностью исчезающего на финише, ибо ничто не может взяться ниоткуда. Нет сомненья, речь явно идет о времени, за ненадобностью перестающем быть на окраине бытия, по авторитетному свидетельству Большого ангела из Апокалипсиса. Не значит ли это, что именно оно явилось той самой доматериальной, сверхъемкой сущностью, из которой излилось все?

В частности, время у Никанора подразумевалось отнюдь не циферблатное, каким пользуются при отсчете пульса либо для варки яиц, а то абсолютное время античной теологии, обозначаемое именем Хрона, от семени которого произошли стихии, боги, звезды, зародыши всякой живности земноводной. Недаром в равноправной триаде сущего: пространство — Время — материя (где,— заумно разъяснил Никанор,— первое неправомерно без чего-то в нем размещенного, чья длительность определяется посредством второго, и таким образом обе ипостаси являлись бы производными от третьей, кабы сами не обеспечивали ее бытие) именно оно значилось на первом месте — посреди. Однако начисто исчезающее в перевальной точке вре-

мя само должно было подвергнуться немыслимому для реальности сжатию в математическую точку праматеринской субстанции, которой предстояло из стадии первозданного бешенства выродиться в обыкновенную звездную плазму, чтобы, остывая дальше, вступить в пору плодоношения высших чудес — музыки, мышленья и, скажем, моря, для чего наверно и было все затеяно.

Невыполнимая задача вместить обширную небесную движимость в некий взрывающийся шар нулевого диаметра задолго до нас толкала людей на признанье надмирной персональной воли, по Никанору же, заблуждение разрешается простой заменой одноразового вселенского цикла вечным круженьем с постоянной многомильярдной орбитой, так что сверхтитаническое взрывное происшествие, почитаемое одними за акт божественного миротворенья и принятое другими в качестве отсчетной точки для исчисления возраста Вселенной, на деле — всего лишь рядовая искра энергетического переключенья в смежнополярный потенциал. А хрестоматийный библейский сказ с привлеченьем малоизвестных подробностей по Еноху, как оказалось впоследствии, представлялся моему просветителю всего лишь пригодной схемой для наглядного осмысления истории людей.

На ощупь и оступаясь, словно в дремучем Дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки наважденья, мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости желанного клада, который без терпенья не дается никому. Однако колдовская одурь понемногу уступала место робкому сомненью — не дурачит ли меня этот, с очевидными задатками, провинциальный увалень, из которого его шеф, признанный мастер философского носовожденья, растит в нем пророка какой-то, еще неведомой миру, в качестве панацеи от всех бед, сумасбродной идеи... Осведомленный по Книге Судеб о фантастической будущности своего питомца, он совершает сие с обязательной при изготовленье адской машинки предосторожностью — самому не взорваться на ней, чем и объяснялся, видимо, их странный симбиоз. Не без оскомины вспомнилось тут, чего стоило мне избавиться от подаренного при первом же знакомстве в качестве развлеченья на досуге, оказавшегося столь прилипчивым изобретеньица — как единым мановеньем пальца распустить мир в ничто. И вообще, с виду достаточно безумная, как нынче требуется от научных сенсаций, а на деле ребячий пустячок, дымковская концепция в

передаче рассказчика все больше, по мере углубленья в тему, приобретала отпечаток его подпольной личности, способной завести в опасный тупик доверчивого простака.

Теперь, невзирая на мое стесненное состоянье, он принялся взламывать общеизвестный тезис иллюзорного, якобы, спектрального феномена, обусловленного будто бы не ускореньем взрывных разлетающихся брызг и осколков, а меняющимся соотношеньем возрастающей массы за счет убывающего времени. Другими словами, наблюдаемый эффект красного смещенья диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а напротив — один и тот же неизменный отрезок пути преодолевается за укороченную единицу длительности. То есть движенье всюду остается равномерным, но пройденное расстоянье исчисляется за меньшее время, стремительно сокращающееся с приближеньем к финалу. Означенный парадокс уподоблялся у Никанора нередкому в рыночном обиходе усыханью гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижается вес и объем товара с прежней ценой на этикетке. Отвергая гипотезу разбегания галактик, он в особенности горячо осудил допускаемое кое-кем сосуществование разноименных, зачастую перенаселенных живностью миров, которые подобно баржам со взрывчаткой свободно плавают в одном и том же фазовом поле.

— Сердце кровью обливается при мысли о возможных последствиях такого допущенья,— с полной серьезностью сказал он, глядя куда-то вглубь и как бы созерцая уже разразившийся катаклизм.

— Понимаю... но что же в такой степени волнует вас, милый Никанор Васильевич? — не сдержался я, тронутый его заботой об участи многочисленных жителей, обрекаемых неправильной гипотезой на верную, однажды, гибель.

Несмотря на те боевые годы, когда все было возможно, ни разу не доводилось мне не только наблюдать, но и слышать о только что столкнувшихся галактиках. И чтобы вернуть беднягу в русло гражданского оптимизма, я указал ему на огромную, по счастью, протяженность Млечного Пути, так что в случае малейшего соприкосновения космических объектов местные начальники, необычным небесным фейерверком оповещенные о грозящей опасности, успеют без паники наличными средствами уладить дело.

— Ах, вовсе не то, тут вещи поважнее! — отмахнулся он,

имея в виду неизбежность жертв в такого рода событиях, и вдруг оказалось, что отнюдь не судьба материнства-младенчества и заслуженных пенсионеров тревожила его, а именно долгая и безаварийная, среди стольких сцилл и харибд, навигация нашего звездного корабля, немыслимая без верховного лоцмана, нарицаемого у н и х Демиургом мирозданья. — А ведь вера в н е г о и есть тот опаснейший о п и у м для трудящихся, как метко обозначена она в современной библии человечества, не так ли?

Он испытующе уставился в меня и, почудилось, даже подмигнул мне как будущему сообщнику в каком-то неблаговидном предприятии. По условиям места и года разговор велся полунамеками ввиду возможных наших разногласий по коренному вопросу — чем именно, помимо паспорта в кармане, отличается обыкновенный кусок мяса от человека. Угадывая коварный финт ходом коня и чтобы не получилось что-либо нежелательное, я воздержался от прямого ответа.

К чести лектора, он охотно соглашался, что покамест дымковская модель мирозданья годится разве только для умственной гимнастики и сравнительно с нею концепция Козьмы Индикоплова о вселенной на трех китах может показаться кое-кому венцом математической смекалки. Однако благообразная и чопорная старина всегда, поворчав немного, почтительно сторонилась перед юной, непричесанной и напористой новизной. Отбиваясь от странного соблазна поддаться ей, я пытался сокрушить навеки главную ересь всей дымковской конструкции, на манер того, как знаменитые праведники поступали со всякими исчадиями преисподни. Крестом служила известная мне понаслышке и счастливо подвернувшаяся в памяти парольная пропись при входе в святилище современной астрофизики, сродни знаменитому Дантову заклятью на воротах ада. То была железная формула о запретности пресловутой а б с о л ю т н о й скорости для всего на свете, кроме фотона да мысли человеческой.

Мою неуклюжую пусть вылазку в защиту здравого смысла Втюрин воспринял почему-то как личное оскорбленье.

— А не приходило вам в голову, м о г у ч и й ньютонианец,— обрушился он на меня, захлебнувшись словами,— отчего и только ли по нехватке инструмента некоторые мудрецы, особенно с привязными бородами, так яростно отвергают незримую с у т ь айсбергов, сокрытую в пучине бытия? Или зачем виднейший из них задавался вопросом — мог ли б о г создать

мир иначе? Или ради чего мир стал задумчиво оглядываться на отвалы шлака и мыслительного утиля за спиной?.. Равным образом пассажиру в ракете, на той почти роковой скорости с километром девяток после запятой, свойственно противиться дальнейшему разгону из страха по инерции, при малейшей задержке безгранично разбухшей массы, непременно разбиться о самого себя, без чего Ахиллес никогда не догонит свою черепаху. Не бойтесь возможного просчета: лобастые потомки уточнят, утрясут наши с вами неувязки на своих совершенных арифмометрах, приспособят тайну к пониманью малышей. У вас в ладони зерно завтрашних открытий о Вселенной, держите крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!

...И тогда все сказанное раньше оказалось лишь предлогом для еще более вздорных обобщений, масштабность коих достигалась посредством необузданного детского воображенья, у кого имелось, разумеется. К примеру, в корне отрицая божественность миротворенья, давность которого даже наукой исчисляется не свыше каких-нибудь двух-трех десятков мильярдолетий, дымковская теория низводила это сверхтитаническое происшествие в разряд проходного эпизода, энергетического *щелчка*, а истинный возраст сущего расширялся до полной непостижимости. Не исключалось, впрочем, что и та всего лишь ничтожная долька иной, тоже не последней порядковой Мегавечности.

Для лучшего постижения своего чертежа студент предложил мне подняться на уровень условного Демиурга, для которого названная выше, всего с двадцатью нулями, ничтожность времени укладывается в мини-емкость года, дня, часа и, наконец, в стотысячную частицу земного мгновенья. С помощью метафор, жеста и даже мимики в особо трудных местах он изобразил мне самый процесс — как описанные двадцатимильярдные пульсации с уплотнением периодов постепенно сливаются в мерцающий туман едва узнаваемой *бывшей* среды, какою становится бесконечно истончившаяся материя, которая в перспективе дальнейших превращений исчезнет и сама, оставив по себе лишь немеркнущее, не просто фотонное сиянье, а тот *свет предвечный* народных сказаний, в котором рассеяны летучие пылинки миров, погребены давно прошедшие, вызревают неродившиеся и где-то там на своем *млечном* перышке — мы.

Во исполнение заветных чаяний человечества Никанор вы-

сказал твердую уверенность, что теперь уж скоро какой-нибудь отчаянный, Колумбова склада прометей сумеет ввернуть крюк в зияющую твердь небес и, на разведку подтянувшись ввысь, начертит для будущих смельчаков план тамошней мнимой пустоты с заветною, в окруженье непролетных бездн, световою горой посреди, и на отвесной высоте с подножья, если голову закинуть побольней, видна та желанная мечта всех изгнанников — адамовых потомков в том числе,— неприступная цитадель...

— ...уразумели наконец чья? — тоном искусителя справился он и опять щурким, из-под нависшего века, глазком подмигнул мне в знак особого расположения.

Разговор приобрел чрезмерную фамильярность касательно вещей вообще-то всуе неприкасаемых.

— ...и даже уразумел, совместно с кем предполагаете освоенье этой целины,— на всякий случай поотстранился я от неположенных смертным знаний. — Все балуете меня всякими хитростями, Никанор Васильич! К прочим в придачу еще одна: загадочный подкоп в резиденцию Всевышнего. Не вижу смысла, зачем мне она?

— А его сразу-то и не увидишь, тут глубже надо копать! — посмеялся он на мою недогадливость. — Дело в том, что последнее время мыслители с хозяйственным уклоном стали задумываться, к чему атеизм... и ежели для него не имеется особых, не публикуемых причин, то стоит ли тратить столько бумаги, усилий и просто государственных средств на опроверженье чего-то заведомо несуществующего? Вся суть якобы в том, что, вдохновляемый техническими успехами, все резвей становится заложенный в человеческой природе ген овладенья миром.

И опять не удержался я от искушенья ознакомиться мимоходом — что за ген такой и откуда взялся, чтобы отягчать и без того суровую нынче судьбу людей.

К сожаленью, новая тайна оказалась из постигаемых разве только с помощью аналогии. По отсутствии в передовых науках подходящего средства для надежного, потустороннего к тому же проникновенья в такую глубь естества и впрямь лучше всего годилась панорамная библейская схема. Столь документированное свидетельство о создании человека по отцовскому образу и подобию позволяло ставить вопрос о законных для седеющего сына юридических правах (а на Древнем Востоке и о сроках) его державной преемственности, к чему с

вавилонских еще времен стремился заждавшийся наследник. Подобные династические узлы нередко разрубались там ночным, внутридворцовым способом вплоть до радикальной, по Гесиоду, расправы над злосчастным долгожителем. В философско-нравственном аспекте это маскировалось мотивом воцаренья разума на престоле Вселенной, а у нас после революции приобрело особую популярность под девизом *даешь небо*, подразумевавшим покамест неотложную задачу отечественного воздухоплаванья. В пору возрастной зрелости человечество в борьбе за свое господство уже не может обольщаться успехами чисто практического безбожия, ибо сколько дохлых кошек *вверх* ни закидывай, они неизбежно валятся на головы обзорникам по недолету до адресата. Нынешние, с риском вызвать на себя пламень гнева, воинствующие тамтамы под окнами Всевышнего применяются уже не с целью испытать долготерпенье старика, а впрямую — раскрыть дислокацию небесной обороны. Даже последовала приблизительная пока наметка операции по овладению ближними *высотами*, однако с такой, местами поэтапно-штабной отработкой, словно студент из-за плеча своего шефа подсмотрел секретный документ на его рабочем столе. Рассказчик не сомневался в окончательной победе разума, правда несколько односторонней и даже не без существенных огорчений, коренную причину коих усматривал не в поспешности одних *срочно* и на полном ходу прогресса поменять отжитую общественную структуру или в эгоистическом стремленье других отстоять ее, будто бы испытанную веками цивилизации, а, как ни странно, в трагической природе божественного статуса.

С присущим его возрасту замахом Никанор исходил из того, что Творцу ничего, в сущности, не стоило слегка, перстами чуда, развести, разомкнуть нулевое *ничто*, чтобы между ними вспыхнула, сверкнула, заструилась слепительная дуга мирозданья. Меж тем безграничная для любой царственной особы доступность всех даже не подозреваемых нами блаженств бытия в их наивысшем совершенстве полностью исключает самую *сытность* обладанья ими. Подобно тому как солью выявляется вкус пищи, так и умственной болью придается радость мукам творчества — от изнурительного вызреванья образа и такого же поиска достойной ему формы, тоже не всегда венчаемых сладчайшей усталостью при виде завершенного рукоделья, что и отразилось в придуманной для *него* Моисеем святой субботе абсолютного покоя. Парадокс несов-

местимости обоих состояний разрешался у Никанора ответом на впервые поставленный им вопрос — а зачем богу, потенциально имевшему все, кроме потребностей и желаний, понадобились дерзкие, грешные и смертные люди?

Получалось, будто бы омрачавшее Творца бессилие преобразоваться хоть на один, вверх или вниз, порядок совершенства, продлить себе вечность или убавить ограничительное изобилье толкнуло е г о поделиться с кем-то своим могуществом в обмен на глоток горечи от неудачи, тотчас возмещаемой вдвое лучшей находкой. Стремление вырваться на простор вероятности из пересыщенного чудом царственного одиночества и выразилось созданием промежуточной между собою и армадой небесных сил рабочей ипостаси, правой руки своей — с обязательным, по Еноху, подчинением ангельских контингентов новорожденному Адаму — отраженью своему в капле земной росы, отныне делающему Творца доступным для созерцанья без риска слепоты. Видимо, просчет бога заключался не иначе как в даровании человеку несовместного с телесностью гена власти над вечностью, что, казалось бы, свидетельствует о наконец-то достигнутых, мучительных и желанных, творческих поисках. Смерть людей — очевидное доказательство его доныне не прекратившихся поисков державного себе заместителя, что уподобляет Творца взыскательному гончару, который в погоне за ускользающим призраком шедевра сминает и возвращает назад, в яму уже мыслящие, напрасно аплодирующие ему модели. Поневоле приходилось согласиться, что именно роковая г л и н а, избранная быть основой нашего тела, в качестве нераздельного отныне родства духа и материи, стала косвенным расколом сущего на Добро и Зло.

Если пророческое бормотанье Еноха о том загадочном конфликте расшифровать в фабульном плане, то нужно представить себе, как озабоченный слухами о предстоящей передаче сил небесных п о д н а ч а л о неведомого хозяина главный их маршал вошел в мастерскую божественного ваятеля и застал его за работой. Ожидавшее одухотворенья т е л о человека лежало на столе в наготе черновой готовности. Естественно, впервые содеянное планово, без посредства чуда, оно и должно было содержать кое-какие прискорбные недочеты, так что архангел не смог удержаться от содроганья. После беглого ознакомленья со своим будущим шефом взволнованный Сатаниил позволил себе неуместные, в присутствии высокого автора, критические замечанья, а поводом к разладу послужил

вовсе оскорбительный по надменности, буквальный в тексте апокрифа вопрос: «Как можешь ты созданных из огня отдавать во власть созданным из глины?» Лишь тогда терпеливое вначале молчанье властелина разразилось бурей гнева с низверженьем аггельских, отныне, легионов в кромешную ссылку за пределы сущего...

Отсюда, диктуемая горечью утраты своего первенства в обители Света и жаждой мести соперникам, и возникла деятельная и дальновидная неприязнь их к людям, за которую апостол увенчал владыку Тьмы заслуженным прозвищем человекоубийцы. И не потому ли с тех пор, при наличии закаленных кадров, сжигаемых надеждой вернуться на прежние высоты, не произошло ни одной с его стороны попытки реванша, что демонской гордыне требовалось, чтобы возлюбленные, прежним фаворитом предпочтенные детки по собственному почину подняли меч и бич против Отца и дарованной им жизни и, смываясь в небытие, сами черным ветром ненависти подмели бы догола замусоренную планету? Согласно изложенной доктрине было бы для мстителей оплошностью упустить нынешний неповторимый шанс сделать человечество единовременно полем битвы, трофеем, ударной силой против самого себя.

Высказанное сопровождалось обещанием будущего светоча наук Никанора показать мне чуть позже, как печальные и с виду вполне беспочвенные фантазии выглядят в натуральную величину.

— Хотите отправить меня туда, в дальнюю разведку? — с тайной надеждой на отсрочку пытался отшутиться я.

— А что же, в походе на розыск земли обетованной нет должности почетней, чем соглядатай грядущего,— сказал он и рикошетом, по недосказанному поводу, резко отозвался о вопиющей беспечности современников в отношении своей репутации у потомков, от которых будет зависеть судьба великих идей. — Судя по вашему почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре, репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты. Правда, ни подобающей шедеврам вечности, ни оваций читательских посулить автору не смогу... ничего, кроме крупнокалиберного разноса вроде того, что привел вас однажды к нам на старофедосеевский погост. Не исключено, впрочем, что фатальная ситуация разразится досрочно, и тогда возвращаться оттуда станет незачем, да и некуда, пожалуй...

— Если так *скоро*, то кому нужен будет подвиг мой... разве только уцелевшим?

— Не уцелевшим, а еще живым! — поправил мою догадку на глазах у меня вдруг повзрослевший молодой человек. — Книга ваша была бы им как прощальный, с птичьего полета и за мгновенье до черного ветра человеческий взор на миражные в тихом летнем закатце, уже обреченные города Земли. А заплутавшему путнику на исходе души воспоминанье о *бывшем* стократ дороже глотка утренней росы в пустыне. Не сопротивляйтесь же, *коллега*... — И выполняя обещание, преподнес пару-тройку весьма впечатляющих эпизодов, наугад взятых из коллекции Дуниных видений и тотчас органично вписавшихся в сюжетную канву моего повествованья.

— Похоже, преуспевающий госстипендиат Никанор Втюрин сам верит в реальность этих галлюцинаций? — осудил я преступный в наше время пессимизм в столь масштабном развороте, да еще с инфернальной подсветкой.

В доказательство своей правоты Никанор выдвинул несомненную аксиому, что наше восприятие вещей и событий целиком определяется не только умственным кругозором или психическим настроем наблюдателя, но и состоянием действительности, которая в момент ужаса и поиска норы самоспасенья может представиться ему в самом первобытном аспекте. Благодаря успехам просвещенья мы даже солнышко разжаловали в захолустную звезду со ссылкой на окраину системы, но кто знает, не вознесет ли его когда-нибудь обратно, в ранг сурового и милосердного божества потрясенное сознанье наше? Генеральная перестройка человечества, помимо прочих причин обусловленная все возрастающей теснотою множества, лишь началась на планете и вряд ли обойдется без крупных социально-сейсмических подвижек, которым исступленное людское отчаянье неминуемо придаст эсхатологическое толкованье. Как бы ни обернулось дело, *все равно* послезавтрашний мир будет решительно непохож на позавчерашний. Отсюда, подобно тому, как положенная *на ладонь* Вселенная упрощает постиженые мирозданья по Дымкову, такую же, пусть условную философскую обзорность приобретает и будущность по Никанору на меркаторской сетке апокрифа.

В качестве компаса для ориентировки в той безбрежной неизвестности собеседник предложил не менее вольнодумную, касательно прогресса, концепцию, правда с благоприятной концовкой... впрочем, вот приблизительная логика его рассужде-

ний. С райских времен люди, как дети, в особенности тянулись к запретным дарам природы, и неспроста народный эпос поручил самой отборной сказочной нечисти охранять последние — не для утайки их от тех, ради кого создавались, а в защиту их самих, людей, от обычных последствий ребячьего баловства со спичками. И почему-то, с выходом наук на магистраль самых благодетельных с виду, но обнаруживающих вдруг обоюдоострую двоякость открытий, рогатая охрана все чаще стала оставлять без присмотра не только запасенные на черный день склады ширпотреба, но и пульты управления сокровенными механизмами жизни и смерти. И так как нравственная зрелость ныне действующего поколенья значительно отстает от уровня его технической оснащенности, то не мудрено, если кое-какие, не опробованные на себе находки уважаемых кладоискателей по прошествии времени окажутся пакетом мин замедленного действия, так сказать, сувениром доброго дедушки на рождественскую елку внучатам.

Внезапная подмена ужасной, всего лишь мыслительной версии мирокрушенья другою, уже планетарного масштаба, устрашала своей непосредственной близостью. Ничего лишнего не было сказано пока, но, значит, было подумано, если Никанор свернул с главного на колею смежного варианта, и к стыду моему, поддавшись наваждению момента, я ощутил жуткий холодок чьего-то незримого присутствия у себя за спиной. В свете этой единственно вероятной догадки меня буквально обожгло воспоминанье о моем сверхудачном визите в деканат корифея всех наук. И если его тогдашний, с первого захода, щедрый дар в виде желанной лоскутовской фабулы выглядел как аванс за необозначенные услуги, то непрошеная откровенность его подопечного насчет секретов преисподнего ведомства вовсе смахивала на посвященье завербованного в некую — вредную — авантюру. Иначе, как и в случае моего отказа от сотрудничества, разглашение хозяйских замыслов грозило серьезными последствиями для нас обоих. Словом, игра зашла в ту опасную крайность, когда следовало выяснить, на кого работает мой собеседник.

К утру наше ночное ощущенье действительности настолько сроднилось, что мы без труда понимали друг друга.

— Не опасайтесь того, что сейчас у вас на уме,— прочел он мои мысли. — Есть основанья полагать, что распространенное мнение об их неземных возможностях шибко преувели-

но. По природе своей зная все наперед, они не в силах откровенно вмешиваться в предназначенное и потому предпочитают осуществлять свои делишки руками человеков. В данном случае,— вполголоса, доверительным тоном посредника заговорил Никанор,— стремясь заранее, во исполнение надежд, снискать симпатии у трудящихся, подразумеваемый господин жаждет любой оказии предстать перед нами в более современном, нежели у Еноха, атеистическом облике вожака, основоположника борьбы с небесной тиранией...

— Ну и пусть предстает, если выдержит! — оборонялся я от соблазна заглянуть на тот берег через приоткрывшуюся щель.

— ...простите, я недосказал! — перебил тот. — Только что вы правильно истолковали успех своего визита в контору корифея. Ваше участие сводится всего лишь к публикации новой схемы небесного раскола, которая будет сообщена вам по ходу дальнейших встреч. Все происходит на основе добровольности, без малейшего принужденья, даже напротив! Раскрытая в ключе наших с вами предпосылок лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закосмических обобщений и, при достаточно искусной мотивировке, сработала бы в плане избавления его от болезненных разочарований.

— Хорошо,— мысленно поскрежетав зубами, согласился я выслушать соблазнительное для автора предложенье. — Пожалуйста, если не секрет, расшифруйте ваш намек!

— Хотелось бы по возможности срочно и наглядно предупредить род людской о генеральной яме на его столбовой дороге к так называемым звездам,— кратчайше сформулировал он, предоставляя остальное моей догадке.

— Тогда в каком аспекте... точнее, которая из обрисованных вами ям... та предвечная или нынешняя глобальная, или обе сразу имеются в виду?

— В том именно, как она выявляется нам сегодня,— отвечал неистощимый путаник мой и в теплых словах, несколько туманно пожелал человечеству успешного сопротивленья любым козням зла.

В итоге получилось, что, хотя впереди, по минованью бурь и ям, ждет людей единственно спасительная эра без сорных профессий и потребностей, также без порочных мечтаний, некогда служивших дрожжевой закваской при вызреванье великих творений духа,— пусть даже эра вовсе беспамятная в плане большой истории, которая всегда писалась черными и крас-

ными литерами горя народного,— эра некоторого измельчания, обусловленного необходимостью разместить любое стихийно возрастающее множество в некоем постоянном объеме — с обязательной интеллектуальной и габаритной подгонкой особей, чтобы места и пищи хватило на всех,— все же не следует торопиться с возвращеньем назад, под крыло матери-природы...

— Впрочем,— утешительно добавил Никанор Втюрин,— океану человечества не придется делать мучительный выбор — стоит ли ему перемещаться в геологически приуготованное лоно...

Похоже, дело сводилось к желанной, наконец-то, замене низменного, доныне правившего цивилизацией стимула личной корысти благодетельным инстинктом единой для всех судьбы и выгоды — с правом каждого на посильное ему духовное обогащение, разумеется. Равное для всех регламентированное счастье было, по Никанору, достойнее человеческого звания, нежели прежняя беспощадная, из-за угла умственного превосходства, охота на ближнего. Правда, это было связано с той неминуемой перестройкой порядком ниже, какою обеспечивается в природе биологическое бессмертие вида, уходящего в свою безбрежную, навеки беззакатную утопическую даль... Словом, здесь особо сказалось генетическое, во имя жизни, приспособление к грядущему, с помощью которого эволюция гарантирует благополучие потомков, взращенных на горькой и жгучей золе отпылавших поколений.

Чтобы вернуть чересчур смышленого юнца в русло благоразумия, я напомнил ему построже, что в суровые исторические времена безобидный прогноз погоды может кому-то, под горячую руку, показаться клеветой на светлую будущность человечества.

— Вот и жаль, что в повседневной загрузке наши люди не имеют времени интересоваться последствиями совершаемых ошибок... — мальчишески поворчал он и вдруг, смутясь моего пристального молчанья, согласился нехотя, что мы и в самом деле малость отклонились н е т у д а от нашей первоначальной темы.

Кстати, ввиду зловещего облачка, появившегося на современном горизонте, ничто не может снизить важность затронутого вопроса. По всем признакам человечество вступило на переломный порог своего исторического бытия. Коль скоро весь зримый мир пропущен за минувшие века через мысль и руки наши, он является творением человека, начертанным на мерца-

ющем экране еще не доследованных стихий, и генетическое уничтоженье наше полностью совпало бы с церковным концом света. В случае чего мы угаснем вместе с нашим удивительным шедевром. Иначе допущенье дальнейшего существования чудовищной вселенской машины, продолжающей свою работу уже ни для кого, способного охватить ее разумом, означало бы признание других иррациональных реальностей за пределами нашего сознания.

(Не исключено, однако,— подобного рода рассуждения покажутся скептикам слишком вольной импровизацией на щекотливую тему. Бывают такие прочные оптимисты — уж ворон бедняге глаза клюет, а он не чует. Дьявол слишком хитер, чтобы оставлять следы на месте преступленья. Знаменитые пожары прошлого возникали от обыкновенной людской спички, которая сгорала в первую очередь, заодно с поджигателем. Наиболее подходящим предлогом к такому развороту событий, не теперь — так в следующий раз, могло бы послужить подоспевшее, на вполне логическом перепутье, противостояние полярных социальных систем. Все станет возможно в запале, когда элита богачей, встревоженная близостью грядущих перемен, рискнет на отчаянную вылазку с применением адских, высшей убойности новинок, вроде: поджечь океан у берегов противника либо, проломив защитный купол озоносферы, обрушить рентгеновскую бездну на его территорию — словом, собственной головой швырнуть в ненавистную мишень. Легко представить недолговременное счастье знати, отсидевшейся в подземных норах от необратимых последствий катастрофы. Уцелевшие от боли и безумия, они будут сдыхать от крыс, смрада и кровавой рвоты при виде повсюду разлагающейся человечины. Ибо даже для прежней могущественной цивилизации было бы непосильно в пределах санитарной срочности предать земле многомиллионный, по первому заходу, укос смерти. Кабы мы, люди, догадались заблаговременно, сложив всю свою поганую взрывчатку промеж надежных горных хребтов, шарахнуть ее разом к чертовой бабушке, то, конечно, малость закачался бы на орбите шар земной. Однако находящиеся на достаточной глубине в шахтных укрытиях ученые наблюдатели разгадали бы наконец, что не от потопа или с голоду померли несчастные динозавры, а просто от чрезмерных, для живой твари, сердечных переживаний. И тогда присяжные скептики сквозь землю, напрямки, в пламенном зените над собою опознают личность истинного вдохновителя назревающей самоубийственной эйфории.)

...Тем временем совсем рассвело. Сквозь пыльное окошко, затянутое паутинкой с прошлогодней мушиной шелухой, пробившийся лучик высветил в дальнем углу тряпичную, от прежних жильцов, зацелованную матрешку с раскинутыми руками. Потянуло скорей наружу из нежилой тесноты с рваными обоями на стенах и обвисшей с потолка электропроводкой. Выключив свет, мы спустились с заднего аблаевского крыльца отдохнуть под сиренью возле домика со ставнями. В утреннем падымке радужно искрилась сизая от росы трава. Без единой соринки тишина располагала к молчанью о предмете состоявшегося ночного бденья: Вселенная! Теперь можно было сравнить дымковский ее портрет с оригиналом.

Ни промышленный дым из окрестных труб, ни тучка, ни даже птица на пролете — ничто покамест не засоряло зеленовато-порозовевшую над головою синь. Любое мечтанье свободно вписывалось в девственно чистое, без ничьих следов пространство, будто ничего там не бывало прежде. Издревле населяемая виденьями пророков и поэтов небесная пустыня вновь была готова принять еще более сложные караваны призраков, что из края в край пройдут по ней транзитом после нас. И тогда, по сравненью с ними, модель мирозданья по Дымкову, ныне предаваемая огласке в качестве следственного материала к распознанью последнего, покажется потомкам лишь образцом наивного верхоглядства.

Впрочем, что касается меня лично, то я с самого начала не сомневался в дымковском ангельстве.

1974, 1984

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА

ОТ АВТОРА

Болезненная дочка сапожника со столичной окраины, бывшего кладбищенского священника, Дуня Лóскутова, обладает довольно оригинальным средством уходить иногда в запредельную даль времен. Своими отрывочными впечатлениями об увиденном в обе стороны действительности она делится лишь со своим дружком детства и покровителем, студентом Никанором Втюриным, в слитном пересказе которого они и дошли до нас. Столпы положительного благомыслия не должны серчать на бедняжку за ее н е в е с е л ы е *полусны, тем более что человечество, к счастью, располагает покамест полной властью над своей завтрашней судьбой.*

Из пяти Дуниных прогулок т у д а *совместно с командировочным ангелом Дымковым печатаемая здесь — заключительная. Ее содержанием наглядно опровергаются смешные пророчества иных гадателей на кофейной гуще о якобы трагической гибели жизни на планете под влиянием участившихся ошибок, совершаемых человечеством. Данная глава как раз свидетельствует, что и в случае* ч е г о - л и б о *человеческое существование продлится, правда, с меньшим комфортом. Опять же у людей еще достаточно времени — вдоволь порезвиться впереди. Если* к о е - г д е *отсталая наука по нехватке оптимизма определяет оставшийся срок всего лишь числом 123456789, то наша прогрессивная расширяет его до 987654321, что в восемь раз* п е р е д о в е е   и х н е г о.

Впрочем, по присущей ученым осмотрительности обе стороны не уточняют мерительной единицы отсчета — год, день, час или минута имеются в виду.

Никому из футурологов-любителей и не мерещилось, конечно, навестить человечество в канун его исчезновения, как досталось Дуне в их последнюю совместно с Дымковым прогулку по бескрайним глубинам колонны. Самой было бы не под силу передать свои детские впечатления об увиденном, дошедшие до моего пера в художественном оформлении ее дружка, все того же Никанора Втюрина. Его соавторству и надо приписать кое-какие несуразные странности, неподобающие обласканному стипендиату. Причудливая внешность заключительной человеческой модели, как ее увидела Дуня, пояснялась у него тем, например, что все мы, порознь и в совокупности, целеустремленной деятельностью своею как бы ваяем себя и к финалу, переболевшие различными безумствами, вместе с иммунитетом принимаем отпечаток поиска, служившего смыслом и средством нашего существованья. Дальше последовала идейка еще завиральнее, будто всемирное счастье осуществимо лишь через стандартность потребностей, а не желаний, то есть на соответственно одинаковом уровне уморазвития. Так что ценою некоторых превращений наконец-то добытое равенство людей состояло лишь в отвычке замечать повсеместное вкруг себя неравенство, коим самовластная природа пользуется при отборе нужных ей образцов.

— Подумать только,— закруглил свое предисловие Никанор,— что целая история ушла на обретение простенькой способности — при подъеме в гору примириться с неизбежностью срывающихся с кручи!.. — А его сопроводительная усмешка показала мне, как мало мы, за недосугом, всматриваемся в глаза и души подрастающей смены.

Видимо, в оправданье некоторых сомнительных подробностей Никанор начал с предуведомленья, что за краткостью пребывания на краю времени его подружке не удалось вникнуть в положительные стороны тамошнего существования. Соблазнившись предоставившейся возможностью кинуться в необъятный простор перед собою, где не обо что разбиться, Дуня в особенности долго гнала ленту времени вперед, все подхлестывала,— когда же туманное мельканье порассеялось и последняя картинка замерла, вокруг простиралась безветренная и ровная, глазу зацепиться не за что, немыслимая сегодня пустыня в багровых сумерках, на исходе дня. Кроме раскиданных по местности выпуклых дисков непонятного назначенья, ничего примечательного не виднелось кругом,

лишь подпухшее, слегка кособокое *нечто* сидело на нашесте горизонта, как больная красная птица. То и был непрестанный некогда, благодетельный взрыв под названием солнце.

Похоже, что мой рассказчик шибко приукрасил наблюдения своей подружки. Явно неправдоподобный ландшафт ее виденья, климатически несовместимый со вписанной в него живой действительностью, объяснялся, по Никанору, плачевным состоянием центрального светила, хотя именно потому вряд ли уже способного прогреть почву для жизни даже на бактериальном уровне. Тем не менее, якобы и в преклонном возрасте, пусть в малую долю прежнего накала, *оно* еще трудилось. Все промежутки меж помянутых колпаков, оказавшихся выходными люками подземных жилищ, поросли там подобием низкой пластинчатой травки, некоей *маршанции*, как по Дунину описанию выяснил у знакомого ботаника студент. Правда, наличие покатых крышек, видимо еще от *наших* смотровых уличных колодцев, подтверждается и другим общеизвестным очевидцем, побывавшим там раньше Дуни. Несходство же других подробностей могло бы, конечно, проистекать и от разности широтносуточных координат наблюдения. Но что касается социальной вражды, якобы принявшей к тому времени самые изуверские формы, ее надо целиком приписать фантазии именитого Дунина предшественника, так как суровые, мягко сказать, условия тогдашнего бытия должны были неминуемо пригасить общественные конфликты всякого рода... Зато одинаково убегали в закат дорожки дисков с тусклым кирпичным отблеском одряхлевшего светила, уже настолько беспомощного, что от жуткого одиночества оглянувшаяся вокруг себя в поисках живой души — и тени собственной позади себя не обнаружила Дуня. Впору было возвращаться домой, кабы не ощутила разлитую кругом предвестную напряженность... и вот сама поддалась ожиданию назревавшего сверхсобытия, которое должно было свершиться вскоре, через мгновение, сейчас.

Сперва множественное пугающее движенье обозначилось у самых Дуниных ног, даже почудился металлический скрежет сдвигаемых крышек, которого, разумеется, в том безмолвном мире призраков слышать не могла. Видимо, целая колония жизни, островок в пустыне, помещался прямо под нею. Из пооткрывавшихся люков после беглого кругового осмотра стали появляться забавные фигурки сплошь Дуне по колено, кото-

рым скорее по щемящему зову сердца, нежели внешним признакам, не смогла отказать в родстве с собою... Тут ангел отошел в сторонку, чтобы не быть лишним при интимной встрече разделенных вечностью поколений.

Казалось бы, ничто не грозило им в той нежилой глуши, однако лишь несомненные иерархи или особо храбрые начальники, помимо должностных регалий и амуниции выделявшиеся надменным видом, отваживались вылезать наружу в полный рост. На одном из них мутным рубиновым глянцем поблескивало ожерелье из бывших, если присмотреться, велосипедных гаек, выдержавших высокотемпературное испытание благодаря отражательному покрытию, трое других красовались в причудливых головных уборах из бывшей, особо тугоплавкой, в данном случае — лабораторной утвари, наравне с прочими кладами раскопанной в ближайшем кургане радиоактивной золы. Что касается остальных жителей, в частности, матерей с чурковатыми малышами под мышкой, те вовсе не рисковали показываться выше пояса, чтоб не омрачить свое печальное торжество.

Описанное мероприятие отнюдь не напоминало наши предзакатные вылазки в лоно природы прохладки дыхнуть однова́ на сон грядущий. Скорее это походило на ритуальные, без слез и гимнов, зато с поголовно обязательным для всех участием проводы уходящего на покой божества. По отзывчивости своей Дуня даже приписала им свою детскую заботку, чтобы раньше срока не оступилось старенькое, сходя с небосклона в положенную ему яму-опочивальню... Нехватка средств и воображения помешала беднягам придать своему прощальному стоянию соответственно парадное оформленье вроде орудийного салюта или звона колоколов, все же многие были облачены преимущественно в ископаемую же мемориальную ветошь предков, порой настолько неожиданную по своему назначенью, что было бы бестактно перечислять ее в такую минуту. Комично-неуместные мелочи погребального обряда подчеркивались досадным, мягко сказать, своеобразием их внешнего облика, далекого от античного канона людской красоты. Но и несмотря на слишком очевидные типовые превращенья вроде вплотную, с отгибом назад присаженной к туловищу и, видимо, упрочненной головы, что по условиям подземного обитания не менее важно для землепроходцев в буквальном смысле слова, чем заметное скелетное преобразование применительно к горизонтальному перемещению в тес-

ных тоннельных переходах, а также хитиново-коричневатой панцирности безволосого лица, лишенного мимической подвижности,— тоже вряд ли и нужно там у них, в потемках, а также отвердевшие, чуть навыкате и уже без малейшей блестинки, хотя — по наследственности в чем-то еще зрячие, с оттенком индивидуальности человечьи глаза, было бы антинаучно предполагать перерожденье их в отряд членистоногих. Зато даже новорожденным малюткам не вредили теперь перепады сезонных температур, пользование некипяченой водой, недостаточная вентиляция в порах. В общем, с жалостным умиленьем и болью признавая в них своих потомков, Дуня возблагодарила судьбу, что, приспособляя род людской к проживанью в сильно изменившейся обстановке, она не облегчила их и от потребности в одежде, ибо та предысходная нагота сильнее адамовой оскорбляла бы ее родственные чувства.

...Помнится, здесь Никанор с легким зубовным скрежетом обронил глубокомысленную сентенцию о вреде распространившегося среди людей баловства с прометеевым огоньком. Люди всегда слишком молодились из нежеланья признавать, что уже старые, и, видимо, надежда еще и еще разок, подобно Фениксу, обновиться через пепел не оправдалась однажды. Всепланетная жизнь после обработки в термоядерном тигле хотя и подверглась значительной перестройке, но, в общем-то — в ничейную, хотя и маложелательную, сторону. В одну из более ранних прогулок за горизонт Дуня до рвоты нагляделась всякой нечисти, возникшей в качестве расплесканных брызг из генетического расплава вроде многоколенчатых стрекоз и двуглавых ящерок, по счастью, сгинувших при дальнейшем остыванье органического вещества. Скоростной спуск людей с заоблачных вершин сопровождался не менее беспощадной отбраковкой неустойчивых образцов, чем при восхожденье, так что назад в долину воротилась вполне устойчивая, крайне не похожая на себя во младенчестве человеческая поросль. Никанор отдал должное долготерпенью матери-природы, ограничившейся в отношении баловников лишь видовой девальвацией, то есть снижением на какую-то пару порядков для житейской устойчивости, как не раз поступала и раньше с конструктивно не оправдавшими себя созданьями. Но, по словам свидетельницы, именно безликая оплавленность священным огнем поиска и придавала трагическое величие этому арьергарду человечества, замыкавшему его неповторимое шествие к звездам.

Последний век машина цивилизации работала на критических скоростях, с риском смертельной перегрузки. Все сильней обжигала дыханье взвешенная в воздухе тонкая ядовитая пыль нравственного износа. Диктуемая исторической необходимостью, близилась пора генеральной перестройки, когда на пороге ожидавшегося преображенья взорвался главный ген предвечной, никогда не сформулированной идеи, вознесшей род людской превыше прочей живности на земле.

Ничтожная сама по себе, явно непридуманная подробность подтверждает достоверность всего происшествия в целом. В трех шагах впереди и спиною к Дуне ее внимание привлек один, чуть на отлете от почтительно теснившейся поодаль толпы,— если не пророк, то некто заведомо из высшего тамошнего духовного руководства. Именно своей подчеркнутой скромностью, несмотря на очевидное старшинство владельца, показалась девочке наряднее других нищая на нем, с прорезью для головы, хламида из бывшего пластмассового мешка, отменная сохранность коего после термоядерного испытанья сгодилась бы в наши дни для фирменной рекламы. Внезапно, движимый безотчетным чутьем постороннего присутствия, старик прозорливо оглянулся на дивную гостью с неведомого старофедосеевского погоста и вполоборота, снизу вверх, как и мы порой с ощущеньем чьего-то взора на себе, вглядывался сквозь Дуню в померкающее небо. И лишь, подобно нам, убедившись в самозаблужденье, воротился он к прерванному занятию... То была заключительная стадия свечи, когда пламя почти улетело с огарка, но тепло еще сохраняется в лужице стылого, непомнящего воска — чем он был раньше. Теперь все они там были для Дуни на одно лицо, однако за ту краткую паузу, пока гляделись друг в дружку, *этот* запечатлелся в ее памяти на всю жизнь.

Благоговение окружающих к его персоне и полуугадываемое на просвет аскетическое телосложение свидетельствовали о добродетелях, равно как не совсем отускневшая прозрачность хитона позволяла в любой момент убеждаться пастве, что, несмотря на должностные соблазны, не утаил от нее пищевого излишка. К сожалению, некоторая невыразительность взгляда, вернее — отсутствие улыбки или горечи в слегка выступающих *жвалах*, не позволяли судить о характере мудрости или святости этой достойной особы, зато о верховном сане свидетель-

ствовала древняя, на груди, из раскопок же добытая реликвия прапредков — продолговатая эмалированная, синим по белому, табличка с магическим заклятием на мертвом для них языке — не курить. Наконец царственная осанка с оттенком скорбной гордыни, какая приличествует наследникам богов, указывала на еще теплившуюся в подсознанье догадку о своем высоком происхождении от властелинов дремучей давности. По отсутствию летописцев, уже никто, и даже сам он, невзирая на занимаемый пост, не ведал — чего ради они, по своей неисповедимой воле закутанные в громадные курчаводымные пламена, дружно, целыми материками, схлынули за черту, оставив по себе навечно отравленные прах и щебень. Никаким перечнем погибших сокровищ, блистательных умов и грозных стихий, служивших им на побегушках, нельзя очертить их былое могущество, но вот в последовательной логике и вкратце — чем они владели.

Винт, рычаг, колесо. Огонь и Евангелие. Нож, пила, топор. Лодка, парус, весло. Подшипник, бумага, стекло. Компас, линза, часы. Алфавит, иероглиф, сигнальные азбуки и коды. Библиотеки и музеи, университеты и храмы. Мосты, плотины, стадионы, кремли, тоннели, города. Канализация, водоснабженье, электросвет. Условная цифровая система мышленья для оценки и приспособления немыслимого к бытовым потребностям. Плавка, ковка, прокатка, литье, волоченье, также электронно-лучевая и термомагнитная обработка металлов. Книгопечатание и музыка. Цветные радиоигры и развлеченья. Связь без проводов. Синтетические алмазы в куриное яйцо. Оптические счетные приборы. Летающие обсерватории. Вакцина и антибиотики. Незримое ухо для подслушиванья врага на расстоянии. Искусственные луны. Океанские, воздушные и подводные лайнеры любого погружения. Ультракороткое дальнозрение по обе стороны нуля. Катапульты для орбитального заброса на инопланеты механизмов и людей. Овеществленная память. Термоядерные реакторы безопасного действия. Круглосуточная горячая вода. Спектральное прочтение светил и запредельных глубин за ними. Театры призраков непосредственно на небесах. Моторы гравитационного движения. Перегонка солнечной энергии без проводов. Думающие машинные собеседники с человеческим голосом. Лунные поселенья для каторжников и мучеников науки. Подсобные божества механического обслуживания. Теория трансцендентного материа-

лизма. Алхимия без мистики и мистика без шарлатанства. Перстни, транквилизаторы, помада для усов и противозачаточные средства. Школьные пособия для рассмотренья сущего с изнанки. Световая ракета. Башни радиовнушения гражданских добродетелей и приручения диких животных. Убойные агрегаты сверхвысокого КПД с автоматической уборкой отходов на удобрение и промышленное сырье. Пионерские могилы на Марсе и дальше кое-где, тоже не объединившие людей, несмотря на всечеловеческую общность героев. Соллипаторы и всасывающего действия дисперсионные камеры со скоростным обращением чего угодно в диалектическую противоположность или даже в первоматерию по особой нужде... а также другие иррациональные диковинки за пределами нынешнего воображения.

Получалось, по Никанору, человечество от роду слишком торопилось к очередным этапам своего далеко не бесконечного цикла и вот, в роли блудного сына и без прежней технической оснастки, налегке воротившееся в покинутую некогда семью, оно оказалось беззащитным против младшей родни, расплодившейся по обилию падали от людских междоусобиц.

...Еще не успела дотлеть воспаленная краснотца на горизонте, выходные люки как по команде беззвучно захлопнулись, и тотчас темное, лишь силуэтно угадываемое стадо крупной хвостатой нечисти пронеслось мимо Дуни, причем крайняя особь прошмыгнула сквозь нее, безошибочно опознанная по гадливому шоку соприкосновенья. По счастью, сменившая род людской на земле четвероногая элита, в отличие от прочей живности единственно окрепшая в ходе неоднократных радиоактивных мутаций, подлая тварь даже при малом полусвете еще трусила нападать на позавчерашних владык земли, а величавая медлительность последних под влиянием долговременных тренировок на ускользание сочеталась у них с исключительным проворством, так что, по крайней мере, в обозримом радиусе разбойный набег не застал маленьких удальцов врасплох. Все же превосходство охотников не оставляло сомнений в судьбе дичи.

Пора было уходить, чтобы до рассвета вернуться в домик со ставнями, а Дуня все прощалась, насмотреться вдоволь не могла.

— Бедные, милые, кровные мои... — шепнула она и, за-

жав рот ладошкой, заплакала о крохотных человечках вместе с их неразлучным солнышком.

Провожатый сзади коснулся ее локтя, приглашая к мужеству:

— Не надо убиваться... — утешительно сказал он. — По незнанию иного они не нуждаются ни в чем и не помнят ничего, чтобы огорчаться сравненьем. Там, внутри, у них тепло и безопасно. Ребятишки уже спят... — И Дуне оставалось согласиться, что, если свыкнуться немножко, любая действительность способна обеспечить еду и кровлю, а беспамятность — доставить покой душевный.

Так много уносила в душе, что за весь долгий обратный путь не обмолвились ни словом. По установившемуся обычаю ангел проводил Дуню до самого дома. И весь следующий день никуда не выходила из светелки, рассеянно отвечала на вопросы, двигалась неслышно из боязни расплескать драгоценное воспоминанье.

...Кстати, я тогда же указал рассказчику на ряд вопиющих противоречий, заставлявших усумниться в правдивости рассказанного. Мимоходом, например, отозвавшись о Вселенной как о бессмысленной, в общем-то, канители с переливаньем из пустого в порожнее, он упустил из виду человека в ней, по его же словам, населившего эту пустыню богами, магическими числами и тайнами, которых и сам до конца своего разгадать все равно не успеет. Или — как в столь прискорбных климатических, с неизбежным обледенением, условиях могла существовать пусть даже неприхотливая маршанция, тем более дети — если бы и приобрели от божественных предков, от нас, генетическую закалку в смысле избавления от излишней чувствительности?..

Вместо ответа Никанор со вздохом сожаления кинул слегка задумчивый взгляд мне на лоб и почему-то ничего не сказал себе в оправданье.

По отсутствии зрелого миросозерцания разрозненные и, конечно, разные Дунины виденья и полусны (вдобавок с явными приметами душевного расстройства) вряд ли укладывались в целостную и довольно безысходную сюиту, как они выглядят здесь в передаче Никанора Втюрина; в оправдание ему надо предположить, какая-то особая, вполне достойная причина вдохновила его, сделав произвольный отбор, нанизать их на тематически единый стержень дурного пророчества.

Налицо вполне уместная в наши дни попытка обрисовать историю человечества во вселенском, с Еноховых времен, охвате и для пущей наглядности — буквально на клочке бумаги. Чересчур эмоциональная политика и успехи военизированных наук вряд ли позволят сомнительным счастливцам хотя бы с затемненным сознаньем вырваться за пределы надвигающейся ситуации. Тогда к чему же, собственно, стремился Никанор Втюрин, продлевая бытие людей в неправдоподобных климатических условиях, обрекая на лютое горе лицезреть дряхлость благодетельной звезды,— поддержать ли в них веру в свое бессмертие или излечить от опасного оптимизма на пороге еще неведомой космической эры.

1979

ПРИМЕЧАНИЯ

Публицистика Леонида Леонова отличается тем, что носит элементы художественной прозы.

Выполняя миссию, согласно которой «писатель — это переводчик, толмач между жизнью и читателем», он продолжает и в этом жанре творить свою «высшую работу». В конечном итоге и здесь, в тесном пространстве статьи или очерка, Леонов выявляет ту же «жгучую потребность определиться на карте человеческого прогресса» (статья «Похвала жанру»).

В качестве самостоятельной и специфической отрасли литературы публицистика призвана, как известно, освещать самые насущные вопросы общественной и духовной жизни народа. В своем изначальном содержании именно такой и была наша древнерусская литература (оказавшая, кстати, воздействие на раннего Леонова). Это была проповедь, которая влекла дальше суда над своим днем и часом; она, если воспользоваться изречением самобытного философа Сковороды, звала: «Глянь в сердечные пещеры...» А по высказыванию Леонова, добиться истины можно лишь ценой «сердечного озарения».

В подлинном своем назначении публицистика — одна из самых действенных и одновременно самых трудных форм организованного мыслью слова. Мы — что греха таить — свыклись с иным, почти узаконенным понятием публицистики: как чего-то, газетно торопящегося ответить на «текущие вопросы», насущно нужного, но забываемого тотчас вместе с решением этих сиюминутностей. Между тем в любой временно́й точке всегда скрыта ее глубинная перспектива. И задача дня может оказаться той дверцей, за какой откроется цепь задач других, возникнет некая лестница, ведущая к искомой цели.

Темой публицистики Леонова (как и его творчества в целом) являются раздумья о культуре и гуманистических ценностях в эпоху крупных общественных потрясений и технического прогресса, непредсказуемо меняющих мир.

Литературный опыт Л. Леонова включает в себя и юношеский дебют в качестве критика и театрального рецензента, и газетную работу в печати Красной Армии, и регулярные выступления в периодике 20-х годов на текущие темы. Однако эта ранняя публицистика писателя носит, как правило, более узкий и прикладной характер.

Значительные по проблематике статьи и выступления Л. Леонова появляются уже на рубеже 20-х и 30-х годов. В этом смысле особенно примечательной нам представляется его «Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей» (1934), содержащая свою эстетическую программу и обладающая большой эмоциональной наполненностью. Леонов рисует в ней картину объема работы, стоящей перед литературой: «Иногда кажется, что надо иметь втрое, вдесятеро больше мозга, сердца, мужества и мастерства, чтобы справиться с поставленной перед нами задачей. Это так же трудно, как на огромном лугу очертить контур тени, отброшенной грозовым облаком. Оно несется со скоростью, превышающей во много раз медлительную поступь искусства». Здесь и итог труда над серией романов 20-х годов, и перспектива, ведущая нас к «Дороге на Океан», «Evgenia Ivanovna», «Русскому лесу».

И все же нас интересует более всего слово Леонова, вступившего, как выразился он сам, «в новую, уже вторую полосу жизни с ее предельно сухим и прозрачным воздухом зрелости, с ее ясными, безмиражными горизонтами» (статья 1967 года «Горизонты зрелости»).

В леоновском творчестве мы найдем почти все жанры публицистики. Тут и героико-патриотический очерк времен Великой Отечественной войны (например, набатно прозвучавший в 1942 году на всю страну очерк «Твой брат Володя Куриленков»). И жанр письма-обращения (письма военных лет «Неизвестному американскому другу», острозлободневные и в то же время провидчески утверждающие жизненную важность общечеловеческого понимания между народами). И полный иронии и сарказма репортаж с Нюрнбергского процесса над главными фашистскими преступниками («Нюрнбергский змий»). И знаменательное выступление 1947 года «В защиту друга» — первая статья такого рода, привлекшая в нашей стране внимание к этому общенародному достоянию — лесу. Она вызвала многочисленные отклики, послужила началом общесоюзного движения и, можно сказать, стала дальним прологом романа «Русский лес». И серия приуроченных к юбилеям литературных очерков о Гоголе, Грибоедове, Чехове, Толстом и Достоевском, Горьком. Наконец, футурологические фрагменты из незавершенного романа «Мироздание по Дымкову» (1974, 1984) и «Последняя прогулка» (1979).

Мышление Леонова — художника и публициста — едино в своей глобальной устремленности.

«Когда-то я начинал с густой, вязкой словесной изобразительности,— сказал писатель. — Не один я тогда грешил орнаментальной прозой. Новый мир радовался возможности выразить, выпеть себя в слове. Потом все это отходит в сторону, и на первый план выдвигается мысль» (Беседа «Художника создает труд». Сб.: «Слово к молодым». М., 1975, с. 37). В такие времена вещество искусства само собой уплотняется в целые мыслительные блоки.

В одном из интервью Л. Леонов рассказал, что есть произведения, написанные отдельными словами, определенными психологическими сценами, наряду с ними есть и такие, которые слагаются целыми проблемами и концепциями. Но есть вещи, создающиеся системами мировой культуры. И в этом плане, признавался Леонов, его не интересовал быт,— все это только гвоздь, винт, чтобы прикрепить авторский образ ко времени и жизни. Нетрудно заметить, что эти «блоки» лежат как в фундаменте леоновских романов, так и в основе его философских, футурологических, экологических, историко-культурных и литературных очерков и статей.

Уже самый беглый обзор леоновского творчества позволяет заключить, что его проза, театр и публицистика написаны одним и тем же пером. Иногда это носит характер самоочевидный, не нуждается в иллюстративных доказательствах. К примеру, явное родство таких, казалось бы, отдаленных по теме вещей 1930 года, как «Поездка в Маргиан» и «Саранча». Или статьи шестидесятых годов в защиту природы не являются ли послесловием к надеждам автора «Русского леса», который, по его признанию, ожидал создания Государственного комитета по охране природы?..

Даже по этому совпадению публицистики и художественной темы можно видеть, какие общественные проблемы привлекало творчество Леонова.

Культура, тысячелетний духовно-нравственный опыт наших предков, по выражению писателя, служит человечеству надежным талисманом от всяких возможных и уже грозящих ему несчастий. Словно бы не в огненном январе 1945 года, а сегодня создана Леоновым сдержанно-страстная речь о Грибоедове «Судьба поэта»— так воспринимается названная тема: «Мы не хвастаемся, мы только напоминаем, что культура есть процесс живой, таинственный и хрупкий, она нуждается не только в поэтах и ученых, но и в солдатах, героях и мучениках. Она как атолловый остров, где верхнее кольцо прочно покоится на неподвижных нижних. Останови эту жизнь, и вмиг его поглотят ночь и волны». И каждое новое поколение, на плечах предыдущих, надстраивает новый этаж всемирного храма Культуры. О том же напоминает Л. Леонов, когда он говорит о человеческой культуре, которая «потому и требует бес-

прерывного обновления, что не ослабляет напора стихии; ветвится и множится насущная людская потребность, недостает ей опыта предков, и ветшают знаменитые книги».

Перед нами та же п р о з а Леонова, с ее уплотненным, на пределе возможностей языка словом, с ее многозначностью и внутренним свечением. При той лишь очевидной разнице, что она приобретает исключительно монологическую форму. Леоновские суждения о своих предшественниках помогают нам заглянуть в творческую лабораторию писателя. Для него писатели-классики — это вечные ориентиры па пути к звездам. Недаром Леонов заметил в одной из своих бесед, что «начинающий литератор проходит под арками всех великих писателей, с которыми сталкивает его жизнь, и вырабатывает свою систему». Именно их имел в виду писатель, упоминая о классическом наследстве, в соотношении с ним он строит свой художественный и духовный опыт.

В формировании леоновской художественной системы, по его собственному признанию, особое значение представляет традиция Достоевского.

Все это Леонов разъяснял не раз в беседах и интервью, помогающих понять существенные черты его эстетики. Впрочем, учитывая крайнюю осторожность Леонова в оценках классической и современной литературы, нам представляется, что весьма во многих журнальных интервью с ним, написанных с маху и без поправок, некоторые мысли и в первую очередь оценки писателя переданы с очевидными искажениями. Но стоит вникнуть в истинный смысл, просвечивающий сквозь небрежно внесенные наслоения: «Чехов — удивительный талант, его художественный мир вбирает многие оттенки видимого спектра человеческих чувств. У Достоевского — всегда не только видимые глазом цвета, но и невидимые — инфракрасный и ультрафиолетовый. Он проникает в такие сферы, какие до него не были доступны литературе. Так глубоко в человеческую душу не проникал никто» (Беседа «Художника создает труд». В сб.: «Слово к молодым». М., 1975, с. 36).

Как-то Леонов рассуждал, что не слишком верит в женитьбу князя Нехлюдова, барича, балованного, отпрыска знатного рода, на безвестной девчонке с сомнительным прошлым Катюше Масловой. Здесь произошло как бы некое насилие великого проповедника над жизненным материалом. Читатель мог бы застать Катюшу в уютном домике, какой купил бы ей Нехлюдов, с сиренькой в палисаднике, с канарейкой над окном и веселыми занавесками, где-то на окраинной улочке. Трогательны были бы и их встречи, когда князь раз в год, при всех регалиях, на богатом выезде стал бы наведываться туда. Этим актом «сословного раскаяния» он сладостно унижал бы себя, делаясь объектом социального любопытства всего бедного, пропахшего нищетой квартала. В то же время новые неви-

димые глазу оттенки наложатся и на переживания ожидающей встречи с ним Катюши. Это боязнь дополнительного оскорбления, боязнь, что он отвернется — не в материальном смысле, а что он не пожелает ее... «Но это к слову,— добавляет Леонов. — Это моя гипотеза «ультрафиолета» в душе князя, вовсе не учитываемая Толстым, но вытекающая из рисунка образа». Однако, продолжает писатель, абсолютно веришь, что Ставрогин, такой же Нехлюдов, но только более одухотворенный, «царевич», может жениться на хромоножке. Потому что в этой фантастической гипотезе схвачена самая суть характера героя, который подобным актом утверждал бы свое гордое смирение, свою победу над собой. «Вот они, ультрафиолетовые лучи!» — говорит Леонов.

Таким образом, высоко ценя изобразительную сторону литературы, Леонов ищет в произведении еще и «внутренний, скрытый рисунок жизни». «Рисунок в глубине,— уточнил он в беседе,— это и есть художественное м ы ш л е н и е». Итог этих раздумий мы находим в статье 1969 года «Достоевский и Толстой», где, в частности, написано: «Речь идет всего только о выявившихся преимуществах д о с т о е в с к о г о творческого метода. На мой узкоремесленный взгляд, они заключаются в большей емкости последнего, в его обобщенной алгебраичности, так сказать — ш е к с п и р и а л ь н о с т и его философской партитуры, исключающей бытовой сор, частное и местное, с выделением более чистого продукта национальной мысли,— этим и достигается всемирное нынешнее бессмертие Федора Достоевского».

Однако, отдавая дань гению Достоевского, Леонов не раз подчеркивал ряд принципиальных положений, разделяющих его и свой собственный материал творчества. Это тем более важно, что в литературоведении и критике сопоставительные характеристики этих двух писателей нередко носят поверхностный и даже вульгаризаторский оттенок.

Как обмолвился Леонов в частной беседе, к сожалению, воспроизводимой лишь по памяти, он всегда испытывал «дурную щекотку» от сопоставления с Достоевским. Речь шла о том, что Достоевскому было «намного легче». В руках у него находился материал, лишь на первый взгляд — новый, в действительности — прочный, надежный, устоявшийся, уплотненный веками. А мы за что ни ухватимся — все необычное. Как лава: и горит, и течет, и трудно определить состав молекулярных процессов. В «Воре» есть такая фраза: «Да, страшен путь з а перевал». Там, говорит Леонов, другая почва, под ногами хрустит по-иному, не так ставится ступня, отличие всех ощущений, и отсюда, продолжает писатель, возможно, будет понятно и его косноязычие по поводу некоторых философских вопросов. Потому что какие-то основополагающие физические тезисы в действительности з а перевалом очерчиваются уже совсем по-иному. И об этом, предупреждает он, будет кое-что в новом романе...

Эти не совсем точно переданные высказывания, однако, приближают нас вплотную к фрагментам из последнего романа —«Мироздание по Дымкову» и «Последняя прогулка», ставящим, помимо всего прочего, и проблему познания, в ее вселенском, философском аспекте. В обратной, опрокинутой перспективе еще раз непреложно высветилось, что мысль о поисках и заблуждениях *разума* едва ли не с первых писательских шагов преследовала Леонова, что *драма познания* резко выявила себя еще в самом начале его литературного пути.

Обращает на себя внимание тот факт, что ключевые в определенном смысле для всего леоновского творчества притчи о Калафате («Барсуки») и о похищении Земли («Уход Хама») были сформулированы, в жанре юношеской поэмы, еще в 1916 году. Принципиальными и философски осмысливающими происходящее — когда все растревожено, все в расплавленном виде — являются также такие уплотненные блоки, как, например, история изгнания Адама и Евы из рая и попытки их вернуться туда «другой дорогой», под водительством соблазнителя, постепенно сменявшего свои искушения на более крупные купюры (роман «Вор»), или горячая исповедь бывшего поручика Булавина, с его навязчивой идеей о необходимости вернуть человека в его чистую детскую ипостась, пока душа его не рассеялась на вещи в самом разноименном понимании («Соть»). А разве не та же драма познания проявляет себя в трагизме нераскрытой идеи, на которую потрачена жизнь, в судьбе крупного ученого («Скутаревский»)?..

Горизонты разума, с его небеспредельными возможностями, и «дымка недоступного нам порядка», опасность узкоутилитарного уклона, в каковой склонно вдаваться человеческое познание,— все это, как видно, занимает Л. Леонова с 20-х годов и по наши дни. Здесь проступают контуры максималистской задачи, поставленной писателем: восхождение человека к *полному знанию*, к уяснению модели Вселенной.

Это мироздание представляется крайне сложным, вмещая в себя весь спектр гипотетических вариантов, и в то же время в его донных промерах угадывается нечто изначально простое, наподобие иероглифа или того праатома, в размеры которого, как утверждает современная физика, была изначально втиснута наша Вселенная. Несмотря на краткость отрывка, в нем угадываются, прочитываются общие контуры *мироздания по Леонову*.

«Мироздание по Дымкову»— это клубок мыслей, в некотором роде сознательно запутанный автором в стиле средневековых открывателей, до поры — пока время и события не раскроют их истинное содержание. На наш взгляд, вообще в каких-то леоновских строках имеются еще не

расшифрованные пока черные дыры, куда со временем потребуется заглянуть еще разок.

«Последняя прогулка» хотя и относится к общему широкому плану романа, но вместе с тем выглядит как своеобразный и естественный отклик на нежелательные крупные последствия опрометчивой политики наших идейных противников.

И все же, как пояснял Леонов в связи с публикуемыми фрагментами, разумный исторический оптимизм, диктуемый верой в неизбежность лучшего, не должен пренебрегать и рассмотрением худших вариантов. Фрагменты эти — при всей их художественной точности — пересыщены нынешним общественным содержанием. Открыто тенденциозные, они напоминают читателю, что как раз сегодня человечество в своем движении достигло грозного распутья, о чем напоминает сказочному богатырю вещая надпись на камне при развилке трех дорог...

Отрывки из нового романа вновь понуждают нас обратиться к публицистике Л. Леонова последних десятилетий, гражданственная направленность которой вполне закономерна. В данном случае слово, в самых разных его ракурсировках, произнесенное писателем своевременно и вовремя не прочитанное, в наши дни, при повторении его завтра может оказаться безнадежно устаревшим — как запоздалое трагическое свидетельство о случившемся, а не как грозное и спасительное предупреждение.

Нет сомнения в историческом оптимизме Леонова. «Верю,— заявляет он в статье 1958 года «У новогодней елки»,— в неистребимый инстинкт жизни», который «выведет человечество из самого крутого и опасного виража в его истории. В каждую живую клетку природа вложила жироскопическое чувство самосохраненья; она полураздавленного червя заставляет тянуться в спасительную щель! Человеку сверх того придан разум и не покидающее его даже в скольжении над бездной чувство своего исторического предназначения».

Требовательный к себе, Л. Леонов с той же мерой бескомпромиссной взыскательности относится к литературе современной.

Ему хотелось бы видеть произведения, «которые время от времени заставляют взглядывать на звезды, хотя бы для гимнастики, чтобы не атрофировалась шея. Это совершенно необходимо: без этого слово «человек» начинает звучать менее гордо» (статья «Бриллианты для бедных»).

Одним из важнейших «уроков Леонова» представляется его напоминание современной литературе: «Мы не должны забывать, в чьих креслах мы сидим».

При подготовке данного Собрания сочинений Л. М. Леонов внес изменения во многие статьи.

ПУБЛИЦИСТИКА

Поездка в Сорренто (с. 7). — Впервые — журнал «30 дней», 1927, № 11.

В июне — июле 1927 года Л. Леонов совершил поездку в Германию, Австрию, Италию, Польшу (Берлин, Раппало, Венеция, Вена, Варшава). В течение трех недель он гостил в Сорренто у М. Горького.

О мещанстве (с. 10). — Впервые — журнал «На литературном посту», 1929, № 6.

Статья представляет собой ответ на анкету, распространенную редакцией журнала.

Поездка в Маргиан (с. 11). — Впервые — «Известия», 1930, 25 мая.

Очерк написан в результате поездки в составе писательской бригады по приглашению Наркомпроса Туркменистана по Средней Азии (Ашхабад, Кушка, Мерв, Байрам-Али, Бухара, Керки, Чарджуй).

Стр. 11. *...в смутные времена сирийца Антиоха...* — Антиох III Великий (242—187 до н. э.) — царь государства Селевкидов. Разрушил Мерв.

Ездигер III (632—651) — последний царь династии Сасанидов. В 642 г. потерпел решительное поражение при Мехавенде от арабов, что открыло им дороги в Иран, Хорасан, Герат и Мерв.

...Кутайба ибн Муслима, распространителя ислама, или братоубийцу Мамуна, Гарун-аль-Рашидова сына... — Ибн Кутайба (ум. в 889 г.) — арабский религиозный деятель и историк. Гарун-аль-Рашид (Харун ар-Рашид; 763 или 766—809) — халиф из династии Аббасидов. В 807 г. отправился усмирять мятеж в Самарканде, но в походе заболел и скончался в Хорасане, передав войско сыну Мамуну. Мамун, устранив своего соперника-брата, был халифом с 813 по 833 г.

Стр. 12. *...Тулуе, Чингисовом сыне...* — Сыновья Чингисхана Джучи, Джагатай, Угедей, Тулуй (Толуй) основали после смерти отца (1227) правящие династии Чингисидов.

...Сасаниды, Тахириды, Саффариды, Саманиды, Газневиды... — иранские династии, правившие в Персии и Средней Азии в первом и начале второго тысячелетия н. э.

Сельджукиды — название турецкого племени, а также династии, созданной в XI в.

Стр. 13. *Бекович-Черкасский* (Девлет-Кизден-Мурза) Александр (? — 1717) — кабардинский князь. В 1717 г. по поручению Петра I возглавил русскую экспедицию в Хиву, где был убит снятием кожи.

Стр. 14. *...после российского завоевания...* — В результате второй Ахал-Текинской экспедиции М. Д. Скобелева в 1880—1881 гг., закончившейся штурмом крепости Геок-Тепе, соседний Мервский оазис оказался

окруженным. В Мерв вступил отряд под командованием генерала Г. Л. Комарова, и в 1884 г. Мервский округ был присоединен к Российской империи.

О Горьком (с. 19). — Впервые — «Известия», 1932, 25 сентября.

Написано в связи с празднованием 40-летия литературной и революционной деятельности А. М. Горького.

Стр. 19. *...грек Фалес к великому изумлению Амазиса...* — Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.) — древнегреческий философ; соединял интерес к запросам практической жизни с глубоким интересом к вопросам о строении мироздания; гидроинженер, изобретатель астрономических приборов. Будучи в Египте, проводил математические расчеты в присутствии фараона Яхмоса II Амазиса (562—529 до н. э.).

Стр. 21. *Улисс* — римское имя Одиссея.

Страбон (64/63 до н. э. — 23/24 н. э.) — древнегреческий географ и историк, автор «Географии» в 17-ти книгах.

Стр. 22. *Фукидид* (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории» в 8-ми книгах, посвященной Пелопоннесской войне.

...убийца древнеримских городов... — Речь идет о вулкане Везувий, при извержении которого в 79 г. погибли римские города Помпея и Геркуланум.

Суррентум — латинское название Сорренто.

Шекспировская площадность (с. 25). — Впервые — газета «Советское искусство», 1933, 26 января.

Стр. 26. *...Гамлет Акимова...* — Акимов Николай Павлович (1901—1968) — режиссер и художник, народный артист СССР; осуществил постановку «Гамлета» на сцене театра им. Вахтангова в 1932 г.

Призыв к мужеству (с. 28). — Впервые — «Литературная газета», 1934, 16 апреля.

Этой статьей Л. Леонов включился в дискуссию о языке художественной литературы, начало которой было положено А. М. Горьким, в «Открытом письме А. Серафимовичу» осудившим натуралистические увлечения Ф. И. Панферова в романе «Бруски».

Стр. 28. *Васенко* Андрей Богданович (1899—1934) — советский инженер-аэролог, конструктор стратостатов. *Усыскин* Илья Давыдович (1910—1934) — советский физик. 30 января 1934 г. на стратостате «Осоавиахим-1» Васенко и Усыскин установили мировой рекорд высоты; при спуске аппарат потерпел аварию, и экипаж погиб.

Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (с. 35). — Впервые — «Литературная газета», 1934, 22 августа.

Л. Леонов активно участвовал в консолидации советских писателей, организационно закрепленной созданием Союза писателей СССР. 28 апре-

ля 1932 года он выступил на заседании Правления Всероссийского Союза советских писателей (ВССП), посвященном Постановлению ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», а в мае того же года был избран членом Президиума Оргкомитета Союза советских писателей.

Первый Всесоюзный съезд советских писателей проходил в Москве с 17 августа по 1 сентября 1934 года. 1 сентября Л. Леонов был избран членом Правления Союза писателей СССР. Он выступил с речью на шестом заседании съезда 21 августа 1934 года.

Падение Зарядья (с. 40). — Впервые — сб. «Москва». Издание газеты «Рабочая Москва», 1935.

Этим очерком, носящим одновременно исторический и глубоко личный, автобиографический характер, открывается ряд выступлений Л. Леонова о старой и новой Москве, о памятниках прошлого и социальной нови. В развитие этой темы написана статья 1941 года «Послесловие Зарядью» (см. наст. т., с. 77).

Стр. 40. *...двух именитых бронзовых российских граждан...* — Речь идет о памятнике работы И. Мартоса (1754—1835) организаторам национально-освободительной борьбы русского народа против польских интервентов Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Установлен в 1826 г.; в 1935 г. передвинут к собору Василия Блаженного.

Стр. 41. *...со времен Ивана IV, когда в последний раз палили здешнее место татары и полсотни лет спустя таранил Китайскую стену Трубецкой...* — В правление Ивана IV Грозного (1520—1584) крымский хан Девлет со 100-тысячным войском подступил к Москве (1571) и зажег ее предместья, вследствие чего сгорел весь город, кроме Кремля. Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (? — 1625) — боярин, правитель московский, участвовавший в 1610—1612 гг. в сражениях против поляков, в том числе и изгнании их из Москвы. До избрания на царство Михаила Романова (1613) был главным правителем государства, получил титул «спасителя отечества».

Стр. 44. *Чудов монастырь* основан в 1365 г. и находился на территории Кремля.

Стр. 45. *Шкулев* Филипп Степанович (1868—1930) — русский поэт, один из основателей «Суриковского литературно-музыкального кружка», автор знаменитого стихотворения «Кузнецы» (1906), ставшего революционной песней.

Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930) — русский поэт-самоучка, бытописатель деревни.

Нечаев Егор Ефимович (1859—1925) — русский поэт, с начала 90-х гг. входивший в «Суриковский литературно-музыкальный кружок» и сблизившийся с Л. М. Леоновым. Отразил в своих стихах труд рабочего.

Стр. 46. ...*грохнули бомбой князя Сергея...* — Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года членом «боевой организации» эсеров Иваном Платоновичем Каляевым (1877—1905).

Знамя русского театра (с. 49). — Впервые — газета «Советское искусство», 1938, 8 августа.

Стр. 49. ...*Он ставил и выпускал в Художественном театре в 1927 году мой спектакль...* — Речь идет о постановке на сцене МХАТа леоновской пьесы «Унтиловск» (см. наст. изд., т. 7, с. 672).

Величественная зрелость (с. 51). — Впервые — «Литературная газета», 1938, 26 октября.

Статья посвящена 40-летию МХАТа, с которым Л. Леонова связывала длительная творческая дружба. На сцене Художественного театра были поставлены его пьесы «Унтиловск» (1928), «Половчанские сады» (1939), «Золотая карета» (1957).

Стр. 52. ...*на премьеру моей пьесы...* — См. предыдущее примеч.

Остроухов Илья Семенович (1858—1929). — См. примеч. в т. 5 к с. 178.

Путешествие в неизведанный край (с. 55).— Впервые — газета «Кино», 1938, 29 ноября.

Озеро счастья. *Путевые заметки* (с. 59). — Впервые — журнал «Новый мир», 1941, № 3.

Как и очерк «У колыбели Большого Ангрена», написан по впечатлениям после поездки Л. Леонова в Среднюю Азию.

Стр. 59. *Зеравшан* (в верховьях — Матча) — река в Средней Азии, в долине которой расположены города Самарканд и Бухара.

Стр. 60. *Ибн-Хаукали* (Ибн-Хелликан) Ахмед (1211—1282) — арабский писатель, историк; его называли восточным Плутархом.

Стр. 63. *Кауфман* Константин Петрович (1818—1882) — русский инженер-генерал; с 1867 г. — туркестанский генерал-губернатор.

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский генерал, участник Крымской войны, главнокомандующий сербской армией в 1876 г.; туркестанский генерал-губернатор в 1865—1867 и 1882—1884 гг.

Стр. 66. ...*древняя Кушания...* — Кушанское царство, которое в период расцвета (конец I—III вв.) включало значительную часть территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, северной Индии и, возможно, Синьцзяна.

Истахри — прозвище шейха Абу-Исхака, который между 943 и 945 гг. составил географическое сочинение «Книга климатов».

У колыбели Большого Ангрена. *Путевые заметки* (с. 71). — Впервые — журнал «Новый мир», 1941, № 3.

Стр. 72. *Богданович* Карл Иванович (1864—1947) — геолог, проводил геологические исследования на юге России, в Средней и Центральной Азии, в Сибири.

Послесловие Зарядью (с. 77). — Впервые — газета «Московский большевик», 1941, 1 мая.

Стр. 78. *...от Спаса на таком багряном в закате Бору...* — Речь идет о Спасо-Преображенском соборе («Спас-на-Бору» в Кремле), поставленном в 1330 г., при Иване Калите.

...Зачатская, что в углу Зарядья, церковка... — См. примеч. в т. 2 к с. 60.

Стр. 79. *...Тохтамыш стучался буздыганом в Фроловские — тогда еще не Спасские! — ворота, требуя выдачи Дмитрия Донского...* — Тохтамыш (? — 1406) — потомок Джучи, после падения Мамая хан Золотой Орды. В 1381 г. потребовал, чтобы все русские князья явились к нему в Орду, а когда с общего согласия это было отвергнуто Дмитрием Донским, вторгся в Россию. Подступив к Москве, он обманом уговорил жителей отворить себе ворота и обратил город в груду пепла.

Стр. 80. *Воспитательный дом* — крупнейшее общественное здание Москвы. Построено в 1764—1770 гг. по проекту К. Бланка при участии М. Ф. Казакова. Дом был рассчитан на 8 тысяч детей. После Октября в нем разместился Дворец труда ВЦСПС.

Стр. 81. *Нил Сорский* (в миру Николай Майков; ок. 1433—1508) — основатель и глава нестяжательства в России. Развивал идеи нравственного самоусовершенствования и аскетизма.

Наша Москва (с. 83). — Впервые — газета «Красный флот», 1941, 25 ноября.

Документы, сделанные кистью (с. 85).— Впервые — газета «Литература и искусство», 1942, 10 октября под названием «Ленинградцы», о выставке ленинградских художников в Москве. Текст переработан для передачи Совинформбюро; в таком виде опубликован в журнале «Литературное обозрение», 1981, № 5.

Твой брат Володя Куриленко (с. 90). — Впервые — журнал «Красноармеец», 1942, октябрь, № 19.

Неизвестному американскому другу. *Письмо первое* (с. 103). — Написано в августе 1942 года для американского радио. Передано через Совинформбюро. Гослитиздат, М., 1945.

Стр. 104. *Петен* Анри Филипп (1856—1951) — маршал Франции (1918); в 1940—1944 гг. — глава профашистского правительства Виши. Приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Лаваль Пьер (1883—1945) — премьер-министр Франции в 1931—1932 и 1935—1936 гг.; в 1942—1944 гг. — глава коллаборационистского правительства Виши; казнен как изменник.

Стр. 105. *Диоклетиан* (243 — между 313 и 316) — римский император в 284—305 гг. В 303—304 гг. предпринял жестокие гонения на христиан.

Стр. 108. *...Ютландского боя и Марнской битвы...* — Ютландское морское сражение между английским и германским флотами произошло во время 1-й мировой войны 31 мая — 1 июня 1916 г. у полуострова Ютландия (Северное море). Битва на реке Марне — крупнейшее в той же войне встречное сражение между англо-французскими и германскими войсками 5—12 сентября 1914 г.

Иероним (330—419) — богослов, философ, церковный деятель. Родился в городе Стридоне, в Далмации. Область *Паннонии* занимала часть современной Венгрии, Югославии и Австрии.

Неизвестному американскому другу. *Письмо второе* (с. 112). — Впервые — журнал «Знамя», 1943, № 9-10.

Стр. 116. *Шмидеберг* Освальд (1838—1911) — немецкий фармаколог.

Кункель Иоганн (1630—1702) — алхимик, состоявший при герцогах Лауэнбургских, у курфюрста Саксонии Иоганна-Георга II, а затем в качестве горного советника при дворе Карла XI Шведского.

Борджиа Чезаре. — См. примеч. в т. 9 к с. 153.

...«Лейстерский насморк» елизаветинского министра... — Имеется в виду фаворит и министр английской королевы Елизаветы Лейстер (Лейчестер; 1532—1588). Ему приписывается изобретение нюхательного порошка, от которого вдохнувший «зачихивался» до смерти.

Бренвилье Мария-Маделена — известная отравительница, узнавшая тайну страшного яда, который затем получил название «порошка наследства», отравила своего отца, двух братьев, сестер, а также множество других лиц. Была обезглавлена в Париже 16 июля 1676 г.

...аква тофана... — букв. проклятая вода (лат.). Яд без цвета, вкуса и запаха, к которому прибегал для устранения неугодных лиц и от которого скончался сам, приняв его по ошибке, папа Александр VI, отец Чезаре Борджиа.

Локуста — известная изготовительница ядов в Древнем Риме. Была посредницей во многих отравлениях; от ее ядов умерли императоры Клавдий и Британник. Казнена лишь при императоре Сервиусе Сульпиусе Гальбе (68—69).

Голос Родины (с. 120). — Впервые — газета «Литература и искусство», 1943, 5 июня.

Слава России (с. 123). — Впервые — газета «Известия», 1943, 10 июля.

Поступь гнева (с. 126). — Впервые — газета «Правда», 1943, 24 августа.

Размышления у Киева (с. 129). — Впервые — газета «Правда», 1943, 8 ноября.

В ноябре — декабре 1943 года Л. Леонов с группой писателей совершает поездку на фронт в район Киева (по маршруту: Москва — Сумы — Киев — зап. Киева), находится в танковых войсках генерала Рыбалко. Фронтовые впечатления явились творческим импульсом для написания Л. Леоновым повести «Взятие Великошумска» (1944).

Стр. 132. *...маннергеймов и антонесок...* — Маннергейм Карл Густав (1867—1951) — главнокомандующий финской армией в войнах против СССР в 1939—1940 и 1941—1944 гг., президент Финляндии в 1944—1946 гг. Антонеску Йон (1882—1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940—1944 гг., в 1946 г. казнен по приговору народного трибунала.

...адмирал несуществующего флота... — фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг. контр-адмирал Миклош Надьбаньян Хорти (1868—1957).

Стр. 133. *Владимир I* (?—1015) — князь новгородский (с 969 г.), киевский (с 980 г.), младший сын Святослава. Покорил вятичей, родимичей и ятвагов; боролся с печенегами. В 988—989 гг. ввел в качестве государственной религии христианство. Получил в русских былинах прозвище Красное Солнышко.

Ярость. *Репортаж с Харьковского процесса* (с. 134). — Впервые — газета «Известия», 1943, 17 декабря.

В декабре 1943 года Л. Леонов присутствует на Харьковском судебном процессе над фашистскими преступниками в качестве корреспондента «Известий».

Стр. 134. *Хара-хото* — остатки города XI—XIII вв. в низовьях реки Эдзин-Гол в Монгольской Народной Республике.

Примечания к параграфу. *Репортаж с Харьковского процесса* (с. 138). — Впервые — газета «Известия», 1943, 18 декабря.

Расправа. *Репортаж с Харьковского процесса* (с. 142). — Впервые — «Известия», 1943, 19 декабря (под заголовком «Так это было»).

Величавая слава (с. 147). — Впервые — газета «Правда», 1944, 24 февраля.

Стр. 148. *Ротмистров* Павел Алексеевич (1901—1981) — советский военачальник, главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командовал танковой бригадой и корпусом, гвардейской танковой армией. В 1944—1945 гг. — заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии.

Рыбалко Павел Семенович (1894—1948) — советский военачальник, маршал бронетанковых войск, дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командовал танковой и гвардейской танковой армиями.

Шлиффен Альфред фон (1839—1913) — германский генерал-фельдмаршал, теоретик молниеносной войны путем окружения главных сил противника («Канны»).

Речь о Чехове (с. 150). — Речь на торжественном заседании в Большом театре СССР 16 июня 1944 года в связи с 40-летием со дня смерти А. П. Чехова. Напечатано в книге: Л. Леонов. Избранное. М., Гослитиздат, 1945.

Немцы в Москве (с. 156). — Впервые — газета «Правда», 1944, 19 июля.

Факел гения. *Заметки к юбилею А. С. Грибоедова* (с. 160). — Впервые — газета «Правда», 1945, 14 января.

Статья написана к 150-летию со дня рождения А. С. Грибоедова (род. 15 янв. 1795 г.). Ее основные положения были развернуты в докладе Л. Леонова «Судьба поэта».

Судьба поэта (с. 166). — Впервые — «Литературная газета», 1945, 15 января.

Доклад на торжественном заседании в Большом театре СССР 15 января 1945 года по случаю 150-летия со дня рождения А. С. Грибоедова.

Стр. 167. *Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — немецкий ученый, автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии.

Вирхов Рудольф (1821—1902) — немецкий патолог и общественный деятель.

Майданек — немецко-фашистский концентрационный лагерь вблизи города Люблин (Польская Народная Республика), где в 1941—1944 гг. было истреблено 1,5 миллиона человек.

Стр. 172. *...Иезуитская штучка Ростопчин...* — Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — московский генерал-губернатор в Отечественную войну 1812 года. Стремясь подогреть патриотические настроения в Москве накануне занятия ее французами, отдал юношу Верещагина, обвиненного в чтении наполеоновских прокламаций, на растерзание толпе.

Стр. 173. *Муравьев* Николай Николаевич (Карский; 1794—1866) — русский военный и государственный деятель, сподвижник А. П. Ермолова на Кавказе, герой Крымской кампании 1854—1855 гг. Оставил обширные дневники, где, в частности, дана субъективная характеристика личности Грибоедова.

Шаховской Александр Александрович (1777—1846) — русский писатель, театральный деятель, член Беседы любителей русского слова. Близкий приятель Грибоедова (в соавторстве с которым и Н. И. Хмельницким написан водевиль «Своя семья, или Замужняя невеста», 1818).

Бегичев Степан Никитич (1785—1859) — ближайший друг Грибоедова с 1813 г.

Стр. 174. *Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797—1846) — русский поэт, декабрист, друг Пушкина и Грибоедова. В 1822 г., в бытность на Кавказе Грибоедова, был там чиновником особых поручений при А. П. Ермолове.

Стр. 176. *...не смерть же Шереметева на дуэли так повлияла на него...* — В середине 1818 г. Грибоедов был назначен секретарем русской миссии в Персии, что было, по существу, ссылкой, поводом для которой послужило его участие секундантом в дуэли офицера В. А. Шереметева и графа Завадовского из-за артистки Истоминой.

Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, наместник главнокомандующего на Кавказе в 1827 г. Родственник Грибоедова по жене.

Стр. 177. *Чавчавадзе* Александр Гарсеванович (1786—1846) — грузинский поэт и военный деятель, генерал-лейтенант. Тесть Грибоедова.

Утро Победы (с. 179). — Впервые — газета «Правда», 1945, 30 апреля.

Стр. 182. *Григорий* I, *Великий* (ок. 540—604) — папа римский (с 590 г.), церковный деятель и писатель.

Стр. 183. *Иоанн XXIII* — папа римский (1410—1415), неаполитанец *Балтазар Косса*, один из наиболее развращенных пап эпохи упадка.

Иоанн XII — Октавиан, сын Альбрехта, папа римский (955—964), загрязнил папский престол всевозможными пороками и преступлениями. Умер от ран, полученных во время любовного похождения.

Александр VI (Родриго-Лансоль Борджиа). — См. примеч. в т. 9 к с. 153.

Весна народов (с. 185). — Впервые — газета «Правда», 1945, 1 мая.

Русские в Берлине (с. 189). — Впервые — газета «Правда», 1945, 7 мая.

Стр. 192. *Мольтке* (Старший) Хельмут Карл (1800—1891) — германский фельдмаршал и военный теоретик. Проводил идеи неизбежности войны, внезапного нападения и молниеносного разгрома противника путем окружения.

Имя радости (с. 194). — Впервые — газета «Правда», 1945, 11 мая.

Стр. 197. *...как Рим, который всегда любил класть свою тиару к ногам очередного Гензериха...* — В 455 г. вождь племени вандалов Гензерих, вскоре после нашествия Аттилы на Рим, взял его и отдал на разграбление на 14 дней.

Горький сегодня (с. 199). — Впервые — «Литературная газета», 1945, 14 июля.

Вступительное слово на Горьковской сессии Всероссийского театрального общества 11 июля 1945 года.

Когда заплачет Ирма. *Письмо на родину* (с. 203). — Впервые — газета «Правда», 1945, 4 октября.

В сентябре 1945 года Л. Леонов совершил поездку в Дрезден и Люнебург. В качестве корреспондента «Правды» он присутствовал на судебном процессе над немецко-фашистскими палачами из Бельзенского концлагеря.

Поездка в Дрезден (с. 211). — Впервые — газета «Правда», 1945, 24 октября.

Стр. 214. *...уры...* — часы (от нем. bie Uhr).

Нюрнбергский змий (с. 221). — Впервые — газета «Правда», 1945, 2 декабря.

В ноябре — декабре 1945 года Л. Леонов присутствует в качестве корреспондента «Правды» на судебном процессе над главными фашистскими преступниками в Нюрнберге. Под его неизгладимым впечатлением написаны очерки «Нюрнбергский змий», «Людоед готовит пищу», «Тень Барбароссы», «Гномы науки».

Стр. 221. *Дюрер* Альбрехт (1471—1528) — немецкий живописец и график, основоположник искусства немецкого Возрождения.

Гиргфогель Аугуст (1503—1553) — нюрнбергский художник, рисовальщик по стеклу и гравер.

Меланхтон Филипп (1497—1560) — немецкий протестантский педагог и богослов, сподвижник М. Лютера.

Стр. 222. *Бегаим* Мартин (1459—1506) — германский мореплаватель и географ. В 1491—1493 гг., в Нюрнберге, изготовил большой глобус.

Деннер Иоганн Христофор (1665—1707) — немецкий мастер по изготовлению деревянных музыкальных инструментов, изобретатель кларнета.

Генлейн (Хенлейн) Петер (1480—1542) — немецкий механик, создатель первых миниатюрных часов.

Людоед готовит пищу (с. 229). — Впервые — газета «Правда», 1945, 10 декабря.

Стр. 230. *Кемаль* Ататюрк Мустафа (1881—1938) — руководитель национально-освободительной революции в Турции в 1918—1923 гг. и ее первый президент (1923—1938).

Стр. 235. *Хорти.* — См. примеч. к с. 132.

Тисо Йосеф (1887—1947) — глава автономного фашистского правительства Словакии в 1938—1939 гг., президент так называемого Словацкого государства в 1939—1945 гг. Казнен по приговору Народного суда.

Стр. 236. *Бенеш* Эдуард (1884—1948) — государственный и политический деятель Чехословакии; в 1935—1938 гг. — президент, затем (с

1940 г.) — в эмиграции. В 1946—1948 гг. — президент Чехословакии, сторонник буржуазного развития страны. Вышел в отставку после событий в феврале 1948 г.

Тень Барбароссы (с. 239). — Впервые — газета «Правда», 1945, 20 декабря.

Стр. 239. *...император Барбаросса...*— Фридрих I Барбаросса (букв. — Краснобородый; ок. 1125—1190) — германский король и император Священной Римской империи (с 1152 г.). Его именем был назван план агрессивной войны фашистской Германии против СССР, которую предполагалось выиграть в течение 2—3 месяцев.

Стр. 242. *Дольфус* Энгельбарт (1892—1934) — федеральный канцлер Австрии и министр внутренних дел с 1932 г., один из лидеров христианско-социальной партии. Убит сторонниками аншлюса — присоединения к Германии.

Гномы науки (с. 248). — Впервые — газета «Правда», 1945, 22 декабря.

Стр. 249. *Браманте* Донато (1444—1514) — итальянский архитектор, представитель Высокого Возрождения; автор проекта собора *св. Петра* в Риме.

На башне (с. 256). — Впервые — газета «Правда», 1946, 9 мая.

Стр. 260. *...Фултонская аудитория пусть догадывается...* — Упоминается выступление в Фултоне (1946) Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании в годы войны и сторонника антигитлеровской коалиции, которое означало поворот к «холодной войне» с Советским Союзом.

Иезекииль. — См. примеч. в т. 6 к с. 141.

Гутенберг Иоганн (ок. 1399—1468) — немецкий изобретатель книгопечатания.

Кабот (Кабото) Джон (Джованни; между 1450 и 1455—1499?) — итальянский мореплаватель. В 1497 и 1498 гг. совершил плавание через Атлантический океан и достиг Северной Америки в районе острова Ньюфаундленд.

Стр. 261. *Каннинг* Джордж (1770—1827) — премьер-министр Великобритании (1827), лидер партии тори.

Молодым друзьям (с. 264). — Впервые — газета «Комсомольская правда», 1946, 22 июня.

Театр нашего времени (с. 269). — Впервые — журнал «Театр», 1946, № 10.

Вступительное слово на встрече творческого коллектива Малого театра с драматургами.

Разговор о справедливости (с. 277). — Впервые — газета «Правда», 1947, 31 марта. Статья вызвала широкие отклики читателей,

Рассуждение о великанах (с. 283). — Впервые — «Литературная газета», 1947, 27 сентября.

Стр. 284. *Штаден* Генрих (ок. 1542 — ?) — немецкий авантюрист; был в России в 1564—1576 гг. опричником. Автор записок «О Москве Ивана Грозного». В конце 70-х — начале 80-х гг. разрабатывал планы немецкой и шведской интервенций в Россию.

Максимилиан II (1527—1576) — германский император (с 1564 г.).

Кюстин Астольф де (1790—1857) — французский литератор, монархист. По приглашению Николая I посетил Россию. Его книга «Россия в 1839 году», с отрицательной характеристикой николаевского самодержавия, вызвала поток официозных опровержений.

Петрей де Эрлезунд Петр — путешественник и писатель. Четыре года служил в России, затем дважды ездил в Москву (1608 и 1611) посланником Карла IX. В 1615 г. написал «Московитскую хронику» и перевел ее на немецкий язык (1620).

...Сумбекиной башни... — Башня Сюнбеки — единственный памятник казанского кремля времен татарского царства. Пострадала при взятии Казани Иваном IV (1 октября 1552 г.).

Стр. 285. *Парацельс* (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм; 1493—1541) — врач и естествоиспытатель, один из основателей ятрохимии.

Палладио (наст. имя ди Пьетро) Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор, представитель позднего Возрождения.

Стр. 286. *Рюрик* — согласно летописи, начальник варяжского военного отряда, якобы призванный ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород. Основатель династии Рюриковичей.

Иафет — по библейскому преданию, один из трех сыновей праотца Ноя, спасшегося во время всемирного потопа. Согласно легенде, потомки Иафета заняли Европу и страны Восточной Азии, став во главе Иафетовой, или арийской, расы.

Мосох — мифический основатель Москвы, якобы получившей свое название от соединения двух имен — его и его супруги *Ква*.

Стр. 292. *Папен* Дени (1647—1714) — французский физик и изобретатель.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик, один из основоположников современной химии.

Стр. 293. *...как металась самсоновская армия в Мазурских болотах...* — В ходе наступательной операции русских войск Северо-Западного фронта в начале 1-й мировой войны (4/17 августа — 2/15 сентября 1914 г.), благодаря просчетам командующего фронтом Я. Г. Жилинского, а также

фактическому предательству командующего 1-й армией генерала П. К. Ренненкампфа, 2-я армия А. В. Самсонова потерпела поражение в районе Мазурских озер, а сам Самсонов, при выходе из окружения, предположительно застрелился.

Минута молчания (с. 295). — Впервые — «Литературная газета», 1947, 5 ноября.

Стр. 296. *Монтесума* (Моктесума или Монтекусома; 1466—1520) — правитель ацтеков (с 1503 г.); захвачен в плен испанским конквистадором Кортесом.

В защиту друга (с. 303). — Впервые — газета «Известия», 1947, 28 декабря.

Статья вызвала многочисленные отклики читателей и явилась дальним подходом Л. Леонова к роману «Русский лес» (1953). «Написанная в блестящем стиле леоновской художественной публицистики, эта статья была горячо поддержана не только лесоводами, но и широким кругом читателей. В ноябре 1948 года в Центральном доме литераторов состоялась встреча писателей с лесоводами. Здесь отмечена была... действенная роль очерка Леонова в деле защиты леса... Статья эта не осталась отдельным эпизодом творческой биографии художника, а явилась началом поворота писателя к глубокому изучению лесных дел» (В. А. Ковалев. Из творческой истории романа «Русский лес» Леонида Леонова. — Сб.: «Вопросы советской литературы». М. — Л., Изд-во АН СССР, 1957, т. VI, с. 334—335). В развитие этой темы Л. Леонов выступает в дальнейшем со статьями «Объединить любителей природы» (1957), «О природе начистоту» (1960), «Снова о лесе» (1963), «О большой щепе» (1965), «Подвиг лесника незаметен» (1966) и др.

Беседа с демоном (с. 314). — Впервые — «Литературная газета», 1947, 31 декабря.

Стр. 317. *Гроций* Гуго де Гроот (1583—1645) — голландский юрист, социолог и государственный деятель, один из основателей буржуазной теории естественного права и науки международного права.

Бессмертие (с. 322). — Впервые — «Литературная газета», 1948, 21 февраля.

Солдат человечества. *К 75-летию со дня рождения Анри Барбюса* (с. 326). — Впервые — «Литературная газета», 1948, 19 мая.

Непримиримость (с. 329). — Впервые — «Литературная газета», 1948, 4 сентября.

Речь на Всемирном конгрессе деятелей культуры в защиту мира во Вроцлаве.

Жаба (с. 333). — Впервые — «Литературная газета», 1948, 3 ноября.

Стр. 334. *Маршалл* Джордж Кэтлетт (1880—1959) — американский генерал, в 1947—1949 гг. — государственный секретарь США. Инициатор *«плана Маршалла»,* так называемой программы восстановления и развития Европы после 2-й мировой войны путем предоставления ей американской экономической помощи (выдвинута в 1947 г.).

Стр. 336. *Меллоны* — финансовая группа в США, сложившаяся в конце XIX в. Власть над своей промышленно-финансовой «империей» Меллоны делят с богатейшими семьями США Питкернов и Хейнцев, а также с инвестиционным банком «Фёрст Бостон корпорейшн».

Дюпоны — группа финансового капитала в США, тесно связанная с Морганами; контролируемые активы — свыше 9 млрд. долларов.

Памяти Гоголя (с. 342). — Впервые — газета «Правда», 1952, 4 марта.

Речь на открытии памятника Н. В. Гоголю в Москве 2 марта 1952 года.

Вслух о книге (с. 345). — Впервые — газета «Советская культура», 1955, 3 февраля.

Призыв к здравому смыслу (с. 353). — Впервые — газета «Известия», 1955, 1 апреля.

Стр. 355. *Йоркский собор* — собор в английском городе Йорке, построенный в XI—XV вв.; резиденция архиепископа Йоркского (с 735 г.).

Талант и труд (с. 357). — Впервые — журнал «Октябрь», 1956, № 3.

Выступление на 3-м Всесоюзном совещании молодых писателей в январе 1956 года.

Стр. 369. *Ренар* Жюль (1864—1910) — французский писатель. Л. Леонов приводит записи из «Дневника» Ренара (опубликован в 1925—1927 гг.).

Объединить любителей природы! (с. 372).— Впервые — газета «Правда», 1957, 23 апреля.

Беседа с Л. М. Леоновым корреспондента «Правды» в связи с присуждением писателю за роман «Русский лес» Ленинской премии. Этой беседой открывается ряд публицистических выступлений Л. Леонова в защиту природы, леса, окружающей нас среды.

Миллионы друзей (с. 374). — Впервые — газета «Комсомольская правда», 1957, 11 июня.

Беседа с корреспондентом «Комсомольской правды» в связи с опубликованием в газете ряда материалов в защиту леса.

Живой памятник (с. 378). — Впервые — газета «Московский комсомолец», 1957, 2 августа.

Написано в связи с инициативой участников VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов — посадить под Москвой парк Дружбы.

Единство цели (с. 379). — Впервые — журнал «Искусство», 1957, № 7.

У новогодней елки (с. 382). — Впервые — газета «Известия», 1958, 1 января.

Больших успехов в вашем важном и трудном деле (с. 389). — Впервые — журнал «Лесное хозяйство», 1958, № 3.

Речь на Всероссийском совещании работников лесного хозяйства в январе 1958 года.

Голос благоразумия (с. 392). — Впервые — газета «Известия», 1958, 3 апреля.

Выступление на сессии Верховного Совета СССР 28 марта 1958 года.

Живая связь поколений (с. 397). — Впервые — газета «Литература и жизнь», 1959, 29 июля.

Красота труда (с. 399). — Впервые — газета «Литература и жизнь», 1960, 13 января.

Бескорыстный и сведущий друг (с. 402). — Впервые — газета «Известия», 1960, 5 февраля.

Непроизнесенная речь (с. 404). — Впервые — «Литературная газета», 1960, 12 апреля.

О природе начистоту (с. 412). — Впервые — «Литературная газета», 1960, 22 октября.

Стр. 414. *Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, автор текстов песен и романсов. Песня «Среди долины ровныя...» положена на мелодию песни Козловского на слова Карабанова «Лети к моей любезной...». Музыкальные вариации — М. И. Глинки и гитаристов А. Сихры и М. Высотского.

Венерин башмачок — род многолетних растений семейства орхидных, распространенных главным образом в умеренном поясе Европы, Азии и Северной Америки.

Боброк (Волынский Дмитрий Михайлович) — в 1380 г. 2-й воевода засадного полка, обеспечивший победу в Куликовской битве.

Слово о Толстом (с. 418). — Впервые — газета «Правда», 1960, 20 ноября.

Речь на торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, в Большом театре СССР 19 ноября 1960 года.

Стр. 419. *...Чехов писал из Ялты...* — Л. Леонов цитирует письмо Чехова М. О. Меньшикову от 28 января 1900 г.

...об этом думал... Тургенев... — Речь идет о написанном Тургеневым незадолго до кончины письме Толстому от 27 или 28 июня 1883 г. из Буживаля.

...за два года до толстовской кончины — Александр Блок... — О значении Толстого для России Блок говорил в статье, посвященной 80-летию писателя, «Солнце над Россией» (1908), а также в заметках «О Льве Толстом», предназначавшихся для сборника, подготавливавшегося в 1908 г.

Стр. 420. *Марлинский* — литературный псевдоним Александра Александровича Бестужева (1797—1837), писателя-декабриста. Романтическая проза Марлинского имела в русском обществе шумный, но непрочный успех; ее недостатки стали предметом критического разбора В. Г. Белинского.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, драматург, пьесы которого носили казенно-патриотический характер.

Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — русский драматург, творчество которого несло в себе традиции устаревшего уже классицизма.

Тимофеев Алексей Васильевич (1812—1883) — драматург и стихотворец, поэт-песенник. Стихотворение «Борода», положенное на музыку Бахметьевым, стало популярной песней.

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858) — русский писатель, журналист, востоковед. В многочисленных литературно-критических статьях и рецензиях обнаружил консервативно-охранительные воззрения, отрицательно относился к реалистическому направлению в русской литературе.

Стр. 425. *Толстой... роняет в одном письме к Фету.* — Л. Леонов имеет в виду письмо Л. Н. Толстого А. А. Фету от 16 мая 1865 г.

Стр. 428. *Трагическое письмо Гоголя к черному священнику Матвею...* — Речь идет о письме отцу Матвею (Матвею Александровичу Константиновскому) от 12 февраля 1852 г., в котором отразилось смятенное состояние души Гоголя.

Стр. 430. *Тертуллиан* Квинт Септилий Флоренс (ок. 160 — после 220) — христианский теолог и писатель.

...в письме к англичанину... — Имеется в виду письмо Л. Н. Толстого Гамильтону Кэмпбеллу от 27 января — 6 февраля 1891 г. (написанное по-английски).

Стр. 431. *...подвернувшийся в 94-м году обменный визит русских и французских моряков...* — В 1894 г. в Тулоне состоялись празднества, закрепившие основанный русско-французский союз. Толстой откликнулся на это событие статьей «Христианство и патриотизм», где доказывал, что этот союз даст не мир Европе, а новую кровопролитную войну.

Стр. 433. *Сковорода* Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ, поэт, педагог. Видел смысл человеческого существования в подвиге самопознания.

Стр. 437. *...предсмертный к нему призыв Тургенева...* — См. примеч. в наст. т. к с. 419. В этом письме Тургенев, в частности, призывал: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!»

О театре будущего (с. 439). — Впервые — журнал «Театральная жизнь», 1961, № 11.

Прыжок в небо (с. 451). — Впервые — газета «Правда», 1961, 16 апреля.

Похвала жанру (с. 455). — Впервые — «Литературная газета», 1962, 4 августа.

Стр. 457. *...Scio me nihil scire...* (лат.) — «Я знаю только то, что ничего не знаю», афоризм древнегреческого философа Сократа (470/469—399 до н. э.).

Стр. 458. *Гейзенберг* Вернер (1901—1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики.

О Станиславском (с. 464). — Впервые — журнал «Театральная жизнь», 1963, № 1.

Снова о лесе (с. 468). — Впервые — «Литературная газета», 1963, 22 января.

Стр. 469. *Прокопович* Феофан (1681—1736) — русский государственный и церковный деятель, сподвижник Петра I, писатель. Л. Леонов цитирует одну из проповедей Феофана Прокоповича.

Природа и мы (с. 472). — Впервые — «Литературная газета», 1963, 14 мая.

Из вступительного слова Л. Леонова за «Круглым столом» редакции «Литературной газеты».

Вместо приветствия (с. 474). — Впервые — газета «Правда», 1963, 21 июня.

Форма и цель (с. 478). — Впервые — «Литературная газета», 1963, 8 августа.

Речь на форуме европейских писателей в Ленинграде 6 августа 1963 года.

Стр. 481. *Аве Мария* — кантата Иоганна Себастьяна Баха (1685—1750). На ту же тему написаны произведения Франца Шуберта и ряда других композиторов.

...памятный всем Майн либер Аугустин из Достоевского... — Речь идет об эпизоде из романа «Бесы» (1871—1872), часть вторая, глава пятая, где Лямшин исполняет сочиненную им пьеску для фортепьяно, в которой грозные звуки «Марсельезы» постепенно одолеваются пошлой немецкой песенкой «Мой милый Августин...».

Союз ума и сердца (с. 487). — Впервые — газета «Известия», 1963, 31 декабря.

Прошу слова (с. 488). — Впервые — «Литературная газета», 1964, 3 октября.

Статья написана по поводу проекта реформы правописания.

О большой щепе (с. 491). — Впервые — «Литературная газета», 1965, 30 октября.

Стр. 495. *Гольбах* Поль Анри (1723—1789) — французский философ-материалист, атеист, идеолог революционной буржуазии.

Марешаль Пьер Сильвен (1750—1803) — французский писатель, сторонник и последователь Просвещения.

Бриллианты для бедных (с. 500). — Впервые — журнал «Журналист», 1965, № 10, сентябрь.

Пока суд да дело... (с. 502). — Впервые — «Литературная газета», 1965, 30 октября.

Подвиг лесника незаметен (с. 504). — Впервые — газета «Лесная промышленность», 1966, 1 января.

Письмо коллективу Звенигородского механизированного лесхоза, что в Подмосковье, который первым в стране, еще в 1961 году, начал проводить «День русского леса».

Если не сегодня, то когда же... (с. 505). — Впервые — «Литературная газета», 1967, 14 июня.

Беседа с корреспондентом «Литературной газеты» в связи с публикацией на ее страницах материалов о создании в нашей стране национальных парков.

Любите природу, но... без огнестрельного оружия (с. 507). — Впервые — «Литературная газета», 1968, 7 февраля.

Беседа с корреспондентом «Литературной газеты» в связи с развернувшейся на ее страницах дискуссией об охоте.

Венок А. М. Горькому (с. 511). — Впервые — «Литературная газета», 1968, 3 апреля.

Речь на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня рождения А. М. Горького, 28 марта 1968 года в Кремлевском Дворце съездов.

Стр. 517. *Поэтический тезис Полонского...* — Имеются в виду строки из стихотворения Я. П. Полонского (1819—1898) «В альбом К. Ш...»: «Писатель, если только он волна, а океан — Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия...» (1870).

Достоевский и Толстой (с. 528). — Впервые — румынский журнал «Двадцатый век», 1969, № 4.

Родниковая свежесть (с. 531). — Впервые — газета «Правда», 1973, 27 февраля.

Стр. 531. *Грабарь* Игорь Эммануилович (1871—1960) — советский живописец и искусствовед; один из основоположников музееведения, реставрационного дела и охраны памятников искусства.

Стр. 532. *Ван Эйк* Ян (ок. 1390—1441) — нидерландский живописец, основоположник нидерландского искусства.

Икона *Троица* проникнута возвышенной одухотворенностью образов, идеей согласия и гармонии, отмечена совершенством формы. Создана крупнейшим мастером московской школы живописи Андреем *Рублевым* (ок. 1360—1370 — ок. 1430).

Стр. 534. *...родом из песенной Мстёры...* — Мстёра — поселок во Владимирской области, один из центров русских народных промыслов: иконописи, мстёрской вышивки и мстёрской лаковой миниатюры.

Беззаветность (с. 535). — Впервые — «Литературная газета», 1976, 19 мая.

Отечество (с. 537). — Впервые — журнал «Книжное обозрение», 1976, 22 октября.

Стр. 537. *Песков* Василий Михайлович (р. 1930) — русский советский журналист, писатель, многие выступления которого посвящены охране и защите природы.

Стр. 539. *Чивилихин* Владимир Алексеевич (1928—1984) — русский советский писатель.

Татьяничева Людмила Константиновна (1915—1980) — русская советская поэтесса.

Журналу «Москва» (с. 540). — Впервые — журнал «Москва», 1977, № 1.

Написано к двадцатилетию этого журнала.

Раздумья у старого камня (с. 543). — Впервые, с сокращениями — журнал «Техника молодежи», 1980, № 9. Печатается по тексту: альманах «Памятники Отечества», 1981, № 2. Публикуется в сокращенном виде.

Стр. 545. *...поганая Калка...* — река, приток реки Кальмиус, где 31 мая 1223 г. произошло первое сражение русских и половцев с монголо-татарской ордой, одержавшей победу, положило начало кровавому нашествию на Русь.

Стр. 547. *Пиранези.* — См. примеч. в т. 6 к с. 64.

Стр. 548. *Абу-Симбел* — местность на западном берегу Нила (Египет), где находились два скальных древнеегипетских храма 1-й половины XIII в. до н. э. При строительстве Асуанской плотины в 1967 г. перенесены на скалу у старого русла реки.

...расписной каменной игрушки, называвшейся Ризположенье... — Речь идет о церкви «Риз положения пресвятые Богородицы» в

Кремле, построенной митрополитом Ионой в память о спасении Москвы от татар, которые безуспешно осаждали ее 2 июля 1451 г., в день праздника положения ризы богоматери.

Стр. 550. *...древние наши лавры и монастыри...* — Валаамско-Преображенский мужской монастырь в северо-западной части Ладожского озера, на острове Валаам, создан в XII в.; Соловецкий монастырь на острове Белом (группа Соловецких островов на Белом море) ведет свое начало с 20—30-х гг. XV в.; Троице-Сергиева лавра (ныне в Загорске) основана Сергием Радонежским около 1335 г.

Разговор о теме дня. *Отрывок из беседы* (с. 551). — Впервые — «Литературная газета», 1980, 21 августа.

К слову о Слове... (с. 555). — Публикуется впервые.

Статья посвящена гениальному памятнику древнерусской литературы конца XII в. «Слову о полку Игореве». Я воспользовался этой оказией, заметил Л. Леонов, чтобы высказаться о роли литературы. Это не рапорт, не фейерверк, который порою требуют от литературы. Это плач, вдохновляющий нас на подвиг, на патриотизм. Литература подлинная идет от проникновения в судьбу народа, в горе народа, и там ищет источник для его одоления.

Письмо участникам конференции (с. 557). — Публикуется впервые.

Обращение писателя к участникам конференций, посвященных 85-летию со дня рождения Л. М. Леонова и проходивших в мае 1984 г. в Москве и Ленинграде. В этом приветственном слове Л. Леонов, по собственному признанию, стремился уточнить место литературы в современном мире, объясняя в частности и судьбу своего нового романа. Сегодня литература, по словам автора, приобретает громадную ответственность и должна говорить о самом насущном: остановить людей от самоуничтожения. Она располагает средствами, благодаря возможностям слова, выделяющими ее из других видов искусства. В великих походах человечества литература выполняет роль разведчика, первым преодолевающего неведомые пространства: «Куда мы идем? И что там, за краем пропасти?»

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА

Мироздание по Дымкову (с. 561). — Впервые — журнал «Наука и жизнь», 1974, № 11, с сокращениями. Полностью текст был опубликован в сб.: ГЛАС CCCXIV Српске академи е наука и уметности. Одельенье езика и кньижевности, кн. 10, Белград, 1979; «Новый мир», 1984, № 11.

В 1984 году Л. Леонов значительно переработал «Мироздание по Дымкову», добившись большей четкости и прозрачности в изложении авторской концепции и усилив гражданский пафос фрагмента. В последнем варианте центральной становится тема ответственности человечества за свой завтрашний день. «Мироздание по Дымкову» являет собой (как и «Последняя прогулка») принципиально новую ступень в развитии интеллектуальной прозы.

Стр. 576. ...*Патмосский жанр.* — Согласно библейским преданиям, на остров Патмос был сослан римлянами апостол Иоанн Богослов, который удостоился там откровения, изложенного им в книге о конце света Апокалипсис (середина 68—69 гг.).

Последняя прогулка (с. 583). — Впервые — журнал «Москва», 1979, № 4.

Олег Михайлов

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,

ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА В ДЕСЯТИ ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

ПУБЛИЦИСТИКА

ФРАГМЕНТЫ ИЗ РОМАНА

Леонов Л. М.

Л 47 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 10. Публицистика; Фрагменты из романа /Примеч. О. Михайлова. — М.: Худож. лит., 1984. 631 с.

В томе собраны написанные более чем за пятьдесят лет статьи и речи об искусстве и литературе, выступления в защиту природы, очерки и репортажи с Харьковского (1943) и Нюрнбергского (1945) процессов, а также два фрагмента из нового романа.

Л $\frac{4702010200\text{-}373}{028(01)\text{-}84}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

Редактор О. Афанасьева

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректор Г. Ганапольская

ИБ № 3038

Сдано в набор 05.03.84. Подписано в печать А13969 12.11.84 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 36,85. Усл. кр.-отт. 37,32. Уч.-изд. л. 34,02. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-1000. Заказ № 1340. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



